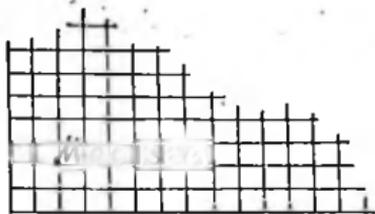


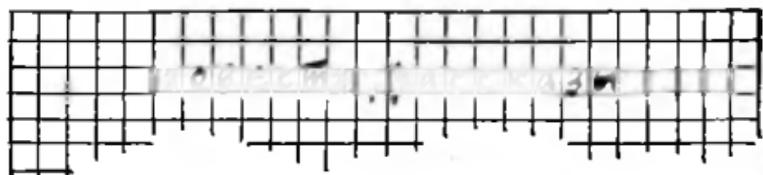
В работе  
перья

повести, рассказы

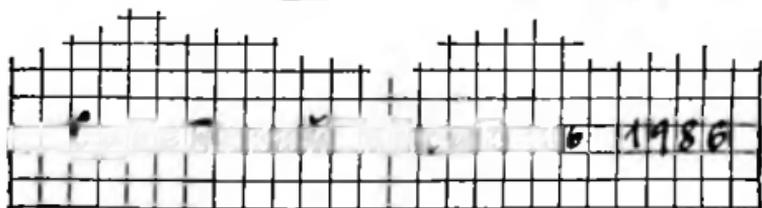
# В работе



ПОРТРЕ



БИБЛИОТЕКА КГП  
Инв. № 27670 6.



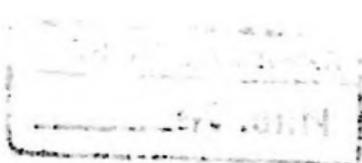
Составители:  
Г. И. Иванов и Н. И. Головова

Художник ИРИНА САЛЬНИКОВА

**В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ:** Сборник. Повести, рас-  
В 11 сказы.— М.: Советский писатель, 1986.— 544 с.

Сборник коротких повестей и рассказов — результат литературного мастерства советских писателей, именитых и молодых. Перед читателем — коллективный портрет нашего современника, посвящающего свою жизнь народу, высоким коммунистическим идеалам.

В центре произведений — положительный герой, который, несмотря на различные жизненные обстоятельства, сохраняет духовную стойкость.



В 4702010200—049  
083(02)—86 99—86

ББК 84.Р7

© Издательство  
«Советский писатель», 1986 г.

# Дача Гранин

Еще заметки  
слева

## I

В конце квартала, когда к нам съехались представители заводов с заявками насчет инструмента и творился суцций бедлам, ко мне позвонила незнакомая женщина. Она принялась расспрашивать про Волкова, которого я должен знать, поскольку я воевал вместе с ним на Ленинградском фронте. Сперва я решил, что это недоразумение. Не помнил я никакого Волкова. Но она настаивала — ведь был же я в сорок втором и сорок третьем годах в частях под Ленинградом. Что значит — в частях? В каких именно? Она не знала; видимо, она представляла себе фронт чем-то вроде туристского кемпинга, где все могут перезнакомиться. В доказательство она назвала номер полевой почты. Как будто я помнил, какой у нас был номер. А вы проверьте, потребовала она. Интересно, каким это образом проверить? Меня все больше злила ее настырность. У вас же есть письма, невозмутимо сообщила она. Какие письма, закричал я, представив себе, что надо ехать за город, рыться в дачном сундуке. На это она, словно отвечая моим мыслям, сообщила, что специально приехала в Ленинград из Грузии повидать меня. Очень жаль, но тут какая-то ошибка, я Волкова не знаю, я занят, я не смогу ей быть полезным — так, со всей решительностью и сухостью, я обозначил конец разговора. В ответ она объявила непреклонно, что все равно повидает меня, хочу я этого или не хочу, и лучше не спорить, потому что потом мне будет неловко. Самоуверенность ее могла вывести на себя и более спокойного, чем я, человека. Я хлопнул трубку на аппарат. Она тотчас позвонила снова.

У меня сидели заказчики, и я должен был взять трубку. Она спокойно принялась стыдить меня фронтовым братством, хвалесой преданностью боевым друзьям, которые, не жалея сил, разыскивают друг друга, весь тот шоколадный набор, которым потчуют по радио и в праздничных телепередачах сладкоголосые, умиленные журналистки. Я взвизгнул; неизвестно, что бы я наговорил ей, но она, не слушая, обещала привести какие-то неоспоримые факты, сыпала датами, именами и вдруг произнесла имя-имечко, каким меня звали давным-давно, окрестили те, кого уже не увидишь на этой земле. Те, кто засыпали со мною в казарме на двухэтажных койках, топали строем по булыжникам тихого Ульяновска с посвястом и песней. Там, в училище, и прилепилось ко мне: Тоха. Антоп — Антоха — Тоха — так и докатилось до фронта, куда мы прибыли досрочными лейтенантами для прохождения службы в танковых частях, которых уже не было. Танки на Ленинградском фронте к тому времени превратились в огневые точки, закопанные в землю так, что торчала одна башня с орудием.

С тех пор меня никто не называл Тохой.

Ладно, сказал я, приходите.

Что-то у меня сбилось с этой минуты. Конечно, я дал слабину. На кой они нужны, фронтовые воспоминания, какая от них польза? Много лет, как я запретил себе записывать эти пацкамы. Были тому причины.

Успокоился я на том, что все кончится просьбой насчет инструмента. Вне очереди или без фондов отпустить чего-то. Так всегда бывает. Откуда бы ни делались заходы, из любого далека — друзья-родичи, с женой в больнице лежали, — и вдруг: вот тут бумажечка, подпишите. Никто ко мне так просто, за здорово живешь, не приезжает.

На этом я успокоился, забыл о ней, и, когда на завтра она появилась, я не сразу сообразил, что это именно она. Появилась она в моем закутке как очередной посетитель из тех, что томились в коридоре. Остановилась в дверях, оглядывая меня подоуменно.

— Вы Дударев? Антоп Максимович?

На дверях было написано. Никто не задавал мне здесь такого дурацкого вопроса.

Она продолжала изучать меня с непоптым удивлением и вдруг хмыкнула. Смешок прозвучал неуместно, обидно. Она представилась. Я узнал ее низкий голос по легкому кавказскому акценту. Фамилия ее была Нижерадзе, звали Жанна, дальше следовало труднопроизносимое отчество, и

она просила звать по имени, как принято в Грузии. Была она немолода, много за сорок, но еще красивая крепкая женщина, копна черных волос нависала надо лбом, делая ее мрачно-серьезной.

Волков Сергей Алексеевич — повторяла она упрямо, как гипнотизер, следя за мною угольно-черными глазами. Я подтвердил, что не помню такого. Слова «не помню» вызвали у нее недоверие. Ей казалось невозможным не помнить Волкова. А Лукьянова я помню? И Лукьянова я не помнил. Это ее не обескуражило — наоборот, как бы удовлетворило.

После этого она успокоенно уселась, выложила на стол объемистую оранжевую папку.

— Может быть, вам неприятно вспоминать то время?

Если бы она спросила от души, может, я что-то и объяснил бы ей, но в топе ее звучала укоризна.

— Как так неприятно? — сказал я. — Это паша гордость, мы только и делаем, что вспоминаем.

Она протянула мне письмо. Старое письмо, которое лежало сверху, приготовленное. На второй странице несколько строчек были свежо отчеркнуты красным фломастером:

«У нас лейтенант Антон Дударев отчаянно несогласен в том вопросе. По его понятию, любовь только мешает солдату воевать, снижает боеспособность и мужество. А вы как, Жанпа, думаете? Милый этот Тоха, как мы его называем, жизненной практики не проходил, можно сказать — школьный лейтенант-теоретик. Я же доказываю, что сильное чувство помогает сознанию. За любовь, за пашу молодость мы боремся против немецких оккупантов и защищаем Великий город Ленин!».

Липовыми чернилами, какими теперь не пишут, косым ровным почерком, каким тоже уже не пишут, письмо говорило о том, кто когда-то был мною.

Гладкое лицо ее оставалось бесстрастным, жизнь шла в темпоте глаз, она мысленно повторяла за мною текст, и где-то в черной глубине проблеснула улыбка. Это был отблеск той внутренней улыбки, с какой она сравнивала меня и того лейтенанта. Я увидел — ее глазами — обоих: топенького, перетянутого в талии широким ремнем, в пилотке, которая так шла шевелюре, и в фуражке, которая так шла его узкому лицу, в кирзовых сапогах, которыми он умел так лихо щелкать, — молочного-розовый лейтенант, привычный портрет, который она набросала себе по дороге сюда, и другого — плешивого, с отвислыми щеками, припадающего на правую ногу от боли в колене; скучный, малопривлекательный, невеселый

тип, который и есть тот самый Тоха. Не ожидала она увидеть такого? От совмещения этих двух фигур и произошла улыбка. Наверное, это было и впрямь смешно. За тридцать с лишним лет каждого уводит куда-то в сторону. Никто не стареет по прямой...

— Это про вас написано? — спросила она.

— Может, и про меня, теперь трудно установить.

— Никакого другого Антона Дударева в Ленинграде нет. Вашего возраста, — добавила она.

— Чье это письмо?

— Лукьянова Бориса.

Она ждала. Она была уверена, что я ахну, пушу слезу, что из меня посыплются воспоминания. Ничего не пайдя на моем лице, она нахмурилась.

— Пожалуйста, читайте дальше. Читайте, — попросила она. — Вы вспомните.

Она как бы впускала мне, но у меня даже любопытства не было. Ничего не отзывалось. Пустые, давно закрытые помещения. После смерти жены я перестал вспоминать. Препятствие вспомпательному процессу вызывала у меня отвращение. пышный обряд, от которого остается горечь.

«Молодость, как гордо звучит это слово. При любой обстановке она требует своего и заставляет человека испить хоть маленькую дозу своего напитка. Жанна, я самый обыкновенный парень, это нас должно еще больше сблизить, конечно, если вы ничего не имеете против. Несколько слов о себе. Родился в 1918 году. До войны работал проектировщиком. Проектная работа мое любимое дело. Время проводил весело. Лучшим отдыхом были танцы. Музыка на меня действует сильно. В саду летом, в клубе зимой меня можно было встретить неумоимо танцующим вальс «Пламенное сердце», польское танго, шакоп и другие модные танцы. В общем, люблю жить, работать и отдыхать. Жанна, прошу выслать фотокарточку, как та, которую я видел у Аполлона. Жду ответа, с Вашего позволения шлю воздушный поцелуй. Борис».

Конвертик розовенький, на нем слепо отпечатана боевая сценка — санитарка перевязывает раненого бойца. Такие конвертики и я посылал. Почему рисунок этот должен был успокаивать наших адресатов, неясно. Штемпель — май месяц сорок второго года.

Та блокадная весна... Молодая, неслыханно зеленая трава на откосе. Солдаты наши лазали за ней, варили в котелках крапиву, щавель, одуванчики, жевали, сосали сырую зе-

лень распатапными от динги зубами, сплевывали горечь. Слюпа была с кровью. Вспомпнулась раскрытая банка стущенки. Она стояла на нарах, после обстрела в нее сквозь щели наката пасыпался песок. Вот такие пустяковины бречали в моей опустелой черепной коробке. Зпачки той поры. Как он съежился — круг, освещенный коптпякой. Со всех сторон подступал полумрак, в нем двигалсь какие-то тени, безымянные призраки.

— Припомнили?

— Нет.

— У меня есть фотография.

Опа действовала с терпеливой пастойчивостью, надеясь как-то оживить мои мозги явного склеротика.

Одна фотография пять на шесть, другая совсем маленькая — на офицерское удостоверение. На первой — мальчик, мальчишечка задрал подбородок, фуражка с длинным козырьком, плечи прямоугольные, скулы торчат, медалька какая-то блестит. Бессопница, голодуха обстругали лицо до предела, а вид держит бравый, упоен своей храбростью и верой, что обязательно уцелеет. Где-то и у меня валяется такая же карточка. Фотограф кричал: «Гвардейскую улыбочку!» Половппа пзбы спесепа. У печи угол затынут плащпалаткой. Перезаряжать он лазил в погреб.

— Как же так, вы должны его знать, — совершенно перепрекаемо сказала опа, и я стал вглядываться.

— Это что же, адъютант комбата-два? — спросил я. — Так это старлей Лукьяпов! Так бы сразу и говорили.

Чуб у него был золотистый, курчавпстый. Послышался его хриплый хохоток. Франт, пижон, гусар — и отчаянный, без всякого страха. На другой карточке он уже капитан. На обороте написано: 1943 год, ноябрь. Полтора года прошло. А как повзрослел! Год передовой засчитывался нам за два, следовало бы его считать за четыре. По карточкам видно, как быстро мы старели. Тогда это пазывалось — мужали.

— Узнали! — сказала опа. — Вот видите.

— Где он? Что с ним?

— Понятия не имею, — произнесла опа, как мне показалось, без особого сожаления.

— Это все его письма?

— Часть его.

— Вам?

— Мне.

— Значит, вы с ним долго переписывались?

— Долго, — опа кивнула, понимая, куда я клоню.

— И чем это кончилось?

— Плохо кончилось,— весело сказала она.— Но это сейчас неважно. Я писала ему как бойцу на фронт,— пояснила она.— Было такое движение. Помните?

— Да.

Я помнил такое движение. Оно приезжало ко мне в госпиталь, это движение, прелестное зеленоглазое движение.

— С ним в частях служил и Сергей Волков,— тем же впушающим голосом говорила она, следя за моим лицом.— Сергей Волков.

— У вас потом с ним что-то произошло?

— С кем?

— С Лукьяновым.

— Ничего особенного. Что вас еще интересует?

— Не элитесь, вы же сами меня раздражали.

— Ничего между нами не было.

Она нахмурилась. Угрюмость ей шла. Недаром Лукьянов что-то нашел в этой особе. Он был ходок и разбирался в женщинах.

— Жив он?

— Не знаю.

— Как же так? — сказал я.

Она сердито мотнула своей черной гривой.

— Почему вы сами не знаете? Вместе восвали, друзья-товарищи, а я должна из вас клещами тащить.

— Да, не помню. Но не вам меня... Где вы раньше были? Явились не запылились, когда все было поросло...— Кажется, я сорвался на крик, сам себя я не слышал, а сужу по тому, как Жанна выпрямилась, с каким надменным выражением слушала меня.— Извините, вы тут ни при чем...— сказал я.— Что вам, собственно, пужно?

— Мне пужно расспросить вас о Сергее Волкове.— Она раздельно вдалбливала в меня каждое слово.

— Повторю, я такого не помню,— так же раздельно ответил я.— К сожалению, я больше не могу отвлекаться.

Она поднялась, захлопнула папку.

— Тогда я вас подожду,— сказала она.

— То есть как это?

— Я не могу уехать, не выяснив.

— После работы я буду занят. Да кроме того, я вам уже все сказал.

— Вы вспомнили Лукьянова, вспомните и Волкова. Я буду вас ждать внизу, в вестибюле.

В кабинете было душно. Посетители сменялись. Я подпи-

сывал бумаги, сочувственно кивал, вздыхал, отказывал, отодвигал бумаги, а сам незаметно растирал пальцы. Стоило мне завестись, как у меня сводило пальцы. Лет пять уже таким образом давала знать себя рапа в плече. Очнулась.

В каморке моей умещались два облезлых кресла, старый сейф, о который все стучались. В сейфе я держал лекарства, девочки прятали туда подарки, купленные ко дню рождения кого-нибудь из них. Полутемная скошенная кобура выдавала с головой однообразие моей работы, да и невидное существование остального копторского оргапзма. Я никак не мог успокоиться. Вместо Жанны представился мне Борис, такой, как на фотографии: чуб из-под фуражки, ремешок со звездой. Борис тоже небось ухмыльнулся бы, отлядев эту дыру и облыселое чучело за столом. Мог бы он узнать во мне лейтенанта, с которым в последний раз встретился на развилке шоссе в Эстонии? Я прогромыхал мимо него на повецком тапке «ИС» — тяжелый, могучий красавец. Колонна наша шла на запад. Я стоял по пояс в башне с откинутым люком. Кожаная куртка прикинута на плечи, а на плечах погоны старшего лейтенанта. Черный шлем, ларингофончики болтались на шее. Мокрые поля, красные черепичные крыши хуторов, неслышимые птицы в небе, слышно кричат и машет вслед мой бывший батальон, слышен только грохот гусениц. Весь мир ждал нас, мы двинулись освобождать его, мы несли ему справедливость, свободу и будущее! Кем только я не видел себя в мечтах! Будущее переливалось, играло всеми цветами. Ну и чего ты достиг, Тоха, спросил бы Борис сочувственно, чего это ты сюда забрался? Эх, Боря, Боря, да разве можно являться через тридцать лет и думать, что все шло по восходящей? Если я был тогда молодцом, то так по прямой вверх и должен был возпоспаться?

— Нет, голубчик, так требовать нельзя, такой номер не проходит!

— Да я с тебя не требую, чего с тебя требовать? — сказал Колесников. — Инструмент ваш как был дерьмовый, так и остается. И за таким дерьмом приходится шапку ломать. Было бы мне куда податься, ты бы меня тут кофеем поил с тортом, дверь бы передо мною открывал, а так я тебя должен в забегаловку водить. Ума много, а все в дураках хожу.

Я открыл было рот, он замахал руками:

— Знаю, знаю. Вы получаете негодный металл, который тоже выпрашивали, станки у вас демидовских времен.

Разговор этот у нас повторялся ежегодно. Колесников единственный из заказчиков, который не боялся мне в глаза бранить нашу продукцию. Он честил ее теми же словами, что и я когда-то на закрытых наших совещаниях. Он единственный из заказчиков, кто позволял себе это, на этом мы и подружились. Он приходил в конце дня, и, сделав все дела, мы отправлялись с ним в «Ландыш». Со временем эта церемония вошла в привычку, мы шли туда, независимо от судьбы его заявок, угощал я — за удовольствие послушать правду о качестве, о котором никто не смел заикнуться. Несколько лет назад я затеял битву за качество и, честно говоря, проиграл ее. Никто меня не поддержал. Упрекали в том, что я не патриот своего производства, что я пятая колопа... Колесников у себя на Урале тоже воевал с туфтой и показухой. Съезженный, тщедушный, бледно-синий, словно бы замерзший, он говорил с пылом, не осторожничая, расстояние между мыслью и словом у него было кратчайшим, безо всяких фильтров; он выдавал то, что было у него на уме, в натуральном виде.

— Я вас жду.

Жанна стояла у подъезда между колопп.

— Но я вас предупреждал. Мы с товарищем Колесниковым договорились,— сказал я.

— Господи, да у нас ничего срочного,— перебил меня Колесников, восхищенно уставясь на Жанну. В светло-сером плаще с клетчатым шарфиком она выглядела эффектно.— Мы всего лишь перекусить собрались,— бесхитростно признался Колесников.

— Я бы тоже не прочь,— сказала Жанна,— я проголодалась, если я вам не помешаю.

— Мне несколько,— поспешил Колесников и посмотрел на меня.

Я пожал плечами.

Малозаметная кафе «Ландыш» не пуждалось в рекламе. Крохотная зеленая вывеска была известна всем, кому надо. Кафе служило прибежищем местным выпивохам среднего слоя, а также обслуживало нашу фирму. Здесь обмывали премии, справляли мелкие юбилеи, обговаривали деликатные дела. Сюда приходили после субботников, перед отпуском, после выговора. Рано или поздно сюда перекаптовывались официантки нашей столовой. В «Ландыше» они быстро менялись — хамели, толстели, начинали закладывать, но нас по старой памяти привечали.

Обслуживала Наталья. В прошлый раз один снабженец

из Молдавии щедро отметил свою удачу, и сейчас она подмигнула мне, вспоминая тот шумный заход. Наталья предложила экстра-меню: бульон, сосиски с капустой, бутерброд с чавычей, кофе и, разумеется, бомбу — шампанское с коньяком. Фирменным в этом наборе был кофе, который варили не в большом чайнике, а в джезве.

Поодаль от нас в ускоренном блаженстве опрокидывали свою порцию в честь конца работы разныя хачурики. Публика сюда жаловала беззлобная, малоимущая, по обильная душой, здесь всегда можно было найти себе слушателя, чье сочувствие бывает незаменимо.

— Это кто же, новая сотрудница? — без стеснения спросила Наталья.

— Моя личная знакомая, — сказал я. — Приехала сюда закусить из Грузии.

— То-то больно симпатичная. К вам в шаругу такая женщина не пойдет.

Исключив Колесникова, Наталья соединила меня с Жаппу оценивающим взглядом, в котором было черт знает что.

Мы ели и пили, Колесников нахваливал Тбилиси, прознес тост за Грузию и грузинок. У них сразу установились легкие, простые отношения.

— В нашем возрасте, когда такая женщина обращается к нам с любой просьбой, это уже счастье, — рассуждал он. — Давайте напомним Дударева, и этот северный медведь расколется. У нас на Урале... — Он нахваливал Урал, нахваливал Грузию, и грубейшие его приемы действовали.

Жанна оттаяла. Ела она с аппетитом, видно было, что проголодалась, и я представил путь, проделанный в Ленинград, хлопоты, очереди, вагонную качку, вагонный коричневый чай (представил именно поезд, а не самолет) — и все для того, чтобы встретиться со мною? Не могло этого быть!..

Она вдруг стала доставать из дорожной сумки баночки, аккуратно закрытые. Баночка с ореховым вареньем — мне. Баночка с вишневым вареньем — Колесникову, по связке чурчхелы каждому, мешочек с печеньем, которое она сама пекла, — мне. Тащила и тащила из небольшой сумки, как фокусник. Я стал упираться — да с какой стати, да зачем, да за что, да я сладкого не люблю.

Она с твердой ласковостью пояснила, что если я не люблю, то жена любит, дети любят и вообще нехорошо отказываться, таков обычай.

— Теперь я буду обязан, — сказал я. — Это похоже на взятку.

— Ха, разве взятки такие бывают? — сказала Жанна. — Вы нас обижаете.

Колесников даже заплодировал. Жанна сложила все подпошения в приготовленные мешочки с видом Тбилиси. Один мешочек — мне, другой — Колесникову, можно было подумать, что все у нее было предусмотрено, все заранее известно.

— Погодите, — сказал я. — Если этот гостинец предназначен источнику информации, то жив замкомполка по строевой части. Он знал всех офицеров. Он в Ленинграде. Давайте с ним созвопмся, я дам телефон.

Жанна помотала головой:

— Мне не источник информации пужен, мне пужны вы.

— Как это звучит! — воскликнул Колесников.

Он преобразился. Присутствие интересной женщины поодушевило его, заставило забыть о бедах бесхозяйственности, проблемах экономики и прочих любимых его темах. И я тоже подумал о том, как давно я не сидел с женщиной в ресторане, и хотя «Ландыш» не был рестораном, все равно было хорошо, хорошо, что не грохотал оркестр, хорошо, что Колесников разошелся и мне можно было помалкивать.

— Весь почет, вся слава и любовь достается фронтовикам, — говорил Колесников. — Мы, которым было пятнадцать-шестнадцать, оказались в тепе, нам достался только комплекс неполноценности. Теперь мне все время приходится объяснять, почему я не был на войне. Мы хватили голода, страха, непосильного труда и взамен ничего не получили. Я мальчиком работал на Челябинском, орудия собирал, только пачал выдвигаться — пришли фронтовики. И так всегда.

— Не завидуйте фронтовикам, — сказала Жанна. — Верно, Антон Максимович?

— Что за страсть оглядываться назад? — сказал я. — Там нет никаких указателей, оттуда нет помощи.

— Скудный человек, не ценит вас. А вы слушаете его, а не меня. Потому что он фронтовик... Я понимаю, господа, я вам мешаю. Жанна, опровергните меня.

— Зачем опровергать? — сказала она. — Вы тонко чувствующий человек.

— Выставляете? Учись, Антон, как можно изящно выпроваживать людей. Но прежде я хочу выпить за жепцип. Они выше нашего понимания. Логикой их не вскрыешь. Им лучше ввертяться, идти за женщиной, как за охотничьей собакой, она тебя приведет.

Жанна прищурилась так, что Колесников смутился и выпил свою рюмку не чокаясь.

После ухода Колесникова я налил себе полфужера шампанского и долил коньяком. Этого должно было хватить.

При Колесникове все было проще и легче. К счастью, Жанна больше не спрашивала про Волкова. Она показывала мне письма и открытки Бориса. Их было много. Они могли составить целый сборник, книжницу типичных лейтенантских писем. Я сразу подумал о своих письмах той девице, забавно, если они у нее сохраняются, перетянутые такими же резинками от лекарств.

Первая открытка, написанная химическим карандашом, гласила:

«Привет с Ленинградского фронта! Здравствуйте, Жанна! Вы с удивлением возьмете эту открытку... Невольно подумаете, кто ж это написал. Объясню. Я увидел Вашу карточку у моего друга по борьбе с немецкими оккупантами Гогоберидзе Аполлона, Вы его хорошо знаете, и я не мог ее выпустить из рук. Не отрываясь я смотрел на Вас. Кровь закипала в жилах, смотря на Ваши прелестные черты...» И дальше катил в том же духе. Не мудрствуя лукаво, он брал быка за рога: «Эта открытка является залогом к дружбе с тобой, Жанна, много писать нет необходимости, т. к. нет ясности в нашей связи».

Начал на «вы», кончил на «ты».

Писарский, ровцо бегущий, без помарок почерк.

«Здравствуй, милая Жанна! Отвечаю на твое письмо, не задерживаясь ни минуты. Я живу в настоящее время в горячих условиях войны, переднего края фронта... В конце своего письма ты вскользь намекнула о воздушных поцелуях. Ты глубоко ошиблась. К сожалению, мне некому их посылать. Товарищей очень много, а друзья все моего пола. И если ты так холодно приняла мой скромный дар, то это твое личное дело, и впредь я буду более благоразумный. Аполлон находится от меня в некотором отдалении. Все-таки, Жанна, я крепко надеюсь и с нетерпением жду благоприятного ответа и фото».

— Зачем вы их хранили?

— Не знаю. Может, для сравнения.

— Сравнения?

— Вы читайте.

— Кто это, Аполлон?

— Гогоберидзе. Может, помните? Высокий красивый мальчик с усиками. Он почти рядовым был. У него тре-

угольщик был пли два.— Опа помолчала.— Женнх оп был моей подруги. Мы втроем там па фото: Нипо, я и он.

— У вас есть эта фотография?

— Где-то была...— Опа стала перебирать бумагн.— Аполлон вскоре погнб. Его тяжело раппло в паступлеппн в октябре сорок второго года. И он умер через три дня.

— В октябре сорок второго? Что за паступлеппе? Наверное, в сентябре.

— Нет, в октябре. Это точно.

— Не могло этого быть!

— Вы сами сейчас прочтете. Тогда прншла официальная бумага.— Опа смотрела на меня с подозрппем.

— Ладно, разберемся,— сказал я. Что-то тут было не так, но я не стал торопиться со своей правотой.

«Получил твое длинное письмо. Мне очень понравилось, как ты прямолинейно и действительно жнзненно ответила на мои вопросы. Раз я могу падеяться, мы должны продолжать переписку и возможно лучше узнать внутрппний мир друг друга. Правда, я не пмею пока возможности писать подробно. Фотокарточку прншло, как только спнмусь, т. е. смогу отлучиться с передовой. Национальные отличия меня нисколько не смущают, я сужу по Аполлону, с которым мы в оч. хор. отношениях. Я вообще не знаю, какую роль может играть национальность в любви. Аполлон сильно рапец, не знаю, куда его отправили и жнв ли он. Пнши чаще, письма дают моральную поддержку».

У нас в роте были узбекн, двое, это я точно помню. Они говорили между собой по-своему. Поэтому и помню. А других национальностей не помню, мы тогда пачисто не ннтересовались этим вопросом.

— Жаль, что нельзя прочитат ваши ответы,— сказал я.

— Они к делу по относятся.

— К какому делу?

— К моему.

Наталья прнпесла еще кофе.

— Вы мне морочите голову,— сказал я.— Так же, как морочил бедному Борису.

— Откуда вы знаете, что я морочила. Он вам рассказывал?

— Нет, об этом легко догадаться.

— Неизвестно, кто кому морочил. Разве вы не видите по его письмам? Он не вкладывал ни труда, ни трепета.

— Трепета? — Это слово меня озадачило. Наверное, я

никогда его не пропало. Интересно, был ли трепет в моих письмах? — А вы?

— А я... Я считала, что помогаю фронту.

— Ничего себе помощь.

Взгляд ее похолодел и отстранил меня, отодвинул куда-то вниз так, что она могла смотреть свысока.

— К вашему сведению, я днем ходила в институт, а вечером работала в госпитале.

— Кем же вы работали? — спросил я, еще не сдаваясь.

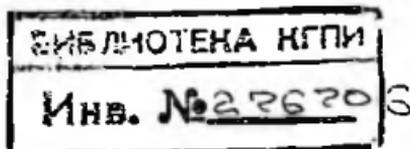
— Санитаркой.

— Тогда ладно, — сказал я. — Санитаркам доставалось.

— Колесников прав, у вас фронтовое чванство... Вот та фотография.

Две девочки в довоенных белых платьях сидели на скамеечке в парке, у цветущего олеандра. Над ними навис мальчик — вытянутый, нескладный, какими бывают в отрочестве, когда не поспевают за своим ростом. Крохотные ушки темпели под горбатым посом. У одной девушки коса кинута на грудь, другая была подстрижена, с ровной челочкой, и смотрела она, в данном случае на меня, с восторгом и смущением, будто слушала признание. Это была удачная фотография. Когда-то я занимался фотографией и знаю, что такой снимок — счастливая случайность, подстреленное влёт мгновение. всех трюх соединяло что-то старомодное. То ли выражение лиц, то ли поза, не берусь определить, во всяком случае довоенное, присущее тем годам. Я давно заметил, что каждое время накладывает свое выражение на лица. В школьные мои годы у нас висели портреты родителей отца. Я не знал их живыми, но любил смотреть на их нездешне-спокойные лица. Такие лица сохранились в картинных галереях.

Как бы там ни было, та Жанна привлекла внимание нашего старея. С нынешней Жанной сходства оставалось немного. Все огрубело, закрылось. Время вводило от той девочки, предназначенной для любви и счастья, вводило от замысла природы в печали и горести. Были, конечно, и радости, и труд, и подарки судьбы, по сей час, глядя на эту грузную властную женщину с тяжелым подбородком, с бесстрастным, ловко подкрашенным лицом, умеющую скрывать свои чувства, думалось только о потерях. Может, жизнь в чем-то подправила тот давний замысел судьбы? Вряд ли. Картина, задуманная художником, поверняка лучше той, что написана. Годы, если что и подправят, то обязательно под общий манер...



Она хладнокровно позволяла себя сравнивать с той девочкой, что побуждала старшего лейтенанта к столь пылким заходам. Она не скрывала своих морщин, набухших мешков под глазами. Я мог отплатить ей за усмешку, с какой она уставлялась на меня в кабинете.

Она вдруг кивнула мне:

— Вы правы, — и во тьме ее глаз вспыхнул огонь, что горел в распахнутых глазах девочки на фотографии, на какой-то миг обнаружилось их несомненное родство. Конечно, годы пельзя победить, но она не чувствовала поражения. И, может, это самое главное в нашей безнадежной борьбе?

«Здравствуй, милая Жанна! Твою фотографию я поместил между плексигласовыми пластинками, чтобы не пострепать, т. к. я часто смотрю, она мое утешение. А настроение неважное, Аполлон умер. Он нал смертью храбрых вместе с тем, кто погиб в нашем наступлении. Он участвовал в уничтожении фашистской группировки. Мы держим оборону, несмотря на все усилия противника. Фотокарточку пока выслать не могу, сама понимаешь почему. Я пока жив и вполне здоров; очевидно, судьба улыбается и хочет, чтобы мы с тобой встретились. Она хочет, чтобы я взял тебя в объятия и прижал к груди. Смысл нашей переписки должен быть не пустой тратой времени и флиртом двух представителей молодежи, а искренним чувством, которое обязательно превратится в прямую идеальную любовь. Пиши чаще, не забудь Бориса, если хочешь быть с ним!»

Я опять посмотрел на фотографию в парке, на топольного грузинского мальчика под олеандровым кустом. Наверняка я знал его, но внутри ничего не отозвалось. Разве только ошибка с датой в письме Бориса кое-что вызвала в памяти, но об этом я не стал говорить.

Борис и впрямь строчил не раздумывая. Временами я еле удерживался от смеха. По прошествии лет в письмах выступал павет пошлости, которого раньше могло и не быть.

— Там еще есть, где про меня?

— Есть, есть.

По каким-то своим пометкам она быстро нашла письмо с подчеркнутыми строками: «...прочитал нашему Тоше там, где ты опровергаешь его рассуждения о любви. Он, конечно, стоит насмерть, но просил передать, что стихи ему понравились. Между нами, он сам стал переписываться с одной москвичкой. Она быстро вправит мозги этому бычку».

— Какие стихи? — спросил я.

Жанна не помнила. Мы оба всматривались в пустоту, я

никак не мог оживить эту сцепу, где Борис мне читает из письма Жанвы. Выходит, мы спорили, я о чем-то думал, куда ж это все подевалось, где искать следы? Но все равно, выходит, мы с Жанной давно знали друг про друга.

— Вот видите,— сказал я,— даже вас подводит память.

— Так это мелочь, эпизод,— сразу ответила она.— Если вы вспомнили Лукьянова, то Волкова тем более. Я приехала к вам из-за него.

— А что с ним?

— Нет смысла рассказывать, пока вы не вспомните.

— Кто он был по должности?

— Полятия не имею. Он инженер.

— Это на гражданке.

Она протянула мне большую фотографию. Я смотрел на снимок, чувствуя, что она следит за моим лицом. Логика ее была проста: раз я вспомнил по карточке Лукьянова, то должен вспомнить и Волкова, они служили вместе, это ей точно известно, следовательно, я знаю Волкова.

— Может, и знал. Разве всех упомянешь? Столько лет прошло. Кто вам Волков?

— Никто.

— Никто,— повторил я, взгляды наши столкнулись, словно ударились. Я постарался улыбнуться.— Тогда невезенька потеря.

Она чуть вздрогнула, пригнулась. Мне стало жаль ее.

— Жанпа, я не знаю, зачем вам это нужно,— как можно безразличнее начал я,— и не хочу вникать. Не ворошите. Не настаивайте. Поверьте мне. Как сказал один мудрец: не надо будить демонов прошлого.

Она смотрела исподлобья, подозрительно.

— Чего вы боитесь?

— Мне печего бояться.

— Эх вы... Я-то на вас надеялась. Вы знаете, кто вы?

— Не будем. На меня это не действует. Я знаю о себе больше плохого, чем вы можете сказать.

— Но вы не должны так, не должны. Если вы знали его, то как вы можете...— Злость сделала ее старой и некрасивой. Она была не из тех женщин, что плачут. Губы ее скривились.— Глупо и унижительно просить об этом...

Она допила кофе, вынула зеркальце, принялась постанавливать краски. Она прodelывала это без стеснения, один карандаш, второй карандаш, и снова она была прекраснo-угрюмой, с диковато-чувственнoм лицом. Я ждал, что она скажет. Если бы она хотя бы улыбнулась мне, хотя

бы спросила: ну а вы-то, Тоха, как вы поживаете? Или что-нибудь в этом роде. Но я не существовал, я был всего лишь источник информации, который оказался несостоятельным. Поставщик пухлых сведений. Только для этого я и требовался всем — уточнить, найти резервы, подсказать, кому сколько, составить график. Никто не виноват в том, что я сам куда-то подевался. Жена моя была единственным человеком, которого интересовало, как я, что со мною. После ее смерти уже никто не спрашивает, что со мною творится. Считается, что если я хожу на работу, то со мною ничего не происходит.

Аккуратно завязав папку, Жанна уложила ее в сумку.

— Здесь что, одни письма Лукьянова? — спросил я.

— Его и Волкова, — ответила она без интереса.

Я рассчитался, мы вышли на улицу. Жанне надо было на метро, я провожал ее через парк. В воздухе густо и беззвучно летал тополиный пух.

— Что ж, вы так и уедете?

— Посмотрим, — сказала она с неясным смешком.

Мы почти дошли до метро, когда я неожиданно для себя попросил ее дать мне эту папку до завтрашнего дня. Почитать. Может, что-то вспомнится.

Она несколько не удивилась.

— Конечно, берите. Если что — позвоните, там записка с моим гостиничным телефоном, — преспокойно сказала она.

— А как вам вернуть?..

— Завтра в двенадцать часов подъезжайте к Манежу, вам удобно?

Я несколько растерялся, похоже, что у нее все было предусмотрено. Полагалось бы пригласить ее в свой дом, но когда я заикнулся об этом, она сказала:

— Лучше, если вы завтра поведете меня по городу. Я хотела кое-что посмотреть.

Она отдала мне папку, распрощалась, не благодаря и не радуясь, и скрылась в метро.

## II

Почти год дощатый мой домик простоял на замке. В комнате накопилась тьма и сырость. Я открыл ставни, затопил печь. На столе стояла черпильница и открытая жестянка с карамелью. Откуда здесь эта карамель? Я не люблю карамели. Но, кроме меня, никто не мог сюда зайти. Я не приезжал на свой садовый участок с прошлой осени. И зи-

мой не был. На подоконнике лежала дощечка с красным кружком, парсовавшим масляной краской. Опять я ничего не мог вспомнить. Конечно, я сам рисовал этот кружок, но зачем? Все в доме оставалось по-прежнему. Кочергу пришлось поискать. На стуле висела моя сипья фланелевая куртка. Я совсем забыл о ней. В шкафу увидел справочник машиностроителя, мне его не хватало всю зиму. Вот он где, оказывается. Я прошел на кухню, привыкая вновь к своим вещам. Одни припомнились быстро, другие не сразу, а были и такие, вроде этой дощечки. И карамель тоже не вспомнилась.

На участке висел умывальник. Я поднял крышку. Внутри было сухо, лежала хвоя и какие-то личинки. Ворот колодца прованительно скрипнул. Я вытянул ведро, палил в умывальник, взял сипий обмылок, пересохший, треснувший.

Крыльцо покосилось, доски подгнили, все собирался менять их, да так и не смел. И желоб под умывальник проложить. Наверное, и в этом году не сделаю. Прошел уже тот возраст, когда утром кажется, что за день все успеешь — и то, что не доделал вчера, и еще столько же.

Я обошел участок. От выгребной ямы шла вонища. Когда-то я хотел ее отделить твоей, заборчик такой живой насадить.

Все на участке одичало, заросло. Грядки расплзлись. Хотел еще посадить клены, серебристые елки, но посадил только два куста сирени. Сирень разрослась. Смотреть на нее было неохота, она напоминала о несделанном, лучше бы не было этих кустов.

В доме потеплело. Я выложил на стол оранжевую папку, пошарил в шкафу, нашел банку сгущенки, сварил себе кофе, но, вместо того чтобы приняться за письма, лег на диван. Там валялась книжка про вселенную. Я стал ее читать, и оказалось, что когда-то я ее уже читал. Вспомнил по рисункам. Немного нам остается от прошлого. Каким я был год назад, когда лежал на этом диване и читал эту книжку? И зачем-то устал, и что-то было с карамельками. Приходила сюда женщина, с которой было так хорошо, и вот расстались. Все это теперь забылось, стало непонятным. Непонятно, почему надо было расстаться?

А если бы я убрал карамельки, выбросил их, то и этого я бы не вспомнил и сидел бы тут, как будто ничего и не было.

Письма Бориса были пропумерованы, сложены в стоп-

ки, стопки перетянуты резпками, пишем много. В сорок втором, сорок третьем годах переписка с Жанной шла энергично. Он отвечал, как правило, немедленно, слал много кратких открыток, неизменно пылких и папористых. Его энергия удвляла. За первую блокадную зиму мы так отощали и паголодались, что никакой мужской силы не осталось в наших слабых телах. Хватало лишь воли исполнять самое необходимое — стрелять, проверять посты, помогать чистить окопы от снега. В апреле к нам приехали шефы из Ленинграда, работницы швейной фабрики. После ужина, разморепные сытостью от пшенного концентрата, сладкого чая с огромными флотскими сухарями, женщины упусти в наших землянках. Они раскинулись, нежно посапывая, на паших парах, покрытых коричневым бархатом. Мы сидели у печки, умиленные своей бережностью. Никто не пытался их притиснуть, подвалиться к ним. Мысль такая не возникала. Правда, и маикости в них не осталось. Груди, например, начисто исчезли. Разумеется, бабье устройство сохранилось, а вот не тянуло. Не было желанья, никаких желаний, кроме как подхартчиться и в баню сходить. Много еще месяцев снов томящих не снилось, разговоров про баб не было... Откуда у Бориса брались пыл, страсть? Сыпал ей стихами, долго не выбирая, брал из песен:

Я пришел немпожечко усталый,  
И на лбу морщинка залегла,  
Ты меня так долго ожидала,  
Много слов горячих сберегла.

Все больше о встрече, в тот Великий День, после победы. Встреча и Победа у него соединялись в одно прекрасное Однажды. Судя по письмам, при встрече должно было произойти нечто неслыханное. Вначале, конечно: «Прижать к груди и сказать: ты моя!» После этого мир озарился огнями, играли оркестры, пели соловьи, растянулся зеленый шелк лугов, солнце не уходило за горизонт, одновременно светила луна — и сразу всеми фазами. Они без конца целовались. Не могли наглядеться. Стояли взявшись за руки и в то же время лежали на высокой кровати.

Из месяца в месяц Борис не уставал расписывать радость Встречи. Он не замечал, что повторяется и становится однообразным. Потом в топе его восторгов появилась некоторая озабоченность. Она нарастала. Если бы что-то его смущало в письмах Жанны, он бы спорил, цитировал как-то фразы. Нет, беспокоило нечто другое, но что именно, я

не мог понять. Зачем-то Борис требовал от нее все новых обещаний. Добивался заверений в верности, хотел заручиться — что меня ждет, когда я приеду к тебе? Хочешь ли ты быть моей? Он требовал определенности, требовал гарантий, настойчиво, мнительно. Удивляла его расчетливость, вроде он не такой был. Вытащил меня с пейтрапки, когда я зачепел, двигаться не мог, рискнул, хотя не обаян был. На передке, правда, осторожничал, не стыдился ползти в мелком окопе, зря не подставлялся. Чего ради он так добивался заверений, как будто они обеспечивают любовь? В ответ на расспросы Жанны он написал о Волкове, впервые упомянул его: «Да, я его знаю, короткое время жил с ним в одной землянке. Адрес твой он взял у Аполлона. Вида моя. Видишь ли, я не удержался, рассказывал о тебе, показал твою карточку, прочел отрывки из твоих писем. Поделлся в минуту откровенности. Не знаю, что он тебе написал, но ведет он разговоры о жещипах не в моем вкусе. Воззрения его на жизнь не по мне. Я человек прямой и ценю откровенность, а не подходы. Что мне пужно, пишу прямо, интимными церемониями не занимаюсь, паутину не раскидываю. Длинные письма, Жанна, я не пишу, я предпочитаю писать короткую правду, чем длинную ложь. Вывод сделай сама».

Собственно, с этого началась та житейская история, что росла по извечным законам любви и ревности среди посписта пуль и осколков, между боями местного значения, проходами в спиралах Бруно и минными полями, под гулом бомбардировщиков, летящих на Ленинград.

В следующий раз о Волкове он написал злее, хотя, по моему взгляду, все же сдержанно, мог бы выставить его похуже... Но тут я обратил внимание на записку, приколотую к письму. Свеженько-белый листок, на нем знакомым сочно-красным фломастером написано: «Прошу Вас, читайте по очереди письма Волкова и Лукьянова — так, как я их получала. Ж.».

Будто угадала, что я предпочитал Борины письма, что в письма Волкова я не собирался заглядывать. Выходит, все у нее было предусмотрено — и то, что буду читать перепску, и то, что папка окажется у меня дома, и то, что надо подсказать. Я вспомнил, как она преспокойно передала мне папку, словно знала, что в конце концов я сам ее попрошу. Не очень-то приятно, когда твои действия просматриваются наперед, оказываешься примитивным устройством — такая заводная игрушка зеленая лягушка.

Волковских писем было много — три увесистых пачки. Пронумерованы, разложены по порядку, с тем, однако, отлечем, что письма его истерты на сгибах, помяты, их, следовательно, пересчитывали, носили в сумочке, в кармане. Я разложил их на столе — нечто вроде пасьянса: письмо, открытка, конверт зелененький, конверт серенький. Аккуратно-печатный почерк, каждое слово вырисовано. Ох, как же хотелось мне братья за них! Не мог заставить себя. Встал, вышел на крыльцо.

Вечерний птичий гам бушевал в пахучей зеленой теплице. Вот где буйствовала жизнь. От заброшенности, неухоженности участка жизнь выигрывала, прибывала. Всюду громоздились кротовые грудки вывороченной земли. Дорожки заросли, расплозились, захваченные повилкой, диким горошком. Я смотрел в небо, которого нет в городе, стараясь войти в покой этого вечера. Птицы не занимают воспоминаниями, думаю я, они коют, переговариваются, поглощенные счастьем и насущными заботами, и крот знает лишь настоящее и будущую зпму. Он куда мудрее человека, всегда по пояс погруженного в свое прошлое.

Эти блестящие мысли меня теплили, но не помогали. Я все больше уходил в прошлое, как в трясицу. Чугунное лицо Волкова, оживленное фотографией, приблизилось вплотную. Обритая наголо круглая шишковатая голова напоминала бюсты римских императоров из черного мрамора, что стояли в Камероновой галерее. Пули цокали по ним, не оставляя следов. Голос его тоже звучал чугуново-звонок: «Читать чужие письма, лейтенант Дударев, это подлость!» Слово «подлость» звучало невыносимо, как «подлец». Все сработало автоматически, я размахнулся дать ему по морде, но он перехватил мою руку, вывернул так, что я вскрикнул от боли. Волков был куда сильнее меня, по то, что я вскрикнул, было удивительней, чем его слова.

После бомбежки я нашел у развороченной землянки листок. Я не сообразил, чья это землянка, поднял листок и стал читать, сперва про себя, потом вслух, потешаясь над чьей-то любовной дребеденью. Это была разрядка, и все обрадовались возможности похотеть, когда подошел Волков. Моя шутка обернулась серьезным скандалом. Я кинулся на него с кулаками, он отшвырнул меня — все это в присутствии бойцов! Я схватился за револьвер. Меня оттащили. С этого дня я возненавидел Волкова. Потом было всякое, на передовой друг без друга не обойдешься, но обиды засела во мне прочно.

Какие каверзы подстраивает жизнь! Зачем ей понадобилось через столько лет подсунуть мне его письма?

Я вернулся в комнату, оставил дверь открытой в сад, в шорох молодых листьев, в неутрахающий птичий шум, непонятный нам разговор о чем-то. Я сел за стол. Что в них, в этих волковских письмах? Во мне все напряглось, как в детстве в ожидании наказания. Кроме той несостоявшейся драки было потом куда более серьезное. Не за этим ли пожаловала ко мне Жанна? Потребовать ответа! Все же существует, значит, закон возмездия. Давно уж занимало меня его действие. Он то подтверждался, то нарушался, но я считал, что это не нарушение, а мое незнание, потому что действие его могло быть скрытым, неизвестным мне. Рапо или поздно зло должно наказываться. Не всегда воздается виновнику, может воздаться его детям, потомству, по какое-то равновесие природа должна восстановить. Если справедливость не сумеет восторжествовать, тогда она зачахнет, тогда человеку не на что надеяться. От школьных лет остался мне невнятным эпитаф к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и аз воздам». Что он означает? Кроме божественного — уловлен ли тут закон, по которому творится суд над нами?..

Первое письмо было про то, как Волкова поразила фотография Жанны: «Как выстрел в упор из ракетницы!» Фотографию Борис выпросил у Аполлона и повесил ее над парами. (А про выстрел я вспомнил — был у нас случай: кто-то в землянке выстрелил из ракетницы, действительно ослепнуть можно.) Увидел Волков карточку, Борис ему прочел кусок из письма, прозвело все это впечатление сильное — «беззащитностью Вашей, опасно соединенной с отзывчивостью и умением чувствовать тонкости, нам недоступные». Читать было нелегко, такие он крепделя завывал: «Теперь стоит мне закрыть глаза, появляется Ваше лицо. Я изучал каждую его черточку. Вижу милую расслабленность губ, восторг жизни в глазах. Я убеждал себя, что навоображал, но теперь знаю, что Вы существо необычное...»

Строчки эти неприятно резали меня. Напыщенные выражения каким-то образом совпадали с моим собственным впечатлением.

Жанна ответила. Она охотно отвечала тому и другому. Переписка пошла параллельно — у Бориса своя, у Волкова своя. Разница состояла в том, что Волков про свою скрывал.

От чтения их писем попеременно чувствовалось, как нарастало соперничество. Поначалу преимущество имел Борис. Бурные его признания подействовали. За ним было первенство, он имел фору. Кроме того, Волков явно переборщил. Ответ ему, очевидно, пришел суховато-колкий. Я сужу по тому, как он смешил стиль своих писем. Отшутился: полагал, что сумеет воспеть ее по-восточному, в духе Руставелли, но — «с чужого голоса не пой, свой сорнешь». И дальше без выкрутасов, пропично припаялся рассказывать о себе. О чувствах ни звука, о фронтовых наших перипетиях общими словами отделивался, как и Борис, петоропливо разглядывая прожитые годы, как бы издалека, по ту сторону рубежа. Письма его, признаю сразу, читались. Дело заключалось не в литературности, я не большой охотник до беллетристики, он заинтересовал меня своей судьбой. Обстоятельно и серьезно излагал он историю своей жизненной борьбы. Он был старше нас всех. Намного. Лет на пятнадцать. Совсем из другого поколения. Хотя по виду такой разницы не чувствовалось. Голодуха всех подравняла. В тесных, задымленных наших землянках, в окопной зиме, закутанные, замерзшие, измученные спешными заносами, ночными тревогами, пехваткой патронов, минометными отрядами, от голодного деволюства, мы возрастов не различали. Тем более что Волков выделялся силой. В феврале, в самое голодное время, он в одиночку тащил ящик с противоположными минами. Судя по некоторым деталям жизнеописания, было ему лет тридцать пять. Он описывал тот слой жизни, который мне был неведом, в промежутке как бы между моим отцом и мною. В письмах его, конечно, различался умысел. Ему хотелось заинтересовать Жанну своей особой. Я раскусил это сразу, но Жанна, казалось, не замечала, ее смущала методичная маперка изложения, анализ своей жизни, который производил Волков вроде бы специально ради нее. Но он выдерживал свою линию.

«Слишком взрослый мужчина пишет девушке слишком умные письма. С какой стати? А если я других не умею? У вас просквозил намек, будто я цеголяю. Давайте условимся, что мое умничанье — средство от моего непомерного аппетита. Мои мозги с помощью писем к Вам усмирят мучку пустого желудка. Так что отнесите все излишества за счет желудка. Есть и другое соображение. Игривость — вещь легкая. Бойкость, пахальство всегда выигрывают. Здесь меня тоже попрекают, обзывают умником. И пахальству не правится. В самом деле, почему я такой? Не

знаю. Пробовал прикинуться чушкой — выходит фальшиво. Уж лучше оставаться каким есть. Может, моя биография виновата. Когда мне было 12 лет, весь наш класс отправился в кино, и я захотел. Нужно было двадцать копеек. Я спросил у отца. Он сказал: заработай, а у меня не спрашивай. С тех пор я ни одной копейки ни у кого не получал. Все сам зарабатывал. Видите, до чего всерьез я воспринял слова отца. Наверное, слишком. Он у меня был весовщик, мать прачка. У отца образование четыре сельских класса, мать неграмотная, и они призывали жизнь в труде, а не в образовании. Так как в кино я ходить хотел, то стал работать подручным у монтера. В 1920 году было голод, и я попал в колонию».

А мы числили его чуть ли не профессорским сынком! Он держался церемонно, строил из себя интеллигента.

«...Мы аккуратно обследовали помойки, куда из столовых выбрасывали головки от вобл. Воровали из кладовых продукты. Взламывали замок либо окно, мальчюкам хватало щелки. Тащили сухари, сахар, прятали на кладбище Александро-Невской лавры. Днем делались, вечером шла на промысел другая тройка. Но все же я нашел в себе силы продолжать учиться, стал молтером. В последних классах я самостоятельно брал подряды на проводку освещения и зарабатывал деньги. Мои одноклассники казались мне детьми».

Я вдруг вспомнил, как в школьные годы мы с приятелем зарабатывали починкой электрических звонков. Он снимал испорченные и устаивал чинящие, а я зачищал контакты прерывателя, заросшие мохнатой пылью, менял катушечки. Надоело у матери попрошайничать, и мы с охотой работали. Дети любят работать. Но мне было лет четырнадцать.

В другом письме Волков рассказывал, как его потянуло к музыке. Тайком от отца он стал брать уроки «фортепианной игры» у одной старушки. Потом это открылось, произошел скандал. Были годы нэпа, была безработица... Я привык, что то время изображалось в кинофильмах только как время изманов и бандитов, ресторанных разгулов, частной торговли. Нэповские времена казались более древними и темными, чем дореволюционные годы, о которых я знал по книжкам. От той скоротечной поры ничего не осталось. Ни обычаев, ни мемуаров, ни памятников, ни героев. Нэп как бы отпал, начисто отрубленный, только песенки, что

напевала мать, какие-то романсы, мелодии без нот и пластинки — колыхание воздуха.

Волков брался за все, ловчил, чтобы устроиться в той простой жизни. Окончил какие-то курсы Доброхима, стал читать лекции. Что за лекции мог читать пятнадцатилетний парень — не представляю. Зарабатывал деньги чем придется, не гнушался никакой работой, не было тогда работы непрестижной. «Химию я любил? Любил. Травил крыс в кооперативах и частных лавках. Научился. Стал авторитетным крысомором. Работал каменщиком — бил камни для мостовой, сидел на дороге, обмотавши колени портянками, между ног камень. По вечерам чертил диаграммы лекторам. Опять деньги! Музыку я любил? Любил! Слух есть? Есть! У соседки был рояль, я по слуху разучил танцы того времени — падеспаць, миньоп, падекатр, шимми, вальсы, фоксы, песколько ходовых песенок:

Смотрите, граждане, какой я эlegantный!  
Какой ви-ви, какой ка-ка, какой пикантный!

Стал тапером на вечеринках, на тацульках. Деньги, плюс к этому — накормят. Я пить не пил, пил одной рюмки. Из-за этого и бросил выгодную таперскую специальность, уж больно приставали. А то бы так и остался бречалой».

Действительно, Волков не пил. Единственный из офицеров полка, кто отказался принимать положенные зимой сто граммов водки. Демонстративно отказался. Его пробовали высмеивать — он принципиально выставил: мол, во время первой мировой войны русские солдаты сражались без всякой водки и хорошо воевали, водка не помощник и так далее. Был в этом как бы упрек нам. Многие возмутились: не чересчур ли берете на себя, товарищ лейтенант, приказ паркома не по вкусу? Предлагали ему выменять свою водку на табак, на шпроты; в конце концов, не хочешь пить — отдай желающим. Найдутся. Ни в какую, уперся в принципе. Хорошо, что комиссар, мудрый мужик, перевел проблему на калории, в паших блокадных условиях водка — хлебово, дополнительное питание, слава этому замечательному приказу...

«Из таперов ушел в дворники, поливал улицу кишкой».

Из дворников — на курсы слесарей при Институте труда, оттуда — на курсы чертежников. Устроился чертежником на завод. Сокращение. Опять взяли чертежником...

Я все ждал, когда он приблизится к тому Волкову, ко-

тогого мы знали. Пока что пеустроенный паренек двадцатых годов изо всех сил карабкался, пытаея найти себя, добраться туда... А собственно, куда? Куда мы карабкаем-ся в молодости? Его мотало — то к деньгам, то к стоищей спецпальности. Тянуло, согласно ажпотажу времени, к богатству, тянуло и за трубным призывом эпохи — учиться.

«У нас с Вами, Жаппа, одинаковые уставки. Вы малым не хотите удовлетвориться. Мне полюбилсь эти Ваши слова. Я тоже всегда хотел самого большого для себя».

Накопец я хоть на чем-то поймал его. Фраза эта могла свидетельствовать о тщеславии. Не совсем то, чего я искал, но и тщеславие годилось для моей неприязни к Волкову.

Письмо Бориса имело ту же дату. Сидя в соседних землянках, они писали свои письма, наверное, после ужина, когда стихал обстрел, темпело, можно было растапливать печь. За день землянку вымораживало так, что пальцы не слушались, ложку кулаком держа, не то что писать. Землянки у нас были низкие. Борису приходилось голову пригибать. Низко, тесно, а уютно. Вернешься с наряда, с усталости завалишься на пары. Кто-то спит чинит гимнастерку, кто-то автомат смазывает. Малиново-бархатно светятся раскालенные бока печки. Кресло коленного стопа, которое притащили из разбитой церкви. И стопа оно, между прочим, на дощатом полу. Был в одной из моих землянок дощатый пол. Запомнился! Да, еще топор лежит в головах, чтоб не сперли. Топор драгоценнейшая вещь в окопной зимке.

«Добрый день, милая Жаппа! Получил твое письмо и две фотокарточки. Радости не было граппа. Честно говоря, я думал, что вряд ли получу от тебя (будем на «ты» называть друг друга, кажется, есть у Пушкина «сердечное ты, пустое вы», так, Жаппа?) что-либо подобное. Я надеюсь, что ты сердиться не будешь за то, что я назвал тебя милой, — иначе говорить не могу. «Любовь твоя запала в сердце глубоко». Настроенные прекрасные, хочется жить, бороться и приблизить час, в который мы с тобой, Жаппа, должны встретиться. Ответь мне на один вопрос, который все объяснит: что меня ждет, если когда-либо я приеду прямо к тебе? Стопа ли мне думать о нашем будущем? Мы с Аполлопом были в Ленинграде. Смотрели «Три мушкетера» А. Дюма, надеюсь, ты его читала».

Тут Борис промашку дал, обращается, как с девочкой, снисходительно, Волков себе этого не позволяя, он писал в

полную силу уважения, может, нарочно преувеличивал, и паверняка Жанше это льстило. Прервав свою биографию, он разбирал биографии великих людей, которые служили ему примером. Один из любимых был у него Эдисон. Тоже рабочий паренек, без всякого образования, взмыл исключительно за счет таланта плюс коммерческая хватка. Насчет таланта Волков не беспокоился, он думать не хотел, что ему отпущено меньше, чем другим. Эдисон имел к двадцати годам три изобретения, Волкову семнадцать, у него к двадцати годам будет не три, а пять изобретений! Не в тщеславии была беда, тщеславие чисто мальчишеское, беда в том, что он совершенно всерьез, без шуток относился к своему соперничеству с Эдисоном. Высокое мнение о себе осталось у него и на фронте. Высокомерие можно было попрекнуть Волкова, по тщеславию не стоило, потому что нечто подобное происходило в семнадцать лет и со мною. Я ведь тоже увлекался Эдисоном. Папанин, Графтин, Чкалов были в моем списке, и был Эдисон, который спал пять часов в сутки и за какую бы задачу ни брался, все у него получалось... Привязанности наши совпали, меня это и злило, и радовало.

Прочитав в журнале «Наука и техника» о почтовой связи между Парижем и Лондоном, Волков взялся совершенствовать ее и разработал устройство «для приема световых сигналов с летящего самолета». Наверняка туфта, папелел, по Волков привел в письме номер патента — 4467, сообщил, что вышел отдельной брошюрой в издании Комитета по делам изобретений при СНК СССР. И о следующих изобретениях тоже сообщал номера — по памяти, что ли? Стоило мне усомниться, он сразу давал ссылку. Мог и в этом махлять, по я чувствовал, что не врет, все точно. В 1927 году опубликовал в таком-то номере такого-то журнала статью об изобретателях-самоучках. Успех воодушевил его, он принялся выступать по радио. К тому времени он устроился на должность конструктора. Изобретателей, имеющих патенты, биржа труда обязана была направлять на работу вне очереди. Действовало такое правило. Он мог выбирать и выбрал завод, где больше платили. У него на видивении были мать и племянник, отца которого зарубили колчаковцы. Про деньги описывал, как пытался тратить их с шиком — после танцев отвозил девиц на пьезочке и одаривал кульками конфет. Публикация в журнале вскружила ему голову, он решил стать писателем. Все могу! Его приняли в литературный кружок при журнале «Резец» — самое луч-

шее, как он подчеркнул, объединение молодых писателей города. И музыку он стал сочинять — в 1929 году исполнил на радиостудии собственную композицию «Наводнение в Ленинграде». По поводу пятилетия наводнения 1924 года. Отмечались и такие события. «Средним писателем я бы мог стать. Я в этом убедился. Модным, успевающим наподобие Паустолевича Романова, Льва Гумилевского, Сергея Семенова. Но ничего среднего я не принимаю. Кому нужен средний писатель?»

И Волков поступил в Технологический институт. Вечерами он зарабатывал на чертежах, по выходным посещал Университет культуры, рано утром, до занятий, бежал на стадион. Он хотел всего сразу, всюду преуспеть. Он слушал лекции по античной философии, по музыке, по истории, по астрономии, по географическим открытиям. Совершил двадцать восемь экскурсий в Эрмитаж. Столько же по городу, изучая петербургскую архитектуру. Ему надо было отличать барокко от ампира, понять гениальность Тициана, научиться слушать Бетховена и не скучать, глядя на стоящего спиной дирижера. Быть не хуже этих меломанов, которые свободно обсуждают, кто как исполняет. Знать про Платона, Демокрита и Сенеку. И чтоб не захлебнуться в этом потоке. Он боялся, что не сможет соответствовать званию инженера, потому что «инженер» для него означало высшую категорию людей. Инженер обязан знать и Овидия, и созвездие Орион, и историю Исаакиевского собора. В 1937 году он получил диплом. Его послали работать мастером, потом выдвинули начальником цеха, отсюда — руководить конструкторским бюро. Продвигался он достаточно быстро, еще темного — и достиг бы большего, но началась война, и он попросился в парадное ополчение.

...За окном прогудела машина, хлопнула дверца, заскрипело крыльцо, в комнату вбежала дочь, за ней вошел ее муж. Они заехали за мной по дороге, как было договорено, поскольку я думал к этому времени освободиться. Дочь чмокнула меня в скулу, под самым глазом, место, куда она целовала меня школьницей, и на секунду так же привычно прижалась, ожидая, когда я поглажу, поворошу ее затылок. Делая это, я увидел у нее седые волосы. Их было совсем немного, скорее всего она еще не замечала их, гри, четыре, их легко было выдернуть. Я чуть коснулся губами ее темечка, она вопросительно посмотрела мне в глаза.

— Тут такое дело, придется мне задержаться, — сказал я. — Надо к завтраму прочесть.

Она скользнула глазами по письмам, разложенным на столе, и ничего не спросила, как будто это были деловые бумаги. Тогда я сказал:

— Любопытные тут фронтовые письма. — И я рассказал в двух словах, что к чему, и стал читать им из письма Волкова, где было про фронт и хоть немного про наше бытие. Письмо, написанное в газогенераторной машине. Были так-же. Вместо бумаги — сухие чурки: «На бункере стоит моя походная черпильница из аптечной склянки. Кругом лес и болото. Вчера был случайно в Ленинграде, открылось несколько книжных магазинов, я их обошел, купил для Вас открытки с видами города. Женщины чистят город, видно стало на веселом солнышке, какие они слабые. Голод унижает человека. Но сейчас, когда они вылезли из своих замороженных нор, когда они вместе и стараются очистить улицы, они уже не боятся обстрела. Это очень странно, они так рады солнцу, что при обстреле неохотно уходят с проезжей части в тень подъездов и подворотен. А я все пишу Вам какой-нибудь подарок. Но ничего в Ленинграде нет. Найти бы какую-нибудь вещь, которая сохранила память обо мне, ведь в любую минуту меня может не стать...»

Голос мой упал, перешел на скороговорку, я чувствовал, что им все это неинтересно. Это была не их эпоха. Те подробности, которые меня так волновали, накопили на них тоску. Моя война существовала для домашних контуженым бедром, которое время от времени приходилось растирать шрамом на плече: когда-то дочери гордились им. Рассказы о моей войне их перестали интересовать. Сколько можно! Но им нравилось, когда я падал ордена. И в то же время они считали, что меня обошли, я недотепа, не пользуюсь своими заслугами, позволил задвигнуть себя, всего-навсего руководитель группы с зарплатой сто девяносто руб.

Зять слушал, опираясь на дверной косяк. Бледно-розовый, рыхлый, скучающий, он был так похож на первого мужа, что я не понимал, какой смысл было их мепять. Оба они строчили диссертации, оба оценивали свой успех должностью и степенью. И чужой успех — так же. Они скучливо доказывали мне, что это показатель объективный и всеобщий: майор стремится стать подполковником, полковник — генералом, кандидат — доктором, доктор — членком. Маленькая должность показывает низкую ценность человека, неспособность подниматься по служебному косо-гору. Жажда восхождения движет прогрессом. Им нрави-

лось восходить, взбираться. Понижепше у них означало неудачу, все равно что сорваться с кручи.

Я читал уже из упрямства. Они переглянулись. Дочь успокаивающе кивнула мужу; может, она надеялась на какой-то поворот, я чувствовал — ей неудобно за меня. А мне было обидно за Волкова, мы были с ним сейчас заодно. Дочь отошла к окну, модные туфли на платформе, так они назывались, делали ее выше и тольше.

— Мы оставили в коридоре мешок с бутылками, — сказал зять, как только я кончил.

— Ладно, — сказал я. — Поезжайте.

Она еще раз поцеловала меня и шепнула: «Не расстраивайся».

Я вернулся к сообщениям Бориса про смерть Аполлона. «С Аполлоном мы в оч. хор. отношениях... рана его оказалась спальной, не знаю, куда его отправили и жив ли он». При чем тут хорошие отношения? Может, отвечал Жанне на какой-то вопрос? Следующая открытка серо-зеленая, шпильного цвета, с папечатым на ней призывом: «Воин Красной Армии! Бей врага, не зная страха!» В открытке было про смерть Аполлона. То, что читала мне Жанна. Первая открытка о ранении написана 18 октября. Наступление мы проводили шестого сентября. Это я знаю точно, потому что меня в том бою контузило. Мы захватили насыпь железной дороги, выпрямили линию обороны и оказались над противником. Я отлеживался песколько дней в нашем медсанбате, пока не перестало тошнить. Легкое ранение мне все же приписали. У нас было много потерь. Комсорга нашего убило.

Вот к этой операции Борис, очевидно, и приплюсовал смерть Аполлона. Потому что, возможно, она была случайной, бестолковой, и нам тогда казалось, что такая смерть огорчительней, чем смерть в бою. Меня очень мучил, прямо-таки пугал один случай. К нам прислали из дивизии связиста опробовать рацию. Мы стояли с ним у землянки, греясь на солнышке. Веселый усач травил мне анекдоты, быта весла, в проталинках открылась земля, снег оседал, отсюду слышалось урчанье воды, стук капели. Заснеженные поля стеклянню блестя пастом. Есть минуты в жизни, которые презаются навсегда, со всеми красками, звуками, запахами. Мы расстегнули полушубки, подставляя себя долгожданной теплоте. Вода бежала у нас под полами. Вдруг связист замолчал, как бы прислушиваясь. Потом он стал поворачиваться, пытаюсь заглянуть назад, следуя за его

взглядом, обернулся и я. На спине его из черного полушубка вылез клочок овчины. Выторнулся и задрожал. «Что это?» — спросил я, не успевая понять. Связист начал улыбаться, зрачки его расширились, и он, помедлив еще какой-то миг, цепляясь за меня недоуменным взглядом, мягко сгибаясь в коленях, повалился вниз, лицом в землю. Талая вода заклокотала у его головы. Пуля, тихая, без свиста, правду говорят, шальная, пробила грудь навывлет. Жизнь вышла сразу, вся, безболезненно, вместе с клочком овчины на спине. Я не запомнил ни его фамилии, ни звапия, помню — отдельно от лица — недоуменное выражение, с которым он уходил. Смерть долго еще выглядела как серепький клочок, вылезавший на спине. Я сам хоронил его на нашем полковом кладбище, сам написал ему домой, как он пал, храбро сражаясь. Во что бы то ни стало хотелось украсить его смерть. На войне гибель — это неизбежное, но то, что убил он был как бы бесполезно, не в бою, попусту, представлялось ужасным, чуть ли не стыдным. Случайная смерть казалась злом войны в чистом виде. Мы как умели расписывали в письмах родным про гибель наших солдат. Вместо обстрелов, бомбежек сочиняли боп, чуть ли не подвиги, полагая, что хоть чем-то утешаем родных. Так, видать, обошелся и Борис с гибельным ранением грузинского мальчика.

В июле 1941 года Сергей Волков ушел воевать с вилтовкой и двумя гранатами «по полям Новгородской области». Кроме положенного взял в мешок сапожную щетку с кремом, общую тетрадь, махровое полотенце, зубной порошок в жестяной коробке, справочник по металловедению — «собрался между делом подучить». Так он представлял войну. Через неделю справочник выбросил, затем выбросил тетрадь, порошок высыпал, коробку оставил для пуговиц, питок, мыло туда клал. «Сапожная щетка пошла на растопку... Тем не менее я до сих пор пытаюсь сохранить внешний лоск. Видите ли, Жавна, я вышел из самых пизов, из дворников, прачек; все, что мне досталось в жизни, добыто огромным трудом, и я не могу позволить себе утратить заработанное. Другим проще. Они получили грамотных родителей, десятилетку, подушку в наволочке. У нас с Вами слишком большая разница в происхождении. Борис ближе Вам, Вы с ним из одной стаи. В этом смысле я очень чувствителен...»

Мы считали его кичливым азнайкай, который щеголял своим инжнерством, а он втайне мучился дворничким происхождением. При этом на четырех страницах расписывал свое ленинградское житье, продуманный до мелочей уют, роскошь по тем временам.

«...в пише имеется повеишая химическая аппаратура — я занимаюсь дома некоторми опытами. Появится какай-то идея, падо тут же проверить. Я люблю, чтобы на пекбольшом столике, папсосок от письменного стола, лежали последние газеты и журналы, стояли вазочки с конфетами типа чернослива в шоколаде и печеньем ассорти. На письменном столе я люблю видеть букет живых цветов. Сидя в кресле, я могу, протянув руку, достать любой справочник с этажерки — Hütte, Chemischer Calender и другие, могу включить радио. Не забудьте, что я монтер. Стены оформлены живописью. Импрессионисты, рисунки японских художников, архитектура Реймсского собора, Врубель, зарисовки Рембрандта — его жепы Саскии. На окне у меня аквариум с вуалехвостами и небольшим фонтаном. А если пометчать и занять хороший телевизор, то, возможно, вы откажетесь пойти в театр и предпочтете провести вечер у меня в комнате».

Ну раскудахтался! Телевизор! Я проверил дату — 1942 год, ноябрь. Это значит — в сорок втором, в раскисшей окопной грязюке, в самый непросых, когда мы мыкались с фурункулезом, оп тайком, мысленно, пребывал в своем уюте с телевизором, Реймсским собором и вуалехвостами. Предательство форменное, душевное предательство!

«И полагаю, что во всем этом нет мещанства, о котором Вы беспокоитесь. Я тоже против мещанства, но здесь, на фронте, мои понятия о мещанстве изменились».

Каждый против мещанства. Никто не скажет: я за мещанство! Но этот Волков не так-то был прост. «Что такое мещанство?» — допытывался оп. Дореволюционное мещанство оп понимал, мещанство выявлялось в столкновениях с революционностью, ну а пынче — что есть мещанство? «Когда спокойная трудовая жизнь — трудятся-то у нас все, — когда дом, уют, пусть даже герань на окнах. Вы знаете, Жанпа, отсюда, из окопов, все это выглядит так прекрасно, и мещанского не различить в этих приметах».

«Не могу согласиться с Вашей фразой «мои требования к жизни иные». Требовать от жизни толку мало, требовать падо от себя, и только от себя. Жизнь нам ничем не обязана. Мы усвоили, что государство должно о нас заботиться,

устраивать, обеспечивать, чуть что — требуем. А ты от себя потребуй. Разве я могу требовать, чтобы Вы прониклись ко мне чувством? Некоторые у нас считают — его в тылу обязаны любить, хранить верность и т. п. А собственно говоря — почему? Во-первых, мы, требующие это, сами себе позволяем... Во-вторых, война — это проверка, а не льгота. Я могу пытаться завоевать Вас лишь трудом своих чувств».

Фразы о требовании были подчеркнуты простым карандашом.

«Посылаю Вам щепотку песка, ленинградской земли, в которую мы прочно врылись».

Я потряс конверт. Всего песколько песчинок высыпалось на ладонь. Он поблескивал при свете лампы, чудом уцелевшие и сами чудо. Было так, как если бы лег на руки снег той зimy, пайка того хлеба.

Без перехода Волков выкладывал ей о кино: «Вы явно не поняли меня и простите, но Вы не представляете, что такое цветное стереокино, которое я смотрел на площади Маяковского в мае 1941 года».

Можно было подумать, что он умышленно цепляется к каждой ее фразе, чтобы втянуть в споры, надо же было завязать вокруг чего-то отношения. Но я-то знал его манеру цепляться, не соглашаться ни с кем, обо всем у него было свое мнение. Он позволял себе поучать и старших по званию. Начальнику штаба полка он разъяснил, что кабель, обнаруженный нами, шестикиловольтный, направление его и так ясно, нечего копать, проверять, идет он на подстанцию, что около нашей хозчасти, использовать его для телефонной связи можно спокойно, потому что никаких ответвлений у высоковольтных кабелей не бывает. Разъяснил он как школьнику, с терпеливостью, от которой начштаба зашелся и потом не раз честил нас всех без разбору умникам. Сейчас я сочувственно подумал, что копать мерзлую землю, чтобы проверить, не присоединился ли кто, было действительно неразумно.

Начальник штаба, аккуратный старичок, негнувшийся, весь как на шарнирах, постоянно требовал от нас дописаний, сводок, схем. Если бы не командир полка, он бы нас замучил. Вздорный, в сущности, чинуща с воспаленной амбицией — таким он увиделся по нынешним моим меркам. Нет ничего хуже начальника, который боится признаться в своем невежестве.

...Постепенно у Жаппы и Волкова образовался почтовый быт. Куда-то девалась одна его фотография, одно письмо

застряло, зато другое пришло почему-то очень быстро — через девять дней. Появились как бы общие знакомые, он отвечал Жанне на расспросы о Левашове, о его приятельнице Эппе, которую затем убило под Спявином. Подруга Жаппы, стоматолог, пропизировала над стилем волковских посланий. Однако он оставался верен себе: «Я буду писать Вам в том же духе, потому что это и есть я, с Вами я пребываю самим собою». Он взвешивал каждое ее слово, и, видно, ей это нравилось. Никто еще с ней так уважительно не обращался.

Словно у телефонной будки, мне была слышна лишь полупна чужого разговора, и я мог только гадать о неведомых вопросах и размышлениях Жаппы. «Что такое подлинный оптимизм? Все же это не вера,— вдруг отвечал Волков.— Конечно, Вы правы, мы верим в победу. Но ведь не потому, что вера помогает сохранить боевой дух, т. е. верим, чтобы победить. Такая вера не оптимизм. Я предпочитаю знание. Я знаю, что мы победим. Идеи фашизма абсурдны и античеловечны, они не могут торжествовать. Мне возражают, ссылаясь на Тамерлана и Чингисхана. Они были просто завоеватели. Фашизм пользуется страшной идеей, ненавистной другим народам. Наши идеалы общечеловечны, и они должны победить. Вот в чем мой оптимизм. Пессимистом приятно быть в юности. И, кстати, ничего плохого в этом нет. Но мне уже поздно быть разочарованным и несчастным. Я научился цепить мгновение. Мне б еще научиться помалкивать и соглашаться». И далее он язвительно описывал, как всюду он суется со своей правотой, всех поучает, и хотя то, что он требует, правильно,— например, когда предлагает другую схему заграждений,— это почему-то всех обижает. Про схему я не знаю, но вспомнились другие нудные его поучения: старшие он доказывал, какая каша калорийнее, замполиту — где откроют второй фронт, поправлял нас — это виден купол не такого собора, а другого. Оттого, что так оно и было, его терпеть не могли. И в званьи его из-за этого не повышали.

В одном из писем он благодарил Жаппу за открытку с изображением решетки Зимнего дворца: «Она очень хороша, но теперь этой детали уже нет, потому что вся решетка сада Зимнего дворца снята еще в 1917 году, свезена за Нарвскую заставу и поставлена у сада Девятого января. Там она плохо вяжется с окружением...»

Замечание показалось резонным. Жаль, что замысел Растрелли был парусен, вот что я подумал, и сразу же поду-

мал, что на фронте подобное его высказывание вызвало бы раздражение. Мы ругали артиллеристов, Военторг, своих начальников, но не хотели слышать критику нашей жизни, не желали видеть плохого в ней. Последними словами пополнили мы нашу телефонную связь. Волков же говорил: радио изобрели у нас, почему же мы сидим без радики? И вот этот его вполне логичный довод был неприятен. Почему не сообщают, сколько людей умирают с голода в Ленинграде, допытывался он у комиссара, упрямо цапывая каменпогладкую голову. В письмах к Жанне все чаще встречались замечания рискованные. Цензура вычеркивала какие-то строки, а кое-что и проскакивало: «Что Вы скажете, Жанна, о Гимне Советского Союза? Откровенно говоря, мне больше нравится как гимн «Интернационал»... По тем временам такого рода высказывания могли кончиться неприятностями.

Мелькнула фамилия Припутышко, из-за фамилии он и вспомнился, увиделось не лицо, а мягкие локти его руки, обтекающие оружейный замок. Он оружейный техник; кроме того, возится с автоматами, диски у нас портятся. Волков обсуждает с ним работу диска и устанавливает ошибку конструкторов. Убедительно и опять почему-то неприятно. Левашов считал, что у Волкова талант сомнения — вымирающее качество. Единственный из начальников, кто защищал Волкова, был наш комиссар. Один еретик полезен для правды, говорил он. После нашей стычки из-за письма Волков отнесся ко мне с подчеркнутой бесстрашностью, но я-то видел за ней брагливость, неуважение, то, что уязвляло меня больше всего другого. Кривя губы, посоветовал мне, как обложить пулеметные гнезда кирпичами с разрушенных печей, пришлось так и делать, уж больно проста и выгодна была его идея. Меня это злило, и не было никакого чувства благодарности. Сейчас я подумал об этом с раскаянием. Привычный образ Волкова парусился. Письма сдвинули фокус, изображение стало расплывчатым, раздвоилось.

«...Книжка может Вам показаться любопытной как будущему строителю. Я перелистал ее. Грустно, — чтобы снабдить ее данными и позволить автору делать выводы, потребовалось разрушить сотни домов, убить под развалинами десятки тысяч ленинградцев, сотни тысяч оставить без крова. Огромные потери делают автора глухим. На странице 120 он пишет: «Потери машин и людей, их обслуживающих, безусловно окупались возможностью поддерживать

нормальную работу заводов и учреждений». Чувствуете? Он же сам не слышит, какую чудовищную идею провозглашает. Да разве могут чем-то окупаться потери людей? Нормальной работой! Как же называть нормальной такую работу? Сколько людей можно, по-вашему, товарищ автор, привести в жертву, чтобы учреждение работало?.. Когда будете просматривать книгу, увидите в ней трупы комаров. Я убиваю их на своей бритой голове, где их на квадратный сантиметр больше, чем на любом участке фронта. Книгу у меня вчера утащили, еле пашел. Взял ее Семён Левашов, мой приятель. Накануне я показал ему место про потерп. Он парень толковый, но всегда удивляется, что можно видеть вещи плаче, чем приятно. Вместе с Дударевым и Поляковым они обсуждали это место в книге и павались на меня. Молодые эти люди имеют ум острый, но неразвитый. Все принимают на веру. Напечатано — значит, правильно. Видно, что им не приходилось заниматься изобретательством».

У меня похолодело внутри, когда увидел свою фамилию, красиво выписанную его рукой. Просто упомянул, без вражды, чуть ли не с симпатией, вместе с Левашовым.

А что же Борис? А мой Борис, поняв, что происходит, стал писать чаще, слал письмо за письмом, подтверждая свои чувства. Письма оставались короткими, он все пытался узнать, почему так изменился тон Жанны. О себе он общал, как и год назад, насчет здоровья, как рад был получить ответ Жанны, что смотрел в кино. Ни за что не скажешь, что писал офицер в разгар боев, когда снимали блокаду, брали Пушкин, стали быстро продвигаться к Эстонии. Сколько там всего происходило! А в письмах ни звука. И у Волкова то же самое, да и в моих собственных письмах родным, сколько я помню, ничего про войну. Почему так было — не знаю. Многого я теперь не понимаю в себе молодом.

Даже если бы Жанна не переписывалась с Волковым, все равно однообразие Борисовых писем должно было ей надоесть. Он не умел писать. Писать письма и для меня было мукой, собственная жизнь, когда садишься за бумагу, становится плоской, недостойной описания, куда-то пропадает значимость событий. Борис не замечал, как он повторяется и проигрывает. Ущемленное самолюбие подстегивало его, он злился и выглядел еще глупее. Его наградили орденом Отечественной войны за переправу — знаменитый бой, о нем сообщали газеты, а Борис ни словом не об-

молвился. Он не скромничал, повторяю, он просто не умел писать, не умел рассказывать о себе. Я хорошо подмал его. Это вовсе не достоинство. Несколько раз меня приглашали на пионерские сборы рассказать о войне. Добросовестно перечислял я населенные пункты, которые мы оставили, затем населенные пункты, которые мы взяли, пути наступления, какие шли бои. Ребята скучали, и самому мне было скучно.

В компании Борис умел и анекдот рассказать, и спеть, и изобразить любого из нас — голосом, ужимками; вокруг него всегда было весело, он хорошо подходил к непрочному нашему жилью. «Кр-расотища!» — рычал он, вваливаясь в землянку весь в сосульках, и сразу фитиль в высокой гильзе начинал бодрее потрескивать, прибавлялось свету, тепла. Бархатный коричневый театральный занавес он приволок из разбитого клуба. Разрезал, роздал по землянкам, создав (по его выражению) пиратскую роскошь. Ничего этого Жанна не знала. Борис предстал перед ней как долдон, недалекий бурбоп. Письма Волкова Жанна читала подружкам, письма Бориса ни читать другим, ни самой перечитывать не имело смысла. Знай Борис про то, как Жанне нравятся письма Волкова, он мог бы тоже расстараться. После той стычки с Волковым я паверялка рассказал ему стиль волковских писаний, думаю, что мы посмеялись — и только. Борис считал, что всегда сдержанный Волков так веселил, потому что совесть у него печиста, потому что воспользовался откровенностью товарища и стал бракопьерничать. В ту пору у Бориса и прорвалось: «Здравствуй, милая Жанна! Сегодня счастливый день, я получил твое письмо после четырех месяцев твоего молчания. Долго ты меня мучила, но наконец я читаю твои слова. Милая Жанна, давай не будем больше испытывать друг друга, не будем рапить подозрениями и лаводить теб на ясную будущую молодую жизнь нашу. Не может быть, чтобы ты плохо думала обо мне, у тебя нет па то оснований. Для меня самое главное в отношениях — откровенность. Чего-то ты педоговариваешь. Я часто представляю, с какой радостью я прижал бы тебя к своей груди и рассказал все, что накопилось за период, с первого твоего письма до последнего. Мой товарищ по оружию А. Дударев, впрочем, я тебе упоминал про него, случайно после бомбежки подобрал письмо С. Волкова к тебе. В связи с этим, если можно, напиши подробнее, что он тебе пишет. Тоха удивляется, что ты в дем нашла. Напрасно ты полагаешь, что С. Волков мой близкий друг.

Не знаю, чего он тебе плетет, мы и раньше-то не были друзьями, а теперь и вовсе. Получилось, наверное, как в рассказе О'Гепри «Блипчики». Обязательно прочитай. Если не пайдешь, я в следующем письме пришлю. Я лично буду продолжать жить, бороться, имея мечту, что наши пути соединятся. Целую. Твой Борис».

Использовал как бы пезапачай мепя для укола, сам же не позволил никаких выпадов против соперника, ничем его не ославил. Он вел себя рыцарски, единственно — указал на рассказ О'Гепри, впервые блеспул, мол, тоже не лыком шиты. Откуда я знал этот рассказ? Не был я поклонником О'Гепри. Следовательно, Борис пересказал. Он пересказывал Зоценко, Мопассана, О'Гепри, истории с неожиданным концом. «Блипчики» — про то, как один простодушный, пецесапный ковбой влюбился в девушку. Соперник его, образованный, ловкий на язык парень, обвел его вокруг пальца. Дело было так: ковбой хотел изувечить этого болтуна за то, что тот вклипился, но парень задурил ему голову, посоветовал для успеха у девицы вести разговор о блипчиках. На самом же деле, как потом выяснилось, в той семье терпеть не могли блипчиков. Что-то в этом роде. В результате ковбой был отлучен, изгнан, и тот парень, несмотря на недозволенный прием, восторжествовал и предложил свою руку девице. Такие получились блипчики.

С помощью рассказа Борис позволил себе единственпый упрек Жаппе. Ревность усплила его чувства к девушке, которую он никогда не видел. «Да как же Волков так мог? — рассуждал он. — Ведь знал, что у меня всерьез завязывается. Я с ним по-товарищески поделился, а он воспользовался и тайком к ней...»

Самолюбие его страдало. Казалось, он обладал всеми преимуществами, всеми правами — и, однако, проигрывал. Сам виноват, не мог удержаться, рассказывал, зачитывал нам кое-что из пасмешливых ответов Жаппы. Я жалел Бориса, я пегодовал, я искал случая отплатить Волкову за него, высказать ему все в глаза.

А волковские письма были по-прежнему длинными, подробными. «Несколько часов тому назад в штабе мне передали Ваше письмо. Безобразие, как долго идут письма. Почти месяц! Три дня назад я получил пзвещение, что убит мой племянник. Он был мне как младший брат. Очень я его любил. Две недели назад умерла в Ленинграде моя мамочка. Дистрофия взяла свое. Так и не оправилась от блокады. Она все хотела умереть в начале месяца, чтобы оставить

карточку своей сестре. Племянник мой погиб под Сивьяном, там много моих друзей легло. Он был совсем молодой, жизни не знал, зато смерти павидался. Об этом писать Вам не хочу, это не должно быть Вам интересно, хотя Вы будете доказывать обратное из вежливости. Лучше поговорим о красоте жизни, которую мы защищаем. У нас прибавили паек, помаленьку отъедаемся. Когда я был в городе, слышал по радио стихи Ольги Берггольц. Как хорошо она читала! Я думаю, после войны мы будем ставить памятник в первую очередь женщинам. И поэту Берггольц тоже. Вы пишете про кино. Я не сумел посмотреть ни «Воздушный извозчик», ни «Насреддин в Бухаре». Кино для нас труднодоступное удовольствие. Видел я «Антоп Иванович сердится», очень поправился, и фильм «Два бойца». В театр обратиться ни разу не мог. По поводу «Двух бойцов» Вы ставите вопрос: «Можно ли полюбить человека по письмам?» В фильме девушке пишет Аркадий, но подпись дает своего друга. Он выводит девушку в заблуждение. Простите, Жанна, меня вызывают... Был очень занят. Сегодня уже 10.11, т. е. на следующий день продолжаю. Вопрос Ваш не простой и для нас обоих важный. Отвечаю независимо от фильма. По-моему, полюбить можно, но только полюбить, а не больше. Любить в полном смысле нельзя. И вот почему. Любить — это значит иметь человека, с которым хочется соединять жизнь. Любовь не наступает сразу, это процесс. Природное сродство, взаимная тяга, привлекательность, начальная свободная валентность заставляют интересоваться, затем подстраиваться друг к другу. Происходят внутренние изменения, ты постепенно находишь новые приятные черты в другом человеке, и то, что, может, недавно оставляло тебя равнодушным, теперь стало нравится. Почему? Да потому, что в тебе самом произошла подстройка, изменилась структура. Температура повысилась, и реакция соединения стала возможной. Простите, что я применяю здесь школьные физико-химические модели. Для меня любовь — это взаимное изменение влюбленных, изменение обоих навстречу друг другу. Есть тут общие требования — порядочность, целеустремленность, идейная общность — и есть глубоко личные требования. Допустим, внешний вид, привычки и т. п. Но когда перестройка произошла, то после этого перестаешь замечать вещи, которые раньше оттолкнули бы. У меня здесь приятель Семен Левашов получил письмо из дома, анонимное (не стесняются!), что жена его делает карьеру всеми частями тела. И Семен, побушевав, прими-

рился с этим, потому что любит ее безумно. Но вернемся к переписке. Если общие требования Ваши можно выяснить в письмах, то личные Вы не проверите. Или получите о них не то представление. Это существенная опасность. Судя по письмам, допустим, Вам кажется, что он порядочный человек, тянется к Вам всей душой, рубаха-парень, молодой, горячий, передовых взглядов. Он пошмает Вас, и у Вас впечатление, что нашли человека, которого искали, плюс фотокарточка — облик отнюдь не уroda. Полупризнания с обеих сторон, откровенности, работа воображения — и появляется чувство. Полюбить можно так же, как можно попробовать суп из котла. Снять пробу. Как будто вкусно, но когда начнете есть, эффект может быть другой. Хотите, я сразу разрушу Вашу любовь? Вы увидели его воочию, и, оказывается, он слишком высок, он скособочен, он неопрятен, у него пахнет изо рта, — разве узнаешь об этом по письмам? Возьмем не так грубо. Оказалось, он скуп. Скряга. Трясется над каждым рублем. Или он в первую же встречу обнимает, целует при всех, подмигивает, чтобы скорее уединиться. Нет ни цветов, ни трепета. Влюбленность не задумывается над совместным бытом, у нее нет желания соединить судьбы, она не требует постоянного общения. Влюбленность, как всякое увлечение, рассчитано на короткое время, если не перейдет в любовь. Ну, хватит теоретизировать. Вы писали про архитектурный кружок и жаловались на эпиднаскоп. Действительно, у нас выпускают эпиднаскопы, не рассчитав их на долгую работу. Даю совет. Открытку, которую надо показывать, я прижимал сверху простым стеклом, она не коробится. Когда вынимал, то обязательно вкладывал в толстую книгу...»

И долго еще инструктировал, с пудной обстоятельностью, лишь в конце появилось что-то наше, фрептовое:

«...Сейчас 02 часа 33 мин. Озябли ноги. Спужу в ушанке. Кончились дровишки. На Ноябрьские дежурил по части. Это письмо доберется, наверное, к Новому году, поэтому поздравляю Вас и хочу, чтобы жпзнь дала то, что Вы требуете. Кругом меня жизнь прохудилась, стала непрочной. Помогает мне смутное суеверие, что если Вы пишете мне ответ, то до него я должен дожиться».

На Новый год и выпал мне повод объясниться с Волковым, вступить за Бориса. Хотя от этого не просил, но я считал себя обязанным вернуть похищенную любовь. Несправедливость, учиненная над Борисом, жгла меня, ибо для юности священна жажда восстановить справедливость.

Сердца пашп привлекали герои, которые терпели унижение за свои подвиги, которых преследовали клевета, наветы, козни, от которых отворачивались любимые... Словом, Волков был типичный злодей, а Борис был как Овод или как Дубровский. В конце концов, мне только исполнилось двадцать лет, по сегодняшним моим понятиям — мальчишка.

Был веселый офицерский ужин, кажется, была елка, откуда-то пригласили двух или трех женщин, мы с ними по очереди танцевали. Во время перерыва женщина, с которой я разговаривал, улыбнулась Волкову, который стоял исподалеку, и он улыбнулся ей. Она не слушала меня. Я подошел к Волкову и сказал, что хватит цепляться к чужим женщинам. Назвал его непорядочным человеком. Он позволяет себе писать к невесте своего же товарища. Все это совершенно хладнокровно, руки за спиной, покачиваясь на пюпитрах. Воспользовался, значит, доверчивостью Лукьянова? Думаете, если вы такой эрудированный, вам все позволено, а мы тут скобары, тухи серопузы? Очень я нравился себе, таким элегантным мстителем представлялся.

Но Волков все испортил своей улыбкой. Ему явно было смешно, — боюсь, что от моего тона. Взял он меня под руку, отвел в сторону и сказал уже серьезно, что я ставлю в жалкое положение Лукьянова, которого здесь нет, в таких случаях третьему человеку не стоит вмешиваться, если мне когда-нибудь станут известны обстоятельства, мне будет стыдно.

И вот я читаю письмо Волкова об этом.

«...Встречали мы Новый год 1 января, в той самой деревеньке, из которой я писал Вам первое свое письмо. В 18.00 собрался в избу. Начали с доклада о международном положении. Доклад делал наш офицер. Читал как пономарь, сообщал всем известные истины, что Германия вот-вот будет разбита, что второй фронт вот-вот будет открыт, что у немцев все больше ошибок, а у нас все больше умения и т. д. Кончил, мы бурно похлопали, потом были выборы в совет офицерского собрания, куда я, раб божий Сергей, тоже попал по рекомендации С. Л., единственного здесь моего товарища. После выборов ком-р части прочел папугоственное слово для офицеров, чтобы не напивались, не матерились, не дрались, чтобы консервы с тарелки брали вилками, а не руками, а с женщинами обращались бережно, как с хлебом».

Я не вспомнил, а представил, как наш командир говорил, это была его интонация — не то в шутку, не то всерьез. Он сам умел выпить и погулять. Учил нас при этом знать,

что пьешь, сколько, с кем и когда. Ерш, говорил он, это не разное питье, а разные сабутыльники.

«Солдаты принесли скамейки в пазу. Мы вошли. Три стола с белыми скатертями, и на них яства, от которых мы отвыкли, — винегрет, хлеб черный, 25% белого, капуста, шпроты, селедка, благословенная водка из расчета пол-литра на двоих. Стояла елка с игрушками. Вся комната была в лептах с золотым дождем. Перед входом в этот зал была маленькая компатка, где мы прыскались «Шпиром», вакцины сапогн...»

Господи, была же елка! Она вдруг появилась передо мною вся в золотом сиянии, нарядней, чем в детстве, она вспомнилась вместе с тем зампрающим чувством восторга, что никогда не повторится. Это была последняя в моей жизни елка, которая так взволновала. Тут смешалось все — и война, прокопченная эта изба, грубый наш офицерский быт, — и вдруг это видение из прошлого, когда были еще мама, папа, братишка, тетка, наш дом, еще не спаленный, старый шкаф с игрушками. Сильный и нежный запах елки, запах зажженных крохотных свечек, запах рождества мешался с запахами капусты, кожи, табака, пороха, нестрелбимым запахом войны. Может, в детстве не было такого острого чувства благодарности и счастья, как от той елки в ночь на 1943 год.

Я вспомнил, ходил по компате, любуясь благодаря письму этой картиной, чувствуя на лице улыбку.

«Первый тост предложили за победу, второй за Родину, третий за наших любимых. Препехали артисты из Дома Красной Армии».

Вот артистов я плохо помнил.

«Они сидели с нами, мы кормили их котлетами с жареной картошкой, потом начались танцы. Между танцами артисты исполняли номера. Мне было хорошо и грустно. Безумная мысль мне досаждала — откроется дверь, и войдете Вы в голубеньком платье. Есть у Вас такое? Бывают ведь чудеса? Вы войдете, все с грохотом встанут, вытянутся, Вы будете обходить нас и вглядываться, отыскивая меня. Но время шло, и Вы не появлялись. А появился крепко поддавший лейтенант Д., приятель В. Лукьянова, и принял меня распегать за то, что я Вас «обольщаю» без позволения на то Бориса. Почему люди считают себя вправе лезть в чужие интимные отношения, судить о них, решать, что правильно, что неправильно? Танцевали под радио и под баян. Я сыграл несколько танцев, но получалось у меня

грустновато. Потом устроили чай с пирожками с рисом. Чай был сладкий. Артисты остались очень довольны, всем было весело, и я сейчас, когда пишу, понимаю, что было хорошо, вполне прилично. В два часа ночи был минометный обстрел, а на соседнем участке фрицы попытались пройти, но их неплохо встретили. Идет война, мы защищаем великий город, отечество и при этом позволяем себе ссориться, ревновать, обижаться, говорить друг другу гадости. Нет, это недостойно нашей великой миссии. Надо быть достойным того, что мы защищаем. Я виноват, я попробую объясниться с Б. Л., хотя не знаю — как. Любить, мечтать о любви — это, по-моему, достойно даже во время такой тяжелой войны...

Меня часто отрывают, поэтому письмо нескладное. А Борису я завидую, сумел пайти с Вами близкий язык, если Вы с ним на «ты». Буду надеяться, что когда-нибудь и я этого заслужу. Как бы ни сложились мои отношения с ним, лично я всегда буду ему благодарен за знакомство с Вами».

Вот и все, что было в письме Волкова о той памятной мне истории. Без обиды, без гнева, после все чай с пирожками, причем то, что чай сладкий, для него тоже существенно. А может, он прав, с нынешнего расстояния, кажется смешно, несопоставимо, что в разгар войны, на передовой такие страсти терзали нас. Идет минометный обстрел, а я петухом насканиваю на Волкова — из-за чего?

Через несколько дней после Нового года Лукьянов вернулся из командировки, потом началась подготовка к наступлению, упал Борис или пет о повогодней истории, неизвестно, по больше он мне о своей переписке ничего не рассказывал.

«Наконец-то, дорогая Жанна, пришло Ваше письмо от 15.04. Не понимаю, почему Вы не получаете моих писем? Я написал Вам за этот месяц три письма, каждое страниц по десять. Неужели пропали? Я повторяю ответ на Ваше письмо от 17.03, где Вы не соглашаетесь с моим мнением. Мысли Ваши меня поразили, они открыли для меня новую сторону вопроса, ту, которую видит женщина. Вы пишете, что пусть тот, кого Вы полюбите по письмам, окажется и роста другого, и хром, и болен, Вы согласны на это, Вы заранее готовы перетерпеть. Вы приготовьтесь к разочарованиям. Подозреваю, что Вам даже хочется пострадать, без этого любовь не в любовь. Лишь бы внутри возлюбленного имелась душа, ради которой Вы готовы лишиться многих претензий. Как у нас говорят — в милон нет постылого. Вы,

девочка, способны возвыситься до такого, чего я, взрослый мужчина, все выдавший в жизни, не до конца могу постигнуть, могу лишь почувствовать в этом недоступную нашему мужскому племени мудрость. Я себя остапавливаю: это восторженность девичья, попробует, помучается месяц-другой, потом жизнь возьмет свое. Появится молодой да красивый, и она сменяет, почему не сменять? Но тут же чувствую, что обычная житейская логика не властна над женщиной, она ниже женского сердца. Тем-то любовь и удивляет, что любовь не поддастся расчету. Разница между нами в том, что я, честно говоря, боюсь Вас увидеть. Хочу и боюсь. Потому что я составил себе Ваш образ, Ваш характер, я с Вами мысленно разговариваю и вижу каждый Ваш жест. Несомненно, Вы, живая, не совпадете с той, какую я сочинил из Ваших писем и фотокарточек. Расхождение, может, будет велико. Возможно, Вы на самом деле лучше, чем придуманная, но я-то свыкся, я-то буду укладывать Вас в прокрустово ложе. Погляди теперь, какова разница между нами? Ведь у Вас тоже сложился какой-то мой образ, а Вы несколько этого не бонтесь...»

Далее Волков зачем-то с подробностями описывал, как они, ночуя в сарае после немцев, обовшивели, вся солома кишела вшами.

«Вы не представляете, что это за мерзость, когда чувствуешь, как по телу ползают десятки паразитов, и сделать ничего не можешь, смены белья нет, да ее и не доставить. Переправу через реку держат под непрерывным обстрелом. Вши заполняют все складки гимнастерки, брюк, шинели, никуда от них не уйти, пришлось с ними жить более месяца. Сейчас нас отвели на отдых. Правда, всего за восемь километров от переднего края. Но все-таки эти пять-шесть дней были отдыхом. Третьего дня полностью избавился от паразитов. Рапо утром затопили деревянную баню, накалили каменку. Над каменкой развешивали белье, шипель, ушанку, вывернутые панзнапку. Каменка обливалась водой из ведра, я еле успевал выскочить, чтобы не быть ошпаренным. Прodelав это семь раз и семь раз прокляв фрицев, я сам вымылся, патерев мочалкой тело до крови, и вот уже третий день наслаждаюсь покоем. Ни одного укуса. Утром осматриваю бойцов — чисто! Только испытал этот ужас, цепичь прелесть чистой кровати с подушкой и простынями. Мне хотелось написать Вам не только о картинах фламандской школы, а и о картинах нашей походной жизни, хотя бы об одной из них».

«Если бы Вы, Жанна, посмотрели на лица людей, прошедших через переправу! Вот с кого надо писать художникам. Будь здесь фотографы, получились бы бесценные снимки. Я ехал в кабине, метров за двести до переправы девушка-регульровщица дает сигнал «стой!». Колонна машины останавливается. Пропускаем встречные с орудиями. Они идут занимать наши позиции. Непрерывный обстрел. Бьют по лесу, бьют по переправе. Сидим молча в кабине, я и шофер. В кузове у нас мины. При близком разрыве идущие впереди солдаты бросаются на землю. Осколки барабанят по машине. Становится скучно-прескучно. Время ползет медленно. Я смотрю то на стрелку секундную, то на девушку. Она стоит среди разрывов, не имеет права ложиться на землю, не пригибается даже. Должна стоять и стоит. Что это — привычка? Но разве можно привыкнуть к свисту осколков и завыванию мин? Я, например, привык бросаться на землю. Когда ее убьет, встанет другая. Потому что без регульровщиц нельзя. И слова взмахи флажков. Сколько эта переправа вывела из строя людей! Наконец она махнула нам, шофер дает газ, спускаемся к реке. Медленно движемся по шаткому мосту. Я закрываю глаза, когда рядом взметается столб воды, а шофер должен смотреть вперед. На первой скорости перебираемся на правый берег, отъезжаем метров триста, шофер оборачивается ко мне и одним словом говорит все: «Проехали!» Посмотри Вы на его лицо, запомнил бы надолго, такое в нем было ощущение жизни, которая вернулась. Почему я не художник?..»

Все это было и со мною: баля, и свежее белье, и переправа, и девушка-регульровщица. Я погружался в те, казалось, навсегда забытые наслаждения, присваивая себе мысли об этой девушке, даже о художнике. Я уверен, что-то похожее было в моих письмах, если они хранятся у той... фамилию ее позабыл, помнил лишь, что жила она в Москве. Провести бы опыт: дать мне почитать те письма, да еще перепечатанные на машинке, вряд ли бы я узнал, что они мои собственные. Многие фронтовые подробности читались бы как чужие. Пережитое было словно не мое, а как бы всеобщее, знакомое по кино, по книгам, — все слиплось неразличимо. Но что-то, какие-то строки вдруг откликались в душе, и за ними медленно всплывали числа, названия, поднимая за собою забытые сцены.

Одно письмо Волкова было в потехах, первую страницу я с трудом разобрал. На последней же приписка сбоку, нас-

пех, объясняла: «Случилось несчастье, проспился в семь утра, ужас! Вода льется ручьями. Тают снега. Схемы, что чертил, пропали, письмо тоже пострадало, у меня совсем нет времени переписать его, посылаю в таком непрглядном виде. Сам весь мокрый. Ваш *Сергей*».

И я пожегился, припомнив свою затопленную землянку. Нижние пары закрыло водой. Всплыли доски пола. А что же творилось в окопах? Я стал припоминать, и так как знал, что хочу вспомнить, то передо мною появились затопленные — по колено и выше — ледяной водой извилистые траншеи, вода стекала с брустверов, с полей, ручьями устремлялась в окопы, грозя нас вытолкнуть на поверхность. Из распадка, где было боевое охранение, приползли все четверо моих бойцов, все отделенные, мокрые до нитки. Распадок затопило полностью. К тому же пошел дождь, ускоряя таяние. Начштаба полка кричал про отводные канавки, про то, что он предупреждал, запрещал покидать позиции. Пулеметчиков на пригорке отрезало разлившейся водой, и мы никак не могли доставить им еду. Вода со спешным крошевом наступала неотвратимо, остановив наше продвижение, ни артиллерия, ни авиация не могли помочь нам. Как мы выдержали, не помню, вижу только уплывающие дровишки, с таким трудом заготовленные, диски ручных пулеметов, ящик с гранатами, которые мы тащили, подтяв над головой. Куда тащили? Наверное, на крыши землянок.

И то, что мы удержались, наполнило меня запоздалой гордостью. Испытание ледяной купелью не было отмечено ни в сводках, ни в газетах, за него не полагалось наград, оно исчезло из памяти, утонуло в весенней радости наступления. Вряд ли и в моих письмах упоминалось об этом эпизоде. Было там наверняка спяние блокады в январские солнечные дни сорок четвертого, примерно так вот, как писал Волков: «Освобождаем город Ленина, скоро узнаете об этом из газет. На шоссе — вереница легкораненых, мчатся санитарные машины, навстречу тяжелые танки с десантами, машины с боеприпасами, везут пленных фрицев...» Я жадно выискивал в письмах Волкова эти описания, в общем-то бесцветные. Но все же в них сохранилась подлинность спешки, различались звуки, которые когда-то я слышал на том шоссе, запахи движения, от которого мы отвыкли, — от него замечательно пахло бензином, дизельной копотью, развороченным асфальтом. Сквозь февральскую влажность мы входили в Эстонию. Вот и она: «Пятнадцать градусов мороза, ночевал в открытом сарае, продрог, кругом треск от выстре-

лов и взрывов. Похоронили многих товарищей». В другом письме тоже: «Леса Эстонии. Небо звездное. Прекрасно виден Орион и Сириус. Лежу в палатке. Рядом бойцы. Все спят. В двух километрах гремит бой. Воют наши «катюши». Наверху летит самолет, к которому несутся красные и зеленые липки трассирующих пуль. Недалеко раздается крик часового: «Стой! Кто идет?» Поднимаются сигнальные ракеты. Вчера два снаряда упали метров в десяти от нашей палатки. Мы лежали и ждали смерти, а они не взорвались. Все мои ребята остались целы, настроение у меня поэтому прекрасное».

«Сиюю около своего шалаша и давлю комаров. Напротив Надя развела огонь в ведре и положила мху. Валит дым. Мимо проществовал повар утверждать меня к командиру части. Спросил, чем завтра кормить будут. Слушайте: завтрак — каша из фасоли. Обед — суп лапша, картофельное пюре с селедкой».

«На чердаке дома во время поисков мии нашел интересную газетку. Сохранил и оставил у себя. Я люблю такие штучки: «Газета-Копейка» от 17 апреля 1915 года. Есть интересные заметки: «Цепельныи пад Англей», «Как должны говорить телефонистки».

«Вчера чудно пообедали. На первое кусок семги. Суп. Рисовая каша с отбивной котлетой».

Чего это он все про жратву? Довольно бестактно, у них там в Тбилиси в это время не густо было насчет пожевать. Но я уже по уши вошел в то время и мог сообразить, что иначе быть не могло: после вареной лебеды, гиплых капустных листьев, дележки хлеба, после отечности, дистрофии, фурункулов, ципги, после того как Спюхина у меня в роте судили за кражу картошки из кухни — украл и съел сырую картошку, — после всего этого — обилие и разнообразие еды потрясало наши души. Кусок семги — видение повероятное, так же как и обед из трех блюд с закуской: вместо термоса, который волокли почью по ходам сообщения и потом у взводной землянки вычерпывали котелками промерзшую бурду. Каша, вываленная в макаронный суп, заменяла завтрак, обед, ужин. Все тут было вместе. Случалось, что термос пробивало осколком, и мы куковали на хлебе и сахаре.

За то, что Надю напомнил, поклон низкий Волкову. Не пригнись я тогда на ее крик, разбило бы мне череп. Сколько раз что-то спасало! Пригнись в другой окоп — разнесло бы бомбой, задержись — попал бы снаряд. Сколько было таких разминов со смертью! Они касались меня стылым крылом, и

сразу приходили в движение запахи, краски жизни. Эти восторги везения, казалось, навсегда останутся сплюснутым воспоминанием, по пет, забылись, стерлись. Какие огромные были эти четыре года! Остальное, послевоенное, жите скомкалось в мопотопное существование. Не то что годы, десятилетия неразличимо слиплись.

Письма Бориса почти не менялись. Надежда в нем теплплась, и, что любопытно, Жаппа время от времени как бы вытала эту надежду. Чем-то Борис удерживал ее, какая-то ниточка не обрывалась. Простодушие, верность, прямота, а может, молодость Бориса, а может, она уставала от умных рассуждений Волкова, от его взрослости, образованности...

Пачки открыток с видами Лепипграда, каждую Волков заполнил пояснениями — что за здание, кто архитектор, когда построено. Память у него была исключительная.

«Справа стоит одна из колонн с гербами славы, подарок Фридриха Вильгельма IV прусского Николаю I в 1845 году. За колонпой видел портик бывшего Конпогвардейского ма- нежа работы Кваренги (1804 год)».

И остальные в таком роде. Он сообщил Жаппе, что ведет переписку с вологодским химиком М. Чуевой о том, почему соль кристаллизуется в виде куба, разбирает с пей какой-то практический вопрос неорганической химии. Помимо архитектуры в его письмах были суждения о живописи Рембрандта, Рубенса, Ван Гога, Пикассо, о картине Клода Моне «Бульвар Капуцинок в Париже». Из русских художников он разбирает Саврасова, Левитана. Писал о театре, критиковал статью Симона Чиковани «Грузинская литература в дни Отечественной войны». Замечания его были не безобидны. Со статьей Чиковани он расправился без жалости. Неосторожная сходность его разбора читалась с удовольствием.

Тревожило, что он терял всякую осмотрительность, письмо его Жаппа читала, видимо, с опаской, я сужу по тому, как он досадовал на ее уклончивые ответы. Может быть, его опьянило паступление. У нас у всех появилась эйфория успеха. К тому же он один из немногих оставался не задетым ни пулей, ни осколком. Как заговоренный он орудовал с нашими мпами п с немецкими, такая везучесть не могла хорошо кончиться. О своей везучести нельзя упоминать. Зачем же он писал Жаппе, как он неуязвим? Война полна примет и суверий. Слишком много там завесит от случая. Как бы ты ни смеялся над приметами, украдкой все равно сплевываешь через левое плечо.

После выхода на железную дорогу у Тарту нас смешпли,

и мы остановились на отдых. Приехал генерал из армии вручать награды. Прикрепляя орден, он смотрел каждому в глаза. Взгляд его молочно-голубоватых глаз выдержать было трудно. Я еле удержался, чтобы не подмигнуть ему. Потом угощали водкой с бутербродами. Мы стояли вдоль длинного стола. Генерал шел и чокался с каждым. Перед Волковым он задержался. Внешность Волкова останавливала пачальников. Проверяюще, корреспонденты, инструктора обращались к нему. В нем виделся им то ли разжалованный полковник, то ли случайно мобилизованный директор, — во всяком случае, что-то значительное, не соответствующее званию лейтенанта. Генерал заговорил с ним. Волков отделивался односторонними ответами, хмуро, ало; кроме того, он не выпил. Генерал не привык к такому невниманию, не помню уж, как и чем поддел он Волкова, заставил его разговариваться о нашей операции, за которую мы получили награды. Волков сказал, что форсировать реку и выйти к железной дороге можно было без таких потерь. Генерал что-то возразил, но Волков зажекапил, не давая себя прервать. Голос его медно звенел. В этом наступлении полегла вся вторая рота вместе с Семёном Левашовым, но все равно Волков не имел права так вести себя и портить праздник. Начальство еще не успело ничего сказать, мы сами павалились на Волкова, поскольку ясно — нам вперед идти надо, а не потери считать, с фашистами надо драться, а не на наших штабников нападать. Нам казалось, что он приближает наш подвиг, развешивает его в глазах начальства, которое так хорошо отозвалось о наших действиях. Не наше дело думать о потерях, наше дело выполнять приказ. Мы разозлились на него, и он сорвался и бог знает что поговорил — что мы заработали ордена на трупах. На следующий день нас вызывали по очереди, расспрашивали, и мы не щадили Волкова — и за прошлые разговоры, и за этот.

Вскоре после этого меня взяли в тапковый полк, и от кого-то я потом узнал, что Волкова наказали, и его дальнейшую участь заволочко клубам пыли наших тапков и самоходок, идущих на запад.

Но это все произошло позже. Пока же в письмах его еще царил безмятежное поведение. В одном — рисунок на всю страницу. Изображены были развалины дома, печка железная стоит на фундаменте, каменные ступени, развалистая липня бетонных опор. «Установите по этим руинам, какого стиля было сооружение, как его реставрировать. Нам теперь придется восстанавливать разрушенные города и следует на-

учиться сохранять дорогие нашей истории постройки. На печке сидит птичка, у нее голова большая от флюса, флюс мой, но она из-за него долго не сможет чиркать».

Некоторые намеки, шуточки я не поймал, наверное, из-за их внутреннего обихода, которым они быстро обрастали. У них были даже размолвки и примирения. Волков попробовал определить характер Жалпы, нарисовать ее внутренний портрет. Очевидно, он перестарался в своем правдолюбии, потому что она рассердилась (расстроилась?) и перестала отвечать.

«Я несколько раз ходил на выполнение задания и прощался с жизнью, было такое, что не верил, что меня милует чаша сия. Однажды я с двумя бойцами был отрезан, и нас считали погибшими. Однако через несколько дней мы вышли, и вот, когда вернулся, я первым делом спросил о письмах. Я был уверен, что меня ждет Ваше письмо. Эта вера мне помогала всю дорогу. Жизнь ощущалась, как никогда раньше, — вернулся, без ранений, все выполнили. Вкус хлеба, вкус горячей каши, мягкость кровати, на которой можно вытянуться, лежать, сваяв шпнель, — каждая мелочь радовала. Письма не было. Это казалось невероятным. Почему Вы перестали писать? Никого ближе Вас у меня сейчас нет. Так получилось. Ни здесь, в части, ни где в другом месте. Вписать я Вас ни в чем не имею права, так же как и требовать. Отношения наши таковы, что все держится на чистом чувстве. Если бы Вы решили прекратить переписку, то что я могу? Ничего. У нас нет третьего, через которого я бы мог выяснить, что произошло. Не могу же я обращаться с этим к Борису, да мы почти и не видимся, он на соседнем участке».

Дата последнего письма 14 июля 1944 года. В нем ни слова о награде, о том происшествии, когда ее вручали. Есть такие строчки: «Погиб второй мой племянник. Погиб мой товарищ Семел Левашов. У него остался братик семилетний, родители умерли в блокаду, а братишка эвакуировался с детским домом в Саратов. Я решил усыновить мальчика, если останусь жив. Вы не против?»

И вдруг он переходит на шуточный, беспечный тон:

«Вечаемся в католической церкви — у нас есть на Невском, затем едем в православную — Владимирский собор, оттуда в загс, после едем в Тбилиси, там все повторяем сначала. Двоеженство наказуемо, а двоезагство? И вообще если регистрироваться каждый год?.. Заказал для Вас книжку «Живопись Ирака», если достанут, сразу выплю».

Я пытался вспомнить, разглядеть малый, последний вре-  
менной промежуток — от того злополучного происшествия  
до моего отъезда. Там, на отдыхе в Тарту, каким был Вол-  
ков, перед тем как мы расстались? Ничего не вспоминалось.  
Но почему-то мне представилось тяжелое его, вдумчивое  
спокойствие, словно бы он знал о грозящей ему опасности,  
но относился к ней как к неизбежному злу, как мы относи-  
лись к ледяной воде, затопившей окоп. И, двигаясь обрат-  
ным ходом, я ипаче увидел столкновение с генералом. Сло-  
ва Волкова звучали обдуманно, и все его поведение не было  
вспышкой. Он решил высказать свое мнение, чего бы ему  
это ни стоило. То есть он как бы заранее принимал беды,  
которые грянут над ним.

Впрочем, не могло ли это мне придумать, домыслить-  
ся сейчас? Проклятое беспамятство могло пользоваться вся-  
кимп уловками, угодливо рисовать то, чего мне хотелось.

В чулане стоял сундук. Большой, крепкий, обитый же-  
лезными узорными скрепами. Принадлежал он моей бабке,  
он один остался от охтенского их домика с флюгером, с чу-  
гуной лестницей, с полированными перилами. В сундук  
этот я кидал вещи, которые хотели выбросить. Спасал вся-  
кое старье. Отслуживший, сточенный охотничий нож, школь-  
ные тетради дочерей — думал, что взрослым им будет при-  
ятно увидеть свои каракули. Грамоты, которые получала  
жена, какие-то номера газет. На самом дне лежало то, что  
осталось от войны. Там был мой медальон — черный пласт-  
массовый патрончик с фамилией и прочими данными, по ко-  
торому должны были опознать мой труп. Смертный медаль-  
он лучшее, что мы могли привезти с войны, дорожке всех  
медалей и наград, как заявила моя бабка. Были там пилот-  
ка, полевые погоны, обойма от ТТ, тапковый шлем, полевая  
сумка. А в полевой сумке вместе с последними листами кар-  
ты Восточной Пруссии, на которых мы закончили войну,  
были всякие снимки, призма от триплекса и бумажки. По-  
левая сумка была из кпрзы, потом мне предложили кожа-  
ную, но к этой я привык и остался с ней. Однажды я ска-  
тал свое военное имущество в узел, чтобы выбросить, до  
того падоели мне все эти реликвии. Жена пробовала отдать  
их в школьный музей, но там уже были и плашеты и по-  
левые сумки. Тогда я решил выбросить, но в последнюю  
минуту почему-то привез сюда и спрятал.

Нынче я приехал, чтобы покопаться в сундуке. На одной  
из общих фотографий должны были быть и Волков, и Во-

рис. Могло там храниться и письмо Бориса, которое догнало меня под Кенигсбергом, в нем тоже могло кое-что быть.

Я поднял крышку сундука, и сразу дохнуло сладковатой прелью и слабым душистым запахом, знакомым с детства, когда сундук стоял у бабушки, прикрытый зеленой плюшевой накидкой. Был он тогда огромным, как пещера. Давно я ничего не клал в него. Места хватало. Сундук для хранения Прошлого. Но, паверное, теперь у меня пошла та полоса жизни, о которой всломптать не придется. Уровень наполнения соответствует тому сроку жизни, который идет на воспоминания, формулировал я.

Я все никак не решался наклониться и достать полевую сумку с бумагами. Не хотелось ничего трогать. Прошлое безобидно долеживало тут до своего забвения. На самом деле я абсолютно честно ответил Жапце, что не знаю Волкова. Когда она спрашивала, я его начисто забыл. Так забывают то, от чего хотят избавиться. Это было сопротивление памяти, ее инстинкт.

Что такое забвение, думал я, здоровье оно памяти или болезнь? Благо оно либо же это чудовище, которое пожирает облики самых дорогих людей? Слышны их голоса, а лица исчезли, только колышется зеленоватое пятно, приближается, по сквозь него никак не могут проступить родные черты. Вдруг, как я насмешку, как подмиг, появляется краспорожий вагонный попутчик. Зачем изрыгнуло его чудовище памяти? Порой память целиком подчиняет себе человека, он начинает страдать памятью. У нас была одна сотрудница, тихая стеснительная женщина. Однажды кто-то из девиц, когда она что-то рассказывала о блокаде, сказал ей: «Подумаешь, делов-то вапа блокада, постоянные блокадники все на Пискаревке лежат». Глупая, даже подленькая фраза, пущенная много лет назад трусами, бездумно повторяется молодыми. Ее же слова эти поразили, она заметалась, и с той поры память пакинулась на нее. Зимой, в мороз, она падела валепки, подпоясалась платком, как это делали блокадники, и пошла по улице тем путем, каким ходила в блокаду. Стояла у булочной, прислонясь к стене, садилась на панели отдохнуть, потом легла в подворотне, там, где лежала в сорок втором году. Когда узнали, что она не больна, собралась толпа, большинство не смеялись, задумчиво стояли над ней. Она продолжала свой путь «на ту блокадную работу», так же падала, беспомощно смотря на небо. Заходила в магазин на Литейном, где последний раз отоварила

свою карточку. Врач-психиатр потом подтвердил, что она здорова, ею просто завладело прошлое. «Я разговариваю с ушедшими из жизни,— призналась она мне,— они меня понижают, они слушают, мне с ними хорошо». Работала она добросовестно, и со странностями ее смирились. Порой она чувствовала себя на Пискаревском кладбище, окруженной почестями, как будто это к ней идут экскурсии, кладут цветы... Эта история сильно подействовала на меня. Я не хотел отдаться во власть воспоминаний. Я избегал встреч однополчанин, вечеров воспоминаний. Зачем? Я свое отвоевал, свое получил, оставьте меня в покое. Люди хотят слышать про подвиги, победы, в они правы. Что же, я буду им рассказывать, как у меня вырезали взвод? Как мы прикрывались в поле трупами?

Осторожно, без стука я опустил крышку сундука.

Мне вдруг подумалось, что та история с Волковым не капула бесследно. О самом Волкове я никогда не вспоминал, а вот мысль о потерях запала в душу и все последние месяцы войны не отпускала в коротких наших танковых боях, в засадах, особенно же когда нам на броне сажали нехоту...

Письма Волкова кончились. Оставалось одно, последнее, датированное 1949 годом, но я отложил его.

А от Бориса последней была телеграмма в Тбилиси в ноябре 1945 года: «Выезжаю, встречай, целую. Борис». И все. Больше тоже ничего не имелось. История обрывалась на самом интересном месте. Как поступают в таких случаях историки?

Итак, был только белый конверт с новым обратным адресом: Хабаровский край, почтовое отделение «Залив», С. А. Волкову.

Почерк почти не изменился. Шесть больших страниц, заполненных сверху донизу,— черт возьми, если бы я мог уклониться от этого чтения. Но слишком далеко я зашел, и надо было добратсья до финиша.

«Не удивляйтесь этому письму, не возмущайтесь. Почему человек, который страдает от одиночества, не может написать женщине, с которой когда-то у него были добрые отношения? Мы так и не увиделись. Я любил писать Вам, и, смею думать, Вы отвечали мне с охотой. Конечно, Вы сейчас замужем, возможно, у Вас дети, ну и что из этого? Думаю, в глазах мужа и детей то, что Вам несколько лет писал

с фронта человек о своем житье-бытье, о себе, рассуждал с Вами о живописи и литературе, никак Вас не порочит. Более того, если этот человек на основании переписки пропикся к Вам чувством, осмеливался мечтать о взаимности — в этом тоже ничего плохого нет. Среди тех, кто Вас любил, был и пекий Волков, бедняге не повезло, по все равно он был один из самых верных Ваших поклонников. То, что Вас любили, это естественно, стыдиться тут нечего. Если Вы замужем — поздравляю Вас. Но почему-то мне кажется, что Ваш муж не Б. Л. Почему, не знаю. Но если Ваш муж Б. Л., все равно поздравляю. Все же он был храбрым и стойким солдатом. А то, что случилось со мною, в том не обязательно видеть его злое участие. Я сам творил свою судьбу, не буду повторяться, об этом подробно писал прошлый раз. Мне когда-то, в той жизни, хотелось познакомиться с Вашими родителями. И вот по пришло. Иметь бы хоть одного общего знакомого! Подумать только — пять лет минуло! Я часто вспоминаю не то, что я Вам писал, а то, как писал, как это мне помогало. Одно письмо я писал под мипометным обстрелом. Мы лежали в палатке — хорошо прикрытые! — и ждали, попадет или нет. Бежать укрываться было некуда. Трое моих бойцов перво курили самокрутку за самокруткой, а я писал Вам. И тоже ждал: пронесет — не пронесет? И не переставал писать, из суверия ни словом не упомяная про мины. Приятно вспоминать былые невзгоды». Дальше шли его стихи про войну. Там были две строчки, которые почему-то тронули меня:

Еще заметен след,  
Еще нас могут вспомнить...

Где-то у меня были припрятаны сигареты. На всякий случай. Самые дешевые, горлодеры «Памир». Я пашел их в кухне на шкафу, пыльные, высохшие. От первой затяжки поплыло в голове, и слава богу, чем-то падо было отвлечься, прерваться. Мало ли что могло быть дальше. Могло быть и про меня. Почему нет?

Шел первый час ночи. Туманная бледность сделала поляпу за окном призрачной. Редкие тошкне сосны как бы струились в первом свете. Желтые электрические фонари неуживо горели на белом небе. Опечаленность была в этой картине, в этом неизвестно откуда льющемся свете. Я стоял, курил, смотрел, как вдруг мне пришел ответ на мысль, что давно мучила, — не затем ли Жанна явилась ко мне, чтобы спросить ответа за Волкова, за его судьбу? Что еще могло

вставить ее приехать? Ее настойчивость, ее угрюмость, ее желание ничего пояснить, пока я не прочту, все, все случилось, сошлось. Волков ей написал, где-то узнала, кто-то намекнул, поскольку комиссара нет, командира полка нет, из тех лейтенантов один я остался, значит, с меня весь спрос. Вали на серого, серый свезет... Ладно, сперва дочитаем, там видно будет.

Каждый абзац был как препятствие, надо было перелезть, а спл не было, за каждым препятствием могло оказаться наставленное дуло.

«Как будто в 45 году я посылал Вам одно или два письма с просьбой выслать мне посылку. Если б Вы знали, Жаппа, до чего мне стыдно. Бог ты мой, как я мог так опуститься? Единственным, причем не заслуживающим внимания обстоятельством могло быть только отчаянье. Очень было голодно. Послевоенное время для всех было трудное, для нашего же брата особенно. Когда я ходил на завод, я с трудом поднимался на второй этаж в свою лабораторию. По дороге три раза отдыхал. Дрожали ноги. В таком состоянии я не выдержал и послал Вам письмо, просил мыло, кусок сала, свитер, что-то в этом роде. Война отняла у меня всех родных и тех немногих друзей, которые у меня были. Почему-то я в этот момент устремился к Вам, это была слабость, бестактность, но тогда я полагал, что Вы так не сочтете. Простите меня, Жаппа, сейчас, когда я сыт, я вижу, что как бы хотел воспользоваться нашими отношениями и подкормиться. Воистину сытый голодного не разумеет. За эти годы обстоятельства мои изменились к лучшему. Сегодня праздник — Седьмое ноября. Я вернулся из гостей. Ел настоящие сибирские пельмени, тушеную баранину с картошкой, пирожки, колымский ликер, какао и тому подобные вкусные вещи. Как Вы знаете, я был наказан, по срок дали небольшой. Я в точности тот же самый, кто писал Вам письма с фронта. Сейчас я сижу в кабинете директора завода. За окном воеет пурга. Я работаю начальником производственно-технической части завода. Как раз по моей специальности технолога. Живу на вольной квартире. Оклад мой две тысячи рублей... Зачем я Вам пишу? Во-первых, чтобы принести извинения за то письмо и чтобы Вы убедились, что и в сытости я помню о Вас. Во-вторых, потому что скучаю без Вас. Та незримая связь, которая возникла у меня с Вами, не отпускает, держит меня, и слава богу. Разумом я сознавал, что Вы могли выйти замуж, но в душе, в самой ее глубине, мечтал, что Вы ждете меня. Только последнее

время эта уверенность стала рушиться. Никаких оснований ни для уверенности, ни для сомнений у меня не было. Знал только, что не могла пропасть близость, которая у нас появилась. Мы рыли тоннель навстречу друг другу. Вы пробивались к моей душе, я к Вашей. Никто так близко не добирался до моей сути, никому я так не открывался, и хотя переписка оборвалась, Ваше место никто не может занять. Вы знаете, Жаппа, физическое чувство, конечно, много значит. Но взаимозаменимость в постели вещь более легкая, чем в душе».

Хорошо было бы воспринимать это письмо как историческое, лишь как архивный документ тех времен, когда автомобили гудели, паровозы дымили, письма писали чернилами. Письмо было длинное, очевидно, послано с оказией. Наконец-то Волков мог выговориться. Он писал все так же — без единой помарочки, без абзацев, что было правильно, поскольку жизнь идет сплошняком, без абзацев и без помарок. Ошибки происходят, но как их вычеркнуть? Он рассказывал о своих делах, отвлекаясь на пейзажи и описания здешней природы. В 1946 году его вызвали в Москву и предложили работать по специальности. То есть практически его скоро заметили. Он стал руководить научно-исследовательской темой. Ему дали лабораторию. Через два года случилось новое несчастье — произошел взрыв. Волкову обожгло руки, голову, переломало кости. Чудом сохранились глаза. Когда он подлечился, его наказали. Как руководитель он должен был отвечать. Отправили в Магадан, где сделали начальником производства. С неподдельным восторгом описывал он поездку на пароходе — пролив Лаперуза, последний маяк Японии, Охотское море... Во время шторма он носился с кормы на нос, стараясь ничего не упустить. Качка на него не действовала. Он любовался бурей и сравнивал ее с картиной Айвазовского «Девятый вал». В свое время у него, видите ли, имелись сомнения — правильный ли цвет волпы выбрал художник, бывают ли такие краски, особенно на гребне? Вцепившись в поручни, он проверял, огромный вал вздымался над головой, и оказалось, что Айвазовский прав. Приглядываясь к пылающим краскам тайги, он вспоминает Купиджи, Левитана, Шишкина, Васильева, ну прямо заметки искусствоведа, будто он то и дело забегает в Русский музей сравнить. Любой посторонний читатель вознегодовал бы — чего он строит из себя, ваньку валяет, до пейзажей ли? Манерничанье все это! Но я-то знал, кто пишет и кому. Ему показать надо было Жанне, что в любых условиях

духовная жизнь его не гасла, в нем осталось поэтическое восприятие мира, не падо его жалеть, он все тот же, ему не нужны скидки. Иногда он перебирал в своих восторгах перед дикой красотой природы. Его благодушные сбивались на фальшь. Ни одной жалобы, ни злости, ни укора — ничего не позволил себе. Роль трудная, под конец ему все больших усилий стоило удерживать себя, сам себя за горло держал, иногда полузадушенный вскрик послышится — одиночество («Никого у меня не осталось, и уже не приобрести»), неуверенность («Хотел бы знать, что Вы думаете, читая это письмо?»). А в целом — справился, получилась постигаемая личность, живущая полноценной жизнью, ему все впрочем, никакие обстоятельства его не удручают. Всюду есть пища мыслительному уму, вот вам целое исследование о блатном языке, происхождение словечек «шмоп», «прохоря», «чернуха» и других. На предпоследней странице были строчки, подчеркнутые знакомым алым фломастером: «Недавно стало мне известно, что срок мне сократили благодаря хлопотам одного из наших фронтовиков. Признаться, от него не ожидал такого, помнит о моем жребии. Узнать бы, что заставило его?»

Кто ж это мог быть? Такой же волнистой чертой Жанна отмечала строки обо мне. Я перебирал всех, кого помнил, и все больше склонялся в пользу командира полка. Последние годы перед его смертью я несколько раз бывал у него. Он вышел в отставку генералом. Однажды у нас был разговор про то наше наступление в Эстонии, и генерал сказал, что прав был тот лейтенант-сапер (фамилию его не называл): неэкономная была операция, давай! Азарт наступления подымал требования тактики.

Это было в характере нашего генерала — вмешаться, позаботиться, не открывая себя.

Я пробежал оставшиеся две страницы. Больше ничего, никого не упомянул из нас, никому не поставил в вину, что тогда не только не вступились — обрушились на него.

Письмо обрывалось, будто Волков понял, что никакого конца быть не может. Потом он все же приложил узкий листок бумаги: «Боюсь, не поставил ли я Вас этим письмом в трудное положение. Простите, я этого не хотел. Я не рассчитываю ни на участие, ни на ответ. Лет через пять, если буду жив, я вам еще раз напишу. До этого не опасайтесь. А ведь я к Вам привык, как ни странно. Как все неожиданно оборвалось! Какое прекрасное было начало — и какой печальный конец! Но, может быть, еще и не конец, не вся-

кая песня до конца поется. Как говорил мой отец: где конец веревки этой? Нету его, отрубил!»

Долго, со стыдным чувством облегчения смотрел я на дату, механически поставленную в углу, потом повалился на диван и мгновенно заснул не раздеваясь, как когда-то засыпал на фронте.

### III

Солнце висело на шпигле Адмиралтейства, припекая пустой летний город, пыльную зелень, грабительские набережные. На площади стояли экскурсионные автобусы. По горячему асфальту туго стучали деревянные сабо. Немцы, шведы, финны, темные очки, челюсти, жующие жвачку...

— Ну как, вспомнили Волкова?

Вопрос вырвался из нее против воли. Она долго удерживалась, вела себя как положено, совершая вступительный обмен фразами насчет погоды, предстоящей прогулки по городу. У Мапежа белел новенький щит: «Выставка живописи Финляндии». С тележки продавали брикеты сливочного мороженого. Из картонного ящика дымил сухой лед.

— Ну как, вспомнили?

Все застроено, покрашено, ни одной приметы блокады не осталось. Все дочиста выскоблено. Кому пужны страсти той ушедшей за горизонт поры?

Я пришел за четверть часа, она уже сидела в сквере. Узнал я ее издали, со спины, по шапке ее неистово черных волос. Она сидела неподвижно, я прошел по соседней аллее, глаза ее были закрыты. Неизвестно, как рано она пришла.

— Еще бы, наш знаменитый сапер Волков, сапер Советского Союза его звали.

Губы ее шевельнулись, что-то прошептав; она нахмурилась.

— Вы должны мне рассказать о нем все, все, что помните.

Она волновалась, и я подумал: а что, если Волков жив? Мысль эта испугала и поразгла меня.

— Вас что интересует?

— Все, все,— нетерпеливо подстегнула она.— Потом я вам отвечу.

Мы вышли на набережную. Мелкий блеск воды слепил глаза.

— Корепастый, невысокий, голос у него был густой. Он даже пел баритоном. Он был человек замкнутый.

Когда я произнесил «был», ничего не менялось в ее лице.

— Что же, он много ниже меня?

Она остановилась передо мной.

— Значит, вы так и не видели его?

Она неприязненно дернула плечом.

— В том-то и дело. Я никогда не видела его.

Я подумал, что Волков был действительно много ниже ее, сутулый, с обезьянье длинными руками, совсем ей не пара.

— Плечистый он был,— сказал я.— Атлетического сложения, поэтому роста казался небольшого.

Если бы знать, что хотела она от меня услышать.

— Его любили? Что у него за характер?

— А мы мало что знали о нем. Он о себе не рассказывал. Специалист он был хороший.

Я двигался на ощупь, по ее лицу ничего нельзя было прочесть.

— Вы знаете, я так представляла, что в жизни он многословен.— Она оживилась.— А по письмам его этого не скажешь, верно?

— Я тоже удивлялся, читая. Борис — тот как раз был рассказчик, заслушаешься, в письмах он, конечно, проигрывал...

Для чего-то я пробовал защитить Лукьянова, восстановить справедливость. Могли же одну и ту же девушку любить два хороших человека. Не обязательно один из них должен быть хуже или глупее. Почему всегда один из соперников оказывается трусом, себялюбцем, словом, недостойным? В молодости я тоже так считал. Когда Волкова осудили, тем самым как бы подтвердилось, что он хуже, что он не имеет права вставать Борису поперек дороги.

— Почему Волков развелся с женой?

— С женой?..— Что-то мелькнуло, тень воспоминания, когда-то об этом толковали.— Черт, не вытащить,— признался я,— может, потом вспомню.

— А о нашей переписке Волков рассказывал?

— Ни слова. Не в его натуре. От Бориса я знал, что оба они обхаживают одну и ту же девушку. Извините, теперь я понимаю, что это — вы.

— Господи, вы становитесь все догадливее.

Я засмеялся.

— Это я нарочно подставляю вам борт, чтобы вам было

легче. Между прочим, письма ваши я, кажется, видел, когда землянку Волкова разбомбило.

— Интересно было бы их сейчас почитать. Я плохо представляю, что там было.

— Я тоже все пытался вообразить. Наверное, они были на уровне. Иначе не вызвали бы такой переписки.

— Спасибо,— сказала она.— Да, что-то там должно было быть. Все дело в питопании. Может, сегодня я не сумела бы... Нам кажется, что мы с годами умнеем. Ничего подобного, уверяю вас. Тогда, в девятнадцать лет, я чувствовала больше и понимала не хуже.

— А что касается меня, то я был туп. Это точно. Даже вспомнить стыдно.

Мы некоторое время шли молча. Она взяла меня под руку и вдруг спросила тихо:

— Вы хлопотали за Волкова?

Я покраснел.

— Нет, это был не я. Наверно, это наш командир полка.

Она внимательно смотрела на меня. Я снял кепку и помахал, отгоняя жар.

— Вы не любите Волкова?

— С чего вы взяли?— Я хмыкнул поравнодушнее.— Просто мне Борис был ближе. Пехота.

— Пехота тут ни при чем.

— Да, я был на стороне Бориса.

— Вам вообще неприятно вспомнить войну?

Она об этом уже спрашивала, и я оживился.

— А почему мне должно быть неприятно? Мне три года спилось, как у меня живот разворотило и мне никак кишки назад не записать, скользкие они.

— Почему же другие любят вспоминать?

— Не знаю. Мне хватает нынешних передраг. Вот мы сейчас воюем с Госпланом. Это же битва народов. Тридцатилетняя война.

— Вы с фронтовиками не встречаетесь.

В словах ее было больше утверждения, чем вопроса. Это была чисто женская способность внезапно, без всяких, казалось бы, оснований угадывать сокровенные вещи. Откуда она могла знать, что я давно перестал бывать на встречах? С тех пор как хоронили нашего генерала. На гражданской панихиде я услышал, как дал слово Акулову. Он служил у нас в связи. В сорок втором году его за трусость исключили из партии. Он припнулся писать на всех кляузы. Еле набавились от него. Появился он через несколько лет после вой-

ны и стал всюду выступать с фронтовыми воспоминаниями. Генерал наш негодовал, но помешать Акулову не мог. И вот он теперь встал у гроба и поднял руку. Я громко сказал: нельзя Акулову слово давать, это кощунство! Произошло замешательство. Но Акулов нашелся: ах, говорит, паш друг хватил с горя, ревновать пачинает всех к генералу, меня ревнует, и немудрено, потому что паш генерал любил каждого из своих офицеров, так любил, что... И пошел и пока-тил о том, какие мы были герои под водительством нашего командира, как мы освобождали, громили, какое чистое и честное было время, и вот ушел тот, для кого мы были по ветераны, а солдаты, он знал дни и ночи наших боев, а для других это были всего лишь даты... Кругом меня всхлипывали, сморкались. Ничего не скажешь, красиво говорил этот суклин сын. Но после этого я перестал ходить на встречи. Мне слышались в воспоминаниях медные трубы похвалыбы и акуловский голос: «Ах, какие мы были бесстрашные, какие герои!» На пионерских сборах задавали вопросы, за которые мне было неловко: какие подвиги совершили вы и ваши товарищи? Сколько у вас орденов, сколько фашистов вы убили? Две девочки с пущистыми косами водили меня по школьному музею боевой славы. Под стеклом лежали начищенные диски автомата. Была сделана модель землянки, стены обшиты досочками, внутри зажигалась маленькая лампочка, укрепленная на пистолетной гильзе. Это было очень трогательно. Девочки попросили подарить музею моименные часы и сказали, что если мне сейчас жалко расставаться, то чтобы им дали их, как только я умру. Милые девчужки, исполненные заботы о своем музее.

— Опн что же, ссорились?

— Кто?

— Да Волков с Лукьяновым.

— Бывало. Цапались. А между прочим, Волков одеколо-нился, — неожиданно выскочило у меня, и я как-то по-иди-отски обрадовался. Вспомнил, как Волков патирался после бритья тройным одеколоном, и то, как нас возмущало это. Одеколоном у него воровали и выпивали. Каким-то образом он вновь добывал его в Военторге, и за круглым этим пу-зырьком шутники охотились из принципа и, конечно, обпаруживали. — Одеколонился, вы представляете!

Разумеется, она не могла взять в толк, что тут особенного, и сколько бы я ни разжевывал ей, такие вещи все равно не дойдут.

— Справа стоит одна из колонн с гением славы, подарок

Николаю Первому от прусского короля в сорок пятом году.

Казалось, что Жанна потихоньку переводит гида, который бойко шарил по-немецки, но скоро я уловил несоответствие. Толпа экскурсантов потянулась к площади, а Жанна продолжала объяснять мне. Она паузой повторяла текст волковских открыток. Она поднимала палец, придавая словам торжественность. То же произошло и у «Медного Всадника», «созданного скульптором Фальконе, открытого в 1782 году», и тому подобное. Потом она взяла открытки, те самые, которые я паспех просмотрел, с видами Ленинграда. Она дала мне очередную открытку, изображающую Исаакиевский собор, отдекламировала ее текст и стала продолжать от себя про колонны, осадку, про большие двустворчатые двери с барельефами, про неудачный проект Монферрана... На черно-белой открытке мимо собора несли аэростаты заграждения. Три продолговатые серебристые туши. Я никогда не видел их вблизи, всегда только издали. Даже в бинокль они плохо различались на фоне белесого неба.

Сейчас вместо аэростатов тянулась длинная очередь желающих попасть в собор. Я сам никогда не был в этом соборе. Меня не интересовали ни Монферран с его просчетами, ни голова Петра, которую, оказывается, лепил не Фальконе, а девица Колло, меня куда больше занимало волнение Жанны, она никак не могла сладить со своим голосом. Ровная безучастность прерывалась, как будто ей не хватало воздуха. Она взглядывала на меня с необъяснимо просящим выражением. Я кивал, энергично поддакивал, но было тяжело оттого, что не могу разделить ее восторга от этих памятников и ансамблей. Я рос среди них и не замечал, как не замечал уличного шума, вывесок, запаха нагретого асфальта. Я был потомственным горожанином. Я знал другой город — с очередями, колоннами демонстрантов, его лестницы, дворы, коммунальные квартиры.

Внутри собора попасть не было надежды. Без очереди пропускали организованные экскурсии. В большинстве это были иностранцы. Мы пытались пристроиться к немцам, но нас вежливо отделили. Зато я впервые дошел до самого входа и потрогал изображение святых на дверях.

Пройдя мост, мы очутились перед Биржей. Мы двинулись по маршруту, обозначенному открытками.

— Левее Биржи здание Зоологического музея, — чеканила Жанна, — третьего по величине в Европе. По бокам — Ростральные колонны. Сама Биржа, в сущности, повторяет Парфенон в Афинах. Обратите внимание, — сказала она дру-

гим голосом, — он пишет с уверенностью человека, побывавшего в Греции. У него все перед глазами... Калликрат был бы педоволен качеством материала, — продолжала она декламировать, — Фидий — отсутствием скульптур, а вообще все выдержало точно в дорическом стиле. К счастью, с главного портала убрали световую рекламу, она мешала целостности впечатлений. Это место одно из самых красивых. Вот какой ваш Ленинград. Гравюра принадлежит дивному художнику Остроумовой-Лебедевой, она умеет как пикто показать прелесть нашего города. Здание Биржи получилось у Томопа лучше его проекта. Редкий случай...

Текст открытки кончился. Жанна продолжала показывать обуженные капители, портик, папдус.

— Да вы же ничего не чувствуете! — с горечью воскликнула она.

Какого черта я должен умиляться этим папдусом и капителями, я ничего не понимаю в архитектуре и не желаю в ней разбираться.

Она расстроилась. При чем тут папдусы? Неужели мне ничего не говорят сами открытки, выпущенные в блокаду бог знает какими усилиями, что уже было подвигом, да еще посланные в те месяцы из осажденного города в Грузию, а до того купленные и привезенные на фронт и там в окопе исписанные крохотными буквами, чтобы побольше уместилось, отправленные полевой почтой, сохраненные за все эти годы и сейчас вновь привезенные сюда? Да как же всего этого не чувствовать! Одно это превратило их в поразительный документ. Черные глаза ее пылали. Надо быть бездушным человеком, чтобы не оценить любовь Волкова к городу, не оценить его эрудиции. Кто бы мог описать по памяти все это с такой точностью! А как ощущал он красоту города, в то время развороченного, изуродованного, полумертвого. По этим открыткам она изучала Ленинград, из-за них она раздобыла альбомы и монографии. Она выучила город, вызубрила его. И это место — стрелка Васильевского острова — действительно самое прекрасное место, она не представляла, что отсюда такой вид на Петропавловку.

Я понял, что впервые отдельные фотографии, картинки соединились для нее в папораму, какую можно было окинуть долгим взглядом. Арки мостов, берега Невы, раскинутые крылья набережных — она жадно оглядывала все это, по, я чувствовал, не своим взглядом, а как бы глазами Волкова. Она перестала обращаться ко мне, теперь она говорила скорее этим грязно-белым языческим богам, сидящим у подпо-

жья Ростральных колонн. Лицо ее озарилось сиянием, которое заставило остановиться туркмен в стеганых халатах, они умильно любовались ею, покинув своего экскурсовода. Я чувствовал себя виноватым. Вся эта история с открытками заслуживала, наверно, куда больше внимания, чем мне казалось. Для меня это была пустяковина: нашел чем заниматься во время войны, показывал свою образованность, как будто впереди у этих двоих, у Волкова и Жапны, были годы и годы. Такие открытки могут писать в отпуске вот эти экскурсанты...

Но тут же я подумал о том, как не раз в своей жизни принимал за пустяки чье-то смущенное признание, косноязычную просьбу, а потом из этого вырастала чья-то трагедия, менялись судьбы. Картины, о которых доложил старшина, оказались из Дрезденской галереи, а я даже не взглянул на них. События часто огрубляли меня и скрывались неузнаваемыми. Маленькая Наташа, наша соседка, которая год упрашивала меня почитать ее стихи, была, оказывается, влюблена в меня и уехала во Владивосток, выйдя замуж за моряка. Волковские открытки остались и все эти годы будоражили чью-то душу.

— Никогда не знаешь, что останется от нас, — сказал я. — Наверняка совсем не то, на что мы рассчитывали.

Мы шли по городу от одной открытки к другой. Ее интересовал только этот Ленинград. Может быть, я должен был сказать ей, что ее Волков создан из писем и фотографий, что он бумажный возлюбленный, она сотворила его, отбирая лучшие фразы. Это было надувательство. Но я не знал, надо ли это говорить.

— Ну как вам его последнее письмо?..

— Бодрое письмо. Работа по душе, ценят его...

Начала она слушать жадно и быстро угадала.

— Неужели вы не заметили, что он никого не випит? — перебила она и поглядела мне в глаза, словно напоминая про мои страхи. — Он себя випит — за одну просьбу! Меня оправдывает, а себя випит! — Холодное твердое лицо ее порозовело, залучилось нежностью. — Как деликатно он прощает, чтобы я не чувствовала себя обязанной. Верно? Прощать тоже надо уметь. Говорят: понять — значит наполовину простить. Он понять не мог, потому что не знал ничего, а простил. Меня бы в таком случае мстить, самолюбие спасли бы. Я не умею прощать. Это плохо. От его письма у меня совесть очнулась. Я увидела себя. Вы знаете, Аптон, подозреваю, что он презжал в Тбилиси ко мне. Один не-

понятный случай был. Человек у дома моего стоял. У кабинета моего в поликлпвике сидел. Правда, он с шевелюрой был. Может, я потом навообразила...

Зеленая вода в каналах попахивала гнилью. На маслянистой пленке колыхалось четкое отражение: двое над перилами, над ними голубое небо восемнадцатого июня. За четыре дня до начала войны, подумал я.

Из-под свода моста выплыла лодка, на корме сидела девушка с розовым зонтиком. Жаркое небо накладывало тонкий голубой слой на окна, на блеск машин, на воду. Город голубовато светился. Что-то обидное было в его обольстительной красе. Мы все постарели, а у него не осталось ни следа когда-то сообщая пережитых бед.

Дойдя до Симеоновской церкви, Жапна остановилась и показала мне место, где был дом Волкова. Дом спесли в прошлом году. Здесь был разбит сквер. Дом Волкова — у нее звучало примерно так же, как дом Достоевского. Мы сели на скамейку. Я вытянул большую ногу, стараясь не морщиться. Знал я волковский дом, он был ветхий, скучный, с узкими вонючими лестницами. Несколько раз я бывал в нем. На втором этаже в конце коммунального бедлама когда-то помещалась ободрапная пора — место моих коротких свиданий. В сущности, следовало бы благодарить и за это убежище. Хуже пет изматывающей беспринотности подъездов, садовых скамеек, дворовых закоулков с копящими свадьбами. Гпусая маета молодых, бездомных, маета, в которой гаснут желанья и перегорают страсти. Та женщина умела целоваться как никто. Под окнами тарактел трамвай, мчались грузовики, и от этого шума мы почти не разговаривали друг с другом.

— ...Прпехала в Ленинград в сорок шестом году. Выхлопотала командировку. Через справочное разыскала адрес Волкова. Пришла, звонила, звонила, никто не отвечает. Вышла соседка. Старуха в меховой шапке. Я наплела ей, что один фронтвик раненый просил узнать про своего друга. Мне стыдно было правду сказать — я, девушка, разыскиваю такого взрослого мужчину. Старуха долго приглядывалась ко мне, потом шепотом сказала: не пщи, у него плохая судьба. Значит, не рапен, не убит, поляла я. И то хорошо. Больше пичего узнать не могла, уехала ни с чем. А дома меня Борис ждет. Явился во всем гвардейском блеске. От него я узнала, что случилось с Волковым.

— Борис-то зачем приезжал?

— Предложение мне делал.

— А вы?

— Отказала.

— Отказали? Ему?

Я был потрясен всей силой моего прежнего восхищения Борисом. Он возник передо мною во весь рост — голубоглазый, шинель внакидку, золотая кудряшка прилипла ко лбу... Жанна с улыбкой смотрела на мое виденье. Он был тот же, постареющий, двадцатитрехлетний. Но она-то! Как она решилась, как посмела? К чувству недоумения примешался вдруг интерес к той девятнадцатилетней грузинской девушке.

— ...Геройский офицер из-под Вены приехал специально ко мне. Увидев меня, не разочаровался. Подруги завидовали. Женщины в цене были. Почти все наши мальчики погибли. Как мама уговаривала меня! Борис ее очаровал. Да и мои отношения с Волковым ее беспокоили. К тому же Борис ей наговорил про него. Это я потом узнала, слишком поздно.

— Почему наговорил? Рассказал,— поправил я.

— Наговорил,— твердо повторила Жанна.— У Бориса и так были все преимущества. Ведь все выглядело романтически, нашу историю с ним пропечатали в газете.— В темном прищуре Жанна рассматривала что-то певедомое мне.— Знаете, что меня остановило? То, что он торжествовал. Он не жалел Волкова, он считал, что то, что случилось с Волковым, законопно.

— Но если он так думал? Зачем вы писали Борису до самой победы, зачем вы его обнадеживали?

— Я отвечала на его письма.

— Отвечали... А он на ваши отвечал. Это и называется — переписываться.

— Конечно, это было легкомысленно.

— За что же вы нас судите? У вас легкомыслие, у нас педомыслие.

— При чем тут вы? — холодно спросила Жанна.

— А я так же отнесся к той истории с Волковым.

Я принялся объяснять ей, но ничего не получалось. Вопросы Волкова, которые нас раздражали, сомнения, которые мы отвергали, поступки, которые вызывали насмешки,— все сейчас потеряло убедительность. Не очень умно и красиво мы выглядели, но тогда... Как показать ей расстояние, которое мы все прошли?

Она тронула мою руку:

— Меня тоже пугали высказывания в его письмах. А те-

перь я не могу эти высказывания найти. Перечитываю — и не вижу их.

— Борис так и уехал?

Она кивнула.

— И все? Больше не писал?

— Ни разу.

Она могла стать женою Бориса, думал я, и мысль эта делала ее ближе и в то же время порождала какую-то легкую печаль и жалость к собственной судьбе, какие возникают, когда видишь красивую женщину, чужую и недоступную.

Он добирался до Тбилиси так же, как я в Ленинград, — па крышах, в тамбурах. Я все это легко представлял: кипяток на станциях, долгие стоянки, трофейное вино, офицеры, солдаты, гражданские — все перемешалось и все было шпо-чем, все это пело, ликовало, одаривало друг друга, захлебывалось плачами, надеждами, травило байки, играло на перламутровых аккордеонах, вымещивало, чокалось... И представил, как Борис возвращался. Из Тбилиси к себе в Костромскую. Отвергнутый — а за что, на каком таком основании? Он, кому весь мир принадлежал, потому что весь мир был обязан нам! И все эти бабы, девки, которые счастливы должны быть от одного нашего слова... Так оно было, так и я жил в тот хмельной послевоенный, салютный наш первый год на гражданке.

— Тыфу, это же чушь собачья, — сказал я. — Выходят, похвали Борис нашего Волкова, у вас все бы сладилось и вы пошли бы за него? По-вашему, он не имел права ругать соперника. Абсурд. Извините, это не проходит.

— Прошло. В моей жизни мало было абсурда. Я всегда поступала логично. Любила логично, разводилась логично.

— Вам не жаль, что вы так обошлись с Борисом?

— Нет, — мягко сказала она. — Отчасти я ему благодарна. Но тут другое. Думаете, я Волкова любила? Это была еще не любовь.

— Почему вы не дали мне предпоследнего письма Волкова?

— Его нет. Я сама не читала его.

— Как так?

— Мать скрыла от меня, спрятала его.

Она проговорила это с натугой, хотела что-то добавить, но промолчала.

— Хотите проехаться на пароходике? Тут недалеко присталь.

— Почему вы не спрашиваете, как все это было?

— Вам неохота говорить об этом.

— А вы не решайте за меня,— сказала она неприятным голосом.

— Вы же сами просили не задавать вам вопросов.

— Вы всегда такой послушный?

— Послушайте, Жаппа, я научился разговаривать с женщинами. Я никогда не знаю, чего они добиваются. Чтобы не обращали внимания на их слова? Ну зачем это им надо? Даже Лев Толстой не понимал женщин.

— Единственный, кто их понимал, это Толстой.

— Нет уж, извините, он в собственной жене не мог разобраться. Его сила состояла в том, что он знал: женщин понять невозможно. Вы замужем?

Она слабо усмехнулась.

— Надо выяснить, я как-то об этом не задумывалась.

Ирония помогала ей преодолеть какую-то нерешительность, что-то мешало ей начать.

— Может, не стоит,— сказал я.— Зачем будить демонов?

— Будем будить,— твердо сказала она.— Иначе ничего не получится. Для этого я и приехала. Надо же мне оправдать поездку.

— Тогда не стесняйтесь, сыпьте все без купюр.

Вот уж кто не стеснялся. Она говорила быстро и ровно, по как будто рассказывала не о себе. Глаза ее смотрели на меня невидяще, устремленные куда-то туда, куда она стремилась быстрее добраться.

— ...В госпитале я много писем писала раненым, под их диктовку. Редко кто из них не присочинял. Одни преуменьшали свои раны, другие преувеличивали, третьи расписывали свои подвиги, а те — свою тоску и любовь. Вроде бы на меня после этого не должны были действовать письма Волкова, верно? А они действовали, и все сильнее, я привыкла к ним как к наркотику. Мне их по хватало. Я их припирала один к одному. А вот много позже я усомнилась. Взрослость цинизма прибавила. Это я от первого мужа заразилась. Мне захотелось патенты Волкова проверить. И все оказалось правдой. В Париже в музей ходила импрессионистов смотреть. Тоже ради проверки. Все хотела уличить его, хотелось позвонить ему. А за что? За то, что он обманул меня и бросил. Я после отъезда Бориса все ждала, что Волков сообщит... А тут у меня отец умер от инсульта, мне больно было, что он умер голодным. В Тбилиси тогда голодно было. Мама меня винила: вышла бы за Бориса, мы обеспечены

были бы. Она вслух это не говорила, но я знала, что она так думает. А от Волкова ни одной весточки. Потом меня сосватали, ну, в общем, уговорили, доказали. Муж был много старше, вроде Волкова, на вид молодцом, солидный, образованный, владел английским, любил поэзию. Он был приятен, и я уступила. Жизнь действительно стала легче, появились вещи, наряды, что ни день — застолье. Откуда-то шли деньги, и с ними — возможности, о каких раньше и не мечтала.

Она живо изобразила, как посреди пира муж вставал и пропикновенно читал стихи Бараташвили или Табидзе. Это почему-то успокаивало ее. Ей казалось, что человек, любящий стихи, не может быть жуликом. В минуты откровенности он признавался, что его влечет риск коммерческих комбинаций. Наша цивилизация, говорил он, возникла благодаря торговле. Все началось с коммерческого таланта, этот талант надо использовать, грех, когда талант остается неиспользованным, ну и так далее. Он жил бурно, смело и погиб в горах при непонятных обстоятельствах. Сразу после этого выяснилось, что на него заведено дело.

— Мне доказали, что я пужна была ему для прикрытия, поскольку семья наша имела безукоризненную репутацию. В те дни я решила пойти учиться на врача. Я бросила строительный. Мне хотелось хоть чем-то искупить...

Несколько жизней, куда больше, чем я думал, уместилось между той девчонкой моих лейтенантов и этой жещицкой, которая зачем-то ехала ко мне с их письмами.

Дети носились в сквере на том месте, где жил Сергей Волков, где над папи, в невидимом объеме, когда-то стоял аквариум, этажерка со справочниками, висела репродукция Рембрандта. Напротив нас возвышалась желтая с синим церковь Спаса, самая старая церковь в городе, как сообщила Жанна. По этой церкви Волков всегда сможет определиться. Хоть что-то осталось. А от нашего дома в Лесном и от соседних — ничего, все разобрали на дрова.

— Может, он еще жив? — спросил я.

— Я получила справку. Он умер четыре года назад. Там, на Севере. Он там остался. Но лучше я по порядку. — И она продолжала с добросовестной откровенностью, как будто давала показания. У меня было ощущение, что, как в показаниях, любая подробность могла пригодиться, из этих подробностей возникал какой-то, пока еще неясный, смысл.

После первого мужа был второй, который оказался болезненно ревнивым.

— Он уверен был, что я его должна обмануть. Причем как женщина я его интересовала не часто. Заставил меня аборт сделать — не верил, что его ребенок.

Без пощадки и без стеснения выкладывала она тайны своей женской жизни. У нее это получалось так естественно и просто, что и я воспринимал так же.

Она развелась и почувствовала облегчение, к ней вернулась независимость, ощущение своего «я». Замужем она побывала, долг свой выполнила, теперь она вольная птица. Семейный очаг у нее как бы был: мать — предмет забот и долга. И работа выиграла, она ушла с головой в медицину — самая лучшая в мире профессия, в которой можно не думать о продвижении, о званиях и каждый день добиваться успеха. Мужчины появлялись и исчезали в ее жизни без особого следа. Был, например, один красавец, который делал карьеру. Он брал ее на приемы, водил как личное украшение. Аристократизм Жанны как нельзя лучше подходил к его планам. Выяснилась правда, одна закорючка — отец Жанны имел иностранное происхождение. Еще в прошлом веке дед приехал в Грузию из Испании и долго сохранял испанское подданство. Жанна со злорадством наблюдала, как это обстоятельство путало все далекие расчеты ее кавалера. Бедняга не понимал, что безупречная биография может также не правиться и тормозить карьеру. Мужчины были вовсе не так умны, как представлялось ей в молодости. Все больше попадались бесхарактерные, закомплексованные, плохо работающие, а главное — скучные и недалекие.

— Сама еще не создавая, я все искала мужчину умнее себя, чтобы и культурный был, чтобы на него снизу вверх смотрела. Словом, обычные требования разочарованной женщины средних лет. Вот тогда начал мне вспоминаться Волков. Перечитывая его письма, я сравнивала и убеждалась в его преимуществах. Он сталовился крупнее и, как бы это сказать, ошутимее! Вы понимаете?

— Да, пожалуй.

Она недоверчиво усмехнулась и пояснила, что поскольку Волков располагался в прошлом, то существование его обрело законченную реальность: когда-то у нее был возлюбленный, они любили друг друга и идеально друг другу соответствовали. Он был лучшим украшением ее женской биографии. При случае можно было показать подругам фотопортрет; хорошо, что он не мальчик, с годами он все больше подходил ей. Иногда она мечтала — а вдруг он объ-

живется? Ей правилось представлять свое существование жизнью как бы до востребования. Она придумала ему оправдание — его гордость. Конечно, с годами фигура Волкова затуманилась, отодвинулась, осталось лишь приятное воспоминание. От него, пожалуй, передалось ей увлечение живописью, архитектурой, то, что когда-то заставляло ее тянуться, отвечая на его письма. Год назад умерла ее мать. Разыскивая документы, чтобы оформить похороны, Жанна наткнулась среди бумаг своей матери на письмо Волкова. То самое, которое я читал. Находка ошеломила ее. Она стояла не в силах пошевелиться. Значит, он ей писал! А мама, для чего она утаила, спрятала? Из текста видно, что было еще одно, а может, и два письма — в 1945 году. Он сразу написал ей, как и должно было быть. Она кинулась искать, перерыла весь дом и не нашла. Перед гробом матери она стояла, пытаясь взглянуть в застывшие черты, попытаться, узнать, что же случилось, зачем мать так поступила? В том, первом, письме Волков просил о помощи, и она, Жанна, ничего не ответила, промолчала. Это первое письмо мать тоже спрятала или уничтожила. Но как мать могла? Тут было что-то дикое, несусветное. Она хоропила мать с тяжелым сердцем.

— Все перевернулось во мне, Волков ожил, проявился, я почувствовала себя виноватой перед ним, опозоренной. Невыносимый стыд мучил меня. Вы только подумайте — на первое письмо не ответила, не помогла, и на второе тоже. Что он подумал обо мне? Выходит, он все эти годы не забывал меня. Ждал ответа. Представляете, какое это предательство, какая низость? — Сплетенные ее пальцы побелели. Она смотрела на меня умоляюще.

— При чем тут вы? Что вы на себя валите? — горячо сказал я, и сказал это поглубже, я не хотел, чтобы она говорила о себе плохо, с такой болью.

— Нет, погодите, я восстановила, как все это было. Первое письмо пришло как раз в те дни, когда Борис приехал. Мама испугалась за меня. Не знаю, чем там Борис ее застрадал, но она, увидев обратный адрес, вскрыла конверт. Страхом тогда хватало. Многого надо было, чтобы она решилась на такое. В нашей семье вскрыть чужое письмо — этого нельзя себе представить... Я вам кляпуюсь, если бы я сама прочла письмо, я бы все бросила, помчалась к нему. Мать это знала. А второе письмо пришло, когда все было хорошо. Мать защищала мое счастье.

— Ее тоже можно понять.

— Но Волков ведь не знал, как все было. Он решил, что я струсил. Испугалась за свое благополучие. Даже поверила, что он преступник. Ну хорошо, преступник, так ведь даже преступникам не отказывают в милосердии. А я отказала. Мыла кусок пожалела. Этот кусок мыла у меня из головы не идет.

— Но вы же послали бы, если бы знали.

— А почему я не знала? Почему? — воскликнула она режущим голосом и схватила меня за руку. — Думаете, потому, что мама письмо спрятала? Верно? Как будто я ни при чем? Недоразумение, мол, случилось. Мама перестаралась. — Лицо ее перекосила усмешка. — Не проходит, дорогой мой Антон Максимович. На самом-то деле все из-за меня. Ах, если бы можно было отнести все на счет случая, пожаловаться на судьбу, да? А нельзя. Потому что судьба дала мне еще шанс. Судьба заботилась обо мне. Цыганка однажды предупредила меня: ты, говорит, счастливая, к тебе судьба всегда дважды будет обращаться, все исправить можешь. Второе его письмо пришло, и все можно было поправить. Но я была заверчена Суреном. Это мой муж. Рестораны, примерки, поездки. Мама считала, что это счастье, я сама ей так говорила. А с Борисом ведь так же было. Зачем я морочила ему голову? Вы правильно сказали. Не полгода — до самого конца войны морочила. И правильно, что он приехал. Когда уезжал, какой он был жалкий, и хоть бы что шевельнулось во мне, а теперь перед глазами стоит улыбочка его белая. Презд Бориса — моя вина. От презда все и пошло.

— Вы наговариваете на себя. Вы слишком молоды были.

— Я одна во всем виновата. Никто больше! Все из-за меня! — Глаза ее налились влагой, пелегким усилием она сдержала себя, чтобы слезы не выступили, лицо ее некрасиво ожесточилось. — Плохой поступок всегда поступок, — сказала она. — Что в старости, что в молодости — одинаково плохой. Когда-нибудь этот поступок тебя догонит. Вот он и догнал. А с бедным Суреном, думаете, иначе было? Как бы не так. Я глаза на все закрывала, думать не хотела, откуда все берется. У меня оправдание было — человек стихи любит. — Она запрокинула голову, прочитала, глядя в небо:

Не я пишу стихи. Они как повесть пишут  
Меня. И жизни ход оправдывает их.

Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит  
И заживо скоропит. Вот что стих.

Как он читал Табидзе! Даже эти хануи-бражники ему аплодировали. Я защищалась ложью. Сколько всякой лжи я позволяла! Льстила тем, кого презирала. Иногда мне хочется прийти в мою бывшую школу, в мой старый класс, встать перед детьми и признаться им во всех своих грехах. Кому-то хочется признаться, но кому охота слушать? — Она брезгливо сморщилась.

Мне стало не по себе. Как будто ее откровенность изобличала меня. Мне вспомнилось, как после пожара в цеху мы одни за другим выходили перед комиссией и каждый защищался как мог. Эпиретки показывали на монтажников, монтажники — на строителей. Все знали, что цех нельзя принимать в эксплуатацию. Приняли. Уступили начальнику. Никто не сказал: братцы, я виноват, я поддался, из-за меня люди пострадали, лежат в больнице. Почему совесть никого не подтолкнула? И меня не подтолкнула. Я радовался, что пронесло. Раз меня не судили, что ж себя судить?..

— Вы знаете, Жаппа, — сказал я голосом, который никогда не слышал у себя, — вы молодец. Вы молодец, что так говорите.

Я понимал, как это трудно — увидеть свои проступки, оцепить их как проступки, провести целое следствие над собой. В сущности, Волков, когда выступил насчет наших потерь, побуждал нас подумать, хотя бы смутиться чрезмерной ценой нашего успеха. Я сказал Жанне, как мы разошлись на Волкова, потому что не разглядели честности его поступка. До сих пор я не знаю, что толкнуло его — гибель Семена или самодовольная наша праздничность. Но это был поступок, и он не прошел бесследно.

Скрикнули тормоза, возле нас остановился пестрый от куда взявшийся старинный желтый автомобиль с высоким кузовом, похожий на карету. Оттуда высунулся мужчина с крашеными рыжими волосами.

— Как проехать в Театральный институт? — крикнул он.

Я показал ему. Он не смотрел на меня, он смотрел на Жанну. Не спуская с нее глаз, он вылез, подошел к нам. На нем были кожаная куртка и желтые блестящие краги, такие носили в начале века.

— Вы та женщина, которая мне нужна для картины, —

сказал он. — Это фильм о любви. Неземная любовь, над ней все смеются. Вы не красавица, но понятно, что из-за вас можно было наделать глупостей. Вам не надо ничего играть. Вы будете сидеть на плоту.

— Я не могу сидеть на плоту, — сказала Жанна. — Я замужем. Я не могу смотреть на других мужчин.

Рыжкий подмигнул мне, вручил визитную карточку с телефоном и уехал, сказав, что ждет вечером звонка.

— Он помешал вам, — сказала Жанна, — рассказывайте дальше, рассказывайте.

— Собственно, это все.

— Вы не приукрашиваете его специально для меня? — спросила она подозрительно.

— Все делается ради вас, — сказал я. — Как же иначе?

— Не обижайтесь. Мне показалось, вы переспливаете себя.

— Так оно и есть. Не очень-то приятно сознавать, какой ты был дурак. Знаете, как хорошо, когда прошлое оставляет тебя в покое. Ипкакх с ним пререканий. А тут появились вы — и началось! Скажите, зачем вы приехали?

— Расспросить у вас про Волкова.

— Чего расспросить? Зачем?

— Я думала... может, вы переписывались.

— И что? К чему вам теперь эти сведения?

— Верно, слишком поздно. Вот вместо дома сквер. Ничего не осталось.

— Вы не ответили. Зачем я вам понадобился, для чего вы заставили меня читать письма?

— Простите меня, я отвяла у вас много времени.

— Не в этом дело.

— Я думала, вам будет приятно вспомнить про себя, уязвить про товарищей.

— Ну что ж, это было действительно приятно. Пожалуй, я рад, что там побывал. Туда надо возвращаться. Но все же не ради этого ведь вы приехали? Не для того, чтобы пройтись по достопримечательностям и показать мне всякие фронтоны?..

— Но ведь вы многого не знали. — Она быстро взглянула мне в глаза, сделав кокетливое выражение.

— Жанна, не держите меня за такого крупного дурака. Не хотите говорить — не надо. Будем считать, что у вас есть причина.

Она разглядывала свои пальцы.

— Когда вы уезжаете? — спросил я.

— Причина есть. Хотя трудно объяснить словами. Но я вам обещала, вы имеете право. Так вот, мне нужно было, чтобы кто-то знал, почему так вышло. Я выбрала вас. Я считала, что вы фронтовые товарищи. Я хотела, чтобы вы знали, почему я не помогла Волкову. Не ради оправдания — вы понимаете? Просто надо, чтобы кто-то знал.

— Но что я могу? — сказал я растерянно. — Я ничем не могу помочь, он же умер.

— Ну и что с того, что умер? — сказала она звевящим голосом. — Я все равно должна была.

— Что вам от этого, легче?

— Вы не поняли. Так я и знала. — Она разом спикла. — Я не могу объяснить.

Тот узкий шаткий мостик, что перекинулся меж нами, как бы прогнулся и затрещал. Я стал уверять ее, что я что-то уловил и что-то мне брезжит, но до меня не сразу доходит. Может, и впрямь мне что-то мелькнуло, как бы приоткрылось на миг и исчезло, какое-то ее непривычно понимание жизни, смерти, души. И я опять не понимал, зачем она приехала, зачем призналась мне и что ей от того, что я знаю. Вопросы мои были слишком грубыми, я чувствовал, что касаюсь сокровенного и слишком для меня сложного. Для Жанны Волков сейчас существовал реальнее, чем несколько лет назад, когда он был жив. Так бывает. Про Бориса мы почему-то так ничего и не стали выяснять, что с ним, как он, он жил в наших разговорах, и нам этого было достаточно.

Вечером я провожал Жанну на поезд. Папку она уложила в чемоданчик. Дала мне веревку, и я старательно перевязал сверток, легкий, удобный. «Купила в подарок хлебницу», — сообщила Жанна. На ней был синий ситцевый халатик, тоже ленинградская покупка. Она сказала, что пойдет на вокзал в этом халатике, накинув легкий плащ, чтобы в вагоне не переодеваться. Она болтала о пустяках, была быстрой, домашней, только глаза были припухшие, красные.

А он, Волков, не принес бы ей счастья, вдруг попал я. Он был слишком тяжел для нее с его самолюбием и самолюбием. А что, если сказать ей об этом? Это освободит ее от угрызений. Она перестанет себя корить. Но почему-то я решил ничего не говорить. Мне было жалко ее, но я чувствовал, что не надо помогать ей.

События ее жизни сомкнулись в какой-то рисунок. Письма, замужества, страхи, большие дела, мамина шкатул-

ка — все, что было позади, осветилось, и обозначилась судьба. Попытки это всегда казалось мне падуманным. В моем прошлом я не мог различить никакого единства. Пестрые обрывки, да и те куда-то сдувало. Как будто за мною двигалась машина, которая перемалывала прожитое в пыль. На войне — там была цель, была пусть долгая, но ясная дорога к победе, был путь к Берлину. События после войны — куда они меня вели? Был ли это путь? Не могла же моя жизнь катиться просто так! Наверное, и в ней есть смысл, скрытый за суетой, за всем, что кажется таким важным сегодня и ненужным завтра. Может, лежат где-то письма, запрятанные от меня, не дошедшие вовремя. Так я утешал себя, видя, с какой завидной выпуклостью проступала у Жанны ее судьба.

Перед уходом мы присели. От рычащих внизу машин тонко дребезжали стекла. Мы сидели и слушали, потом поднялись одновременно. Путь до вокзала был короткий — всего лишь пересечь площадь. Мы шли медленно, говорили про то, чем хороши деревянные хлебницы, про петергофские фонтаны. На вокзале на всех перронах гомонили, таскали чемоданы, обнимались, всхлипывали, встречались, прощались. Мы постояли у ее вагона. Зеленые его стены, раскаленные за день, источали тепло. Белый свет ламп мешался с высоким серебряным светом негаснущей зари. Последние минуты утекали впустую. Я не знал, чем их остановить. Наверное, я должен был что-то сказать. Передо мной стояла единственная на свете женщина, которая связывала меня с войной, с моей молодостью, с той лейтенантской жизнью, когда мы влюблялись по фотографиям. Возлюбленные оживали в наших мечтах, тряслись с нами в танках, на затертых фотографиях они все были небесной чистоты, пышногрудые ангелы наших свиданий. Жанна была из них, я знаком был с ней несколько часов и десятилетия лет. Через несколько минут она уедет, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. Это было неправильно. Я знал, что пожалею о своем молчании.

— Напрасно вы отказались сниматься в фильме, — начал я со смехом, который плохо получился.

И она начала улыбаться, но остановилась.

— Прощайте, — сказал я.

Она посмотрела на меня, впервые на меня самого, хромого, морщинистого, в старелькой зеленой кепке, не усмехнулась, не удивилась, прекрасная ее мрачность вернулась к ней и обозначила этот миг серьезностью.

— Не знаю, — сказала она виновато.

Это была как фотовспышка. Я знал, что запомню ее такой. Горячую тьму ее глаз, смотрящих на меня не мигая. Белое и чистое лицо ее, смягченное грустью. За эти сутки она осунулась и посветлела.

До сих пор я был для нее источником сведений о Волкове, и вдруг я возник как самостоятельная личность.

— Еще не поздно, — сказал я. — Завтра поедем с вами на студию.

— И что?

— Начнете сниматься. Я уверен, что получится. Тем временем я буду вспоминать. Вы будете приходить после съемок, а у меня будут готовые воспоминания.

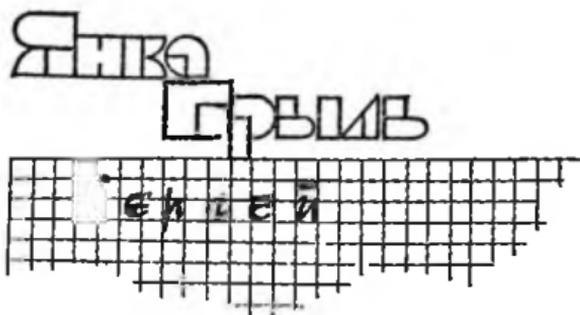
— Похоже на предложение, — весело сказала она. — Правда, слишком робкое.

Мы с облегчением рассмеялись. Все ушло в шутку. Она пожала мне руку, поблагодарила. На площадке она обернулась и что-то сказала, но я не расслышал.

На Невском фонари не зажигали, было светло илюдно. Я заметил, что нигде нет теней. Люди шли, не имея тени. И у меня тоже не было тени. Кошка пробиралась, лишешная тени, из урны шел дым, нигде не отражаясь, все было отделено от земли. Проспект плыл, колыхаясь в этом идущем вбок куда свете.

Никогда прежде не видел я город таким легким, воздушным. Рассеянная неуловимость света придавала всему загадочность. Незнакомая мне красота была во всех этих известных мне с детства домах, перекрестках.

Но еще более странным было то, что я сегодня услышал. И приезд Жанны, и ее рассказ вызвали у меня признательность и удивление. Выходит, она действительно приезжала ко мне ради того, чтобы я узнал все это... Но и это было не так важно перед теми новыми чувствами и мыслями, которые открылись для меня и долго еще не будут давать покоя.



Перед школой на рыночной площади местечка был зеленый просторный пригорок, который в сентябрьском солнце, если прилечь, мягко и сладко пах отцветшей пизенькой густой ромашкой.

Там мы на переменах делали иногда «слона». Пятеро старшеклассников посильнее становились в затылок, положив руки друг другу на плечи. На эти руки садились четверо ребят полегче — тоже руки на плечи один другому, — туда взбирались трое еще полегче, а уже на руках двоих последних, совсем воробьев, важно восседал погонщик.

В том веселом покоем сентябре, когда я начал ходить из деревни в четвертый класс местечковой семилетки, погонщиком у нас был один пацан, Сергей. Не по летам маленький, горбатый, с длинными руками и ногами, он частью сам, а больше при помощи со стороны, но все же ловко, как паук, влезал на «слона». К тому же со своим «мечом»: обыкновенное трепало, которым бабы треплют леи, забавно огромное в Сергеевой руке, старое уже, тонкое, хорошо отшлифованное в работе.

«Слон» под команду, под множество команд, трогался с места, потихоньку, торжественно шагал по траве, а вопиющий размахивал «мечом» и воинственно кричал. Вдруг была вся многоголосая школа; все семь классов «повзехной» (общеобразовательной) на разные голоса галдели, смеялись и свистели. Останавливались и люди посмотреть, и некоторые тоже не молчали. Кричали, конечно, и из кого на этот раз состоял «слон». Мне было тогда десять лет и несколько раз тоже случалось сидеть с теми, кто разовывал «третий этаж», и я тоже кричал и пидчал от

радости. А сквозь этот галдеж верхним было слышно, как над нами, пад всем «слоном», еще выше время от времени прибавался голос погонщика:

— Грюнвальд холера ясна!..

И «меч» Сергея был поднят так, как в руке великого князя Витовта на известной картине Матейки.

После всей этой радости наступал предвиденный, по всегда будто неожиданный конец. Те пятеро силачей, которые песли всех, вдруг под команду одного из них отпустили руки, и живой, движущийся горластый треугольник рушился, опадал, расплазался в оглушительном крике и хохоте. Если ты и ударился, не признаешься, а если бы кто и спросил, то начинаешь заверять, что, ей-богу, инсколечку не болит...

Хуже всего было пашему меченосцу. Он летел с самого верха, падал или на кого-нибудь, или тыквой на твердую под травую землю. Но все же и «меча» своего не ропял, и вместе со всеми что-то кричал и смеялся, выбираясь из нашей кучи малы.

Для меня Сергей был первым живым горбуном. Литературных, вычитанных вскоре пришли даже трое: Вадим у Лермонтова, Нелли в «Сердце» Амичиса и Юзё в «Грехах детства» Пруса. Русский, итальянец и поляк. Вадим, «Красная шапка», безобразный индеец и грозный мститель, о котором я узнал дома раньше других из старого, потрепанного однопотомника, воспринимался мной тогда как взрослый, и все там вообще взрослое, а Нелли и Юзё — герои школьных повестей, мои ровесники, понятные, близкие пашему брату сорванцу.

Недавно я, собравшись пакопец рассчитаться с еще одним песпокойным воспоминанием, перечитал обе те повести, проверил свое детское восхищение. Оно в основном повторилось, а к тому, прежнему восхищению и подсознательной признательности авторам прибавилось еще и взрослое: уважение к двум благородным сынам своих народов и своего времени — гарибальдийцу Эдмоду де Амичису и повстанцу 1863 года Болеславу Прусу. Почти одногодки, они и в революцию, каждый в свою, ушли одинаково зелеными юпошами, и книги свои паписали почти в одно и то же время, в том мужественном возрасте, о котором говорится: сорок — уже умен и еще молод. И совпадения эти воспринимаются не просто как что-то интересное, чистота молодых порывов сочеталась с мудростью зрелого возраста, и в

результате — две кпиги, которые вот уже целое столетие волнуют и учат добру детей многих народов.

В те дни, когда я был частью «слопа», и позже, пад страпницами пазванных кпиг, я так не рассуждал, к таким выводам не приходил. Оттуда, из тех дней, и допыне щемят в душе два светлых чувства — сочувствие обиженному и желание быть его защитником.

Мужественный Гароне защитил обиженного Нелли, горбуна, калеку, а Неллина мать, красивая итальянская сипьора, пришла в школу и в кабинете директора обпяла четырнадцатилетнего защитника, со слезами целовала его наголо стриженную голову, спяла с шен свой крестик на золотой цепочке и повесила парию на школьный галстук.

У небогатого и вечно пьяного отца польского калеки Юзё подарок его школьному защитнику Казиду был другой: сундучок с кпигами, все наследство после милого горбуна, который умер, придавленный возом на улице.

Однако и в итальянском, и в польском случае это до слез волновало еще и меня, западиобелорусского парепька, одного из тех, к кому это высокое общечеловеческое содержание дошло... пусть себе и не на родном языке.

Сергей жалости в сердце не вызывал. Даже тогда, когда он падал на свой горб со «слопа» и вскакивал о криком, вместе со всем смеялся, опять подняя «меч».

В школах тогда, после почти семи лет «николаевской» и гражданской, много было переростков. Сергей, хотя и учился только в пятом, был старше меня на три года. А в шестом да в седьмом классах вместе с младшими были уже великовозрастные парии и девчата. Сергей тянулся к таршим. С париями шептался, хихикал пад чем-то, о чем не говорится громко, курил на школьном чердаке, а девчат, уже грудастых, считая себя кавалером, обнимал по своему — выше колен, куда доставал.

Однако он и с пами, меньшими, умел поребачиться. Очепь похоже гавкал, мяукал, кукарекал, ворковал гоубем, щebetал ласточкой. С Павлом, моим одноклассником, означным за хлипкость Кисее Молёко, Сергей иногда траввал, так сказать, кукольный спектакль. Связав из пачек две крестовины, они надевали на них свои куртки и ппки и, спрятавшись под те пугала, держа их пад собой, начинали «представлять» драку. Сперва паскоки, отскоки, пристая перебранка, первые тумакп, а затем взаимная потьба руками до полного изнеможения, пока их «двой-

ники» не повисали друг на дружке и только хекали под смех и визг неугомонных зрителей.

И с «мечом» дело не ограничивалось одним «слопом». В казуи весны, когда кошачьи свадьбы не обмивали и чердак нашей школы, Сергей затаивался там в темном уголке и начинал зазывать, на все лады выводя те кошачьи томительные рулады. Удалось ли ему когда-нибудь примакнуть «жениха» или «певесту» ближе, под удар своего «меча», не помню, но наше — ввиду, во дворе, — неустойчивое хихиканье и наконец смех, что раздавался, срывая операцию, и поныне для меня живые.

Были и другие проделки, были и деревенские шутки и частушки, почти всегда «скоромные». Правда, рассчитанные уже не на нас, мелюзгу, нами издали или вблизи подслушанные у старших.

Среди переростков самым интересным был Сашка Ки, прозванный так за потешное заикание в детстве. Заикание давно прошло, прозвище осталось, но далеко не каждый мог осмелиться произнести его хотя бы издали, удирая. Тогда, в тот первый «слоповый» сезон, Сашка Ки был учеником последнего, седьмого, класса, умел хорошо бегать на руках, пронзительно свистел и в пальцы, и ртом, неподражаемо подтянув губы и прижав язык, командовал «слопом», волейболом, лопатой, ходил чаще всего с Валею из их класса и вечерами с ней сидел, однако учился хорошо, даже отлично. И красиво пел в нашем школьном хоре. А лет ему было уже пятнадцать, и это у меня, четвероклассника, одного из тех, кто пошел в школу нормально, семилетним, вызывало уважение и зависть, а иногда и страх.

И вот он, Сашка Ки, дружил с Сергеем. Как и большинство в нашей школе, они были не местечковые, а из деревни, к тому же из одной, а дружили, видимо, давно. Попробуй здесь кто-нибудь Сергея обидеть!

Впрочем, и потом, когда уже Сашка у нас не учился, Сергея никто никогда не обижал, не помню такого случая.

Сашка Ки поступил в белорусскую гимназию в то же время да пешеходное время, по моему детскому понятию, ушел в очень далекий, пока что недостижимый мир — в воеводский Новогрудок.

Сергей окончил школу годом раньше меня, дальше учиться не пошел. Впрочем, и Сашка тогда уже не был

гимпазистом: его, как и говорили, «прогнали за политику», а вскоре и посадили в тюрьму.

Обо всем этом я только слышал, все это, по тогдашним временам, происходило далеко-далеко, в пятой от нас деревне, за целых тринадцать километров.

Правда, за нашими лугами да за рекой, дальше у леса, были сенокосы Сашкиной и Сергеевой деревни, а все же и не близко от нас, и ехали их косцы да сгребальщики туда не через нашу деревню, а по большаку. И еще одна правда — в праздники молодежь из окрестных деревень весной или летом сходилась в местечке — возле красивой церкви на пригорке. Не молиться, конечно, с бабами, а с девчатами пошутковать, кавалерской компанией побродить, посидеть, полежать на траве под большими липами. Все это старшие. А для меня, подростка, который, кстати, как мать говорила, «за книгами света не видел», все остальное было еще впереди.

Словом, с Сергеем и Сашкой Ки я виделся недолго. Пока мы случайно не встретились на сенокосе над речкой. Они возвращались со своего, всегда более позднего сенокоса, а мы, несколько ребят из нашей деревни, уже свободные, пришли искупаться.

Та встреча, через семь лет после «слопа», часто в последнее время вспоминается.

Наша речка не из тех, что воспеты в песнях, она скромный приток, сама до моря не доходит, течет себе тихо по лугу, а мы ее любим сызмала и навсегда. Теперь, издали, вспоминаются и смех, и плескание купальщиков, и шарканье косы, и тараканье колес на гнупом сезонном мосту из плашек и кругляков, и ботанье шеста при плоскодонной «чайке», и поблескивание рыбы в сети-топтухе, и терпение над поплавком, и страшное на всю округу — кто-то старый или малый, какой-то парень или девка то ли случайно, то ли вовсе не случайно утопился!.. Все приходит, приходит, а речка течет себе, речка течет...

И вот над речкой — в моей благодарной памяти, впервые в моей тогда еще совсем юношеской жизни — звучат слова глубокого смысла, музыка несказанной красоты:

Умирает отец на дубовой скамье,  
заящая родному сыну:  
«Ты пойдн-ка, сынок, в лес да дубину сруби  
на проклятую барскую спину...

Мне еще очень далеко было до приемника, до патефонной пластинки с голосом Шаляпина, до полного и пра-

вильного текста этой песни, напечатанной в какой-то книге, для меня в то время чаще всего случайной. Но и тогда это очень многое означало, я был восхищен и так, да настолько, что вот и сегодня, почти через полстолетия, впечатление то еще все волнует своей первородной и незатертой свежестью.

Пел наш Сашка Ки.

Перед тем как нырнуть в тихую прохладную глубину, он стоял на опять уже зеленой отаве педавно скошенного высокого берега, голый до пояса. Загорелый и сильный, смотря на то что силу и свободу его уже старался отобрать и в полицейских застенках, и за тюремной решеткой. Смотрел на лес за рекою да на простор лугов и густым грудным баритоном пел.

Возле него стоял Сергей.

Не подпевал. Слушал вместе со всеми. Человек нас было более десяти, из их и из нашей деревень. Но смотрел и улыбался он так, словно эта песня по какому-то таинственному праву принадлежит и ему, вместе с его — таким сильным и красивым — другом.

Увечье Сергея, тоже по пояс раздетого, не было щемяще неприятным в сравнении с молодой нормальностью других, и прежде всего с Сашкиной, не вызывало оно и жалости.

...Еще через семь лет, летом сорок первого, фашисты в нашем местечке, где стоял их полицейский гарнизон, расстреливали бывших западнобелорусских подпольщиков и молодой советский актив. Из самого местечка и из окрестных деревень — кого свои предали, кого удалось поймать.

Вместе с Сашкой Ки, вместе с другими сильными погиб тогда и Сережа.

*Перевод с белорусского  
Валентина Тараса*

# Сергей Един

## В рабочем порядке

С вечера Петр Васильевич вызвал «Чайку». К дому, к половине десятого. Бровки у помощника, у Паши, чуть округлились: «Ничего начинает первый секретарь!» Но сказала давняя выучка. «Хорошо, Петр Васильевич,— по-военному повторил он,— к половине десятого, к дому».

«Чайку» в обкоме берегли. Егор Иванович, прежний секретарь, вызывал ее в крайних случаях, для высокопоставленных гостей и в дни своих приездов из Москвы. В остальное время «Чайка» стояла в гараже в особом боксе, и специально приставленный к ней шофер Анатолий Ефимович ежедневно ее вытирал от пыли, полировал, что-то осматривал, «продувал», «довивчивал», но в основном играл в домино с шоферами, ожидающими вызова, толстел, наливался здоровьем — затылок у него становился с каждым годом все шире.

Петр Васильевич да и все в обкоме знали порядок с «Чайкой» и об особом положении Анатолия Ефимовича, но уже давно махнул на это рукой. Петр Васильевич как-то, когда первый был в хорошем настроении и благодушествовал, сказал: «Егор Иванович, вы помните у Булгакова в «Театральном романе» сцепу, там шофер каждый раз мыл автомобиль, спинал и смазывал колеса, а на автомобиле никто не ездил? Нерентабельно такое пользование». — «Я знаю, Петр Васильевич, на что ты намекаешь. Только глупость все это. Ефимыч возил меня, когда я еще работал в МТС. Оставьте его в покое. А этот твой роман я не читал. Некогда мне, ты знаешь, беллетристику почитать, на мне хозяйство, область. Вот когда до первого дорастешь, тогда посмотрим, как будешь баловаться художественной литературой, читатель. Но только не торопись».

Я еще лет десять — пятнадцать поработаю. Силенка еще есть. Мой прадед амбар за угол поднимал. Да ты знаешь, я рассказывал. А тебе надо еще своего дожидаться, подучиться надо...»

Как-то против Анатолия Ефимовича был предпринят и еще один демарш. Пришел новый начальник обкомовского гаража и расписал за Анатолием Ефимовичем кроме «Чайки» еще и газик, на котором первый иногда ездил на охоту и по экстренным делам в глубинку, и гостевой автобус «рафик». Анатолий Ефимович приказу не подчинился, выступил на профсоюзном собрании с резкой критикой порядков в гараже, по союбыту и по снабжению деталями. После этого выступления шустрый начальник гаража при молке, а про то, что газик и «рафик» записаны за Анатолием Ефимовичем, все забыли.

— Значит, так, Паша, «Чайку» к девяти тридцати к моему дому. Степан (это был другой, уже постоянный Петра Васильевича шофер с «Волги») отгул просит, он последние дни много мотался, и ему картошку надо привезти из деревни, но отгул ты ему дай послезавтра. С аэродрома я поеду к «Горнисту» в туристический комплекс. Завтра к соседям уезжает Петрак, хочу с ним проститься. Степана закрепи за Петраком, и к четырем пусть подъезжают к комплексу. Все экстренное передай второму, по я все время буду в пределах досягаемости. Такая, Паша, диспозиция.

— Хорошо, Петр Васильевич. — Лицо у Пашы, чуть порозовевшее, пока он слушал первого, стало опять серым, как промокательная бумага, обычное лицо человека, всю жизнь проводившего в кабинете. — Я все запомнил. Ни пуха вам, ни пера.

— Ладно, ладно, Паша, не горюй. Все у нас с тобой пойдет хорошо. — Пацу надо было поддержать. Столько лет проработал с Егором Ивановичем, приловчился, а теперь заново надо приспособляться. А вдруг новый решит поискать себе нового помощника?

Конечно, «Чайку» можно было вызвать, как всегда делал в подобных случаях Егор Иванович, к обкому. Тот подъезжал к зданию и только тут пересаживался в эту единственную в городе машину. Таким поведением Егор Иванович подчеркивал свою особую бережливость, демократизм и то, что пользуется машиной только в особых случаях. И ему, Петру Васильевичу, можно было бы подъехать на «Волге», минут сорок или даже часик потрасти срочные

дела. Но что успеешь за час? Прочтешь две-три бумаги да сделаешь пару звонков. Зато хороший почин, хозяин, стали бы говорить аппаратчики, заботливый, радеет, приехал с утра... Петра Васильевича всегда страшила и сама показуха, и то, что могло другим показаться показухой. И еще была причина: в новую должность падо было вступать с крепкими тылами, все надо было рубить сразу, чтобы душу не тянули долги: аэродром, дела семейные, Петрак, «Горнист»... Петр Васильевич мысленно прикинул самое неотложное, безотлагательное, с чего падо пачинать. Советание по зимовке скота, ход политической учебы в области, советание по качеству жилищного строительства и срочно, срочно готовить пленум обкома по письмам трудящихся. Он наизусть знал еще десятка два больших или малых, но неотложных дел и все же на всякий случай перелистывал еженедельник: а вдруг выплывет что-нибудь экстренное, бегал глазами по строчкам.

— Так к дому, значит, Петр Васильевич? — не вытерпел и осторожно намекнул на существовавший прежде порядок Павел.

— К дому, Павел, к дому.

Крепенько заложил Егор Иванович свои привычки! И тут же Петр Васильевич вспомнил, как, уезжая в столицу па советание или на сессию, Егор Иванович учил их уму-разуму, и обязательно среди множества наказов был этот: «Чайку» из гаража не брать. Она у нас для гостей, для парадных случаев. Это народное, и его падо беречь. Я и сам па ней почти не езжу». Говорил так, будто только он за порог, Петр Васильевич или Паша примутся па ней гонять па футбольные матчи или в киношку.

Когда утром Петр Васильевич вышел па дома, машина уже стояла. Петр Васильевич сел па заднее сиденье справа, по-хозяйски. Затылок Анатолия Ефимовича полыхал протестом. Наверное, думает так: молод еще, не привык, балуется чужой игрушкой. Может быть, теперь новый секретарь и по городу па «Чайке» будет мотаться? Не успел избрать, а он уже к дому подавать требует. Все слишком быстро для Анатолия Ефимовича случилось, слишком внезапно. Слишком Петр Васильевич шупловат, а ведь Егор Иванович был статный, осанистый, в расцвете, как говорится, и вдруг ушел па пенсию.

Егор Иванович был в отъезде, шла уборочная, да и он, Петр Васильевич, лишь заскочил в обком подписать необ-

ходные бумаги, и вот тебе телефонный звонок. Вице-президент Академии наук! Запад отказывается поставлять турбуины большого диаметра для шахт, может быть, в области посмотрят, нельзя ли обойтись своими силами? В академии посчитали, ресурсы вроде в области есть: профильный НИИ, университет, академический институт, работающий над аналогичными вопросами, а? Все бы это собрать в кулак, объединить вокруг проблемы... Петр Васильевич мгновенно все прикинул, душа бывшего горного инженера на секундочку вспарилась, он еще удивился тому, что академия их ресурсы знает наверняка лучше их самих, а уж направленность работ, интересы ученых определенно лучше, совсем в тот момент сказал было Петр Васильевич: «Да, попробуем», но на всякий случай — не первый год слава богу, работал с Егором Ивановичем, знал, как он бывает гневен, когда проходит что-либо мимо его рук, — на всякий случай сделал маневр: «А может быть, Одесса справится с заданием лучше, быстрее?» Голос вице-президента стал посуше, разочарованнее — Петр Васильевич прекрасно помнил его лицо, живой взгляд из-под квадратных очков, они года два назад встретились на одном из совещаний и хорошо толковали во время перерыва: ровесник его, Петра Васильевича, лет сорока пяти, с быстрой реакцией, свежим, острым умом. Наверное, сейчас, вспомнив эту мимолетную встречу и надеясь на него, надеясь на то понимающие, общность взгляда на экономику, которые возникли как-то сразу, как часто бывает у людей, долго раздумывающих над одним и тем же и потом в разговоре только уточняющих свои в общем-то идентичные выводы, — наверное, сейчас вице-президент подумал: «Ошибся...» Как быстро меняется интонация голосов у сорокапятилетних мужчин — сухая, колючая: «Одесса сейчас занята другим». — «Ну хорошо, я доложу первому, посоветуюсь». Петр Васильевич попытался все же уклониться. «Ну, а все же ваше-то, Петр Васильевич, ваше личное мнение каково?» — «Мое мнение?.. — Петр Васильевич тогда словно просеял в памяти все их ресурсы, проплыли лица людей, которых можно бы привлечь к разработкам, а главное, возникло сладкое чувство предвосхищения большой и по-настоящему трудной работы, счастливое предвосхищение. — Мое мнение, — повторил он, делая ударение на местоимении «мое», — что мы справимся». — «Вот и прекрасно, — на другом конце провода Петр Васильевич опять услышал прежнюю раскованную, так поправившуюся ему во время встречи на совещании, будто

задышающуюся от торопливости иптоацию.— Вы перезвопите мне, Петр Васильевич, когда посоветуетесь с пачальством, а я сорректирую паши институты».

Во время доклада об этом звопке Егор Ивапович не задал ни одного вопроса. Сидел спокойный, п по его лицу не было видно, как он ко всему этому относится. Только в самом конце, когда Петр Васильевич сообщил о своем предварительном согласии, первый сказал: «А не крутельно ли ты берешь? Нашей с тобой, Петр Васильевич, области это не очень пужно».— «Державе пужно»,— ответил тогда Петр Васильевич. «Не рано ли за державу беспокоишься? Ну да ладно, ладно, не ернишь, это я так, в порядке воспитания... У нас в роду,— Егор Ивапович расправил плечи, откинулся, как в седле, в кресле,— порода крепкая: мой дед, говаривали, амбар за угол поднимал, а чтобы никто в этом не сомневался, подкладывал под угол шапку. Ясно? Да п ты, Петр Васильевич, не слабак. Выдержим! Если уж договорился, падо марку держать. Все же об области наверху помнят. Престпж. Припмайся за дело, ставь вопрос на бюро, собирай людей, а в академию я отзвопю сам».

За полгода, пока создавался бур, Петр Васильевич перезнакомился со многими учеными, конструкторами, литейщиками п слесарями. Когда стали собирать первую модель, паступил праздник: бур показал фантастические по сравнению с зарубежными аналогами результаты. В выгородке одного из цехов машиностроительного завода приловчились делать этот бур мелкими партиями. Егор Ивапович отрапортовал в столицу, что ответственно задание область выполнила. И тут их вдвоем, первого п секретаря по промышленности, вызвали в Москву.

На совещании в Соямине выяснилось, что ни один из крупных заводов отрасли осваивать производство новых буров особенно не стремится, перегружены своей номенклатурой, падо строить специализированный завод. Некая заинтересованная организация сообщила, что смогла бы через третьи страны по-прежнему закупать зарубежный бур. То ведь втрпдорога! — не выдержал Петр Васильевич.— чем мы спорим? Зачем относить строительство завода по производству этих буров на следующую пятилетку и зачем вообще строить целый завод? Достаточно к нашему машиностроительному добавить новый цех. Только цех! — «Вампение, Егор Ивапович?» — спросил председательствующий. «Молодежь,— Егор Ивапович улыбнулся всем отдель- как-то сочувственно, показывая, что молодость — это

недостаток поправимый, — склонна увлекаться. Конечно, почетно выпускать такую замечательную продукцию, но у нас в области уже есть два десятка строительных объектов всеозначного значения, следует ли нам так распылять силы?» И тут за предложение Петра Васильевича вступилась академия. Со своей мальчишеской раскованностью давний знакомый Петра Васильевича очень убедительно принялся доказывать, что строить цех, именно цех, надо в Бориславе, в столице области. Это важно, в конце концов, для развития науки. Молодой академик даже пошутил: «Ученые изобрели замечательную игрушку, а мы теперь хотим ее у них отнять и передать чужим дядям. Да пусть они ее совершенствуют! Все же понимают, что изобретение и промышленное освоение сулит некую почетную государственную награду. Людей обижать не следует. Сложился творческий коллектив, выявились люди, для которых это интересно, может быть, дело жизни. Это немаловажный фактор. Егор Иванович... Академия — за цех в Бориславе». Егор Иванович скорее для фасона попытался было поупрямиться, намекнул, что вопрос можно перенести и в более ответственную организацию, непосредственно в партийные органы, то есть в Центральный Комитет, но почему-то от этой старомодной уклончивости и многозначительности ход совещания внезапно повернулся, никто как-то особенно не испугался, и все постепенно утвердилось в правоте академии. Егор Иванович быстро сорвентировался, помягчел, дал себя сначала уговорить, потом убедить, а под конец — вот это школа! — восхитился Петр Васильевич, даже представился эдаким демократом и рубахой-парнем: «Мой дед амбар за угол поднимал, а чтобы ни у кого в этом не было сомнений, так шалку собственную под угол подкладывал. Разве впуск подкачает! Разве мы с тобой, Петр Васильевич, не построим цех, если державе лужко и если паука так решительно взялась нам помогать! Досрочно построим». И так добро, по-отечески улыбнулся Егор Иванович своему секретарю по промышленности.

В очередной раз они разошлись с Егором Ивановичем из-за телят. Петр Васильевич сельским хозяйством никогда не занимался, но разговор в кабинете первого начался при нем. Они сидели вдвоем и говорили о выполнении годового плана на заводе, о перераспределении фондов, чтобы избежать «пезавершек», и в этот момент со срочной телефонограммой вошел заведующий сельскохозяйственным отделом. Ах, какой прекрасный мужичок этот Серафим Евгенье-

вич! Маленький, лысоватый, несмотря на свои сорок лет, ноги колесиком, в очках с почти сантиметровыми по толщине линзами. Но за этими линзами, истощенными сложной конфигурацией из-за сильнейшего астигматизма, светились такие чистые и певчие глаза, такой мягкости и деликатности, что даже не верилось, глядя в них, что этот человек мог управляться с вольницей председателей колхозов, начальников «Сельхозтехники», со всем этим буйным сельским пародом. К чести Егора Ивановича, он сам отыскал где-то в сельской глубинке еще мальчишкой ветврача Серафима Евгеньевича, вытащил его сначала в район, потом в область, а потом сделал завсельхозотделом.

Серафим Евгеньевич прокатился на своих кривоватых ногах по кабинету и подал телефонограмму нахмурившемуся было Егору Ивановичу: тот не любил, когда аппаратчики входили к нему без приглашения. Вдвоем они быстро решили оперативный вопрос: на область шли заморозки. Быстро, потому что Серафим Евгеньевич вместе с телефонограммой принес и список штаба и почасовой график мер борьбы с этим бедствием. Егор Иванович внимательно, но споро все просмотрел, с предложениями согласился и, уже отпуская своего любимца, спросил:

— Ну, а как ты решил с телятами? Я тоже прикинул...

И здесь снова целая история. За те почти десять лет, что Серафим Евгеньевич работал завсельхозотделом, он определенно не дремал. Еще до него в сельском хозяйстве области встал вопрос о прохлосте коров. Породистое стадо собрали, а коровы яловые. Яловая корова — это не менее тысячи рублей в год убытка. Скромненький ветврач энергично провел по области ряд зоотехнических мероприятий; старые доярки плакали, когда стали раскреплять числившихся за ними коров и телят, кляли безжалостного Серафима, но он все же настоял на своих научно выверенных прелех: за кормление, за рацион животных отвечает не доярка, а ветврач, доярка только доит, телятница пестует молодняк. Все очень простенько. Но рацион для кормления животных в любом хозяйстве внезапно мог проверить завсельхозотделом, вооруженный своими обновляемыми паукой знаниями. Доярки порыдали, но вскоре поднялись надон, а соответственно и заработки, и трудовые их слезы как-то сами собой высохли. Потом коровы, обрадованные разнообразием кормов и минеральных добавок, забыли свою забастовку и принялись исправно приносить высокоудойное потомство. Сначала в обкоме с тревогой следили за

жесткими мерами Серафима, потом с надеждой, потому что Серафимовы коровки принялись показывать в массовом порядке, как и положено, результаты их голландских и датских соотечественниц. Но у Серафима была еще одна установка: оставлять на зиму и содержать лишь столько животных, сколько область могла прокормить. Не додерживать в надежде на первую травку до весны, а прокормить. Научный, хотя и старый, как мир, вариант. Наука, известная самым дальним нашим предкам. А рекордное число телят в том году оказалось фактором неожиданным. Серафим предполагал, что этот фактор возникнет лишь через год или два.

— Так что ты решил с телятами?

— Телят мы решили продать в Казахстан. Уже договорились с коллегами в одной из областей. Цену они дают очень хорошую. Так выгодно.

— Постой, постой... Ты у кого, Серафим, спросил? Почему не информировал, не посоветовался? Кто это «мы решили»?

— Мы, в отделе, — ничуть не смущаясь, ответил Серафим Евгеньевич, поскривив младенческим взглядом. — План по сдаче мяса государству мы выполнили, себя обеспечили, и обеспечили со значительным превышением по сравнению с прошлым годом. А скот высокопородный, элитный...

— Как это — обеспечили? У пас в городе разве нет перебоев с мясом? На рынке цены пошли вниз? — По толпу Егора Ивановича Петр Васильевич определил, что у того существует на сей счет своя твердая идея и он не собирается от нее отступать.

— Перебой у пас есть. И, думаю, в ближайшее время еще будут. Но ведь нельзя же сдавать на мясо высокопородный скот.

— Нам главное — удовлетворить потребности своей области. С пас, Серафим, с тобою за область я первую очередь спросят. Мы вкалывали, вкалывали, по коровенке, понимаешь, пятнадцать лет собирали высокопородное стадо, а теперь ты целый гурт молодняка хочешь отдать? Пользуйтесь, дескать, пашей добротой и широкой натурой, выходите в передовики, а мы ремешки подтянем? Ты небось со своими «коллегами» где-нибудь в институте учился?

— Ну учился. В аспирантуре, по это к делу не относится.

— Ясно. Свой — своему. В память студенческих лет. А я

думаю об области! Разве наши рабочие с заводов не строили коровшников, не помогали на сенокосах? А появилась у нас возможность чуть разрядить положение, мы в сторону, помогаем «коллегам»? Не пойдет так. Звопи, дорогой Серафим, своим друзьям и говори, что все отменяется. Вали все на меня, я выдюжу.

— Высокопородный скот я под нож не отдам,— твердо стоял на своем Серафим,— хоть меня самого режьте. Это наше будущее.

— Ты что ж, Серафим Евгеньевич... тебе область не дорога? Непатриотично. Пойми, лихая голова,— Егор Иванович заговорил мягко, почти вкрадчиво,— нам надо думать о своих людях, о своих тружениках.

— Но где же здесь ло-ги-ка, Егор Иванович? — Серафим говорил уверенно, даже вроде бы чуть капризно.— Любому видно, что я прав. Да вот вы спросите у Петра Васильевича, он в сельском хозяйстве не разбирается... правда?

— Ну, допустим, отчасти правда.

— Вы спросите у него,— продолжил Серафим, и глазки у него задорно сверкали, Петру Васильевичу даже показалось, что за сложными из-за астигматизма липзами блещит взор вовсе не младенческий,— вы спросите: разумно ли породистый молодняк отдавать на мясокомбинат?

— Так как, Петр Васильевич? — Егор Иванович давал разрешение Петру Васильевичу молвить слово, тоном и улыбкой поощряя к поддержке.— Какое у тебя мнение насчет рубашки? Своя ближе к телу или нет? Ты — за или против предложения Серафима? Не отмалчивайся.

— Я — за.— Петр Васильевич сказал это почти внезапно для себя, почти непроизвольно и тут же заметил, как сузились у Егора Ивановича зрачки.

— Тогда ставим вопрос на бюро обкома. Надо нам непонятливых просвещать.

В перечне вопросов повестки дня этот пункт стоял последним. Егор Иванович дал Серафиму на доклад три минуты. Серафим ловко за эти три минуты все обсказал, по закончил неожиданно: «Прежде чем сельхозотдел вынес свое мнение на бюро, мы в педрах отдела посоветовались между собой и также с экономистами и другими товарищами». Кто были эти другие товарищи, оставалось неясным. Неужели Серафим звонил в столицу? Или через своего коллегу организовал звонок из Казахстана? Неожиданно очень горячо и заинтересованно Серафима поддержал старичок ректор из университета. Петр Васильевич еще тогда подумал:

«Как же размахнулось время, если даже специалист по античной литературе имеет твердое мнение насчет животноводства». Вслед ректору за предложение Серафима высказался директор машиностроительного завода — ведомственная неразбериха у него вот где сидит, камытарился с поставщиками. Третьим был старый знакомый Петра Васильевича — председатель колхоза и Герой Социалистического Труда Шмелько. Как всегда, Шмелько немного простодушичал: «Да коли у нас в достатке, мое такое мнение, чего бы соседу трошки не пособить, а? Мне всегда телят под нож сдавать жалко. Ведь бычками могут стать да коровками». Из подобных резов исподволь начало складываться мнение, и тут Егор Иванович взял инициативу в свои руки. «Значит, по-твоему, Матвей Степанович, — вклинулся первый секретарь в паузу, — так: отдай топор соседу, а сам иди в кузню? Мудрый хозяин так не поступает».

Егор Иванович был оратором опытным и к речи своей подготовился. Он говорил о телятине в детских садах, о тоннах колбасы и сосисок, которые дополнительно могут быть реализованы в магазинах области и через общепит, о дополнительном мясе для заводских столовых. Его речь произвела впечатление. Он закончил, орлиным взглядом оглядел всех членов бюро, секунду помолчал и спросил, обращаясь к завсельхозотделом:

— Ну как, переубедил я вас, Серафим Евгеньевич?

— Извините, Егор Иванович, нет, — резанул Серафим.

— Ставлю предложения на голосование в порядке поступления. — Голос стал железным. — Кто за предложение сельхозотдела?

«А ведь дальше начальника СМУ не пошлют», — внезапно подумал Петр Васильевич и поднял руку. Одновременно подняли руки старичок ректор и Серафим. Чуть помедлив, к ним присоединился директор машиностроительного. Вадохнув, поднял руку Шмелько.

К даче подъехали на десять минут раньше условленного. Во имя пунктуальности Петр Васильевич хотел было попросить водителя, не заезжая за ограду, дать еще кружочек по ближним дорогам, но потом решил, что коли проявил школьное нетерпение, то уж лучше не показывать этого шоферу.

Секретарь ЦК закапчивал завтрак.

— Прекрасно, Петр Васильевич, что заехали пораньше.

ше, — сказал он, взглянув на часы, — вместе попьем чаю. Замечательной кашей здесь меня побаловали.

— Это у нас Мария Богдановна мастерица.

Мария Богдановна — буфетчица и повар — управлялась на даче обычно одна, только когда подъезжало много народа, комиссия из центра или делегация, к ней в помощь приглашали повара и официантов на «Иптуриста». Убирая со стола тарелки — людей самых разных, работая здесь уже лет пятнадцать, она перевидала тьму и давно уже ни перед кем не робела, — Мария Богдановна певуче ответила:

— Все мастерицы, когда есть из чего. — Чуть уловимая улыбка тронула губы на домашнем лице Марии Богдановны, и Петр Васильевич вспомнил вчерашний, поздно вечером, с ней разговор. Уже после пленума, после того как секретарь встретился с членами бюро и Петр Васильевич, проводив его до этой маленькой лесной гостиницы, возвращался домой в город, Мария Богдановна спросила: «На завтрак-то что гостю давать? Может, мне этот вопрос ему задать?» — «Варите, Мария Богдановна, гречневую кашу». — «А вы, Петр Васильевич, откуда знаете?» — «Знаю. Варите — не ошибетесь. Непременно гречневую».

Секретарь ЦК, положив себе полную розетку перетертой с сахаром черной смородины, подвинул вазочку ближе к Петру Васильевичу, предлагая и ему действовать энергичнее.

— Края у вас, как написано во всех учебниках, гречишные, и это тот случай, — поднося чайную ложку ко рту, секретарь слегка улыбнулся Петру Васильевичу, — когда, как и в случае с продуктивным скотом, не грех поделиться с соседями...

В аэропорт поехали по окружной, миновав город с его транспортной неразберихой исторического центра. Мелькали перелески, сельские домики — эти домики за последние двадцать лет постепебно превращались в двух- и трехэтажные крепости с гаражами, верандами, затейливыми балконами; а может, так и надо жить на селе, компенсируя городскую скученность, — автобусные остановки, расписанные петушками, фигурами парубков в широких шароварах и девушек в венках и лептах... Затылок Апатоллия Ефимовича за поднятым стеклом на этот раз выражал только сдержанное почтение.

— Ну, а что вы читаете? — спросил секретарь ЦК. — Вопрос не деловой, почти интимный, и право на него мне дает только то, Петр Васильевич, что вы мой бывший студент.

Разве это чтение, что он читает в последние годы? Был помоложе, на все хватало времени, а теперь только успева-ет просматривать газеты да изредка супет пос в какую-нибудь книжку на письменном столе Ляльки, дочери, или со спящими от сна глазами перелистает томик на тумбочке возле кровати: это уже из интеллектуального арсенала Натальи. Как ответить? Ведь необразованным козлом тоже не хочется показаться. А слукавишь, бывший профессор «на правах старого преподавателя, учителя, наставника» выведет на чистую воду: он, Петр Васильевич, знает его коварный, выматывающий глубинные незнания метод. Здесь лучше не врать.

— А ничего практически лет пять уже не читаю. Возьму, когда время есть, журнал, полистаю — если зацепит, иногда дочитаю до конца, если нет — брошу.

— Напрасно. Ваша должность подразумевает универсальность и интеллектуализм. Время должно оставаться даже на спорт.

— А я думал, достаточно гречневой каши, — слабо пошутил Петр Васильевич, — чтобы держать себя в тонусе.

— Благодарю, что помпите мои советы. Юность вообще впечатлительна. Но все обстоит серьезнее. Партия так долго нас воспитывала, так много в нас вложила, так обильно снабдила информацией, жизненным опытом, что теперь вправе рассчитывать на многолетнюю отдачу. Если хотите, это вопрос не только морально-этический, но и экономический. Есть один апокриф: Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за насморка, преследовавшего его в тот день. Это не очень исторично, по тем не менее я хотел бы вам пожелать меньше страдать от простуды...

Последний раз из Москвы Егор Иванович вернулся в дурном настроении. К трапу подали «Чайку». Егор Иванович пожал всем встречающим руки, а когда очередь дошла до Петра Васильевича, сказал: «Садись в машину, надо поговорить». Бочком, бочком к «Чайкс» пробрался и Паша, это была его привилегия: первым докладывать Егору Ивановичу о том, что случилось в области за время его отсутствия. Но на этот раз номер не прошел. «Павел, — сказал Егор Иванович, — поезжай в машине Петра Васильевича».

В машине Егор Иванович обидел и Анатолия Ефимовича. Лишь только «Чайка» тронулась, Егор Иванович сказал: «Анатолий, включи приемник», — и сразу же стал подпик-

мать стекло, отделяющее салон от кабины водителя. За окнами машины шел обычный пейзаж: рожицы, сельские домики, автобусные остановки.

— Ну, вот что, Петр Васильевич, — первый говорил медленно, будто вколачивал гвозди в доску, — дождался ты своего часа... Ухожу на пенсию. Через три дня приедет секретарь ЦК проводить пленум обкома. Центральный Комитет, — Егор Иванович так и сказал, как привык, торжественно, не аббревиатурой, — будет на должность первого секретаря рекомендовать тебя. Секретарь ЦК, который приедет проводить пленум, мне сказал, что знает тебя лично...

— Я в институте на третьем курсе ему сопромат сдавал.

— Мне ты об этом случае, — в голосе был упрек, — никогда не рассказывал. Таил?

— Как-то не приходилось. — Петр Васильевич еще по инерции спокойно вел разговор, а сердце уже ударило раз о грудную клетку, потом второй... И вдруг обожгло: «Как же так! Так быстро! Отвечать за сотни тысяч людей? За все, что в области ни случится?» Он и сейчас отвечает за многое, но как-то солидарно, вроде из-за спины Егора Ивановича. Представил на мигнуту всю огромную и неисчислимую ответственность, и на мгновение стало страшно.

— Ничего, Петр, не робей, — сказал Егор Иванович. — Я тоже чуть сознание не потерял, когда меня впервые выбирали... Привыкнешь. — И уже другим тоном: — Жене можешь сказать, она у тебя баба с головой и характером. Значит, экзамены сдавал? — вернулся Егор Иванович к прежней мысли.

— Студеном я был не самым прилежным.

— И с тех пор не виделась?

— В прошлом году, когда собирали в столице секретарей по промышленности, он делал доклад. Мы послали записки с вопросами, и я послал. Как положено, подписал. Он прочел записку, ответил и сказал: пусть автор записки подойдет ко мне в конце совещания.

— Ну?

— Я и сам был не рад. Но оказалось — не страшно. Вспомнили наш политехнический...

Хуже всего было пересдавать. Сдать можно было своему преподавателю, который вел практические занятия, а уж пересдавать — только завкафедрой. Это тогда молодой завкафедрой установил такой порядок. Внешне пересдача шла процедурой чрезвычайно легкой. Профессор разрешал

все: смотреть учебник, справочник, вынимать шаргалку, пользоваться методическими пособиями. Он предлагал студенту одну-единственную задачу: на листке бумаги был нарисована какая-нибудь балка с стрелочками указания на грузки. Крошечный чертежник, который тут же уверенной рукой каллиграфа профессор выводил на листке из блокнота. И началась битва. Сначала студент, исходя из чертежа, должен был сам сформулировать себе задачу. И не одну — все до единого варианты, которые на этом чертеже можно было просчитать. Последнего варианта студент так и не сформулировал, пришлось формулировать самому профессору: «Определить дифференциальную зависимость между интенсивностью сплошной нагрузки, поперечной силой и т. д.» «И...» — раздумывал студент. «И?...» — «И изгибающим моментом». — «Совершенно справедливо, — сказал профессор. — Полдела вы сделали. Сейчас будем определять этот момент или через неделю?» — «Через неделю», — сказал студент. «Пусть это будет разведка боем».

Через неделю профессор оставил студента на первой минуте резвой демонстрации решения задачи: «Вы, дорогой мой, употребили формулу Кастильяно. А не смогли бы вы ее и вывести, так сказать, освежить в моей и своей памяти? Бог с ней, с задачей: и вы и я, мы оба уверены, что решили вы ее правильно». А потом последовала теорема Мора и вопросы по высшей математике. Профессор славился своим коварным умением задавать вопросы. И попробуй скажи, что, дескать, вопрос не по существу, а из смежных курсов! Профессор говорил: «Сопrotивление материалов — наука, включающая в себя весьма обширные области знаний. Я хочу быть уверенным, что знания, которые построят мои бывшие студенты, не рухнут людям на головы, а станки, которые они спроектируют, будут служить долго и надежно». Во время того давнего экзамена студент довольно удачно обошел и закон Гука, и способ Верещагина. Хуже обстояло с самостоятельным выводом упрощения Мюллера — Бреслау. Здесь студент принялся мямлить. Профессор вроде бы даже обрадовался, услышав собой в ответе. «Каша мало ели в детстве, — сказал профессор. — Да и сейчас советую на нее налегать. Ничто так не стабилизирует организм, и в том числе память, как по утрам гречневая каша с молоком. Стаюлю пять, а выводы формулы Мюллера — Бреслау — под честное слово. С правом спросить в любой самый неподходящий момент».

Вот такая тогда произошла история.

...Машина уже шла по территории аэропорта. Самолет был загружен, посадка закончилась, и лишь трап ко второму хвостовому салону был не отогпан.

— Что вам, Петр Васильевич, сказать на прощание?..

Ах, эта закоренелая привычка психолога и педагога говорить главное как второстепенное, но при этом выделять существенное!

— Как мы будем спрашивать с вас, — продолжал бывший профессор, — вы знаете. Помогать, впрочем, тоже будем. Вот: будьте самостоятельны. И помните: в жизни нет ничего более трудного, чем принимать решения и за них отвечать. Объем власти у вас фантастический. Следовательно, и объем ответственности... Школьный афоризм действует со всей непреложностью: кому многое дано, с того многое спросится. Кстати, обратите внимание: у вас сейчас будет несколько меняться психология. Это естественно. Психология полной самостоятельности. Один из классиков литературы назвал самым большим человеческим пороком трусость. Этика и сопротивление материалов — две разные науки. Сопротивление материалов в этическом плане — это паука о возможностях и безопасности, а не паука о перестраховке. До свидания. Еще раз поздравляю и желаю успеха.

Петр Васильевич смотрел, как его бывший профессор поднимается по трапу. Тот шагал не торопясь, наступая на каждую ступеньку, без излишней, по подобающей возрасту резвости, шел ровпо, безостановочно, будто заранее рассчитал возможности своего дыхания, мускулов и сердца. Наверху, на площадке трапа, поздоровался со стюардессой, что-то веселое, должно быть, ей сказал, потому что она мгновенно сменила свою «форменную» улыбку, будто приклеенную к розовому лицу, на улыбку простую, бесхитростную, почти деревенскую. Потом повернулся лицом к Петру Васильевичу и не кивнул, не сделал прощального жеста, а просто своим дальозорким взглядом вгляделся в него. С сочувствием и надеждой. Что было еще в этом взгляде? Тревога? Наверное. Вера в него, в своего ученика? Наверное. Но Петру Васильевичу почудилось, что старый учитель этим взглядом хотел бы передать ему какую-то свою стоическую, упрямую и последовательную силу.

Чуть отойдя к стоящей рядом машине, Петр Васильевич долго смотрел, как тягач вытягивал самолет по рудежным порожкам к взлетной полосе. Потом тягач уехал. Самолет, стоя еще на тормозах с опущенными закрылками, зарвел, продувая и раскручивая турбины; потом закрылки припод-

нялись; тронулись, мгновенно набрав скорость, колеса — и пошел, пошел... Петр Васильевич знал, что сверху, на пллюмнатора, невозможно рассмотреть ни его, ни даже черной, низко распластавшейся на бетоне машины. Но все смотрел, смотрел и махал рукой. Самолет превратился сначала в короткую черточку, потом в точку; потом пропал и отдаленный звук турбин, по Петру Васильевичу еще казалось, что он что-то видит и та связь, что образовалась на трапе, еще не разорвалась, не расторглась, еще продолжает питать его своей простой и естественной силой.

Он понимал, что его стояние на аэродромном поле затянулось. Анатолий Ефимович, паверное, строит сейчас сам для себя какие-нибудь глубокомысленные или прощические мины, но он, Петр Васильевич, будто птица перед полетом, набирался здесь, глядя в это дневное с размытыми красками небо с давно растаявшей точкой самолета, каких-то необходимых сил. Через три-четыре дня уедет Егор Иванович сажать розы и разводить кроликов в свою причерноморскую стапцу. Уехал бывший учитель. Пока оба находились здесь, была какая-то уверенность. Может быть, ее давала сама возможность перемотвиться с ними, спросить, сказать, утвердиться в правильности своего решения. А теперь он один. Есть бюро, есть секретари, есть с кем посоветоваться, но он за старшего... Так как же почувствовать себя старшим? Как научиться? Надо перешагнуть какую-то черту, вот сейчас повернуться — и стать этим старшим. Ну вот, у него уже спокойное, обычное лицо. Из глаз тоже убрать неуверенность и эту боль прощания с учителем и со своей молодостью, о которой он папомнил. Вот так, хорошо. Петр Васильевич набирает в грудь воздуха, медленно, успокаиваясь, как спортсмен перед марафоном, выдувает его через носдри. Поворачивается, обычным, песуетливым шагом подходит к машине.

— Анатолий Ефимович, в редакцию.

Наталье об ожидаемой перемене в своей судьбе Петр Васильевич сказал за день до плещума. Он пришел с работы пораньше. Наталья закурилась, обрадовалась с непривычки, побежала сразу в кухню — решили ужинаать вдвоем, но празднично. По-праздничному так по-праздничному, если это доставит Наталье удовольствие, пусть. Он, Петр Васильевич, в доме солдат. А приказ командира — закон для подчиненных.

Ужин, пока Петр Васильевич после целого дня хлопот

и беготни отмокал в ванной, Наталья сочинила не на кухне, где они обычно, а в столовой. Накрыла стол свежей скатертью, поставила хрусталь, тарелки и соусники из чешского сервиза. Даже для интимности погасила люстру и зажгла свечи.

Натуральный колеблющийся свет молодил лицо Натальи, глаза блестели от выпитой рюмочки коньяку, и Петр Васильевич подумал, сидя за этим празднично-роскошным столом, как ему в принципе повезло. Встретил в юности женщину, которая для него на всю жизнь и самая красивая, и самая умная, и самая желанная. Каким сильным сделала его эта жепитьба, каким неуязвимым, от скольких избавила разочарований, ненужных усилий... А если бы про- раб, производитель работ при строительстве шахты, в свое время не потребовал анализа крошащегося при сборке железобетона? А если бы он сам, Петр, не поехал в лабораторию и не учинил скандал дежурному инженеру-лаборанту? Учинил, добился... Но это был мелкий выигрыш. Учинил скандал, а потом на двадцать с лишним лет сдался в плен этому инженеру-лаборанту. Так и живет в счастливом ярме: на-пра-во, кру-гом, марш!

Он тоже в тот вечер выпил рюмочку коньяку, потом дру- гую. С наслаждением ел салат, мясо с черносливом и жареной картошкой. Определенно, для Натальи счастье, когда он так свободен, расслаблен, никуда не рвется из дома. Бог ты мой, ему и через двадцать с лишним лет доставляет удовольствие, протянув руку через стол, коснуться кончиками пальцев ее щеки. И она, мотаясь из кухни в столовую, ставя на стол тарелки и вазочки, зажигая свечи, то мимоходом проведет рукой по его уже начинающим редеть волосам, то дотронется до плеча, то поправит подвернувшийся под отворот домашней куртки воротничок рубашки. Разве воротничок ее беспокоит! Дотронуться до него, Петра, прикаснуться. Больше, чем жена, больше, чем друг... И вот он знает, что касается их двоих, а держит про себя, молчит. А если промолчит и сегодня, то завтра, когда она узнает, начнутся упреки: «Как же так, Петр?.. От чужих людей узнаю, по слухам...» Да и ему тяжело, слишком долго держит в себе. Она должна гордиться им. Далеко не каждому удается достичь такого. Это все равно что, думал он, перейти рубеж от полковника до генерала. Переход в новое качество. Он еще раз разлил по рюмкам коньяк. Еще раз встретился с Наташиным лучезарным и всегда доверчивым взглядом. И, глядя ей прямо в глаза, сказал:

— Наташа, сейчас я тебе сообщу новость.

— Хорошую?

— Очень.

Глаза у нее разгорелись, будто кто-то выдвинул реостат на полную мощность.

— Ну говори, не томи, Петя.

— Завтра состоится пленум обкома, и меня будут выдвигать первым секретарем.

Смысл сказанного дошел до нее не сразу. Глаза ее, по-прежнему огромные и живые, постепенно стали меркнуть. Не отрывая от Петра Васильевича уже посерьезневшего взгляда, Наталья поставила на стол поднятую рюмку. И тут он увидел, как ее глаза стала подтапливать влага: казалось, она выступает со всей поверхности глазного яблока; и вдруг эта тонкая пленка влажного натяжения порвалась и с ресницы на щеку упала слеза, потом другая. «Обрадовалась за меня?» Нет, что-то в выражении ее лица было другое. Она сидела, как всегда, прямая, с высоко поднятой головой. Но в лице ее не было радости.

— Что с тобой, Наташа? — От звука его голоса будто сломался стержень, поддерживавший ее прямую и за столом фигуру. По-прежнему не отрывая немгающего, залитого слезами взгляда от Петра Васильевича, она машинально отодвинула тарелку, сложила руки перед собой на скатерти и вдруг ткнулась головой в эти сложенные вместе руки. — Да что с тобой, Наташа? — Он бросился к ней, прильнул виском к ее склоненной голове. — Что с тобой? Ты не рада?

— Я рада, рада! Но, Петя, что нам делать теперь со своей, с нашей жизнью? Что делать, Петя? Ты строил шахту и говорил: вот закончу, получу премию, орден, тогда съездим в Болгарию, станет посвободнее, настанет жизнь. Потом оказался трест. Потом тебя перевели в область. А жизнь-то почти прошла. Я разве из любви к науке писала диссертацию? Потому что тебя не видела. Занять себя надо было чем-то. А мне ничего не пужно, кроме тебя. Вот сидеть и смотреть на тебя. Рубашки тебе стирать. Одну диссертацию, потом другую...

— Докторскую теперь тебе придется защищать в Москве.

— Вот видишь, Петя, ты все о своем. Нельзя, значит, поеду в Москву. Нельзя жене первого секретаря защищать докторскую в его области. Поеду, поеду, куда хочешь. Все для тебя сделаю. Но ведь у нас последние молодые годы. Условно молодые. Молодые уже прошли. Я люблю тебя,

Петя. Но разве я теперь увижу тебя? Разве ты не понимаешь, что всякая работа окончательно отнимет тебя у меня? Отнимет насовсем. Теперь по-настоящему мы увидимся, когда оба уйдем на пенсию. Теперь будем только встречаться. Петенька, где наша жизнь, куда она подевалась?

— Наташа, дорогая... — Он понимал, что в этих упреках жепы все: и радость за него, искренняя боль за их общие годы, за упущенные возможности совместной жизни, волнение за будущую диссертацию, которую она писала с увлечением и радостью, потому что она такая же сумасшедшая, как и он, для нее работа и наука тоже значат целый мир. И все же какая-то удивительная грусть пронзила тогда его. Ведь Наталья права: что-то они упустили в своей жизни. Но и что-то пашли. Что же для них, для него было важнее? Так он думал, успокаивая жепу, и постепенно она затихала в его руках, что-то объясняла, просила прощения, что дергает его, он ей тоже что-то говорил, и в этот момент они оба услышали, как стукнула входная дверь. Лялька. Дочь.

Это самостоятельное существо протопало по коридору — и уже звук ее бесцеремонных каблуков немедленно рассадил родителей на прежние места за столом, потом она в своей комнате включила проигрыватель на полную мощность и лишь затем, обнаружив, что на кухне никого нет, заглянула в столовую. Свет, ворвавшийся из коридора через распахнутую дверь, сразу сделал несколько смешной атмосферу ужина при свечах. Родное чадо, раскачиваясь на каблуках на пороге, по своей молодой журналистской сути не могло обойтись без комментария:

— Папочка и мамочка что-то празднуют. Папочка и мамочка играют в молодые годы. Как это мило! Просто Фелимон и Бавкида.

— Кто, кто мы? — Петр Васильевич всегда старался поддержать дома этот провинциальный тон дочери. Это была хорошая тренировка.

— Диктую по буквам: Федор, Елена...

— Уймись, чадо, — совершенно другим, повеселевшим тоном сказала Наталья. Но Петр Васильевич видел, что этот оп дается ей с трудом. — Чему вас только в университете учили? Твой Фелимон пишется через «и», от латинского фил» — любить. Садись с нами лопать, филология.

Не зажигая света, Лялька заплясала по комнате, поставила рюмку, плеснула в нее коньячку.

— Я тебе много раз говорила (пет, Наталья — припрож-

дешный воспитатель! Какая же в принципе выросла у них прекрасная деваха: умна, язвительна, хороша, самостоятельна. Вот оно, родительское влияние! Недаром Наталья чуть ли не с пеленок взяла ее в оборот. В четыре года стала сама учить английскому языку, в шесть девочка уже ела с ложкой и вилкой. Наталья любила повторять: «Культурные навыки должны стать привычкой»), я тебе много раз говорила, моя красавица, что самой до бутылки в присутствии мужчин дотрагиваться нет нужды. Ты ведь де-ви-ца!

— Мамочка, папочка, — тарыхтела Лялька, — случай особый. Я вам предлагаю выпить за мои маленькие успехи.

— Замуж выходишь? — театралью всплеснула руками Наталья.

— Кому я пужна, бедная Золушка? Современная девица сама должна заботиться о своем будущем. О своем приданом. А в чем оно? В карьере. У папочки машиностроительный завод не выполнит план, и папочку пошлют работать прорабом на стройку. Кто будет папочке опорой? Мамочка — будущий доктор наук, это пожизненно, и дочь — заведующая отделом информации областной газеты. Вот так. Поздравляйте.

— Подожди, подожди, эмалсипированная девица, — скавал тут Петр Васильевич. — Я что-то не припомню, чтобы тебя из корреспондентов с газетным стажем в полгода переводили в заводском. Я вроде работаю в учреждении, где довольно внимательно следят за кадровой полвтивкой. Ты, дочь, не нафантазировала это?

— Да нет, папа. — Лицо у Ляльки посерьезпело. Милая девушка, почти без косметики. Глаза, как у матери, большие, умные. — Я немножко удивилась: вызвал меня сегодня редактор и говорят, что Семен Маркович, наш заведующий отделом, уходит на пенсию и он, редактор, хотел бы на его место посадить меня. Испугалась: справлюсь ли? А он скавал: «Справитесь».

— А Семен Маркович собирался на пенсию? — спросила Наталья, и Петр Васильевич подумал: «У женщины нюх как у ищеек. Наталья идет в пужном направлении».

— Нет, не собирался. Я не слышала.

Не успела машина подъехать к редакции, а Петр Васильевич на лифте подняться на четвертый этаж, как все уже звали — прибыл первый секретарь. По крайней мере, главный редактор областной газеты Валерий Павлович

Крошкин уже ожидал его у дверей лифта на четвертом этаже. Как это произошло? Каким образом? Тайпа расторопных журналистов: в конце концов, это действительно их специальность — все знать и все предвидеть. Предвидят ли? Что-то по лицу Валерия Павловича незаметно, что ожидает его сейчас разнос. И руку жмет уверенно, спокойно. Значит, не чувствует, что переборщил? Тем хуже. Пока повоепеченная заведующая отделом информации могла быть довольна своим шефом: крепышок, не робеет. Ну что ж, полистаем его аргументацию... Сейчас они пройдут в кабинет, подальше от постороннего глаза, и тут он, Петр Васильевич, ему скажет. Спокойно, выдержанно, но со всей резкостью, со всей большевистской прямоотой. Ведь опытный человек, хорошо и достойно ведет газету, смелый. А тут засуетился, переборщил. Вот и наступил час, когда он, Петр Васильевич, стал старшим, не только властью, но и совестью своей области.

Он знает, что слухи разойдутся. Петр Васильевич по ищет популярности, по слухи разойдутся, и это тот случай, когда не так плохо, что они ходят. А ведь достойный человек этот Валерий Павлович, и вроде всегда они были в приятельских отношениях. Лечить болезнь надо вначале, а не тогда, когда она уходит вглубь...

В кабинете редактора Петр Васильевич не разделся, не спял пальто, не сел. Не сел и редактор. Говорили стоя.

— Я к тебе, Валерий Павлович, на пять минут. Лишь по одному делу. Объясни мне, пожалуйста, из чего ты исходил, назначая нового заведующего отделом информации?

Карты брошены. Редактор сразу собрался, порозвел. А не повеселел ли вдобавок ко всему редактор? Свообразен их брат журналист: не любит только неизвестности. Теперь знает, с какой стороны обороняться.

— А может быть, сначала стоит объяснить, почему я отправил на пенсию заведомо прежнего?

— Хорошо, объясни.

— За безынициативность, за лень и за нежелание работать с вештатными авторами: сам написал — сам получил. Ждал, когда исполнится ему шестьдесят. Посоветовался со своими замами и предложил уйти на пенсию.

— Хорошо. Принято. Теперь о новом.

— Пожалуйста. Я исходил из знаний кандидата, общей грамотности, деловых качеств.

— Дочь закончила, — Петр Васильевич решил обострить ситуацию, — Московский государственный университет. Зна-

пия и общая грамотность — это норма. Есть еще причины для назначения?

— Есть, и я о них сказал: деловые качества. Тут университель помогает не всегда. Даже московский.

— А еще?

— Да понимаете, Петр Васильевич... — наконец-то голос у редактора дрогнул, стал гибким, доверительным. Артист! — Просто некого назначать. Неважно у нас с кадрами. С этими самыми деловыми качествами.

— А это, Валерий Павлович, очень плохо. Этого не может быть. Ты пятнадцать лет работаешь в газете, и я не верю, что ты не воспитал смепы. Не хочу верить. В общем, так: это твои проблемы. Приказ о назначении нового завотделом появиться не должен. Она же еще девочка, у нее опыта нет. Своему секретарю партбюро скажешь, что получил замечание за неверный подбор и расстановку кадров.

Разговором в редакции Петр Васильевич был не удовлетворен. Садясь в машину, он случайно посмотрел вверх на стеклянный фасад Дома печати. В окнах четвертого этажа белели пятна — разве мог кто-нибудь из работников газеты пропустить такое: секретарь обкома отъезжает от редакции? Может быть, и Лялька, дочь, как и все, рассматривает собственного отца в непривычном ракурсе. Единственный человек, кроме редактора, кто догадывается, зачем он приезжал. Бедная девочка, теперь для нее начнутся не выгоды, а дополнительные трудности из-за положения отца. А может быть, он излишне мнителен, и прав пастырный редактор: вдруг Лялька действительно талантлива, по-настоящему организованна и до последнего преданна газете? Артиллерия бьет по своим. Такая уж планка у ближних: в первую очередь от его, Петра Васильевича, «деспотии» страдать им. Но зато многих в области, кто готов порадеть родному человеку, этот его поступок вразумит. А Лялька, если газета действительно ее призывает, выплывет сама. Пусть тревожится. Детренированные люди слишком быстро идут ко дну. Он, Петр Васильевич, будет наводить такой порядок, какой считает единственно приемлемым для себя и своей совести. Свои правила надо заводить с первого же дня. Последовательно. В большом и в малом.

— К «Горнисту», Анатолий Ефимович.

Машина мягко отчаливает от подъезда Дома печати.

Что, интересно, сейчас крутится в голове у Анатолия Ефимовича? Какие новые и оригинальные мысли? Не слишком ли густо ему достается для первого дня? Бедный Апа-

толпий Ефимович: ему бы сейчас самое время с чистой, незамутненной совестью забивать «козла» в гараже, а приходится гнать «Чайку» за сто километров к границе области.

Машина шла через городской центр. Кудесники из ГАИ расстарались, открыли зеленую волну, по все же центр есть центр, тяжелая, габаритная машина с трудом продвигается через узкие улицы. Зато как прекрасен центр своим подвешенными соборами! Сколько сделано за последние годы, чтобы сохранить эти дивные здания, не пойти на поводу у мелкого, спиюмпутного прагматизма и копеечных выгод! Заслуга Егора Ивановича. Здесь он был мудр. Ведь знаний особенных, кроме самых общих, о культуре, истории, архитектуре не было, скорее интуиция, но она его не подводила. Умел вслушиваться в бесшабашный молодой говорок городского архитектора, даже рисковал иногда, беря под свою ответственность дорогостоящую реставрацию какого-нибудь старинного городского угла. Но и сумел выиграть: сначала город получил республиканскую премию за благоустройство, и немалую, около миллиона, а потом все эти соборы, монастыри, ратушу, крепостные башни объявили всесоюзным заповедником, — значит, взяли на госбюджет, денешки на все это идут не областные. И в промышленности, и на селе Егор Иванович очень долго выигрывал. Когда Петр Васильевич только начинал работать в обкоме, он даже помыслить не мог, что его самостоятельное решение может оказаться интереснее, оригинальнее, чем решение первого. Тот всегда доброжелательно выслушивал своего младшего помощника, а потом предлагал свое решение, и оно оказывалось проще, ярче, существеннее. Так где же сломался Егор Иванович? Он, Петр Васильевич, никогда не поверит, что тот сам попросился на пенсию. И никогда не поверит, что у него самого с годами интеллект будет менее гибким и продуктивным, чем сейчас. Душа, она с возрастом не вянет, а входит в силу, если она душа. А тут как-то сразу все почувствовали, что Егор Иванович сдал. Когда это началось? С чего? Может быть, оттого, что Егор Иванович стал менее внимательно слушать своих помощников? Вроде и без них всегда прав? А может быть, мы сами ему это и впустили? Петр Васильевич чувствовал, что должен докопаться до причины, в своей памяти найти тот рубеж, с которого все началось. Чувствовал, что ему это необходимо. От этого урока зависит многое, может быть, вся его дальнейшая жизнь. Нет, сразу

не разобраться... Постепенно, как говорится, в рабочем порядке...

Машинка уже давно вышла за городскую черту. Петр Васильевич с тревогой вглядывался в тяжелые облака: дождь уже не нужен, а для снега, пожалуй, рановато. Если падет первый снег, то на перевале, через который придется ехать Петраку, на несколько часов прекроют движение. Но дай бог, погода подержится. Кое-что надо еще вывезти с полей, прибрать технику.

Два года назад вот так же он, Петр Васильевич, летел к «Горнисту». В области проходил фестиваль и какие-то встречи кинематографистов со зрителями. Областная газета называла также имена! Две знаменитые актрисы, чьи фильмы шли еще до войны, старик актер — герой и красавец 30-х годов, актер-легенда. И с ними для поддержания тонуса и для возрастного разнообразия совсем молоденькая актриса — героиня нового шумевшего фильма. Что ж, разве он, Петр Васильевич, не любопытен, как все? Но в разгаре была уборка. Весь обком сиялся с места, ездил по области. И вот километрах в ста от областного центра его нашел телефонный звонок Егора Ивановича: «Петр Васильевич, это ты?» Первый начал так неуверенно, будто, если он приказал Паше соединить его с Петром Васильевичем, Паша мог соединить его с кем-то другим. «Я, Егор Иванович. Бойцы хлебной жатвы докладывают: дела в районе нормальные, процентов на семьдесят сжали и на тридцать вывезли». Голос у Егора Ивановича повеселел: «Это хорошо. Но я не по этому вопросу. Ты ведь, говорят, у нас кино любишь?» — «Есть такой грех. Виноват». — «Если грешен и сознаешься, то к семи вечера подъезжай к «Горнисту». Смычка с кинодеятелями». — «А кто здесь останется?» — «Приезжай, приезжай, надо повышать свой культурный уровень...»

Дело оказалось в следующем: после фестиваля и встреч со зрителями трое самых знаменитых должны поехать в соседнюю область на встречу в военный округ, который праздновал свой юбилей, вот Егор Иванович и решил на полпути, почти на границе областей, устроить им торжественные проводы.

Через четыре часа как ошпаренный Петр Васильевич влетел в свою пол-летнему пустую и жаркую квартиру... Босой, со стекающей на пол и ковер влагой, обернув полотенце вокруг бедер, он прошел из душа в спальню, рванул дверцу платяного шкафа. Ну, Наташа, ну молодец! Четыре

парадные белые рубашки лежали пакрахмаленной стопочкой — рубашки были дорогие, с вышитой у пояса крошечной эмблемой фирмы, стирать и крахмалить их Наталья никому не доверяла. Знаменитые киноактрисы требовали торжественности и уважения к их поразительной популярности.

Петр Васильевич предвкушал встречу и думал о том, какой же тайной владеют загадочные люди, актеры. Удивительная профессия. Говорят чужой текст, но как говорят! Почему зрителя часто не интересует, чей это текст? Значит, к каждому чужому слову артисты приваривают что-то свое, сокровенное, тайное, что-то высокое и важное знают о жизни. Что знают? Можно ли выпытать у них это?

И все же в тот раз Петр Васильевич опоздал минут на тридцать. У туристического комплекса и рестораника при нем на площадке стояло штук двадцать машин и пяток мотоциклов ГАИ. Собрал, видимо, желая порадовать, Егор Иванович районное начальство и с десятков человек — по размерам видно — из города.

В зале народа было даже больше, чем Петр Васильевич предполагал. В середине стола в окружении двух уже пятьдесят, наверное, лет соперничающих дам сидел знаменитый герой. А напротив них — сам Егор Иванович. Где-то между помощником Пашей и начальником областного ГАИ хохотала молодая звездочка.

Как же все тогда нескладно получилось! И купеческий стол, и председатели колхозов с округи, которых оторвали от уборочной, и с другой стороны — пожилые, скорее, старые люди, которые приехали по делу, которым уже надо беречь свои силы, а оказались в очередном застолье, каких видели они за свой век, переувидели. Егор Иванович тогда уже слушал только себя. Так положено, считал он. Все по очереди произносил пужные и правильные тосты, и у Петра Васильевича возникла мысль: «А ведь завтра этой знаменитой четверке придется в другой области слушать все то же самое сначала. Наверное, они понимают, что это неизбежные издержки их профессии, что в этих часто выпреженных или неуклюжих словах выражается любовь к ним народа».

Петра Васильевича посадили между одной из двух знаменитых дам и председателем колхоза Шмелько. Он только раз осмелился взглянуть в лицо своей соседки: по-прежнему милый, знакомый рисунок скул, вот только кожа иссечена мелкими морщинками. Но какой удивительной молодости и

ума глаза! Она почти не разговаривала, только пила парзан и доброжелательно, изредка поворачивала голову то вправо, то влево, улыбаясь. Петр Васильевич почему-то робел заговорить с нею, только подкладывал ей на тарелку всякие, по его мнению, лакомые кусочки. Когда на тарелке выросла маленькая грудка из сметаны, она сама с ним заговорила: «А кто за все это платит?» Навивная жесткость вопроса была смягчена тоном и улыбкой. «Шмелько, его колхоз.— Вопрос был прямой, прямой был и ответ.— Колхоз очень богатый, миллионер. Для хозяйства это капля в море. Но я вас понимаю. Шмелько Матвей Степанович — наш хозяин. Вот он как раз поднимается и хочет что-то сказать».

Хитроваи Шмелько в этот момент как раз встал с поднятой рюмкой, в которой у него, как всегда, была какая-нибудь минеральная вода, собрал все свои румяные и загорелые морщины в улыбку и, как всегда, начал разводить турусы на колесах. Бесстрашный он человек, Шмелько, тоже знает, что дальше председателя колхоза его не пошлют — невыгодно. Шмелько сказал, что рад на их гостеприимной земле видеть кинематографистов, что в тридцатые годы как-то больше нажимали на чай, а сейчас мода поменялась, хотя и за чаем тоже говорить совсем неплохо, а потом соскользнул на богатство стола, на дары земли, которые человек в тяжелом труде добывает для себя и своих близких. «И в этом смысле,— начал новую раскрутку Шмелько,— мы здесь работаем, а вы...»

«И в этом смысле,— перебила Шмелько расшалившаяся от успеха молодежькая звездочка,— вы наш хлеб...» Все, мгновенно отрезав, поняли, что звездочка, с ее твердой орпентацией на школьные знания, не по злобе, а исключительно по легкомыслию сейчас сморозит что-то непоправимое, закончив начатую крыловскую цитату: «...а вы наш хлеб едите». Но какова, тут же охнул Петр Васильевич, реакция у его соседки! Звездочка еще только чуть жеманно выговаривала слово «хлеб», как та, перекрывая рокот застолья своим знаменитым голосом, крикнула предостерегающе: «Марина!» Ему, Петру Васильевичу, не забыть этой леденящей, этой обжигающей, как удар хлыста, нотации. Пропзнеся одно слово, старая актриса вложила в него и предостережение, и уважение к своей профессии, и гнев, и пренебрежение, и уверенность, что никогда ни один актер еще не ел чужого хлеба. Но умницей оказался и Шмелько. Как же мягко он воспользовался паузой и своим певуче-ласковым голосом сказал: «Ну зачем же так... И вы, дорогие товарищи артисты,

в поте труда своего даете нам хлеб, без которого мы тоже не можем жить, — хлеб духовный».

Какой урок!

Петр Васильевич знал обычную программу в «Горнисте». Минут через десять придут пять девушек из местной самодеятельности и будут петь русские и украинские песни. В перерывах между тостами. Да не выдержат этого две пожилые актрисы! Не выдержат, чтобы они сидели за столом, а девчата им пели. Услаждали и развлекали. Для них искусство больше, чем услаждать и развлекать. И Петр Васильевич нагнулся к Шмелько, тихо сказал: «Прошу тебя, Матвей Степанович, отправь своих девчат из самодеятельности обратно. Отправь. Я все беру на себя».

Прощаясь у машины, соседка по столу задержала руку Шмелько в своей и сказала: «Спасибо, Матвей Степанович. Было очень вкусно. Жаль только, что не успели поговорить. Если окажусь когда-нибудь еще в ваших краях, заеду к вам попить чайку...»

К «Горнисту» они приехали на полчаса раньше. Петрак попросил показать ему какие-то развалины и должен был подъехать с другой стороны. Площадка у туристического комплекса была пустая, только с краешка жался газик Шмелько.

Пока Анатолий Ефимович роскошно разворачивался, хозяйски скрипя гравцем, на крылечко вышел сам Матвей Степанович. Удивился, увидев первого, и бодро потрусил здороваться.

— Ты опять, Матвей Степанович, за дежурного?

— И не говорите, Петр Васильевич! Была бы моя воля, я бы этого «Горниста» взорвал. И чего они все в мою сторону ездят? Прямо хоть колхоз меняй! Послали бы вы меня, Петр Васильевич, куда-нибудь на бездорожье в отстающее хозяйство, — отпущивался Шмелько. — А честно говоря, мне даже как-то страшновато увидеть живого Петрака. Я его книги уже тридцать лет читаю.

— Ну что, если уж мы с тобой приехали первыми, давай обойдем караулы.

Они поднялись наверх в тот же самый узкий зал, где в прошлый раз провожали актеров. Велика сила традиции. Непьющий Шмелько приказал наворотить на столах такое! Такие горы спедп, такие батареи папунков! И тут же все объяснил: «Я перед другими председателями срамиться не хочу».

— И хор опять позвал?

— Нет, хор не звал. Девчата стали отказываться. На сцене — пожалуйста, а в ресторане не будем.

— Молодцы у тебя девчата.

— Я зато свою старуху взял, она сейчас на кухне присматривает. Если падо, она споет, она певучая.

— Что жепу взял, вдвойне молодец. А ты знаешь, что мы сейчас сделаем?

— Ой, Петр Васильевич, я вас знаю...

— Ну так что?

— Все уберем, раздвинем столы, как было раньше,— Шмелько вздохнул,— а в уголке накроем один стол на два человека. И тихо, спокойно вы с Петраком поговорите.

— Неправильно. Накроем стол на четверых. Ты, Матвей Степанович, в этих местах воевал, и Петрак в этих местах воевал. Вы поговорите, а я послушаю. Давай, Матвей Степанович, зови свою Розу Федотовну, разворачивайтесь здесь, а я пойду встречать гостей. Я их встречу!

Своей засадой Петр Васильевич выбрал место у машины. Он стоял, засунув руки в карманы плаща, и злился. Ну что же у него за дурной характер! Почему он все наворачтывает и наворачтывает, все усложняет там, где просто, делкатничает, где падо приказать? И в сегодняшней эскападе он тоже переусердствовал: редактору все можно было сказать по телефону, а с проводом Петрака еще проще: вызвать заведомо делом культуры Герасима Лукича и прямо, по-солдатски ему все сказать — и про сегодняшние проводы, и про проводы и встречи, которые будут завтра, послезавтра и через год. Но вот ему показалоь, что личный разговор с редактором будет звучать помягче. А Герасим Лукич на десять лет его старше, Герасим Лукич привык к когда-то заведенному порядку... Ну почему привык? Почему так быстро привыкают к стереотипам и шаблонам? Ой, Петр Васильевич, и в себе боится этой быстрой и вольготной привычки. Привычка — это значит не видеть человека, события. Стесывать с события или человека индивидуальность. А уж в культуре-то, как у Герасима Лукича, привыкать и вовсе нельзя.

Он отчетливо представляет, как все произошло. Когда Петрак приехал собирать материал для книги, Егор Иванович поговорил с писателем, а дальше поручил его Герасиму Лукичу: организовать программу, помочь. Тот и помог. Наверное, по-деловому, соединил его с нужными людьми, свозил на места боев. Но ведь наверняка в каждом колхозе, где Петрак встречался с людьми, после этого был долгий —

те-то старались, запаметьный и любимый писатель! — утомительный обед. Петраку хотелось побыть одному, отдохнуть, сделать записи — восьмой десяток, силы на исходе, — а он сидел и обедал с председателем, парторгом и бригадирами.

А сегодня как бы завершение дела. Герасим Лукич позвонил в район, секретарь райкома поручил проводы второму, тот подключил инструктора, инструктор возложил материальное обеспечение — конечно, в деликатной форме, все у нас делается деликатно! — на Шмелько. Шмелько не привыкать!.. Дорогу решили почистить с помощью ГАИ. Слух о приезде Петрака разросся; так как он воевал в атих местах, то подключился и военком, надо быть на виду. И сейчас все эти доброжелатели и помощники нагрянут сюда, выставят на площадке свои машины, а проезжающие колхозные шоферы будут думать: чего это все районное и областное начальство столпилось у туристского центра, у ресторана «Горнист»? Нет, здесь, пожалуй, беседами не поможешь, нужна акция, чтобы зацепило за глубину души, чтобы рефлекс образовался...

\* Все случилось так, как Петр Васильевич и предполагал. Сначала вдали на дороге, разбрасывая вокруг себя искры желтого, красного и синего цвета — ну как же без мигалок, без помпы! — показалась спецмашина ГАИ, потом — машины областного начальства, коллег, за столько лет работы Петр Васильевич узнавал их не по померам, по походке; потом — Степац, его, Петра Васильевича, «Волга» с Петраком и Герасимом Лукичом; потом — машина, на которой Герасим Лукич будет возвращаться в город; потом — еще две машины. Не бедненькие, область наша велика и обильна!

Все это Петр Васильевич предвидел, все это случилось. Он знал, что сейчас, в присутствии Петрака, надо сдержаться, он еще потом свое возьмет. Вот сейчас надо проявить мягкость. Но такую мягкость, чтобы все запомнили надолго, навсегда.

С воем и скрипом тормозов все машины развернулись, выстроились на площадке, выкатила возбужденная быстрой ездой публика, вышел седенький и маленький Петрак, казавшийся еще меньше с рослым и сановным Герасимом Лукичом. И Петр Васильевич пошел навстречу Петраку. Все заулыбались и тоже стали подтягиваться, образуя вокруг Петрака и Петра Васильевича некую живописную группу.

И опять, как тогда с кинематографистами, у Петра Васильевича возникло ощущение прикосновения к тайпе, будто бы что-то магическое исходило от Петрака. Какое-то зна-

ние о предназначении человека, о его жизни и смерти. А может быть, он, Петр Васильевич, все это себе придумал, просто перед ним человек, который выполняет свое, непривычное для него, Петра Васильевича, дело?

Петр Васильевич пожал маленькую сухую руку писателя и сказал:

— Я очень рад, Михаил Сергеевич, что смог проводить вас. Для нас большая честь ваше посещение. Спасибо, что нашли время встретиться — мне об этом рассказывали — с нашими рабочими и колхозниками... И вам, товарищи, — он выпустил из своей руки Петрака, оглядел всех, тщательно запоминая, кто же здесь был, улыбнулся как можно доброжелательнее, стараясь пригасить взгляд, — и вам, товарищи, большое спасибо, что проводили Михаила Сергеевича почти до границы нашей области. А уж теперь (испарился теплый товарищеский ужин!) возложите эту почетную обязанность на нас со Шмелько.

В первые минуты разговор за столом не клеился. Так, общие фразы, Петр Васильевич, глядя в равнодушные, почти скрытые припухшими веками глаза Петрака, стеснялся, боялся показаться неинтересным и скучным. Шмелько, соблюдая субординацию, помалкивал. Петрак, видимо уставший с дороги, ронял вежливые и стершиеся фразы. И тут, видя скованность мужчин, на помощь пришла Роза Федотовна.

Она по-хозяйски вышлыла откуда-то из кухонных глубин, неся на блюде несколько чудовищно огромных помидоров. Где они их в это время раздобыли, еще подумал Петр Васильевич. Роза Федотовна поставила блюдо на стол, Петр Васильевич познакомил ее с гостем, и та, мгновенно оценив ситуацию, потянула, как говорят актеры, одеяло на себя. Как она умудрилась говорить без малейшей паузы и передышки, Петр Васильевич не понимал. Казалось, что эта пышная, по-деревенски румяная жепица не останавливается даже, чтобы перехватить воздух.

— Да я уже так рада, Михаил Сергеевич, познакомиться с вами, так рада! Я ведь все ваши книжки перечитала, и дети наши перечитали, и Матвей Степанович все перечитал. Матвей Степанович, он в этих же местах воевал, что и вы, отец с вами спорит. Он говорит, что, если бы он не председателем колхоза работал, а писателем, он бы все эти места и события описал по-другому. — Матвей Степанович сде-

лал протестующий жест, давая понять гостю, что вовсе он не так уж с ним не согласен, как представляет жена. У Петрака из-под прикрытых век блеснул заинтересованный и живой взгляд.— Нет, ты уж, Матвей Степанович, не отказывайся,— продолжала Роза Федотовна,— Говорил? Говорил! Ты меня знаешь, я врать не умею, у меня правда на языке, что думаю — всеобщее достоинство.— Розу Федотовну несло с горы. Ни на минуту не закрывая рта, она не переставала двигать и руками: разложила всем по тарелкам салат, каждому положила кусочки копченого мяса, рыбы и по помидору.— А помидоры эти не общепитовские, не колхозные, это мои. Я ведь этими помидорами всю нашу семью подпяла...

— Мать, не срами,— вклинулся Шмелько.

— А какой же здесь срам?— Роза Федотовна на секунду приостановилась, давая рукой команду Петру Васильевичу открывать подку и разливать по рюмочкам.— Какой же здесь, добрые люди, срам! Мне зарплата, что Матвей Степанович приносит как председатель колхоза,— капля в море. У меня семья.— Дети — кандидаты наук и невестки — артистки и художницы, мне на всех много надо. Сорок лет я проработала на родной колхоз. А теперь, как у пенсионерки, у меня свой колхоз. У меня десять соток огорода пленкой закрыто. Жить на земле, да чтобы она не кормила! Ведь это только у ленивого и безрукого может получиться. У меня все по науке. Петрушка, огурчики, укропчик, кабачки — это все для стола, это мелочь. Чтобы настоящую взять продукцию, пужпа,— с каким вкусом и удовольствием Роза Федотовна все это выговаривала,— нужна монокультура! Матвей Степанович мне: «Ты меня срамишь! Ты меня срамишь!» А я ему: а ты попробуй составь мне конкуренцию, ты меня экомическими рычагами перевоспитывай. Я всем своим сыновьям по «Жигулям» купила и сама на «Жигулях» езжу. Мне без машины пельзя. А все монокультура. Матвей Степанович, видите ли,— большое начальство, с шофером раскатывает, а я сама. У меня в хозяйстве дисциплина. Если только сыновьям позвоню в город: выезжайте копать, или собирать урожай, или полоть,— как один вместе с невестками в ближайшую же субботу тут как тут. И никаких перекуров, отгулов за прогулы, никаких уважительных причин: утром начали, к вечеру вскопали. У меня конвейер. А какая у меня рассада! Не три чалых листика, а стебель — сочный, зеленый. Рассада с гарантией. На мою рассаду спрос особый. Я тоже на звание Героя Труда претендую. Вот так.

А теперь, когда водочка палита, а мужчины, вместо того чтобы развлекать даму, молчат, то дама предлагает выпить за приезд и здоровье нашего дорогого гостя...

Во время этого монолога Петр Васильевич не отрывал глаз от Петрака и видел, как постепенно оживало его лицо. Из вялого, уставшего лица пожилого человека оно превращалось в озаренное и значительное лицо писателя. Сначала проснулись глаза, выглянули из своих порок раз, потом другой, а потом распахнулись — голубые, жадные и веселые — и, уже не отрываясь, уставились на Розу Федотовну. Петрак перестал теревить салфетку, отложил ее в сторону, как школьник, положил ладони на скатерть и, подавшись вперед, вслушивался, что говорила ему соседка по столу. Он даже позволил себе какие-то не очень ясные восклицания, в которых Петру Васильевичу почудилось довольно неожиданное и даже нелестное: «Так их, бюрократов!», «Вперед, Роза Федотовна!», «Покажите им, как надо управляться с сельским хозяйством!» Похоже, Петрак от Розы Федотовны был в восторге! И потом, когда она закончила и предложила здравицу в честь гостя, Петрак, довольный, поднял рюмку, улыбнулся широко и обольстительно, как молодецкий лейтенант, и сказал:

— А я предлагаю первый тост за нашу хозяйку. За ее трудолюбие, потому что на трудолюбии, на любви к делу, к труду и стоит наш мир.

Вот после этой рюмки и начался настоящий разговор, из тех сладких сердцу, захватывающих разговоров, какие Петр Васильевич ценил со студенческих лет, когда столько у каждого было мыслей, так интересны собеседники и так быстро и хорошо в этих разговорах решались все проблемы. Петр Васильевич знал, что расшевелит всех не водка — па четверых за весь вечер не выпили и бутылки. Сначала Петрак пытал Петра Васильевича о хозяйстве области, о людях, о реставрации и сохранении памятников культуры, о тех проблемах, которые стоят перед ним, первым секретарем, лично. А потом они втроем — Петрак, Шмелько и Роза Федотовна — надели на Петра Васильевича за отношение к частному сектору, по поводу статьи о «помидорниках» в областной газете. Здесь позиция у всех троих была несогласованная. Роза Федотовна потребовала, чтобы Петр Васильевич нарисовал, как сложится положение с сельским хозяйством в области через десять лет, через двадцать лет. А откуда ему, Петру Васильевичу, это известно?

А потом Петрак и Шмелько схлестнулись на «последнем

рубеже». И оказалось, что сидели в соседних окопах, видели один и тот же бой, но видели по-разному. И для каждого его правда была правдой священной. И за спором об этой правде, спором с криками, вскакиваемым со стульев с черчением вилок или ложком по скатерти расположения позиций, незаметно, не распробовав как следует, съели фирменное блюдо «Горниста»: по куску дикого кабана, жаренного на вертеле. И рассмеялись, когда у обоих тарелки уже были пусты. «Ну, так какой на вкус был кабан?» — спросила Роза Федотовна. И оба развели руками: не знали, какой он был на вкус. Съели, и все. По крайней мере, вкусный. «Вот так-то, спорщики», — сказала Роза Федотовна.

Потом Петрак пытал всех троих, что они читают и что читает молодежь. А в ответ Роза Федотовна, которая, как выяснилось, читает больше всех, расспрашивала Петрака о знаменитых писателях, об одном, о другом. И тут Петрак, внезапно погрустив и опустив глаза, будто на белой скатерти выступили какие-то знаки и письмена, которые он считывал, стал говорить о драматизме человеческой жизни. Об обязанности человека перед самим собой быть счастливым и о роковой несправедливости: когда понимаешь, как этого достичь, уже не хватает сил. Говорил о ненасытности человеческого взгляда и неутолимости нашего любопытства. Хочется все попробовать, все постичь, все рассмотреть, а времени уже нет, и исчезают желанья, уже совсем близко, за поворотом — финал, понимаешь, что пора подводить итог, а все живешь и живешь на полную катушку, не в силах допустить, что неизбежное станет неизбежным и для тебя, разбазариваешь время, страдаешь, помогаешь близким. А что останется? Десяток книг, которые, наверное, умрут вместе с тобой. А может быть, не умрут, выплывут на поверхность времени? И вот ради этого «может быть» и копаешь, как чернорабочий, каждый день с заступом выходишь на свою делянку. И такая тоска по еще не сделанному, по уже, по словам Петрака, обдуманному — о чем он, наверное, никогда не напишет, потому что есть другие долги, долги перед окопом, в котором они сидели вместе с Шмелько, а написать так хотелось бы! — такая тоска промелькнула в его глазах, что Петру Васильевичу на мгновение стало до боли жаль этого старика, который всю свою жизнь потратил на то, чтобы помочь людям жить в гармонии с самими собой, так мужественно шел через все дни хомут повседневных пеленных обязанностей и не смог найти эту гармонию для себя. Да и в чем она? Как ее сыскать? Как примирить себя, Наталью,

Ляльку, свое дело? Как отыскать эту гармонию ему, Петру Васильевичу? Ведь от него даже и «десятка книг» не останется, сам он не сажает деревьев, не строит домов... Только даты на камне: жил — умер. И тут же подумал: мое-то дело решенное. Каждый день с утра до вчера, от одного вопроса к другому и без перерыва. И все для того, чтобы росли и сажали люди деревья, чтобы спокойно и сытно было в доме, чтобы не запелела душа за бесцельно, по-обыкательски прожитые дни, чтобы стремительно летела по каналу река жизни... И побольше бы этих вопросов, погуще бы их вал, зарыться в них головой, закопаться...

В пустой и темный зал, где лишь пад их столпком горел свет, тихоенько вошел Степан. Петр Васильевич, сидевший лицом к двери, недовольно поднял брови. Но Степан не заметил или сделал вид, что не заметил, по крайней мере шаг у Степана не дрогнул, он подошел к столу, нагнулся над плечом Петра Васильевича и шепотом сказал: «Начался снегопад, на перевале машина может по пройтю». И Петр Васильевич понял, что вечер закончился.

— Михаил Сергеевич, — с сожалением сказал Петр Васильевич, — я поступаю сейчас не гостеприимно, по падо ехать. На перевале пошел снег. Можете застряты. Да и седи вас заждались.

— Спасибо, друзья. — сказал Петрак. — Ехаты так ехаты, наше дело солдатское.

Вчетвером они спустились вниз. Площадка перед туристическим комплексом была покрыта снегом. В «Воле» у Степана горел свет: Петр Васильевич уже привык, тот все время читает. Первый снег, первая в этом году белызна. А в «Чайке» тепло: крыша и багажник белые, а на моторе ни одной снежинки — значит, спит в тепле, привычки Анатолия Ефимовича тоже известны. Жаль Анатолия Ефимовича, по первый решил отправить Петрака на «Чайке»: машина тяжелая, устойчивая, пройдет через перевал. «Надо только обязательно Анатолию Ефимовичу сказать, чтобы сегодня не возвращался, переночевал. — И тут же про себя банально пошутил: — Искусство требует жертв». А вдогонку лояя мысль: а разве жизнь не требует жертв?..

Анатолий Ефимович не выказал и тайного неудовольствия, что предстоит ему на почь глядя такая дальняя дорога. Только попросил позвонить домой, предупредить.

— Сделаем, Анатолий Ефимович, не беспокойтесь.

Ну вот и все. Растаяли красные габаритные огни машины, увозившей Петрака, потом отошел газик Шмелько. Роза

Федотовпа приоткрыла дверцу и на ходу машет рукой... Пора возвращаться... Удивительно чистая, спокойная белая почь. Почему же так грустно на душе? Почему так не хочется садиться в машину? Почему хочется оттянуть момент возвращения?

Он сел в «Волгу».

— Степап, трогай. Домой.

Что-то в хорошо знакомом голосе Петра Васильевича показалось шоферу необычным. Выезжая с площадки на шоссе, Степап подумал: «Расстроился он, что ли?» Но Петр Васильевич, по мнению Степапа, мужчиной был крепким, волевым, мужественным, которому расслабленность как-то не шла. «Простудился, паверное,— подумал Степап,— вот и сонит». И все же в простуженном дыхании первого ему почудилось что-то непривычное. И тогда из деликатности Степап нажал кнопку приемника и включил музыку...

Недар

Чурбадзе

Талико

- Слышь, опусти-ка чуточку трусики! — сказал я.  
— А что это такое? — удивилась Талико.  
— Трусики — это штанишки. По-городскому, — объяснила не менее удивленная Циала.  
— А зачем их опускать, дуралей? — рассмеялась Талико.  
— Хочу взглянуть на твою родинку! — сказал я.  
— На какую еще родинку?  
— А ту, что пошже пупка, справа.

Талико облачила красивую, похожую на рубиновую горошину родинку.

— Не будь она душой, сидела бы вот здесь! — Талико приложила указательный палец к щеке и тут же по-мальчишески, пригнув голову, бросилась в воду.

\* \* \*

С тех пор минуло лет сорок.

В ту далекую пору мне, Талико, Циале и другим нашим одноклассникам было лет по семь-восемь, и после уроков мы плескались в нашей речушке Чурчкале в чем мать родила. В тот день Талико и Циала почему-то не захотели раздеваться. Я тоже. Тогда я так и не нашел объяснения происшедшему. Теперь догадываюсь: то был день, когда нас впервые коснулось неосознанное чувство пеловкости и стыда, и моя просьба к Талико была последним прощанием с детством...

...Еще год я проучился в чиагурской начальной школе, потом мамина родня временно забрала меня на воспитание в Сухуми. Впоследствии я не раз приезжал в деревню, но встретиться с Талико так и не пришлось, хотя и навел

про нее справки. Говорили, что она очень похорошела, что нет в Гурии девушки краше нее, что многие просили ее руки, и все без успеха, что жениха себе она выбрала сама — выходца из Лечхуми, некоего Авдида Карсладзе — и привезла к себе домой. Про Карсладзе ходили слухи, что-де занимался он раньше темным промыслом, ни перед чем не останавливался. Другие, наоборот, восхваляли его доблесть и честность.

Теперь я — уже знаменитость — стою с печально опущенной головой у гроба и оплакиваю выросившую меня бабушку. Во дворе чагаурского дома колышется море народа.

— Соболезную вашему глубокому горю, уважаемый Нодар! Крепись, такое со всеми случается... Вы помните меня? Я — Гурам Тотиадзе. — Он долго и крепко жмет мне руку.

Я благодарственно киваю головой. Он уходит довольный.

— Мужайся, Нодар, мы рядом с тобой, вся твоя родня! Не узнаешь меня? Эх ты, скотина! Да ведь я Дгапайа, внук сестры твоей бабушки! — Мы обнимаемся.

— Мапочки мои! Как ты изменился, парень! Дай бог тебе всех педожитых покойницей дней! Узнал? Ну да, Тухия я, Габуния, учился вместе. — Мы целуемся.

Я начинаю подозревать, что парод валит сюда скорее с целью повидаться со мной, чем попрощаться с бабушкой. Я оставляю ее на попечение своих двоюродных и троюродных братьев и сестер, многочисленных родственников и выхожу подышать на воздух.

\* \* \*

На длинном бревне под мушмулой сидит Ражден Себискверадзе. Судя по окружающей его толпе, он рассказывает нечто интересное.

Я захожу в круг.

— Батопо<sup>1</sup> Ражден, разрешите присесть с вами, если не стесню, — попросил я.

— Да какое там стеснение! Пожалуй сюда, дорогой мой! — Ражден живо подвинулся.

— Извините, прервал вас... Можно и мне послушать ваш рассказ?

— Ничего особенного... Так, вспоминал молодость... Ра-

---

<sup>1</sup> Батопо — вежливая форма обращения к мужчине; дословно: сударь, господин.

ботал я тогда в Потп на погрузке марганца. Вывозили его на пароходах авгличане почти что задаром. Подриджик Дзуку Дхампиджия платил нам по четыре двугривенных в день на душу... Да... Вагон грузили по три человека. Из нашего села — я, покойный Галактион Накандзе и покойный Автадил Гургенидзе, царство им небесное... Лопаты были у нас фунтов на тридцать...

— Ну да, свидетелей-то нет в живых, — хихикнул Коция Намгаладзе.

Ражден искоса, с разбойничьим прищуром взглянул на него, но промолчал, погладил бороду и не спеша продолжал:

— А что значили те четыре двугривенных? Скажем так: в столовке глубокая миска борща — семь копеек. Котлеты с макаронами — десять копеек. Хлеб... хлеб давали бесплатно. Соль — тоже. Все это — два раза в день. Стало быть, тридцать четыре копейки на пищу... Так что оставалось у меня чистых сорок копеек в день...

— А вино? — вставил тот же Коция.

— Ну, вино у нас было свое, наш чнагоурский оджалеш<sup>1</sup>, — вскинул гордо голову Ражден.

— А вареные яйца? — Коция, слушавший, поверло, рассказ Раждена в тысячный раз, знал паузусть его меню.

— Да что яйца! Яйца шли по копейке за штуку, — снисходительно улыбнулся Ражден.

Признаться, несмотря на траурный день, я тоже настроился на шуточный лад.

— Так вот, я хотел спросить вас, батано Ражден, — скавал я, — если яйцо стоило копейку, значит, вы всем довольны были?

— Нет, не так! Хотелось бесплатно!

— Что бесплатно? — не понял я.

— Бесплатно, батано Нодар, хотелось иметь яйца!

Вокруг раздался громкий хохот. Я тоже не мог удержаться, рассмеялся и сам Ражден.

— Тише вы, люди! Как-никак похороны! — шикнул кто-то на нас.

\* \* \*

Поздно вечером, перед тем как родственники и соседи собрались за помпальным столом, я заглянул на кухню. Мужчины парезали рыбу и красиво раскладывали куски по

<sup>1</sup> О д ж а л е ш и — сорт винограда.

тарелкам. Часть жепшиц сооружала в деревянных мисках салат из огурцов и помидоров, другая — хлопотала у огромного котла, в котором пыхтел и пузырился янтарный гоми<sup>1</sup>, третья — приправляла лобно — фасоль. У камина сидел и дымил глиняной трубкой старейшина села Галако Сихарулидзе.

— Здравствуйте, батопо Галако! — приветствовал я старика и присел рядом.

— Здравствуй! Ты кто будешь? — Галако не узнал меня.

— Это Нодар, впуск Ангелины, — подсказал мой одноклассник Гия Тутберидзе, — да помнишь ты его, детство он провел в нашем селе!

— А, это который позорит в газетах нас, гурийцев? Зачем ты это делаешь, сынок? — Галако вынул трубку о задубевшую, как подошва, ладонь.

— Сколько вам лет, батопо Галако? — ушел я от ответа.

— Сто семнадцать.

— Ух ты! — вырвалось у меня.

— Точно. Я помню рождение твоей бабки Ангелины. Эх, горе о детях свело несчастную в могилу, иначе жила бы она припеваючи — ведь ей было всего девяносто один! — Галако сокрушенно покачал головой.

— Сам-то он, знаешь, как шестнадцатилетний мальчишка, — шепнул мне Гия, — и видит, и слышит, и соображает отлично. А склероз у него, знаешь, развился какой-то обратный — помнит каждый день со второго года.

— С девятьсот второго?

— Не с девятьсот второго, а с той поры, когда мне исполнилось два года, — поправил Галако и вновь запыхтел трубкой. — Что это там красное в миске?

— Красная икра! — прыснул Гия.

— Дай-ка попробовать! — протянул Галако ладонь.

Не успел я схватить Гию за руку, как он зачерпнул полную деревянную ложку приготовленного для приправы лобно толченого красного перца и высыпал его на ладонь Галако. Тот сразу отправил в рот жгучую смесь и, прикрыв глаза, стал, прищмыкивая, смаковать ее. Вместо Галако у меня сперло дыхание и загорелась внутренности.

— Ты что, обалдел? — пакнулся я на Гию, по тот лишь улынулся и успокоительно повел рукой.

— Не воллуйся!

— И это у вас называется икрой? — педовольно помор-

<sup>1</sup> Гоми — густое кашеобразное кушанье из кукурузной муки.

щился Галако, покончив с перцем.— Вот в наше время, помню, была икра так икра! Съедал ее в Батуми, а вкус во рту держался до самого Кигоура и еще целую неделю!

— А что я тебе говорил? — улыбнулся мне Гия.

\* \* \*

— Здравствуй, батона Нодар! — раздался за моей спиной женский голос.

Я обернулся. Передо мной стояла стройная женщина с чуть пробивавшейся в волосах сединой. Прекрасные карие ее глаза светились теплом и улыбкой.

— Здравствуйте, калбатопо<sup>1</sup>, — ответил я смущенно. Как я ни напрягал память, вспомнить, кто эта женщина, не смог, хотя и был теперь уверен, что знаю ее.

— Какая еще калбатопо, ведь это папа Талико! — сказал Гия, положив руку мне на плечо.

Боже мой, действительно Талико! Ее глаза, ее брови, подбородок, правильный нос, высокий лоб и красивый рот с белоснежными зубами... В груди у меня что-то оттаяло, по телу разлилось приятное тепло.

— Здравствуй, Талико! — Не стесняясь никого, не испрашивая разрешения, я раскрыл объятия и прижал к груди Талико — как родную, близкую, как родственницу, как плоть и кровь свою, как явившееся передо мной мое босонгое, голопузое, полуголодное, но безгранично счастливое детство.— Талико, моя Талико! — повторял я, с трудом сдерживая подступившие к горлу слезы.— Как ты, что ты, где ты? — спрашивал я, не сводя с нее глаз.

А она с зарумянившимися — то ли от неожиданности моих объятий, то ли от жара — щеками растерянно стояла, опустив голову, и неловко перебирала руками.

— Так, ничего себе, спасибо, батона Нодар... А как вы сами поживаете? — проговорила Талико, потом повернулась, воддела к котлу с лобно и стала помешивать огромной деревянной ложкой. Я уселся рядом на низком треногом стульчике.

— Сорок лет я не видел тебя, Талико, — нарушил я затянувшееся молчание.

— Точно, сорок лет, — ответила она, не поднимая головы.

— А лобно у тебя получилось жидковатое, — проявил я

<sup>1</sup> Калбатопо — вежливая форма обращения к женщине.

свои кулинарные познания, не найдя другой темы для разговора.

— Об этом не беспокойтесь, батона Нодар, подсыплю щепоточку картофельной муки, и оно загустеет, хоть пожом режь, — улыбнулась Талико на мое глупое замечание.

— Ради бога, не зови меня «батона», а то мне кажется, что разговариваю с кем-то чужим, — попросил я.

— Надо привыкнуть. Попробую... — пообещала Талико.

— Говорят, ты замужем?

— Давно.

— Сколько детей?

— Семеро.

— Сколько?!

— Семеро. Чему ты удивляешься? У меня есть даже впуск, Бата, ему четыре годика! — сказала Талико горделиво.

— Не верится! Ты выглядишь очень молодо!

— Мы с тобой ровесники, но я рано вышла замуж.

— Значит, семеро детей?

— Да. Датико, Гиви, Тамаз, Гпули, Этери и Вапо.

— Так это шесть.

— Кого же я пропустила, прости господи! А, Джаба! Миленький мой Джаба! Он седьмой!

— Видать, хороший у тебя муж...

— Отличный. Лечхумец он.

— Как же гурийцы отдали тебя лечхумцу?

— Очень просто, он оказался лучше других! — похвасталась Талико.

Мне вдруг захотелось подшутить над ней.

— Коли так, я сегодня же разрушу твою семью! — пригрозил я ей, приняв позу оскорбленного гурийца.

— Как это? — спросила она изумленно.

— А вот так: скажу ему про твою красивую родинку пониже пупка, вправо, и... конец тебе!

— Нодар, не своди меня с ума! Откуда тебе известно про мою родинку?! — вспыхнула Талико.

— Забыла Чурчкалу?

— И ты сорок лет помнишь ту родинку?

— Помню, Талико! Ведь что значит быть писателем? Помнить все, и только.

Талико долго молчала. Потом произнесла не то с сожалением, не то с горечью:

— А ведь Авдидо ни разу не видел этой родинки...

Я не поверил собственным ушам. В горле у меня пересохло.

— Что ты сказала?!

— Не видел родинки чудачок мой муж! — повторила Талико с улыбкой.

Боже великий! Объясни, растолкуй мне, что это такое?! Проявление высшего святого морального совершенства или... Дай мне понять, о чем это толкует мать семерых детей?! Дай название тому, во что немисливо поверить! Открой мне тайну слышанного... Я отказываюсь понять...

\* \* \*

А потом... Мне, грешному писателю, казалось: потом было вот что.

Талико лежала на деревянной тахте, подложив руки под голову, и глядела в потолок.

К полуночи в комнату вошел Авдидо — уставший от дневных трудов, высокий, стройный, сильный и красивый. Он подсел к угасавшему кампу, прикурнул от уголька, не спеша выкурил сигарету и, бросив окурочек в камп, бесшумно разделся и осторожно лег рядом с женой.

Талико не шевельнулась. Авдидо почувствовал, что жена не спит, но все же спросил:

— Не спишь?

Талико молча покачала головой.

— Подвинься немного.

Талико подвинулась.

Помолчали.

Потом Авдидо повернулся к жене, прильнул к ее уху горячими губами и прошептал:

— Покажи мне твою красивую родинку... Попиже пупка, вправо.

У Талико замерло сердце и окаменел язык. Лоб ее покрылся холодной испариной... Придя в себя, она взглянула на мужа:

— Авдидо непутевый, откуда тебе известно про мою родинку?!

— А Бата сказал, впучек наш. Накуролесил он вчера, и я решил отшлепать его. Спустил с него штанишки, но увидел родинку у пупка, смягчился и поцеловал шельмеда в самую родинку. А он мне: «Деда, знаешь, такая родинка у бабули. Она показала, когда купала меня вчера в Чурт-кале...»

— Эх ты, Авдидо, эх ты, Авдидо, эх ты...

— Да что с тобой! Перестань! Перестань, ради бога! — успокаивал жепу перепуганный Авдидо.

— Если б ты знал... Если б ты знал, чудак, как я тебя люблю! Если б ты знал, дорогой...

— И потому ты плачешь? — спросил удивленный и счастливый Авдидо.

— Потому... Потому и плачу... Потому... — шептала Талико, и не было в тот миг силы, способной унять взволнованную женщину.

*Перевод с грузинского Зураба Ахведиани*

# Курим Столяров

ФЕДОР  
ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Издавна повелось, что в громадном большинстве случаев служебную характеристику пишет не непосредственный начальник того или иного сотрудника, а сам характеризуемый. Не знаю, как в сельской местности, а в городах происходит именно так. Почему? Вероятное всего, по многим причинам. Один начальник перегружен, и ему постоянно некогда, второй располагает временем, но попросту ленился, третий не желает проявить должную принципиальность и тем самым впоследствии вызвать огонь на себя, четвертый давлением считает всевозможные характеристики выкуму, в сущности, не пужной формалистской и таким образом выражает свой пассивный протест, пятый твердо убежден в том, что это святая обязанность кадровиков, а оп за них палец о палец не ударит, не на того, дескать, папали, и так далее. При этом некоторые полагают, что поскольку характеристика пужна тебе, а не мне, то ты сам и постарайся. Естественно, что данная мысль обычно вслух не высказывается, а только подразумевается. Зачем дразнить гусей? Народ попадаетея не сплошь сознательный, может кое-что неправильно истолковать...

Когда Федору Терентьевичу в коп век раз для чего-то попадобилась характеристика, оп явился к своему шефу — заместителю директора по общим вопросам. В огромном научно-исследовательском институте у директора было семь заместителей, и в кулуарах шефа Федора Терентьевича для краткости просто именовали Пятым. В приемной Федор Терентьевич снял фуражку, пригладил седеющий сжик необычайно густых волос и крепко пожал руку секретарше Наде, которая едва не закричала от боли и до конца дня так и не смогла сесть за машинку.

— Здравия желаю! — привычно приветствовал Федор Терентьевич, входя в кабинет Пятого.

— Когда-нибудь я из-за тебя зайкой стану! — Пятый на секунду поднял глаза от раскрытой папки и продолжал листать бумаги. — Ты чего пришел, Федор Терентьевич?

— Да вот характеристика мне пужна, елки-моталки, — смущенно проговорил Федор Терентьевич, понимая, что явился к начальству не ко времени.

— Какая характеристика? — машинально поинтересовался Пятый, по-прежнему занимаясь своим делом и не глядя на посетителя.

— Обыкновенная, за подписью треугольника, — пояснил Федор Терентьевич, стоя в положении «вольно».

— Послушай, Федор Терентьевич, ты ведь пеглупый мужик и сам не первый год руководитель, а лезешь ко мне со всякой срундой. — Пятый с досадой почесал лысую макушку, а потом неожиданно улынулся. — Сочини что посчитаешь нужным, а завтра рапенько утром занеси, и я подпишу за директора. А теперь иди и не морочь мне голову. Попнял?

— Никак нет!

— Чего тебе непонятно? — удивленно спросил Пятый.

— Не положено самому на себя писать, елки-моталки! — твердо ответил Федор Терентьевич и покраснел от обиды. — Никак такое не положено!

— Ну смотри, дело хозяйское, — пожал плечами Пятый, хорошо знавший характер Федора Терентьевича. — Я тебя не заставляю. Только ты учти, что у меня, как всегда, жуткий цейтнот. Сейчас я закругляюсь и на всех парах мчусь на опытный завод, а оттуда двигаю в райсовет на заседание комиссии по благоустройству и озеленению. Завтра с утра ему в подшефный колхоз, а я пятницу, не заезжая домой, — в паш пионерский лагерь. Стало быть, исчезаю до конца недели. Потерпишь до понедельника?

— Так точно!

— Тогда договаривались. В понедельник ближе к обеду заглянешь в приемную к Наде и возьмешь характеристику...

Пятый был хозяином своего слова и, чтобы не забыть, сразу же дал команду кадровикам утром в понедельник принести ему личное дело Федора Терентьевича.

Пятый не имел обыкновения писать бумаги, а предпочитал диктовать. Поэтому в понедельник он вызвал из приемной Надю с блокнотом, усадил ее за приставной столик, а сам принялся рассказывать по кабинету с личным делом в руках и на ходу сочинять характеристику.

— Итак, приступим,— сказал он, обращаясь к Наде.— Пиши: «Характеристика тов. Чистосердова Ф. Т.». С новой строки: «Тов. Чистосердов Федор Терентьевич, 1911 года рождения, уроженец города Великие Луки Псковской области, русский, член КПСС с июля 1942 года, образование — семь классов...» Назовем лучше — неполное среднее. «...с 1926 года по 1931 год работал учеником слесаря и слесарем на Великолуцком мелькомбинате, с 1931 года по... по...», ага, «по 1945 год служил в Советской Армии, с октября 1945 года по настоящее время работает начальником административно-хозяйственного отдела орденов Ленина и Трудового Красного Знамени организации такой-то...». Это, будем считать, общая часть. А теперь перейдем к начике...

«Что же, собственно, можно написать о Федоре Терентьевиче?» — подумал Пятый. Более двадцати лет протрубил в коллективе, а что сделал? Командует уборщицами, прачечной и старушкой Мартой Карловной, занятой обеспечением командированных сотрудников института железнодорожными и авиабилетами. И все? Ну и еще организует похороны. Гм, вот это дело! На первый взгляд пустяк, а на практике — клубок трудноразрешимых проблем. В институте и на опытном заводе одиннадцать с половиной тысяч душ, а с пенсионерами и членами семей сотрудников — целая армия, укомплектованная по штатам военного времени. Стоит ли удивляться, что еженедельно у главной проходной одно-два, а то и три извещения в траурной рамке с ретрушированной фотографией покойного. В году, как известно, пятьдесят две недели, стало быть, минимум восемьдесят — девяносто панихид и похорон. Это вам не шуточки, а тяжкий труд, который тянет Федор Терентьевич на своих плечах в одиночку, без посторонней помощи. Весь кладбищенский люд знает наперечет, в магазине «Похоронное обслуживание» на Большой Московской он свой человек, но главное, пожалуй, не в этом. Пятый на все сто процентов убежден, что у Федора Терентьевича есть некий дар или особый, что ли, талант утешать родственников умершего. Хотя он простой и, что греха таить, не слишком грамотный мужик, а находит-таки верное слово для успокоения души любого человека в диапазоне от прачки до профессора. И при этом феноменально честен: все, что остается от подчетных сумм, выдаваемых родными и близкими усопших, он аккуратнейшим образом возвращает по принадлежности, причем с аптекарской точностью. Другое дело — помпик. Там он почетный участник застолья, ест и пьет минимум за десятерых. Кстати говоря,

не только поминки, но и всякие девятые, сороковые и прочие поминальные дни до года включительно. Пусть народ теперь не верит ни в бога, ни в черта, а традиции все-таки соблюдает, и Федор Терентьевич, прямо скажем, по этой части большой мастак. Но для характеристики это, увы, не материал...

— А дальше-то что? — нетерпеливо спросила Надя, прервав ход мыслей Пятого.

— А дальше напишем так: «За время работы в организации тов. Чистосердов Ф. Т. проявил себя положительно, как трудолюбивый, принципиальный и добросовестный сотрудник. С порученным ему участком работы справляется успешно, за что неоднократно отмечался почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями». Так вроде неплохо получается. А что еще?

— Что-нибудь об участии в общественной жизни, — подсказала Надя.

— Молодец, Надя! Мысль правильная, — согласился Пятый. — Ты случайно не знаешь, занимается ли он какой-либо общественной работой?

— Кто его знает, — покачала головой секретарша.

— Неужели ничего не делает? — усомнился Пятый.

— Нет, делает! Я сейчас вспомнила, — обрадовалась Надя. — Он ежедневно смотрит по телевизору программу «Время», а по утрам собирает уборщиц и пересказывает ее содержание.

— Замечательно! Пиши с новой строки: «Тов. Чистосердов Ф. Т. систематически углубленно работает над повышением своего идейно-политического уровня и в течение ряда лет проводит занятия в кружке текущей политики». Ну а дальше все проще цареной репы. Тоже с новой строки: «Тов. Чистосердов Ф. Т. выдержан, в быту скромнее и морально устойчив». — Тут Пятый не удержался и хмыкнул. Насчет быта все, как говорится, один к одному, комар носа не подточит! — Опять с новой строки: «Настоящая характеристика выдана для представления по мере надобности». Вот, пожалуй, и все. Заделаеть мою подпись, а ниже подписи Григорьева и Савчука. Быстренько отпечатай и завеси подписать.

Когда секретарша вышла из кабинета и закрыла за собой дверь, Пятый неожиданно для себя подолгу задумался.

Отличный мужик Федор Терентьевич, по, мягко выражаясь, не без странностей. Живет старым холостяком, круглый год ходит в гимнастерке с потертым офицерским рем-

пем на здоровенном пузе и в шевнотовых брюках павыпуск, а всю свою зарплату тратит исключительно на питание. Пятый отлично понимал, что при таком зверском аппетите начальник АХО давным-давно напоролся бы на филипсово-экопомические рифы, но Федор Терентьевич регулярно ускользал от банкротства с помощью одиноких институтских женщин среднего поколения, паперебой приглашавших его провести вечер в уютной домашней обстановке. Каждая из них тщательно готовилась к приему Федора Терентьевича, делала маникюр и перманент, пекла пироги и варила гуляш в самой большой кастрюле. Сам Федор Терентьевич перед таким визитом шел в баню, а в гостях садился за стол, уныточжал все подчистую, хлебной корочкой подбирал остатки соуса, вынивал пять стаканов крепкого сладкого чая и по окопчанин программы «Время» начисто терял всякий практический интерес к гостеприимной хозяйке. Он вставал из-за стола, тщательно оправлял гимнастерку, крепко жал руку взволнованной женщине и уходил восвояси. Многие бурно переживали такой пезапрограммированный фиал, принимали валерьянку и порой даже вызывали на дом неотложку, но факт оставался фактом: Федор Терентьевич ни для одной не делал исключения и повсюду вел себя абсолютно одинаково.

Женщины по своей натуре различны: одна стерпит и смолчит, другая тайком поделится с подругой новой игучей рапой, а третья вообще ни из чего личного не делает секретов. Короче, некоторая оригинальность Федора Терентьевича, проявлявшаяся в отношении к прекрасному полу, вскоре стала, как говорят, достойным гласности, но эффект данной информации получился совершенно неожиданным. Пятому казалось, что женщины должны были бы игнорировать Федора Терентьевича, а получилось все шиворот-павыворот. Его популярность среди вдов и разведенных пезмеримо возросла, и приглашения па ужин сыпались одно за другим словно из рога изобилия. Пятый п раньше далеко не всегда понимал причинность многих женских поступков, а тут попросту развел руками. Загадочные существа, кто их, чертенок, поймет. Неужели их одипочество может скраситься одним визуальным наблюдением за жующим мужиком, от которого пахнет табаком и березовым венником? Или они, вполне возможно, как-то по-своему, чисто по-бабьи, жалеют его?

Между прочим, Пятый никогда не смеялся над странностями начальника АХО. Хозяин — барин, и личная жизнь

каждого касается только его самого. Хочет человек — сходится с жепщицами, женится или просто проводит время, не хочет — едеает с детства любимый гуляш и топает домой. Каждому свое.

Кем, интересно, он был в армии? Пятый вновь раскрыл папку с личным делом Чистосердова и нашел соответствующие данные. Ага, гвардии младший лейтенант! Все ясно! Наверняка служил где-нибудь в хоззведе, в зоне продовольственно-фуражного снабжения. Оттуда и стиль поведения. Пятый манипально полистал апкету и неожиданно остановился. Десять правительственных наград?! Ничего себе! Орденских колодок Федор Терентьевич никогда не носит и о своем военном прошлом словом не вспоминает... Ну и что из этого? Федор Терентьевич хороший мужик и выполняет то, что ему поручено. Причем делает свое дело лучше многих, других, которые без пужды хорохорятся и обожают похваляться былыми заслугами.

Тут Пятого отвлек телефонный звонок из Москвы, он отложил личное дело Федора Терентьевича и надолго забыл о нем.

Прошел год, и научно-исследовательский институт переподчинили другому министерству. Вроде бы ничего для сотрудников не изменилось, работайте, как говорится, на здоровье и создавайте пужную страпе новую технику, пошло все по-ипому. Кое-кто из числа педовольных, а такие, кстати, есть всегда и везде, решил, по-видимому, половить рыбку в мутной воде, и во все высокие адреса посыпался разнообразные жалобы. Пока институтское руководство не притерлось к новому московскому пачальству, самое время подсыпать им песочку в буксы! И зачастили в институт комиссии. Одна не успеет из проходной выйти, а следующая уже тут как тут. Институт лихорадило, но, как ни странно, он по-прежнему работал успешно.

Как-то ясным майским утром Федор Терентьевич степенно шел по территории института в электроцех, где договорился встретиться с замом главного эпергетика, чтобы поторошить насчет замепы изношенных электродвигателей в прачечной. Конец был не ближний, и он остановился покурить в скверике у административного корпуса. Федор Терентьевич достал пачку «Севера», старую, еще трофейную закигалку и успел пару раз сладко затянуться, когда на втором этаже распахнулось окно и звонкий девичий голосок крикнул, что его срочно вызывает к себе Шестой.

Шестой ведал кадрами и режимом, а кроме того, замечал Пятого во время его командировок, отпусков или отсутствия по болезни. Как раз в это самое время Пятый лежал в больнице имени Свердлова с обостренным язвы желудка, поэтому вызов начальника АХО к Шестому не являлся чем-то из ряда вон выходящим.

— Разрешите войти? — Федор Терентьевич знал, что Шестой был человеком военным, любившим порядок во всяком деле.

— Заходи, Федор Терентьевич, — пригласил его Шестой. — Прежде всего здравствуй.

— Здравия желаю!

— Садись, есть к тебе особый разговор.

Федор Терентьевич сел на стул и приготовился слушать.

— Тут, понимаешь, проверяет нас очередная комиссия, и я полагаю, что на днях они примутся за тебя.

Федор Терентьевич кивнул и грозно нахмурился.

— Так вот, ты все это попомей в виду и на досуге подумай, что будешь им говорить, — продолжал объяснять Шестой. — Они, как мне показалось, подбирают ключи под Бориса Сергеевича. а он тебе, кроме добра, ничего не делал. Поэтому я надеюсь...

— Да я... Да я их, елки-моталки...

— Ты, Федор Терентьевич, не горячись, — остановил его Шестой. — Ты, видно, не так меня понял. Я в тебе уверен и надеюсь на то, что ты сделаешь все по-умному. Комиссию надо брать не криком, а выдержкой и спокойствием. Что тебе там ни скажут, держи себя в руках и в бутылку не лезь. Помнишь, как бывало на фронте?

— Разве такое забудется, — вздохнул Федор Терентьевич.

— Теперь вижу, что ты понял. — Шестой встал из-за стола и пожал ему руку.

— Товарищ полковник, разрешите быть свободным?

— Ну и голосина у тебя, — с улыбкой сказал Шестой. — На тебя, Федор Терентьевич, мировой дьякон бы выпел. Никто тебе в молодости об этом не говорил?

— Никак нет!

— Ладно, шут с ним. Иди, Федор Терентьевич.

«Ишь чего удумала, нечисти, — возмущался Федор Терентьевич, шагая в электроцех. — Пятого хотят скovyрнуть! Нет, дудки, мы этого ни в жизнь не допустим! И козыря в руки ихние ни за что не дадим, елки-моталки, они пришли и ушли, а нам жить и работать!»

К возне комиссии он отнесся крайне неодобрительно. Пускай он человек маленький, но свое мнение имеет, а понадобится — так где хочешь и кому хочешь его выскажет, глазом не моргнувши.

Его вызвали на комиссию к вечеру следующего дня. В кабинете Седьмого, который отвечал за сдачу опытных образцов и сам целый год мотался по командировкам, сидели двое — один пожилой, седой и из себя вальяжный, а другой помоложе, очкарик длинношей с маленькой лысой головой, на змею похожий.

— Ваша фамилия Чистосердов? — спросил вальяжный, сверившись с бумажкой.

— Так точно!

— Федор Терептьевич, если не ошибаюсь?

— Он самый.

— Вот и хорошо, — радушно сказал вальяжный. — Давайте познакомимся: меня зовут Павлом Ивановичем, а моего товарища Альбертом Евсеевичем. Мы комиссия, которой поручили проверить некоторые сигналы о злоупотреблениях вашей администрации. Разговор у нас будет как у коммунистов с коммунистом — дружеский и предельно доверительный. Как вы отпоситесь к моему предложению, Федор Терептьевич?

— Ясное дело, как. Я согласный, Павел Иванович.

— Вот и отлично! — заулыбался вальяжный. — А теперь скажите нам, дорогой Федор Терептьевич, хорошо ли вы знаете заместителя директора института Ястребова Бориса Сергеевича?

— А как же, — удивился Федор Терептьевич. — Он надо мной начальником, тылом у нас командует.

— Это мы знаем, — согласился вальяжный. — Скажите, как Ястребов с вами разговаривает?

— Как положено, так и разговаривает, — не понял вопроса Федор Терептьевич.

— Имели ли место с его стороны факты грубого к вам обращения, барства или голого администрирования?

— Такого не замечалось, — твердо ответил Федор Терептьевич, начавший понимать, куда глот вальяжный.

— А при вас он никого матом не посылал? — встрял в разговор очкастый, до того тихо скрипевший пером.

— И такого не замечалось!

— Скажите нам, Федор Терептьевич, а не случилось ли вам с утра видеть его, так сказать, под мухой или... э... с

похмелья? — Тут вальяжный подмигнул и заляхватски щелкнул себя по горлу.

— Ни разу не видел.

— А после обеда?

— Не случалось и такого замечать, Павел Ивапович.

— А вы вообще-то человек наблюдательный? — спросил очкастый.

— На глаза покамест не жалуюсь, — спокойно ответил Федор Терентьевич.

— Конечно, Федор Терентьевич, конечно, — замахал руками вальяжный. — Я только так спросил вас, из чистого любопытства. Нам тут отдельные товарищи подсказали, что дирекция часто устраняет пляпки и закоперщиком у них выступает Ястребов. Что вам об этом известно?

«Ну и парод, — подумал Федор Терентьевич, — сами ни уха ни рыла не знают, а вопросы дурацкие задают! Да Пятый водки в рот не берет никак лет пять или шесть, с той поры как пытался лечить язву свою медом на спирту. Про это в институте, считай, каждая собака знает!»

— Про то не слыхал, но думаю, что брехня.

— Тогда у меня последний вопрос: что за человек Семен Ивапович Дятлов — водитель автомашины Ястребова? Можно ему доверять?

— Человек как человек, — пожал плечами Федор Терентьевич. — Бойкий болло, а так ничего парень. Технику знает, раньше работал на дежурном автобусе, так тот автобус завсегда был исправный и пол в нем чистый. А теперь соплика Ваньку посадили, так в автобусе том что твоя помойка!

— Что же, все ясно, — кивнул вальяжный. — Альберт Евсеевич, у вас будут вопросы к Федору Терентьевичу?

— Разумеется, Павел Ивапович. Скажите, Чистосердов, ваш отдел помещается напротив институтского гаража?

— Так точно!

— У меня есть достоверные данные, что заместитель директора Корнилов регулярно заправляет свою личную автомашину марки «Волга» М-21, цвет бирюзовый, государственные номерные знаки ЛЕВ 11-00, в вашем институтском гараже. Что вам известно по данному вопросу и можете ли вы подтвердить это письменно?

...Корнилова в институте называли Четвертым, но, в отличие от всех других заместителей директора, включая и собственного шефа, для Федора Терентьевича он был про-

сто Никита Алексеевич. И даже не просто, а от всей души и от большего к нему уважения...

Никита Алексеевич поступил в институт недавно и по годам годился ему в сыновья, по, считай, с первых дней сложились у них какие-то свои отношения, крепнувшие день ото дня. Держался Никита Алексеевич строго и с достоинством, но были в нем ровная приветливость и еще что-то до поры до времени Федору Терентьевичу непонятное, по располагавшее его к повому замдиректора.

До прихода Никиты Алексеевича на этой должности сидел сонный старичок Викентий Владиславович, которого с незапамятных времен подпоял и заставил плясать под свою дудочку хитрый и падменный начальник отдела капитального строительства Роман Иванович Колотыркин, сорокапятилетний румяный ухарь, строивший пасмешки над самим Федором Терентьевичем. В роте у Федора Терентьевича, помнится, тоже был один такой, так пришлось с ним ох как помяться, пока человеком сделался, елки-моталки.

Оба они трудились, должно быть, не слишком сноровисто, план несколько лет кряду не тянули, и, попятно, дело копчилось тем, что Викентия Владиславовича сировадили на пенсию, а на его место позвали молодого и бойкого Никиту Алексеевича.

Случайно получилось так, что столкнулись они педели через две после его прихода в институт, когда Маня Акифьева опять в слезах заявила к Федору Терентьевичу и наотрез отказалась прибирать кабинет Колотыркина, который вкопс замучил ее придирками и грубостями. И тогда не любивший жаловаться Федор Терентьевич решил поговорить насчет Колотыркина с Никитой Алексеевичем. Новичок молча выслушал его рассказ, уточнил, как было дело, приказал секретарше вызвать к нему Романа Ивановича и так его отчуждстил, что Федор Терентьевич раз павсегда зауважал Никиту Алексеевича. Он не кричал и даже ни разу не повысил голоса, а всего лишь высмеял Колотыркина, по сделал это хлестко и настолько едко, что спесивый Роман Иванович сначала побелел, потом побагровел, а минут эдак через пять задергался, как кукла на ниточках, которую, бывает, показывают в телевизоре. И с той поры стал шелковый, елки-моталки!

Никита Алексеевич поступил к ним в январе, а к концу лета того года институту вдруг понадобилось устроить новую лабораторию сверхточных измерений. Федор Терентьевич поставил себе за правило ни под каким видом не совать нос

в чужую работу и, понятно, не знал, зачем все это надо было, но краем уха услышал, что задача, как говорят, умри, но сделай. Никита Алексеевич срочно привел каких-то парней с приборами, чтобы найти в институте такое место, где меньше всего тряски от трамваев и другого городского транспорта. Те парни неделю мерили тряску, а потом сказали, что самое тихое место аккуратно где кабинет и приемная Никиты Алексеевича, на первом этаже старого корпуса. Там сразу вскрыли полы и поливом ходом припились рыть землю, чтобы докопаться до материкового слоя и на нем поставить фундамент под хитрые машинки. Никита Алексеевич временно сел в свободный кабинет к Седьмому, а темного погоды убыл в отпуск. Пока Никиты Алексеевича не было, ему делали новый кабинет на втором этаже конструкторского корпуса. Федор Терептьевич к ремонтно-строительному цеху, ясное дело, не касался, и никто ему не поручал следить за ихними рабочими, однако он, на этот раз изменив своему правилу, ежедневно проверял не только ход работ, но и их качество, а к возвращению Никиты Алексеевича обставил его кабинет старинной мебелью с топкой резьбой и множеством бронзовых пашпенок в виде голых баб и разных прочих ангелов, дудящих в трубы.

В день приезда Никиты Алексеевича оп для приличия выждал до полудня, а потом явился в его приемную. Шустрая секретарша Машенька тут же доложила о нем Корнилову, и тот пригласил Федора Терептьевича к себе.

— Здравия желаю, Никита Алексеевич! — по-строевому приветствовал он замдиректора. — Как устроились на новом месте?

— Добрый день, — улыбнулся Корнилов. — Благодарю вас, устроился я неплохо. Скажите, Федор Терептьевич, где вы отыскали такую мебель?

— Не нравится? — упавшим голосом спросил Федор Терептьевич.

— Что вы, это же подлинная павловская кабинетная мебель! — радостно заявил Корнилов. — По-настоящему ей место в музее, а не в моем кабинете!

— Про музей не скажу, не моего ума дело, а сломать и спалить ее я не дал. — Довольный Федор Терептьевич пригладил непокорные волосы и одернул гимнастерку. — Мебель-то давно списанная, так один наш законник из бухгалтерии, как инвентаризацию проводить, все жалобы на меня катает, что храплю на складе на своем печатном иму-

щество. Надо его, дескать, уничтожить, а бронзу снять и по акту сдать в утиль на переплавку.

— Это было бы прямым преступлением,— убежденно сказал Корнилов.— Вы, Федор Терентьевич, молодец, что сохранили эти утиркумы.

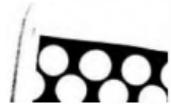
— Вот и я думал, что мебель та людям еще послужит, елки-моталки. Ей ведь износу нету.

— Еще раз большущее вам спасибо, Федор Терентьевич,— поблагодарил его Корнилов и вернулся за стол, тонко дав понять, что он занят и что Федору Терентьевичу пора уходить.

Федор Терентьевич хотя и без образования, однако в армии многому поднаучился, котелок у него не хуже других варит. Раз человеку некогда, пора и честь знать. Замдиректора только-только на отпуска, делов у Никиты Алексеевича, должно, невпроворот скопилось, мешать ему не положено! А все ж он выбрал-таки минутку для Федора Терентьевича и пашел доброе словечко. Молодой, а все понимает... Нутром, считай, угадывает, что слово то доброе, вовремя да от души сказанное, бывает куда дороже премий или там грамоты какой...

И семья у него хорошая, всем бы людям такую. В первый же год весной Никита Алексеевич на полпгоне гостиницу достраивал, так Пятый поручил Федору Терентьевичу помочь семье Корнилова пересхать на дачу в Зеленогорск. Желу Никиты Алексеевича он так и не видал, а мамаша ихняя ему ох как поправилась. Душевная очень жепщина, хлебосольная и приветливая. Сын, должно, в нее. Накормила Федора Терентьевича таким бараньим боком с кашей гречневой, что он чуть ложку не проглотил. Во как! А чай какой с брусничным вареньем да с булочками! Есть что вспомнить. А дочка его Тапечка? Не девочка, а сама ласка! Глазетки в папашу, а волосики белепские, должно, материнь. Как она заголосила, когда Федор Терентьевич обратно в город собрался, как цеплялась за него ручонками своими. Любит он детей, да своих бог не дал. Всю его жизнь, считай, война смяла...

А перед двадцатилетием Победы утром пришел к нему в отдел Никита Алексеевич, душевно поздравил с праздником. Все рабочие и служащие АХО это видали, а Федору Терентьевичу было-таки чем гордиться. Такой человек ему уважение оказал, и не по обязанности от коллектива, а от сердца от своего! Это, елки-моталки, пощмать падо...



...— Что вы замолчали? — едко спросил очкастый. — Память вдруг отшибло?

— Нет, память у меня не отшибло, мил человек, — медленно произнес Федор Терентьевич и достал из нагрудного кармана гимнастерки мятую записную книжку. — Как будет ваша фамилия?

— Не вабывайтесь, Чистосердов! — взвился очкастый. — Здесь мы задаем вопросы, а ваше дело — честно на них отвечать!

— Я обратно чего-то не понял? — обратился Федор Терентьевич к вальяжному. — Вы давеча сказали, Павел Иванович, что беседовать будем по-партийному и по-дружескому, а па деле выходит — по-допросному?

— Нет-нет, вы все правильно поняли! — засуетился вальяжный. — Альберт Евсеевич, назовите товарищу вашу фамилию, ну что вам стоит!

— Туругдаевский, — сквозь зубы проговорил очкастый.

— С какого года в партии? — осведомился Федор Терентьевич.

— С шестьдесят первого года!

— А лет сколько будет? — не упирался Федор Терентьевич.

— Я родился в тридцать третьем году. Больше ничего о себе сообщать не нужно? — съязвил очкастый.

— Хватит, — согласился Федор Терентьевич, записал все в книжку, встал и оправил гимнастерку. — В институте отродя не было раздаточной колонки беззиповой, так что легковушку заправить можно, только сливая бензин с грузовиков. И за двадцать с гаком лет моей службы на территорию институтскую ни одна личная машина еще не заезжала. На то режим у нас имеется. Понял, мозгляк?

Очкастый съежился и промолчал.

— Ты еще в лапу как следовало играть не умел, елки-моталки, когда я свой первый бой под Шяуляем припал! Прежде чем спрашивать, падо, бывает, мозгами пошевелить, ежели мозги те есть! И не мазать дерьмом таких людей, чьею нога ты сам не стоишь, елки-моталки! И еще запомни: ежели чего напрасно па наших людей напишешь в свою бумажку, я к самому Сергей Леопольдовичу пойду, к командующему военным округом. Он в войну моей дивизией командовал и меня лично знает! Пойду и доложу ему все как было, пусть тебя па какую простую работу переведут, подалее от людей!

— Ну зачем же вы так,— вмешался вальяжный.— Нервы надо беречь, Федор Терентьевич!

— А я все сказал. Разрешите идти?

Комиссия, как водится, без толку забудоражила людей и отбыла, а подготовленную ею справку оставили без последствий и подшили в дело. И с тех пор анонимщики как-то сразу слипли и прнрутихли.

Федор Терентьевич о своем «дружеском» разговоре, разумеется, никому не докладывал, но некоторое время ходил по институту с гордо поднятой головой и чутью медленнее обычного. Считал ли он, что в оздоровлении обстановки есть и его немалая заслуга, или просто радовался концу набивших оскомину проверок, так и осталось неизвестным. Факт тот, что все, как говорится, вернулось на круги своя. Пятый после успешной резекции желудка выпался из больницы и приступил к работе, институт сдал важнейший заказ, удостоенный Государственной премии, многие получили правительственные награды, Валя Кондратьева из двадцать девятого отдела под Новый год родила тройню — двух мальчиков и девочку, — а к февралю множество людей переругалось друг с другом из-за распределения жилой площади. Наш Федор Терентьевич работал так же, как в предыдущие годы: следил за чистотой служебных помещений, обеспечивал стирку спецодежды и исправно хоронил умерших сотрудников, организуя им достойные похороны туда, откуда еще никто не возвращался. День за днем не приходится, поэтому он порой радовался, а кое-когда и огорчался. Как известно, без этого жизни не бывает.

Так прошел еще год, а в июле ему вдруг стало плохо. Пять дней подряд его буквально выворачивало наизнашку от одного вида пищи, а потом Федору Терентьевичу полегчало, и он снова вышел на работу. Глаза у него немного запали, мясистые щеки заметно сохлились и пожелтели, но он бодрился и успел с прежним блеском похоронить еще четверых — трех пенсионеров и семидесятидвухлетнего профессора, месяц назад жепившегося на подруге своей внучки от первого брака. Правда, зоркая институтская публика сразу отметила, что на поминках Федор Терентьевич проявлял неправдоподобную воздержанность в еде, по значению этим деталям придавать не стали. Мало ли что, и на старуху бывает проруха.

Через месяц загадочный приступ повторился в более рез-

кой форме, и Федора Терентьевича срочно поместили в больницу. Его исследовали и двадцать дней спустя выписали домой, сообщив в институт о том, что часы Чистосердова сочтены. Болезнь слишком поздно дала о себе знать, оперативное вмешательство на данной ее стадии лишено смысла.

— Жаль мне нашего Федора Терентьевича, — сказал Пятый Четвертому, когда они ехали в машине с опытного завода и свернули на Суворовский проспект. — От всей души жаль. Хотя в чем-то он сущий динозавр, но я с ним по-своему сроднился...

— А что со стариком? — спросил Четвертый, только вчера вернувшийся с полигона и бывший не в курсе дела.

— Ракевич, — поморщился Пятый. — И такой, что ему уже не выкарабкаться!

— Чертовски обидно! Он удивительно славный дядька и всегда был ко мне архидружелюбно настроен. Даже сам не знаю почему. Жаль старика.

— Что ты заладил: старик, старик! — недовольно проворчал Пятый. — Ему и пятидесяти семи лет. Он, если хочешь знать, всего на пять лет старше меня!

— Не придирайся к словам, — спокойно ответил Четвертый. — Где он сейчас?

— Дома. Дней десять как выписали из больницы, наша дежурка его перевозила.

— Послушай, Борис, у меня есть предложение. — Четвертый посмотрел на часы. — Давай проведем Федора Терентьевича?

— А что, мысль правильная, — согласился Пятый и повернулся к водителю: — Сема, ты знаешь, где квартира Чистосердова?

— Ага, — кивнул водитель. — Тут близко, на Пятой Советской, сразу за углом.

— Свози-ка нас туда.

— Обожди, Борис, — остановил его Четвертый. — Сема, давай к моему дому.

— Зачем? — удивился Пятый.

— Не пойдем же мы к нему с пустыми руками. Я заскочу домой и кое-что возьму, а ты зайди в булочную напротив и купи несколько свежих калориек по десять копеек штука. Мать мне рассказывала, что он их просто обожает.

— Договорились.

...— Вы к кому, граждане? — тоненьким голоском спросила миниатюрная старушка с иконописным лицом.

— К Федору Терентьевичу Чистосердову, — сказал Пятый.

— Милости просим, — робко улыбнулась старушка и провела их по длинному темному коридору. — Вот его комната.

— Можно? — постучал в дверь Пятый.

— Войдите.

Комната была маленькая и не очень светлая, как почти все комнаты в старых петербургских домах, окна которых выходят во двор. На узкой металлической койке у стены лицом к свету лежал Федор Терентьевич, по похожий на самого себя. Его щеки и подбородок опали, волосы поредели и сплошь стали седыми, а белки глаз — лимонными, как при болезни Боткина. Когда они вошли в комнату, Федор Терентьевич обернулся, и удивление на его лице сразу же уступило место радости.

— Привет тебе, Федор Терентьевич! — бодро сказал Пятый. — Не помешали?

— Никак нет! — по-прежнему гаркнул он и тут же сморщился от боли. — Такие гости — что праздник.

— Федор Терентьевич, вы, пожалуйста, не беспокойтесь и не вставайте, — поспешно сказал Четвертый.

— Как можно! Раз такие гости дорогие пришли, так хозяин их должен принять как следует быть, елки-моталки! — Федор Терентьевич с видимым усилием сел на кровати и спустил ноги на пол. — Вы присядьте, а я мигом.

Кроме кровати в комнате стояли двухдверный лембельпромовский шкаф, такой же стол, покрытый белой клеенкой, и три стула из тех, что называются венскими. Над кроватью висел пушистый ковер, а над ковром — портрет Сталина в простой деревянной рамке. Других предметов в комнате не было.

Когда Федор Терентьевич падел брюки и присел к столу, они увидели, что против прежнего от него осталась едва ли половина. Только живот был таким же огромным, но почему-то заметно сместился книзу.

— Ну, Федор Терентьевич, докладывай, как дела! — шуточно приказал Пятый. — Как у тебя со здоровьем?

— Дела как сажа бела, — покачал головой Федор Терентьевич. — Пожил на белом свете — и буди!

— Сильно болит? — участливо спросил Пятый.

— Терпимо. Мутит меня, елки-моталки, цельными сутками, а рвать нечем, потому как не ем, бывает, с неделю, а то и боле.

— Аппетита совсем нет?

— Как когда. То от одного запаху мутит, то захочется чего солененького да кисленького. Вчерась проде отпустило малость, так соседка, спасибо ей, рыбки дала да кашку сварганила.

— Насчет кисленького мы позаботились, Федор Терентьевич, — сказал Четвертый, доставая из портфеля две литровые банки, закрытые полиэтиленовыми крышками. — Мамать просила передать вам вареной брусники с антоповкой.

— Вот спасибо мамаше вашей за гостинец, — обрадованно ответил Федор Терентьевич. — Низкий ей поклон передайте.

— И еще кое-что есть для тебя, старый вояка. — Пятый достал из сумки десяток свежих булочек. — Не уйду, пока все не съешь. Воп у тебя пузо какое, туда самосвал войдет.

— Никак нет! — возразил Федор Терентьевич. — Раньше, должно, влез бы, а теперь куда! Вода там копится, оттого и живот большой.

— Ты вот что, Федор Терентьевич, нос свой раньше времени не вешай, — заявил Пятый. — Я, помнишь, как доходил в прошлом году? Думал, что ты по старой дружбе меня в могилу уложишь. А сейчас сижу и с тобой вот разговариваю. И ты, брат, еще попрыгаешь!

— Нет уж, я, видать, свое отпрыгал.

— Знаешь, Федор Терентьевич, так у нас дело не пойдет! — категорически запротестовал Пятый. — Или ты не рад, что мы пришли?

— Рад-то рад, да совестно мне, что гостей дорогих угостить печем.

— Мы и об этом позаботились, — сказал Четвертый и выставил на стол бутылку сухого вина.

— Спасибо вам, Никита Алексеевич, от сердца моего спасибо. — Федор Терентьевич встал, и глаза его подозрительно заблестели. — Уж и не знаю, какие слова-то подобрать...

— Не надо подбирать, Федор Терентьевич, — сказал Четвертый. — Рюмки у вас есть?

— Ясное дело, есть, — ответил Федор Терентьевич и подошел к шкафу. — У меня шпроты имеются, Никита Алексеевич. Не откроете их? Рука у меня что-то нетвердая.

Пока Четвертый открывал банку, Пятый посмотрел по сторонам и подмигнул хозяину:

— Вождя хранишь?

— Не вождя, а Верховного Главнокомандующего!

— Вот ковер у тебя знатный.

— Немецкий ковер. В Германии дружок па прощанье подарил.— Федор Терентьевич поставил на стол три граепных стакапа и открыл бутылку.

— Чур, без мепя,— заявил Пятый, прикрывая стакап ладопью.— Мне пельзя. Вы, братцы, пейте, а со мпой отложим до другого раза.

— Другого раза не будет,— строго сказал Федор Терептьевич.

— Ну бог с тобой. Семь бед — один ответ. И отвечать, между прочим, будешь ты, Федор Терентьевич.

— Я согласный.— Он наклонил голову и аккуратно паполнил стакапы.

— Ну, братцы, будем здоровы! — воскликнул Пятый.— В особенности ты, Федор Терептьевич!

— За мое за здоровье срок вышел пить, елки-моталки,— тихо сказал Федор Терептьевич.— А вот вам обоим желаю доброго здоровья. И еще спасибо вам, ребята. Не за то, что проститься пришли, а за то, что люди вы стоящие... Работал я с вами пелегко, но зато спокойно. Дело вы от каждого всерьез требуете, па даром человека не обидите. А нашему брату в охотку служится, когда к командиру к своему уважение имеешь...

Федор Терептьевич умер в первых числах января, и хоронили его в солпечный морозный день. Гроб с телом был выставлен в фойе клуба, приглушенно звучали траурные мелодии, вдоль стен стояло несколько десятков похожих друг па друга венков из бумажных цветов и проволоки, а раз в пять минут производилась смена почетного караула.

Пятый пришел в клуб за час до выноса. Он не очень-то полагался на педавню припятого исполняющим обязанности начальника АХО отставного капитана второго ранга и решил проверить все лично. В этот день ему предстояло много хлопот и много неожиданностей.

Началось с того, что Пятый, как баран на новые ворота, уставился на столик, стоявший у гроба, где на алых бархатных подушечках лежали два ордена боевого Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степелей, орден Красной Звезды и медали с сильно потрепанными ленточками. «Мать честная,— подумал Пятый,— вот тебе и хозвзвод! Возомнили мы о себе бог знает что, а па поверку ведь ни черта о людях не знаем!»

Минут через сорок пришел директор института, постоял в почетном карауле, внимательно посмотрел на подушечки с наградами Федора Терентьевича и неожиданно остался на похороны. Подобного факта Пятый припомнить не смог. В их институте испокон веков действовал четкий порядок, согласно которому на похоропах администрацию представлял тот заместитель директора, в чьей зоне влияния ранее работал умерший. Напрямую директору подчинялись только плановики и бухгалтерия, но когда там изредка хорошились сотрудники, то вместо директора обычно выступал Шестой. Иногда директор приходил постоять в почетном карауле, да и то лишь при прощании с наиболее близкими ему специалистами, а на похороны не ездил никогда.

— Кто там сидит у гроба?— спросил директор у Пятого.— Родственники Чистосердова?

На двух стульях у изголовья гроба спиной к ним сидела странная пара: простоволосая пожилая женщина с распухшим от слез лицом и щербатый старичок с полуседым мальчишеским чубчиком. Оба были в валенках с высокими самодельными галошами, изготовленными из автомобильных камер. Выглядели они четко по-деревенски, что, впрочем, теперь ничего не значило. Раньше жили, допустим, на Ржевке или в Берпгардовке, но город вырос и проглотил эти поселки целиком и полностью, сделав их жителей полноправными ленинградцами.

— Понятия не имею,— пожал плечами Пятый.

— Узнай и к вечеру сообщи мне,— распорядился директор.— А я подумаю, как бы им что-нибудь подкинуть.

Ровно в тринадцать часов все зашевелилось, на улице грянула духовая музыка, девочки из конструкторского бюро вынесли подушечки с орденами и медалями, за ними на руках поплыл гроб, и весь народ направился к выходу. «Вот ведь черт упрямый,— подумал Пятый, глядя с крыльца на музыкантов,— перемудрил-таки меня Федор Терентьевич!»

Их было шестеро, и все они были сильно искалечены. Играли они из рук вон плохо, знали от силы три-четыре траурные мелодии и выезжали в основном за счет громкости.

«Ты вот что, Федор Терентьевич, этих убогих больше не зови,— как-то года четыре назад заявил Пятый после очередных похорон.— Играть они, скажем прямо, совсем не умеют, а глядишь на них, так педелю сна не будет».— «ИINVALIDЫ, они военные,— возразил ему Федор Терентьевич.— Их попять падо».— «Я не хуже тебя все понимаю! — повысил голос Пятый.— Но звать их больше не зови! Они полу-

чают пенсию по инвалидности — и бог с ними!» — «Пенсии пенсией, а каждый человек должен быть при деле, — не соглашался Федор Терентьевич. — Интерес чтоб к жизни-то имелся, елки-моталки!»

«Стало быть, Федор Терентьевич меня перехитрил, — констатировал Пятый, — а точнее, решил вопрос по-своему. А что, он ведь, пожалуй, был прав. Похороны не филармония, и мастерство вместе с манерой исполнения здесь не главное...» Пятый пожегся, надел на свою лысую голову опдатровую шапку и еще раз глянул на музыкантов. Они важно надували щеки и играли громче обычного, а по лицу одного, слепого, катились слезы. Нелегкая, однако, у них доля, решил Пятый. Попробуй-ка поиграть с полчаса на двадцатиградусном морозе с хорошим ветерком. Инструменты-то металлические, губы в кровь обдерешь!

Когда-то, лет десять назад, Федор Терентьевич по собственной инициативе выработал ритуал, по которому открытый гроб на руках несли до главной проходной, где покойник якобы прощался с институтом. Так же сделали и сегодня, и когда процессия медленно двинулась вдоль сквера, Пятый с удивлением зафиксировал еще одно необычное обстоятельство. Сразу за гробом шли старик со старухой (те самые — в валепках с галошами), а за ними перед громадной толпой сотрудников — директор и пять его заместителей. Не было только Первого и Четвертого, по их и быть не могло. Первый читал лекции в Политехническом институте и считал это святым делом, а Четвертого в октябре повысили в должности и забрали в Москву. «Ну и ну, — подумал Пятый, оглядываясь по сторонам, — ай да Федор Терентьевич! Никогда бы не подумал, что народ так к нему относится. Прямо-таки загадка, над которой на досуге стоит поломать голову...»

На кладбище капитан второго ранга вполголоса доложил Пятому, что могильщики отказались брать деньги.

— Может, ты мало дал? — подозрительно спросил Пятый.

— Как в прошлый раз, Борис Сергеевич, по десятке па брата.

— Страшно... И что они тебе сказали?

— Спасибо, говорят, сегодня не требуется. Один, правда, протянул было руку, но бригадир так на него цыкнул, что тот с ходу ступешался.

— Видно, они знали Федора Терентьевича, — вслух подумал Пятый и пожевал губами.

— Знали, знали, — подтвердил повзвчок. — Хорошего человека хороните, сказали, пусть земля ему будет пухом.

Тогда вроде картина проясняется, решил Пятый, а то сплошь загадки. Можно понять, почему ребята из мехцеха вчера просто так, без отгулов согласились после смены сварить оградку и колонку из нержавеющей стали, по чтобы могильщики работали даром, такого он ни разу в жизни не слышал! Даром — это, пожалуй, сильно сказано, потому что наряд им так и так закроют, по чтобы не взять деньги!

После похорон в столовой, расположенной вне территории института, состоялась поминки по Федору Терентьевичу Чистосердову. По тому же ритуалу они производились по подписке.

— Сколько народу сядет за стол? — спросил Пятый у завпроизводством.

— Вместе с нашими столовскими ровно двести шестьдесят человек! — с гордостью ответил тот.

Обычно все садились за столы рядом со знакомыми, по Пятый, выполняя задание директора, подсел к старичку с чубчиком, устроившемуся рядышком с уплатившими свою долю увечными музыкантами. Диржирировал поминками предместкома Савчук. Пятый произнес первый поминальный тост и разговорился со старичком, оказавшимся колхозником, живущим в Псковской области, недалеко от города Изборска.

— Вы родня Федору Терентьевичу? — прямо спросил Пятый.

— Родня у товарища гвардии младшего лейтенанта по остался, — ответил ему собеседник. — Вышло всю свою родню.

— Кем же вы ему приходитесь? — уточнил Пятый.

— Земляки мы и воевали в одной части, — просто ответил тот. — Командиром он был мне.

Слово за слово, Пятый выяснил, что Федор Терентьевич и его, Пятого, сосед по столу почти всю войну прослужили в дивизионной разведке, где Чистосердов командовал взводом до осени 1944 года, когда его тяжело ранило в Польше. Его группа ночью напоролась на минное поле, потеряла троих и двое суток выбиралась к своим, вынося на руках Федора Терентьевича. По словам старика, пах по бедра Федора Терентьевича были сплошь посечены осколками так, что буквально живого места не оставалось. Но он все-таки выжил, вернулся в часть и прослужил до победы, хотя в разведку, как прежде, уже ходить не мог. А после войны вер-

пулся в свои родные Великие Луки и папел там одни голо-  
вешки. К нему в деревню под Изборск Федор Терентьевич,  
будучи городским жителем, ехать не захотел и подался в  
Ленинград, но каждое лето гостил у них, ловил раков и лю-  
бил собирать грибы, которыми богаты тамошние леса. И в  
первые послевоенные голодные годы, от себя отрывая,  
посылки слал продуктовые и из одежды кое-что подбра-  
сывал.

— Золотой был Федор Терентьевич, настоящий русский  
человек.

Старичок закончил рассказ, и они еще разок помянули  
покойника.

# Пауль Вудеберг



Только сейчас он узнал этого худого обросшего человека, который казался ему знакомым. С первого дня, когда его, Федора, перевели в эту камеру. Наверное, так бы и не догадался, настолько липялая полосатая роба и изможденный вид изменили внешность. Больше всего смущала густая длинная щетина, которая покрывала подбородок и щеки и придавала лицу совершенно другой облик. Мысленно Федор окрестил этого человека Бородой, хотя щетине его было еще далеко до настоящей бороды. Среди заключенных этой камеры были и другие, обросшие не менее, чем наконец-то узнавший им человек, но их он так не называл, особого интереса они у него не вызывали. А Борода тут же привлек внимание. Уже своим поведением — без всякого папибратства и без никакой замкнутости, делающей человека отшельником даже в переполненной камере. Лицо и манеры его говорили о деликатности, которая, в общем-то, за решеткой быстро сводится на нет. Наверное, все же прежде всего потому, что здесь, в Батарее<sup>1</sup>, Борода был первым, кого он, Федор, вроде бы встречал. И не ошибся. Как только услышал от доктора имя бородача, словно прозрел. Ведь он видел его в прошлом году на съезде, куда контр-адмирал достал приглашение. Выяснилось, что контр-адмирал помнил Федора по военному училищу, они встретились в Палдиски на совещании флотских политработников, и контр-адмирал немного поговорил с ним.

<sup>1</sup> Таллинская тюрьма в буржуазное время и в период фашистской оккупации.

Федор помнил все, что было связано со съездом, он ничего не забыл. Ясно запечатлелся продолговатый концертный зал, где проходил съезд, зал, обрамленный колоннадой с балконами, помнил даже линии потолочных обводов и свисавшие люстры, а также декоративные полотнища и лозунги, эстонский текст которых он пытался прочесть, и такие знакомые и близкие портреты вождей, которые смотрели с задней стены на сцену. Торжественный зал поправился ему с первого взгляда, как поправился и своеобразный с округлыми ступенями фасад здания. Все для него было ново и интересно: и зал, и люди, собравшиеся тут. Бывал он на Ленинградской городской конференции: на больших совещаниях, где присутствовало не меньше коммунистов, чем сейчас здесь, в Таллине, он бывал, но не на съезде. Комиссар советовал ему все внимательно запомнить, чтобы потом рассказать коммунистам батальона, но даже без комиссарского совета он бы ничего не упустил, настолько был всем захвачен. С любопытством рассматривал эстонских коммунистов, особенно действовавших в подполье большевиков, у многих из них, как говорили, было за спиной по десять — пятнадцать лет каторги. Он еще подумал: а хватило бы у него, Федора, сил выдержать такое? Теперь его самого сунули за те самые толстые каменные стены, за которыми долгие годы томилась эстонские коммунисты, и теперь будет ясно, есть ли у него стойкость или он сломится. Ему вспомнилось, как в одном из перерывов контр-адмирал представил его Лауристину и Арбону<sup>1</sup>, он обменялся с ними всего несколькими словами, адмирал все время говорил сам. Лауристин и Арбон вовсе не казались пожилыми, хотя оба были коммунистами с долгим подпольным стажем, да и по годам оставались еще нестарыми, около сорока или чуть больше. Он познакомился еще с секретарем горкома Палдиски, резко выступившим против Бороды, с январским делегатом, который воевал в Испании и у которого была короткая фамилия, с редактором газеты, чью фамилию он никак не мог выговорить, по имя Антон было вполне доступно. Редактор защищал бородача, и это вспомнилось Федору. Так же, как собственный выкрик, который сейчас больно жег. На съезде он общался больше с такими же, как сам, военными, большинство из них по годам и по званию были старше его. В памяти

<sup>1</sup> Руководители эстонских коммунистов.

всплывали новые и новые детали, словно все происходило только вчера, а не год тому назад.

Этот исхудалый обросший мужичка, которого он благодаря доктору наконец узнал, четко запечатлелся в памяти. Тогда Борода был тщательно выбрит и одет в костюм, который ладно сидел на нем. И выглядел моложе большинства избранных в президиум, был совсем молодым человеком. Во всяком случае, неамного старше его, Федора, которому только что исполнилось двадцать семь. Может, он растит бороду затем, чтобы не узнали? Мысль эта у Федора тут же погасла, он понял, что бородача здесь знали. Почему же он тогда не брился? Обросли тут все, каждый день бриться не удавалось, в лучшем случае — раз в неделю, в основном в банный день, один парикмахер приходил из города, другой был заключенным. Они особо не заботились, чтобы наводить бритвы, да и легкостью руки по отличались. К тому же их подгоняли. То ли Бороде не нравились здешние мастера, то ли он перестал следить за собой... Нет, человеком, который стал безразличным ко всему, поддавался насилию, он не выглядел. Вид его подтверждал, что он вынес тяжелые допросы, — видимо, у него пытались добыть разные сведения. Избиения могут изувечить, но еще тяжелее, если ни ночью ни днем не дают покоя, если неделями не позволяют выспаться. И все же бородач не казался сломленным, он сохранил достоинство, силу воли, стойкость.

В облике и поведении его было нечто, вызывающее расположение. Высокий открытый лоб, который сейчас был в ссадинах, придавал ему вид ученого или художника. Он и был интеллигентом. Когда Федор еще только пытался вспомнить, где он встречался с этим человеком, он подумал, что, судя по рукам, тот не занимался тяжелой физической работой, у него были руки учителя или писателя. Определил верно. Учителем Борода не был, но читал лекции и впрямь занимался, и даже за границей, вроде бы в Швейцария. То, что за границей, показалось тогда, год назад, Федору странным. Это вспомнилось и сейчас, но больше не задевало. Сейчас Борода казался ему человеком прямым, который честно прошел свою дорогу. На съезде он выглядел очень воодушевленным и энергичным, тюрьма не смогла сломить его живую натуру. Хотя бородачу пришлось, наверное, больше всех в этой камере перетерпеть на допросах, он не киснул в своем углу, а проявлял интерес ко всему, что происходило вокруг, к товарищам,

которые, подобно ему, были посажены за эти сырые каменные стены. В нем не было притворства, уже по натуре своей он был человеческим отзывчивым и страдающим чужой боли. Собеседника слушал внимательно, отзывался, когда к нему обращались, не пытался попусту мудрствовать, больше того — сетовать на судьбу. В нем ощущалось внутреннее напряжение, дух сопротивления в этом физически и душевно изнуренном человеке не угас. Он крепко держал себя в руках. Он производил впечатление сильного человека, которое во многом подкрепляли его глаза, взгляд их не был ни притупленным, ни блуждающим, он все замечал и словно бы провидел. Взгляд несгибаемого в своих убеждениях человека, сказал себе Федор.

В этой камере у Федора воцарились близкие контакты с несколькими заключенными. Двое из них были русские. Один явно местный, потому что свободно владел эстонским, другой языка не знал, как и он сам. Нет, он, Федор, совершенно незнаемкой не был, он уже понимал многие слова, умел спросить по-эстонски дорогу и хлеба, сказать «спасибо» и даже спросить, нет ли поблизости немцев или самозащитчиков. «Не бойтесь меня, я беглец. Есть тут немцы?» — эти фразы он заучил с учителем Юханом. И еще: «Куда ведет эта дорога?» Названия городов и крупных поселков, а также поселенный он заучил из школьного атласа у того же Юхана. Тапа, Хальяла, Раквере, Кадрипа, Люгепузе, Кивилли, Йыхви, Сонда, Вайваря, Йисаку, Нарва, Васькарва и еще десятки других названий он настолько вбил себе в голову, что, очутись где-нибудь в Вирумаа, мог бы тут же сориентироваться.

Дольше всего он водил разговоры со старым русским, Макаром Кузьмичом, родом из-под Саратова. Макар Кузьмич служил в погранвойсках, их взвод оказался отрезанным от своих, и они продолжали действовать в Ляянемаа, в районе Мярмаа — Ристи, среди болот и лесов. Макар Кузьмич лишь в этом году, в самом начале весны, попал раненым в плен, у него старались выпытать, сколько их было, откуда они достают еду и боеприпасы, с кем из местных жителей связаны и всякое другое, но он ничего не выдал. Макар Кузьмич харкал кровью — полнейшие прикладами ломали ему ребра; его держали в сыром подвале, где было по щиколотку воды, он вынужден был спать, сидя на ступеньках лестницы, и промерз до костей. Рапа на ноге гноилась. Макар Кузьмич первым завел с ним разговор и спросил, откуда он родом. Федор ничего не тайл.

Макар Кузьмич быстро устал и снова привалился к стене, где обретался целыми днями. Но вера в победу продолжала жить в угасающем теле. Макар Кузьмич знал о поражении немцев под Москвой, что придало ему новые силы и вдохновило на побег; он выпрыгнул из вагона, но был пойман.

С Павлом Осиповичем он обменялся всего несколькими фразами. Что-то в нем не понравилось ему. Павел был живее других, любил расхаживать, но казался слишком уж беззаботным. Можно притвориться беспечным, чтобы скрыть свой смертный страх, человек твердой внутренней силы может подняться над страхом, однако Федор не относил Павла ни к какой из этих категорий. Он избегал сближения с ним; тот, видимо, чувствовал это и не прибавлял на дружбу. Однажды ночью Павла и еще двух заключенных вызвали с вещами, это означало, что их повезут на расстрел. И Федору было теперь стыдно подозрений, направленных против Павла.

Из эстонцев к нему обратился высокий костлявый мужичка, Густав Юрьевич, который оказался врачом. Сам же Федор был слишком убит и удручен, да и среди заключенных вроде бы не находилось словоохотливых людей. Большинство оставались наедине с собой или же тихо, вдвоем-троем, переговаривались. В Красных казармах было иначе. Там редко устанавливалась полная тишина, там спорили, кляли, ругали, обменивались горестями, утешали друг друга и не скрывали слез, когда они наворачивались от отчаяния или злости, там рассказывали о своей жизни, говорили о своих женах, детях и родителях, мечтали, поддерживали юмором настроение. Иногда пели, все вместе, пели так, что это доводило охранников до белого каления. Все было куда оптимистичнее, голод, болезни и грубость охранников еще не сломали людей. Хотя и там смерть могла настичь любого не задумываясь, нажимая на спусковой крючок; тиф сводил в могилу крепчайших мужиков, ломал их, как ломает буря раскидистые деревья. Но там жили все же с открытой душой, здесь же всякий словно был в своей скорлупе. Других таких, как Борода, тут, кроме врача, и не было.

Федор решил утром сразу поговорить с бородачом. Он чувствовал, что должен это сделать. Сейчас, когда большинство заключенных улеглось уже на покой, а другие искала, где пристроиться, он бы помешал людям. Бородач спал на варах, где умещалось четыре человека; оставшие-

ся должны были искать себе место на полу, и каждую ночь находили, все восемнадцать несчастных, которые были втиснуты в эту четырехместную камеру. Желание поговорить с человеком, которого он про себя окрестил Бородой, было столь сильным, что Федор готов был уже проложиться среди лежавших людей себе дорогу, по удержался. Ведь, поступив так, он тут же обратит внимание всей камеры. И на бородача это произведет странное впечатление, из разговора может ничего не выйти. А этого не должно было случиться.

Федора тут никто не знал. Исключая Макара Кузьмича, от него он не скрыл то, что он родом из Нижнего Новгорода, теперь Горького. И от следователей, а также полицейских в Таллине, Нарве, Тапа и в Клингсеппе, и от гестаповцев, кто бы его ни допрашивал, он не скрывал своего имени и места рождения. Лишь одно утаил, о чем сейчас сожалел, — то, что был политруком батальона морской пехоты. Следователю сказал, что он электрик, которого послали работать на советские базы. Теперь ему казалось, что он поступил неправильно. Сыграл труса. Разве не скрыл он, что является кадровым военным, политработником, — просто, чтобы спасти свою шкуру? Возле реки Луги, где он при облаве угодил в руки немцев и скрыл свою профессию, это казалось ему единственно правильным. Тогда он надеялся вырваться, был в гражданской одежде и паивно полагал, что удастся замести следы. Детская уловка, в которую никто не поверил. Теперь он сожалел о своем поступке. Решил, что если еще раз вызовут на допрос, то признается, кто он на самом деле.

Федор сказал себе, что такое признание для него не имеет уже никакого значения. Главное, чтобы при расстреле вести себя мужественно, чтобы выдержат, пройти с поднятой головой свои последние шаги и выстоять свой последний миг. Он знал, что его ожидает. Уже не сомневался, что через день или два, в лучшем случае — через неделю или две его поведут на расстрел. Или всадят в тюрьму пулю в затылок, для убийного дела тут, говорят, есть свое помещение.

Вертелись в голове и планы побега. Долгие допросы, которые обычно закапчивались побоями, не смогли его окончательно сломить. Хотя знал, что выхода у него больше нет, мысли все равно текли своим чередом. Да, можно бежать и с места расстрела, в любом случае он должен попытаться: или с места расстрела, или по дороге с машины,



или еще раньше. Только не уйти ему далеко. Пули и сабаки тут же настигнут его, самое большее — через сто шагов. Если и их-то успеет пробежать. Если посчастливилось и повезут в открытом грузовике, тогда возможность побега увеличится; даже со связанными руками, неожиданно набросившись на охранника, человек может выпрыгнуть за борт и исчезнуть в лесу, если лес или кустарник начнется прямо у дороги. На открытом месте нет смысла прыгать, там сразу возьмут на мушку. Да и лес еще не спасение, обязательно будут преследовать, если вообще добьешься до леса: когда прыгаешь, можно сломать ногу. Сергей — бесстрашная душа, прыгнул из вагона и сломал бедро. Можно стукнуться головой о землю и потерять сознание. Со связанными руками, особенно если они за спиной, трудно так, чтобы ничего не повредить, но и позволить безропотной овечкой вести себя на расстрел тоже не годится. Если не спасется он в суматохе, которая будет вызвана его попыткой побега, может спастись кто-нибудь другой. Даже если никто не спасется, он погибнет со спокойной душой, с сознанием, что все, что можно было и что смог, он сделал.

В голове его кружились самые безумные планы. При этом он прекрасно создавал, что это — ребячьи мысли, что немцы любят порядок и систему и все продумали, они уничтожают людей строго по инструкции, а инструкции составлены так, чтобы исключить возможность побега. Другое дело, если солдат предварительно напоят: по слухам, это иногда делается. Хотя большей частью водку дают после того, как закопают яму. Но бывает, что и раньше. Рука пьяного охранника уже не такая твердая, тогда может остаться больше надежды. Надо быть готовым к самому плохому, считаться с обстоятельствами, когда руки связаны за спиной, охранники трезвые, а солдаты злы на то, что их опять выгнали ночью, и каждый готов двинуть тебе в лицо прикладом, если что не понравится, или тут же нажать на спусковой крючок. К тому же фашисты поднаторели в деле, каждую ночь везут из тюрьмы людей на расстрел, каждую ночь. Это не случайные солдатки, что против воли, по приказу, посланы исполнять разбойную работу, а вытрепированные убийцы, из спецкоманды, настоящие душегубы. Они стараются изо всех сил, чтобы ими были довольны, чтобы не погнали на фронт, где не только они стреляют, но стреляют и по ним.

Мысли не лошади, которых ты можешь привязать к

коповязи, мысли текут своей чередой. В последнее время они никак не хотели умиряться; как только не старался он внушить себе, что глупо мечтать о побеге! Единственное, что может он еще сделать, — это стойко вести себя на своем конечном пути. Начни он вырываться в машине или попытайся потом кинуться в кусты, он покажется человеком, потерявшим от смертного страха голову и достойным лишь презрения. У жизни своя логика: ворюшка пусть смазывает пятки от поимщиков, а боец должен оставаться бойцом до последней секунды. Тысячу раз честнее поддержать на краю могилы товарища, чтобы он стоял твердо и смело смотрел в лицо палачам, твердость духа — единственное, что можно и пужно сейчас противопоставить врагу. Их стойкость, верность своим убеждениям подействует на убийц, будь они там трезвые или палакавшися пдрыг, немцы или их астопские подручные.

Вначале Федор Тимофеевич думал, что его положение не самое безнадежное. Показалось, что гестаповцы поверили его словам, как поверили ему первые допросчики в полицейском отделении города Тапа. Он даже надеялся, что его отпустят, но оказался довольно напвым. Он думал так: если немцы посчитают его рабочим, то с какой стати будут сажать в тюрьму или отправлять куда-то в концлагерь. Не всех ведь рабочих числят опасными, чтобы дергать их за решеткой или колючей проволокой! В том числе и тех, кто родом из России. Кто же станет тогда работать в шахтах и на полях. К сожалению, ошбся! Если подумать, то в его словах сомневались уже в Тапа, пначе бы его не отправили в Таллин. Хотя слова должны были казаться логичными, он все время твердил следователям одно и то же. Что раньше жил и работал в Горьком, был электриком. И это было отчасти правдой. В Горьком он действительно учился и работал, до того как с направлением горкома комсомола его послали в военное училище. И в алетротехнике разбирался спосво, на Красном Сормове был подручным у электрика. Еще он говорил, что остался в Эстонии потому, что пароход, на котором увозили рабочих из Сааремаа, потопили, назывался пароход «Маре» — небольшое суденышко. Название парохода он сказал не паобум, такое судно и в самом деле потопили в Финском заливе, о гибели этого, пабитого ранеными, судна говорили в штабе. Он по счастливой случайности спасся с тонущего парохода, по счастливой, потому что был ранен и пришлось больше суток мокнуть в воде, прежде чем волны прибили к бе-



регу доску, за которую он держался. Когда бомба угодила в пароход, он находился на палубе, и его сильно ударило по голове, чем — не знает, потому что потерял сознание; но в воде очнулся — настолько, что смог ухватиться за какую-то доску. Слова Федора во многом сходились с действительностью, он и в самом деле с трудом спасся с уходящего под воду транспорта, который наскочил на мину, мина рванула по правому борту, прямо у машинного отделения, и, казалось, переломило надвое посудину. И по голове его ударило чем-то. Катастрофа произошла ночью, спасательные лодки спустить не успели, большинство матросов, раненых и солдат из батальона утонуло. Верно было и то, что в море у него под рукой оказалась доска, вернее — сколоченные доски, которые вполне могли быть с палубной надстройки их транспорта или ранее потопленного парохода: осенью в Финском заливе гибло много судов. Это и спасло его. До сих пор он не мог объяснить себе, что дало ему силы держаться за доску, рана на голове была довольно глубокой, и в холодной воде суставы постепенно когнели. На берегу он вскоре потерял сознание. Не на прибрежной гальке, там он поднялся на ноги, а в сарае, куда добрался в кромешной темноте. Так что в его словах было много правды. Соленая вода очистила рану, волны прибили к берегу, все это было правдой. К жизни его вернулся старик, который выглядел рыбаком, а на самом деле обучал двадцатка лет в рыбацком поселке в четырехклассной школе детей чтению и арифметике, хотя у самого, как сетовал он, не было никакого педагогического образования. Его, Федора, обнаружил в своем сетевом сарае учитель Юхан — так вся деревня звала своего школьного наставника. Фамилия его осталась Федору неизвестной. В сарае Юхан хранил свои сети и другие орудия лова, Юхан любил ходить в море, был одновременно учителем и рыбаком. Он, Федор, был без сознания, когда в дверях сарая появился Юхан и обнаружил его, чужака, лежащим на старых сетях. Юхан привел его в чувство, лечил, кормил и раздобыл одежду. Старик ни о чем не спрашивал, явно понимал, что это спасшийся при кораблекрушении красный моряк — на нем были черные матросские брюки и полосатая тельняшка. Учитель Юхан и спас его.

Конечно, он не сказал допросчикам об учителе Юхане. Как не сказал и об астонке, которая набросила ему на плечи теплую стеганую куртку, в которой его арестовали. То ли его посчитали шпионом, диверсантом, членом

какой-нибудь действующей в подполье группы или всеми разом. Не помогло признание, что он находился в лагере военнопленных в Нарве и бежал с поезда,— либо они не проверяли, либо результаты проверки не изменили мнения здешних следователей. Еще в Нарве, нет, не в Нарве, а в Кингисеппе, где его несколько раз основательно допросили и всякий раз избивали — в Нарвском лагере его уже не допрашивали, — он объяснял немцам, что идет из Эстонии, куда его в конце тридцать девятого года послали на работы. В Эстонии оставаться он не желает, русский должен жить среди своих, русских людей. Он надеялся и сейчас еще надеется попасть к себе на родину в Нижний Новгород, что означает в Горький. «Значит, вы собирались идти через фронт?» — спросили у него. В Кингисеппе он ответил, что не через фронт, а за фронт. После этих слов допросчики посмотрели на него как на псевданскую диковину. Теперь, в Таллине, когда он опять сказал это, его слова привели за насмешку. Насмешкой они и были, и в тот раз и сейчас, но в Кингисеппе насмешки его не поняли. Не поняли и не поверили, что он шел из Эстонии. Его сочли оставленным в немецком тылу диверсантом. Несколько дней назад неподалеку от Кингисеппа было совершено нападение на колонну немецких военных грузовиков, его признали за одного из нападавших. И теперь не верили ему, хотя он говорил все время одно и то же: и до, и после недавних побоев.

Здесь, в Батаре, его уже не допрашивали. Допрашивали в гестапо — и немцы, и эстонцы. Он надеялся, что тюрьма лишь промежуточная остановка, что отсюда его отправят в какой-нибудь концлагерь, на каторжные работы в шахты или на торфяные болота, где могла представиться возможность побега, по этому не случилось. Его, правда, переместили из большей камеры в меньшую, которую заключенные считали одной из камер смертников. До того как он попал в эту камеру, он надеялся, что самое плохое позади, в тюрьме его больше не допрашивали и не били, теперь же он понял, что слишком близко подошел к самому плохому. Он проклял себя и свою дурость, что пристал к обманщикам, что посчитал жалких бродяг, воров и жуликов, павших гестаповцами, за партизан. И за то, что после побега с поезда тратил бесполезно дни, слишком много внимания уделял своему желудку. Не свою шкуру он должен был беречь, а, не теряя ни дня, пробираться на восток. За Чудским озером у него хватало бы времени строить планы,

там побольше леса, пореже селеппя, уж там бы он пошел людей, которые направил бы его к партизанам. Тут, в Эстонии, он не смог найти партизан. Или здесь их и не было? Мало ли что он оставил свои силы в Красных казармах, что из того, что ослабел и уже не смог бы за ночь пройти двадцать—тридцать километров, он это делал, уйдя от учителя Юхана. Хоть ползком, по, по теряя по часа, он должен был спешить на восток. А он по-глупому трапил дни, думал только о том, где добыть кусок хлеба или потеплее одесжду,— он бежал с поезда в топких арестантских лохмотьях, пусть винит теперь лишь себя, что выпущен здесь, в камере смертников, дожидаться своего конца. Во всем виноват сам. Теперь у него и впрямь не осталось ничего другого, кроме как ждать того, что будет. Смешно думать сейчас о побеге, когда он уже не в силах оттолкнуться в сторону охранников, выпрыгнуть из мчавшегося грузовика и скрыться бегом в лесу,— нет ничего глупее.

Вообще-то разве его расстреляют? Слухи, которые ходят об этой камере, могут быть беспочвенными. Из каждой камеры людей уводят на расстрел и из каждой камеры заключенных отправляют в другие места, в лагеря на работу. Даже из тюрьмы водят людей работать на волю. Почему же он не может оказаться в числе их?

Федор понимал, что нервничает, что лишился присутствия духа. Ибо с какой стати он все думает о расстреле, почему замышляет планы побега, ведь ясно, что никаких возможностей побега не возникнет и что он уже никакой не беглец. Естественно, каждую ночь его могут вызвать, но он не должен терять самообладания. Он должен держать себя в руках, так же как Бородач, который явно понимает, что его ждет впереди.

Камера смертников.

Откуда он это взял? Кто сказал? Это выдумал его собственный перенапряженный мозг. До того как попал сюда, он ничего не слышал о подобной камере. Но знал, что из каждой камеры могли увозить людей на расстрел. Так говорил успешные пассивные заключенные. На допросы вызывали днем, иногда и ночью. Но те, кого уводили на допрос, возвращались, кто шел сам, кого волокли, но они возвращались. То же, кого увозили на расстрел, назад не приходили, да и вызывали их вместе с вещами. Отсюда почти каждую ночь кого-нибудь выкликали, и всегда с вещами, днем же их оставляли в покое. Из этой камеры никого не выводили на работы. Выходит, у него нет оснований рисо-

вать себе розовое будущее, он и впрямь находится в камере смертников.

Нужно быть внутренне очень сплывшим человеком, чтобы спокойно идти на смерть. Таким, как Борода. Почему-то он был убежден, что этот человек способен на такое. Спор, который возник у Бороды с доктором, укрепил его убеждения. Федор знал теперь и о том, что врача, который пытался облегчить страдания Макара Кузьмича, обвиняли в связи с действующими в подполье коммунистами. Он будто бы сделал перевязку раненому большевику, к которому его позвали и которого он не выдал. Всех слов Федор не разобрал, спорили по-эстонски. Федору казалось, что доктор в чем-то обвиняет бородача. Тон у доктора был насмешливый, саркастический. Борода голоса не повышал, отвечал спокойно, и это его спокойствие раздражало доктора, голос становился все громче. Как жаль, что в предыдущую ночь увезли на расстрел Павла! От него бы Федор узнал все, о чем они спорили. Оба — и казавшийся таким знакомым бородач, и длинный горбившийся доктор, который был в этой камере явно старше всех по возрасту, — выглядели серьезными и честными людьми, которые разгневали чем-то фашистов, иначе бы они тут не пребывали. Теперь, когда он знал, кем был Борода, он мог сказать, что не ошибся. Тогда он еще не знал всего. Ни Бороды, ни доктора. К своему удивлению, он вдруг понял, что доктор упрекает бородача в том, что тот верующий. Оба не раз повторили слово «религия», которое было ему знакомо, и благодаря этому слову он начал глубже пощмать суть спора. У него возник вопрос: уж не пастор ли уравновешенный, с открытым лбом и задумчивыми ясными глазами, худой обросший арестант? Потом, когда он обменялся несколькими словами с доктором, который перевязывал незаживающую рану Макара Кузьмича, он понял, что доктор назвал бородача верующим в другом смысле. Доктор сказал ему с Макаром, что и они верующие, верят в марксизм и ленинизм так же, как христиане в своего единого бога, а буддисты — в Будду. Макар ответил, что в такое суровое и безжалостное время, как сейчас, нельзя жить без веры в будущее. Он верит в будущее, в будущее свободных людей, хоть сам он калека, харкает кровью, рана гниет и хотя его не сегодня завтра расстреляют. «Да и вы, Густав Юрьевич, верите, иначе бы не стали перевязывать мою погу и не разделили бы нашу судьбу». На это доктор промолчал, хотя только что назвал себя атеистом, без всякого бога, ни старой, ни новой веры, цеплящим лишь од-

по достоинство — человеческий разум, который может все или не может ничего, как стремится в последнее время утверждать история.

Федор не вмешивался в разговор доктора с Макаром Кузьмичом, он только жадно слушал и думал, что Густав Юрьевич ищет опору своей душе, что не хочет перед смертью разувериться в себе. Но кто этот человек, с которым доктор принимался спорить? От доктора он и узнал в тот вечер, кто такой Борода.

Вначале он чуждался эстонцев. Они оставались для него далекими, он не умел с ними сблизиться. В военном училище подружился с Вальтером Освальдовичем Соловьевым, который был эстонцем, хотя носил русскую фамилию. Новую фамилию он взял потому, что прежняя — *Oovik*<sup>1</sup> — всегда вызывала у курсантов смех. Вальтер Освальдович — прекрасный товарищ, точный, твердого слова, уравновешенный парень, великолепно знал материальную часть оружия и был в училище чемпионом по борьбе. С Вальтером Освальдовичем они сошлись сразу. Вальтер хорошо говорил по-русски; когда писал, ошибку делал меньше большинства курсантов. Однако в Эстонии он, Федор, все время попадал на людей, которые или не знали русского, или едва говорили на нем. Среди бойцов Хийюмааского истребительного батальона, вместе с которыми они отбросили вражеский десант, был всего один парень, свободно говоривший по-русски. В буржуазное время в большинстве школ русский не изучали, во всяком случае в Хийюмаа, — так ему говорили. Пожилые рыбаки, которые при царе ходили в школу или служили в царской армии, с русским кое-как справлялись, с ним он иногда разговаривал, чтобы лучше понять местных жителей, онпил с хийюмаасцами пиво, но ни с одним так близко не сошелся, как с учителем Юханом, который спас его.

У него, у Федора, поднялась температура, не от раны, рана хорошо затянулась, а от простуды. Холодное осеннее море одело его болезнью. В доме учителя пришлось порядком побороться с воспалением легких. У Юхана он пробыл три недели: днем — в кладовке, а ночью — в маленькой задней камерке. Учитель Юхан жил один, жена умерла в эту весну от рака груди. Дети раскиданы по свету. Старший сын перед войной плавал на каком-то голландском судне, дочка жила в Тарту, была замужем за аптекарем, млад-

<sup>1</sup> По-эстонски — соловей.

шего сына весной тридцать девятого года влезл на действительную, перед войной служил в Красной Армии, в Выруском полку, в начале войны прислал откуда-то из-под Пскова письмо, оно было последней весточкой от младшего сына. К учителю навевывались не часто. Два раза он, Федор, крепко переволновался, когда в гости к Юхану приходил местный начальник. Он, казалось, хорошо друг друга знали, могли даже быть друзьями. В таких случаях он был напряжен и пасторожен, держал под рукой тяжелый безмен, чтобы двинуть, если кто ворвется. Еще и сейчас Федору было неловко за свои тогдашние сомнения. Учитель Юхан складно говорил по-русски, от него он узнавал все новости. Особо интересовался положением на фронте. Эстонские газеты — и местные, которые печатались в Раквере, и таллинские — писали одно и то же, что Красная Армия разбита и падение Москвы и Ленинграда — вопрос считанных дней, Гитлер обещает на Ноябрьские праздники устроить в Москве большой победный парад. Он, Федор, не хотел верить газетам, был убежден, что немцев вот-вот остановят и погонят назад. Говорил старик и о том, что в Эстонии арестованы и расстреляны тысячи людей. С коммунистами и комсомольцами долгого разговора не ведут, их ставят сразу к стенке, будь то эстонец, русский или еврей. Всех евреев забирают, усердно охотятся на активистов новой власти и бойцов истребительных батальонов. Наиболее ревностными преследователями активистов являются сами эстонцы, именно те, у которых были личные счеты с людьми, выдвинувшимися при новой власти в сороковом году. Горькие дни сейчас у новоземельцев. В соседней волости, когда еще только приближались бои, застрелили двух новоземельцев, единственный новоземелец в их деревне вынужден сейчас гнуть даром спину на хозяина, чтобы тот не таил на него зла. Он с учителем обсуждали, как ему, Федору, дальше быть. Юхан раздобыл брюки, заштопанный на локтях толстый шерстяной свитер и куртку из дмотканой материи, а также штопаное, но чистое нижнее белье и носки. Видно, все это принадлежало его сынам, которые были рослыми плечистыми мужиками. В новой одежде он выглядел настоящим деревенским жителем, ничем не бросался в глаза среди местных людей. Так уверял и старик Юхан, который сказал, что в таком виде можно и на люди появиться, кто там сразу наскочит на него? А попадет впросак, то есть окажется в положении, когда станут проверять документы, тогда уж без аусвайса не выкрутиться. Юхан объ-

яснил, что аусвайс — это удостоверенно личность, которое выдается в полиции, может, и ему дадут, если попробоватъ. Вот если бы он явился в Раквере в полицию и сказал, что он строительный рабочий из России, их, как известно, еще осенью тридцать девятого года привозили в Эстоню, и они работали на базах, документы же потерялись... Что с ним сделают, в худшем случае сунут за решетку, это, конечно, будет провалом. Старый Юхан тут же отверг свое предложение. Такой, как он, молодой русский мужик, уже по выправке видно, что военный, вызовет в полиции подозрение, концлагерь ему как пить дать обеспечен. Из-за таких рассуждений Юхан вдруг показался ему провокатором, гнусным иудой, который кормит, лечит и ставит на ноги, в это только затем, чтобы ты самолучно пошел к врагу. Сейчас он иногда думал, что следовало все же раздобыть аусвайс. Может, его поместили бы в какой-нибудь концлагерь, возможно, его и не стали бы задерживать, вдруг ему даже поверили бы. Теперь уже не верил. Сперва, правда, сделали вид, будто поверили, но тут же спросили, почему же он тогда сам не пошел в полицию, чтобы добыть нужные документы, которые должны быть у каждого порядочного гражданина. Выпыtywали и допытывались, где он эти семь месяцев находился — схватили его лишь в начале апреля, — у кого жил и что делал. Тогда, в октябре прошлого года, он представлял себе все совершенно по-другому. В голове не укладывалось, что ему придется ждать окончания войны в какой-нибудь эстонской глухомани, озабоченность лишь собственным пропитанием казалась ему предательством, дезертирством. Он должен был любой ценой пробраться через фронт к своим, присоединиться к какому-нибудь партизанскому отряду или действующей подпольной группе. О последних учитель Юхан ничего не знал. В сентябре, правда, остатки красноармейской роты, по ту сторону Раквере, всполошили немцев и пытались прорваться к Нарве, в здешних же краях тайком пробираются к финнам, кое-кто бежит через залив от нацистов, из Финляндии сюда везут контрабанду. На побережье всегда занимались контрабандой, ему, Юхану, может, удалось бы организовать дело так, чтобы его, потерпевшего кораблекрушение, переправить к финнам. Прибрежные жители обычно помогают тем, кто потерпел кораблекрушение. О Финляндии Федор и слушать не хотел. Финляндия стала союзницей немцев, она не лучше гитлеровской Германии, там его также ждет решетка или пуля.

Федор Тимофеевич решился в одиночку и на свой страх и риск попытать счастья. Учитель Юхан отвез его на несколько десятков километров дальше. Из деревни они отправились порознь. Он по совету старика рано утром, в темноте, вышел из деревни и дожидался учителя в лесу. В телеге они сидели бок о бок, перекрывав ноги через край, будто два истинных соляпиша. Юхан дал ему на дорогу хлеба, сушеной рыбы и шника и подарил большой складной нож. Сейчас у него больно сжимало сердце, когда он думал обо всем этом.

Учитель Юхан человек особенный, и рыбак, и распространитель духовной пищи, в чем-то, может, странный, но с большим, сочувствующим беде золотым сердцем.

Вначале ему везло.

Хотя он заблудился, сделал большой крюк, но за три ночи добрался до реки Нарвы, шел только в темноте, четвертая часть ушла на то, чтобы отыскать лодку. Под утро он наконец нашел без весел челнок, который был затасан в кусты и прикреплен цепью к дереву. Ножом Юхана он перерезал довольно толстую ольху, выстругал себе из той части, что потоньше, весло. Переправа на другой берег потребовала от него серьезного напряжения, река оказалась шире, чем виделась в темноте, и течение сильнее, чем он предполагал. К счастью, он вырос на Волге и умел править лодкой на быстрине. На противоположном берегу он вытащил лодку из воды, чтобы течение не унесло, и заторопился уйти до большого света как можно дальше от реки.

На следующий день счастье оставило его. Он угодил в деревню, которую рано утром окружили немцы. Свал тяжелым сном и проснулся, лишь когда фрицы с автоматами стояли уже в дверях. Его приняли за одного из тех, кто ночью обстреливал немецкие военные грузовики и убил десяток фрицев. Нещадно избили, немцы заспорили между собой, вздернуть его на месте на суку или отвезти в Кингисепп. Видимо, надеялись что-то выпытать, не то бы его прикончили сразу. В Кингисеппе ему припомнился совет учителя Юхана, и он сказал, что идет из Эстоуни, куда его в конце тридцати девятого года послали на работу. В Кингисеппе продержали две недели, каждый день допрашивали и дважды пазивали. Ничего другого он не говорил. Твердил одно и то же. Из Кингисеппа его отправили в Нарву, где поместили в концлагерь, который назывался Красными казармами, видно, потому, что их содержали в больших, построенных из кирпича зданиях, где люди мерли как мухи. Вместе

с тремя мужиками, один из которых был командиром стрелковой роты, второй — артиллеристом-наводчиком, а третий — сапером, они решили бежать; к сожалению, командир роты, исключительно решительный лейтенант Петр Федорович умер от тифа. Артиллериста охранники ни за что ни про что избили до полусмерти, они питали ненависть к этому потешному белорусу, который знал немного немецкий и осмеливался их поддевать. Бежать ему удалось с сапером через два месяца, когда примерно сотню заключенных неожиданно построили, заставили сменить свою одежду на противно пахнущее полосатое арестантское тряпье, под охраной отвели на станцию и затолкали в товарный вагон. Они выпрыгнули на полном ходу. Сапер Сергей Георгиевич, тщедушный парнишка лет двадцати, с большими темными горящими глазами, чью энергию не могли сломить ни голод, ни изнуряющие приступы кашля, вдруг обнаружил, что дверь вагона отодвигается настолько, что можно хоть с трудом, но боком пролезть. Не та дверь, которая была раскрыта, когда их загоняли в вагон, а противоположная. То ли она была небрежно задвинута или намеренно оставлена так, этого он и сейчас бы не сказал. Сергей Георгиевич, чье странно задубевшее тело с упершейся в дерево головой частенько вставало у него перед глазами, даже теперь, даже здесь, в тюрьме, где он сам дожидался смерти, страстно заверял, что дело тут в саботаже против оккупантов. Несчастный видел, хотел видеть повсюду акты саботажа, этим он подкреплял свой оптимизм. Они выпрыгнули вдвоем, других то ли ошеломила представившаяся возможность побега, или они побоялись прыгать — скорость была большая, щель между дверью узкой, — или потеряли от голода, холода и пережитых мучений способность действовать и надеяться на будущее — в Красных казармах люди долго не выдерживали, они оседали, подобно весеннему снегу за оконными решетками. Сергей при падении сломал себе бедро и повесился ночью на сосне. На него, Федора, это ужасно подействовало, он был подавлен случившимся. После того как они бежали с поезда, он несколько часов тащил Сергея, они старались уйти как можно дальше от железной дороги. Кусая губы и опираясь на него, Сергей вначале бодро скакал на здоровой ноге, но потом устал, хотя и подговял: мол, идем, идем, идем. Наконец они зарылись в стог сена, чтобы согреться: ночи были холодные. В сене, прижавшись друг к другу, им и впрямь стало теплее. Сергей говорил, что за ними тоже выпрыгнули, правда чуть позже, но выпрыг-

цулл, он это видел, видел своими глазами, прежде чем посадился за поворотом. Он, Федор, не заметил, когда Сергей исчез. Больше всего на него подействовало то, что Сергей голым полустоял-полувисел в петле. Веревку он скрутил из своих подштапников и рубашки, полосатую же арестантскую одежду отбросил в сторону. Явно хотел умереть свободным человеком. Федор снял Сергея с петли и похоронил под елью, закидав ветками, — могилу вырыть он все равно бы не смог, земля была еще мерзлой. При этом он плакал, не замечая слез, па душе было тяжело. У него возникло желание поступить так же, как Сергей, но он поборол себя. И тут же ощутил холодную дрожь, однако пижаму Сергея надевать не стал, тонкая арестантская курточка тепла не дает, сколько бы ты их ни натягивал. Уже двое суток у него не было и крошки во рту, изнуренный голодом человек долго на холоде не выдержит. Мороза, конечно, настоящего не было, может, всего пять-шесть градусов, но ему, хоть и не очень мерзлячему человеку, в то жуткое утро даже это показалось стужей. Он заставил себя двигаться, по-прежнему уходил от железной дороги, выбирая места, где уже стоял снег, чтобы не оставлять следов. При этом удивлялся, что его не преследуют. Долго над этим он не задумывался, все его чувства и мысли сосредоточились на одном: как побыстрее уйти дальше, где найти поесть и откуда раздобыть какую-нибудь одежку. В полосатой тюремной робе он не смел никому показываться на глаза, даже ребенку, — в сельской местности слухи бегут из уст в уста быстро. Полу пальто он украл с саней, которые стояли возле кучи дров на узкой лесной дорожке, где лежал еще снег. На санях был палочен небольшой воз бревешек, — видно, дорога потом стала хуже, земля могла быть и вовсе голой. Вокруг ни одной души, только лошадь хрупала из навешенного на морду мешка. В кармане полу пальто он нашел еду: в чистую льняную тряпицу завернули два ломтя хлеба с яичницей. Льняная тряпица, в которую завернут хлеб, заставила его задуматься, ноги его, казалось, палились свинцом. Он укрылся за деревом и стал ждать. Умыл хлеб, хотя решил сначала, что ни кусочка не съест. Умыл хлеб и поглядывал сквозь ветки. Он не ошибся — украл не у мужчины, а у женщины, хотя полу пальто — вернее, куртка — из домашнего материала принадлежала мужчине. Средних лет женщина, одетая в толстый свитер с закрытым воротом, который, казалось, был также с мужского плеча, старательно поискала пропажу,

заглянула за сани, внимательно огляделась и, по найдя ничего, пустилась в дорогу. Тогда он вышел из леса и, держа в вытянутой руке куртку, поспешил к жещице. Она испугалась, но быстро собралась с духом и остановилась. По взгляду жещицы и ее поведению он понял, что она обо всем догадалась: то, что он беглый арестант. Он бросил куртку на сани, по еще сильнее сжал в руках хлеб и направился обратно в лес. Жещина поспешила за ним и накинула ему на плечи куртку. Она о чем-то быстро заговорила, он не все понял, но догадался, что она его не клянет, а старается что-то ему объяснить. Он не остановился, в накинутой на плечи куртке пошел дальше. Жещина что-то еще крикнула ему вслед, вроде бы звала с собой, но он не остановился. Чем дальше уходил от саней и жещины, тем больше его душу охватывала каким-то болезненным теплом доброта, исходящая от поступка жещины, от сочувствия, проступившего в ее голосе. Он встретил хорошего человека, явно готового помочь ему большим, только он не смел отвечать на добро злом, потому что павлек бы на нее беду. Как навлек он ее на Анну Егоровну, у которой его обнаружили и чью избушку из-за этого подожгли. В лагере военнопленных он видел столько зла, зверства и человеческого ничтожества, что бежал от добра. Впоследствии он много раз сожалел о своем поступке, но тогда не мог иначе. Он действовал так, словно его что-то подгоняло и это «что-то» вскипало из глубины души. Больше всего он жалел о том, что не поблагодарил жещину, перед таким человеком не грех было опуститься на колени, чтобы отблагодарить не только за теплую одежду, за кусок хлеба, но и за доброту, с которой она обошлась с ним, вором. Жещина увидела в нем не вора, а несчастного человека.

В последующие дни он жил как бродяга и попрошайка. Спал в сараях, на разрушенных сеновалах, ел что попадалось под руку, даже молодые словые ростки, они были кислотатыми, их было даже приятно жевать. Однажды, когда голод стал невыносимым, он осмелился попросить хлеба в лесном хуторе, но на него натравили собаку. Штаны и латаные башмаки он нашел на чердаке копошня одного безлюдного лесного хутора. Потом он пристал к трем мужикам; как выспилось вскоре, они не были партизанами или подпольщиками, за которых он их принял, а оказались обыкновенными подонками. Он отказался участвовать с ними в ограблении дома, стоявшего на краю села, где перед войной будто бы находился маленький магазинчик и где,

по словам этих мужиков, в сейчас хватало всякого добра. Мерзавцы проплюхали даже о том, что в доме жинет голько хилый хромой старик, прежний владелец ланки, который пе окажет особого сопротивления. Эксплуататора нужно экспроприровать, пытались они убеждать его, Федора. Он решительно воспротивился им, ему все это пе нравилось, он начал сомневаться в своих спутниках. Жулье наслало на его след врагов, которые и схватили его. Последние месяцы он пребывал в местах заключения, сперва в грязной арестной камере тапаской полиции, затем в подвале таллинского СД и теперь в центральной тюрьме, которую гестаповцы называли Таллинским трудовым воспитательным лагерем номер один.

Да, его посчитали то ли диверсантом или шпионом, то ли тем и другим вместе. Подозрение, что он советский разведчик, тянулось за ним еще из Тапа. Бродяги явно допели на него. За отказ ему жестоко отплатили. Он проклинал себя и свою безмозглость, что пристал к пегодаям, что принял жалких воров п грабителей, а может, даже шпииков за партизан. И за то, что бесцельно тратил дни, слишком много уделял внимание себе, что не пробирался, не теряя ни часа, к фронту. Вновь и вновь он обвинял себя. Теперь даже больше, чем тогда, когда он еще надеялся, что его из тюрьмы перешлют дальше. Из какого-нибудь организованного наспех на торфяном болоте лагеря действительно мог представиться случай бежать, по отсюда у него нет больше шанса.

И тут он уловил на себе взгляд Бороды. В камере, правда, было сумеречно, но Федор увидел его глаза. Верил, что видит. Хотя знал сейчас имя бородача, тот по-прежнему оставался для него Бородой. Он отыскал себе на полу место, но пока еще пе улегся, продолжал сидеть. Борода лежал на боку, подложив под голову руку, с открытыми глазами. Видимо, не спалось, возможно, п он клял себя за какой-нибудь неосторожный шаг или несуществующее дело. Мелькнула даже мысль, что, может, и он, Федор, кажется ему знакомым, возможно, бородач пытается вспомнить, где они встречались. Со съезда он не мог удержаться в его памяти. Зал тогда был заполнен народом, он оставался одним из сотен, п в каком другом месте он бородача не встречал, п одним словом между собой они не обмолвились.

«Нет!»

Снова Федору вспомнилось это слово. Короткое, из трех букв, оно было сказано не с трибуны, его он сам выкрик-

пул из зала. Делегату, который на трибуне защищал бородача. Утверждая, что тот может многое сделать ради великих целей партии. Тогда он, Федор, и выкрикнул с места: «Нет!»

Он не верил выступавшим, не доверял Бороде. Хотя и не был делегатом, все же не удержался, пепроизвольно выразил свои чувства. Он снова был излишне горяч.

Борода продолжал смотреть на него. Федор не отводил глаз, взгляды их встретились. Тут поднялся один из лежавших, чтобы пойти оправиться, и закрыл собой бородача. Когда заключенный, который через каждые два часа пользовался парашей — то лп его покалечили или он застудил почки, — прошед дальше и Федор снова увидел бородача, тот уже перевел взгляд. Хотя нет, он закрыл глаза. Насколько Федор смог различить в полутьме, Борода не повернулся на другой бок. Так как он больше не встречался с его взглядом и не видел его глаз, то заключил, что Борода прикрыл веки. Федору показалось, что бородач не уснул, а просто лежал с закрытыми глазами. О чем он думает, что его гнет?

И ему, Федору, не шел сон. Он думал о Бороде. Каким образом он угодил в лапы фашистов? То лп не смог или не захотел эвакуироваться? Федор знал, что последними покинули Таллин активисты и защищавшие Таллин вопские части в конце августа. Почему Борода не уехал? Морем эвакуировались тысячи эстонцев. Федор снова поймал себя на мысли, что готов подозревать человека, которого знает в лицо и по имени, но в действительности ничего о нем не ведаст. Нет, сказал Федор себе; когда он крикнул на весь зал, он еще не знал его, другое дело — теперь. В камере смертников суть человека обнаруживается быстро. Она проявляется в самом обыденном, в том, как человек держится, в глазах и в голосе, в словах, которые исходят из его души. Борода — борец до последнего стука сердца. Не только борец, а герой, как сказал на съезде защищавший и поддерживавший бородача выступавший, чьим словам он тогда не доверял. Как бы там Борода ни попал в лапы гитлеровцев, это не имеет никакого значения. Он мог выполнять определенное задание в южной Эстонии и оказаться отрезанным от своих. Его могли оставить в подполье. Федор знал, что подполье готовили заранее. И в Хпйюмаа прятали оружие для тех, кто остается.

Если бы не ночь и пол в камере не был забит впритык спящими или пытающимися заснуть людьми, он, Федор, не

терял ни секунды, пошел бы к нему и признался, что сомневался в его искренности, что ему казалось, будто он что-то скрывает от них, что хотя он и был членом партии, но еще не до мозга костей большевик, призванный осуществлять руководящую роль трудового народа в революции. А также то еще прежде всего то, что ни одного человека, которого основательно не узнали, нельзя наобум осуждать, как осудил он, Федор Тимофеевич, который совершенно не представлял и не знал существовавшего в Эстонии положения и здешних представителей рабочего движения.

Наконец он все же задремал. С твердым намерением утром поговорить с Бородой. Поспать сколь-нибудь долго не удавалось, может, час или два. Могло быть не более двух часов ночи, когда он проснулся от скрежета замка и скрипа черных петель.

Выкрикнули его фамилию.

И фамилию Бороды.

Их обоих требовали на выход. Вместе с вещами.

Федор поднялся. К своему удивлению, он почувствовал, что выкрик, которого он ждал многие ночи, неделю или больше, что этот произнесенный хриплым голосом злобный выкрик не вгоняет его в панику. Что он может оставаться спокойным, что у него есть еще душевные силы достойно ступить свои последние шаги. У него не было никаких вещей, чтобы их собрать. Он был готов. Но не спешил идти к дверям. Он ждал.

Ждал Бороду, который что-то говорил доктору. Они говорили по-эстонски и шепотом, он не различал отдельных слов, да ничего и не нужно было понимать. Ему требовалось лишь одно — сохранить присутствие духа. Еще важнее было признаться Бороде, что виноват перед ним. Что он, Федор, был тем, кто в зале съезда выкрикнул «нет». И что теперь он об этом сожалеет. Ему хотелось сказать на всю камеру, всем, кто остается жить и бороться, кто родится и придет после них, что нельзя никого подозревать наобум и не доверять, что нельзя давать предубеждениям брать над собой верх. Что люди должны доверять друг другу. Доверять и помогать, а не кричать на весь зал «нет». Хотелось сказать все это полным голосом, чтобы услышали даже глухие, но прекрасно сознавал, что не делает этого. Так он должен был говорить год назад, не сейчас, когда его голос угаснет в этих каменных стенах, где у него уже нет возможности что-то объяснить и растолковать.

Федор следил за бородачом, который начал осторожно пробираться. Трудно было найти на полу свободное место, куда поставить ногу. Борода не метался, он находил куда ступить. Федор знал, что все прослушалось, что люди сами пойдутся, чтобы дать уходящим пройти до двери, опидают дорогу тем, у кого начался последний путь. Бородач ступал осторожно, явно был готов к тому, что ждет его. В дверях обернулся, окинул взглядом оставшихся в камере. Федор подумал, что Борода хочет сказать что-то всей камере, — так оно и было.

— Прощайте.

Значение этого слова Федор знал. Голос у Бороды не дрогнул, прозвучал тихо, как обычно.

Федор чувствовал, что все следят за ними. Никто в таких случаях не спал. Ночью, когда скрежещет замок, скрипят дверные петли и с порога слышится громкая команда, просыпается вся камера. Глазами провожают уходящего или уходящих и на следующий день о них уже говорят или думают в прошедшем времени.

И Федор окинул взглядом тех, кто оставался в камере, при тусклом свете маленькой лампочки он увидел поблескивающие глаза, ему вдруг показалось, что все в камере — его братья, что он покидает близких людей; от папьява чувств к горлу подступил комок, он сглотнул его, собрался с духом и произнес:

— Победа будет за нами!

Охранник гаркнул на него, чтобы заткнулся, — по крайней мере, он так понял его окрик, — но Федор не дал себе озлобиться.

И тут же почувствовал, как ему сжимают руку. Бородач держал его выше локтя, он хотел выразить сочувствие, поблагодарить за сказанное. Федор подхватил руку Бороды и тоже крепко пожал ее.

Они шли рядом — один охранник впереди, другой сзади.

Федор вновь ощутил неудержимое желание говорить. О том же самом. Что он, Федор, год назад не верил ему, что это именно он крикнул «нет», но что у него не было права этого делать, потому что не знал его, что тогда вообще не знал эстонцев, что с ним, бородачом, поступали неправильно, и попросить прощения за то, что оказался одним из тех, кто обошелся несправедливо. И не сказал ни слова.

Сейчас было не время исповедоваться и просить прощения. Едва ли слова добавят что-нибудь к рукопожатию, ко-

торое их соединило. Федор всем своим существом ощутил, что шагает рядом с товарищем, на которого можно всегда, до конца положиться, и что этот человек понял бы его и простил, если бы он выложил все, что лежало на сердце. Он боялся своего последнего пути, но теперь чувствовал, что сможет выдержать до конца. Благодаря стойкому товарищу, который шагает рядом. Сейчас он понял, что иногда слова и не ужжны, что важнее слов — дела, что существование пожатие руки, которое может объединить людей.

На тюремном дворе дожидался крытый грузовик, в котором уже находились человек десять, приговоренных к расстрелу. Бородача оттеснили. Федор протиснулся вперед; хотя его ругали, но он добился своего и снова оказался возле бородача. Он чувствовал, что тому стало хорошо оттого, что они опять рядом.

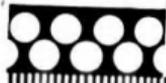
Их везли час или больше, прежде чем грузовик остановился и им приказали слезать. В утренних сумерках он увидел, что их привезли к поросшему редкими сосенками несчастному склону. Машина была окружена, что исключало возможность побега. Он подумал об этом механически, он и не искал сейчас подходящего мгновения к побегу и в кузове машины думал совсем о другом. О бородаче, который до последнего оставался твердым человеком. На съезде Бородача выглядел совсем молодым, моложе своих лет. Он подумал тогда, что этого молодого мужчину, который к тому же принадлежал к другой партии, пельзя выдвигать, пускай сперва подтвердит делом, насколько он коммунист. Поэтому он и выкрикнул «нет». Ему казалось, что делегаты, поддерживавшие бородача, сильно ошибаются. Теперь, стоя с ним бок о бок, он понимал все глубже, что ошибся, что не понял честного человека, убежденного борца.

Общая могила была уже вырыта. Ее черпавшая пропасть ясно обозначалась на беловато-серой песчаной поверхности. В голове мелькнула мысль, что в песчаной почве легче копать яму и что здесь отдаленное место, в стороне от поселения.

Их поставили в ряд. Спinoй к яме.

Руки у него были свободными. Рук никому не связывали.

Люди подчинялись громким приказаниям, грубым выкрикам. Бежать никто не пытался. И он, Федор, тоже. Он и не думал теперь об этом. Хотя и мелькнуло и сознание, что далеко не убежать. Солдат и полицейских было слишком много, цепь плотная.



Ему было хорошо оттого, что он владел собой и держался так, как должен держаться непреклонный в своих убеждениях человек. Рядом с ним на краю черневшей ямы стоял Борода. Стоял твердо, плечи их соприкасались, всех их очень плотно сдвинуло: яма оказалась недостаточно длинной. Глаза, искавшие друг друга, наконец встретились.

Распоряжавшийся начальник был чем-то недоволен, слышались новые команды, полицейские бросились еще плотнее сдвигать заключенных; сосед слева, у которого дрожала нога, павалился на него, и Федор покачнулся. Борода поддержал. Они снова обменялись взглядами, будто два давних друга, два старых товарища. В глазах бородача он не увидел страха, это был взгляд мужественного человека. Тревожный. Это верно, что тревожный. Но тревожный взгляд человека, выстоявшего до последнего. Взгляд человека, который готов к тому, что будет.

Они взяли друг друга под руку. Они поддерживали друг друга.

До конца.

*Перевод с эстонского А. Тамма*

# Владимир Навученко

## Белый свет

Федоткин всегда бегал один и приносил рыбы больше всех.

В товарищах он не нуждался. Приятели его не любили и звали хапугой.

У него был дурной характер: терпеть не мог компании, когда кричат, суетятся, скребут лед где не надо. Он любил тишину, снеговой свет, посидеть одному составляло для него истинное удовольствие и отдых: за неделю шума и грохота в механическом цехе, где работал токарем, он очень уставал.

Так было и на этот раз. Он ушел далеко, даже в бинокль нельзя было разглядеть, что он там делал: среди сияющих льдов его согбенная фигура еле виднелась.

Сначала ему не везло, кругом были торосы — льды, налезшие друг на друга. Когда он сверлил лед, сверло каждый раз попадало на вторую льдину, которая лежала под первой. Коловороты не хватало просверлить две льдины. Он разочарованно отходил, искал площадку, где не было бы наторосившегося льда, и только после восьмой попытки наткнулся на чистое место. Здесь он и устроился. Тут была граница мелли с глубиной. От тяжелой работы он вспотел, снял меховую шапку, от головы поднимался пар. Он сел на ящик, немного передохнул, вычерпал лед из готовых лунок, поставил удочки. Глубина была подходящая.

Он сидел бледный — сверло его доконало — и вяло дергал удочку. Ничего не было. Надо было проверить, есть ли окунь, но он решил подождать, успокоиться. Надел шапку и сел спиной к ветру. Лучше посидеть так, полюбоваться простором моря. Отсюда были видны старые разрушенные

форты, где проходил фарватер, там шел теплоход с подплыми грузовыми стрелами. Его корпуса было не видно, только по льдах двигалась ослепительно белая рубка со скошенной трубой и на корме — флаг, истрепанный штормовыми ветрами. По палубе ходил матрос в ушанке и растаскивал швартовые канаты. Слышался гул дизеля. Фарватер проходил слишком близко. Теплоход прошел, замутивая желтую воду, и стало тихо.

Федоткин занялся снастью, достал блесну. Длинной она была чуть ли не с ладонь, очень узкая.

Он скрывал ее форму и размер. Когда его просили показать, на что он ловит, он неопределенно хмыкал, мычал, как глухонемой, разводил руками:

— Абыкновенная... — и показывал совершенно другую блесну.

Он опробовал на палец впаивные крючки. Они были острые, он точил их алмазным надфилем под увеличительным стеклом. Стоило коснуться ими одежды или кожи, они сразу впивались. Работая, он думал о лете.

Он любил лес. За Выборгским шоссе у него были заветные места: проселочная дорога, уходившая вдаль, где росли старые березы. Он ложился под ними и глядел в небо. Господи, какие эти березы были старые! Половина сушевых сухих, на остальных — две горстки листьев, кора отвалилась, полопалась, открыв черные раны. Раньше там была деревня, теперь — поля и эти погибающие березы вдоль дороги, мухоморы, мигающие пз травы, как красные подфарники, трава густая — пог не вытащившь, а еще там был ручей с мелкой форелью. Вот это было место! Ляжешь, никто тебя не видит, трава — как рожь, ни за что не проползти. Вот в этой траве и сидели белые грибы, никто не знал про это. Федоткин вырезал палку и поднимал ею траву, как граблями, там они и поджидали его: почти квадратные, ножки толще шляпок... Набирал их корзину: восемьдесят — сто штук под ручьем. Ветви им окупали свои листья в воду. Главное, вода рядом. Дальше он не ходил, до бетонки. Этих проклятых машин не счесть, идут одна за другой, битком набитые семьями. Машины в просеках торчали, как тараканы в щелях. Пенсноперы бегали как лоси. Среди них были сорокапятiletние, они не знали, куда девать силу, дачи у них были двухэтажные. Приходилось обходить их владения за три километра.

Когда заводские ребята собирались на платформе, он являлся последним.

— Федоткин опять ханшул целый кузов боровиков...

Некоторые завистливо вздыхали. Пробовали следить за ним. Но обвести их ничего не стоило. Ляжет в траву, ждет, когда они пройдут, ругаясь:

— Чертов кулак, только что был здесь!

Он лежал и ухмылялся, потом вставал, шел за ними. Кричал им в спины, как водяной бухалень. Они ежились, поворачивали назад.

Где им было угнаться за ним! Знал, что это пехорошо, не по-товарищески, но ничего не мог с собой поделать. У каждого свои привычки, вкусы. И ему всегда везло, потому что он был внимательным, видел то, что не замечали другие, помнил приметы.

Кроме кивка, сделанного из часовой топкой пружинки, на конце удочки была еще одна пружинка более жесткой конструкции — совершенный механизм для игры блесны. Это тоже было его изобретение: при подсечке леса не рвалась, как у других. У него-то редко сходила рыба, если удавалось ее зацепить.

Он освободил одну лупку, бросил туда привязанную блесну. Она ушла под воду зигзагами. Он подождал, пока она коснулась дна, приподнял ее, резко опустил и поддернул. Он знал, что окунь не даст ей упасть, если он там, обязательно схватит. Леска дальше не шла. Он подсек, пружинки сыграли. На свет появился окушек средних размеров. Он называл их щурками. На худой копец и они годились. Он отрезал брюшной плавник, нацепил его на крючок. Красно-оранжевый плавничок с белой блесной хорошо гляделся на солище. И блесна была чудо: на нее ушло три серебряных полтинника. По вышедшим цепам — шестнадцать рублей, одна монета плюс филигранная работа. Потерять ее дорогого стоило.

Мелкий окунь его не интересовал. Знал, что с мелочью ходит и крупный, только надо найти его...

Когда по фарватеру шел пароход, вода от прилива выливалась из лунок.

«Слишком я близко сел к каналу», — подумал он.

Не поленился, встал и пошел искать другую площадку. Везде было одинаково. Прозрачные торосы блестели как рифленые стекла. Солнце подплавало их, они стали глаже, круглее. Найти среди них площадку было трудно. Иногда он проваливался между ними; чертыхаясь, выбирался. Это было не дело: сломать погу — пара пустых. Опыта не занимать, но лазить не хотелось.

На ровную, соток пять, льдину он паткнулся случайно. Десять минут понадобилось, чтобы насверлить дырок. Коловорот у него был сделан из легкого титана, па четверть длиннее стандарта, его хватало пробуровать метровый лед.

Когда ножи достигали воды, коловорот проваливался. Он с силой дергал его, чтобы убрать из лунок шугу, потом переходил к следующей. Просверлил три лунки у тороса и три в стороне. Сходил за ящиком.

«Местечко что падо, можно в хоккей играть», — радостно подумал он, садясь боком к фарватеру. За торосами канал был не виден, только по приливу из лунок можно было догадаться, что идет очередной караван.

Здесь проходила каменная гряда. Он убедился в этом: привязал к бечевке свинцовую гирику, опустил ее под воду и постукал ею по дну, оно было крепкое, грузик не вяз в пле.

Он успокоился и приготовил тяжелую спасть.

Рыба не заставила себя долго ждать. Окунь был ходовой: с моря шла миграция мелочи, он преследовал ее. Местный окунь бледно-желтый. Этот был с четкими полосами, морды в слизнях. На гряде рыба чистилась, чесалась об камни, освобождаясь от цаливших паразитов.

Федоткин расстегнул полушубок, ему было жарко. Нетерпеливый хочет избавиться от своих желаний как можно скорей. Он был не из таких: все делал не спеша. Со стороны можно было подумать, что он пришел посидеть, полюбоваться чистым небом. Но он все замечал. Вытаскивая окуней, рассматривал их с неслабым вниманием. На вид они были очень жесткие, беспомощные, в воде-то они вели себя по-другому: не хотели идти к светлой лунке, тормозили хвостами, дергали из рук леску, трясли головами, стараясь освободиться от злой блеспы. Не тут-то было!

Когда из воды показывалась морда с вытаращенными глазами, он аккуратно брал рыбу под жабры, отцеплял от крючка, бросал на лед. Она шлепалась в мелкую воду, прыгала. Он примечал, какое у нее яркое оперение: природа не скупится на красоту всем существам. И думал, что скоро пойдет на пенсию и наймется работать лесником или егерем. Так уж получилось, что он всю жизнь провел в городе, но счастливым чувствовал себя только па лесной дороге. Он не знал, как это получится, но твердо решил уехать со своей старухой. Дочка не поедет, пусть остается в городе, раз ей нравится там. А с него хватит...

Солнце поднялось высоко, пекло своими лучами. Он снял

шапку, пот струился по его морщинистому лицу. В воде на льду виднелась пленка копоти, долетевшей сюда из города. Чайки челпоками ходили вдоль канала, садились на желтые вывороченные льдины, изъеденные морской водой. Как только появлялся пароход, они поднимались, летели за ним. Матросы бросали им куски булки, хлеба, ради потехи вкладывая в булку ложку крепкой горчицы. Чайки заглатывали эти куски и тут же срыгивали их обратно и резко кричали от боли. Горчицу в воде вымывало, уже другие чайки лакомились остатками. Матросы гоготали и смотрели сверху на заснувшего рыбака.

Все это он видел, и ему не нравилось, как они забавляются, мучают голодных птиц, но ничего не мог сделать.

Он паловил кучу окуней. Вытащенные на лед, они долго не засыпали, скрежетали жабрами, шуршали колючей икрурой.

Ему хотелось, чтобы кто-нибудь видел его прекрасный улов на льду, и как напороочил. Вдали шел какой-то человек. Среди торосов его фигура медленно приближалась. Федоткин знал, как тяжело одолевать торосы: все время проваливаешься в ямы, оскальзываешься, если у тебя нет специальных подков, падеваемых на сапоги, перед тем как выйти на лед.

«Иди, иди, — подумал он. — Много тебе не посветит, а мне уже за глаза...»

Самых крупных окуней он убрал в ящик, и они там молотили хвостами так, что казалось — разобьют ящик вдребезги. Но и те, что остались на льду, были достаточно крупные, сняли вздрагивающими телами.

Есть среди рыбаков деятели, носят с собой бинокли или подзорную трубу, высматривают, у кого идет лов, и бегут туда со всех ног, и если им везет, то они успевают захватить из доли того, кто обнаружил косяк и имел на него полное право. Слишком большое количество лунок пугает рыбу, косяк уходит. Обычно, у кого есть такой бинокль, ходят компанией в четыре — шесть человек. И когда косяк отходит, они рыскают сразу в четырех направлениях, находят косяк, куда бы он ни отошел. Они всегда бывают с рыбой. Но тому, кто пашел косяк, приходится хуже всех: его не принимают в ту компанию.

Тот, что шел сюда, был один. Если он поймает рыбу, то это ему будет заслуженной наградой, потому что пройти пять километров по торосам стоит трудов.

«Если он зайвится сюда, я уберу блесну, поставлю удо-

чки, па них вряд ли соблазнится окунь» — так он решил, но не успел вытащить снасть. Леска засвисела, он понял, что заблеснил судака. Мороки с ним больше, чем с окунем: те были покладистые парни, долго не сопротивлялись. Этот с отчаянной злостью и силой рвался в глубь. Приходилось держать его на расстоянии от лунки. Но долго держать его было невозможно, слишком бешеные у него рыбки. Завести рыбу пелегко. Он тянул ее, она рвалась, леска дзипькнула и повисла.

Он выругался и сплюнул. Если бы он не таращил глаза на шедшого рыбака, наверняка бы сумел вытащить рыбку, а то боялся, что тот увидит, подойдет и начнет долбить лед под носом.

«Жадность сгубила фраера», — с презрением подумал он про себя и закурил, утер пот заскорузлой ладонью — мозоли царапали лицо, руки у него были как випты.

Напрасно он переживал. Подошел мальчишка-подросток: лицо его не знало бритвы. От ходьбы он разогрелся, щеки пылали, губы запеклись, кожа на скулах была схвачена весенним загаром.

— Здрово! — искрикнул подросток. — Никогда не падалась такая рыба. Вы здесь поймали? — В его глазах вспыхнул охотничий азарт.

— Здесь, где ж еще, — Федоткин усмехнулся. — Попробуй и ты.

Мальчишка подскочил и два раза присел перед чужим добром, похлопал рукавицами по коленям и бросился терзать лед тупым буром.

— Эй! — крикнул Федоткин. — Лови па моих лупках, воп в том углу. Твоим сверлом только кашу есть. Рыбак...

— Кашу, — согласился мальчишка. — Совсем тупое, доточить печем...

— На трещине есть что?

— Ловят в одном месте.

— Что ж не спдел?

— Рыбаки все пылые, ругаются. А я не люблю... Словно других слов нет... Мне противно слышать, как они разговаривают.

— Ишь припц какой, — удивился Федоткин.

— Я Соня, — тихо ответил подросток и ковырнул ногой спекшийся паст. Лыдишки со звоном полетели по ветру.

— Девка, что ли? — переспросил Федоткин и с любопытством стал разглядывать ее. Она была худая, некраси-

вая. Под одеждой ничего не видно, вот он и решил, что это парнишка.

Она ничего не ответила, удалилась к готовым лункам, размотала удочки и села на раскладной стул.

«Совсем спятили. Девоч на лед выносит. Лет семнадцать ей будет, не больше», — определил он.

Поднимался ветер и затягивал солище пеленой. Погода портилась, на льду стало грустно. Домой идти было еще рано.

София выкопала белую рыбку и тоненько засмеялась. Федоткин удивился ее ничтожной радости, привязал желтую блесну вместо оторванной, ловил на нее. Видно, косяк изменил направление. Он поймал двух старых окуней, больше не было.

— Вы всегда с рыбой разговариваете? — спросила София на ветру.

— Я не разговариваю, — отрезал Федоткин. — Когда это я разговаривал?

— Сейчас. Вы так смешно тащили ее и громко разговаривали с ней. Я чуть не умерла от смеха. Но боялась, что заругаетесь... — Она прыснула в лед. — У меня плотва клюет...

Девочка засмешалась и вытащила еще плотвичку, вновь засмеялась как колокольчик. Она была очень смешливая.

— Я плотву люблю ловить, она светлая как серебро. А ваши окуни мрачные, жестокие...

— А ты не боишься ходить по льду?

Она смутилась.

— Рыбаки добрые...

— Не все, есть и злые.

— Я таких не встречала...

— Поживешь — встретишь, — сказал Федоткин. — Лучше бы ты на тапцы бегала... Замуж не выйдешь...

София согнулась и закричала в лед:

— Терпеть не могу танцев, стоишь как дура. Я учиться хочу на учительницу...

— Что ж не учишься?

— Пришлось идти работать. Отец заболел. Я только и смотрю за ним. Он два раза ложился в больницу. Ничего не ест, кроме рыбы: желудок не припимает... Меня один парень научил ловить. Я и стала ходить...

— Ну и жизнь у тебя, — вздохнул Федоткин, хотел спросить про мать, но постеснялся. Ветер дул с берега.



Солнце паскочило на тучу, воздух сырел. Федоткин подпился, отошел далеко за торосы, там постоял.

«Дурочка», — подумал он, возвращаясь к стоянке.

Вдруг он услышал музыку, не поверил, оглянулся. Море было пустынно, ни одного парохода. Оказывается, у нее был транзистор. Маленький ящичек стоял на льду. Соля вытянула личико, закрыла глаза и раскачивалась на стуле. Она по ловила. Мороз подирал по коже. Мелодия была густая и давила. Федоткин почувствовал себя маленьким, крошечным среди громаждекия льдин. Он снял шапку. Из тучи повалил мокрый снег. Проваливаясь в наст, он направился к девочке. Она посмотрела сквозь него. Его разозлила ее отчужденность.

— Ну и музычка! — закричал он. — Я замерз от нее. Нельзя ли чего повеселее?

Девочка посмотрела горестными глазами.

— Это органый концерт из Риги...

— Они всегда муть передают, — сказал Федоткин и сплюнул на лед.

— Нельзя так говорить, — укоризненно сказала она. — Месса на льду, разве плохо?

Снег лепил в лицо. Федоткину вдруг показалось, что девочка плачет. Снег таял на ее лице, изломанно и дробно тек по щекам.

— Ты чего? — спросил он.

— Правда, хорошо? «Томящееся сердце, успокойся» — замечательный хорал Баха... Вы только послушайте!

Федоткин закончил войну в местечке Слотва, что в Польше. Солдатам запрещалось входить в костелы. Но он как-то зашел со своим старшиной Бекетовым. Играл орган, свет с витражей лился под ноги. Они стояли в главном корабле, где было видно сутулую спинку органаста, его ноги, нажимавшие на педали. Федоткин почувствовал себя сверло, будто провинился перед кем. Бекетову тоже было не по себе. Они вышли на плац и стали смотреть на молодых полячек, которые, проходя мимо, заискивающе улыбались им. Как давно это было, а будто вчера...

Федоткин сел на ящик, посмотрел вдаль, пароходов попрежнему было не видеть. Над фортом летали чайки. Там, наверное, проходил теплый воздушный поток, чайки кружились в нем, не шевеля крыльями. Им нравилось этим заниматься: парить. Никакой выгоды они не имели, просто наслаждались полетом. И еще эта музыка... Наконец она смолкла, «Маяк» забунил последние известия.

Пора было уходить. Но девочка ловила, не хотелось оставлять ее одну среди голых торосов.

«Забавная, рыбу ловит и на девочку-то не похожа... Не женское это дело — ходить на лед». Он вздохнул, стал собираться, сложил рыбу, но решил чуточку обождать, пусть ловит: у нее хорошо дергала плотва. Он тоже опустил удочку. Груз не ложился на дно. Что-то было не то, ведь точно знал, какая здесь глубина. Прибавил метр лески, опять по достал дна.

— Слушай, на сколько метров ловишь?

— Тринадцать.

Он смотал удочку, сложил коловорот, падел на него чехол.

— Пошли, — сказал грубо.

— Еще рано, — сказала она, не оборачиваясь.

— Сказал, пошли. Нечего тебе сидеть.

— Еще одну рыбку поймаю. — Она просительно посмотрела на него.

Он был неумолим.

— Вымокнешь, а еще до трещины два часа топать...

Глубина изменилась, значит, льдина отошла — вот чего он боялся. Могло отнести в море: ветер дует с берега, торосы — хороший парус для ветра. Но Федоткин ничего не сказал, еще надеялся, что это не так, пугать не стоило.

Он подошел к ней, вырвал из ее рук удочку, смотал ее и стал закидывать вещи в рюкзак: транзистор, рыбу, стул. Она не поняла, почему он залился на нее, гнал прочь.

— У меня плечи мокрые, — пожаловалась она.

— Вот видишь, — сказал он. — Простудиться в два счета можно...

Он вернулся к себе, взвалил ящик на плечо. Он привык таскать тяжести, станок у него был дай бог, болванки — по метру, это для него ничего не стоило. Она падела свой тот-же рюкзак на оба плеча, двинулась за ним. Он шел быстро, но торосы не давали разогнаться, приходилось перелезть их, обходить.

— Не отставай! — покрикивал он.

Она не отставала, шла за ним как собачонка на поводке. Иногда обгоняла его, скостив расстояние в торосах. Он удивился: сколько у нее было силы, на вид не скажешь. Берега не было видно. Ветер дул в лицо, задерживал движение. Пока не стемнело, нужно было дойти до фирменного припая. Там могло быть разводье, он опасался этого, тогда выходить придется неизвестно где, если вообще по-

ле не оторвало. Он шел и все время думал про это, забывшая про девочку. Она опять обогнала его, стояла, поджидая.

— Ну ты и бегаешь,— сказал он, смахивая пот с лица.— Я ходок, а ты еще чище...

Она засмеялась:

— Ничего особенного, я всегда быстро бегаю, привыкла. На тренировках делаю двадцать пять — тридцать километров. Люблю лыжи. Давайте ящик понесу.

— Вот еще, она понесет! Где это видно...

Он смущенно кашлянул, представил, как она несет ящик. Пусть не думает, что он слабак. Только бы кончились торосы, надо перескочить трещину. Эта мысль неотступно сверляла его. Спутница не понимала всего, но шла хорошо,— право, неплохая девочка, не то что мамыны дочки...

Ни одного рыбака не было видно, никто сюда не доходил, он поперся, мог бы и на трещине сидеть, как все добрые люди. Раз зашел, надо выходить... Однажды он заблудился в тумане, с тех пор пошел компас. Он вытащил его: шли правильно, хотя берега не видно, снег частил. Должны быть люди, есть любители сидеть до потемок. Никого не было, хотя тресни. Торосы стали попадаться реже. Надо было взять левее, чтобы ветер дул в ухо.

Ящик был жутко тяжелый, он его все время подбрасывал. Слишком много рыбы поймал.

«Правильно они говорят, что я хануга,— подумал он про своих товарищей.— Но они бы тоже, наверно, не выбросили, если бы поймали столько. Дураков нет.— Он ухмыльнулся, успокаивая себя.— Просто они завидуют мне, сами ни черта не умеют ловить, вот и злятся...»

Пошел ровный лед. Следы на снегу заплывали водой. В некоторых местах лед прогнулся, там было полно воды: снежная каша. Приходилось обходить их: упадешь, сразу вымокнешь. Ноги разъезжались, болели в паху.

Эта проклятая девочка маячила впереди, потом пошла влево. Он хотел крикнуть, но из-за ветра вряд ли она услышала бы. Прибавил шаг, чтобы нагнать ее. И скоро понял, почему она свернула. Она шла вдоль расширившейся трещины: метров пятнадцать темной воды отделяло их от берегового припая.

Федоткин опустил ящик, сел на него. Девочка подошла. Нет, она не напугалась. Он сидел не шевелясь, растерянно смотрел в воду. Ему хотелось назвать ее дочкой: «Дочка,

мы попали в переплет, надо как-то выкручиваться, не торопи меня, я посижу, подумаю, что делать». Но он ничего такого не сказал. Она опередила его:

— Да вы не бойтесь. Найдем место, где льдина еще не отошла далеко, там перейдем, вот увидите...

— С чего ты взяла, что я боюсь?

— Я пойду вперед, вы посидите, раз устали. Вернусь, как только найду подходящую льдину...

— Это не дело. Разъединяться теперь не след. Пойдем вместе, скоро стемнеет.

Он вздохнул и встал. Они пошли краем, не очень близко к воде. Казалось, льдина стоит на месте, но он знал, что она двигается по ветру. Надо шевелиться. Рыбаки давно сбежали, как только льдину оторвало; конечно, они крикнули тем, что сидели близко за трещиной. Те тоже ушли, успели перебраться. А он, старый дурак, поперся такую даль, и эта глупая девчонка увязалась...

Ох уж эти рыбаки! Если ветер не стихнет, он отгонит льдину в открытое море, там лед начнет разламываться на куски. Это делается очень быстро, вертолет береговой охраны не успевает снять всех. Так было не раз. Он это знал, поэтому шел быстро, как только мог, но не знал, сколько придется пройти: три километра или двадцать. Конечно, можно выбросить груз, но он жалел улов. Рыбу он выбросит в крайнем случае, а коловорот может пригодиться вместо весла, если придется переплывать на какой-нибудь небольшой льдине. Только не приведи бог до этого...

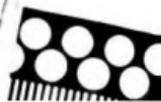
Они шли бок о бок. Иногда трещина приближалась к берегу, но разводье там было шире. Темнело. В санаториях зажглись желтые огни и светили очень близко.

Он стал отставать. Девчонка придерживала шаг, смотрела на его громоздкий сундук, но не решалась сказать, чтобы он выбросил его к черту. Он плохо соображал. За день сделал не меньше двадцати километров, теперь это сказывалось.

Лед был скользкий. Он два раза шлепнулся в ледяную жижу, полы полушубка промокли, одежда стала тяжелой, да еще он вспотел: свитер на спине был мокрый насквозь.

Они потеряли счет времени. Было одно и то же разводье. Если девчонка вымотается, совсем будет плохо. Он остановился, сел на ящик. Ветер дул порывами, в бок, снег перестал идти.

— Передохни, как бы нам не пришлось куковать на льду до света,— сказал он невесело.



Девчонка снова покосилась на ящик. Лицо у нее сильно осушлось. Даже в полутьме было заметно, что она еле держится.

— Нет, падо ийти, пока видно,— упрямо сказала она, облизывая пересохшие губы.

Тут были старые лупки, вода выступала из них. Она нагнулась, стала черпать горстями воду и пить, помила лицо. Выпрямилась и ждала, пока он поднимется, нетерпеливо перебрала погамп.

— Пойдемте. Скоро бухта, там лед крепкий, его не могло разломать,— сказала она, подставляя ветру лицо.— Главное — ийти, понимаете?

В своей решимости она была бесподобна. Он встал, взял ящик на плечо.

Они шли минут сорок. Развозье стало уже. Это еще ничего не значило. Федоткин вынул из кармана фонарик, посветил под ноги, чтоб не угодить в полынью. Лед был в мелких трещинах.

«Совсем худо,— подумал он.— Лед поломало».

— Вот здесь иди, дочка.

Она перешла и сказала:

— Затушите фонарь, от снега видно.

Он послушно исполнил приказание. И правда, от снега шел слабый свет. Было слышно, как за лесом загудела электричка.

— Кажется, пришли,— сказала она.— Попробую перескочить.

Льдина стояла углом к ним: очень длинная и метра три в ширину. Вполне сносный переход, если она не разломана в нескольких местах. Надо было проверить. Он не решился.

— Подожди, торопиться некуда.

От усталости он еле ворочал языком.

— Я легкая, вы вещи перекиньте.

Она прыгнула. Он заметил, что льдина качнулась. Девчонка пошла в темноту и скоро вернулась.

— Вполне можно перейти. На том конце метр чистой воды, не больше. Вы сможете перепрыгнуть?

— Что за вопрос! Ты хорошо проверила?

— Я вам говорю, ничего страшного...

— Много ты понимаешь...

Он бросил к ней ящик. Девчонка хотела поднять его за ремень, но тут же опустила.

— Как вы несли его? — удивилась она.

Он ничего не сказал, развинтил коловорот, надавил им на льдину, она держала. Тогда он тяжело прыгнул подальше от трещины. Льдина накренилась. Он отошел на середину. Она была вся в едва заметных трещинах. Девчонка лезла без разбору. Он очень боялся за нее, медленно тыкал в лед коловоротом, надавливал. С его весом, и еще в одежде, нечего было и думать выбраться, если уйдешь под лед. Он знал это, поэтому не спешил. Она уже стояла на матером льду. Он кинул ей фонарь.

— Мне не перебраться, ноги болят.

— Не говорите глупостей, я вас очень прошу. Тут чуть больше метра...

— Я не козел,— ответил он сердито и, раскачав ящик, бросил его туда, к ней. Коловорот он упер в припай, а ручку положил к ногам, чтобы можно было ухватиться за него, если он промажет. Потом снял полушубок, тоже бросил к ней.

Она подобрала его, положила на ящик.

— Я вам руку подам.

— Ага,— сказал он. Плавать вдвоем он не собирался.— Убери руку.

Она опустила руку, стоя на самом краю, светила фонариком. Вода была аспидно-черная. Поскользнувшись, съехать туда ничего не стоило. Он отсчитал назад три шага, разбежался и прыгнул. Девчонка дернула его за рукав. Федоткин сшиб ее. Они упали. Она встала, потирая локоть. Он сел на ящик.

— Говорил, отойди. Я мог тебя утопить, если б сорвался...

Он падел сырой полушубок и закурил, стараясь не глядеть на трещину, и думал про девчонку: «Она еще совсем ребенок, не понимает опасности. Без нее я бы не решился на такую авантюру... Моя дочка лет на пять старше ее, по она не такая... Случись что, в больницу не придет...»

— Пошли, дочка.

Он поднял ящик, взял коловорот; не свичивая, понес его.

Сося была возбуждена и радостно говорила:

— Я так боялась за вас! Я-то легкая...

— Это ты верно сказала. Ну, ну, пяток километров ослим...

Они шли медленно, лед был хороший. Если бы не груз, они бы давно вышли. Стали попадаться вешки, где у колхозных рыбаков стояли сети. Он не знал, в каком месте они

выйдут на берег. Это пейзажно: железная дорога почти рядом. Из дома отдыха доносилась музыка.

Берег был тяжелый, с обрывом. Они поползли по склону, цепляясь за кусты. Ветки обламывались.

— Тут рыбки часто падают, термоса бьют. Осторожней, — ворчал Федоткин и тянул сундук.

Вот она, земля!

Они миновали сосновый подросток, вышли на шоссе. Опять повалил снег. На пригорке стояла ярко раскрашенная будка. Он посветил фонариком на вывеску, прочел название остановки.

— Эка куда нас занесло! Пятнадцать километров кряку дали... — Он посветил еще раз, думая, что ошибся. Теперь знал, где находится. — Ну так что, автобус будем ждать?

— Как вы, так и я.

Она стояла нахохлившись под падающим снегом.

— Автобус редко ходит, а до станции километра два. Дойдешь?

— Да.

Из-за поворота показался мотоцикл и осветил их. Мотор вдруг заглох.

— Эй! — крикнул человек, сидевший в люльке.

— В чем дело? — отозвался Федоткин, щурясь от белой фары.

— Яблоповка где?

— К Яблоповке на развилке сворачивать. Вы не подвезете одного человека до станции? — Федоткин кивнул на Сою.

— Лучше вы езжайте, — сказала она.

— Подвезем, — откликнулся мотоциклист в темной куртке и крагах. Он был высокий, залепленный снегом плем делал его еще выше. Лицо у него было недоброжелательное.

— Нет, — упрямо повторила Соя.

— Как хотите.

Огромный мотоцикл зарычал. Снег глухо падал сплошной завесой. Федоткин вскинул на плечо ящик, держась одной рукой за лицо. Он почему-то обрадовался, что девочка не покинула его. То ли от усталости, то ли от отраженного снегом дневного света у него началась жестокая аллергия. Слезы так и сыпались от нестерпимого зуда. Он почти ничего не видел. Лицо распухло, как от укуса пчел. Он даже чувствовал, как оно надувалось. Это уже было во второй раз. Врачи сказали — аллергия, отчего, они сами не знали,

только пожимали плечами. Дня через три пройдет... Хорошо, что со льда он успел выйти...

От дороги к станции вела потоптанная тропа. Снег перестал падать, в лесу было тихо, только шумели вершины. Мигко похрупывал снег. Федоткин посмотрел на запотевшие часы: был двенадцатый час ночи. Он сгреб с перил снег и помыл лицо.

За лесом завопила электричка, звеня на повороте холодной сталью. Резко тормознула у платформы.

Они вошли в пустой вагон. Печки хорошо грели. Девчонка прислонилась к окну, вытянула ноги.

— Не верится, что дошли...

Он свистнул колдоворот, положил его на полку. Он плохо видел залившимися глазами и все время трогал лицо, сжимающая и разжимающая кулаки.

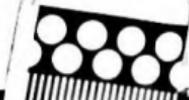
— Ой, что это с вами? — спросила Соня и нежно дотронулась до его щеки теплыми пальцами.

— От белого льда, дочка, слишком много света было. Пройдет...

Она покачала головой, спяла шапку, волосы рассыпались по плечам. Напрасно он думал, что она некрасивая. Волосы у нее были замечательные. Лицо горело от ветра.

— Посплю немножко, — сказала она.

— Спи, я разбужу. — Он проглотил горький ком, застрявший в горле, снял шубу и укрыл ее плечи. Она благодарно глянула на него и закрыла глаза. Он долго спел не шевелясь, потом нагнулся, развязав ее легкий мешок, выставил на скамейку потный транзистор и стал кидать из своего ящичка тяжелую рыбу в рюкзак. Мелочь он оставил себе.



# Эрвин Нурджанов



## I

Любил он меня по-своему: суровая и крутая натура дяди походила на груды камней, душивших землю, которую он вспахивал с незапамятных времен. С тех самых времен, когда еще только-только сошла с тверди вода всемирного потопа и на вершине Арарата, словно заброшенное гнездо аиста, возвышался Ноев ковчег. Именно тогда здесь появились непокорные армяне, эти перазумные хаи<sup>2</sup>, бросившие вызов самому господу богу, приравняв его к лику человека.

Ты пачало и причипа всех добрых дел,  
Не заточаешь, а находишь,  
Не изгоняешь, а собираешь,  
Не погружаешь, а поднимаешь,  
Не толкаешь к падешию, а ставишь на погл,  
Не изобретаешь способов погубить,  
А ищешь пути сохранить жизнь,  
Не истребить стремишься, а милосердно спасти,  
Не выносишь решения о гибели,  
А завещаешь свободу<sup>3</sup>.

Воздав хвалу всеблагому как самому великому творцу, благодарные армяне не одну уже тысячу лет дерзают.

Дядя считал: настоящий армянин тот, кто при земле. И никто па свете не смог бы убедить его, что это не совсем так. Он не особенно умел рассуждать, да и не крестьянское

<sup>1</sup> П а н д у х т — скиталец (арм.).

<sup>2</sup> Х а и — армяне.

<sup>3</sup> Здесь и далее приводятся стихи из поэмы «Книга скорби» Гратора Нарекаци (951—1003). Подстрочные переводы с древнеармянского Исвона Мкртчяна и Маргариты Дарбинян.

это дело; знал одну истину — трудиться. Совсем заели его заботы, не давая передохнуть, опомниться. Хотя и был он в душе благочестивым христианином, но из-за житейских передраг дядя не то что поделиями а, бывало, и годами забывал об астваце<sup>1</sup>. Бог, однако, на это не обижался. Они ладил между собой.

Я свалился дяде как снег на голову, когда осенние работы еще не были закончены. Он поглядел на мою ладонь — ни единой мозоли. Увидел мой аппетит... Сплюнул с досады, воскликнув в сердцах: «О господи!»

Я показался ему таким непутевым, как и мой отец, который, вместо того чтобы заниматься делом — сеять, жать, пасти овец, — подался в город искать волшебный бурдюк — так дядя называл счастье. «Добро бы еще для себя или родных... — ворчал он. — Нет, захотел всех осчастливить. Где теперь бедолага: живой — не живой, кто его похоронил, где? Может, голодный, больной — воды подать некому. Каким главным должен быть человек, чтобы всерьез верить: мол, наступит день — и все люди будут сытые, добрые, станут братьями. А пока лишь аванак<sup>2</sup> наш верный брат».

— Э, э, джапик<sup>3</sup>, — сказал мне как-то дядя, — нищий не тот, кто ничего не имеет, нищий тот, кто, не найдя, раздал другим то, чего никогда не имел. Кто имеет, тот добром не отдаст.

Так он думал всегда: и когда мой отец покинул отчий дом и уехал на рудники, и когда кончилась эта страшная война, — его надежда и опора, старший сын, пропал без вести; так он думал, когда похоронил младшего. Умирал младший сын тяжело и долго от ран, застряли осколки в легком, смерть его совсем сломила дядю. Слег и пролежал всю весну, лето, осень, да и зиму прихватил. В деревне о нем говорили так, точно его уже и нет — для всех он был в прошлом. Привыкла к этому и тетя — в долгие вечера она беседовала с ним, словно с духом. Лежа с открытыми глазами, дядя ничего не слышал, ничего не видел... Он собрался в тот мир, где все будет и откуда еще никто не возвращался. И пока дядя находился между небом и землей, ни один из сельских умельцев не перешагнул порога его кузницы.

«Ах, аствац! — умоляла тетя, каждый раз поглядывая

<sup>1</sup> Аствац — бог (арм.).

<sup>2</sup> Аванац — осел (арм.).

<sup>3</sup> Джапик — дорогой, милый (арм.).

на старую развалюху, где вот уже почти год не раздавался привычный удар молота. — Не дай умереть твоему рабу зимой. Он так любит весну. Сохрани его до первого теплого солнышка...»

А зима в ту пору стояла белая. Снега навалило... Млад и стар только и делали — расчищали дорогу, петлявшую по склону ущелья. Дорога спускалась в долину и шла вдоль незамерзающей реки через весь поселок горняков. Рядом — дорога и река: одна несла себя гордо, не сниса переваливалась, другая — задиристо, шумно скакала с камня на камень, напоминая сверху серебряный пояс горячки.

Сюда, в долину, за много километров спешила в школу деревенская детвора. Наи дом стоял на отшибе. Горлапы, неслась мимо звонкая ватага, впереди которой, лая и повизгивая, бежали собаки. У родника пенная свора неохотно останавливалась. Здесь копчалась граница села.

Утверждают, что и волки, появляясь иногда в этих местах, не переступали заветной черты — границы.

Так это или нет, по однажды — за несколько лет до моего приезда — в одну из лютых ночей сквозь сон дяде показалось, что слышит он детский плач. Не сразу он мог понять: что это? Откуда? Позже уверял: это голос велел ему встать. Ами! попытался подняться, но не тут-то было. Хотел протянуть руку, разбудить жену, да покалел ее — она крепко спала. И, не помня, как это произошло, он сбросил одеяло и очутился у окна. Лупный свет ослепил его. А плач не унимался.

Дядя накинул теплый халат, засунул ноги в чирки, вышел на крышу хлева. Почуяв хозяина, закричал верный осел и так же неожиданно умолк. И тут завыли волки. Это не был сухой вопль голодных хищников, скорее он походил на жалобный вой. Дядя догадался: волки — на пригорке у дороги, за родником. Но не мог понять, почему деревенские псы молчат. Это так удивило дядю, что, забыв о болезни, он поспешил на плач, который снова донесся с улицы.

По одну сторону от плачущего младенца сидели волки и, задрав морды, призывно завывали, по другую — собаки, жалобно поскуливая. Когда дядя совсем близко подошел к этому живому кружку, волки замолкли и стали отходить. Собаки радостно залаяли, но не вскочили с места...

<sup>1</sup> Ами — дяди, брат отца (арм.).

До сих пор никто не знает, откуда на дороге взялось дитя...

Что бы там ни было, а эта девочка и возродила дядю к жизни. Назвали ее в честь моей бабушки — Марьям. И, вспоминая об этом дне, дядя часто твердил слова поэта:

Я, всеми укоряемый, — не хваюсь,  
Поносимый — не горжусь,  
Покинутый — не валяюся,  
Безмолвствующий — не величаюсь,  
Осмеленный — не упрямлюсь,  
Жалкий — не убогаюсь блаженства,  
Печальный — не оправдываюсь,  
Ибо без руки держащий узду,  
Конь не почитается ровню,  
Без кормчего корабль не поплывет,  
И без того, чтобы рука держала орало,  
Соха ровню не вспашет,  
И без пахаря воли в ярме пойдут неровно...  
Без ветра и облако не поплывет,  
Без времени планеты не расходятся и не сходятся,  
И солнце без воздушной стихии не совершит свой  
круг,  
Так и я бессилеем без твоего веления,  
О благодетель!

## II

— Вот что, сын брата, — начал дядя за вечерним чаем, прощупывая меня неодобительным взглядом.

Он говорил всегда тихо, с хрипотцой, а когда был чем-то раздосадован, у него кривилась верхняя губа, и казалось — он презрительно усмехнется. При этом его белые брови-колючки грозно пасупливались. Вид ами действовал устрашающе, но только не на меня. И вряд ли уже что в этой жизни могло меня напугать.

Я оставил стакан с недонитым чаем и приготовился слушать ами.

— Доливай, не торопись, разговор у нас долгий...

— Что ты ребенку вечно портишь настроенье, никогда не дашь спокойно поесть, — бросилась защищать меня тетя. И, зная горячий нрав мужа, на всякий случай отошла к двери, чтоб успеть скрыться.

Дядя сердито зыкнул:

— Помолчи... — И, спохватившись, что шуметь за столом недостойно мужчины, уже сдержанней отпустил: — Тебе-то что, не пз вашего рода вислоухий бараб.

— Что он такого сделал?

— Еще спрашиваешь? Забыла обычай?..



— Вай, вай, — тетя укоризненно покачала головой, — воду принес вместо меня? Что же мне теперь — посыпать голову пеплом? И кто только эти глупые обычаи создал? Посмотри, в городе...

— Да умолкни, женщина... — взорвался снова дядя.

Я слушал их и понять не мог, из-за чего перебранка, почему сердится дядя.

— Ты, может, еще мужичку заставишь полы выметать?..

— Зачем заставляешь, он и сам это делает.

Чаша терпения дяди переполнилась, он с силой ударил по столу.

— Учти, — безразличным тоном предупредила тетя, — стаканы последние. Утром чай не из чего будет пить. Всю посуду переколотил. И что за маера...

— Нет, эта бесструнная кемапча<sup>1</sup>, видать, сегодня не умолкнет. — Дядя всем своим видом дал понять тете, что ему с ней больше не о чем толковать. Он и так терпеливо отпелся к ее выпадам, но большего допустить нельзя. — Так вот, сын моего брата, — обратился он ко мне, — ты что, решил нас под старость лет опозорить?! Кто просил тебя ходить к роднику за водой?

— Никто. Хотел выкупаться, а в жбане — кот папалак.

— Какой еще кот? Откуда он взялся?

Дядя терпеть не мог этих блудливых тварей.

— Дядя! Да нет никаких котов, — стал я оправдываться, — так говорят по-русски, когда чего-то мало.

— Нет, ты сперва подумай, потом скажи, несчастный, зачем на мое горе приехал — фасон держать? Перед кем? Перед родным дядей. — Он с обидой провел рукой по голове. Под белыми редкими волосами кожа побагровела. — Жеребенок еще. Научись сперва под пошей ходить, затем поглядим, кто кого будет учить. Я ему по-армянски, он — по-русски. Еще я должен голову ломать, отчего кот плачет. Ответь, что ты знаешь? Кто ты есть?

И на самом деле, кто я есть, думал я, улегшись в постель.

Для хулителей я — посмешище,  
Для любящих — предмет для оплакивания,  
Для писателей — предмет осуждения,  
Для обвинителей — приговор.

<sup>1</sup> Кемапча — четырехструнный смычковый музыкальный инструмент.

Я обладал всеми перечисленными качествами,  
Но временами и худшее было моим уделом,  
Вот каковы и как бесчисленны пагубные обольщения,  
Иным из них я отдавался как глупец,  
Другим отдался по слабости.  
Я сам, по своей воле предал себя гибели.

### III

Тетя поднималась раньше горластых петухов, когда начинают стихать деревенские собаки, утомившись от собственного лая. Одна или две еще будут бодро нести свой дозор, гавкать до победного рассвета, пока на них не цыкнут хозяева.

Во дворе темным-темно, не проглядываются даже проемы окон. Маленького росточка, худенькая в черном платке и черной шали, при черном фартуке, тетя спивалась с мраком комнаты, где мы все спали вчетвером: дядя — на тахте, а я, тетя и семилетняя Марьям — на полу. Хотя тетя растапливала железную печурку бесшумно, я все же просыпался. Постепенно тепло ложилось на вещи, постель... Дремно смеживались веки, и я растворялся в сладком сне, в самом крепком, предупреннем.

А тетю мучила головная боль. Схватившись за виски, весь день просиживала в углу и только покачивалась из стороны в сторону, не проронив ни слова. При этом ее губы беззвучно что-то нашептывали, затем она доставала бутылку с пиявками и, облепив ими кончик носа, долго сидела на корточках, склонив голову над медным тазом. Это никто не должен был видеть. Женщинам болеть не полагалось. Зато мужчины на солнышке, подперев спинами стену магазина, весь день без усталости обсуждали свои болячки и снова могли возвращаться к ним завтра, послезавтра... И ничего особенного... Но случись что-нибудь с их женами — упаси бог! Чтобы соседи узнали? Но все равно деревня всегда обо всем знала и спешила помочь. Женская солидарность брала верх над неписанным запретом. У родника, за вынечкой лаваша, да и на любом бабьем сборщице они всюю перемывали косточки мужчинам: ох уж эти напыщенные папахи!

Однажды мне пришлось побывать на похоронах старого учителя. Провожать его в последний путь собралась вся деревня, он был одинок, а меня попросили помочь женщинам.

За оградой школьного двора варился коркут<sup>1</sup> — обязательное кушанье на армянских поминках.

Я должен был поддерживать огонь под огромными казанами. Заранее привез дров из леса, парубил их и сложил у костров — пот и вся работа. Сидел на чурбане и смотрел на стреляющие искры, пытаюсь представить отца, который пошел на перемешках вот здесь, по пологому скалистому скату, поросшему убогим, в осипнику, лпшайником.

Отец и учитель ходили в эту школу.

Всю жизнь учитель прожил бобылем. Приемный сын его, капитан, служил за границей. Его ждали, но не дождались, он появился месяц спустя; говорили, после военных учений.

Мартовские тучи черной чалмой окутали горы, зло тарая друг друга. В узких распадках, между высоких гор и тесных долин, жгутом кружился ветер, на каменистом безлесье еще лежал крепкий наст. Ни верхом, ни низом, ни самолетам, ни пешеходам сюда дороги нет. И связи нет. Отрезанный остров орлиным гнездом притулялся к недоступному хребту...

Не сговариваясь, люди шли на папихиду и, кто сколько мог, приносили с собой пшеничного зерна. Пламя лизало черные бока казанов, над ними в черных шаялах ворожили солдатские вдовушки.

Глядя на них, одетых в траур — не на час, не на сорок дней — на годы горькие или до последнего дыхания, — я сам себе казался древним уставшим старцем. Я словно не от своих тысячелетий согнулся, а от тяжести вечного долга перед всеми женщинами за все прошедшие и за все предстоящие века. Словно я повинен за все войны и несчастья, которые были и которые будут.

Деревенские вдовы — печаль в глазах, псохшие губы сошли не с миниатюр армянских манускриптов — не воображение мое, а боль моя: черные шали над черными казанами возле затухающих поминальных костров — такими они навсегда врезались в мою память. Несчастные, они даже не знали, где могилы их мужей.

Я плакал про себя, говоря: кто есть я? Кто есть они? Кто мы на этой земле, если жизнь не дает нам самим похоронить своих отцов, своих любимых?

А стряпухи, думая, что я не знаю языка, не очень при-

<sup>1</sup> Коркут — блюдо, приготовляемое из пшеничного зерна.

держивали свой: со знанием дела, не щадя ни одного мужика, язвительно перемалывали им косточки. За усменками скрывалось столько растерянности, невысказанной обиды и бабьей тоски, что невольно я стал подтрунивать над их жертвами.

— Шан лакут<sup>1</sup>,— говорили они, показывая на меня шумовками,— оказывается, все понимает...

И продолжали снова, не стесняясь меня, судачить.

— Смотри, смотри, идет твой дядя,— заголосили вдруг вдовушки, обращаясь ко мне,— краснощекий такой, как кузнечик подпрыгивает. Дьявола обведет. Судьбу обманул, смерть за здоровье обменял...

— Из жилистых,— проропнула самая молчаливая.

— Жилистый, все стадо обгуляет,— сладостно потянулась бойкая толстуха и вдруг всплакнула.— Не надо мне чужого счастья, вот вернется мой, что скажет...

#### IV

Всю ночь тетя постанывала от болей в голове и, совсем измотавшись, не вытерпев, садилась на постель. Тут начинала скрипеть под дядей тахта. Он делал вид, что жена если не совсем здорова, то за сорок лет жизни с ним особых педугов не нажила... А на все расспросы знакомых, родственников: «Как поживает паша Апант, как ее здоровье?» — дядя отшучивался:

— Бог подумал взять с псе повышепное обязательство — после того как я покину земную обитель, прожить еще столько, сколько мне отсчитано.

Покряхтев, покряхтев, ами сполз с тахты и опустился рядом с женой.

— Что, опять допекает?

— Да спи ты! — прошептала тетя.— Как-нибудь уж до утра...

— Зачем мучить себя? Куда упрятала своих кровопийц?

— Я сама!

— Будет тебе, воп как скрючилась! Спрашиваю, куда заткнула?

— Банка в чулане. Смотри не разбей, порежешься еще.

---

<sup>1</sup> Шан лакут — собачий сын (арм.).

— Кому говоришь, совсем рассудок потеряла... — Дядя с шумом отпер дверь.

Холодный вихрь пронесся по полу. Я натянул одеяло на голову.

— Разве это жизнь, лучше умереть, — пожаловалась тетя, — никому спать не даю.

— Воистину, — недовольно отозвался ами, — длинный волос, короткий ум. В банке сухо, и шакалы твои подохли. Теперь жди, когда их снова принесу. Только вот когда? Сегодня бригадир просил на ферме покопашиться, завтра — навоз вывозить на большой уклон. А осел один. Раз на поле, раз обратно — уже полдня. Эхма! Где моя молодость! В земляшку вогнал я ее, в земляшку и взамен земляшку получу.

— Не гнечи бога понапрасну.

— Что бог! Кто смог — тот и бог. Отнял бог у меня сыночек. А что крестьянину без молодых рук? Ничего. Зачем я эту землю возделывал, кому оставляю? Дождям, чтоб они размыли, или ветрам, чтоб развеяли ее? Пот мой и пот моих отцов в каждой пылинке. Теперь сумей их собрать. Одни могилы от нас останутся. Да и их рано или поздно забудут. Перепашут. И прах наш смешают с навозом. Где же бог? Неужели фашисты и бога убили?

— Сколько душ невинных погубили, изверги! — подхватила тетя.

— Похлеще турок.

— Будь они прокляты, — запрячала тетя, — чтоб их дети никогда солнца не видели, а внуки рождались без рук и ног и гибли бы в собственном зловонье.

— Ладно, Апап, потерпи, что-нибудь сообразю. Вырву час-другой, подамся к Вороньему камню. Там твоих паравитов хоть шанкой загребай.

— Что ты, Арташес, не вздумай в такую даль! Смотря, какая погода! Не к добру собаки ночью выли.

— Посмотрим, не твое дело. — Дядя полез в постель, и вскоре раздался его приглушенный храп.

Кажется, и тетя утихла.

## V

Погода действительно дрянь: промозглая, сырая. Бесчисленные лужи, я уже промочил ноги. Но у меня не было выбора — во что обуться: туфли на этих камнях давило

разбились, и дядя из последнего куска бычьей шкуры скроил мне трехи<sup>1</sup>. В них удобно лазить по горам, но только не по воде. Напрямик до Вороньего камня каких-то десять — двенадцать километров. Но из-за начавшегося дождя я решил не забираться в гору, а обойти лесом и выйти к скале с противоположной стороны. Да и в лес соваться, честно, было жутковато. Он стоял неподвижный, неприветливый. И тропа, что вела в него, была мертвой. Я долго колебался, войти — не войти, и все же вошел в мрачный провал. Я часто бывал не в этом, правда, а в другом лесу, что поднимался по западному склону Лисьей горы. Издали, когда смотришь на нее, она точь-в-точь напоминает патрикесвицу с вытянутой мордой. Там я выбирал самое высокое дерево и принимался его рубить. Потом, разделав его на дрова, я навьючивал поленья на осла и возвращался домой поздно. Тетя всегда ждала меня у открытых ворот и каждый раз, завидев меня, с надеждой спрашивала:

— Костя, это ты?

— А кому еще быть, так стучат подковы только у нашего осла, — ворчал дядя, стоя на крыше хлева, и повелительным тоном добавлял: — Не забудь пару поленец отнести Аршалуис. Что молчишь, старая?

— Слышу я, слышу. Не забуду.

Бабушка Аршалуис — ближайшая соседка. Она жила одиноко в громадном доме с красивым балконом, который нависал над персиковым садом. Пятеро ее сыновей погибли на фронте.

У порога тетя всегда обнимала и целовала меня. Я догадывался: так она встречала своих сыновей, а вот теперь и меня.

А когда я входил в комнату, дядя немедленно распрягался:

— Ну-ка, Марьям, подай старшему брату чаю.

— Да я руки не помыл еще, дядя.

— Трудовые руки не грязные, сперва попей.

Чайник в доме дяди не переставая кипел на печурке. И я вечно боялся — в один прекрасный день моя подруга Марьям может ошпариться. Спешил палить себе чаю сам. Но дядя тут же грозновато покашливал, и когда ему надоело все это, он сухо отрубал:

— Человек с детства становится человеком.

---

<sup>1</sup> Трехи — лапти, сплетенные из сыромятной кожи.

...Я шел по холодному лесу, чутко прислушиваясь ко всему вокруг. Я несколько не сомневался, что, поднимаясь на хребет, вскоре окажусь у Вороньего камня. У подножья горы покоился холодный водоем. Через узкое ущелье переброшен выдолбленный ствол могучего дерева. Над бездной его поддерживали не стальные тросы, а веревки, сплетенные из конского волоса и бычьих жил.

По дольбенке, как по желобу, течет вкусная целебная вода. Отсюда по пазомам и изгибам гор, по ущельям и теснинам, сыновья деда, а среди них и мой отец, за десятки километров привели эту святую водичку в родную деревню.

«Эх, дядя, дядя, и чем ты недоволен? — думал я, передразнивая его: — «Пот мой и пот моих отцов в каждой пылинке». Как это здорово — оставить потомкам о себе память. Пусть могилы сровняются, забудутся, но только не добро человека. Вода эта останется. Она всегда будет нужна людям». И так мне стало горько и обидно, что я еще ничего не сделал и, видать, никогда ничего не смогу. Отец, кто же я есть?!

И невольно посмотрел на себя со стороны. Будто это уже не я шел, а *он*. В *его* походке необычная легкость. *Он* точно не поднимался отвесно — без всяких усилий перекладывал тело с одной ноги на другую. Густые волосы в крупных кольцах. *Он* дышал глубоко, тонкие ноздри узкого с горбинкой носа раздувались в такт упругой поступи.

Трудно угадать самого себя: *он* — это я, но и я уже не я. *Ему* еще лет шестнадцать.

Я знал, что творилось в душе у *него*. Но *он*, как и я, старался не ворошить то, что нельзя трогать, то, что принадлежало лишь *ему* одному. Что прожито — не забыто и не забудется. Клеймо всегда жжет... Я нечаянно потрогал шрам на правой щеке. Попутчик мой сделал то же самое. Это еще не худшая метка: не безобразит, а украшает. Расплата за преданность, за привязанность...

Я помню, Костыль подобрал *его* еще мальчонкой на вокзале захолустного городишки. Было *ему* почти восемь. Смазливая мордочка, большущие глаза цвета спелых фиников. *Он* отстал от поезда. В душном вагоне, набитом битком, их везли из блокадного Ленинграда в Туркестан. Поезд долго стоял на станции. Дул жаркий сухой ветер; песчаные вихорьки крутились юлой между рельсами, отрывались от земли и плеслись вдоль состава серым жгущим облачком.

Какие-то чудные старики с бородами, в халатах, подпоясанных платками, сидели по-турецки, обутые в ичиги,

и торговали вареной кукурузой, крохотными лепешками и молоком.

Ничего ему так не хотелось, как молока. Незаметно для взрослых он оказался сперва в тамбуре, затем по вагонным ступенькам сполз на платформу. Еще переставляя ослабевшие ноги, он побрел к базарчику.

— Дяденька, дай молочка,— попросил он у старика, у ног которого блестел из жести бидон.

— Кыш,— прогнал его хозяин бидона, бормоча что-то недовольно на непонятном языке.

— Э-э, ака<sup>1</sup>, зачем обижаешь малыша? — вдруг над ним раздался добрый голос, и чья-то рука погладила его по бритой голове. — Да ты откуда взялся такой заморыш?

Он показал на состав.

Высокий незнакомец мрачно кивнул. И только тут он заметил: тот, кто его спрашивал, опирается на костыль. На гимнастерке нашиты три разноцветные нашивки за ранения. Из распахнутого ворота виднелись бело-синие полоски тельняшки.

Для него потом этот одинокий одноногий по кличке Костыль станет самым дорогим человеком на свете. Он его полюбит той преданной любовью, на которое способно только детское сердце. Главари шайки воров «Черная кошка» будет ему матерью, и отцом, и братом. Три года они будут просиживать на тротуарах, у арыков и кланчить. Они не нуждались в тех грошах, что прохожие бросят им в кепку; не жалость людскую, не деньги вымалывали, а чутко следили за домом, который неспроста им приглянулся.

Пройдет время, и Костыль твердо скажет братве:

— Завязываю. Хочу пожить для пацана... Своего потерял, хоть этого вытяну. Нам пора в школу.

А через неделю, уже на берегу Волги, грянули два выстрела. Костыль уронил удочку и простонал:

— Беги, убьют.

Он не послушался, звал на помощь, прижимая голову Костыля к груди. Третья пуля обожгла ему щеку.

Да, это был я. Мне шестнадцать, и восемь из них я не знал, что такое отчий дом. Изгнанник, изгой... Пацухт...

И не знал, что на восемь веков опередил меня поэт, сказав: «Я, разделенный на большие расстояния, увижу ли себя вновь единым...»

Так я шептал, неприкаемый; так оттаивал слезами

<sup>1</sup> Ака — уважительное обращение, дядя (узб.).

сердце, людьми подобранный; так я думал, идя на свет моей будущей жизни.

Мне стала вдруг понятна простая истина: кто хоть раз окунулся в великую реку Горя, тот может чувствовать и думать одинаково...

Шестнадцать лет... Наступила весна пятидесятого, сердца века. Медленно, долго выдородавливал я.

Два выражения на одном лице:

Одно — грустное, другое — гневное;

Две укоризны вместо одной:

Одно — авось да сбудется, другое — может быть, свершится;

Два вопля в одних устах:

Один полон скорби, другой — негодования;

В одном сердце два чувства:

Одно — смутная надежда, другое — подлинная потеря;

Ужасного вида сизое облако с двумя лпынями:

Один — из стрел, другой — из камней;

Страшный гром с двумя последствиями:

Пошел град, и полился огонь;

Скорбная ночь с двумя несчастьями:

Одно — плач, другое — смерть;

Утро траура с двумя предостережениями:

Одно — укоризна, другое — угроза;

Два солнца в двух концах света:

Одно несет мрак, другое сжигает.

Обида и злость во мне вскипали, как и прежде, но все реже и все тише; постепенно люди для меня переставали быть зверьми. Их жалость, их печальные глаза, их осторожная улыбка — обман. Так мне казалось когда-то. Все они одним миром мазаны: лгут и верят свято в собственную ложь. Так мне думалось порой. И дядька хорош — своя кровь, а поносит отца. Все не может понять, с чего это отца считали кристальным человеком, умным...

— Ум уму разница, — повторял без конца амин. — Не за свое дело взялся думать обо всех, страдать за других. Это удел астава, и пусть бог решает, подсказывает, находит. А что отец нашел для себя? Пулю в лоб. Была брешь, а пошел добровольцем. Ум — тогда ум, когда по-житейски крепок, когда мозги работают для себя. Что напустил на черный день своей семье мой брат — тюк несчастья? Жена с голоду умерла, сын бродягой заделался. Нет, несумный был твой отец, коль позволил себя уничтожить.

Вот и верь после этого дядиным слезам...

В чулане я нашел испорченный патефон, постепенно я его наладил. Заведу — диск вертится, а слушать нечего.

Не было пластинок. А тут как-то послали меня в поселок за красным холстом для лозунгов. На сдачу мне разрешили пообедать. Трудодни я получал жалкие, львиную долю записывали на потом, в долг колхозу. Ни гроша у меня не было, а просить у дяди даже в голову не приходило. И тут такой случай — вместо еды приобрел пластинку. Она оказалась единственной на русском языке, непонятно, как попала в армянскую глухомань... Пела Русланова. Марьям, наклонившись к самому патефону, словно тростничок на ветру, могла без усталости слушать музыку. С утра начинала умолять, чтобы я открыл свой «чемодан» — так она называла патефон. Полюбилась пластинка и ами. Боясь, что мы в конце концов ее расколем, он строго-настрого приказал: без него музыку не трогать.

— Сколько печали в голосе, — восхищался он, утирая слезы, — у русских, оказывается, тоже грусти хватает. Джан, эй джан! Как поет человек, всю душу разворачивает!

Пройдет много лет, и мы с Марьям — уже моей женой — привезем по одну магнитофонную запись Руслановой. Расскажем дяде все, что удалось узнать о певице. И он будет плакать своими ослепшими глазами, приговаривая:

— Ах, сукни сын, разве можно упрятать под замок то, что принадлежит всем людям! Какое горе быть зрячим слепым!..

Волк посмотрел на меня с той же мольбой и отвернулся.

— Каштаночка, не бойся, я тебя не трону, — повторил я.

От страха дрожали ноги, но я подошел к хищнику вплотную, ни на секунду не прекращая ласково приговаривать. Тот лежал смирно. Тогда я приложился к валулу и попытался его столкнуть, но по тут-то было. Стал искать вагу. Волк поднял голову, в глазах зверя было только молчаливое терпение.

И когда наконец мне удалось хоть капельку качнуть валул, в глазах зверя я прочел надежду. Я подбадривал его добрыми словами. С детства меня били, колотили, мучили, издевались, смеялись, презирали... Все было, я прошел через все круги ада, и не Вергилий у меня был гидом, а всякая шпана.

И совсем уже отчаялся, готов был бежать в деревню за помощью и тут, не веря своим ушам, услышал громкие голоса.

— Эй, эй,— позвал по-русски, на родном своем языке,— сюда, сюда!

Мужики остановились, но дальше не тронулись с места. Они меня не понимали. Тогда я во всю глотку заорал:

— Ка-ра-ул!

На мое счастье, мужики были из нашей деревни, они принуждены были мне на помощь. А у меня, как назло, вылетели из головы все армянские слова, и я им по-русски... А толку нет.

Волк напряженно следил за нами. Это был взгляд умного, мудрого зверя. Я показал на валун, сделав руками движение толчка. Самый старший кивнул головой.

— За ежом, видать, охотился,— сказал он.

И я его понял.

Было все это потом, а тогда, в ранний весенний день, я проклинал во гневе свою судьбу и так забился, что незаметно вышел к Вороньему камню. Набрал в бутылку пивок и пустился по кратчайшей дороге домой. Но, видать, и Вороний камень неспроста назван вороньим. У самой опушки небольшого лесочка мое внимание привлёк огромный табор ворон. Крикливая стая бестолково кружилась над плешивой поляной, оканчивающейся крутым спуском. Приглядевшись, я увидел в этом ералаше свой особый порядок. Меня засло любопытство, и я поплелся туда, где, по моим наблюдениям, шел бой. В этом я не сомневался...

У птиц, разделившихся на несколько групп, была настоящая тактика. Одни отвлекали, другие нападали, а третьи выходили из атаки. Четкая последовательность поражала. Вороны — осторожные птицы — так увлеклись азартом охоты, что не обращали на меня внимания. Я попытался разгадать, с кем же они так неистово сражаются, и вдруг увидел волка. Он лежал странно, на одном боку и, ощериваясь клыками, рвался в бессильной ярости, шерсть на нем стояла дыбом... Он отчаянно отбивался от воронов, но птицы, видно, его уже крепко потрепали.

Первая мысль была бежать. Но тут я заметил увесистую корягу, схватил ее и с диким ревом, которого сам не ожидал от себя, бросился на волка... Вороны шарахнулись враспыльную. И тут мне все стало ясно: одна лапа у волка была придавлена огромным валуном. Хищник спружинился, словно готовясь прыгнуть на меня, потом вдруг расслабился.

В его красных глазах я почувствовал человеческую

мольбу о пощаде. Не знаю почему, но я его ласково позвал:

— Каштаночка, Каптаночка!

— Странно, как мог скатиться такой валун? — удивился тот, что был помоложе.

— Как, как? А так, видишь, глину вода подмыла.

— Гы, — ответил на это младший и спросил меня: — А что, не боишься волков?

— Боюсь, — признался я вдруг по-армянски.

— Гм, — молвил он еще раз и бросил грубо старшему: — Улавливаешь, в роду у Арташеса все с приветом?

— Это еще почему?

— Один человека подбирает на дороге, другой волка спасает. Нет чтобы огреть зверя по башке. За шкуру иныче хорошо платят.

— Ты прав, — подтвердил старший.

Дальше я не дал ему договорить, накупился:

— А ну чешите подобру-поздорову! Душегубы, фашисты! Что стоите?

— Послушай, ты, Давид Сасупский<sup>1</sup>, — рассмеялся старший, — ругайся по-армянски, да. Тогда и мы ответить сможем. А теперь — взялись! — Он грудью налег на валун. — Пошел... Вот так...

Волк вскочил, поджав переднюю лапу.

— Дай посмотреть, — протянул я руку.

Но волк нагнул голову и не спеша потрусил в лес. Воропы подняли немой крик.

— Такую добычу упустить, — жалеючи протянул младший.

— Прикуси язык! — прикрикнул на него старший. — Ничего ты не понял, а жаль. Пошли, — и он положил тяжелую свою руку мне на плечо.

У мельницы я замешкался. Нам полагалось полмешка муки, и я решил прихватить, чтобы не тащиться за ней специально. Мои спутники растворились в вечерней мгле. Мельник ужинал, пригласил меня сесть за стол, но я отказался — и так задержался.

Когда я подошел к дому, у ворот меня ждали не только тетя и Марьям, но и дядя.

— Где ты ходил? — строго спросил дядя.

Я вытащил из-за пазухи бутылку с пивками.

— Кто тебя просил? — голос ами дрогнул.

<sup>1</sup> Давид Сасупский — герой армянского пародного эпоса.

— Я решил...

— Ах, ты решил! И с волком тоже сам решил?

Я молчал.

— Надо же, на мою погибель свалился такой шалопаи. Хорошо, — сказал дядя уже помягче, — не хочешь отвечать, иди домой. И кто такого создал?

— Брат твой, вот кто! — не скрывая радости, воскликнула тетя. — Такого еще не было в вашем роду.

— Также мне еще скажешь, — огрызнулся дядя. — Весь он в бабу.

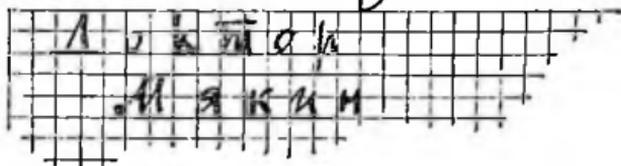
Тетя не слушала его, целовала меня, спрашивая:

— Голодный небось, а? Целый день ничего не ел...

— Авант, — раздался дядин голос с крыши хлева, — отнеси пемного муки Аршалуйе и скажи ей — пусть успокоится: появился наш пепутевый.

Всю ночь на пригорке у родника выли волки. Собаки отмалчивались. Значит, пока наступил мир. Засыпая под вой, я думал: «Где-то здесь, в горах Армении, был прикован Прометей, принесший людям огонь. О, как бы я хотел стать доброй искрой его пламени! Благослови нас, отчий дом!»

# Владимир Мухомин



В ту предвоенную пору мы оба были начальниками участков: я — третьего, он — четвертого, на одном крыле шахтного поля. Напротив первого из них находилась обогонная выработка, где распределялся порожняк. В этой машинист электровоза делил состав: положенное количество вагонов оставлял третьему участку, а остальные гнал дальше, на четвертый. Порожняка обычно не хватало, и это служило поводом для постоянных раздоров между соседями. Противоборствующие стороны даже дежурство установили, чтобы все честь по чести было. И когда, приняв дела, я впервые появился в своем подземном хозяйстве и начал забойщику указывать, как надо крепежнику раму ставить, бригадир — опытный, в годах шахтер — прозрачно намекнул:

— Во всем, о чем вы толкуете, мы и сами как-нибудь разберемся, а вам следовало бы заяться порожнячком. А то наш сосед небось на обгонной уже орудует.

Начальник четвертого и в самом деле оказался на рас-предпункте. Среднего роста, плотный, как бы вырубленный из комля дуба, он стоял у семафора и вслушивался в гуд приближающегося поезда. Мы виделись на наряде у заедующего шахтой, там уже узнали о должностном положении друг друга, но познакомиться лично не успели. Заметив меня, он шагнул навстречу, протянул короткопалую пятерню:

— Мякин.

Моя рука будто в тиски попала. И то, что я не только не вскрикнул, а даже виду не подал как-то сразу — я уловил это, — расположило его ко мне.

— Какой у тебя паряд? — с первых слов перешел на «ты» Мьякин.

— Двести тонн.

— У меня — сто тридцать. Так что, если по справедливости, надо бы...

— А как же иначе?! Только по справедливости: две вагонетки тебе, три...

— Полуидра! — не дал договорить мне Мьякин, и его добродушное до того лицо — грубое, с приплюснутым носом, угловатым лбом, широким, с ямочкой, подбородком — стало насмешливым. — Кроме паряда у меня еще и должок есть. Порядочный должок! Покрывать его падо. А потому исполу делить будем.

— Как то есть исполу? — вспетушился я.

— А так вот: один — один. Ясно-понятно?

Я растерялся.

— Не папнкуй, — стал подбадривать меня Мьякин, — ты новичок, с новичка и спрос такой... А мне секир башка сделать могут. Р-раз, — ребром ладони рубанул себя по загривку, — и этого самого наконечника, — постучал по голове увесистым кулаком, — чертма. Ясно-попятно?

Я промычал что-то невнятное, а Мьякин мое мычание за согласие принял: так-то, мол, оно лучше будет. Но тут же задумался. Косматые брови сошлись у переносицы и зашевелились...

— Нет, браток, — как бы взвешивая каждое слово, заговорил он, — нельзя тебя порожняком обделять. Новенький ты. Шахтеры за мямлю посчитают, веру в тебя потеряют. А без нее делать на шахте печего. Я — другой табак. Меня тут не первый год знают. Педодам чуток — не страшно. Так что пусть будет по-твоему: три — два. — Мьякин обернулся: — Дуся!

Шагах в семи от пас, на стойках, сложенных у стенки выработки, сидели двое: девушка, которую окликнул Мьякин, и парень лет двадцати пяти. Увидев его, я вспомнил: бригадир и десятник, еще в парядной решая, кого послать на распредпункт, остановились на нем. И фамилию его вспомнил — Метлюгов.

Девушка была высока, стройна, и даже шахтерская роба не могла скрыть ее ладную фигуру, какую-то особую статью. Когда она приблизилась к нам, из ее глаз с огромными зрачками (в шахте, в полумраке, зрачки сильно расширяются) выплеснулось столько лучащейся сплневы, будто приоткрылось щедро озаренное солнцем майское небо.

Ненароком взглянув на Метлюгова, я понял: противостоять этим глазам мой полномочный представитель не сможет, о чем хорошо известно соседу, и потому на распрединку он назначил не кого-либо, а именно Дусю. Мякин так же твердо знал, что от меня, повника, вчерашнего студента, ему удастся добиться любых уступок. И то, что он не воспользовался этим, по-настоящему возмущало меня.

— Дуся, — вполголоса, по-домашнему обратился Мякин к подкатчице, — делай так: нам — два, им — три.

— Трофим Иванович! — вслеснула Дуся руками. — Меня же наши заключают! Еще, — она с деланным пренебрежением покосилась на Метлюгова, — разное болтать станут...

— Скажешь — я приказал. Ясно-понятно?

— А долг? — не унималась подкатчица. — Когда с ним рассчитываться думаете? Неужто так и будем задних пасти? И премни...

— Два — три! — повысил голос Мякин. — Так надо. Чтоб мне солища не видать, надо!

И Дуся сразу притихла, покорной такой стала. Внезапная эта перемена поразила меня.

Только позже, после того как я лучше узнал Мякина, все объяснилось: клятву «чтоб мне солища не видать!» он давал лишь тогда, когда от своего слова не собирался отступать ни при каких обстоятельствах.

Убедившись, что его распоряжение понятно и будет выполнено, Мякин, толкнув меня под бок локтем, заговорщицки шепнул:

— Посмалим?

I-I-бис была не газовой, в пей пользовались карбидкамп — лампочками с открытым газовым пламенем. И все же был не строгим, кто хотел, тот мало-помалу потягивал, но курить под землей не разрешалось. Правда, запрет этот был не строгим, кто хотел, тот мало-помалу потягивал, но открыто ни один шахтер этого не делал, а надзор — тем более.

Зашли в уже пустовавшую, но еще сохранившуюся трансформаторную камеру. Ее стены и сводчатый потолок были выложены из тесаного камня и густо побелены известью. У противоположной от входной двери стены стояла наспех сколоченная скамья. На пей мы и расположились. Мякин достал из кармана банку с плотно закрывавшейся (чтобы не проликала подземная сырость) крышечкой. По камере распространился крепкий дух саратовской махорки. Плоская пружина прижимала к внутренней стороне крыш-



ки стопочку косо нарезанных полосок газеты. Свернула по козьей ножке. Мякин самозабвенно затыпулся, сладостно закрыл глаза, с удовольствием крикнул.

— Хо-ро-ш-ша махорочка!

— Хороша! — подтвердил я, захлебываясь кашлем.

С обглопной донеслись ввизгивающие тормозов, звон вагонных сцепок. Потом снова послышался перестук колес — укороченный состав умчался на четвертый... И наступила та подземная тишина, которую нельзя сравнить ни с какой другой. Не раз мне случалось с кем-нибудь из друзей коротать ночи вдали от жилья. Выпадали такие мгновения, когда, казалось, вся окружающая нас живая и мертвая природа исчезла, перестала существовать. Но тишина в стенах или в горах, на берегу реки или в пустыне, какой бы глубокой она ни была, действует на человека иначе, чем беззвучье в земных недрах. Ночная тишина под открытым небом располагает к мечтательности, к этаким элегической грусти, к неторопливому разговору о чем-нибудь возвышенном или к окрыляющему душу молчанию, которым человек не тяготится. Под землей же полная тишина пастораживает, а если она затянется — даже угнетает человека. Шахтеры не любят ее. Если двое оказались в далеком забое и делать им, допустим, печого, а уйти на-гора нельзя или невозможно, они, чтобы избавиться от обступившего их безмолвия, непременно заведут разговор.

И пусть шахтеры почти не знают друг друга — они открываются в самом сокровенном, в чем на поверхности никто бы из них не открылся. Никому. Ни за что.

Мы тоже не были исключением. Как только установилась густая, почти осязаемая тишина, оба почувствовали какую-то душевную неуютность, и каждый из нас, уйдя в себя, искал повод для разговора. Задержав взгляд на треугольнике матросской тельняшки, что, словно клин, раздвигал лацканы шахтерской куртки Мякина, я дал ему такой повод. Губы Мякина тронула едва уловимая прощеская улыбка, смягчившая черты его лица, сделавшая их более привлекательными.

— Вторая кожа, — похлопал он ладонью по тельняшке. — Полизав с ней не расстанусь. — Уточнил: — Без малого полжизни. Перед тем как с корабля по фронтам гражданки разлететься, клятву мы друг другу дали: жить и в жизни уйти в тельняшках и до последнего часа сберечь под ними души революционных матросов.

Помедляя, Мякин продолжал:

— Да, браток, был я морячком. На Балтфлоте. В семнадцатом, после Февральской, большевиком стал. Охранял Смольный. Зимний штурмовал. С Юденичем под Питером счеты сводил. Мятежников из кронштадтских фортов выколупывал. С Деникиным и Врангелем дело имел. А когда барона тоже вышвырнули — с басмачами привелось познакомиться. На коля сел, шашкой махать научился. Случалось и на верблюдах в атаку ходить.

Расквитались с басмачами — на мирный фронт отрядили, сюда направили. И назначили... Кем бы, ты думал? Хо-хо-хо, — как ванька-встанька, закачался Мякин, — заведующим здравотделом! В Совете бывший красноармеец председательствовал. И грамотешкой равны мы были — три класса церковноприходской школы. Начал было я упираться: в посу, мол, у меня не кругло, чтобы лекарскими делами ворочать. А он: «Ты большевик?» — «Большевик», — отвечаю. «Мы, большевики, — говорят, — вместе с трудовым народом четырнадцати державам «пить дали», белых генералов и черных баронов расколошматили, от всякой бандитской сволочи землю нашу советскую очистили, а ты с лекарями бописья не совладать? Да какой же ты, позволю узнать, есть большевик?»

Короче, взялся я за медицину. Стал разузнавать, что к чему. Выведал: до революции на руднике, да, считай, и на сто верст в округе, был один-единственный медицинский пункт и что-то вроде аптеки при нем. А как началась революция, и это учреждение закрылось — его работникам платить некому стало. Фельдшер неведомо куда испарился, аптекаря урюком, махоркой да еще кое-какой мелочовкой приторговывала. Я — и пей. Женщина оказалась толковой и сознательной. Согласилась к прежнему своему делу возвратиться. И адресок фельдшера, бывшего завпунктом, раздобыла. В далеком горном кишлаке от голода он спасался.

Доставил я его самолично, кибитку попросторнее подыскал — много их тогда нустовало, — в порядок ее привел, приказал: «Лечите!» — «Не можем», — отвечают в один голос. «Как это не можете?» — перехожу на бас. «Нечем. Лекарств никаких нет». — «А где их взять?» — «В Ташкенте», — говорят.

Неделю, помнится, письмо сочинял. Всем Советом. В нем говорилось, что «нодлое наследие царского режима — малярия истязает героических шахтеров, самую надежную опору Советской власти», а также и про другие

болезни в окрестных книжках некоторые цифры приводились. Иначе говоря, то что надо нисколько не получилось.

На три дня раньше срока, который я определил, мои кадры из командировки возвратились. Захожу на медпункт — оба так и сияют. «Сверх всяких ожиданий», — бормочет старик, а помощница его малинкой заливается и на свою половину меня замазывает. «Понимаете, даже спиритус виши ректификатум дали. Пятьдесят килограммов!» — шеннула, когда отвернулась фельдшер. Затем достала тонкий, с делениями, стакан, нацедила в него ровно пятьдесят граммов, поставила передо мной и мило так улыбнулась: «Кушайте на здоровье». Должен сказать, что аптекарша привлекательной была. И вот разыграло во мне мое матросское ухарство, удивить ее захотелось. «Лей, — говорю, — до верхней отметки». А там цифра 250 стояла. Вижу, оробела хозяйка, заколебалась. Но палила. «А теперь, — подсказываю, — аквы достиллятки давай». До той их поездки, — посылал Мякин. — в аптеке ничего, кроме дистиллированной воды, не было, поэтому я ее латинское название и запомнил. Хлюпнула она в другую посудину этой самой аквы, поставила передо мной и смотрит, ждет, что делать буду. Поднял я стакан с тем спиртягой и — единым духом. Залил его глотком дистиллированной воды, поклонился по русскому обычаю благодарствую, мол, за угощение. А она смотрит на меня во-от такими глазницами, — Мякин, сложив кулаки вместе, показал, какими глазницами смотрела аптекарша, — и ни слова сказать не может. Сделал я ей ручкой и по ступенькам — вниз, на улицу. Часа в два это было. Жарища — аж губы трескаются. А солнце... В общем, рухнул я поперек тротуара. Если б не аптекарша, может, и дошел бы... Она возле окна стояла, за мной следила. Как заметила, что я киль показал, выскочила и — к прохожим: «Граждане, товарищи, доктору Мякину плохо, помогите в медпункт доставить».

То, что переносили, сразу смекнули, почему мне скверно стало.

Часика три всхрапнул в холодке с мокрой тряпкой на голове и вышел как ни в чем не бывало. А худая слава к тому времени уже весь рудник обескала и в ушах моего начальства засела. Назавтра потребовало оно раба божьего к ответу. Хо-хо-хо. — закачался Мякин, — с должности кышпули, а титул остался. До сих пор — зови сколько прошло! — все меня доктором Мякиным называют. И стар и млад. Ты еще не слыхал?

— Нет, — неуверенно отозвался я.

— Услынишь, — заверил Мякин и, точно вспоминая что-то, задумался.

Немного погодя заговорил опять:

— Это сейчас я похихатываю, а тогда не до этого было. Челюсти от злости перекашивало: меня, революционного моряка-балтийца, который на фронтах гражданской самые что ни на есть дырки грудью своей затынул, кроль за нашу Советскую власть пролил, снять с должности «как опозорившего себя»! Каково это? А? Каково? — как бы запово переживая свое (в прямом и переносном смысле) падение, случившееся более полутора десятка лет назад, негодовал Мякин. — Думал: не переживу той обиды. Пережил, — повеселел он. — Поступил сюда, на I-I-бис, — будто снова на свой революционный корабль возвратился. Ведь моряки и шахтеры — это же близнецы по натуре. Точно тебе говорю. Был тем и другим, знаю. Потому и говорю. Подружился с одним, другим... Дело забойщицкое освоил. На силежку и сейчас не жалею, а тогда ее, силежки-то, вдвое больше было. Да и ссоровки — хоть отбавляй. И засветилась моя шахтерская звезда. Ярко загорелась. Так ярко, что в Ташкенте ее увидели. И повела она меня, моя звезда, из добычного забоя в кресло заведующего шахтой. Отказываться было стал, да куда там!..

— Трофим Иванович, — влетела Дуся, — конвейер забарахлил. Десятник только что звонил, вас разыскивает.

Оборвав себя на полуслове, Мякин опрометью выскочил из камеры.

...Знакомство наше после этой встречи продолжалось около двух лет. Многое рассказал о себе Трофим Иванович, но к прерванному Дусей разговору не возвращался, даже, как показалось мне, избегал его. Поступал он так, думается, не потому, что первые годы заведования I-I-бис были худшими в его жизни и вызывали неприятные воспоминания, нет. Наоборот. Насколько я мог предстать себе, общался с людьми, хорошо знавшими Мякина, и непо тогда наиболее полно раскрылся его врожденный, что ли, дар вожака, и умалчивал он о тех днях своей жизни, по моему убеждению, просто потому, что опасался показаться бахвалом: дескать, своим начальническим прошлым хвастает.

Зато бисовцы и горячки других шахт рудника охотнее всего передавали из уст в уста всякие эпизоды как раз из той части его биографии, о которой он умалчивал.

...За новое свое дело Мякин, едва возглавил шахту, при-  
нялся со рвением, ни одного порядка не пропускал. Придет  
за час-полтора до конца смены — и сразу в отчетную:

— Как делишки? Что с добычкой?

Его интересовало буквально все: не случилось ли в сме-  
не ЧП; сколько подали порожняка и спустили леса; кто  
из участкового надзора дежурит; не было ли просьб о по-  
мощи, а если были — кто, кого и о чем просил; удовлетво-  
рены ли эти просьбы. И если что сомнительным ему каза-  
лось — тотчас спускался в шахту, передко — в чем был, не  
переодеваясь. Минут за пятнадцать до гудка выезжал па-  
гора, пазывал стволовой фамилии тех, кого надо к нему по-  
слать, и направлялся к себе в кабинет.

В первые дни провинившиеся шли к нему безо всяких:  
что, мол, с вами он сделает, покричит, постучит кулаком  
по столу, потопочет да и отпустит, — так поступал пред-  
шественник Мякина. Но неожиданности начинались тут же,  
как только они переступали порог кабинета. На том пя-  
тачке, где обычно толпились, переминаясь с ноги на ногу,  
получавшие взбучку, стояли стулья; на столе — графин с  
такой холодной водой, что испарина на его боках высту-  
пала, а рядом — курево. И хозяин не метал громов, при-  
ветливо так встречал:

— Здорово, ребята! Холодничка хватите. Располагай-  
тесь. Дымите.

Необычность приема пастораживала, шахтеры быстро  
рассаживались и затихали.

— Ну, орлы — воронья крылья, — обращался к ним Мя-  
кин, — оправдывайтесь.

— Нечего вам оправдываться! — с папукным пегодова-  
нием вскакивал десятник или пачальник участка, если в ту  
смену он под землей дежурил. — Ветродуя вашего сперва  
спросите, узнайте: почему вентилятор левого крыла не ра-  
ботал? Отпалку сделали, а проветрить не могли, полсмены  
простояли. Так, ребята? — обращался обличитель за под-  
держкой к подчиненным.

— Да... Вентиляции не было, — дружно, но неуверенно  
поддерживали шахтеры начальника.

— Во, во, во! — как бы подбадривал их Мякин, а когда  
они умолкали, не спеша открывал записную книжку. —  
Взрывные работы вы закончили в 15.30. Вентилятор оста-  
новился в 16.00 и был запущен через один час две ми-  
нуты.

— И лесогопы подкузьмили, — как бы случайно ронял бригадир.

— А це, как говорят украинцы, брехня! — с ходу отпергал и эту версию Мякин, а затем по памяти перечислил выработки участка, где лежит запас крепежного леса. — Кто не верит — пусть проверит, — довольно-таки насмешливо заканчивал он.

— Да что тут голову морочить! — не выдерживал кто-нибудь из шахтеров. — Трофим Иванович сам вчера в забое волтузил, знает... И говорить надо, как было...

— А как было? — оживлялся Мякин.

— «Кошму» опустили.

«Кошмой» на I-I-бис называли полуметровой толщины прослойку породы, разделявшую два сближенных угольных пласта — верхний и нижний.

— Что ж так оплошали? — сразу становился колючим Мякин. — Шахтеры вы или кто?

— Знаешь, Трофим Иванович, — начал выкручиваться проговорившийся, — ведь «кошма»-то она не та, что при тебе была. Сыпучей стала. Чуть что — и пошла... Как труха.

— Сыпучей, говоришь? — переспрашивал Мякин, не скрывая сомнения. — Чуть что — и пошла? Как труха? С чего бы ей такой стать, а? — допытывался он.

— Кто ж ее знает, стала...

— «Кошма» и подвела вас?

— Она, подлюка...

Забойщики правду говорили: «кошма» действительно оборвалась. Но оборвалась не потому, что стала неустойчивее, чем была, а просто пообрежничали они, на авось поспеялись. Забойщикам стыдно было признаться в этом, и Мякин, щадя их шахтерское самолюбие, делал вид, что сочувствует им.

— Поди ж ты, — сокрушался он, — плет, и удержку пикакого нет. Ну а завтра-то справитесь с ней?

— Оно как сказать, — на всякий случай перестраховали себя шахтеры.

— Раз такое дело — с вами пойду. Бригадиром. Пока «кошму» не обуздаем.

— Да что ты, Трофим Иванович, мы сами как-нибудь...

— Как-нибудь, — взрывался Мякин, — вы сегодня проковырялись, помогли шахте план не выполнить, а завтра как следует работать надо.

И на другой день являлся в рабочий участок в привычной забойщицкой одежде: в фибровой каске — легкой и

прочнее она, чем кожаная, печальническая; в брезентовых (намочи — колом станут) куртке и штанах; в чупях — уютнее погам в них, не то что в яловых сапогах. На широком поясном ремне справа — чехол из сыромятной козловой кожи, в нем — топор; слева — пика бурильных коронок — перок. В одной руке кайло, в другой — карбидка с рефлектором. Не теперешняя, латунная, а прежняя, железная. Повую, из цветного металла изготовленную, единственную на шахте, Мякин в забой брать не решался — там ее запросто память можно.

— Здорово, мужики! В артель свою примете?

— Принимаем! — в тон ему отвечали забойщики.

Но им не до смеха было. «Осрамит нас Трофим Иванович, — про себя думал каждый из них, — как пить дать осрамит».

А начальник участка суетился, распорядительность свою показывал, но Мякин вроде бы и не замечал его вовсе. Спросит, что бригадир у знает положено, скомандует:

— Ну, орлы, айда!

Лаву сперва обходил с бригадиром, который сдавал смету, проверял, все ли закреплено, не подбучен ли углем конвейер, работает ли; есть ли крепежный лес; не пробит ли бурильный кабель; где глина для запывовки шпуров и достаточно ли ее. А потом уже сам осматривал. Постукивая топором по стойкам, вслушиваясь, по звуку определял: как себя кровля ведет, не нажимает ли. И лишь после этого распределял людей по рабочим местам, а бригадира оставлял при себе, чтоб находился рядом и наблюдал, что делает он.

Работал Мякин с каким-то веселым азартом, будто установка крепи, бурение шпуров, разборка забоя после взрывных работ, навалка угля на конвейер были для него захватывающей игрой.

Его одержимость передавалась бригаде. И оттого, что работа ладилась, дарила радость, давала возможность раскрыть, показать лучшие свои качества, даже самые неопытные шахтеры проявляли такую споровку, что сами в себе начинали уважать мастера, а человек, у которого пробудилось уважение к себе как к мастеру, уже не сможет делать свое дело кое-как, спустя рукава.

В самом незавидном положении оказывался бригадир. Он должен был находиться возле Мякина, слушать его команды, изучать его приемы и мотать себе на ус. Пытка бездельем для рабочего человека — самая жестокая пытка. И по

всякий ее выдерживал. «Трофим Иванович,— просился бедолага,— понял я, все понял». И Мякин сдавался. Но прежде чем уйти, собирал вокруг себя бригаду.

— Вот что,— обводя неторопливым взглядом разгоряченные, покрытые черной росой лица, говорил он,— позора нашего я не хочу, и если спросит кто, чего, мол, завинахтой чуть ли не всю смену у вас в лаве торчал,— скажите: упражнялся, чтоб геморроя не пажить. Ясно-понятно?

— Спасибо, Трофим Иванович!..

Предметные уроки, преподанные Мякиным любителям вылезать из воды сухими, хотя и не афишировались, но стали на шахте известны каждому. Все также знали, что ни одно горячее дело из его рук не выскользнет, что с равной виртуозностью он умел управлять электровозом и лошадью (на I-I-бис паряду с электровозной была еще и конная откатка), настлать рельсовый путь, поставить крепь, спалить канат, нарастить кабель. И потому, что провести Трофима Ивановича было невозможно, он всегда знал истинные причины неполадок и принимал решения с открытыми глазами. За десять лет работы на I-I-бис Мякин хорошо изучил ее «узкие» места и начал постепенно «расширять» их. Года через полтора после его назначения шахта устойчиво «села» на план. Выпадали сутки, когда она работала особенно хорошо, а если, придя утром на паряд, Трофим Иванович узнавал, что за минувшие двадцать четыре часа не только аварий — даже нарушений никаких не было, немедленно вызывал завхоза:

— Сергенч, «байду».

Час спустя под окнами кабинета появлялась двуколка, нагруженная свертками и кульками. Мякин вскакивал на облучок, отпускал вожжи. И двуколка, которую он почему-то называл «байдой», мчалась в раскинувшийся внизу поселок, в ту его часть, где жили шахтеры I-I-бис. Завидев боконогую ватагу, вкладывал пальцы в рот, резко раздувал щеки. Услышав пронзительный свист, гнетой замирал как вкопанный, а обгоревшие на солнце сорвапцы опрометью бросались к Мякину. Ватага останавливалась в двух-трех шагах от «байды».

— Здорово, чапасвцы! — выбрасывал вверх кулак Мякин.

— А-а-а-сте! — как эхо отзывались ребята.

Потом две-три минуты шло взаимопознание. Мякин, широко улыбаясь, отчего лицо его становилось беспечно-веселым и в то же время немпожко грустным, смотрел на

детей, а те, приподымаясь на цыпочки, нетерпеливо заглядывали в «байду».

Первым заводил разговор Мякин.

— Ты — сынок Нияза? — спрашивал он смуглокожего выхрастого подростка, хотя хорошо знал не только в лицо, но и по имени жен, детей, суженых и родителей всех бисовцев.

— Ниязов, дядя Трофим Иванович, — почтительно отвечал, опустив глаза, уличный заводила, первенец проходчика Нияза Аншрова, терзаясь одной мыслью: что подарит ему заведующий шахтой? А может, ничего не подарит?

— Тебя Шакиром, какись, назвали? — все так же широко улыбаясь, продолжал Мякин.

— Шакиром, дядя Трофим Иванович, Шакиром, — весело отвечал малец, заметив, что рука Мякина потянулась к вороху кульков и свертков.

— Вот, Шакир, подарок тебе, — протягивал Мякин увесистый кулек рахат-лукума.

Малец проворно выхватывал его из рук Мякина, точно боялся, что тот передумает, и пятился, пропуская вперед товарищей.

— Шакир, — останавливал его Мякин, — почему же ты не узнал, за что я сделал тебе такой замечательный подарок?

— За что? — спрашивал сорвиголова, оставаясь на почтительном удалении.

— А за то, — отвечал Мякин, — что твой ата — якин работник, батыр у тебя ата! Понял? Будь и ты таким. Смотри, отцу-то наш разговор передай. И матери. И бабушке. Всем расскажи, какой у тебя ата. А ты, — переводил взгляд на белобрысого, голубоглазого, с облупившимся носом пацана, — забойщика Ивана Гутькина наследник? Ух, какой у тебя тятка! Слышал сказку про Илью Муромца? Так вот он — как тот Илья. Крепкий мужик и работник — дай боже! — В руках у белобрысого Васи оказывались двенадцать припичных лошадок и боцманский свисток. А Мякин уже подманывал к себе пальцем робкого долговязого подростка. — Микола? Папаса Кухаренко хлопчик? Деряки подол. — Мякин высыпал в него пригоршни леденцов, приговаривал: — Добре работает твой тато, добре. Хороший шахтер твой тато. Хороший!

Детей собиралось все больше и больше. Мякин съезжал на обочину, останавливался где-нибудь в тени карагача и продолжал одаривать запыхавшихся — так спешили к нему — мальчишек и девчонок. И вокруг уже лихо заливались

дареные свистки и сопелки, ухали хлопущки, стрекотали пулеметы-трещотки, ржали глиняные лошадки, кукарекали петушки.

Было весело, как на деревенской ярмарке. Наделив последнего несовершеннолетнего бисовца. Мякин махал на прощание кепкой и, шевельнув вожжию, продолжал путь.

Увидев издалека поселковую красавицу Халиму, совал в кармап низку бус, останавливал Гнедка и шел ей навстречу.

— Здравствуй, Халима! — раскидывал оп руки, точно хотел обнять ее.

— Здравствуйте, Трофим Иванович, — с достоинством отвечала красавица, и Мякин, встретив ее неприступный взгляд, вытягивался в струнку и корчил такую физиономию, что Халима не выдерживала взятого тона и заливалась как серебряный бубенчик.

Мякин тоже начинал раскачиваться. «Хо-хо-хо...» — вылетало из его мощной груди.

— Поверишь, Халима, — вдруг на полусепоп переходил оп, — ты ведь еще красивее, а потому намного опаснее стала. Совсем засушила-извела нашего Сеню Клевцова. Смотри, девка, загубишь такого парня — потребую, чтоб тебя с рудника выселили.

Халима теребила пальцами пояс платьпца, неуверенно улыбалась, не зная, какно слова Мякина ей приипмать всерьез, а какне — в шутку.

— Неужто не по душе тебе Сеня? — не отступал Мякин.

— А пусть оп сам об этом спросит, — озорно роляла Халима.

— Будто и не спрашивал? Ах, растяпа! — пенодделью возмущался Мякин. — Да какой же оп шахтер? Я ему выговор закатаю. Скажу, чтоб на комсомольском собрапнии обсудили.

Халима снова заливалась смехом, а Мякин набрасывал ей на шею низку бус.

— Вы что? — вспыхивала недотрога, обдавая Мякина таким взглядом, от которого оп идруг съеживался и, бормоча: «Тогда до свадьбы, подарю на свадьбе», — прятал горсть стеклянных шариков в кармап.

Мякин оставался в поселке до позднего вечера. Колечпо, оделял оп не всех, да дело было и не в подарках. Доброе слово никогда в нашем народе цены своей не теряло. А Мякин хотя хорошими словами не разбрасывался, по и скаредным па пих не был. Услышит от него мать, жена, ребенок похвалу своему сыну, мужу, отцу — и другим предстанет

перед ними дорогой им человек. И он их другими глазами увидит. И прибавится в семье радости, а она лишней тощей угля обернется.

Любили бисовцы своего заведующего и между собой «нашим доктором Трофимом Ивановичем» пазывали. Чем он по душе им пришелся? Известно, не тем только, что любую подаянную работу своими руками сделать мог, и не тем, что обходительным был, хотя и то и другое тоже много значило. Главное — о людях заботился.

До него о жилье как-то и разговора не было: Средняя Азия, зим, считай, по бывает, кому потребуется угол — слепит из глины кибитку да и живет себе. А Мякин сразу, как только заведующим стал, всех обошел. Потом — собрались.

— Скверное жилье у нас, — сказал.

— Хуже быть не может.

— Что ж делать будем?

— Строить...

— А типити-мити где? Деньги, говорю, откуда взять? Индустриализация страны идет, заводы и фабрики возводить надо, дороги прокладывать.

— Тогда еще малость потерпим...

— Трофим Ивапович, — поднялся коногон Герасим Румянцев, — а чего б, как у нас, в калужских деревнях, толку не собирать?

— Во! — загорелся Мякин. Он думал о том же, но ждал, чтоб мысль его высказал тот, кому на толоки эти ходить придется, отдавать им свои выходные дни и свободные часы. — Во! — повторил Мякин. — Умнее не придумаешь. Глина есть. Заберем на конюшнях навоз и объедки, наделаем саману. Из шахты негодный лесок вывозем, на рамы, двери, полы его пустим...

И дело закрутилось. Техник-строитель появился, до того досужий — ни старых, ни малых в стороне не оставил, каждому работенку нашел. И стали дома как грибы расти. Да не какие-то слепые уродцы — высокие, светлые, с водопроводом. Настоящие, одним словом. Эх и погулял Мякин на повосельях! Впрочем, и до того, как начались новоселья, его не обходили. Женятся или замуж выходит кто из бисовцев — он на почетном месте, прибавление семейства у кого — тоже, именины — само собой.

В гости с женой обычно ходил. Видная собой была женщина. Красива — глаз не оторвешь. Многие из-за нее с разбитыми носами ходили. Повстречает ее эдакий сильно вле-

чтительный гражданин — и куда там ему под поги смотреть! А дороги — камень на камне! Сногтнется — и нос разбил. Бывало и хуже... Так что Екатерина Павловна, если одна куда отправлялась, особенно в праздничные дни или вечером, когда спадает жара и народ на улицы высыпает, даже паранджу иногда надевала. А голос какой был у нее! Запоет — дух захватывает.

С Мякиным в отряде она познакомилась. Красноармейцем-санитаром служила. Там и пожепились. Сына издали. Пуля басмача его убила. До рождения. А Катя выжила! И еще, как ни странно, красивее стала. Только в глазах у нее тихая печаль поселилась — тоска по неутоленной жажде материнства. И утолить эту жажду, знала она, ей не суждено. Знал о том и Мякп.

Когда они демобилизовались и на рудник прехали, опередилась Катя детским садиком заведовать. Мякп после работы шел не домой, а к пей — с ее питомцами поиграть. Привязались к нему детшки, увидят — окружат, на колени, на плечи лезут. Насажает оп их на спину и пачнет ржать, прыгать, брыкаться. Дети визжат, смехом заходятся. Катя в такие минуты становилась еще веселей, еще улыбчивей, и тоска по материнству, навсегда поселившаяся в ее глазах, как бы уходила в глубину. Домой они возвращались поздно, а заавтра чуть свет Катя уже спешила к своим несмышляшкам.

После того как Мякп принял шахту, случалось так, что они педелями не виделись. И потому, попадая в гости, порой забывали, где находятся, — глядели друг на друга и разговаривали, разговаривали... На свадьбе молодые, залюбовавшись ими, думали: «Вот бы и нам так жть!» А языкастые кумушки подшучивали: «Уж не вас ли, Екатерина Павловна и Трофим Иванович, мы жепим сегодня?» Словатившись, Мякпы включались в общее веселье. Катя много знала песен, русские, украинские, узбекские танцы-пляски могла. Да и Мякп как ударит «яблочко», так не только пол — степы ходуном ходят. Одним словом, были Трофим Иванович и Екатерина Павловна, как теперь говорить приято, душой коллектива. И потому, если случалось так, что два торжества на один день выпадали, — те, кто устраивал их, вступали в переговоры, и, выражаясь дипломатическим языком, одна из договаривающихся сторон свой праздник переносила с таким расчетом, чтобы на нем непременно Мякпы были. Так велось, пока I-I-бпс шла вверх. А гремела она почти четыре года. Потом забуксовала...

Держался бы Мякин за свое кресло — долго бы не вылетел из него. А чтоб усидеть в нем, и хитрости-то большой не требовалось. Будь середнячком: сегодня немножко недодал, завтра — на столько же перевыполнил, а в среднем — план! И хвалить особенно не за что, и бранить нет причин. А Мякин так поставил дело, что I-I-бис вымахала на такую высоту, с которой всем видна стала. Тут начали ее, а значит, и Мякина, в паркомовских докладах да приказах то и дело упоминать, а потом и на газетных полосах. И когда ученые предложили новую систему отработки, все решили, что надо опробовать ее на I-I-бис: дай передовое на отстающую шахту — похоронят.

Суть этой системы заключалась вот в чем. Пласты Караташа достигали восьми-девятиметровой толщины. Брать их на всю мощность было невозможно. Выхватывали среднюю начку, оставляя в завале до половины промышленных запасов угля. Это уже само по себе являлось бесхозяйственностью. Но брошенный уголь, кроме того, самовозгорался, и приходилось затрачивать огромные силы и средства на тушение подземных пожаров и их предупреждение. Вот ученые и предложили вынимать пласт слоями. Хорошая система, слов нет, да непривычная. Надо бы, пока шахтеры припрорвутся к пей, план уменьшить, а его оставили прежним. И I-I-бис села на мель.

А загвоздка была в кровле. Прежде оставляли в пей толщину угля, и кровля держалась. Теперь же надо было пласт брать подчистую, до породы, а порода — «мыльлик». Удержи-ка ее попробуй!.. Стала слава I-I-бис тускнеть. Вслед за пей и слава Мякина померкла. Худая известность в силу вошла. О былой, доброй на совещаниях разных вскоре никто уже и не вспоминал. Шерстили Мякина на каждом перекрестке. Потом, сперва в паркомате, а затем и здесь, сложилось мнение, что надо освободить его от должности заведующего: инженер, мол, должен шахтой руководить, а не практик с трехклассной церковноприходской школой за плечамп.

В то время угольным рудникам Средней Азии паркомат управлял через своего уполномоченного в Ташкенте. Это только так говорилось — уполномоченный, а при нем его какой аппарат состоял! Солидное было учреждение. Именовалось оно «Уполпаркомуголь», а его руководителя называли «уполпаркомом». Титул этот носил тогда еще срав-

Хамза, еще не понявший, в чем дело — то ли па ухо стал туг, пока отсутствовал, — протиснулся вперед.

— Ну что стряслось? Зачем вы так?.. — растерянно повторил он. Тишина стояла над толпой. Только фырканье копей да крики ребятишек, голявших за жеребятами, доносились до слуха.

— Хамза, — уже спокойно и четко проговорил Сапар, положив руку на плечо друга, — ты помнишь святую заповедь степей и гор наших... Ты слышал ее не раз и в детстве, и в юности, когда мы были с тобой и вот с его отцом, — он показал на Аскара. — Его отец тогда был совсем молод, но уже был коммунистом и сражался вместе с нами, и мы прогнали с этих мест бая Торегельды. В те времена наш аул назывался именем богача Торегельды, и его земли стали нашими. Мы сами дали прекрасное имя своему аулу — Карлыгаш<sup>1</sup>. Да, Хамза, ты, как и я, знаешь эту заповедь. Не бойся врага, говорили древние мудрецы, самое страшное, что он может сделать тебе, — это убить тебя. Не бойся друга. Самым жестоким его поступком может стать предательство. Бойся равнодушного, себялюбца, который спокойно будет смотреть и на убийство, и на предательство. Он не даст капля воды жаждущему, куска хлеба умирающему. Он живуч. Он будет угождать сильным мира сего, чтобы выслужиться; обливаться грязью, клеветать, если это выгодно ему и нравится начальству; продавать и предавать людей. Чтобы самому любым способом оставаться как папа на поверхности... — Никогда Сапар-ага не говорил так долго и с таким гневом. Казалось, ему хотелось выговориться за все трудные молчаливые дни. — Самое страшное то, что и жир, и пена всегда остаются на поверхности, и только хорошая хозяйка может вовремя отделить пену от жира... Нет!. Хотя и неграмотен я, но знаю и умю отличать правду от лжи и как старый большевик говорю: не дам обижать сирот! Слушай, Хамза! Слушайте, люди! Я не дам ему ни одного зернышка, ибо он хочет отнять эти зерна у голодных детей!

\* \* \*

На следующее утро Аскар уже был на дальнем джопе. Ему исполнилось двенадцать лет, и он мог работать как взрослый.

<sup>1</sup> Ласточка.

# Борис Шушарев



## 1

Горячий ветер с пылью — вот что в этих степях самое плохое. Никакого спасу от пыли нету. Скрипит без конца на зубах — аж перья бесятся. Идешь в столовую обедать, ну, думаешь, сейчас паверну от души. А в еде опять же пыль, хоть и вкусно готовят. Как опа, черт, на кухню-то заползает? Пожуеть немного, похрустишь песком, и пропадает весь аппетит. И на руках пыль, и в волосах — расческой не продерешь, — и под одеждой всюду, даже в трусах. Смешивается с потом и раздирает все тело. А печет сверху — ой-ой-ой! Сбросить бы с себя эту просоленную рубаху, штаны, поплавать бы в прохладной речной водичке! А так что ж — можно шоферить и тут. Дороги хоть и грунтовые, но прямые и твердые, дождей, говорят, не бывает до осени...

С такимп мыслямп Веся Дубков, привыкший не унывать парепь, гпал по раскаленной казахской степи свой груженный зерпом «газон».

И еиде думал Веся о том, что, может, и не послали бы с автокомбината на целину помогать убирать урожаем, если б имел оп семью — жепу и сынка или даже двоих сынков. Или сынка с дочкой — тоже хорошо. А то, конечно, кого же и посылать как не его. Кругом один, живет в общегае. Мать не в счет — государство взяло у нее Веню на свои руки, когда он был маленький. Пристрастилась к регулярной выпивке и халатно относилась к материнскому долгу. Пришлось вырастать в интернате. Сейчас если сказать, что мать жива, то

это лишь название. Совсем отступилась от нормальной жизни, возглас в грязи и сраме. Даже бесполезно заботиться о ее существовании. Приедешь, наведешь порядок, денег дашь, а через два дня опять сплошное безобразие. Заботиться, ясное дело, надо — мать есть мать, — по одна только спокойная жалость к ней и больше ничего...

И жениться никак не выходит. Ребята, смотришь, гоп-гоп — и готово. На скольких уж свадьбах отгулял. А у самого — никак. Из себя певидный, черпавый как цыган, чего там. А уламывать не мастак. Зачем лезть, если ты ей не глянешься? Надо, чтоб ее к тебе тянуло. Чтоб все подобра. Его-то, Вепю, давно уже тянет к одной, но пока безрезультатно. Может, еще потому, что простой совсем — за модой гнаться не привык, ходит нормально.

Да... Не семейный — вот она и командировочка. Да какая! Месяцем не обойдешься. Всего два года назад отслужил в армии на Алтае, и пожалуйста — опять приходится гонять по степям. Но там подобной пыли не наблюдалось. Перелески, леса даже встречались. А здесь ровню кругом, ни единого деревца — самая настоящая сковородка.

А вообще-то разобраться — не все ли равно, где баранку крутить? С запчастями тут богато, с пропитанием тоже полный порядок. Правда, совхозное начальство жмет все время, подгоняет — давай-давай, пока погода. Вот и приходится поспеться по-бешеному. А на этих дорогах, в такой крошечной пыли, и до беды недалеко. Были уже случаи. Ну ничего. Всякое видали и на большой пыльной сковородке перетершим — авось до конца не зажаримся. Не бери в голову, как любили ребята говорить в армии. Веня улыбнулся и лихо сдвинул на затылок сделанную из газеты пилотку.

Навстречу, вздымая за собой огромные плотные клубы пыли, мчалась машина. «Урал»... — привычно определил Веня, как только увидел ее вдаль. — Не слабо парезает». Когда сблизилась, «Урал», не сбавляя скорости, посторошил пехота и совсем мало, — видать, водитель казался себе таким же мощным, как его автомобиль, и считал, что все, кто меньше, должны уступать ему дорогу. Пришлось пройти правой стороной по жестким кочкам обочины. «Наверняка из кузова сыпанулось зерно», — подумал с досадой. Веня не переносил таких пузырей безмоглых — от них на дорогах одна первоздность, а то и хуже. «Ничего, — успокоил он себя, может, еще встретимся, вмятина на крыле у него приметная».

Весь белый свет затмил поднятой «Уралом» пылью.

Солнце багровым сгустком едва проспечивало сквозь пел. Вени вслепую нащупал середину дороги — он давно уже научился чувствовать землю колесами — и иридавлял газку, чтоб поскорее вырваться из этой противной, медленно оседающей мути. Пыль уже начала рассиваться, и вдруг совсем близко возникла кабинка летящей на него машины, красновато вспыхнула и погасла во мгле ее фары. Ни свернуть в сторону, ни дать по тормозам Вени не успел. Лишь увидел на секунду судорожно сцепившегося в руль парня в солдатском выгоревшем хэбе, его искаженное ужасом лицо, и страшный железный удар потряс и смял сознание.

Очнулся Вени, когда пыль уже осела. При столкновении его вышибло из кабинки, и теперь он лежал на земле метрах в двух от своего грузовика, пеловко подвернув под себя руку. Медленно перекатившись на другой бок, Вени почувствовал вкус крови во рту, тяжкую тупую боль во всем теле и вслед затем услышал надсадный прерывистый вопль: «А-а-а! Ы-ы-ы!» И увидел, что плотно влинивший в его машину «ГАЗ-66» горит — языки пламени, потрескивая, лжгут искореженное железо кабинки. «Он же там! — Догадка пронзила мозг, заставила забыть о собственной боли. — Зажало, видать!» Вени вскочил было, хотел броситься к горящему грузовику, а ноги подломлись — прострелило до самого глубокого путра, и он упал. Мутная пелена начала сгущаться перед глазами. Наверно, кости в ногах были сильно поломаны. Вени, изо всех сил удерживая в себе сознание, пополз к машине. Подножка уже нагрелась. Обжигаясь, он оперся на нее, приподнялся и стал остервенело дергать дверцу, но та не поддавалась — заклинило намертво. Стопы внутри не прекращались. Тогда Вени прополз под своей машиной на другую сторону и попытался открыть кабинку незнакомого шофера оттуда. Но и здесь изуродованная дверца была зажата в глухую. Подстегнутый отчаяньем, Вени ухватился за то место, где выдвигается стекло, подтянулся на руках и встретил безумный, умоляющий взгляд. На заплаканном лице парня мучительно белел оскал, вдулись до синевы вены на худой мальчишеской шее. В глубине кабинки ворочалось пламя, горячий смрад царанал в горле.

— Но-огни! — без голоса прокричал парень, увидев Вени. — Зажало! Руби скорей ноги! Руби-и!..

— Сейчас, браток... — Вени задыхался. — Сейчас как-нибудь. Все кругом смяло, двери заклипило... Потерпи, братишка... Я стоять не могу. Надо из кузова. Потерпи.

Он отцепился и упал, ударившись коленями о подпожку. Опять остро стегнуло болью, но Венья напрягся жестко против нее, придавил боль всеми внутренними силами и быстро пополз к заднему колесу. Скрипя зубами и крушно дрожа от натуги и пронизывающей рези в глубинах тела, он почти на одних руках вскарабкался наверх, тяжело перескакивая через высокий борт и грохнувшись на дно кузова, опять едва не потеряв от боли сознание. Доски были горячими, один угол у кабины пылал. Венья схватил ломик, который оказался здесь, и, лежа на боку, выбил уцелевшее чудом стекло. Из кабины пахло жаром и гарью, но он все-таки собрал в себе еще сил и терпения для того, чтобы просунуться туда в лихорадочной надежде выволить парня из жуткого плена. Протиснулся, давась дымом, и увидел: тот, судорожно выгнувшись над спинкой сиденья, стремился хоть как-то защититься от огня, который уже охватил погп, льет на себя из канистры густую темную жидкость.

— Не пади! — захлебнулся визгом Венья. — Масло! Масло же!

Он сумел дотянуться до плеча водителя, схватил даже за хвост в том месте, где остался темный след от погона, и потянул к себе, но было уже поздно. Одежда на зажатом в кабине парне вспыхнула разом снизу доверху, Венья обожгло руки и опалило лицо. Венья выдрался из окошка, завыл от ужаса и пополз по горячему кузову, ощупывая ломик. По всем его нервам продолжала безотчетно и загнано метаться надежда — дверь кабины ломиком как-нибудь... Выбросив из кузова ломик, он перегнулся через задний борт, кувырком полетел на землю и после падения ничего уже больше не видел. И не слышал, как некоторое время спустя гулко рвануло бак, потом второй.

## 2

В мещерское село Прудки чете пенсионеров Потапкиных пришла телеграмма, которая содрогнула и оглушила стариков подобно резкому удару грома среди полной тишины и ясного неба.

В телеграмме сообщалось, что впуск их Потапки Вячеслав Егорович погиб трагически при исполнении рабочего долга. Выражалось глубокое соболезнование от имени руководства, партийной, комсомольской и профсоюзной организаций, всех рабочих и служащих зерносовхоза «Книжницкий», а также просили телеграфировать о возможности

приезда по вопросу похорон и, если таковая имеется, уведомить о своем выезде, чтобы там, на месте, могли встретить.

Старик медленно опустился с телеграммой в руку на табуретку, низко склонил голову и молча, словно закамнем и наглухо отрешился от всего мира. А жена его Устинья вцепилась в край стола, чтобы не упасть, и слезы потекли по ее морщинистому лицу. Она напрягалась, стараясь подавить рыдания, потому что старик был человеком суровым, прошедшим войну от начала до конца, раненым не единожды, и не любил, когда при нем громко плакали.

Устинья крепилась сколько могла, а потом не выдержала. Седая ее голова затряслась, и, топенько подвывая, старуха пошла на огород, в баньку, закрылась там в темноте, упала на колени и дала выход своему необъятному горю — зарыдала с причитающими.

А старик сидел дома все так же и думал о том, как жестоко, по-божески обходится с ними жизнь. Зла никому не делали, на чужое не зарылись, трудились-ломались в полной честности, а она гнет и лупит без всякой пощады. Была у них единственная дочь Вера, а что получилось? Душою добрая, тихая, пастырности ни на грош, вот и упустила свое время — осталась одна, замуж не вышла. И ведь не сказать чтобы какаля-то там пикудышная с виду, вроде все при ней. Другие совсем без образа и то мужиков исправных оттяпали, а тут поди ж ты... Устроилась в городе, работала там где-то по ремонту железной дороги. Ну и высняется вдруг — родила, а сама болеет. Поехал, привез их сюда. Оказывается, врачи сильно предупреждали — нельзя рожать, годы не те, поздно, беда может выйти, а Вера не послушалась, родила. Наседал на нее сначала: кто, мол, такой выискался, что за ухарь, где живет, из-под земли поганца выкопает. Но Вера так ничего и не сказала. Чахла, чахла потихоньку, а потом померла.

А Славик остался. Записали его на себя, стал Егорычем — по делу. И рос — одна отрада. Уважительный, старательный, в руках все спорилось. Хулиганства никакого. Окончил в районе училище — и хощь тебе шофером, хощь на тракторе. Кормилец настоящий. Ждали — из армии придет, этим только и жили. А он отслужил свои два года и домой сразу не поехал, устроился где-то там, рядом со своей частью, в совхоз на хороший заработок — решил потрудиться до осени. Чтобы, значит, вернуться в Прудки с деньгами, старикам в тягость не быть — одеться на свои и баб-

ке с дедом материально помочь. Вот ведь какой парень. И ждать-то немного осталось, а вон оно чем обернулось...

Егор Фомич долго сидел скорбявший, без слез, и только когда вспомнил, как Славик с первой своей полочки купил ему пиджак, а бабке веселый цветастый платок, из глаз выкатились и упали на пол две маленькие слезинки.

Вошла чуть живая Устинья, вытирая фартуком лицо, и он тяжело разогнулся, встал и погладил ее по плечу.

— Да, мать... Совсем мы с тобой обездолились. Крепись уж как-нибудь. Такое дело... Надо ехать, привезу его... А ты зови баб, готовьтесь тут.

Посоветовались и решили, что ехать лучше из Москвы самолетом — все-таки быстрее. Сняли с книжки деньги, все какие были, и Егор Фомич отправился в ночь на автобусе из райцентра.

В Москве добрые люди подсказали, как лучше добратся до аэропорта, откуда можно улететь в те места, где погиб Славик. Егор Фомич приехал в этот аэропорт и узнал там, что самолет, который ему пужеп, летит только вечером. Хотел купить билет и дать срочную телеграмму в совхоз, чтобы ее успели получить до его прибытия, однако билетов в кассе не было. Егор Фомич растерялся и стал рассказывать, сбиваясь, какая случилась беда. Молодая кассирша в красивом форменном костюме, не дослушав до конца, ответила, что могут отправить только по телеграмме. Телеграмма была при нем, и когда Егор Фомич вытащил ее торопливо и протянул дрожащей рукой в окошко, девушка быстро пробежала глазами текст и велела подойти к кассе за час до вылета.

— Мне ведь туда сообщить надо, чтоб встретили. Я там не знаю ничего. Вдруг сообщу, а вы на самолет не посадите,— охрипшим голосом сказал Егор Фомич.

— Сообщайте, дедушка,— успокоила кассирша.— Улетите обязательно.

Спокойный попятливый парень помог пайти телеграф, оформить как полагается телеграмму, и Егор Фомич отослал ее. После этого он сел на свободное место среди множества пассажиров и, опять закаменев, не видя и не слыша вокруг себя ничего, просидел так до самого вечера. А когда настала пора идти за билетом, даже удивился быстроте протекшего времени.

Билет сразу дали, и вскоре Егор Фомич уже летел в строгом чистом самолете, отвернувшись от людей, и глядел на возрастающее отчужденное земли в круглое окошко, по-

ка она совсем не скрылась под облаками. «Эка вознеслись...— думал он с горечью.— А вот чтоб каждый человек прошел свое по земле полностью, не сложил голову в самом начале, как вышло со Славиком,— этого устроить не можем. Все больше вверх и в стороны...»

Когда обходительная девушка стала разносить всем еду, Егор Фомич вспомнил — ни крошки не держал во рту с тех пор, как уехал из дома. Не хотелось есть и сейчас, но он постеснялся сказать, что ему ничего не надо, неудобно было сидеть и не притрагиваться к еде, когда так аккуратно и культурно заботятся, поэтому пришлось взять кусок курицы и жевать с трудом, стараясь не уронить чего-нибудь на пол. А потом Егор Фомич осмелился и решил, хоть и застревало в горле, съесть все припасенное, раз уж выпал такой случай,— ведь неизвестно, как там, впереди, будет, сил потребуется много, а если долго не питаться, они улетучатся.

Ступив на незнакомую, даже в темноте почти пышущую жаром землю, он с замирающим сердцем пошел вместе со всеми и в зале аэровокзала вздрогнул, услышав свою фамилию, которую произнес ровный желский голос, усиленный мощными динамиками: «Товарищ Потапкин, вас ждут справа у здания аэровокзала, около машины «УАЗ» под номером шестьдесят три — сорок восемь». Голос повторил фразу еще раз, и Егор Фомич даже огляделся сковапно — показалось, будто все вокруг знают, что эти громкие, известные откуда звучащие слова обращены к нему.

На освещенной площади перед аэровокзалом он сразу увидел в стороне зеленую легковую машину и рядом с ней двоих мужчин — один в годах, другой молодой. Оба напряженно всматривались в толпу. Егор Фомич направился к ним.

— Доброго здоровья,— сказал оп.— Вы случайно не меня ждете? Потапкин я. Прилетел вот...

— Егор Фомич? — подался навстречу и порывисто протянул руку высокий худой мужчина в соломенной шляпе.— Вас, вас ждем... Назаренко Василь Данилыч, председатель рабочкома.— И привлек к себе старика другой рукой, потеряв подбородком о его голову.— Так уж случилось... Разделим ваше горе... Соболезнуем всей душой... Эх, да что там! Пошли.

Он усадил Егора Фомича на заднее сиденье, устроился рядом с ним, и шофер, такой же молодой, как Славик, повез их по городу среди быстрого мелькания огней. Егор Фо-

ничьи о чем не спрашивал. Лазаренко тоже молчал некоторое время, боясь неудачно приступить к трудному объяснению, а потом наконец заговорил с заминками:

— Понимаете... Пришлось вас вызвать. Мы бы, конечно, отравились... Но случай тут особый... — Он снова умолк, мучительно подыскивая фразы помягче.

— Вы уж это... — выручил Егор Фомич. — Давайте прямо, по-мужицки — как и чего там... Я фронт прошел, видал всякое. Не бойтесь, не упаду.

Председатель рабочкома почувствовал облегчение от его твердых слов и угрюмо рассказал все, что знал о происшедшем на пыльной стальной дороге.

— Значит, не осталось почти ничего? — тихо спросил старик.

— Совсем мало... Вот мы и думали — может, не стоит отправлять на родню, чтоб не травмировать всех родственников. Нелегко ведь... такое. Ну и вызвали посоветоваться. Может, лучше здесь — со всеми необходимыми почестями?

— Нет, — сказал сурово Егор Фомич. — Я его домой увезу.

Выехав из города, часа два с липником ровно мчался по степи, потом впереди показалась россыпь огней, выросла постепенно, и машину приняла строгая пустынная улица. Пронеслись по ней, свернули на другую улицу, лырнули еще куда-то, и шофер остановил машину, выключил двигатель. От охватившей тишины зазвенело в ушах. У подъезда двухэтажной совхозной гостиницы их встретил крутоплечий лобастый мужик — бригадир шоферов, с которыми возил зерно Славик. Поднялись наверх и провели Егора Фомича в комнату, где было две кровати. На столе стояли закуска и бутылка водки. Старик не отказывался, он чувствовал — самое время поддержать душу, и водка поможет.

— Ну что тут скажешь... — поднялся с рюмкой в руке председатель рабочкома. — Не могу, волной все внутри... Пусть земля ему будет пухом.

— Работал-то как? — спросил Егор Фомич.

— Безотказный, четкий был парень. Души в нем не чаял... — Бригадир поднял голову, и слезы заблестели на его глазах. — Хоть и пришел к нам Славик совсем недавно.

— Вот и мы со старухой тоже... Ну ладно, светлой памяти.

Когда закусили и оттаяли темного, Лазаренко сказал,

что главным делом займутся часов в девять утра, а сейчас Егору Фомичу необходимо отдыхать с дороги, и бригадир Володя останется с ним тут.

— Со мной оставаться не нужно, — ответил старик, — у вас небось дела, свои семьи ждут. А за меня не бойтесь. Я лучше это... Один.

Они поехали и не наставляли. Показали, где паходится уборная и выключается свет, и, тяжело поведыдохав, ушли. Егор Фомич разделся и щелкнул выключателем, но темноты, которая заполнила комнату, ему показалось мало. Он лег и укрылся одеялом с головой.

Утром пришел Лазаренко и повел его к директору совхоза. Директор, немолодой уже, грузный, по полный упругой суровой силы казах, в русской речи которого почти не чувствовалось акцента, не стал говорить никаких устало-лепных для такого случая слов. Притянул к себе старика за плечи тяжелыми руками и пробормотал глухо:

— Прости, отец, что не уберегли.

Потом молча пожал руку Егора Фомича секретарь парткома.

В совхозе решено было почтить память погибшего водителя Потапкина по всем надлежащим правилам.

— Ну а сейчас что ж... — сказал директор. — Вы, Егор Фомич, побудьте пока с памп. В двенадцать соберутся все, кто может, на площади, и простимся как полагается. А ты, Василий Давылыч, подбери троих ребят помоложе да побойчее, и поезжайте — пусть сделают там все необходимое. Ящик цинковый уже готов, вчера еще звонил. И везите сюда.

— Не падо ребят, — встревоженно вскинул голову Егор Фомич. — Они молодые, зачем им страсть такую? Не видали — и не падо. Я лучше сам, своими руками... Мне не впервой.

— Ну что вы... — с болью посмотрел на него директор. — Вам же и без того тяжко.

— Ничего. Я выдержу. А их не падо.

И Егор Фомич все для последнего пути внука сделал сам.

В двенадцать на площади совхозного поселка собралось много пароду, съехались на своих машинах шофера. Цинковый, наглухо запааянный ящик поместили на табулетке перед собравшимися. Егор Фомич стоял рядом с ним и слушал, как говорят хорошие речи о Славике — молодой

шофер, потом бригадир, потом секретарь парткома и, наконец, сам директор зерносовхоза.

Лицо старика не выражало ничего, кроме суровой сосредоточенности. И лишь в тот момент, когда разноголосно взвыли гудки стоящих вокруг машин, что-то болезненно дрогнуло во всей его фигуре, слегка подогнулись ноги.

### 3

Во время помпального обеда Егор Фомич, сидя за отдельным столом с начальством, глядел в зал столовой на переговаривающихся негромко людей и в основном молчал. Только на вопросы отвечал кратко да кивал, если что-нибудь объясняли. Поэтому усталый председатель рабочкома даже вздрогнул от неожиданности, когда старик спросил его:

— А парень тот, который со Славиком столкнулся, где он сейчас?

— Жив, бедолага. Говорят, в больнице. Состояние пока тяжелое. Поправится — будут судить. Да, ведь я же забыл совсем! Следовательно из прокуратуры звонил — ему с вами увидаться надо.

В районную прокуратуру послали сразу после обеда. Следователь оказался совсем молодым. Он с печальными глазами высказал свое соболезнование и стал спрашивать, какой у Егора Фомича и его жены возраст, где они живут, а сам все старательно записывал. Потом прочитал бумагу, в которой говорилось, что Егор Фомич и Устинья съезжаются потерпевшими людьми, и опять начал выспрашивать, теперь уже о Славике: не был ли тот хулиганистым парнем, не ездил ли как дикарь на машине до армии. Старик ответил, что ничего такого за впуском не замечалось; наоборот, он отнесся ко всякой технике разумно и старательно и еще тогда успел получить благодарность от их колхозного начальства во время уборки урожая.

Следователь дал ему расписаться внизу на листке, куда занес все ответы Егора Фомича, и объяснил: потерпевший имеет право предъявить гражданский иск обвиняемому, а также той организации, за которой закреплена машина обвиняемого.

— Это какой еще иск? — спросил Егор Фомич.

— С обвиняемого Дубкова, например, можете взыскать все расходы на погребение...

— Да мы что — на свои не похороним? Чего с него

взыскивать, когда такая беда. Он сам, говорят, еле живой. Виноваты-то вроде оба. Так я слышал.

— Правила эксплуатации автотранспорта нарушили оба. Но ведь ваш впуск погиб.

— А тот если живой остался, значит, и драть с него? Мертвый виноват, и живой виноват, а родня мертвого дерет с живого. Не по-людски как-то...— заволновался Егор Фомич.

— Ну, тут вас никто не принуждает, я только объясняю. А той организации, где числился Дубков, тоже иска предъявлять не желаете?

— А организация-то при чем? Славика они не воскресят...

— Моя обязанность — ввести вас в курс дела относительно прав потерпевших. А уж вы можете поступать как считаете пужным. Больше у меня вопросов нет. Если хотите уточнить что-нибудь — пожалуйста.

— Уточнить я хочу,— сказал Егор Фомич.— Этот самый Дубков, кажись, в больнице. Как там у него?

— Повреждения тяжкие. Переломы ног, ребер, сильное сотрясение мозга. Поседел, плачет все время.

— Тут заплачешь...

Следователь промолчал. Егор Фомич тоже несколько мгновений сидел молча и вдруг объявил:

— Мне его повидать надо.

— Зачем это? — растерялся следователь.— Вам и так нелегко... На суде и увидите. А сейчас зачем?

— Как зачем? Он последний глядел на Славика. Славик на его глазах... Говорят, вызволить хотел, сам чуть не сгорел.

— Да, пытался спасти. Есть доказательства. В кузов с перебитыми ногами забрался. Но вы поймите — у человека нервное потрясение. Ему сразу хуже станет. Да и врачи не разрешат. Лучше потом, на суде.

— Какой нам еще суд — не посдем мы опять в такую даль. Мне бы его хоть как-нибудь повидать, издалека. Я людей пугром чую. Ты уж меня уважь, сынок.

— П далеко к тому же. Он в больнице километров за сорок отсюда...

— У нас машина,— сказал Лазаренко, который спделу двери и в разговор до сих пор не вмешивался.— Домчим враз.

— Ну хорошо...— согласился наконец следователь.— Поедемте, раз такое дело.

Когда ехали, Егор Фомич спросил:

— Звать-то его хоть как?

— Венямыш Иванович, — ответил следователь.

В больнице следователь отыскал доктора, отвел в сторону и долго говорил ему что-то, изредка кивая в сторону старика. Вид у врача был недовольный, но он все-таки сходил в палату — узнал, наверное, обстановку — и сказал, тревожно глядя то на следователя, то на Егора Фомича:

— Снит, слава богу. Я уж вас попрошу... Понимаю, конечно... Но состояние не из легких, и волнение ему сейчас совсем ни к чему. Так что будить не надо.

— Мы не разбудим, — успокоил Егор Фомич. — Мнотолько глянуть — и все.

Доктор, приложив палец к губам, впустил их в палату, где находилось несколько больных, и указал взглядом на койку у окна. Парень лежал на спине с закрытыми глазами. Ноги, толсто обернутые белым, были подвешены к блестящим железкам. Следователь осторожно прикрыл за собой дверь, и в этот момент парень вдруг повернул голову и посмотрел на вошедших.

Веня вовсе не спал, просто лежал, плотно сомкнув веки, чтобы хоть как-то отгородиться, спрятаться душой от белого света. И когда он увидел следователя, который уже навещался сюда раньше, то сразу понял, что это за старик пришел вместе с ним. Слезы потекли по Венямыным щекам, теряясь в подсыхающих ссадинах, и он выдохнул с глубоким всхлипом:

— И-не с-сумел... Не сумел в-вручить...

— Ну вот. — Врач с досадой махнул рукой. — Я так и анал! Все, хватит, товарищ. Попрошу вас выйти.

Егор Фомич обмерил его с головы до ног тяжелым взглядом.

— Доктора, а не создаете. Рази можно человека в таком расстройстве оставить?

Он решительно направился к Венямыной койке, пододвинул стул и сел рядом.

— Такое оно, значит, дело, сынок... — осторожно коснулся старик руки парня. — Ты уж, видать, догадался — дедка я Славика. А плакать, Венямыш, не надо. Возьми себя в руки и держись как мужик.

— Я не плачу, — сказал Веня. — А они текут и текут. Выручить не удалось...

— Да-к ведь ты все приложил. Как положено на фронте. Оно и мы, бывало, — тык, мык, а никуда не денешься.

Нас десяток, а опи сотнями прут. Выше крыши не прыгнешь. И не терзай себя так. Мы со старухой понимаем — беда есть беда. И они, — Егор Фомич оглянулся на следователя, — разберутся по справедливости. Не бойся, не обидят. Ехали одинаково, ничего не выдать. Могло и тебя вместо него. А могли и оба. Тут уж судьба.

Слезы у Вени не останавливались.

— Мать-то с отцом знают? — спросил Егор Фомич.

— Я один вырос.

— Ах ты господи. Один, значит. А вот видишь — мужик вышел настоящий. Не за себя — за других душой болеешь. Это уж ты мне поверь. Я в людях смысл знаю, повидал всяких. Только не плачь.

— Спасибо, — сказал Вени. — Плакать я не буду.

— Вот и хорошо.

К кровати приблизился доктор, и Егор Фомич поднялся.

— Ну ладно, Веньямин, мне надо ехать. А ты крепись. Вот сейчас уйдем — слезы вытри, и все. А то, видишь ты, страдание какое. — Он нагнулся и погладил Вению по курчавым, иссеченным свежей седinou волосам. — Оно, конечно, тяжело. Но у тебя жизнь впереди. Выправишься. Не выручил пынче — в другой раз кого-нибудь выручишь. Лечись тут как следует и придешь в порядок. Ну, бывай здоров, сынок. И ничего не бойся.

И старик, не оглядываясь, твердо зашагал к двери.

4

После похороп внука старикам Потопкиным стало казаться, что вставать утром, вести домашние порядки, а потом опять ложиться спать — тягостное и ненужное дело. На отведенном им жизненном пути, словно в коридоре, погас впереди свет, и идти дальше, в темноту, не хотелось.

Они вслестки скрывали друг от друга это безнадежное состояние, но проку было мало; наоборот, получалось еще заметнее. Егор Фомич чаще обычного говорил старухе бодрые слова и потому сделался непохожим на самого себя, а Устинья почти каждый день украдкой отлучалась в баню поплакать, но принять вид лица, который имела до отлучки, ей не удавалось, и старик все поппмал.

Он долго не решался рассказать Устинье о том, что виделся с парнем, столкнувшимся в дорожной пыли со Славиком, — выскдал, когда горе у нее в душе оседет поглубже. А потом накопец выбрал подходящий момент и от-

крыл, как тот, сам весь разбитый-поломаный, стремился спасти их вилка и чуть не сгорел вместе с ним и как этот Веньямин казнится теперь — шутка ли, па его глазах в мучениях погибал человек, а вызволить не вышло, вот и плачет парень, и голова поседела в одночасье.

— И раз уж повезло, не погиб — он в дальнейшем все для жизни крепко сделает. Настоящий мужик потому что. И ведь без отца, без матери, как Славик наш...

— Бог ты мой! — впервые отвлеклась сердцем от своей беды Устинья. — Тоже сирота, и припять такие мучения! Где же справедливость-то, господи? И молодой такой же?

— Видать, постарше нашего. Но пенального.

— Рассказывал тебе про Славика-то? Как, что...

— Я не спрашивал. Ему и так тяжело. Мне до этого рассказали. Плачет, не сумел, говорит, вызволить...

— Ну и чего у него — где болит-то?

— Ноги поломаны, голову трясло еще там... А потом это... Нервы его не отпускают. Плачет и плачет.

— Страсть-то какая! Сумеют хоть вылечить-то?

— Должны. Оклемаются потихоньку. Только вот судить потом будут.

— Судить? За что? Рази он парочно? Такая беда — и судить.

— Говорят, правила нарушили оба. Не остереглись в условиях. А он живой остался, — выходит, ему и отвечать. Закон такой.

— Да пеужель засудят?

— Наверяд ли. Торопились оба по делу. Молодые, ясноо дело, горячие... Но Веньямин-то себя не жалел, спасал. Разберутся.

— Дай бог.

После этого разговора Устинья нет-нет да и вспоминала со вздохом:

— Как там теперь Вельямин... Один, наведать некому...

— Ничего, — отвечал Егор Фомич. — Фамилия у него Дубков. И сам сбитый навроде дубка. Подыметя.

Прошел месяц, другой... Медленно, со дня па день пере-валиваясь, катилось пеужное старикам время.

И вдруг из Казахстана прислали повестку. В пей значилось, что Егор Фомич Потапкин вызывается в районный нарсуд в качестве потерпевшего по делу Дубкова Веньямина Ивановича. Проезд обещали оплатить.

Старик прочитал все это дважды, повертел бумажку дрожащей рукой и проворчал сумрачно:

— «Вызываешься»... Чудаки люди. Думают, нам прирука — мотаться туда-сюда в такую даль. Говорил же им — не поедем. Потерпевшие — и ладно. Мы всю жизнь потерпевшие.

Он бросил поестку на стол и пошел за подой. Больше за дель Егор Фомич не сказал по этому поводу ни слова. Устинья тоже молчала.

Ночью старик ворочался на своей скрипучей кровати, кряхтел и никак не мог уснуть. Ему вспомнился разговор со следователем про иск, и сразу пересохло в горле. «А ведь всурьез вроде тогда следователь-то, — подумалось тревожно. — Молодой, неопытный, видать... Подходу к людям пока нету. Не разберется как положено, и, чего доброго, обидят парня. Всякое бывает...»

Устинью на печи не было слышно. Но когда Егор Фомич встал и потихоньку прошел на кухню, чтобы попить холодной воды, она спросила неожиданно:

— Не спишь, Егорий? Чего не спишь-то?

Он вздрогнул.

— Чего-чего! Сама там не кукуй, и я усну.

Утром опять молчали, отводя друг от друга глаза. Первым не выдержал Егор Фомич.

— Я, мать, это... — глядя себе под ноги, сказал он. — Думал тут всю ночь. Сомнение берет... Суд — он, конечно, справедливый. Но мало ли чего... Следователь — сосунок совсем. Как бы там Вепьямина не того...

— Вот и я тоже! — живо откликнулась Устинья.

— погоди. Если, к примеру, заявим, что претензий у нас никаких нету, — куда они денутся? А то иск там какой-то... Он хлебнул — на всю жизнь зарубка останется и без всяких-яких. Так что, выходит, надо бы мне опять поехать.

— Конечно, надо. Грех его в обиду давать. Егорий... — Устинья осеклась, а потом попросила робко: — Возьми уж, ради бога, меня с собой. Тебе дорогу оплотют. А мне займем. Отдадим как-нибудь. Возьми, а то изведусь я тут одна-то. А вдвоем поохотней...

— А что! — В груди у Егора Фомича словно разжались клещи, которыми все там было сдавлено. — И поедем. Нечего тут одной. Зови Марью Кудыкину, она порядки сведет, поросенка покормит. Пустоту молоть к тебе каждый день ходит, небось и помочь не откажет. И денег найдем. Поедем, чего нам теперь...

И они поехали — на этот раз на поезде на областного

города. Устипына племянница купила им билеты и проводила. Егор Фомич послал председателю рабочкома Лазаренко телеграмму, чтоб опять там встретил.

В вагоне было много разных людей, неподалеку сидели две старушки, тоже деревенские, как выяснилось за разговором, и Устипыне очень хотелось поделиться своим горем, рассказать, зачем собралась вместе со стариком в такие далекие края. Но она знала, что Егору Фомичу это не понравится, и потому на вопрос, куда и для чего едут, отвечала скрытно: «По делу».

А Егор Фомич смотрел в окно на незнакомую природу, на дома, построенные совсем по-иному, чем у них в Прудках, и удивлялся: какая же большая держава. Едешь и едешь, и сколько уже разных земель позади, и сколько еще их будет, и предешь — там, может, только середина, а дальше опять же пространство и конца не видать. И надо же — среди такого великого простора столкнула судьба, прыгнула лоб в лоб двоих неизвестных друг другу ребят, и один погиб в муках, а как теперь у другого все сложится, неясное дело.

Лазаренко встретил их на вокзале, обнял, словно родных людей, и отвез в район, определил там в гостиницу.

## 5

Старик отдохнул ночь после дороги, а утром к полуженному часу явились в нарсад.

Народу в суде было немного. Все было расселись по своим местам, длиннолицая женщина в очках указала, где сесть Устипыне и Егору Фомичу, и два милиционера ввели в зал Веню. Веня сильно хромал и тяжело опирался на палку. На нем была легкая болошевая куртка и потертые брюки, недавно, видимо, выстиранные, но не глаженные. Сидица заметно белела в густых жестких кудрях, и Егору Фомичу бросилось в глаза, что ее прибавилось. Опустив голову и одиноко глядя в одну точку, Веня приблизился к стулу и медленно опустился на него впереди всех.

— Господи... — прошептала Устипына, но Егор Фомич выстрелил глазами сурово, и она умолкла, крепко сжав ручки потерятой сумки, которую держала на коленях.

— Встать! Суд идет! — сняв очки, строго приказала длиннолицая.

Все встали. Из двери напротив вышел грузный лысеющий мужчина, за ним еще двое — один помоложе, другой пожилой, казах. Они разместились за главным столом. Тот,

что появился первым, сел в середке, и Егор Фомич с Устипьей поняли: это судья. Вслед затем сели остальные, и суд пачался. Прокурор — стройный и представительный, одетый по всей форме — перебирал какие-то бумаги за отдельным столом справа. А защитником оказалась молодая женщина, очень приглядная, располагающая к себе.

Когда Веню стали расспрашивать о его личности, вставать на большие ноги ему было трудно, и судья разрешил сидеть. Егор Фомич считал это хорошим признаком — понимают, как пострадал человек, значит, должно все выйти по справедливости. Конечно, без суда нельзя, острастка пужна — и Вепьямиц, и другие шофера в дальнейшем поостерегутся ездить так быстро и не думать, какая от такой езды может произойти беда, но уж в тюрьму парня, ясное дело, ни к чему. Наказание-то воп оно — с ног до головы в нем торчит.

Устипья остро вслушивалась в ответы Вени — он рассказывал о себе тихим безучастным голосом — и была довольна, что для судей ничего плохого в его жизни не находится. Ей даже казалось, будто и раньше она знала о нем это хорошее, да и вообще все. Неожиданностью явилось лишь упоминание Вени о матери, которая, оказывается, есть, но сбросила сына с рук в самом его младенчестве, и ставить парня на ноги пришлось чужим людям.

Зачитали обвинительное заключение, и за скупыми казенными словами снова всплыло перед стариками то, что случилось жарким летним днем на пустынной, окутанной пылью дороге. Каждый из них опять всем существом ощутил неимоверные страдания внука, и неожиданно царянула сердце досада — столкнувшийся со Славиком парень сидит здесь живой, а внука больше нет и не будет никогда. Горе, получив новый толчок, начало расти из глубин, поднялось в полную силу и в который уж раз затопило обоих. Устипья дрожащей рукой вытирала слезы, кусала носовой платок и только каким-то чудом сдерживалась от рыданий. Егор Фомич, опустив голову, оцепенел в каменной отрешенности, и как происходил дальше суд, о чем там говорили — они уже не понимали.

Потом стало отпускать постепенно, и старики увидели впереди сгорбленную, вздрагивающую спину Вени, услышали ровный уверенный голос судьи:

— Ну что вы, Дубков. Не надо плакать. Возьмите себя в руки и расскажите по порядку. Значит, пытались спасти, помочь...

— Не сумел я его выручить. Не удалось...— со вздохом выдал на себя уже знакомые Егору Фомичу слова Вени.

— Вот и расскажите о ваших действиях. Суду это необходимо.

Егор Фомич нагнулся к Устиньину уху и прошептал:

— Не отошел еще парень. Нервы-то не отпускают.

— Да-а...— покачала она головой.— Досталось...

Вени наконец пересилил себя и с мучительными перерывами начал рассказывать, как он ползал вокруг горящей машины и пытался открыть дверцы, но ничего не вышло, как залез в кузов и разбил стекло ломиком. Прокурор сказал:

— Вы утверждаете — залезли. Насколько мне известно, у вас были переломы обеих ног, а также ребер. А ведь борт кузова у «ГАЗ-66» высокий. Каким же образом удалось залезть?

— Я на них разозлился.

— На кого?

— На переломы.

— Ну хорошо, разозлились. А ноги-то, наверное, все равно не действовали.

— Ноги не действовали. Одними руками карабкался. И на злости... Только без толку...

В горле у Вени булькнуло — этот звук в наступившей тишине услышали все, — и прокурор подождал, когда подсудимый успокоится. Справившись с первыми, Вени продолжал отвечать на вопросы. Он вспомнил, как зажатый в кабине парень вылил на себя масло, и стариков повторно обожгло сильной душевной болью. Но теперь они поборолы ее быстрее, потому что к ним попомногу вернулась способность сознавать еще и Венину беду, который во время происшествия, сам находясь в тяжелом состоянии, оказывается, сумел даже схватить Славика за плечо и, возможно, вытащил бы, если б не обернулось все так худо.

Егору Фомичу и Устинье поправилось отношение к Вени молодой жепцины-адвоката. Вопросы она задавала по-доброму. Вени отвечал ей гораздо спокойнее, из этого разговора всем было видно, что хоть и трудно сложилась у парня жизнь, но человек он хороший, смелый и, когда случилась авария, совсем не думал о себе, хотел любыми судьбами спасти Славика.

Попросили встать потерпевшего. Старик вздрогнул, услышав свою фамилию, и тяжело поднялся. Прокурор спрашивал о Славике, о его родителях, и Егору Фомичу пришлось

рассказать, как они с Устиньей заменили впуку отца с матерью. Еще были вопросы о том, какую получают пенсию, есть ли у них другие дети и внуки. Егор Фомич сначала развешивал все терпеливо, а потом решил и рубанул:

— Я, товарищ прокурор, чувю, куда вы гисте. Влука мы потеряли... — Он вздохнул судорожно. — Горе тяжелое. И Славика теперь никто не вернет. Пенсия у нас, понятное дело, невеликая. Но нам со старухой хватит. Так что с Дубкова Веньямина мы драть ничего не собираемся.

— Речь идет о нанесенном вам ущербе... — попытался объяснить прокурор.

— Этот ущерб — его уж не возместить, — прервал Егор Фомич. — И нечего...

— Вы хотите сказать, — обратился к нему судья, — что претензий к подсудимому не имеете?

— А как же к нему претензии? Беда есть беда. Он и так воп по уши в ней — рази не видно? Хлебнул — на пятерых под завязку. И спасал от души. По-фронтовому. А не вышло — куда денешься? Чего его мытарить...

Прокурор пожал плечами. Вопросов больше ни у кого не было, и Егору Фомичу разрешили сесть. Адвокат уважительно смотрела на стариков повлажпевшими глазами.

Дальше все вроде складывалось для Вени благополучно. Пригласили из коридора свидетеля, и шофер-казах, первою жестикуюляруя, быстро обсказал, как увидел на дороге большой огонь, подъехал к пылающей машине и, с трудом подбравшись — такой сильный был жар, — успел оттащить от заднего борта Вени, у которого уже дымились салоги. Свидетелю показали ломик, и он подтвердил — да, тот самый, валялся на земле рядом с Венией.

Потом читали разные бумаги. Из них пастораживали лишь те, где категорически сообщалось о нарушении правил, об ущербе государству, но и Егор Фомич, и Устинья не относили всего этого полностью на счет Вени. Так уж вышло, думали они, судьба, и разве можно кругом винить только парня?

И вдруг огорошил прокурор. Он пронапес спокойную строгую речь, в которой много было о гибели Славика, о всяких ущербах, и в конце сказал: наказание Вение полагается — шесть лет. Старики перегляпулись, пораженные. Егор Фомич хоть и знал, что нельзя в суде вылезать со своими словами без спросу и в любое время, но удержаться не смог.

— Это как же так? — Он встал. — Мы со старухой сюда

ехали, чтоб заявить — досады, мол, па парня по держим, п обижать его зря не стоит... А тут, выходит, не попляли. Внук погиб, в урон государству есть — ничего не поппи- шень. Но они же оба гнали не по правилам. Здесь падо ра- зобраться...

Устинья тоже робко поднялась и, укоризненно качая головой, с дрожанием в голосе упреком поддержала:

— Мы ведь сюда ехали...

Губы у нее тряслись.

И прокурор, и судьи за большим столом растерялись на некоторое время, а потом судья тяжело вздохнул и разъяснил, что в суде зря никого не обижают, а нарушать порядок заседания не положено, и если имеются какие дополнения, то их можно высказать в конце.

Пришлось старикам сесть. Заговорила адвокат, и тревога их стала улетучиваться. Адвокат обрисовала со всех сторон трудную и честную жизнь Вени, сказала, что он, как только начал работать, сразу стал помогать матери, которая не принимала никакого участия в его воспитании, деньги посылал, навещал всегда. И па основной работе — там, откуда приехал, — и здесь, па уборке, отзываются о нем как о человеке старательном и добросовестном. Адвокат подтвердила это бумагами. В случившейся беде, продолжала она, свой человеческий долг Дубков выполнял героически — за спасение водителя Потапкина боролся до последнего.

У Устиньи опять глаза наполнились слезами, но па этот раз от хорошего чувства — от справедливости слов молодой женщины. Закачивая свою речь, адвокат попросила определить подсудимому Дубкову наказание без лишения свободы.

— Молодец девка! — взволнованно шепнул Устинье Егор Фомич. — Враз все па место поставила. Молодая, а справедливая.

— Ума палата, — убежденно отозвалась Устинья.

Дали последнее слово Вени.

— Я виноват. Признаю полностью, — сказал он тихо и снова всхлипнул. — Выручить не сумел...

— Да ты, сыпок, не вали на себя лишнего-то, — вторично сорвался Егор Фомич. — Заладил — не сумел, не сумел!.. Ты до конца спасал — защитник правильно говорила.

Судья вежливо остановил:

— Товарищ Потапкин, вы поймите: тут ведь не колхозное собрание, а суд. Давайте соблюдать порядок.

После этого он объяснил Вени: ему вменяется в вину не

то, что не сумел спасти водителя Потанкина, а парусиенно правил эксплуатации автомобильного транспорта, повлекшее за собой гибель человека.

— Ясна вам формулировка?

— Мне все ясно,— ответил Вея, вытирая слезы.— Я признаю.

— Ну а теперь,— судья бросил взгляд в сторону Егора Фомича,— пожалуйста, потерпевший, если есть дополнения.

— Дополнение у меня одно,— поднялся старик.— Надо учесть по справедливости. И все.

Судьи ушли на совещание. Вея с трудом встал со стула, сказал что-то милиционерам, и его повели из зала. Грубая палка звучно стучала об пол. Егор Фомич с Устиньей, не зная, куда им деваться, остались на своих местах. Старик хотел выйти в коридор,— может, перепь там где-нибудь курит, так хоть поддержать, бодрости маленько придать,— но подумал, что, видать, и это не положено, и продолжал сидеть.

Ждали с полчаса. Потом милиционеры привели Вею, все собрались, и, выйдя с заседателями из комнаты, судья зачитал приговор. Читал он степенно, в приговоре сообщалось уже известное, и плохого, казалось бы, ничто не предвещало. Но конец был суровым. Подсудимый Дубков приговаривался к лишению свободы на пять лет.

Егор Фомич вскопчил, ошарашенный:

— Товарищи судьи! Да как же это выходит! Куда годятся-то? Тогда давайте и нашего осудим, чего там осталось. Выпьем и осудим. А пыль на дороге? Она ни при чем, чтоль? Пускай тогда пыли на дорогах не будет! Ну и ну!..

Судья молча смотрел на него страдальческим взглядом, но наконец нашел момент и осторожно прервал:

— Уверю вас, товарищ Потанкин, решение суда справедливое. Совершилось преступление, и за него пужко нести ответственность. Ей-богу...— Он вдруг улыбку растерянно и совсем по-простому, обвел взглядом всех присутствующих.— В первый раз в моей практике... Потерпевшие в роли защитников. И как у вас силы хватает... на такое. Понимаю ваши чувства. Но и вы поймите, товарищ Потанкин. Закон есть закон. Подойдите ко мне после. Я вам все объясню.

Но Егор Фомич уже знал, что никакие объяснения теперь не помогут. Судья говорил по бумаге еще о чем-то, но слова не проникали больше в сознание старика. Вконец растерялась и Устинья. Егор Фомич сидел, угрюмо глядя в пол,

по потом поднял голову, жестко опустил кулак на спинку стоящего перед ним стула и сказал самому себе тихо, но упрямо:

— Ну ладно, раз такое дело...

Веня в сопровождении милиционеров уже выходил из зала, и старик восторженно, рванулся за ним, повалив с грохотом стул. Устинья заторопилась следом. Егор Фомич нагнал Веню в коридоре и схватил за руку:

— Ты, сынок, голову не склоняй. Понял? Они тут чего-то напутали. Но правда повыше есть. Ийдем, не бойся.

Веня больше не плакал, ему словно полегчало. Он даже улыбнулся вымученно и сказал:

— Спасибо, дедушка. Спасибо.

Один из милиционеров — тот, что был помоложе, — осторожно отстранил Егора Фомича:

— Не положено, гражданин. Нельзя.

И Веню повелл дальше, на улицу, где ждала машина. На улице Егор Фомич забежал вперед и опять преградил путь.

— Хоть адрес-то паш запиши. А, Вельямья? — говорил он торопливо. — И не унывай. Добьемся. У нас там Москва рядом. До миштров дойду...

— Пропустите... — отпирал его плечом молодой милиционер. — Нельзя, отец. Не положено. Служба есть служба.

— А пу-ка замолчки, сопляк! — задрожав, рявкнул вдруг Егор Фомич. — Стоять перед старшим без слов! Заладил свое! Запиши лучше адрес наш и дай ему! Ну!

Милиционер отпрянул испуганно и почему-то сразу послушался — достал записную книжку и ручку. Старик стал диктовать адрес, а Устинья тем временем вынула из сумки объемистый белый сверток и совала сбоку Вепе:

— Возьми, сынок. Хоть поешь там. Яблочки моченые, сало... Возьми, не стесняйся.

— Не положено, мамаша, да поймите вы... — оглядываясь с отчаяньем, упрашивал ее другой милиционер.

— Так уж и не положено! — осмелела в свою очередь Устинья. — Сам небось ешь от луза, а человеку нельзя?

Веня перепительно взял сверток, потом ему дали бумажку с адресом и помогли забраться в машину.

— Спасибо, — бормотал он. — Спасибо. Я не забуду.

А в последний момент обернулся и, прижимая сверток к груди, еще раз через сплу улыбнулся.

— Крылья не опускай! — крикнул Егор Фомич. — И на-иши сразу! А правду ийдем!

— Пайде-ом! — подтвердила Устинья.

И машина поехала.

Пошли в свою сторону и старики. Егор Фомич шагал размашисто, Устинья, едва поспевая, семенила рядом.

— Накрутили, едрена корень, запутались! — рубил он ладонью воздух, сердито оглядываясь на неказистое здание нарсуда. — И думают — правда на них тут совсем осеклась. Ничего, голубушка, отыщется. Дойдем!

— Пока то да се, — с жепской деловитостью прикидывала Устинья, — надо ему посылочку собрать. Отощал парешь сильно. Вот приедем — и как раз поросенка резать. Закоптить свишники, и пошлем постынькой.

— Закоптить — это мы враз! — бодро отвечал Егор Фомич. — Закоптим, не упустим — по первому разряду.

Они шли уверенно, не чувствуя уже ни усталости, ни бессилия, потому что впереди, там, где было темно, слова забрезжил для них всенобеждающий свет жизни.

# Хвост АШИНОВ



Человек живет в одном из отдаленных промышленных городов страны. Он уже состарился и ушел на пенсию. Живет он неподалеку от завода, на котором проработал тридцать лет, в одном доме с товарищами по работе, как и он состарившимися и вышедшими на пенсию. Вечерами они выходят с внуками на прогулку. Пока дети играют, старики усаживаются где-нибудь в тени деревьев и заводят разговор о прошлом. Есть о чем вспомнить, каждый немало повидал, немало пережил.

Человек и его жена живут одни. Не потому, что бездетны, — двое сыновей служат в армии офицерами. Летом они с женой и детьми приезжают к старикам. Дом сразу оживает, детишки выполняют его шумом и весельем. Но после их отъезда сразу делается тоскливо.

И тогда Человек погружается в воспоминания о далеком прошлом. Адыгейский аул, в котором он родился, стоит на берегу голубой горной речушки. В памяти возникает широкая улица, по которой он пошел в детстве, лесок, куда они с товарищами ходили за земляничкой. Припоминается, как он вынимал из очага горящую хворостинку и вертел ею в темноте; как мать радовалась, видя, что сын подрастает и крепнет; как со слезами в голосе говорила: «Бог осчастливил меня!» Отрывочные воспоминания вставали перед ним как разорванный рассказ.

Пока был молод, занят работой, семьей, Человек редко вспоминал свое детство. Лишь изредка вдруг всплывет перед глазами, неизвестно откуда появившись, какая-нибудь из картинок далекого прошлого. А сейчас все чаще и чаще припоминается родной аул, все дороже память о нем, все

больше тянет увидеть вновь родные места, в которых он провел первые пятнадцать лет своей жизни.

Желание это день ото дня настойчивее, мучительнее.

И Человек становится все грустнее, все задумчивее. А когда в глазах мужа затаилась тоска, разве жена, прожившая с ним сорок лет, не заметит ее? И жена спросила:

— О чем ты грустишь? Что тебя томит? Обида или, может, болезнь?

Нет, ее муж никем не обижен. И не болен. Всю жизнь он отличался завидным здоровьем. И сейчас, хоть ему уже шестьдесят девять, хоть на голове не осталось ни одного темного волоса, не одряхлел, не обессилел, не подвержен ни лени, ни старческой сонливости.

Наконец Человек рассказал жене о том, что его мучит. Жена хоть никогда не бывала на Кавказе, не жила среди адыгов, поняла тоску мужа. И сказала ему:

— Если тебя так неодолимо тянет повидать аул, в котором ты родился, за чем же остановка? Отправляйся туда поездом или самолетом, сейчас ведь нет дальних дорог. Конечно, заманчиво побывать там, где вырос и где не был пятьдесят лет, это каждому понятно. Догадываюсь я и о том, что ты не решаешься сказать мне прямо: ты хочешь дожить свою жизнь там, где она началась. И в этом я тебя понимаю. Всегда я следовала за тобой повсюду, не оставляю и теперь. Если мы решим переехать в твой аул, что ж, наши дети будут приезжать к нам в отпуск, как приезжали сюда, пусть это даже будет неблизкий путь...

Правильно сказала женщина. Спешка в таком деле не нужна. Надо поехать в аул, побыть в нем, осмотреться, а там уж решать, как поступить дальше.

Человек падел свой плащ, взял в руки дорожную сумку и сел в поезд. Через несколько дней он прибыл в город Краснодар, откуда до аула идет автобус.

Вот он уже в автобусе. Звучит адыгейская речь, которой он не слышал пятьдесят лет. С волнением прислушивается, но понимает далеко не все. А говорить, наверное, и совсем не сумеет. И не решается заговорить. Не узнаёт дороги, будто никогда и не ездил по ней. Только когда приблизились к аулу, почувствовал в окружающем что-то родное и просветленно смотрел по сторонам.

— Вот и Мартукай, о котором столько разговоров по всей области,— сказал сидящий рядом с ним пассажир.

У Человека забилося сердце. Вдали показались высокие деревья, сквозь их зелень забелели дома. Были среди них и

двухэтажные. Вот тот, большой, с какими-то пристройками, наверно, школа. А за ним высится парадное современное строение. Сколько стекла!

— Это что за здание? — спрашивает оп.

— Дворец культуры, — отвечает ему сосед.

Вот здесь, в тесном соседстве с аулом, когда-то тянулся лесок. Мальчишками они часто бегали туда, собирали ягоды, высккивали итичьи гнезда. Теперь от леска не осталось и следа. Наверное, выкорчевали, использовали землю под посевы.

Человек вздохнул. Всегда это грустно — возвращаться к дорогому прошлому и не находить его таким, каким хранил в памяти долгие годы.

Когда подъехали к прежней окраине аула, оп увидел холм, у подножья которого резвились ребята, выгоняя на рассвете коров на пастбище.

Аул... Если бы не был уверен, что это он, если бы увидел случайпо, ни за что не узнал бы. Пятьдесят лет назад здесь ютились низенькие длинные домишки под камышовыми крышами. Все они были повернуты фасадом к югу, словно бы молились богу. Всю жизнь адыги мечтали о счастье, верили, что оно придет к ним с юга. Но оно пришло с севера. Человек знает, что в стране нет ни городов, ни аулов, которые за это время не изменились бы до неузнаваемости. Но когда он увидел новые кирпичные дома, асфальтированные дороги, окаймленные высокими деревьями, веселую гурьбу ребятшек, спешащих в школу, в груди у него потеплело.

Человек вышел из автобуса. Был ясный осенний день. Перекинув через плечо плащ, оп взял в другую руку сумку и остановился. После паркой духоты автобуса воздух показался особенно легким, чистым и ароматным. Он жадно вдыхал его и не мог насытиться. Желтые хлеба отливали золотом. И такая над всем этим тишина, такой сладостный покой...

«Куда все-таки повернуть?» — подумал Человек. Тут к нему подошел парнишка лет пятнадцати, с портфелем в руках, — видно школьник.

— Дедушка, давай я поднесу сумку, — сказал оп.

Человек посмотрел на паренька с благодарностью и отдал ему свою пошу.

Вдали засеребрилась река. Человек никак не мог сориптироваться, где стоял их дом. Но надеялся, что, когда подойдет к речке, вспомнит.

И все ему казалось, что вот сейчас кто-то окликнет его по имени. Когда проходили мимо парка, раскшнувшегося в центре аула, парнишка сказал:

— Это парк имени Лаяюкова Аслана.

— А кто такой Аслан?

— Но знаешь Аслана?— удивился школьник.— Партизан. Он убил много фашистов, но враги выследили его, настигли и повесили вот на этом месте. Его никогда не поймали бы, если бы он не был ранен...

Разговаривая, подошли к самой речке. Через нее перекинут железный мост с высокими перилами. Человек припомнил, что когда-то здесь стоял узенький деревянный мостик.

— Этот мост построили под руководством Берзегова Ильяса...

— А кто такой Берзегов?

— Наш земляк. Инженер... Он сказал, что на нашей реке обязательно должен быть мост, включил это дело в план и добился разрешения. Говорят, если бы Ильяс не был из нашего аула, нам не так-то скоро сделали бы этот мост...

— Если говорят, значит, правда,— отозвался Человек и приветливо глянул на мальчика. «Ребенок еще... верит тому, что говорят».

Он поглядел на извилистую реку, синевшую из-за густых верб.

Увидев, что вдалеке река делает излучину, он сразу вспомнил место, где они жили. Повернулся в ту сторону в надежде увидеть высокую трубу своего дома, но не увидел.

— Я пойду туда, спасибо тебе,— сказал он школьнику.

Мальчик разочарованно остановился. Он ожидал, что гость, приехавший к ним в аул, расскажет ему много интересных новостей. Что ж, если не хочет — его дело. Будто проговорив вслух эти слова, он посмотрел на старика и отдал ему сумку.

Человек пошел над речкой. Слово сквозь дымку сна он вспомнил, как бегал с аульскими мальчишками по этому каменистому берегу. Сейчас даже не видно, что река движется, будто застыла на месте, по в пору весеннего разлива она выходила из берегов, и течение ее было бурным. Они, сорванцы мальчишки, тогда забирался на первую попавшуюся корягу и плыли вниз по течению. А их матерп, воднуясь и осыпая бранью, стояли на берегу.

Детство... Жаль, что ты так далеко ушла!..

На берегу сидела компания мальчишек. Что-то оживленно обсуждали.

Человек не смог пройти мимо. Сел невдалеке в густую траву. Сидел и смотрел на ребят. Заметив, что их разглядывает какой-то старик, ребята смутились, притихли. Они не знали, что, глядя на них, этот старик хотел заглянуть в свое детство... «Счастливые!» — подумал он, встал и продолжил свой путь.

Идя дальше вдоль берега, увидел струйку воды, с тихим журчащем вытекающую из-под камня. Родник! Так это же здесь! В нескольких шагах отсюда должен стоять дом его отца. Когда-то, глядя, как прозрачная струя вытекает из глубины каменистого берега, ему казалось, что это берег ошалаивает убегающую от него реку...

Высоко над берегом раскинулся ухоженный двор, и в глубине его — кирпичный дом с шиферной крышей. А из домишко с высокой трубой был покрыт камышом.

Человек сел на длинную скамью, приставленную к штакетнику с левой стороны. Сидел и смотрел, озираясь вокруг. На душе было непривычно легко. Поглядел вдаль и как будто впервые увидел за рекой спелатую дымку леса, стаи птиц, с веселым щебетанием кружившихся над вершинами верб, и весь голубой простор безоблачного неба. Смотрел на все это, и в каждой частичке тела вскипала радость. Но вдруг он ощутил в себе сосущее чувство тоски: никогда не подойдет к нему его мать со словами: «Приехал, сыночек?» И никто из родственников не узнает его.

Так сидел Человек и предавался мыслям, воспоминаниям.

Если прохожий долгое время просидит у чьей-то калитки, хозяин непременно обратит на него внимание, кто бы он ни был. Вот и сейчас к прищельду вышел хозяин дома — мужичина лет сорока, широкобровый, видать, добродушный.

— Что тебя беспокоит, отец? — спросил он. — Если устал, заходи в дом, отдохнешь, перекусишь, а уж потом отправишься дальше.

— Мне бы воды попить.

— Сейчас принесу.

Хозяин вынес кружку воды. Человек с жадностью выпил все до капли.

— Родниковая...

— Да, тут около нас есть родник. А ты откуда знаешь? Бывал, видно, в наших краях?

— В двадцатом году, когда служил в Красной Армии, здесь стоял наш отряд. Тогда, помню, меня поставили на

квартиру в длинный дом с камышовой крышей. Он стоял на этом месте, и мы брали воду из родника. В этом доме жил тогда один паренек. Случайно не знаешь, где он сейчас?

— Сказать по правде, не знаю. Много лет назад мой отец построил здесь дом, а до этого тут действительно стояла чья-то лачужка. Дом моего отца в войну сгорел. А уж потом, после Победы, когда наша жизнь немного наладилась, я поставил этот. А паренек, о котором ты говоришь... постой... ну да, вспомнил! Он ушел вместе с бойцами Красной Армии, и люди говорят, что погиб. Не знаю, пойдешь ли сейчас хоть кого-нибудь, кто бы его помнил... А ты теперь где живешь?

— Иду из хутора, где провел детство. А вообще живу в городе.

— Эх, если бы знал это наш директор Дворца культуры! Недавно у нас в ауле состоялась встреча ветеранов нашей округи. Сколько интересного услышала от них молодежь!

Словоохотливый хозяин припаялся с увлечением рассказывать. Но Человек не мог долго с ним сидеть. Ему еще хотелось увидеть школу, Дворец культуры. Кроме того, ведь следует зайти в сельсовет, поговорить с председателем — на случай, если все сложится так, как бы ему хотелось, и он решит вернуться сюда.

Пожав руку хозяину, жалевшему, что гость не зашел в дом, Человек двинулся дальше. Шел не спеша и с большим вниманием рассматривал все, что встречалось ему на пути, будь то дом или дерево, женщина или мужчина, школьник или совсем малое дитя. Среди пожилых людей попадались такие, кого он вроде бы видел прежде, но не узнавал, кто они, и его никто не узнавал.

Так дошел он до Дворца культуры. Красное трехэтажное здание ничем не отличалось от городских. Человек вошел внутрь. Светлое просторное фойе. Его приветливо встретил какой-то низенький, будто специально поджидавший мужчина.

— Можно мне осмотреть ваш дом? — спросил Человек.

— Пожалуйста, осматривай. Пойдем вместе, я покажу.

Он водил гостя повсюду, все показывал и рассказывал. Оказалось, что этот низенький аульчанин — директор Дворца. Сколько там разных комнат! В зрительном зале кроме показа кинофильмов часто устраивают концерты, ведь при Дворце работает несколько самостоятельных кружков.

— Вечером будет концерт, оставайся. Посмотришь на наши таланты.

— Хорошо бы, но не могу, я здесь проездом.

На лице маленького директора отразилась обида.

— Куда спешить? Будь спокоен, мы пойдем, где перепочевать. Отдохнешь, помотришь, как живут люди в нашем ауле. Большое дело — добраться до города! Автобус довезет за два часа.

Вернулись в фойе. На стенах развешаны портреты.

— Это наши аульчаны, погибшие в гражданскую...

Человек внимательно рассматривает. Около пятидесяти портретов.

— А здесь наши аульчаны, сложившие головы в Отечественную войну. Двести одиннадцать человек...

Человек, затаив дыхание, осматривает и эти портреты, но не находит среди них себя.

— А вот наши аульчаны, прославившиеся по области. Это — братья Хадаюковы, работают машинистами на железной дороге, оба — Герои Социалистического Труда; это — Мешоков Исмаил, доктор сельскохозяйственных наук, профессор института, это — Асланков Хусен, токарь станкостроительного завода, награжденный...

Таких тоже много, около сорока человек. Но его нет и среди них. Его как будто и не было никогда...

Так же и в школе: на почетном месте висят портреты тех, кто помогал в строительстве школы...

Кузницы...

Мельницы...

Кирпичного завода...

Животноводческой и птицеводческой ферм...

Больницы...

Дорог...

Стоит спросить о ком-либо из тех, чьи выставлены портреты, — любой колхозник, любой школьник сразу назовет имя.

А его нет нигде. Его забыли. Правильнее сказать — никогда не знали. Получается, что право жить в ауле и пользоваться уважением завоевал тот из стариков, кто жил и трудился здесь и в лихие и добрые времена. А он был вдали... Во всем, чего здесь достигли, нет ни его труда, ни его заслуг...

Горько стало Человеку, что для здешних жителей он не существует, пропал много лет назад, и никто его не знает. Видно, придется вернуться в тот город, откуда приехал, и распрощаться с мечтами о жизни в родном ауле. Стоит ли стремиться туда, где нет и малой доли твоего труда, где

никто тебя не ценит и даже не узнаёт... «Что за старик приехал сюда? Где он был до сих пор?» — станут спрашивать люди. Правда, он ни с кем не поговорил, ничего не рассказал о себе, не повидался ни с одним из стариков ровесников, даже в сельсовет не заглянул, но разве это так уж важно? Если его считают погибшим, что стоило внести в список убитых в гражданскую войну! Нет, его попросту забыли...

Опустив голову, Человек пошел прочь из аула. Сел в автобус, отправляющийся в город. Сидит молча, смотрит в окно и раздумывает о своей беде. Впрочем, разве можно это назвать бедой? Ведь ничего плохого с ним не случилось — его жена, дети, внуки живы-здоровы. Да и сам он, слава богу...

Но разве не бывает с самыми благополучными людьми, что их вдруг охватит печаль, обступят горькие размышления, вызванные встречей с прошлым, прослушавшимися воспоминаниями, обидой на кого-либо, да мало ли чем... Настали и для него такие минуты, и он почувствовал в груди острую боль...

Автобус постепенно отдалялся от аула. Вдруг Человек увидел двух скачущих верхом мальчишек лет по пятнадцати. Приятно смотреть на них! Мчатся во весь опор на неседланных конях по широкому полю... И вспомнилось, как в пятнадцать лет он жил сиротой, совсем один в целом доме. Хлебнул горя. Изношенная черкеска была его постелью, а пищей — то, что сам готовил на очаге из раздобытых овощей, горстки муки. У кого-то был на побегушках, кому-то пас овец. Кроме голода и холода вволю пиведал и брань, и туманы. Впервые услышал о Ленине от красноармейцев, пришедших в аул. Очень понравились ему эти славные ребята. А какой теплой была телогрейка, что они ему подарили! Одна мысль о ней согревает и сейчас. Его поставили помощником повара. Где-то нашел запущенную одичавшую лошаденку, выходил. С нею прошел всю войну. Когда окончилась гражданская, поступил на рабфак. Днем работал, вечером учился. Одним из первых поехал добровольцем на Урал — строить заводы и фабрики первой пятилетки. Потом стал работать на металлургическом заводе и с тех пор не покидал его.

Шаг за шагом Человек припомнил всю свою жизнь. Нет, путь, который он прошел, не заставил его краснеть. Пятьдесят лет не покладая рук он трудился на благо Родины. Правда, ничего не сделал для своего аула, как другие его жители, но разве он принес бы стране больше пользы, если

нительно молодой, но уже опытный специалист-горняк Федяхин. Он ценил организаторские способности Мякина, его умение работать с людьми, но противостоять мнению наркомата не смог. Заготовив приказ о назначении заведующим I-I-бис работника своего аппарата Поповкина, уполномоченным выехал с ним на Караташ.

В дороге Федяхин был угрюм, молчалив, обдумывал: как сделать, чтобы и сплыть Мякина, и не очень обидеть его. О трудоустройстве разжалованного выдвиженца он уже позаботился: добился от наркомата должности помощника заведующего шахтой по общим вопросам, которой до того на I-I-бис не было. А на месте все перевернулось, все кувырком пошло...

Много хороших друзей приобрел Мякин, когда на флоте служил, на фронтах гражданской воевал, в лазаретах отлеживался. И потерял их немало. Одни от вражеской руки погибли, других голод, тиф, испанка скосили, третьи разлетелись кто куда. И остался у Мякина лишь один-единственный, но зато самый верный друг-побратим Агамбек. Вместе они по Туркестану за бандами гонялись, из одного котелка кашу солдатскую ели, одной буркой от стужи укрывались. А когда однажды привелось им — и такое случалось — удирать от басмачей и убили коня под Мякиным, Агамбек один на четверых бросился, буквально у смерти вырвал раненого друга. Перекинул его через седло, прищпорил своего Персика — ищи ветра в поле!

И Катю Агамбек жизнь спас. Когда пуля басмача ребенка в ней убил, фельдшер — мудрый лекарь! — осмотрев рану, сказал:

— Если за час в лазарет доставить, да так, чтоб ни толчка, ни встряски, может, и выживет.

— Доставлю, — вызвался Агамбек.

Ах как мчался тогда Персик! Не споткнулся ни разу, не трянул — словно по воздуху летел.

Мякин тоже в долгу не оставался, тоже в трудные минуты выручал из беды Агамбека. И Катя не одну ночь над ним, ввалившим в тифозное беспамятство, просидела. Короче, крепко эти трое сдружились, сильнее кровного родства дружба их была.

Первым Агамбек демобилизовался. Командир полка боевым коном его наградили. За бесстрашие. Редкая награда! В родной Чимкент на Персике он отправился. Мякин и Ка-

тя километров пять сопровождали его. Прощаясь, взял с них Агамбек слово, что после демобилизации к нему придут. В гости или навсегда — как захотят. Мякпы слово сдержали. Потом Агамбек к ним в Караташ наведался. Так и повелось: один год Мякпы гостят у Агамбека, другой — Агамбек у Мякпыных. Последний раз был он месяцев шесть назад, и Мякпы его не ждали. Да и вообще они друг к другу внезапно никогда не являлись. Спешутся — и лишь потом в путь. И при этом телеграмму впереди себя пускали. Так всегда было, а тут вдруг нежданно-негаданно...

— С тобой что-нибудь стряслось, Агамбек? — встревожился Мякпы, увидев друга у себя в приемной, куда тот прежде и дороги не знал.

— Не со мной — с тобой стряслось, Трѳим.

Агамбек делал ударение на «о», называл Мякпы Трѳимом.

Мякпы недоуменно оглядел друга, завел его в кабинет.

— Почему одна, другая газеты ругают моего побратима? Почему они пишут про Трѳима плохие слова? — негодовал Агамбек.

— Хо-хо-хо! — закачался Мякпы в скрипучем кресле. — Значит, выручать примчался. Спасибо, брат... — Нахмурился. — Только помочь, Агамбек, ты мне ничем не сможешь. Плап, понимаешь, выполнять падо, тогда и ругать меня перестанут. — Встал, уверенно заходил по кабинету. — И мы будем его выполнять! Орлы мои уже почти приспособились к этой — дай бог здоровья тому, кто придумал ее, — новой системе. Загремит, Агамбек, наша I-I-бис, снова па всю державу загремит! А пока, ясно-понятно, скубут, хорошо скубут! И ты, дорогой брат, от этого даже па своем Персике никуда меня не умчишь. Да ведь п Персик небось не тот уже?..

— Нет больше Персика, — срывающимся голосом сказал Агамбек.

И оба встали и молча опустили головы. Персик для них не просто копей — боевым товарищем был, которому тот и другой жизнью обязаны.

Прежде, когда приезжал Агамбек, хозяева — Мякпы с Катей — отпрашивались с работы, старший кошок копного двора шахты седлал трех лошадей, подводил их к домику заведующего. Мякпы и гость набивали выюки подготовленными Катей продовольственными запасами, приторочивали к седлам сумы с бивачной утварью и одеялами, брали охотничьи ружья, рыболовные снасти и знакомой тропой втроем отправлялись в горы.

Остапавлялись на берегу Малого озера, похожего, если поглядеть с поднявшейся над ним отвесной скалы, на вдавленную в землю огромную пилу с выщербленными краями. Ложе для него, падая с той скалы, выбила речка Аксу — приток бурного Нарына. Аксу — белая вода. И вода в речке была действительно белой от бесчисленных пузырьков воздуха, которые образовывались при бурном течении и особенно на водопадах. В озере, поднимаясь на поверхность, пузырьки исчезали, и вода становилась такой прозрачной, что в ней хорошо просматривались мальки форели, резвившиеся на пяти-шестиметровой глубине.

Местом для стана однажды и навсегда Мякин облюбовал полуостровок, образованный озером и петлей Аксу, продолжавшей путь к Нарыну. Над мысом этого полуостровка возвышалась дикая урючина, дарившая пришельцам тень.

Мякин и Агамбек, расстегнув торока, сгружали принадлежности бивачного быта, опоражнивали выюки, набитые торбочками с теплыми еще лепешками, мукой, рисом, репчатым луком, свежими овощами и фруктами, специями и приправами; осторожно перекладывали бутылки в сетку, завязывали ее бечевкой, опускали на дно озера и сразу уезжали на джайлоо — горное пастбище, — а Катя начинала хозяйничать.

С джайлоо Мякин и Агамбек привозили молодого курдючного барашка, овечьего сыра, бурдюк кумыса, и начиналось приготовление к дружеской пирушке.

Когда все было готово, Катя расстилала кошму, по ней — скатерть, выставляла плетенные из камыша блюда с лепешками, сухим урюком, курагой, сечкой, приготовленной из пахучих трав и кореньев, а если был сезон — виноград, арбузы, дыни.

Мякин разливал охлажденную на дне озера водку. Катя вручала мужчинам по шампуру шашлыка и высоко поднимала рюмку.

— За твоё здоровье, за здоровье твоих детей, жены твоей, за здоровье и счастье твоих родителей, за пашу дружбу, Агамбек! — торжественно произносила она.

Шли до дна, запивали холодным пивом, закусывали горячим еще шашлыком, заедали пахучей сечкой. А когда «доходил» плов, тост произносил Мякин. Густой аромат дымящегося плова был настолько соблазнительным, что, почуввав его, даже осторожные лисы подползали вплотную к стану и, прячась за кустами фисталника, глядели на пирующих

завистливыми глазами. Беседа оживлялась, пачивались воспоминания.

— Помнишь, Катя?..

— Ты не запамятовал, Агамбек?..

— Расскажи-ка, Трофим...

Уходя в свою боевую молодость, они забывали о горах, чутко ловивших каждое их слово, о звездах, высыпавших на темно-синем небе и взиравших на них с еще не доступной людям высоты, о речке Аксу, бросавшейся с отвесной скалы в озеро, о всех своих будничных делах и заботах, которыми они жили вчера и будут жить завтра.

После ответного тоста Агамбека Мякин наполнял палы охлажденным кумысом, и к друзьям возвращалась бодрость, приподнятость, и им приходило то особое состояние духа, которое нельзя выразить словами. И наступала очередь песни.

Обхватив руками колени, Катя слегка откидывалась назад, смежала веки и запевала одну из своих любимых украинских песен. Ее чистый грудной голос, едва слышимый вначале, постепенно входил в силу и обретал такую проникновенность, что казалось — это звучат душа и сердце Кати. Мякин и Агамбек, сами того не замечая, пачивали подпевать ей. И голоса заполняли притихшую долину и ущелья. А когда умолкали, горы, помедлив, эхом возвращали им песню, и она еще долго звучала в прозрачном хрустальном воздухе. И не было в эти минуты людей счастливее Кати, Мякина и Агамбека...

Федякин любил появляться на периферии внезапно и работникам своего аппарата строго-настрого наказал, чтобы рудники, на которые он выезжал, заранее об этом не оповещались.

Управляющему Караташа уполпарком позвонил со станции. Бросив на ходу секретарше: «Федякин приехал. Уведомьте шахты и тут всех предупредите», Абитов умчался встречать своего пачальника и нашел его в пристанционном сквере, где он прохаживался с Попонкиным.

Аппаратчиков Абитов недолюбливал, считал их далекими от живого дела формалистами, а с Попонкиным у него были особые счеты. Тот курпировал Караташа, и Абитову волей-неволей приходилось сталкиваться с ним при решении крайне важных для рудника вопросов. Нельзя сказать, чтобы куратор был слабым специалистом. Горное дело По-

понкии знал доскопально, его замечания и рекомендации были в большинстве случаев толковы и обоснованы. Но техническая сторона заслоняла от него людей, а порой в его предложениях сквозило нескрываемое безразличие к радостям и заботам шахтеров, чего Абитов не прощал никому. И еще управляющему претили высокомерие и чванливость Попонкина. Их пусть и не бурные — оба умели сдерживать себя, — но постоянные стычки постепенно переросли в устойчивую взаимную неприязнь, и тут, в пристанционном сквере, Федяхин сразу ее почувствовал. Неладья между ними он замечал и прежде, перед подписанием приказа о назначении Попонкина даже намеревался поговорить с ним по этому поводу, да забывался. «Не потропился ли я, — подумал Федяхин, — впрягать в одну пролетку двух невзлюбивших друг друга жеребчиков? Кусаться ведь будут...» Но закравшись в душу сомнения вытеснил азарт наездника, наловчившегося объезжать неровистых коней. Федяхин с наигранной фамильярностью хлопнул по плечу Абитова:

— Привечай, Курбан Абитович, нового заведующего.

Когда сел в бричку и кучер пустил вскачь игреневых кобылиц, бросил ему:

— На I-I-бис! — Повернулся к Попонкину: — Представлю — и примимай.

— Мякина сейчас нет, — угрюмо и как-то безразлично буркнул Абитов.

Он был недоволен, что Федяхин, с которым у него были хорошие, можно сказать, дружеские взаимоотношения, не предупредил его о своем намерении спясть Мякина, не посоветовался с ним — не возражает ли он, управляющий рудником, против назначения Попонкина. Да и тут сейчас, вместо того чтобы захватить в рудоуправление, обговорить порядок приема-сдачи, образовать как это положено, комиссию — сразу: «На I-I-бис!» Абитов искоса взглянул на Федяхина. Тот дремал. На ухабе, как бы невзначай толкнув его плечом, Абитов повторил уже громко и внятно:

— Мякина сейчас нет.

— А где ж он? — вскинулся Федяхин.

— Отиросился.

— Что ж у него за крайность такая?

Абитов промолчал.

— И на сколько отпустил?

— На двое суток.

— Когда?

— Со вчерашнего дня.

— И далеко они отбыть изволили? — раздражаясь, спросил Федяхин.

Абитов замялся.

— Куда, спрашиваю, Мякин уехал? — вышел из себя унолпарком.

— На Малое озеро, — пришел на помощь своему управляющему кучер. — Трофим Иванович, доктор Мякин, значит, как только друг-побратим ихний погостить приезжают — так туда и отправляются. И Катерина Павловна с ними...

— Дорогу-то па это самое озеро знаешь?

— А кто же ее не знает? — обиделся словоохотливый старик. — И Курбан Абитович там бывали...

Федяхин сурово взглянул на управляющего.

— В Дом приезжих. Пемного погода заедешь. — Нехорошо усмехнулся. — Прогуляемся, на озерцо ваше полюбоваться хочу.

Часа через полтора они выехали.

К Малому озеру вели две тропы: по долине Аксу и напрямую — через горный перевал. Вторая тропа была раза в три короче, но труднее. Она то взлетала на черные, огромными ступенями уходившие в небо террасы, то змеялась по кромкам бесчисленных пропастей и обрывов. Преодолеть ее могла не каждая лошадь, и Абитов приказал оседлать копей местной киргизской породы. На вид они были пеканисты, поджары, но их топкие ноги обладали какой-то особой чувствительностью, оберегавшей их от неосторожного шага, опрометчивого движения. Наездник, севший на такого копя, должен не мешать, полностью положиться на него. А не мешать копыю может лишь опытный всадник, и потому Абитов спросил у Федяхина:

— Вы хорошо держитесь в седле?

— В моем кресле потрудней усидеть, чем в седле, и то держусь, — усмехнулся тот. К нему снова вернулось его обычное бодрое настроение.

Выехав из Караташа, Абитов свернул на тропу, ведущую через перевал.

Федяхин держался молодцом. Оглядываясь на него, Абитов думал: «Не мешал бы ты своим подчиненным, как сейчас не мешаешь копы, и они бы, глядишь, еще покруче перевалы брали». Но, думая так, Абитов понимал, что это в нем личная обида говорит, что Федяхин не из тех руководителей, которые лишь мешают подчиненным.

Спуск стал положе, тропа — прямее. Коня перешли на

рысь. За поворотом показалось широкое, ровное, как стол, плато, а над ним неторопливо колыхалось ярко-красное пламя. Федяхину почудилось, что оно дышит зноем.

— Маки цветут, — мечтательно обронил Абитов.

— Маки... — повторил Федяхин.

Заколдованный псевдапной красотой, он подумал: «Живу в таком краю и пигде за пять лет, кроме служебных кабинетов да горных выработок, не был. Сколько раз в Караташ приезжал? Десять? Двадцать? А что видел? Стволы? Штреки? Уж их-то я насмотрелся! Лучше, чем некоторые завшахтами, знаю...»

Как только Федяхин вспомнил о выработках, мысли его сразу переключились на другое. «Отстают подготовительные работы, — поморщился он. — На всех рудниках отстают. Надо паверстывать! А как паверстаешь? Машины бы дать шахтерам, проходческих...»

Вдруг ударили слепящие лучи. Прищурив глаза, Федяхин посмотрел туда, откуда они исходили. Под ним лежало озеро, которое папоминало огромное круглое зеркало. И там, внизу, кто-то, как бы поворачивая его, направлял на Федяхина отраженное солнце. Вот невидимый шалун бросил свою забаву, и возникло чудо, сотворить которое могла лишь природа. Но, поглощенный обступившими его заботами, уполнарком не воспринял этой редкостной красоты, еще более удивительной, чем та, представшая перед ним па плато.

Абитов заметил дымок, поднимающийся над урючной.

— А вот, кажись, и паши робишоны.

— «Робишоны», — передразнил его Федяхин. — Сказал бы — бездельники. И ты им потворствуешь. Шахта плана не выполняет, его бы, твоего Мякина, па-гора месяцами не выпускать надо, а ты — пожалте па лоно природы... Ишь какой добренький пашелся!

— Он и так солнца не видит — под землей сидит, — заступился Абитов за Мякина.

— Сидит, а толку? Вот немелло — сидит! — все больше и больше распалялся Федяхин.

Трона сквозь фисташковые заросли вывела их на берег озера.

Мигувшие дель и почь Мякин, Катя и Агамбек провели как обычно. Легли почти на рассвете, проснулись поздно. Жара разморила Мякина и Агамбека. «Отправляйтесь-ка в воду, — посоветовала Катя, — там и подкрепитесь». — «Дело говоришь», — одобрил Мякин. «Дело», — согласился Агамбек.



И они залезли в озеро, пристроились на валуе так, что только головы торчали из воды.

Катя взяла большую деревянную миску, поставила в нее два стакапа, налила в них кумыса, свяла с мангала четыре шампура с шашлыками, положила их, чтоб не скатились в воду, между стаканами, насыпала сверху сечки из пахучих трав и кореньев, толкнула «судно» к «жаждущим исцеления», и оно без помех дошло по назначению.

Оставаясь невидимыми, Федяхип и Абитов наблюдали за «роблпзонамп». Вглядываясь в загорелое скуластое лицо Мякина, Федяхип нервно передоргнивал плечами: в нем, как электричество в грозовой туче, накапливалась клокочущая ярость, приступы которой Абитов не раз испытывал на себе.

Мякин подал стакап Агамбеку, поднял свой стакап, кивнул Кате, — дескать, спасибо, — вынул, тряхнул откинутой пазад головой.

— Ах, хорошо!..

«Ха-аха-о-о-шо!» — отозвалось эхо.

Возглас удовольствия п повторившее его эхо окончательно вывели из себя Федяхина. Разводя ветки фишашлыка, хрустя попадавшими под ноги сухими сучьями, он в одню мгповение оказался папротив Мякина п Агамбека, только что поставивших стакапы на дно миски п протянувших руки к шашлыку.

— Хор-рош! — громыкнул Федяхип, словно метнул с размаху тяжелый булыжник.

«О-о-ош!» — возвратило его эхо.

Появление Федяхина п Абитова было таким пеожиданным, что Мякин оторопел. Выронив шампур, он недоуменно глядел на них, а выпущенная из другой руки миска с пустыми стакамп п неотведанным шашлыком, медлепно покачиваясь, отдалялась па середину озера. Но замешательство длилось лишь несколько секунд. Мякин вышел на берег.

— Прошу к нашему шалашу. Катя, принимай дорогих гостей.

Почувствовав на себе тяжелый взгляд Федяхина, умолк, погасил улыбку.

— Развлекаемся, товарищ Мякин? — глухо, стараясь удержать себя от крика, начал Федяхин. — Утробу ублажаем? А шахта?.. Загнал шахту, бесстыжие твои гляделки, и в озере посяживаешь? Совести у тебя нет! А еще языком трепал: «Я — матрос, за Советскую власть кровь проливал!»

Белки Мякпа стали багровыми. Он сжал кулаки, процедил сквозь стиснутые зубы:

— Ты, уюолнарком, матросов не трогай! И про кровь мою помолчи.

— Может,— сорвался на крик Федяхип,— кулаками правоту свою доказывать стапешь, а?

К нему подступил Агамбек, губы его дрожали.

— Зачем на моего побратима кричишь, пачальник? Уезжай, начальник. Добром говорю — уезжай!

Абитов подвел копей и чуть не силой усадил Федяхипа в седло. Трогая поводья, тот бросил Мякину:

— Ты уже не заведующий шахтой — лесогоп!

И пришпорил коня.

— Лесогоп так лесогоп,— бесшабашно махнул рукой Мякп.— Будем готовить плов — не пропадать же барану.

Но праздник был испорчен. И плов подгорел. И разговоры не клеились. И песни не пелись.

— Надо возвращаться,— посоветовал Агамбек.

Катя благодарно кивнула ему головой. Согласился и Мякп.

Сев на лошадей, все, не сговариваясь, посмотрел на озеро. На его середине качалась любимая Катина миска. На солнце сверкали пустые стаканы, темнели шампурсы с шашлыком. Вокруг миски, подпяв голову, петлял уж.

— Глянь, закуска паша кому досталась,— пошутил Мякп.

Но ни Агамбек, ни Катя его не поддержали. Ехали молча, и каждый чувствовал себя в чем-то виноватым.

О том, что произошло с ним на Малом озере, Мякин рассказал в одну из наших встреч.

— Говорил я, как сверг меня Федяхип, а что после было — ты не знаешь. Вот послушай.

Мякин сделал паузу, как бы давая мне время сосредоточиться, и продолжал:

— Явился я на шахту, зашел в приемную. Маю, бывшую мою секретаршу, спрашиваю: «Окопчик занят?» — «Занят», — отвечает и смотрит на меня такими жалостливыми глазами, что ажик в груди защемило.

Открываю дверь. За столом Попонкин спит. И взгляда не оторвал от бумаги — пишет что-то. «Здравствуй», — говорю. А он, не поднимая глаз: «Вы по какому вопросу?» Взорвало меня. «Взглянуть», — отвечаю, — на живого бюро-

крата захотелось». Как он взовьется: «Вы с кем разговариваете? — Вскинул очки вверх и вроде бы даже смутился. — А, Мякин! Легко па помине. Абитов только что тобой интересовался: где, мол, Трофим Иванович запропастился. Да и мне ты нужен. Некоторые формальности соблюсти надо, вот этот документик подписать...» И протягивает мне приемо-сдаточный акт.

Помнится, страниц эдак сорок па машинке было наштапано. Читаю п сам себе не верю. Прищурюсь, трякну головой, чтоб лаваждепие отлугнуть, начинаю перечитывать — пет, не обманывает зрение, хоть и без очков, а хорошо разбираю, что в том акте написано, — все в одну кучу свалено. Поломана, скажем, крепь па пяти метрах откаточного штрека, протяженность которого два километра. В акте не указывается, что негодны лишь какие-то две-три тысячных доли от общей его длины, а излагается эдаким макаром: «Пять метров откаточного штрека выведены из строя, крепь разрушена горным давлением, сечепие не отвечает правилам безопасности». Факты сами по себе вроде правильные приведены, но когда их надергаю сотню с гаком да все они на попа поставлены, получается жуткая картина. Прочитал и писанину ту и говорю: «Какая же ты паскуда, Попонкин! Везде это не акт — приговор, и падо меня немедля к стенке ставить. Ты ж всего месяц пазад на совещании в «Уполиаркомугле» докладывал, что выработки на I-I-бис содержатся лучше, чем па любой другой шахте рудника. Запоминавал?» — «Как вы разговариваете со мной?» — попробовал он вяать меня па испуг. «А как же разговаривать с тобой прикажешь? — отвечаю. — Думаешь, не знаю, зачем тебе эта страница понадобилась? Циток нужен, чтобы в трудную минуту одно место им прикрыть: смотрите, мол, что я от Мякина принял, — труп, а не шахта была. И па что ты, Попонкин, рассчитывал, когда такую вот фигольку сочинял? На мою не шибкую грамотность? Подмахнет, дескать, не разберется. Так». Не подписал. И пошел я лесогонить.

Мякин усмехнулся.

— Первый день лесогонства вспомнил, — объяснил причину своей усмешки. — Пру семиметровую лесину со склада к грузовому стволу — шагов пятьдесят между ними будет. Тяже-о-лая попалась штучка. Несу, покрякиваю, а навстречу — женщина знакомая, аптекарша та, что доктором меня окрестила. Остановилась — любопытство ее разобрало, — крашеными губками шевелит: «Что-то вы, Трофим Ивано-

вич, такой работой занимаетесь?» — «Субботник, — крикнул на ходу, — а на субботнике сам Ильич бревна таскал».

Затянулся тот мой «субботник» чуть ли не на десять месяцев. В заботу у Поповкина просился — иш в какую! «Сам исполняком насчет вас распорядился — и не мно его указания отменять». Ладно, думаю, пет так пет. Втянулся, припоровился, пачал порму на сто пятьдесят, на двести процентов выполнять. И снова Мякин в почете. Ударник! Стахановец! Стахановское движение как раз тогда началось.

А у Поповкина не заладилось. Не с той ноги плясать пошел. Ему бы к людям приглядеться, одного поддержать, другого приструнить, третьего, может, за грудки взять да — не в прямом, копейно, смысле — встряхнуть как следует. А он всех под одну гребенку припаялся стрпчь. Но выполнит, скажем, бригада сменного задания, он ее к себе — и пу полоскать! Каких слов не наговорит. И бездельникам обзовет, и разгильдяями, и чуть ли не вредителями — в моде тогда это словцо было. А шахтеры, сам знаешь, парод гордый, в долгу тоже не оставались. Пошлют его ко всем святым — на том и разговору копец.

Партбюро вмешалось, шахтком. «На едипоначальные покусаетесь!» — шумел. Но тактику изменил. Рублем бить стал. Упустил, скажем, забойщик кровлю или по другой какой причине простой получится, он — виноват тот шахтер, пет ли — за его счет простой снесет, и человек без заработка остается.

Начал парод осторожничать сверх меры, перестраховываться, а делу от этого еще больший ущерб, и акции Поповкина совсем упали. И еще одно портило ему репутацию — барские замашки. Жил от шахты в каком-то километре: пройтись — удовольствие. А он к котопе на паре подкатывал, с паряда на завтрак — тоже. В рудоуправление или другое какое учреждение — все опп из окна его кабинета видны — непременно на пролетке отправлялся. И супруга его на шахтных лошадях за килограммом урюка на базар ездила. Так или иначе, а не ко двору Поповкин на I-I-бис пришелся. Шахтеры даже в том обвиняли его, о чем он пп своем ни духом не ведал. При этом непременно меня вспоминали: «При докторе Мякине такого не было», «Вот когда Мякин заведовал...» И все в таком же роде. И влезло Поповкину в голову, что я под него подкапываюсь. Вызвал однажды, дверь — на ключ, чтоб пикто нашему разговору не мешал, и — в упор:

«Ты чего, Мякп, против меня людей настраиваешь? Снова в заведующие целишься?»

«Нет, — отвечаю, — никого я не настраиваю и в начальники не рвусь, а вот в забой перейти хочу. По душе мне забойщичье дело. Прежде заявлял об этом и сейчас своего желанья не скрываю».

Обрадовался:

«В забой? Нет ничего проще. На любую шахту переведу и даже поспособствую, чтобы бригадпром назначили».

«Тут я, товарищ Попонкин, забойничать желаю, на I-I-бис».

А он с эдакой кривинной улыбкой:

«Не хотите на другую — будете лесогопить. Столько, сколько мне вздумается. Идите».

Так мне сделалось горько — передать не могу. Незлопамятный я человек, отходчивый, а тут слово дал припомнить ему эту обиду.

До того нашего разговора с Попонкиным Федяхин дважды на I-I-бис был, в шахту спускался, с рабочими разговаривал и уезжал темный как туча. Тогда я набегал на глаза ему попадаться, а после последнего объяснения со своим преемником решил: как появится — поговорю. Да ведь и просить-то его я не бог знает о чем собирался — в забой хотел перейти. Только и всего. В скором времени он и припжаловал: мало того, что шахта из прорыва не могла выкарабкаться, — жалобы одолели. Писали бисовцы и в «Уполнаркомуголь», и в партийные органы, и в газеты. Вот Федяхин и прикатил.

Людей созвал. Ух и собранияще ж, говорят, было! Мне присутствовать на нем не довелось. Работал. Выхал нагора, а Федяхина уже нет в рудоуправлении. Я — туда. Спрашиваю в приемной: «Уполнарком есть?» — «Здесь, у Абитова сейчас». Прикидываю, как мне поступить. А в это время открывается дверь и выходит Федяхин, хмурый такой. Увидел меня и вроде бы просветлел. «Трофим Иванович? Вот удача! Только приказал пойти тебя, а ты — тут как тут! Заходи, словцом перекинемся».

В кабинете Абитов был тоже мрачный на вид. Но встретил меня хорошо, по-дружески.

«Садись, — пригласил Федяхин и сам сел напротив. И умолк. Долго молчал. Нелегко, видно, было ему разговор со мной начать. Потом пересилил себя: — Я, Трофим Иванович, виноват перед тобой. Зря оскорбил тогда, по-горячпости. Собирался снять по-хорошему и даже местечко для тебя

неплохое подыскал... А как увидал, что ты по горло в хрустальной водичке стоишь, да как вспомнил о спячках, что наркомат мне за твою шахту набивает, тут меня и понесло. Давно собирался извиниться перед тобой, письменно даже хотел это сделать и письмо написал, а не послал. Амбиция не позволяла. У тебя ж тоже, уверец, есть она, амбиция. Но, как видишь, — рассмеялся, — я так одолел ее, амбицию свою».

Задумался он, словно вспоминал, что еще сказать собирался. Но неловкости, какую обычно испытываешь, если разговор вдруг заморозится, не было. И на душе у меня легко так стало. Оно приятно, браток, бывает, когда человека, на которого обиделся, снова уважать начинаешь.

Собрался я с духом, чтоб заговорить о том деле, по которому пришел, по Федяхин опередил меня:

«Попонкина, Трофим Иванович, надо снимать, и снимать немедленно. Ошибся я в нем. Дал, как говорят, маху. Держать его заведующим и двух минут нельзя, а подходящей кандидатуры у нас, — кивнул на Абитова, — кроме тебя, нету. Вот мы и решили предложить тебе вернуться в прежнее кресло. — Улыбнулся. — Кстати, отпечаток твоих ягодиц на нем, наверное, еще сохранился. — Слова взял деловой тон. — Но обманывать не хочу, пазначу тебя временно исполняющим обязанности. Сам понимаешь: курс взят на дипломированных специалистов. Подберем подходящего и тебя заменим. Решай. Только не тежь самолюбия и обиды забудь».

Раскинул я умом так, эдак и отвечаю:

«Вот вы насчет амбиции говорили. Есть она у меня! И потому я ваше предложение принимаю. Хочу уйти из заведующих не с позором, а достойно. Дайте мне год срока, вытяну шахту, а там — кыш! Только — чур! — не в лесогонь, а в забой. Идет?»

«Идет», — повеселел Федяхин, и через каких-то четверть часа топал я на свою I-I-бис уже с приказом в кармане.

Мякин хохотнул, и я догадался, что дошел он до самой соли рассказа.

— Так вот, — продолжал Мякин, — пришел я в контору, а в кабинете Попонкина — дым коромыслом. Собрал он всех начальников служб и участков и кастит их почем зря. «О спятти, — смекнул я, — еще не знает». И закопошились во мне обиды, которые от него претерпел. Теперь, конечно, я понимаю, что жестковато с ним обошелся, не надо было так, но в тот момент об этом не думалось. Приоткрыл дверь и наблюдаю, как он руками размахивает. Увидел меня По-

попки да как гаркнет: «А вам что тут падо? Видите — совещание идет!» И тут па меня словпо черт надел. Приоткрыл дверь пошире, стою п самокрутку сворачиваю. А Попки как грохнет кулаком по столу: «Кто тут заведующий — я или вы?» — «Я!» — отвечаю громко п уверенно, подхожу к столу п кладу па него приказ уполпаркома. Скользнул Попки по тому фирменному бланку взглядом, побледнел, медленно приподнялся п бочком, бочком к углу стола отодвинулся. А я сел па его место, зачтал приказ да на том это последнее его совещание — частелько он собирал их! — п закрыл. Вот какие колелца выкидывает порой жизнь, — философски закончил Мяки.

Слова приняв шахту, Мяки начал с того, что пошел к лучшему в ту пору па I-I-бис забойщику Катрухову.

— Хочу месячничко подучиться малость.

Намерение заведующего польстило бригадиру п в то же время пасторожило его. «Начнет, — подумал, — вмешиваться во все, помыкать мной — пачальство ведь...»

Но в первый же день Мяки сказал ему:

— Когда я у тебя в бригаде, ты не считай, что перед тобой заведующий, ладно? Вообще-то помни, па это время забудь.

И Катрухов забыл. Чуть Мяки присел, чтобы дух перевести, а он уже шумит: «Иваныч, леску надо подбросить», «Иваныч, крепь начинаем ставить», «Иваныч, бурить пора». И Мяки подбрасывал, ставил, бурил. И в то же время присматривался, умом прикидывал: почему, хотя условия у всех одинаковые, вывалов кровли — главной помехи добычных работ при новой системе — у Катрухова не бывает?

А их не случилось потому, что Катрухов применил собственного образца крепление. Прежде чем вести отбойку угля, небольшими зарядами разрыхлял его под кровлей, проделывал в верхней части пласта глубокие пиши, заводил в них верхняки — консоли, затягивал кровлю горбылями, а потом под этим потоком вел отпалку — изрывные работы по всей лаве, не опасаясь никаких последствий.

— Попки у тебя бывал? — спросил Катрухова Мяки.

— Чего ему тут делать? Пока в отстающих ходил — к себе вызывал, бранил, а как уголь пошел — стал в пример ставить.

— А другим бригадирам говорил, какую ты крепь придумал?

— Что мне соваться, если никто не спрашивает?

— Спросят, — заверил Мякип и сам о том о сем у бригадира выпытывал да увиденное обмозговывал.

А увидел он, что и у Катрухова организация труда — артельная. Придет он, скажем, смену принимать, увидят, что лесу крепежного мало, а то и вовсе нет, и сразу:

— Ребятки, леску!

И отправляется бригада гуртом лес гнать. Доставили. Катрухов с напарником за буренье принимаются, человека четыре передовую крепь выставляют, а остальные — шалтай-болтай. Где-то в середине смены отпаливали. По всей лаве. Угля — море! Все — на навалку. Аврал! Рештаки — горой. Копвейер — аж стопет от перегруза. Раз-другой качнул — полов вагон. Полчаса — партия. И — стоп! Порожняка нет...

— Вот что, — сказал Катрухову Мякип, — командовал ты мной месяц, а теперь моя очередь.

Разбил бригаду по специальностям: одних определял лесогонить, других — крепить, третьих — уголь грузить. И лаву на участки разделил. Отпаливали их поочередно. Уголь шел равномерно. Не авралили, люди не так изматывались, и транспорт справлялся.

— Ну как? — спросил Катрухова.

— Гоже, — согласился тот, хотя и досадно ему было, что сам до этого не додумался.

— Вот и держи так, — наказал Мякип. — Бригадиров буду к тебе присылать, учи их уму-разуму. А за крепь премию получишь. Что ж ты сразу не изобрел ее? — пожурил в шутку. — Додумался бы, как только новую систему ввели, и меня бы, глядишь, не спималп. Ну ничего! Лучше позже, чем никогда. Распространим ее по всем участкам и дазовем «Крень Катрухова». Согласен?

Катрухов лишь улыбался.

Через полгода после второго назначения Мякипа I-I-бис расправила крылья, в зенит поднялась и стала снова видна отовсюду, а фамилия ее заведующего опять в приказах паркома да на страницах газет замелькала. И тогда Мякип подал заявление... Напомнил в нем уполномоченному их разговор об амбиции и дважды подчеркнул фразу: «Я свое слово сдержал, дело за вами». Федякин отговаривал его, просил повременить, по единственное, чего достиг. — убедил припят участок. Когда я прибыл на I-I-бис, Мякип работал начальником четвертого уже около двух лет.

Личное наше знакомство продолжалось недолго, всего

несколько месяцев, но и за столь короткий срок я успел убедиться: природа, не скупясь, наделила Трофима Ивановича лучшими качествами вожака. Не стану уверять, знал ли Мякин, что он обладает редким даром увлекать за собой других. Но утверждаю: такой дар, и немалый, у него был. Утверждаю потому, что видел, как он, этот дар, захватывает людей. Да и на себе испытал его силу.

О вероломном пападении гитлеровской Германии я узнал в шахте.

Раздался требовательный звонок. Случайно я оказался у погрузочного пункта, где был установлен телефон, сияя трубку:

— Третий?

— Слушаю.

Телефон умолк. Потом из него вырвались звуки, напоминающие клекот.

— Что за шуточки? Кому это так весело? — возмущился я и отчетливо услышал рыдание.

«На шахте, наверно, катастрофа», — обожгла впезапнал догадка.

— Война! — наконец выдавила из себя телефонистка.

— Какая там еще война?

— С Германией.

Трубка выскользнула из рук. Через полчаса я был нагора.

На площади перед парядной толпились шахтеры, служащие, домохозяйки, дети. Плотники хозяйственного двора уже успели сколотить дощатую трибуну. На ней, положив на пеструганые иерила сухие жилистые руки — пятнадцать лет породу в забое ворочал, проходчиком был, — возвышался парторг Медяков, слева и справа от него — заведующий шахтой и председатель шахткома, лучшие стухановцы, участники гражданской войны.

Солнце скрылось за клубящимся облаком. Сквозь него лучи все же пробивались и жгли немилосердно. Люди обливались потом, тяжело и часто дышали, по жары, казалось, вовсе не замечали. Многие из тех, что, подковой охватывая самодельную трибуну, стояли на шахтной площади, были мне хорошо знакомы, по я почти никого не узнавал: их лица как бы окаменели, вдруг обрели не свойственные им прежде суровые черты.

Митинг открыл Медяков. Дрожащим от волнения, сры-

вающимся голосом он коротко повторил правительственное сообщение, сказал о пависшей над страшной смертельной угрозой, призвал каждого, на каком бы месте он ни находился, сделать все возможное и невозможное для победы над врагом и объявил:

— А сейчас слово предоставляется участнику Октябрьской революции и гражданской войны, начальнику четвертого участка товарищу...

И тут я увидел Мякина. Он шагнул к перилам трибуны. На нем была форма военного моряка. На груди четко выделялся клип тельняшки. Сдвинутая набок бескозырка лет на десять молодила его и придавала ему босовой вид. Упершись левой рукой в перила, правой он сорвал бескозырку и взметнул ее над головой.

— Братья шахтеры!

Слегка откинувшись назад, неторопливым, прищуренным взглядом окинул забитую народом площадь. Над ней стояла та глубокая, до звона в ушах, тишина, какая бывает в забое в промежутке между сигналом взрывника «Палю!» и взрывом, который за ним последует. У меня было такое предчувствие, что вот-вот произойдет что-то неожиданное, необычное, то, чего никто не предвидит. Произойдет оно, это «что-то», внезапно, и остановить его, как пачавшийся взрыв, никому не дано.

Предчувствие не обмануло меня.

— Братья шахтеры! — взмахнул зажатой в кулак бескозыркой Мякин. — Гитлер задумал уничтожить нашу Советскую власть, которую под руководством товарища Ленина мы установили в семнадцатом году, за которую насмерть бился с беляками, интервентами, басмачами и прочей бандитской сволочью. Но этому не бывать! Чтоб мне солнце не видать, не бывать этому!

— Не бывать! — отозвались сотни голосов, и площадь заколыхалась, забурлила.

Мякин, перепрыгивая через три ступеньки, в два броска соскочил с трибуны, отбежал к торцевой, примыкавшей к дороге, стороне площади, левую руку прижал к боку, правую выпянул в сторону.

— Годные к строевой, все, кто хочет немедленно на фронт, в колонну по четыре становись!

Толпа сперва замерла, какое-то мгновение оставалась безмолвной, неподвижной. Потом вдруг вздрогнула, закинула. Ее начали прорезать бурлящие потоки. В один из них бросился и я.

— Р-равляйся! — пророкотал Мякин.

Обойдя строй, Мякин, чтобы охватить всю колонну взглядом, шагов на десять отступил от нее, скомацдовал:

— Наме-во! В райвоенкомат шагом арш! Запевай!

И сам затынул: «Если завтра война, если завтра в поход...» «Если темная сила нагрянет», — подхватила колонна, выходя на пыльную грунтовую дорогу. За колонной устремилась мальчишки, жены, невесты, родные и друзья тех, кто, четко отбивая шаг, шел сейчас всем знакомую, так внезапно устаревшую песню: в поход надо было отправляться не завтра, а сегодня, немедленно, поскольку темная сила уже нагрянула.

У трибуны остались лишь пожилые шахтеры, женщины, чьи родные и близкие были еще в шахте. Все произошло так быстро, а порыв был таким единодушным, что и Медяков, и заведующий шахтой на какое-то время растерялись, не успев перехватить инициативу, а когда спохватились — было поздно: над колонной уже гремела походная песня. Обговя ес, в райком партии, в рудоуправление, в райвоенкомат полетели телефонные звонки.

— Добровольцы с шахты I-I-бис прибыли для отправки в действующую армию! — отпартовал Мякин военкому.

Тот был уже уведомлен и успел принять решение, но почти физически ощутимый порыв шахтеров поколебал его уверенность в своей правоте. Он сам готов был немедленно встать в их строй или возглавить его, и лишь воспитанная годами армейской службы дисциплинированность помогла майору подавить в себе предавшееся ему чувство.

— Дорогие друзья! — загремел его хорошо поставленный голос пехотного командира. — Призыв в Красную Армию идет строго по мобилизационному плану. Все, кто хочет вступить в нее добровольно, не ожидая своей очереди, пришите на мое имя рапорты.

— Эх ты, штабная душа! — выругался Мякин.

Военком сделал вид, что брани его не расслышал, лишь желваки заходили.

— А сейчас прошу разойтись. Многие из вас, как передавал ваш заведующий, уже должны быть в шахте. Помните, товарищи, угольный забой — тот же фронт, и оголять его никому не позволено. — Подошел к Мякину: — Вас приглашает секретарь райкома.

...Вечером состоялось бюро райкома партии. За недопустимую в условиях военного времени анархию, дезорганизацию работы целой смены, что привело к потере шахтой I-I-бис 300 тонн суточной добычи, Мякину записали выговор. Вины он своей не отрицал и обратился к бюро лишь с одной просьбой: помочь ему «разбросаться» и уйти на фронт. Мякин был настойчив и своего добился. Уехал он внезапно и незаметно. Вслед за ним, тоже добровольно, ушла в армию и Катя.

Дал знать о себе месяца через четыре. Написал не кому-либо персонально, а всем. На конверте так и значилось: «Трудищимся шахты I-I-бис».

Девочка-почтальон, одна из тех, кого в свое время он сладостями да игрушками оделял, размахивая синим треугольником, выкрикивала каждому встречному:

— Доктор Мякин с фронта прислал!..

Пока донесла до шахты, весь Караташ о том письме знал.

Задолго до гудка по парадной уже пройти было невозможно. Толпились в ней не только те, что на смену явились, — и конторские служащие, и рабочие хозяйственного двора, и жепщицы, работавшие в других сменах, у которых мужья воевали, пришли. Народу — не пройти. Но вот поднялся Медяков, положил на трибуну фронтовой треугольник, и парадная замерла, будто опустела. Больше тридцати лет с того дня прошло, а до сих пор это собрание помню. Закрою глаза — и Медякова, парторга нашего, вижу. Стоит на трибуне — по поясу она ему, — приблизил к глазам памятные листки оберточной бумаги — неразборчивый почерк был у Мякина — и читает. Негромко, но внятно читает. И воздуху ему то и дело как бы недостает, открытым ртом его захватывает, а губы кривятся, кривятся... И мне, наверно, тоже воздуха не хватало, и спазмы горло стискали, и губы у меня тоже, наверно, кривились, да сам я не замечал этого — боялся пропустить хоть одно слово.

«Дорогие мои товарищи! Служу я в морской пехоте. Вот уже семьдесят суток без передышки бьемся с фрицами. Прямо скажу: крепко наседают. Но и мы не в долгу. Докладываю вам, друзья дорогие: на личном счету четырнадцать фашистов имею. И в тылу вражеском за это время побывать успел. Хуже зверей гитлеровцы лютуют. Детишек в школе сожгли, стариков вешают. И сердце мое от несправедливости обуг-

лось. Приведешь вам, дорогие братья, увидеть то, что я видел, и если б сказали вам после того, что падо, шахтеры, для победы над пелюдями в два раза больше угля добывать, но нет у нас ни взрывчатки, чтобы пласты дробить, ни леса, чтобы крепить забой, ни карбида, чтобы лампы ваши заправить, — вы зубами бы стали уголь грызть, спиной кровлю подпирать, глазами в темень подземной светить и не в два — в десять раз добычу увеличили бы».

После чтения ни выступлений не было, ни клятв не давали, ни обязательств не принимали. Лишь комиссию, которая ответ Мякину написала бы, выбрали. Парторг Медяков, подкатчица Дуся Метлюгова, забойщик Катрухов, председатель шахткома в нее вошли и я.

И завязалась переписка. Легко нам отвечать было: бросовцы — хоть приходилось и впрямь чуть ли не зубами уголь грызть, спиной кровлю подпирать, глазами в забоях светить — марку свою высоко держали!

Последнее письмо от Мякина пришло, считай, через полгода после высадки нашего десанта под Повороссийском. Не треугольник — нормальный конверт. Этот конверт, а главное — незнакомый почерк, каким был написан адрес, невольно будили предчувствие. Вот это письмо:

«Дорогие мои друзья! Отвоевался ваш доктор Мякин. Вчистую отвоевался. По госпиталям теперь кочую. В Ташкент вот пришло. Сестрицу попросил, чтобы Кате написала да вам черкнула песколько слов. Скажу откровенно: не сладко мне. Да и вам ведь, знаю, не мед. Но крепитесь, друзья! Близка наша победа. Чтоб мне солища не видать, близна!»

Когда Медяков прочитал последние его слова, все, кто знал Мякина, поняли: скверно ему.

— Товарищи, — срывающимся голосом, словно бы укоряя кого-то, торопливо заговорила Дуся, — проведать Трофима Ивановича падо, гостипчика отвезти. Раненый ведь, больной!..

— Дело говоришь, Евдонья, — поддержал Катрухов. — Еще выделим тебе двух человек, денег соберем, продуктов. Одного хлеба по килограмму получаем, есть от чего оторвать, и поезжайте.

Но ничего собирать не пришлось. Деньги шахтком выделил, продуктам ОРС обеспечил — рудник подсобное хозяй-

ство пмел. И вечерним поездом мы выехали в Ташкент. Дусю, Катрухова и меня отрядили.

Если бы поезд по расписанию шел — успели бы. Но воениские эшелоны из графика его выбили. Опоздали мы...

Отыскивали могилу. Над свежим бугорком красной глины — сколоченная из досок пирамидка, а па ней: «Мяши Т. И.».

— Негоже, — протяжно выдохнул Катрухов.

— Хоть бы оградку... — всхлинула Дуся. Вспомнила, должно, мужа: от него вот уже третий месяц никакой весточки не было, — и зашла в голос. И лишь тогда я заметил, как она раздалась в талии и похудела с лица.

— Перестань, Евдокия, не мытарь душу, — угрюмо проворчал Катрухов.

И Дуся умолкла, лишь вздрагивал плечи да слышалось прерывистое дыхание.

— Давайте к Федяхину зайдем, — предложил я.

Принял сразу. Слушал — слова не пропустил. Закончил я, гляжу — лицо у него красными пятнами взялось и брови подергивается. Откинулся на спинку кресла, сбивчиво забормотал, будто ни души вокруг не было:

— Что ж ты, Трофим Иванович, не позволил, записки не передал? Нужные лекарства достал бы, питаем по-мог, — может, и вытянул бы...

Я кашлянул. Федяхин вздрогнул, нервно вскинул голову. «Кто вы и как тут оказались?» — спрашивали его сдвинутые над переносицей брови. Но вот морщины па лбу разгладились, глаза прояснились.

— Передайте бисовцам: сделаем... По-людски сделаем...

Снова в Ташкент я попал через десять лет. Прилетел из Донбасса для обмена опытом. Отзаседавшем, помчался в старый город па кладбище, название которого помнил все эти годы. Время изменило и его. Пришлось разыскивать сторожнику. Узнав месяц и год похорон, она привела меня к серебрястой оградке. За пей возвышалась глыба гранита. В левом верхнем углу была выбита бескозырка, в нижнем правом — шахтерская каска, а между ними:

*Моряку и шахтеру  
МЯКИНУ  
ТРОФИМУ ИВАНОВИЧУ  
Горняки шахты I-I-бис*

У подножья глыбы лежали привядшие цветы.

Сторожиха упредила мой вопрос:

— Женщина его навещает. Каждое воскресенье.

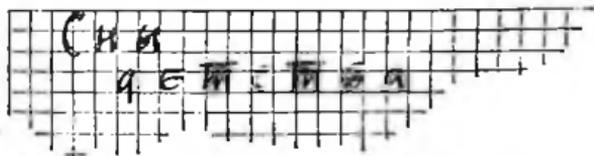
«Катя», — про себя сказал я.

— А бывает, что и военный приходит с пей. Орделов — вся грудь. Герой, видать. И хоть на протезах, а вид держит... Побратимом себя называет.

«Агамбек», — подумал я.

Память рванулась в прошлое. Передо мной предстали Мякин, Катя, Агамбек, и там, у серебристой оградки, забыв о повседневной суете, я вдруг почувствовал величие духа этих людей. Там же и дал себе слово рассказать о них. Всем людям. Чтобы знали их и всегда помнили.

# Андрей Михайлович



По календарю зима. Но это только по календарю. А на самом деле тепло и сухо, как в дни бабьего лета. Погода устойчивая, плюс десять — пятнадцать, а то и больше. И если бы не тишина опустевших садов, серое однообразие цветочных клумб да оголенные чаши высохших фонтанов и еще сотни других примет, сопровождавших слишком запоздалую осень, то конечно же можно бы и впрямь забыть, что наступил декабрь, что на пороге Новый год, который еще дальше уведет тебя от твоего давнишнего детства, вчерашней юности в собственно человеческую осень.

Кажется, что природа знает об этом и сочувствует тебе, и потому она замедлила шаги, предоставляет тебе в полной мере осознать мысль о невозвратности прошлого. Она повергает тебя в раздумье о жизни, о прожитом, спокойно поднимая занавесу и открывая окна в далекое детство, чтобы немного повеяло сказкой.

Аскару думается, что все живое вокруг охвачено чувством настороженного удивления, потому что по-прежнему теплые лучи солнца и это бездонное ласковое небо без холодных и снежных метелей нянчат всех и вся. Деревья не поймут: куда девалась зима? Они уже ощущают, как в стволах начинают бродить соки, слишком рано пробуждая почки. Лишь иногда сырой прохладный туман появится к вечеру, пройдет по ветвям, напоминая о заблудившейся где-то стуже, об опасности раннего пробуждения природы.

О зиме напоминают и горы. Там порой выпадает снег. Но снег этот не спускается ниже гор и тает быстро. Лишь по утрам, взглянув на высокие склоны, удивишься очаровательности этого вынавшего за ночь снега, чистого, радостного,

сверкающего на солнце, да случайно обнаружившь прозрачную росу на ветках туй, арчи и можжевельника, растущих попеременно с соснами, елями и березками, да еще увидишь неблескивающие хрупких льдинок на донышке давно утихшего арыка. Но льдинки тают мгновенно, как только лучи солнца, скользя с гор, коснутся садов.

К обеду белизна снегов на высотах меняется, легкое белое покрывало быстро раскрывается. Вновь в своем первоначальном холодном и гордом величии остаются вершины. Они отдают литым серебром синеватого оттенка. Это льдинки с темными прожилками в местах, где их прерывают скалистые утесы. Днем на утесах не остается ни единого облачка. У крошки вечных льдов и снегов отчетливо, во всей своей красе, проступают то устремившиеся ввысь, то сбегаящие вниз полчища мохнатыхелей.

Собственно, без них, без этих оборот из вековыхелей на груди вершин, заметнувшихся к небу у истоков нашей земли, без молчаливого взгляда Абая — самого величественного из гранитных утесов, гордо взирающих на город и на степную даль, невозможно представить себе край, названный далекими предками «Жер жаянаты Жетысу» — «Целебный пектар земли Жетысу».

Но сейчас не лето. Тише стали горные потоки, реки не шумливы, молчат арыки, отключены фонтаны. Оголены вершины тополей и карагача. Зброшены сады. И по вечному закону природы в эту пору им бы спать, закутав стволы у корней в снега.

Но снега нет, нет и декабрьской стужи. Сквозь мертвую листву и пожухлую траву удивленно пробиваются юные стебельки полой зелени. Они торопятся, эти ростки, они впервые видят свет и солнце. Им невдомек, что они рождаются на свет не ко времени. Капризы погоды для них не страшны. Внезапный мороз и снег не одолеют их. В них молодая сила. Снег укроет их, а весна вновь придаст силы. Но то, что не страшно для слабого стебелька, опасно и губительно для старой яблоня, одиноко притихшей на окраине сада.

Всего месяц или два назад здесь шумной, веселой толпой трудились горожане — сборщики плодов. Все лето и осень, до сбора плодов, этот сад охраняли как зеницу ока. Вовремя поливали, вовремя косили траву, заделывали просветы в заборах. Сторожа день и ночь не покидали своих шалашей, сооруженных из досок и веток. Но как только урожай был собран, сторожа покинули свои шалаши.

Сад стал пичейным, он заброшен. Хотя и на время, но

забыт. Кое-где обвалплась ограда, и теперь, пользуясь столь теплой погодой, здесь бродят коровы, чья-то лошадь трется о яблони, с хрустом ломая ветви.

Притих сад. Задумчива старая яблоня, как бывает задумчив человек, привыкший жить с полной отдачей энергии для пользы других и однажды, на склоне лет, за непадобностью лежливо отодвинутый в сторону и забытый.

Сад еще молод. Старая яблоня знает, что люди еще придут сюда. Пишно расцветут юные яблони, а что же ждет ее, старую?..

Аскар вслушивался в тишину заброшенного сада. Было тепло и сухо, и он мог бродить, не придерживаясь тропинок и дорог, проложенных во время сбора плодов.

Он бродил просто так, внимательно прислушиваясь к каждому дереву, изучая его. Осенние краски, тишина, странная, непривычная тишина в саду. Не слышно ни шороха листьев, ни щебета птиц. Глухота арыков и этот чпстый, еще не испоганенный городской копотью ньянящий горный воздух оберегают от суетливости, от неумного беспокойства, которыми обычно полна жизнь. Так что можно наслаждаться одиночеством, спокойно перебирая в памяти страницы своей, в общем-то, по-доброму прожитой жизни.

В детстве, да и в поздней юности он часто путал сны с действительностью. Он летал во сне и ничуть не сомневался в том, что может летать и наяву. Это были прекрасные сны.

...Оттолкнется от подкопника, или от края обрыва, оврага, или просто от прохладной дорожной пыли и летит, летит, плавно взмахивая руками, легко и свободно, полной грудью с наслаждением вдыхая запах ветра и трав. Летит над домами, над деревьями и родниками, перелетает через холмы, ручьи и речки и приземляется на зеленой лужайке или на склоне горы, где так много цветов. А бывает, сядет прямо в гущу высокорослой спелой пшепницы под шелест увеспстых колосьев.

С раннего детства Аскар знал все тропинки в горах своего аула и во сне всегда летал над ними. И хотя по сей день в его маленькпй аул не прилетали ни самолеты, ни вертолеты, он знал, как смотрится его аул сверху. Он не раз видел свой Карлыгаш с небспой высоты — то была сказочная картина.

Из чрева горной гряды в одну из долин выбирался зеленый, мохпатый, сказочной величины медведь. Да так и не выбрался. Навека уснул, положив мохпатую голову межлап,

закрыв глаза и устремив нос на север. Лапы он так широко раскинул, что меж ними вольготно разместился целый аул. Каждая глинобитная мазанка, землянка или изба из дерницы строилась подальше друг от друга. Всем было удобно и просторно. На горных склонах паслись коровы и овцы, на лужайках аула резвились телята и ягнята... А мохнатый хозяин гор, обхватив небольшую долину своими лапами, защищал аул со всех сторон от холодных ветров.

Из правого и левого предплечья мохнатого чудища когда-то в древности, вероятно миллионы лет назад, забили родники; со временем родниковые воды прорыли глубокие ущелья, словно стремясь почтче проявить контуры тела, лап и головы уснувшего медведя-великана.

Родников в горах много, и все они, оставляя морщинистый след на теле зеленого медведя, стекают вниз, а затем, слившись в единое русло, вырываются на простор через глубокую ложбину, образовавшуюся меж лап спящего хозяина гор.

Аскар помнил, что еще в раннем детстве, перед войной, оба ущелья, начинающиеся с правого и левого предплечья заснувшего великана, были непролазны.

Дикие яблони и черемуха, шиповник и сирень, барбарис и малина, боярышник и густые заросли тала, арчи, дикого хмеля и ежевики образовывали непроходимые чащи. А там, где склоны были пологими, весной зацветали подснежники, голубые колокольчики, а потом тюльпаны, марьяны коренья, щавель, дикий лук, кислянка и еще десятки других съедобных и несъедобных цветов и трав. Это был сказочный уголок земли, и, летая над ним, Аскар видел тайные тропы косуль, поляны, облюбованные фазанами и кекликками, а вблизи этих полян часто золотым мазком среди зелени сверкали лисички.

Чудесные сны. Но, возможно, не было их, этих сказочных снов. Ни в детстве, ни в юности. А видел он эти сны, возможно, лет под тридцать, когда в третий раз и навсегда покинул свой аул. Но все равно Аскару кажется, что сколько он знает себя, столько помнит эти сны; вернее, в нем всегда жили эти видения, это чувство полета, ощущение своей легкости. Он всегда считал, да и сейчас, когда уже за пятьдесят, он не может не только примириться, но даже допустить мысль, что все это лишь фантазия.

И все-таки пельзя объять необъятное. Человек — существо земное. И с годами тусквеют мысленные полеты, а к старости уже хочется спокойно и дольше походить по зем-

ле, взглядеться в ее горы, в ее деревья, послушать шум листвы и говор ручья, хочется босыми ногами ощутить материнскую теплоту земли. И уже не спы, а были, земные картины твоего детства пачинают одолевать тебя, и эти воспоминания — картины детства — становятся для тебя самыми дорогими и сладостными... Одна из них с некоторыми пор сопутствует Аскару и в дальних странствиях, и дома, и в полетах через океан, и в поездке в соседний район. И кажется Аскару, что, прожив полсотни лет, он теперь совершает обратный круг, ибо то, что было в детстве явью, действительным фактом, ныне сопровождает его как сон, вечный и вечный.

...Все четче становится память о детстве — память, вырывающая и вырывающая из глубины сознания давно забытое. Факты, видения далекого детства, на которые он никогда не обращал внимания, которым не придавал никакого значения, вдруг через столько лет, вырываясь сквозь накопленные видения, притягивая своей естественностью, наполняются огромным смыслом. Но рассказать даже об одном из них не так-то просто. Потому что каждое событие имеет свою предысторию и свое продолжение и связано не только с биографией самого Аскара, но и с жизнью его аула, его земли, его страны.

\* \* \*

А предыстория эта уводит к годам войны, когда все достойные мужчины аула ушли на фронт. Когда снежная, вьюжная, необычайно холодная зима с сорок первого на сорок второй год вкопец вымотала оставшихся женщин и детей. Когда вся тяжесть легла на плечи стариков.

Да и стариков-то было немного, по их деловитость передавалась другим. Для маленького аула, отрезанного от всех снежными запасами, не имеющего никакой связи с внешним миром — ни радио, ни телефона, — любое решение старейшин было законом.

Старики стали молчаливы и суровы. Вместо прежнего баскармы, ушедшего на фронт, они избрали своим вожаком, председателем колхоза, старого Сапара.

Еще глубокой осенью Хамза угнал табун колхозных кобылиц в далекие пески на зимовку... Дамеш-ана попросила Аскара отвести старую гпедуху в табун к Хамзе.

— Опа навряд ли выдержит дальние переходы. Зимовка будет трудной. Лучше бы ты ее на согым — убой — пус-

тпла. И сама, и другие бы зимой бульоном согрелись, мяса бы поели,— сказал тогда Хамза.

— Да как же на согым? Ведь она жеребая! Не возьму я греха на душу. А если подыхать будет, ты уж сам решишь, как с нею быть. Тебе там одному тоже несладко будет,— решила Дамеш-апа.— А может, с нею ничего и не случится; если выкидыш будет, то аллах с ним, с жеребенком.

Коров в ту лютую пору хозяйки отдали старику Жакылу, который па старой базе, что в соседнем ущелье, выхаживал колхозных волов и лошадей. Туда же до глубокой осени свозили сено и солому с полей. Жакын был одновременно и хозяином колхозной фермы, и скотником, сторожем и коюхом, а летом — пастухом. Остальные старики помогали женщинам и детям заготавливать дрова для семей больных, для конторы правления, аульской школы, ремонтировали телеги и сани, помогали кузнецу Кенехану и до глубоких заносов на дорогах усилили свезти в райцентр остатки зерна, вареники и мапки, носки и полушубки, связанные и сшитые женщинами для фронтовиков.

И только теперь один из аульских стариков жил в своем доме как в крепости. Из всех дворов в ауле только его двор был огорожен высоким забором. Добротный сарай. Овчарня, коровник и конюшня. Кобылица и конь, десятка три овец, две коровы. Вдоволь сена и дров, и еды вдоволь. Огромный волкодав бдительно охранял его хозяйство — его неприступную крепость. Ни дочек, ни спох, ни сына, ни внуков он не отпускал на работу в колхоз.

Зима становилась все злее. Быстро таяли запасы еды. Люди голодали. Холод проникал в дома. Небывалые снегопады и мороз затрудняли дорогу в горы и ущелья, к колкам и рощам, где можно было заготовить дрова.

Целую неделю после каждого почного снегопада люди прорывали друг к другу тропинки-траншеи, чтобы узнать, все ли живы. Вглядывались в трубы и в первую очередь прокладывали дорогу туда, где не было дыма. В один из дней выяснилось, что ночью умерла жена Мырзахмета. Неделю назад пришла похоронка. Мырзахмет погиб на фронте. С вечера женщина налила полный казан воды, высыпала туда весь остаток муки и пшена, бросила последнюю картофельину и последний кусок масла. Вскипятила и досыта накормила своих семерых детей. Уложила их спать, па теплом капе, а сама села в углу и сказала, что будет вязать рукавицы для солдат. Вязать она может и в темноте. Привычно.

Утром дети увидели, что мать их умерла. Старшая дочь сказала, что она не ела трое суток: говорила, что у нее болит желудок.

...Аскар в то утро не отставал от Сапара. В залатанных валенках, спотыкаясь о подол своей старой шубы, он бежал туда, куда его посылал Сапар-ага.

Начали прокладывать дорогу к кладбищу, благо хоть погода установилась. Похоронили мать.

Сапар велел созвать стариков на совет. Решили распределить осиротевших детей по домам. Кто-то из стариков не послушался Сапара, пошел к владельцу волкодава, чтобы пристроить у него одного из осиротевших ребят. Аскар пошел тоже.

Но владелец волкодава не впустил их даже во двор.

— Какое мне дело до чужого? Я в кормильцы не принимался! Пусть колхоз кормит! — отрезал рослый старик с черной бородой и жестким взглядом. Он стоял, накинув на плечи волчью шубу, на голове у него был лисий малахай.

Внук хозяина волкодава был сверстником Аскара. Он стоял за спиной деда, сытый, в добротных валенках и новом ватнике, держал в руках железные вилы и с ухмылкой разглядывал пришельца, потом улучил момент и показал Аскару кулак. Аскар удивленно посмотрел ему в глаза. Все еще продолжая ухмыляться, тот отошел к волкодаву, с хриплым рычаньем натянувшему цепь...

\* \* \*

Снег сошел с полей. Показалась зелень. Пришла весна. И, как всегда, весенние заботы охватили всех. Теперь не только у стариков, но и у детей хватало дел. Собирали колосья с прошлогодней стерни, пасли колхозных коров, телят.

Копей и волов в колхозе было мало, да и те отощали за зиму. Не хватало ни людей, ни копей. Особенно пужны были в эту пору спялые мужские руки.

Весна торопила. Надо было начпать сев...

На поляне возле кузницы, куда были снесены мешки с остатками семенного зерна, собрался парод. Старики посоветовались, посчитали мешки. Более ста мешков отодвинули в сторону.

— Озимые дали хорошие всходы, — начал Сапар. — А это — семена под яровые. Мы должны засеять их вовремя, но потеряв ни единого зернышка, иначе не соберем доброго урожая, чтобы дать побольше хлеба солдатам да самим

оставить хотя бы небольшой запас кроме семян. Нынешняя зима — хороший урок для нас. А вот эти пять мешков мы поделим поровну на каждую семью. Попытаемся добыть немного картошки в ближних русских селах, уже есть молочко. Лето близится. Поработаем как падо, выживем... Эй-эй, смотрите! — вдруг радостно вскричал Санар-ага. — Смотрите, Хамза возвращается!

Аскар увидел, как из-за джона неожиданно появился небольшой табул. Громко пофыркивая, кобылицы рысцей спустились вниз и, перейдя через узкий мост, направились прямо к центру аула, к просторной лужайке. Тонконогие, еще не совсем окрепшие жеребята еле успевали за матерями. Табул остановился без всякой команды и рассыпался. А табушник на гривастом черном жеребце, в седле, увешанном коржунем и торбами, в огромном облезлом малахае, волоча за собой длинный березовый курук<sup>1</sup>, подъехал прямо к толпе. Поверх шубы на нем был рваный чекмень. Черное от ветров и морозов лицо было потным. Сверкали лишь глаза да зубы. За плечами у него торчал ствол старой берданки.

Все произошло так быстро, что люди оторопели от неожиданности. Долго не было вестей от табушника. Лютовала зима. Сверпствовали волчьи стаи, которых стало больше с тех пор, как все охотники ушли на фронт. Ходили слухи, что Хамза замерз в песках, что его загрызли волки, а табуи, одичав, укрывались от волков, ушел в глубину песков, в камышовые джунгли Балхана... Ведь прошло полгода, как он угнал табул на зимовье, и с тех пор ни одной весточки. Люди не верили в чудо.

Но вот он, Хамза! Он жив! От холодных ожогов лицо растрескалось, стало полосатым, как у тигра.

Хамза снял малахай, и длинные седые волосы упали на плечи. Руки как корневища. Он схватил ими, как железными крюками, свои торбы, коржун и бросил все на землю. Пожилые женщины не дали ему самому сойти с коня. Спочтением спяли с седла под хохот старух. Люди смеялись:

— Видать, одичал, бедняга! Вишь, как бонится баб! Да мы тебя не тронем, это наше почтение за спасение кобылиц. Спасибо, хоть с нами управился.

— Ну, раскудахтались! Ничто вас не уймет... — ворчал Хамза. — Да отпустите же вы! С людьми поздороваться падо!

— Девочки мои! Да вы смотрите на него — каким был,

<sup>1</sup> Длинный шест с петлей на конце для ловли лошадей.

таким и остался. Мы, видите ли, для него не люди. Вот старый бобыль...

Сапар-ага молча подошел и крепко обнял Хамзу.

— Отдохни пару дней. Походи пешком по земле. Ноги разомни, — говорил Сапар, чуть не прослезившись, слегка подталкивая друга.

— Слава аллаху! Все ли живы? — Хамза здоровается с аульчанами.

— Эй ты, о чем спрашиваешь? Что с нами случится?.. Жив ли ты сам? — Кузнец Кенешап обнимает друга.

— Да что я? Только ведь боялся, что разучусь говорить, — смеется Хамза. — Весь табуи цел. Он помог, — Хамза указывает на потного гривастого черного жеребца, который, освободившись от торб и седока, но с еще не снятым седлом, уже пошел к косяку и по привычке с тихим грудным ржанием сгонял разбредаящихся кобыл в кучи.

— Много следов от волчьих зубов осталось на нем. Да и волкам досталось от него. Если бы не он...

— Ассалаумаликум, Дамеке! Что же вы на меня так смотрите? Жива, жива ваша кляча, да еще в придачу хорошего жеребенка привела. Вои, видите, в хвосте плетется... — Хамза говорил с Дамеш-ана с особым почтением.

Дамеш медленно направилась к табуу. Аскар хотел было побежать за ней, помочь ей поймать жеребенка, но все же остался на месте. Как-никак в этот день он был при Сапаре-ага в роли рассыльного.

— Ну что слышно с фронта, есть ли весточки от наших сыновей, все ли живы? — уже другим голосом, как-то виновато, скрывая тревогу, спросил Хамза.

Никто не решился ответить ему, каждый, словно не слыша вопроса, занимался своим делом...

А Сапар уже торопил людей. Надо пачинать сев.

— Будем сеять вручную — быстрее управимся. Ну а вы, чего же вы стоите? — обратился он к женищинам. — Давайте ваши чаши или торбы. Будем делить зерно вот из этих мешков. У кого под рукой нет посуды и не во что взять зерно — не робейте, насыплю в подол.

— Да вы посмотрите-ка на него! Как он расхорохорился, наш баскарма! Уже шутки шутить начал! Слово и в самом деле джигит какой! — снова послышался смех. За долгие трудные дни люди стосковались по доброму смеху.

Но вдруг все умолкло. К Сапару первым подошел владелец волкодава. Никто не заметил, как он очутился здесь. В руке у него была расшитая торба.

— Сыпь побольше. Не жалея, это не твое, а колхозное. Значит, народное.— Он стоял перед Сапаром.

Побагровел Сапар, старые жилистые руки сжались в кулак. Он медленно обвел взглядом притихшую толпу и впился в лицо владельца волкодава. Наступила такая тишина, что стало слышно далекое пофыркивание насущихся костей.

— Эй ты! — вдруг неожиданно резко вырвалось у Сапара.— Когда мы баев раскулачивали и бились насмерть, ты отсиживался в горах, прятался от людей. Когда мы организовывали колхозы, ты выжидал. Потом, когда за трудодни платили щедро, ты всю семью заставлял работать на колхозных полях и днем и ночью и еще воровал наше добро. Так ты сколотил свое хозяйство. А теперь, когда горе нависло над людьми, ты вновь решил стоять в стороне. Нам обоим седьмой десяток идет.— Сапар едва сдерживал гнев.— И вот что я скажу: мое это зерно или не мое, но ты его не получишь. Не заслужил!

— Ишь ты какой, баскарма! Самоуправством заплелся? Что, и власти на тебя уже нет?! Как будто забыл, что и у меня сын на фронте воюет...— цедил сквозь зубы хозяин волкодава.— А ну давай зерно! Эй, где бухгалтер Амирбек?! — крикнул он.— Пусть втолкует этому дураку, что самоуправство никому не сойдет. Еще буквы не научился читать, а колхозным добром как своим распоряжается! Амирбек тебя научит. Он не таких осаживал, он знает законы, и в районе его знают!

— Хватит! Прочь отсюда! — взревел Сапар-ага. Аскар никогда не видел его таким страшным.— Не на фронте твой сын! Сам свой палец прострелил и теперь сидит на железнодорожных складах всего лишь за двести верст отсюда. Жмыхом торгует. Ты же садил к нему и привез то, что он успел наворовать... Прочь отсюда!

Люди были ошеломлены новостью. Они впервые слышали правду о старшем сыне владельца волкодава.

— За клевету можно и в тюрьму угодить, аксакал,— вдруг слышался вкрадчивый голос тонкоусого и тонкогубого счетовода Амирбека.— Его сын медаль «За отвагу» получил.

— Это ты, ядовитый змей, давно впился в тело аула, твои доносы действительно увели кое-кого в тюрьму, а что касается его сына-дезертира, то ты о нем знаешь не хуже меня!...— гремел Сапар.

бы жил и работал именно в этом ауле? Ведь такие, как он, создавали тракторы, машины, на которых теперь работают мартукаевцы. Так неужели он не заслужил уважения паравле с жителями Мартукая? И его портрет долго висел и почетном ряду, только не в родном ауле, а на Урале, у входа на завод.

Тягостное чувство неприютности, потерянности, охватившее его в ауле, стало поемному утихать. Если уж говорить по правде, падо ли удивляться тому, что аульчане его забыли? Ведь со дня своего отъезда он не паписал никому из них ни строчки. А что стоило, если даже поначалу он и не умел писать, попросить кого-нибудь из бойцов пацаранать письмецо! Но он и не подумал об этом. Почему? Ответ на это у него, пожалуй, есть. Слишком много несправедливостей и жестокостей пришлось ему вытерпеть в своем ауле. Первое время ему и вспоминать не хотелось о нем. Потом — работа, семья, воспитание детей. О родных местах некогда было и думать, разве во сне иногда привидятся...

Выходит, никакой особенной вины перед аульчапами за ним нет. И он может со спокойной совестью дожить здесь свою старость. Родная земля зовет его. Сейчас, когда мысли его не стеснены спешкой и мпожеством обязанностей, они все чаще возвращаются к родному порогу. Здесь похоронены его родители и деды, здесь он впервые увидел белый свет, па эту землю впервые ступила его нога, здесь мать пела ему колыбельную песню, здесь он бегал босой по снегу, здесь узнал вкус хлеба и фруктов, здесь же впервые увидел пятикопечную звезду...

Трудно перечислить все те радости, что пережил па родной земле Человек. Трудно рассказать, что теперь творится у него в душе. Душа у человека такая же необъятная, как и вся наша планета, не постичь всех волнений, тревог, всего горя и всех радостей, что теснятся в пей.

Человек принял решение возвратиться в Мартукай. Напрасно он себя мучил. Аульчане ни в чем перед ним не виноваты. Если бы он рассказал о себе кому-нибудь постарше, его паверняка бы узнали. И в сельсовет непременно следовало зайти, если он всерьез задумал вернуться па жительство в свой аул. Нет в этом желании ничего для него зазорного. Ведь он возвращается в родные места не немощным стариком, которого надо содержать и опекать...

Автобус с пассажирами продолжал свой путь. И вдруг кто-то сказал:

— Послушайте, ведь мы забыли о старике, который вы-

шел на предыдущей остановке. Он сидел на этом месте. А билет у него был до города, мы вместе покупали...

Люди засуетились:

— Что ж теперь делать? Ждать его? Но мы далеко отъехали...

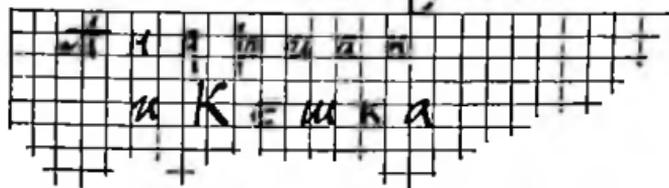
— Правильно, все равно не догонит. Давай, водитель, время дорого! Сядет на другую машину.

— Но как оставить бедного старика? Другой машины может и не быть...

— Он сказал мне, что должен вернуться в Мартукай, что-то позабыл там, — объяснил водитель, спокойно продолжая свой путь.

*Перевод с адыгейского И. Савенко*

# Денис Кекецкин



Полгода Андриан провел в госпитале. Особенно тяжелыми были дни перед выпиской.

Когда ему прислали протезы, повертел, примерил, а потом прикрепил их. Хотел встать — не получилось, упал на койку низ лицом, а подвижные ноги торчали пулеметными стволами.

— Нет, ничего не получается.

— Ты за стеночку, за стеночку полагалу.

Ему помогли встать — правой кисти тоже не было.левой он хватался за спинку тесно поставленных кроватей и, шагнув раз-другой, опускался па что попало, тяжело дыша.

Капитан медицинской службы Антопина Петровна прислала другой протез.

— Примерь-ка этот. И не распускаться!

Понятно. Значит, оставаться еще па месяц...

...Через месяц он довольно спосно передвигался вдоль длинного коридора.

— Молодчина, — сказала Антопина Петровна, — поедешь домой.

Вот и приехал. А за реку не попадешь: паром уже вытащили на берег, а река еще не встала, шумела шугой. Забереги остро выстелились и почти доставали срединны, и только на стремнине, словно по черной конвейерной ленте, тащились льдины.

Андриан закурил. И удивился: безлюдье какое, даже ребятшек не видать. А бывало, раньше по берегу как маковое семя! Глушат рыбу, катаются по заберегам. Щebetвя — хоть уши затыкай! А паром облепят, как стрижи.

Андриан покурив и стал спускаться к реке, туда, где в узких прорубях полоскали белье бабы. Тут же мокли ка-

душки. «Еще капусту, впадать, не солили, — подумал Андриан. — А вода на убыль идет — видно по ледяным обручам на катушках».

Бабы колотили вальками, и лед отзывался глубинными взрывами. Пока Андриан спускался, бабы как по команде выпрямились и, сверкая голыми коленками из-под подоткнутых подолюв, глядели на него.

Евдокию Андриан сразу узнал, но виду не подал.

Спустившись к реке, Андриан поклонился.

— Ты чейный будешь-то? — не утерпела Евдокия.

— Вот ешкица мать! Ужель и не признала?

— Господь с тобой, никак Андриан? Живой! — И Евдокия, шурша обледенелой юбкой и скользя чирками по гладкому льду, бросилась на берег. — Аграфена-то знает?!

Через минуту бабы подняли такой крик, что и на той стороне сбежались.

Аграфену он увидел издалека, еще когда бежала она по берегу к переправе. Сердце надсадно застучало.

Покричали через реку, покричали, пометались и наконец пришли в себя. Утомонились; разве пойдешь в такую нугу, затрет льдом. Был бы дома Георгий, сын, тот бы мигом лодку спроворил, вот уж парень сорвиголова. «Живой ли?» — екнуло сердце.

Андриан отставил в сторону пегпущуюся погу и неуклюже опустился на отбеленную дождями колодипу. За рекой притихший берег, почерневший сруб с каланчой — до войны там была коптора «Заготзерно». На коньке точками воробы. Вдоль берега, огородами к реке, стояли редкие с небелеными трубами и разоренными заплотами домшпки. Рапыне они не казались такими крохотными, как сейчас. На огородах лежали черные кучи ботвы. На утугах<sup>1</sup> подщипанные стожки сена. «Держат скотину бабы, — подумал Андриан, — это хорошо».

Папирсы у него кончились. На колепке, прижав култей газету, оторвал клочок, посыпал дорожкой табаку, помогая губами и языком, слепил цигарку. Самосад припахивал одеколоном.

Прибежала приварядившаяся Евдокия и потянула Андриана:

- Пошли, уже ждут... и баня, и самовар.
- Да куда ты меня... Оторвешь рукав!

<sup>1</sup> Утуги — покос при усадьбе.

— Урву, пока Аграфена за рекой. Берем, бабы, его в плен!

— Сдаюсь, сдаюсь!

— Смотри не сдавайся, Андриан, воп она какая!

— А я тоже ничего, — петушился Андриан.

— Господи, душа только и чем...

— Живы будем — не помрем! Мне, бабоньки, износу нет, — хорохорился Андриан и смеясь крутил головой.

— Ты бы хоть, Андриан, прихватил с собой дружка покрепче. Вон Дашка, павелась баба.

— А сама-то, сама-то! — сказала статная белолицая Дарья, Степана Детковского дочка.

— Поверишь, Андриан, она уж и деда Саломатина подбивала, так тот, черт глухой, только и подшил ей валенки!

— Эх-эх, — вздохнул Андриан и с тоской посмотрел за реку, где все еще маячила фигура жены.

— Милости просим, Андриан Филимопович, — хлеб-соль, — поклонилась Евдокия.

Бабы смолкли. Кто-то взял вещмешок Андриана, и все вместе пошли к Евдокиному двору.

Опершись на прясло, поджидал их сам Саломатин, прямой и высохший, как жердь, свекор Евдокии.

— Он совсем перестал слышать, — вздохнула Евдокия, — ему ведь девятый десяток, а так еще ничего, крепок. Сам запрягает. Все ждет сына, моего Степана.

Дед Саломатин толкнул калитку, обнял Андриана и трижды коснулся усом.

— Возвращаются солдаты, дети наши! — И повел гостя в дом.

Улучив минутку, Евдокия приступила к Андриану:

— Не видел моего, не приходилось, может, мельком где? Похожего, может?

— Ну что ты, Евдокия, да там нашего брата... И все мы друг на дружку похожи, только разве калибр у одного поболе, у другого помене.

— Мы-то тут с твоей Аграфеной все вместе, как чуть, так и ко мне бежит. Я ей то слы про тебя отгадываю, то на карты броню. И убежит, пог под собой не чуж. Может, хоть фамилию нашу где упоминали?

— Фамилию, говоришь? Фамилию слышал, Евдокия, а вот, режь на куски, — не помню где. То ли в госпитале или еще где...

Евдокия цепко схватила Андриана за рукав:

— В каком госпитале, в каком?

— Не помню, Евдокия, чего не помню, того не помню. За стол сели одни бабы, если не считать деда Саломатина да самого гостя. Дымила паром картошка в мулдире, на тарелках грузди, крепкие как сибирские пельмени, огурцы с капустой и прямо из чулана ягода в берестяном чумашке<sup>1</sup>. По такому случаю и бражку отыскиали.

Бабы выпили по стаканчику — и сразу за песню; попили маленько, еще по стаканчику — и в слезы. Вскоре все разошлись по домам. За столом остались только дед Саломатин с Андрианом. Дед разливал бражку, угощал Андриана, прикладывался сам и вскоре тоже отяжелел и полез на печь.

У Андриана от браги гулко стучало в висках. «Пойду к реке, проветрюсь». Накнул шинель, взял палку и спустился на берег. От мороза лед постреливал, стало ветрено. «Смотри, как переменялась погода, если прижмет ночью, то к утру, поди, и встанет».

Андриан сел на ту же колодцу и, повернувшись к ветру спиной, закурил.

Сумерки ступились, по ни одного огонька в деревне не зажглось. Река блестела как хромовая, скрываясь за поворотом.

В деревне — ни собачьего лая, ни звона пилы. Если бы не скрип калитки да не дымы пад избами, все казалось бы неживым. Так и просидел Андриан, задремал, очнулся же оттого, что кто-то тронул Андриана за шапку. Андриан поднял глаза.

— Ты чья будешь?

— Дядя Андриан, а я вас признала, — засмеялась девушка.

— Нюшка! — Андриан привстал, поцеловал девушку в нос. — Смотри, невеста какая!

— А меня за вамп тетка Аграфена послала, — застеснялась Нюшка. — Только вот беда — лодку шугой унесло. Лодка-то Карасихи. Как же без лодки, дядя Андриан?

— Да ты не переживай, к утру должно угомониться. Ну-ка дай мне, дружище, копя, — весело сказал Андриан, показывая на палку.

Нюшка подала, и они пошли рядышком.

— Может, к тетке Потанихе зайдём, рядом ведь, — предложила Нюшка, — давно се не проводывала.

— Можно и к Потанихе, — сказал Андриан.

<sup>1</sup> Чумаш — берестяное лукошко.

— Изба у нее большая, места хватит,— обрадовалась Нюшка.

Андриап постучал в дверь.

— Да заходи, не заперто,— донеслось из избы.

Андриап переступил порог.

— Кто там? Должно быть, ты, Андриап?

— Мы с Нюшкой полупочиняем.

— А, певестушка пришла? Проходите, проходите! Керо-вишу цету, а лучина возле печки. Прокараулила, Андриап, Нюшка жепиха, моего Семку.

— Ай уж... тетка Пелагея.

Пелагею в деревне звали Потапихой, по мужу Потапу.

— Ну да ладно. Ставь, Нюша, самовар. Ревматизма меня скрутила, якорь ее. Обезпожеваю к ночи, будь оно неладно. За ночь отхожу.— Потапиха завозилась на печке, но под-ваться не смогла.

— Ты уж, Андриап, будь за хозяина, в печке — парепка в чугушке, ешьте и мне чаю подадите. Утре поднимусь, сварю заварухи. А сейчас парепок поешьте. Нюша, слазь, деточка, в подполье за молочком, попотчуй Андриапа.

— Да я сыт, тетка, стоит ли беспокоиться, мы перебу-дем...

— Где это тебя так напотчевали сытно? На голодное-то брюхо цыгане будут сытятся. Еще не расспросила, ишь взяли моду, их здесь жди, убивайся, а они два слова о себе не дадут... Молли богу, что встать не могу. Ешьте и ложитесь. Ты, Андриап, на койку мостись. А ты, Нюшенька, ко мне полезай, тут те-о-пленько.

Андриап разжег печь, и сразу стало веселее. Изба была просторная и чистая. Выскобленный пол отливал желтком. На окнах отсвечивали белепькие занавески. Ниже подокон-ников на лавках стояли горшки с цветами. Цветы Андриап разглядеть не мог, блики от печки метались с пола на по-толок, но он и так догадывался — герань, алоэ и бабушкин табак, так было и до войны.

Нюшка поставила на стол чугупок с парепой брюквой и пропорно достала из подполья крипку молока.

Он только сейчас заметил, как складно сложена Нюшка и совсем уже не девочка.

Нюшка налила чаю, разбавила молоком, достала пареп-ку, покатала в руках, подула на нее и подала на печь.

— Ты бы сходила, Нюша, к Саломатиным, сказалась бы, где мы, да и прихватила мой мешок,— попросил Андриап,— если, конечно, не забоишься.

— Ну что вы, дядя Андриан! — Нюшка пабросила телогрейку, проворно сунула в Потапихины пимы ноги и исчезла за дверью.

— Известа, — сказал Андриан, — а была соплюха.

— Малые растут, старые старятся, — отозвалась Потапиха. — Хорошая девушка, не забалмошная, по дому управляется и меня не бросает, пет-пет да прибежит. Мой-то оборот, вишь ли, в город...

Но тут дверь отворилась, и Нюшка внесла вещмешок.

Андриан подтянул его, зажал в колени и развязал шнурок. Принялся выкладывать на стол колбасу, сахар...

— Ой! — не удержалась Нюшка.

— Что это вы там затеваете, Андриан? Не выдумывай, неси домой.

Андриан подмигнул Нюшке: дескать, подай Потапихе. Нюшка проворно взяла кусок сахара, колбасы и шмыгнула на печь.

— Это еще что выдумала... Что мы, голодные, отошались...

— Но уж если так, пойдём, Нюшка, раз хозяйка нам не рада. — Андриан задвигался на лавке.

— Я те пойду, — засмеялась Потапиха. — Ладно уж, разговаривай. Только по такому-то куску — это где вас такому обучали. На-кась, Нюшка, откуси, у тебя зубы крепкие.

Андриан все пил чай. Отмачивал душу, пока самовар не начал класться. Потом уж перебрался на кровать и, не спывая протезов, лег поверх, натянув на себя шпатель.

Проснулся Андриан от грохота конфорки.

— Будь ты неладная! Разбудила людей, — укорила себя Потапиха.

Самовар пофыркал и топешко зашел.

— Целую неделю поет, — присела к Андриану на постель Потапиха. — К гостям это, вот и паворожил, и еще кого-то бог даст. Нюшка уж слетала, послушала сводку — опять наши заняли узловую, опять жди дорогих гостей. Вроде ушамкалась река-матушка за печь, но ты, Андриан, не вздумай, да еще с твоими погами, я уж осветила, поглядела на них. Раскорячась на льду как корова, — господи, прости. Лучше мы тебя с Нюшкой на сапках свезем, как сверала...

— Что это еще за фокусы, с кем думала, тетка? — Андриан на мигу представил, как на бабах въезжает, — даже под мысками стало сыро.

— Ты что это, Андриан, в пузырь полез? Чем-то не угодила Потапиха?

— Да нет.— Андриан поднялся, прошел к умывальнику, сполоснулся и присел за стол, придвинул к себе налитый чай, а Потапиха подпихнула ближе сковородку.

— Может, сбегать принести на похмелье?

— Не надо, я похмелья не понимаю.

— Ну вот и правильно, сколько пьяница выпьет ни опохмелится, а водой все одно придется»

Тут Нюшка влетела в избу:

— Река-то встала — спп-пяя!

Андриан поднялся.

— Ты вот что, Нюша, пей чай, ешь, пабирайся спл. А я пойду погляжу на лед.

— Ступай, ступай погляди, может, вечерком мы тебя и спровадим, п лед устоится.

— Ты мне лучше пешню пррпесп, тетка.

— И не проси, с одной-то рукой не вздумай и не выпуждай меня, пока хват не взяла.

Нюшка побежала в чулап, а Андриан, глядя в упор на тетку Потапиху, сказал:

— Я к своей бабе на своих погах приду. Мужик я. Какой ни есть, а мужик.

Потапиха, шаркая чирками, вышла за дверь, погромела в сепцах и вернулась с пешней.

— Ах ты-ы! — Андриан сразу узнал свою работу. — Спасибо за хлеб-соль, тетка Потапиха.

— Господь с тобой, Андриан... — Потапиха как стояла, так и осталась стоять, притулившись спиной к печке.

Андриан простучал по полу, отпихнул пешней дверь и звякнулся.

На дворе было ярко. Голубело небо, светилось. Земля пахла свежим снегом и павозом. Он прошел через огород, пролез между пряслом и вышел к реке. Река пскрилась окуржавевшими торосами. Андриан почувствовал, как свежий морозный воздух врывается в грудь. У кромки он опустил пешню. Лед звонко отозвался. Он встал на лед, с трудом удерживая равновесие. Первый шаг сделал. Стучало в висках. Он переставил пешню, опять подтянулся, переступил п слова переставил пешню. И уже больше не останавливался. На середине реки пульсировала и дымила серым туманом полынья. Под ногами запыл лед. От напряжения кульги пог горели и пестернимо жгли. «Нас по выдадут карле коня». Балансируя корпусом и взмахивая полупустым рукавом, как поребитым крылом, Андриан едва успевал переставлять пешню, не теряя трех точек опоры. Крупный и

тяжелый пот катился по щекам и падал с подбородка на ладони шинели. Наконец он ступил на припай, где лед был похож на мрамор, и тут же почувствовал, как его подхватило. Только тогда он поднял глаза и увидел, что на берег сбегалась вся деревня.

— Ума нету.— Обессиленная Аграфена повела мужа к дому.

Соседи проводили Андриана до калитки, но в избу не пошли. А Аграфена собирала мужика в баню, отыскилась на этот случай кусочек мыла, венчик.

Завернула чистое исподнее в расшитое петухами полотенце. А дальше не знала, как и поступить. По деревенскому обычаю надо бы мужу потереть спину. Но Андриан ничего не сказал, тоже прятал глаза. Взял венчик, сверток подмышку — и за дверь. Аграфена подбежала к окну, заметалась от печки к столу. Стаскивала, выставляя все, что сумела припасти. Оглядела. Вроде все. Бегом к тетке Марье.

— Ты бы, тетка Марья, сделала милость, обежала бы всех, созвала.

— Давай-ка я лучше по дому, а ты бы сама, твоя радость.

Андриан еще банился, скоблил щеки, а калитка уже хлопала: собирались соседи.

Когда Андриан вернулся в избу, стол был накрыт. Аграфена хлопотала у самовара.

Андриан встречал соседей у двери и с каждым здоровался, целовался. Гости проходили и степенно рассаживались по лавкам.

Последним приковылял Иван Артемьевич. И тогда уж пододвинули лавки к столу. Андриан поднялся, сказал как мог, дружно выпили.

Застолье шумело весь день, и расходиться начали потемну. Последней ушла тетка Марья. Стоя у калитки, Андриан слышал, как скрипят по заснеженной дороге ее чирки.

Аграфена убавила огонь в семишестейке, собрала со стола, перемыла посуду, подтерла полы, а Андриана все не было. Выглядывая в окошко, она видела огонек его сигарки.

Андриан стоял долго. Стоять было тяжело, и он привалился к столбу, подумал: «А Аграфена-то не вышла, не глянула. Упала, замерзла, видно, потому мы такие... Вот и встретились. А ведь как было: другой раз на гулянке глаза не спустит. Как орлица. Да-а, что было, то было, да былым поросло...» Докурил сигарку. Аккуратно забив в спечко-

пытцем протеза, он пошел в избу. От лампы на потолке дрожало крупное пятно, и свет слабо рассеивался по дому.

Аграфена была уже в кровати. Андриан потушил лампу, на ощупь пробрался к койке и осторожно присел на краешек. И никак не мог унять сердце. Его колотил легкий озноб. Не торопясь отстегнул протезы. Он уже несколько дней не снимал эти деревянные. Легонько опустил на пол, чтобы не стукнуть. Культю сверлял страшный зуд — это было знакомо. Он подождал, пока отхлынет кровь, уймется зуд. Второй протез был на шарнире с тугой пружиной, и культю тоже жгло. Прикоснешься — раздерешь в кровь, а не уймешь. Хотел закурить, но раздумал. Не потревожив Аграфену, лег на спину, натянув легонько краешек одеяла, и, закинув руку за голову, уставился в темноту.

Аграфена пошевелилась, повернулась к нему, положила голову на плечо и протянула руку.

— Болит? — Она погладила ногу.

И Андриан прижал Аграфену.

Месяц, зацепив за наличник, повис стручком, запоздалый, неяркий. На полу рябило как на воде. Поцелкивали от мороза стены.

Андриан не помнил, как заснул. Открыл глаза, легонько кашлянул. Аграфена сдернула с углей сковороду, супула ее на шесток и спряталась за печь.

Так было в первый день после свадьбы.

Хлопнуло с печи на пол — словно валенок упал большой лохматый кот. Изогнул спину, выбросил коброй хвост и уверенно направился к Андриану.

— Что ж это я валяюсь так долго? — потянулся Андриан.

— Не торопись, — отозвалась Аграфена, — полежи, я к тетке Марье еще за молоком сбегаю.

Андриан присел на краешек скамьи, надел галифе, оседлал своих «коней», подобрался к умывальнику. «Надо бы, — подумал он, — прихватить из вещмешка Аграфене подарки». Только так подумал, а Нюшка уже на пороге, положила на лавку мешок и трость — и сразу выговаривать:

— Нехорошо, дядя Андриан, обманывать, вот и жди вас.

— Ну, не сердчай, Нюша, давай мириться?

— Я и не сержусь больше, — сказала Нюшка. Только ее Андриан и видел.

Отрез на платье из голубой шерсти очень поправился Аграфене. Андриан его купил, вернее — скомбинировал из напичканных денег и солдатского пайка. «Вот педь себе ничего не привез, как есть в солдатском, а меня по забыл. Хоть и

пзуродовало человека, а сердцем все одно добр», — рассуждала Аграфена.

Андреану не терпелось взглянуть на огород, колодец, зайти в сарай, под навес. Вчера в этой кутерьме толком ничего не разглядел. А прошел по избе к печке, ощупал ее:

— Стойшь, бабушка-старушка, ласковая ты моя. Чулаи побелен, щели замазаны. Хорошо! Хорошо, и все!

Надел шинель и вышел во двор — на дворе тоже было чисто и свежо. По поленницам было видно, что управляют-ся одни бабы, торчали порубленные жерди с заостренными концами. Андреан вошел под навес. Вот п санки, кованные им, но разводы прикручены на проволоку. Видно, на себе Аграфена возила дрова. Вот п топор, п чурка. Надо же — изгородь не уцелела, а чурка невредима — лпственичный комель. Андреан помнил, что еще дед его тесал на пей березовые черепки, бострики, оглобли.

— Едрена маха, — сказал ласково Андреан и поднял из-за чурки топор. Повернул в руке. Топор не слушался. — И-да!..

Аграфена вошла в калитку и увидела Андреана. Хотела сказать: это он вздумал или дров лету? Но вырвалось:

— А телепок Белянку высосал, не укараулила тетка Марья.

— Высосал, говоришь? Так ему п падо. — Андреан обнял за плечи Аграфену. Так и вошли в избу.

Пили морковный чай с сахаром. Ели ячневые с картошкой оладьи. Аграфена все подкладывала их Андреану.

— Ешь, ешь, — а в душе сокрушалась: «Боже мой, Андреан и не Андреан. Только глаза п зубы п есть Андреановы. Подкормить бы мужика, поддержать, а чем? В прошлом году в расчет на трудодни дали по мешку отсева, вот п тятии». — Только бы Георгия дожидаться, — вздохнула Аграфена. — Все сердце выболело.

— Я тебе говорил, мать, дождемся. Придет наш Георгий. Раз известный нет, значит, парень при деле. При таком, что и говорить, и сообщать не положено.

— Даже родной матери?

Напившись чаю, Андреан покурил около печки па скамеечке.

— Ну, мать, я, однако, схожу к Ивану Артемьевичу, повидаю Серафиму. Как она?

— Еще чего, не успел обоплутья, и на тебе — лететь по деревне. Не отпущу! Как хочешь, Андреан, пе отпущу.

Аграфена метнулась из-за стола и обхватила Андриана за шею.

— Я на тебя еще не посмотрелась, — горячо зашептала она.

— Задушишь, Агаша!

— И задушу! Сдаешься?

— А куда денешься, — засмеялся Андриан, — превосходящие силы...

Аграфена с утра уходила па ферму и возвращалась поздно, когда уже закигались в избах огни.

Андриан управлялся по дому. Привел в порядок сени, починил журавель, бабку. Собрался перестлать пол, да еще плохо слушался топор. Так только разве самую малость, кое-где подлатал, подкпвил.

Второй день па деревне ревел скот, согнаппый для поставок в область. Андриан надернул телогрейку, взял палку и направился к пункту поглядеть. Еще издали увидел, как в изгороди метался и жался гурт.

В загоне среди молодняка всего три-четыре животных покрупнее. «Продержи зиму — на будущую осень был бы пагул». Скот ревел и давился в треугольнике заплота, опрокинул изгородь и массой, как тесто из квашни, вывалился и расплылся по улице. Стреляли бичи, гопялись пастухи. Только один бычок остался неподвижно лежать посередине выгона. Юркий пастушок вытянул его кнутом. Бычок попытался подняться, мотнул головой, сел па задние поги. Удар бича, и вдоль спины па сваляппой шерсти — строчки. Но бычок только вздохнул.

— Смотри ты у меня! — закричал Андриан и погрозил пастушонку палкой.

— Как же, дяденька, педочет будет, он брюхом мается, его только поднять. Он вчера стоял и ходил, правда, дяденька.

— Эх ты, правда-кривда... Дуй-ка лучше за беглыми.

Пастушок припустился вдоль улицы.

Андриан, опираясь на палку, подошел и протянул ладонь бычку, и тот сунулся в нее парным посом, как теплым пшеничным мякишем. Он весь был в навозном папцдре. На худой морде два подтека от слез.

— Ах ты, бедолага, — сказал Андриан. И бычок лизнул шершавым, как рапилиь, языком руку и часто заморгал длинными ресницами, выкачивая слезы. — Ах ты, как тебя? Кешка! Кешка, Кешка, — повторил Андриан. — Вот какие, братуха, дела.

Кешка попытался встать.

— Да ладно уж, лежи, что там.

Андриап пошел искать председательшу и только вышел из загона, а она ему навстречу.

— На ловца и зверь бежит,— сказал Андриап.

— За тобой кто гнался? — спросила Серафима.

Андриап отдышался.

— Бычка вот хочу купить.— И они вошли в загон.

— Ты что, Андриап, пеужто мы для фронтовика килограмм мяса пе пайдем? Вот рассчитаемся с поставками...

— Я же пе на мясо. Сделай одолжение — сгинет же. Какое из него мясо, шкура и то...

— Ну что же, ладно. Вечером на правлении обсудим.

Кешку домой привезли на санях-розвальнях, затащили в избу. Бычок дрожал и тихонько стопап. Андриап нагрел в бане воды, развел в бочке розовую золу, приготовил шедок. За этим занятием его и застала Аграфена. Она уже знала, что правление решило продать бычка, и спешила сообщить эту новость Андриапу. Но когда увидела такую худобу, сердце упало. Ведь деньги-то настоящие, хоть бы уж телочку. Ну пусть доплатить сотню-другую. Дак от телки можно ждать, надеяться. Но мужу ничего пе сказала.

— Давай-ка, Агаша, поливай, а я его голичком пошкрябаю, баньку устроим.

Андриап в особых случаях пазыпал Аграфену Агашей, и у нее отошло от сердца. Раз муж решил, значит, так падо. Подоткнув подол, закатив рукава, принялась за мытье полуходлого Кешки. Андриап поливал из ведра ковшком. Аграфена орудовала голичком, соскребала лучинкой. Из-под бычка текла рыже-зеленая жидкость. Стоял горьковатый запах прелого сена. «Броня» с боков постепенно сошла, и бок стал похож на горущку в проталинах — черно-белый.

Покопчив с «умыванием» Кешки, Аграфена спохватилась:

— У меня где-то трилистник был спрятан, хорошо от живота помогает, только вот куда я его забуторила...— И полезла искать за печь.

— Поищи, поищи, Аграфена, а я пока воду поставлю на печь.

Аграфена пашла болотную траву, приготовила отвар. Тут как раз забежала тетка Марья.

— Господи,— сказала она, увидев бычка, и стала суетиться, студить отвар и помогать поить. А потом сбежала и

принесла сена — хоть подстелить... И снова Кешке влили в рот отвару.

— Ишь какой в нем жар,— определила тетка Марья, прикладывая ладонь к бокам.

Андреан снял с вешалки шпатель и набросил на бычка.

Кешка поднял голову, и с губ вожжи потянулась слюна. Андреан положил перед его носом пучок сена. Бык даже не понюхал и уронил голову. Андреан сел на лавку, нацелившись протезом на дверь. Он устал так, что никак не мог сленить сигарку. Перед сном еще попил Кешку отваром и, круто посолив ломтик, подал бычку, но тот понюхал и глухо вздохнул.

— Та ты разжуй, откуси. Эхма, паря, от хлеба откажешься.— Андреан откусил, как бы приглашая Кешку.— Вишь,—почмокал оп губами и впихнул ему в рот кусочек.

Тот почувствовал соль, тоже почмокал.

— Ну вот, молодчина, я же говорил — хлеб. Молочка бы ему запить тепленького.

— Там в кришке со стакап. Тебе оставляла.

— Я не буду, у меня что-то с молока...

— Давай подогрею сейчас.

— Вот-вот,— оживился Андреан,— ему только переболеть хворь маленько, а там жизнь у него пойдет: как маховик, чуть передолит на поправку — и пошла крутиться без остановок.

От молока бычок отказался. Пришлось насильно влить в рот. Аграфена подняла голову бычка. Андреан тоненькой струйкой лил из кружки ему в рот, попало и в нос.

— Молодца, молодчина,— похваливал Андреан.

Шерсть на бычке высохла и пушилась, а на лбу курчавился белый завиток.

— Красноармеец, солдат со звездой.

— В Прогресса вышел,— сказала Аграфена, которая знала наперечет колхозную живность.

— Значит, породистый.

— Какой уж там породистый — середняк. Его отца за характер держат — смирный. Хрупких-то племенных бугаев поседавали, по кормежке и тяп пожки. Вои как был Буян, так тому кошу на раз не хватало. Держали на соломе. А без кормов хоть кто, какой производитель, прости господи, что мужика держать на лебеде или на постылых галушках.

Андреан усмехнулся. Аграфена тоже рассмеялась, прикрывая рот кончиком платка.

— Ну ты и скажешь! На галушках-то куда ни шло...

— Ну вот, пошло на язык.— Аграфена набросила латиний ватник, взяла ведра и вышла на улицу.

Андрян подсунул бычку сена под бок, положил к носу. А сам задул лампу, лег спать.

Проснулся он от сильного грохота, вскочила и Аграфена, засветила лампу. По полу каталось ведро. Бычок бодал бочку с водой. Сено с полу исчезло.

— Ах ты, едрена маха,— пожурил Андрян бычка.

Аграфена достала с шестка отвар трилпстника и, напояв Кешку, погасила лампу, перелезла через Андриана к стенке.

— Молодчина моя,— сказал сквозь дрему Андриан и обнял жещу.

Утром Андриан первым делом определил Кешку в стайку. Аграфена завяла у тетки Марьи вязанку сена и убежала па работу.

Андрян сменил стеганку па шинель, перетянулся ремнем и направился в правление колхоза.

Он шел серединой улицы; собственно, в прямом смысле улицы и не было, заплоты были разобраны на дрова, и оголенные пэбы стояли самп по себе, как стога в поле. В правлении колхоза, в большом, разгороженном па три части доме, Андриан застал всех, кого хотел видеть. В комнате председателыши Серафимы Николаевны были Иван Артемьевич — секретарь партгруппы, бригадир и тоже инвалид войны, приезжая учительница — вот, пожалуй, и все коммунисты колхоза, не считая старика Михеева, того, который уже год сидел на печке. Старику перевалило за восьмой десяток, по он никак не хотел умирать, не дождавшись с фронта шестерых сыновей.

Иван Артемьевич взял партийные документы Андриана и пообещал съездить па неделе в район и поставить его па учет. Персбрали всю крестьянскую работу и ничего подходящего не придумали.

— Тебе бы, Андриан, окрепнуть надо,— сказала Серафима, — какой ни есть колхоз, помереть с голоду не дадим.

— Спасибо па добром слове, Серафима Николаевна. Обойдемся, вот мне бы с воз сена, если что,— заикнулся Андриан.

— Ах да, забыла спросить, как он?

— Оклемался маленько.

— Сена, Андриан... Как ты, Иван Артемьевич? — обратилась председателыня к секретарю.

— Соломы можпо...

На соломе и соплись.

И когда уже Андриан собрался уходить, Серафима как бы между прочим спросила:

— Может, караульщиком на ферму?

— Что же это, вместо чучела? — засмеялся Андриан. — Подумать надо.

Опять достали кисеты.

Серафима в сапогах, в юбке из голубого сукна, в вязаной кофте, крупная, решительная, остановилась перед Андрианом.

— А неч топить сможешь? Из готовых дров?

Андриан поднял глаза.

— Печь? Могу.

— Ну, тогда принимай овощехранилище, дело ответственное. Перегрел — в росток пойдет, проразъявил — поморозил.

— Это что, по градуснику?

— По градуснику.

— Пойдет. — Андриан взялся за скобу...

По пути к дому зашел в магазинчик. Кроме крабов в банках, соли и черемши, ничего не было. О крабах в деревне и слыхом не слышали, глядели на этикетку и брезгливо отворачивались.

Андриан спросил керосину.

— Не привозили, — ответил продавец.

— А пельзя ли где купить сена? — поинтересовался Андриан.

— Пошто пельзя, — сказал продавец. — Могу предложить за картошку.

Тут же ударили по рукам.

И Андриан пришел домой павеселе.

— Ну, Кеша, мы теперь с тобой при деле. Будем печки топить. Корму я тебе тоже расстарался. Спать будем на соломе, и заживем мы, брат. Только вот что: мать за картошку ругать станет? Нет. Как ты думаешь? А куда денешься, попить надо. Печки топить тоже не мужское дело, не тот род войск. Но нам с тобой никак без работы пельзя. Нельзя без нас, Кеша. Мы с тобой одной породы, выходит, справляемся стоя, — Андриан постучал о протезы палкой.

В стайке было парко, степы и потолок окуржавели и матово светились. Пахло павозом и сушной мятой. Андриан еще постоял, пожевал травнику и тогда уж пошел в дом. Аграфена даже не упрекнула Андриана.

— С картошкой перебьемся. Вот смотри, — она достала

из-за рамки семейной фотографии деньги, облигации. — Источничать бы погодил, Андриан. По ночам мыкаться. О-хо-хо, креста на людях нет!

— Ну это ты зря. Я вроде агронома буду при овец. Мы уж с Кехой договорились. Ну, мать, при нашем-то семействе без согласия?

— Да я разве... господи, прости, — махнула рукой Аграфена. — Вот куда добро складывать, если все возьмемся за работу...

— Да еще бы сюда пару танков, воп как поле затонуло кустарником, пашпи-то ситичкамп выглядывают — корове лечь негде.

— Еще чего не хватало — землю уродовать, мужиков бы отпускали, вся сила в мужике, тогда и мы, бабы, в пристяжке споровстее.

— Правда твоя, мать, ты бы мне завернула пару картошки да луковицу. Звезды на небе считать да картошку уплетать.

— Непокойна я за тебя, Андриан, — собирая мужа на работу, вздохнула Аграфена.

— Живы будем — не порем. — Андриан пасвистывал: — «Ну-ка, песня боевая, рассказы, подруга, нам...»

— В избе-то свистеть, Андриан, так деньги не водятся.

— Самы золото. Ну ты тут, мать, не переживай.

Аграфена стояла у калитки до тех пор, пока Андриан не растворился в сумерках. Он свернул в узкий проулок. В конце его могильным холмом маячило овощехранилище. Он прошел в тамбур. Малпювая дверка печки светилась в темноте, и Андриан понял, что тетка Лукерья только что оставила дежурство. Он чиркнул спичкой и поднял ее к копилке, стоящей на ящичке. Побултыхал — булькает. Фитиль вспыхнул, увял и тут же набрал силу. Прикрывая его рукой, Андриан вошел в боковую дверь — пахло погребом. Градусник показывал нуль. Андриан ощупал луковицы, попробовал погтем картошку и вышел, прикрыв за собой дверь, подбросил в печку дров, сел на лежанку. Достал кисет. Закурив. «Ну вот... Теперь и при деле. Только нехорошо как-то получается. Лукерья мне и дров на печевку патаскала. И воды в котелке оставила на чай. За мужика не считают. Вот какле прогни. — Андриан усмехнулся. — Лукерья, Лукерья, выципаны перья, а что, если я устрою механизацию? Приволоку от точила ворот и поставлю вместо лебедки». Ночь пролетела, он и чаю не варил. Испек две картошки — одну для себя, другую — для Кешки.

Утром зашел прежде в стойку. Пахло теплым стойлом. Он вынул в ограду быка, и Кешка, взбрыкивая, пошел по двору. А пока Андриан чистил в стойке, изжевал на изгороди Аграфенипу юбку.

— Эх ты! Обезоружил женщину, скармливая картошку,— пожурил быка Андриан.— В чем вот она теперь... Эх, Кеша, Кеша.

А Кешка лез к Андриану в лицо и шумно дышал носом.

— Тебе бы горны раздувать. Ишь как дышишь, как паровоз.— Андриан радовался, что бычок окреп. Подбросил ему свежей соломки и пошел пить чай.

И так было каждое утро. Шло время, и за работой Андриан не заметил, как и зима склонилась к весне, запахло талой водой на буграх. На солнцесеке топорщилась верба. Тетка Лукерья не парадует на паринку.

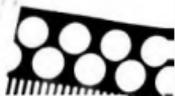
— Банкопитый, теперь что...— Покрутил за рукоятку, поленья и въехали. Сложил к печке, и пожалуйста — подбрасывай.

Иногда вечером, потемну, прибежит и Аграфена. В хриплости вдвоем совсем не скучно. Андриан оставлял дверку печки приоткрытой, и блики веселили стены, сам садился рядышком на лежанку. Аграфена вязала или прядла шерсть. Если б ей не па работу, то и всю бы ночь вместе коротали.

— Одной дома просто невмоготу,— словно оправдывалась Аграфена.— И как это я без тебя, Андриан, жила?

И всегда расставание их было долгим, а когда Аграфена уходила, он принимался за шило и дратву. Из войлока и ремней мастерил протез, наращивал правую руку. Сделал несколько приспособлений: крючок, вилку, ложку. Крючком он мог взять ведро, завязать узел на веревке, что-нибудь подтянуть, подержать. Ложкой черпал из котелка в чайник воду. Поначалу расплескивал. «Как не пролью ни капельки, так и Аграфене продемонстрирую». И рука постепенно крепла, дала силу. И однажды за столом, когда Аграфена подала в чашке суп, Андриан незаметно, под столом, пристроил ложку и начал хлебать. Аграфена так и всплеснула руками... А вот протез не получился. На нем было просто невозможно ходить, пружина стреляла, и деревянная нога подпрыгивала. «Только футбол пинать»,— подсмеивался над собой Андриан. Но не отступал. Нога все же сгибалась так, что можно было сесть.

— Вот так, братуха,— говорил он Кешке.— Живы будем — не помрем.



Кешка, казалось, к этому радовался. Носился по ограде сломя голову, бодал Андриана.

— Столкнешь, бесило! Ишь ты какой вымахал! Запрячь бы тебя, Кеха, а? Не позражаешь? И верно, давай робить. Смотри, Кеха, это тебе обивка, — Андриан вытащил хомут.

Кешка подставил голову, позволил надеть хомут и впрячь себя в сани. Но как только санки потащились за ним, Кешка подобрал ноги и дал козла. Шарахнулся в сторону и заклинился оглоблями в калитке. Андриан припес Кешке кусочек посоленного хлеба.

Бык поначалу мелко дрожал, а потом взял хлеб.

Андриан потихоньку осадил его назад, высвободил из калитки, провел его по ограде. Кешка стал ходить с саями по двору. От него шел пар.

— Эх ты, дурачок...

Кешка лизнул хозяина в нос. За этим занятием их застала Аграфена.

— Ну, Андриан, честноо слово, выдумщик же ты! Отродясь не видывала, чтобы на коровах ездили.

— Да ты, мать, и не сомневайся. Это же молодчица!

Кешка поставил рог в сторону Аграфены.

— Вот те на! Корми его, а он вон как!

Когда появились на пригорках проталины и снег в лесу спик, Андриан выписал в правлении билет на прорубку жердей и дров. Ему отвели долюшку неподалеку от деревни, на заросшей пашне. В паре с Кешкой он навозил и жердей, и хлыстов на дрова. Обнес усадьбу изгородью. Пожалуй, ни у кого такой в деревне не было. Такую же городьбу служил п тетке Марье. Одним словом, все было сделано по-хозяйски.

О победе Андриан узнал, когда после почевки возвращался с дровами. Еще издали он увидел флаг над правлением.

— Ну, кажется, конец! — Андриан поторопил быка.

В открытых воротах стояла Аграфена. Она бросилась ему на шею, плача и смеясь. На столе стоял самовар и закуска. Андриан падел гимнастерку, приколот награды.

— Схожу-ка я в магазин, может, казенку выбросят.

Аграфена оглядела его с ног до головы.

— Ну с богом, ступай.

На завалинке магазина сидели мужики и шумно разговаривали; увидев Андриана, потянули его за рукав. Андриан обернулся. Налили, он переложил костыль в правую руку.

— Ну, будем! С победой! — Выпил одним духом. Закусил белой головкой лука с сырым топорщившимся пером.

В магазине было тоже шумно, ждали машину из района. — Андриан, паша взяла, вам полагается! — И завмаг с бабыным лицом бросился ему навстречу и выставил на прилавок поллитровку с четвертинкой.

Четвертинку Андриан сунул в карман, а поллитровку, выйдя из магазина, поставил на завалинку.

Колхоз отсеялся, колхозники посадили огороды. Хозяйки в этом году раньше обычного опрокинули свои квашни кверху дном в ожидании нового урожая, а сенокосную пору тянули на подножном корму: грибы, щавель, ягоды; кто, не удержавшись, подкапывал молодую, величипой с воробьиное яйцо, картошку. В самый разгар сенокоса Аграфена со своим звеном метала стога на дальних утгах и почевать не приезжала.

Андриан на главном стане отлаживал черенки к граблям, вилам, отбивал литовки, подвозил на Кешке воду. День в работе, а когда наступал вечер, хоть поезжай на дальний утг — так тянуло к жепе. В один из таких вечеров в дом влетела Пюшка.

— Дядя Андриан! Тетя Аграфена сгинула.

Андриан заметался по двору. Пока запряг быка, подъехала подвода — и привезли мертвую Аграфену. Напоролась на вплы. Ограда наполнилась ревущими бабами.

Хоропить ее взяли на Кешке. Провожала вся деревня. К вечеру все разошлись, и Андриан остался один. Страдали в себе жаворопки. Кешка выщипывал между кустов траву. Андриан сидел на свежем могильном холмике, опустив руки и уронив голову на грудь. И никак не мог понять, как все могло случиться. Возвращался он уже поздно, не видя дорог. Кешка шел, как собачонка, по пятам.

В доме стало невыносимо пусто.

«Может, на озера уехать, в старые палашки? И в самом деле, поедем-ка, Кешка. Нам с тобой никак нельзя разобдаться».

Кешка пережевывал жвачку, улегшись у его ног, и время от времени тяжело вздыхал.

«Пережить бы нам малелько, Кешка. Дождемся Георгия и опять оклемаемся. Ты, брат Кеша, одно пойми: жить-то падо как-то. Поедем, поедем-ка на озера...»

Андриан разыскал в чулане старую сетку, добыл бутылку дегтя. Целый день при закрытых воротах собирал возок, трудно ему было на людях. Укладывал на двуколку свои понитки. Сказавшись только тетке Марье, на рассвете запряг Кешку и выехал за деревню.

Старая дорога на Голоты едва угадывалась. Заросла пырьем, да и тальник с обочины приступил так, что еле-еле Кешка протаскивал таратайку. Кешка не понимал, куда и зачем вздумалось Андриану тащиться в такую кошмарную пору, и поэтому ступ его был мелким, неподатливым, осторожным. А Андриану не терпелось скорее отъехать подальше за деревню. Он слезал с тележки и шел впереди. Шел, пока не выбивался из сил, и тогда уж приваливался на тележку.

Ободляло, и нещадно звенел гнус. Кешка сек ногами, мотал головой, хлестал длинным с кисточкой хвостом и дико поводил глазами. Андриан остановился, вынул из мешка бутылку с дегтем, выдернул зубами пробку, налил в ладонь дегтю и помазал Кешке вокруг глаз, в паху. Кешка, присмирев, прижался к Андриану.

— Ах мы их, кровопийцев, вот мы уж им...

Шалаш стоял на бугре над озером. Андриан чуть его не прошел. Крытый корьем, он сливался с окружающими деревьями и кустарником.

Андриан пагнул, заглянул внутрь и сразу влип в паутину, обобрал ее, клейкую, рукой с лица, прилег на блеклую траву, проросшую сквозь старую подстилку. Сил не было, но он все же встал, распряг и отпустил быка на волю. Поначалу хотел привязать на длинный потяг, но какая дружба на веревочке... Вольному — воля. Разобрал возок. Попала в руки литовка, повертел ее, постоял, унял сердце и взмахнул косой. «Куда это я жадничая, размахнулся». Взял поменьше прокос и протянул сквозь траву литовку. Оголилась белая стерня. По-девичоночьи получается. Передвигая ноги, почти не отрывая от земли, он прошел узенькую строчку до самой воды. Оперся на литовку, перевел дух, поглядывая на воду. Сетешку бы бросить — гляди, и уха будет. А как забросишь — ни лодки, ни плота. Поудить разве? Поудить можно. Крючки есть, леска тоже. Только вот комары без движения загрызут.

Кешка бродил по закрайку озера, откусывал сладкую курчавую водоросль, и над ним колыхалось серо-сизое облачко мошкеры.

Андриан поднялся по прокосу от озера к шалашу. Насобирав тухлых пней. И уже было запалил, как спохватился, достал топор и припился рубить дерно и скатывать мох в рулоп вокруг костра. Сырая земля приятно холодила руки, остужала разгоряченную грудь. Под руку попался червяк. Распылил сушняк. Когда огонь окреп, накрыл его дер-

пом. Синь-розовый дым стелился по озеру. Кешка, чмокая сыростью, тут же пришел и сунул морду в дымокур.

— Попимашь толк, е-хе-хе, Кеха. Скоро и кедрач поспеет, уже сейчас можно шишки жарить в костре. Такие пахучие любила Аграфена.

Солнце уже скатывалось с вершин лиственниц, мельтешило между ветвей, падало огнисто в воду, и от этого озеро поыхало раскаленной латуцью и только под берегом в острой осоке свинцово остывало. Там же плавилась и рыба.

Андриан принес воды, соорудил таган, повесил чайник и из мешочка достал бапочку с крючками, сушками, грузилами. Тихо. Вокруг шалаша задумчивый вечерний лес. Тяжелые, как дробины, ягоды клонят до самой земли тонкие ветки черемухи, и рясная смородина разрослась у шалаша. Андриан не удержался и поднял ветку. Зеленая, как виноград, ягода подернулась сетчатой плесенью. Андриан ласкался за шалашом старое, подточенное муравьями удилище, приделал леску, поводки, крючки. Прихватил ведро и, не дождавшись, пока закипит чайник, спустился к воде.

Берег, словно резиновый, сдавал под ногой и волновал траву. Кешка плелся сзади.

— Шел бы ты хоть червей копать, что ли, а то залезешь в тряску,— отмахнулся от быка Андриан.

Кешка шумно нюхал воду и, когда Андриан взмахнул удочкой, повернул обратно, с ним отколыхнулось сизое облако звенящей мошкеры. Поплавок нырнул, а удилище поехало из руки. По воде заходили круги.

— Эх ты, едрена маха, оторвет ведь крючок!— Он сделал решительный потяг.

Взметнулся над его головой, сверкнул, упал тяжелым шлепком карась в траву. Андриан бросился за рыбной.

— Вот это лапоть! На, смотри!— крикнул он Кешке.— А ты говорил...— Андриан зачерпнул в ведро воды и пихнул карася.— Ишь ты чо выделяет! Высадишь дно!— прикрикнул Андриан и снова взялся за удилище.

Скоро в ведре шлепало четыре рыбины.

— Ну вот, и уха на рожене,— показал он по дороге Кешке улов.— Не пробовал на рожене? Обьедение, братуха, куда там трава годится. Жаль, что картошки нет. А вместо лаврушки смородиновый листок бросим.

Андриан поджигил огонек, приставил уху. И все пояснял Кехе, что к чему, как по-рыбацки, не снимая чешуи, готовить уху. Кеха согласно мотал головой, склоняясь к дымокуру.

Солнце садилось за горизонт, и озеро тлело у закрайков. Кустарник легонько ломался па воде. Набежал ветерок, и дымокур проглянул красным глазом. Андриан привалил его дерном. Как только вода вскипела, бросил щепоть соли, зачерпнул, подул па ложку. Еще добавил и тогда опустил рыбу.

— Ну и вот, а ты боялся, — сказал он и оглянулся. Кешка уже управлялся с удочкой. — Эх ты, мать честная! — Андриан тряхнул пз мешочка на ладошку соли и свистнул Кешку. Тот сразу повернул к костру, и пока слизывал с ладони соль, Андриан выручил пз его кудряшек крючок.

Отужинали уже в потемках, при костре. Андриан ел рыбу и запивал ухой. Кешка охмивал сочный пырей. На озере кричали и неистово шлепали по воде утята. Плескалась рыба. А где-то в релке флпп выговаривал: «Шуба, шуба».

Андриан прикурил, прикрыл котелок корипкой, снял протезы и полез в шалап. Улегся па шпнель, прикрылся шпнелью и тотчас же заснул. Проснулся он с ясной головой. Пристегнул паскоро протезы и вылез пз шалапа. Солнце уже расплывчато стояло в мороше. Пахло смородиной, черемухой и пригретой травой.

— Ну и храпанул! — Андриан хотел было свистнуть Кешку, но в зарослях за шалапом затрещали сучья. — Оц ты, а я тебя потерял, — облегченно вздохнул Андриан и пошел навстречу Кешке. Под развесистой ракитой увидел Кешкипо лежбище. — Вот оно что! Окопался, апапчт, в блпдаже. Сейчас мы тебе его обстроим под командный пункт.

Андриан сходил за топором, парубил веток п как следует ужил Кешке жилье.

— Ну вот, теперь у нас по-настоящему дому. Живи, не ленись.

Так они и зажили. Андриан косил траву, переворачивал гребь, ставил копы. В полдень, когда было певмоготу жарко, шел в лес собирать дрова. Вечером добывал рыбу. Отискал в яру и старый ледник, падежно прятал улов от падедливой мухи. И ппкак не мог выкромить время сделать копытлюно. Теперь Андриан и сам удивился: он свободно косил левой рукой, как раньше п правой. А косить Андриан любил. Хоть тогда, хоть теперь. Только коса с посвпстом звелела. Вроде земля поет. И разпотравьем пахпет до одурп. А Кешка — хвост грубой, то примется траву путать, то копы бодать.

— Жепить бы тебя, Кешка, — пшь что выделявает...

А у Кешки из-под пог только земля летит...

— Падо, падо жепить,— посмеивается Андриан.— Вот вернемся домой и пойдем сватать. Смотри, сколько мы с тобой наперли корма, на всю зиму еды. Вот только бы по хорошей погоде сметать, по-хозяйски убрать.

Кешка, очумев от комаров, прячет голову Андриану под руку и выбивает цыгарку.

— Ну, это ты уж зря. Табаку и так па закрутку, не более, осталось, и то на заячьем помете замешиваю. А от такой смеси только горло дерет. Вот ты не куришь — и па надо. Правильно делаешь, Кеха. А вот сколько будет копеп, если поставить эту гребь, обкосить и вытаскать из кустов?.. Не знаешь? И я не знаю.

Коппы уже устоялись. А когда по небу стали собираться тучи, Андриан спохватился:

— Придется и тебе, братуха, подмогнуть.

Поначалу Кешке не поправилось с веревкой обходить и ждать, пока Андриан заправит веревку под основание копы и свободный копец привяжет за второй гуж. А как выстопшь, когда комары словно на сковороде поджаривают. Как тут не своротишь коппу... Но и Андриан не жадничает, достает бутылку с дегтем. Кешка сразу притихает. Коппы они свозят и ставят вплитык одна к другой, по две коппы в ряд и шесть в длину, а остальные подставляют сбоку. И тогда уж хомут с Кешки долой. Дальше Андриан один справляется.

У него уже и вилы трехрожковые приготовлены с коротким и длинным черепком.

Но прежде перекур. Андриану — мох с заячьим пометом. Кешке — щепоть соли на язык.

— Вот с покосом управимся,— обещает Андриан,— наплетем из прутьев корчажек, а в них караса па зиму оставим, пусть спит. А по санному пути возвернемся — и сено нагрузим, и рыбку. Так, Кеха? А может, поохотимся па зайца денек-два, кто пас гопит? А там, гляди, и па глухаря сообразим, можно и лося добыть. Но лося когда еще добудем, а вот утятину отведаем.

Андриан парезал па Кешкиного хвоста песколько самых длинных волосин и свил силки па селезней. Селезень сейчас па летает. Жирует, една переваливается, еле посит себя. Похлебка была бы отменная.

— А ты бы, Кеха, шел па бугор, там ветерком обхватывает, или пскупался бы.

Сам Андриан то и дело посматривает па мглистое небо. Из-за горизонта уже высунулись серые перья, и зарыбило

зенил. Побелило озеро. Надрывается желна — просит пить. Дождь будет. Андриан палегаает на вилы. Зарод все подрастает. Вот уже стены готовы, осталось крышу на два ската. Теперь Андриан берет вилы с длинным черенком и вершит стог совсем малелькими пачальничками. Мелкими шагами переступает, чтобы не терять равновесие. Причесывает, охорашивает стог граблями и подбивает основание. Смаживает подолом рубахи с лица пот.

— Ну вот, хорошо бы теперь дождичка. Ишь как парит! Как раз бы умыть землицу.

Андриан срезает прутья, связывает вершинки и, наловившись, седлает ими стог. Приставляет к стогу вилы. Шабаш.

Хорошо бы искупаться. Нажгло стерпей, и земля на зубах скрепит.

Андриан подобрался к закрайку, и на отмели зашевелилась трава. Сколько карася нашлодилось? Андриан разделся, огляделся воропато и усмехнулся.

— Какая тут меня жаба высмотрит? — И полез в воду.

Вода хоть и была нагрета солнцем, но горячее тело сразу остудила. Он подождал, пока осядет муть, и, придерживаясь за осоку, покрякивая от удовольствия, перебрался из глубины. Скрутил из осоки мочалку и растер грудь, руки, похлестал по спине. «Да я еще ничего, — подумал Андриан, — отъелся на дармовых харчах. Вот разве только протезы настроголи мозоли. Ну это ничего, так и должно быть у рабочего человека».

Он поднял голову. Рваные тучи волочили к озеру. Сильнее навалился комар, и Андриан то и дело утапливал себя, но на мокрое тупе лип горячей смолой. Он выбрался из воды, попроворнее надернул рубашку, штаны и пока пристраивал «юмей», упало несколько крупных тяжелых капель. И тут же сверкнула молния, ударил гром. И дождь стал солить озеро. Мимо проскочил лоснившийся Кешка и спрятался в укрытие. Андриан огляделся. За озером отбеливал тальник пзнаккой листа. Шумели дождь и лес. Он ввалился в шалаш, прилег с краешку на сено, переял дух. Вода стекала по волосам и горячила грудь, спину. Андриан отдышался, разделся, развесил на перекладину одежду и забрался под шинель. И тут засосало под ложечкой. Он пащупал котелок, понюхал ароматной ухи, свернулся и тут же уснул.

Сколько он проспал — неизвестно. Проснувшись, долго не мог сообразить: артиллерийский обстрел? Атака? Прислу-



шался — стрекотал кузнечик, переговаривалась птаха. Сердце унялось, но встать не хотелось, и он снова забылся сном. Разбудил Кешка, загремел ведром.

— Порешит посудину. Кешка, я же варю! Вот встану... — пообещал Андриан.

И вдруг заходил ходуном шалаш, Андриан схватился:

— Ты что, вздумал, шашел обо что чесаться. Вот уж выйду... Сколько ни лежи, а встать надо, а Кешка?

Андриан рывком отбросил шицель, как, бывало, в казарме. Сдернул с перекладины одежду. Протезы были свищевые.

— Проверю сеть, сотворю ушицу, подсушусь. — Андриан вышел из шалаша.

Ведро валялось под пригорком. А Кешка бил погой кострице и был серым от комаров.

— От я их сейчас! — Он захватил сухой растопки и спички.

Кешка исходил петерпенем, лез к Андриану, прятал голову.

— Ну, Кеха, туды их в качель — озверели! — Андриан собрал с его морды горсть комаров, разжал под дымом. — Что, не правится? — Ладонь была багрово-красной. Дым растеклся, стеллся над землей, затоплял озеро. — Ах ты, Кеха, как они тебя, а! — Серые мушки назойливо лезли к быку, па кровяные подтеки в глазах. — Ладно, Кеха, дегтю мы еще добудем. — И помазал Кехе морду. Для себя оторвал кусок мешковицы, пабросил, прикрыл уши, шею и пошел проверять сеть.

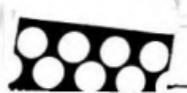
Вода прибыла, и гать скрывало па ладонь. Придерживаясь за траву, Андриан подобрался до сетки, потянул за тетиву. И такой раздался шлепоток по воде, что он опешил.

— Вот это подвалило! — В каждой ячее трепыхалась рыба. — Это улов! Ну, Кеха, пожалуй, надо сматываться. Свезем карася... Вот бы Аграфена порадовалась...

Андриан послал ведром карася, ссыпал в матрасовку, перекладывал травой, подкосил и добавил па воз пырья, посидел около дымокура, посетовал, что печем затухнуть, и тогда запряг Кешку и залил дымокур водой.

— Ну, Кеха, давай, братуха, трогай. Ну, милый, пошли. — Подсобил плечом. Телега качнулась па кореньях. Андриан ухватился за возок, чтобы не отстать, а то, кто знает, — уйдет бык!

Дорога шла па подъем. Уже выбиваясь из последних сил, Андриан крикнул:



— Стой, Кеха, ну стой же!

Но бык даже ухом не повел.

— Вот те на! — Андриан, задыхаясь, хотел забежать вперед, но мешали кусты. А тут дорога под гору пошла. Кешка еще шибче зашагал. Андриан и вовсе стал спотыкаться, отставать. В отчаянии свистнул, и Кешка встал.

Андриан, бледный, тяжело дыша, обошел воз.

— Так разве можно! Эх ты, Кеха, Кеха! — И полез по оглобле на воз. Сделал лунку для протеза, сел.

Бык легко и хлестко зашагал. Андриан угадывал старые приметы и все удивлялся, как за эти годы загустел, заколдел лес. Раньше, бывало, кто ли едет, тот то палку из дрова с дороги прихватит, то вязанку вешков наломает.

— А черемушник-то разбушевался, того и гляди глаза выхоцет. — Груздь, груздь-то плыт из полевой травы. — Ах, сорвиголова! Подберезовник-то шляпы набекрень, ну чистые мушкетеры, ах, жахера какая! — Андриан даже порезал на возу. Представил, и сразу пахпуло давил: Аграфена вносит в избу тарелку с груздями, со смородиновым листом, с чесноком, слюну не успеешь сглатывать.

Вдруг Кешка с ходу остановился. Андриан даже екнул.

— Ты чо, Кеха? Ничо, ничо, давай, тут все свои, а и хоть сеном затянусь разок. — Андриан слепил из маревы цигарку, прикурил, покашлял в кулак.

И телега снова загрохотала.

У своего двора Кешка вдруг круто повернул и метнулся в ограду тетки Марьи. Пока Андриан сустился на возу, Кешка впер его прямо к крыльцу. Белянка сразу наострила уши, а Андриан кубарем скатился с воза и, перебираясь по оглобле, ухватил Кешку за рог, но тот отбоднул.

— Ах ты, бабник эдакий! — Андриан бросился загонять Белянку. И не сделай он этого, неизвестно чем бы все кончилось. Андриан сдернул с себя ремень и нацепил Кешке на рог.

Кешка покрутил головой, но, убедившись, что Белянка исчезла, послушно потянулся за Андрианом. Перешли наискосок улицу, и Андриан впустил быка в свой двор. Не успел он распрячь Кешку, как прибежала тетка Дарья.

— Ты вот что, тетка Дарья, пока карась свежий, себе возьми и обнеси всех.

Иаба была заперта на планку, и в петлю вдет сучок вместо замка. Андриан прижал дверь и выпул сучок. В доме было пусто и тихо. Тепи от окон лежали на некрашеном полу, а на бревенчатой стене дрожал тусклый зайчик от мед-

ного самовара. Андриан выдвинул из-под стола скамейку, присел на краешек и подумал: закрыл кота в избе или в подполье? Он встал, прошел в куть, поддел крючком за кольцо, приподнял западню, покликнул кота и снова сел на лавку. Самовар приставить? Но не двинулся с места. В доме была такая тишина, что Андриан просто не мог оставаться и поковылял к двери. Затхлость какая — он оставил дверь открытой, подложив в притвор пустой коробок из-под спичек.

Калитка была закрыта. Кешка дремал возле амбара в тепле. Трава вокруг телеги уже повяла. «Кешка, однако, пить хочет». Андриан пошел к колодцу.

Кот Микишка сидел на выступе бревна от избы и щурился. Увидев Андриана, мяукинул и уставился круглыми с черной прорезью, как на шурупе, глазами.

— Ишь ты, признал! — Андриан потянулся к коту, и тот, спружинив, переметнулся на крышу. — Ну и дурашка, — сказал улыбаясь Андриан. — Мы тебе с Кехой рыбы привезли, вишь оно как, а ты удираешь.

Андриан направился по тропинке к колодцу. В огороде белыми и вишневыми граммофончиками дружно цвела картошка.

«Кто же это мог окучить? Тетка Марья, Нюшка?»

Лук уже начал с пера желтеть, развалился, обнажая белки клубней.

«Можно картошку подкапывать», — подумал Андриан. Он достал из колодца ~~бальей воды~~, слил в изношенное ведро и тогда свистнул Кешку. Кешка тут же высунул из-за башки голову и направился к ведру. Сделал несколько больших глотков, поднял голову, заглядывая в ладонь, — вода струилась с губ.

— Ну-пу, — сказал Андриан, — пей, Кеха.

Кеха пил, погружая голову до самых глаз. С последним глотком, сладко чмокнув, ухватил воздуха.

— Что, не напился? — Андриан потянул крючком за душку. Кешка сразу убрал голову, и он еще принес воды, но Кешка уже подбирал вяленое сепо.

Стукнула калитка, и тетка Марья с мешком на плече, сутулясь, просунулась в ограду и было направилась в избу, но увидела Андриана, махнула рукой, велела идти за ней. Андриан повесил на городьбу ведро, вошел в дом. На столе уже лежали покуша табаку, пачка махорки и еще какие-то

мешочки. Тетка Марья, чиркая по полу броднями, суетилась вокруг печи.

— Ой, чтой ты, Андриан, поди-кась, и чаю не пил?! Как же это ты? И я, дура старая, из ума вои, забыла приставить, сорвалась по деревне как оглашенная... Я сейчас мовар... Карасем обнесла всех, сбегала за реку. На пароме дед Степан угостила. Малепько и в сельпо сдала, табачнико дали, во! — Тетка Марья проворпо подскочила к столу. — Сахару комкового фунт да па сдачу два коробка серяпок... Детковские тебе клаялись, вот и сметаны туесок, карась и сметане — объедење, я тебе спроворю, и с сахаром чайку напьемся, как в пасху.

— Разве я тебе велел, тетка Марья, в сельпо тащиться?

— Без табаку-то мужику — что бабе без гребня. — Тетка Марья супула Андриану под нос махорку.

— Канская, — потянул носом Андриан.

— Вот! — Тетка Марья вынула кусочек газеты.

Андриан расправил его па столе и выбрал почище, свернул, прикурил, затянулся глубоко и, не выпуская дыма, закрыл глаза.

— Достает.

— Вот и хорошо, вот и ладно, — поддержала тетка Марья и принялась свежевать карася.

Ужинали уже в сумерках. Пили чай с сахаром вприкуску. Тетка Марья брала по бисернике, прихлебывала чай.

— Ишо сказывал приемщик, если добудешь карася, за мвлую душу отоварит. А Кешка-то, как ты уехал, был пошла, будто он не простой у тебя бык, только не разговаривает. А может, когда и говорит, а, Андриан? От меня-то не таись. Я ведь тебе не чужая...

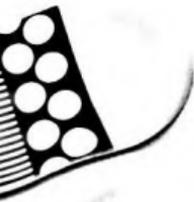
— Ну что ты мелешь, тетка Марья! Разве после полуночи, когда цветет папоротник.

— Да ну! — Тетка Марья поперхнулась, плеснула себе за рукав из блюдца, усталилась па Андриана.

Андриан аккуратно сложил куски сахара и протянул их тетке Марье:

— Твоим ребятишкам, а это, — он отсынал из пачки бумагу табаку, положил коробку спичек, — сплесешь Михеичу. Как он там?

— Да он чо, лежит па печке как кот. Полежит, сядет, подидит, ляжет. Нонче, говорит, Миланиху сватать будумея в свахи агитировал... Смотреть-то не па что. Зимой дак набьется у него в избе вся деревня — и стар и мал. Кан



почнет сказывать про разное, откель только берет... Митрий сказывал, если бы Михенч не обезножил — всем фронтом управлял.

Андрпан с удовольствием слушал тетку Марью.

— Однако я сам занесу табак, тетка Марья,— сказал Андрпан.

— Ить правильно, правильно, Андрпан.— Поохав, поопиравшись, тетка Марья взяла сахар, мешок скатала в рулончик, постояла еще у дверей, держась за скобу. Пообещала вечером турнуть Нюшку с молоком и побежала домой.

Андрпан подправил па шестке нож и уселся за стол крошить табак. Корень был сухой и стрелял пз-под ножа. Зато лист крошится не хрустко — лапшой; легкая пыльца поднималась над столом, першпла в горле и лезла в глаза. Стало быть, ядрепый. Андрпан свернул и закурил гольного самосаду, но на первой же затяжке икнул с надрывом. Злой, холера! Сделал еще две-три затяжки неглубоко и притушил окурок. Надо будет разбавить талиновой сердцевинной, пожалуй, напополам, и то в самый раз только будет.

В дверь поскребся кот.

— Полуношник явился.

Кот отряхнул лапы и важно прошел по избе, пошюхав воздух, чихнул и запрыгнул на печь.

— Не ирвится табачок, а рыбку ить будешь?— Андрпан подал Микшике карася. Кот ухватил рыбину и шмыгнул под кровать.

Андрпан задул лампу и вышел за дверь. На дворе было парко. Звезд не было. Огороды, лес стояли слитно. «Истоплю завтра баньку, помоюсь да и па озера потихопьку двину.— Андрпан прислушался — где же Кешка?— по уловил дыхание быка и успокоился.— Пусть отдыхает. Не забыть бы дегтю. Может, когда-нибудь придумают мазь — ни одна тварь кровососная не сядет».

Андрпан подошел к телеге. Кешка подпялся, дыхнул мятной травой.

— Нету, Кеха, соли, па, смотри,— сказал Андрпан,— табак бы бросил курпть, а как раз табачком и разжились, канская. Ничо, Кеха, вот Георгия дождемся, закурим иапоследок — и кисет в отставку, варок даю. Вот-вот нагрянет или весточку даст. Как ты скажешь, Кеха? Не можешь сказать, не можешь...

Кешка тыкался влажным холодным посом в подбородок, в губы, в нос. Андрпан не отвращивался.

— Ах ты, Кошка, Кешка, почь-то какая, будто пуховая шаль. Вот уже и третьи петухи, и заря занялась. Вот как, Кеха, бывает... Подкопашем картошек — и айда на озеро.

В такие минуты, склонившись друг к другу, они дремали, и когда Кешка отходил пожевать травы, Андриан шел в дом.

Утром, чуть свет, тетка Марья с бапкой молока уже была на пороге.

— Ты бы меня, тетка Марья, подстригла, оброс, косы заплетать можно.

— Господи, что тут такова, я всех своих оболванываю и тебя так отчубучу. В районе никакие хмахеры не смогут так.

Пока тетка Марья бегала за пожлищами, Андриан вынес стульчик пз-под самовара и накинул рушник. Прибежала она с пожнищами и еще от калитки пожаловалась:

— Осатанела моя Беляшка, глазщи выкатит, вымя ужмет, а у меня и совсем в руках мочи нет, тяну, тяпу. Смеяла бы, дак нет, се со двора, а я в голос реветь. Подставляй шарабан да сиди не гнишь, отстригну ухо. Тебе чубчик оставлять?

Андриан оцупал стриженную лесенкой голову.

— Да чо там, вали, шпарь до горы.

— Мотри, мотри на себя потом пеняй, будешь как повобращец. А с другой стороны, эти лохмы. То ли дело гладьская голова, и гниде негде гнездиться. Я так керосином своих, ты тоже, Андриан, керосинчиком маленько, посадиш, понечет, посла легче.

— Баю буду сегодня топить.

— Вот и ладно, и я своих спроважу.

— Приходите, я только сполоснусь.

— В тайгу наострился, может, пожажмать чего?

— Пюшка была, собрала, хотела к обеду прибежать.

— Ну вот и хорошо, и ладно, — засуетилась тетка Марья, обдувая с Андриана волосы.

— Вчера смотрел — с яйцо картошка, есть и поболее...

— Губить жалко, — выдохнула тетка Марья. — Я тоже грешна, да куда денешься, утробу-то чем-то падо набивать. Я тебе подмоглу, Андриан.

— Да я не к тому. Вот если бы какой обрывок всревки принесла.

— Притащу, где-то, кажись, валялись концы, поницу.

— Поищи, поищи. — Андриан запас скамеечку в дом и направился топить баю.

К обеду банька была готова. Он ее «укутал», выгреб головешки, дал устояться жару и поковылял к дому.

Нюшка принесла чистое белье, гимнастерку. Андриан попросил ее достать с чердака веничек. У баньки уловил парной дух, и тело сразу запросило раздолья. Разделся он, приготовил воды, зарыл веничек — и тогда на полок. Плеснул на раскаленные камни кипятку, они разом вспыхнули, отозвались спешевой. Ничего! Кости млеют, каждая жилочка играет. Андриан только постанывает. Не зря говорят, что день в бане — день, приобретенный для жизни.

После баньки, передохнув, Андриан стал укладывать возик: картошку, соль, табак, стираную матрасовку, корзину, ушат под грибы...

В это время за воротами остановился ходок и слышался голос Серафимы:

— Как говорят, не идет Магомет к горе, идет гора к Магомету. Слышала, покос осванваешь?

Андриан посмотрел на председательшу. Крупная, в цистастой кофте, в юбке из грубого сукна, в сапогах.

— Как травостой-то, спрашиваю?

— Помаленьку сбиваю кочки.

— Помощник? — Серафима кивнула на быка.

— Помощник.

— Ничего, справный.

— Собрались на озера, гребь у меня там, — Андриан посмотрел на небо, как будто была там гребь.

Но Серафима поняла.

— Дождя вроде не сулили. Погоди-ка. — Председательша вышла за ворота и вернулась с ковригой хлеба и литровой бутылкой дегтя.

Бутылку он взял.

— А хлеб не надо. У меня рыба...

— Бери, бери, Андриан, а то, что караея в сельпо сдал, это хорошо. Какой-пикакой приправок. Скоро уборочная, поддержать людей надо.

— Надо, надо, — согласился Андриан, — добуду, еще привезу. А на уборочную па пас с Кехой, Серафима, можешь рассчитывать, подсобим.

— Спасибо, Андриан, спасибо. Ну, я побегу, а ты заходи, не чурайся.

— Зайду.

— Да, чуть не забыла, — Серафима сунула Андриану сверток.

Андрян развернул сверток, в нем пакомарник: цветастый конус ситца с окошечком из тюля.

Из калитки выглянула тетка Марья.

— Вижу, председательша к тебе, я со всех пог и прибежала,— затараторила тетка Марья. Подошла и сунула в ушат руку.

— Что это? — Андрян развернул капустный лист: желтый, как дыпленок, кусочек свежего масла.

— Ну, зачем, тетка Марья, от ребятышек отрываешь? Не возьму.

— Что это еще — «не возьму», и не вздумай. Ведь от сердца, Андрян, обижаешь.

— Ух уж эти мне сердца, а веревку не принесла...

— Оюшеньки, совсем выжипись! — Всплеснув руками, тетка Марья затрусила к калитке.

Андрян раскроил пожом на две части ковригу. Краешку сунул в кадушку, от нее еще отрезал клипышек, присолил покруче и угостил Кешку. Кешка, исходя слювой, жевал пахучий ржапой хлеб, а Андрян поддерживал крошка ладоью.

— Сладко? — У Андриана завернулась тоже слюва, по к хлебу он не притронулся. — Надо впрягаться, братуха, вишь солнце-то куда клонит. — Андрян хотел на Кешку надеть узду, да раздумал, пусть так.

Тетка Марья принесла веревку. Андрян увязал возок. Подая тетке Марье полковриги и вывел за ворота быка. Отстучали колеса через пакатник, через овражек, и дорога сразу втянулась в лес, пошла в гору. Звенел паут. И Кешка, помахивая хвостом, легко тащил тележку. Андрян обернул мешком ведро, чтобы не брякало, поудобнее уселся, тихонько стал папевать. В лесу пахло прелью, грибами, медом и было прохладнее. Те грибы, что попадались в прошлый раз, вымахали и спикли, кое-где только чернели пожки. А тут же рядом топорщился молодняк. Андрян приметил где грибов погуще, и остановил Кешку. Грузды он уложил в ушат, подберезовики в корзину и к шалашу подъехал в глубоких сумерках. Отпустил Кешку, попил чаю.

Теперь он пажымал па ловлю рыбы. Так прошла еще не деля. А в первый же дець уборки Андрян впряг Кешку и явился к правлению колхоза.

Иван Артемьевич обрадовался Андриану и определил его водовоам. Теперь Андрян мотался с Кешкой по полям бригадам, развозил па двуколке в железной бочке воду И распрягал быка, когда уже в избах светились окна. По

началу Кешка никак не хотел заходить с бочкой в речку, бил ногами оглобли. Андриан, придерживаясь крючком, торопился наполнить бочку. Но как-то Кешка зашел поглубже и поплыл, что паут в воде не достает его. Тогда Кешку и из воды пельзя было вызволить. Андриан сердился, стучал ведром о бочку. Кешка только ушами подил. Андриан заходил с другого боку:

— Ну, милый, трогай, ну-у, попли,— и уговор помогал.

Кешка изпружинивался, вытаскивал на берег тележку. Колеса прыгали на камнях, из бочки сквозь мешковину фыркала вода. На берегу бык получал кусочек соленого хлеба или картошки. Андриан пристраивался и шагал за бочкой в облачке пыли, набивая в кровь культи. Но однажды, когда Андриан наполнял бочку, Кешка попытался в реку. Бочка всплыла и потянула за собой быка. Кешку разворачивало на плаву. Андриан перемахнул через бочку, ухватился рукой за оглоблю и прыгнул в воду. Помогая Кешке выбраться на берег, первый раз шлепнул его по спине. Бык заработал ногами и, когда достал дно, вынес бочку вместе с Андрианом, дико поводя глазами, вздувая и опуская бока. Остановился.

— Эх ты, Кеха, Кеха, надо же, едрена корепы! Ну да ладно. Чего не бывает.

Распряг Кешку. Снял с себя мокров, раскидал на траву.

За эти недели работы у Кешки ввалились бока, шея вытянулась.

Теперь они с Кешкой не разлучались. Где-нибудь в поле или на обочине дороги Андриан выбирал для него послаще траву. Сам садился тут же под березой, съедал свой обед и никогда не забывал поделиться с Кешкой. Так шло время.

Осенью, когда управился с полевыми работами и со своими огородами, Андриан попросил Ивана Артемьевича подсобить — срубить для Кешки стайку.

Андриан в приливе чувств сказал:

— Я уже и не знаю, как бы я без него, не знаю и не знаю, в самом деле, Иван Артемьевич, не знаю...

Иван Артемьевич соглашался и заперял Андриана, что, как только колхоз встанет на ноги основательно, выделят ему, Андриану, жеребушку, а если захочет, и копя пожалуйста.

— Нет. Ни на какие деньги я Кеху ни на кого не променяю, не-е-е. Мы с ним одной веревочкой связаны, мы с ним побратимы, Иван Артемьевич. Мне лучше никого и не надо. Зачем мне конь или кто другой... Не-а...

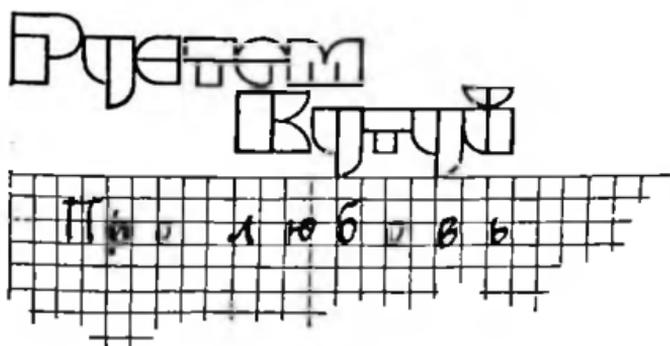
Вскоре Андриана вызвали в правление. Собрались все, кроме Михеича. Андриан вошел в кабинет председателя; подтолкнув табуретку, уселся поближе к двери, чтобы при пужде можно было задымить. Официально еще заседание не пачалось. Иван Артемьевич сидел за столом и писал. Андриан заметил, что их секретарь крепко сдал, весь выбеленный, раньше он этого как-то не замечал, а может, замечал, да не придавал значення.

Серафима ходила по кабинету и все поглядывала на Андриана. Иван Артемьевич отложил ручку и встал из-за стола.

— Значит, так, надо разъяснить колхозникам указ о сдаче крупного рогатого скота на мясо...

Затокало в груди Андриана. Тот еще говорил, говорил, но Андриан уже ничего не понимал и не соображал. Наконец Иван Артемьевич обратился прямо к Андриану:

— Тебе как коммунисту надо подать пример.



Газза припадала на правую ногу. Резко клонилась вбок, кивала будто. Левое бедро вздымалось. Несчастливая получалась походка, перемученная. А глаза уже были мечпы старостью, отсвечивали влажной пленкой. Вспыхивали. Под пленкой жуками шевелились выпуклые зрачки. Желтая кожа щек свертывалась в морщины. Черными ручьями текли они по лицу.

Газза позабыла, сколько ей лет,— ни к чему стало помнить. Она садилась на скамейку и принималась болтать ногами в галошах. Думала. Она вроде бы и не спимала их, галоши, таскала все дни недели. В воскресенье выходила нарядной. Кожаные коричневые сапожки в узорах цвели под солнцем. Белая шелковая шаль с кистями плотно облегла голову, стекала вниз, покрывая руки и спину. Ниспадала плотной тяжестью дорогого шелка. Ветер не полиновал ее на ходу, не играл кистями. Шаль гладко обтекала худенькое, усохшее тело, серебрилась. Вот только на трудный шаг Газзы глядеть было больно. Тень ее корчилась, распластанная по земле.

Старушка была чистая, опрятная, как засушенная бабочка. Час или два она выпживала на скамейке, ожидая, не спросит ли кто о сыне. Больше ни о чем с ней не говорили. Она сама начинала так:

— Плавает. Под водой дышать трудно. Там темно. А он командир. Ему есть, спать ой как надо. Вот придет, помпять буду.

И виделось: так, одетая шалью, она и сойдет в землю. Собеседнику пайдешь не сразу, терпеливую, с задумчивой душой. И чтобы речь шла, как игла по вышивке. По-

русски Газза и во сне не разговаривала. Потому и редко видела ее беседующей, больше сидела одна, качая ногой. Скамейка для старухи была высокая, красивые сапожки едва касались носками земли.

А утром она неизменно охала, идя через двор с кумганом — кубышничком. Встряхивала головой, глаза отвыкали от ночи.

Дочь ее пахла парикмахерской, густо, как сладкое облако. Душистая была женщина, со взволнованным дыханием. Кавалеров в дом не водила, мелькала в темноте со спутником в сарай, доставая с груди ключик.

— Она там любовь ворует, — сказал мне Толян.

— Как это? — испугался я змеиного шепота.

— Своей-то пету. Убили или как. Чужих мужей таскает. Разлучница она, Фаридка. — Толян помусолил губы.

Такое у нее было веселое имечко. Повятно. Толян рассуждал не своей головой, вот и говорил — как шелуху от семечек сплевывал.

— Они там, поди, свечки жгут, — сказал я.

— Свечки жгут мохахи, балда!

— А чего же делать-то еще?

— Обниматься. — И заухмылялся.

В сараюшке действительно все трещины лучились светом.

— Спалются, — сказал я.

— Они-то? Больно им пужен огонь. Пожгут и погасят.

— И чего?

— А того! Любовь будут заиматься... Любовь — она как зараза, — сказал Толян. — К кому пристала — конец. Умертвит запросто. Фаридка как делает: помылит, побреет, одеколоном брызг-брызг и в сарай зовет. Поглядеть бы, очень мне интересно.

— Если у нее своей любви пету, чего к чужой-то лезть? — задал я вопрос Толяну, задурив он меня совсем.

— Воровка, вот и лезет. Небось в сарае-то грязно, как они там?

— При свечке не шибко светло. Лю-бовь...

Я в первый раз произнес это гадкое слово. Оно так на меня и всплыло и зависло над нами.

— У тебя-то любви пет, — посмеялся Толян. — Ты недоросток... Очень это мне интересно. Ты присядь к стенке и послушай, как у них там разворачивается. Ухо не оцарапашь.

— Сам садись, — отбился я.

— Я ж вроде постарше. Ты удерешь, случись паника

пойдет, а я заметный. От нее, поди, и в воиочем сарае духами пахнет.

Я отвернулся и пошел от Толяна к воротам. Надоел он мне со своим интересом. И будто спиной слышал, как в сараюшке вздыхали возле свечи. А Толян приглушил звуки:

— Подумай, подумай, в другой раз можно. Фаридка их как курей. Полна парикмахерская в простынях сидит. Дождаются.

Дома я переждал, когда погасят свет, все вокруг замрет, и стал думать: какая же она такая, любовь, о которой в каждой книге пишут, в театре играют, промеж собой толкуют? Тут я открыл — и мать, и сестры ласкались под это слово, только я не обращал внимания. Матери о любви отец писал с войны. «Любимая ты моя», — высевала мать, когда прочитывала письмо вслух, и задерживалась... «Любимая...» Ах ты, какие чудеса, обмерло, отозвавшись, мое темное утро. Во взрослых книгах были картинки, которых я почему-то боялся. Голые женщины среди деревьев меня примаанивали и пугали. «И не мерзнут, — опасливо думал я. — А как увидит кто из кустов?..» Если предположить: и у старушки Газзы была любовь. Не всегда же она хромою ходила по земле. Ну и что, а хромельких не любят, что ли? Но увидеть Газзу молодой мое воображение отказывалось. Сапоги ее расписные и шаль белую с кистями я, конечно, мог от нее отделить. И получилась такая картина: сапоги танцевали без Газзы посередке двора, вокруг невысоко летала шаль, будто споласкивалась в воздухе. А молодайки Газзы как не бывало. Я видел ее в длинной, как бы утекающей комнате на стуле под картинкой из каких-то страшных завитков.

И вот я, лежа ночью в постели, думал про любовь, и передо мной плясали сапоги с узорами, а сама Газза сидела на стуле. Сапоги не изнасились, сшитые навечно, а куда в них бегала молодая Газза, должно, и не помнит. Жениха ее я видел на коне с уздечкой. Про любовь я скоро устал воображать — верблюды шли и шли прямо сквозь стены. Я запрыгнул на одного и поехал спать.

Как-то Фаридка остановила меня на бегу, схватив за шевелюру, да чудно вывернула, даже молнии пошли к ее руке. Я так и сиганул вверх.

— Больно, — сказал. — Отпусти.

— Как ты меня дразнишь?

Рука крепче поскребла волосы, даранпула поготками.

— Тоже мне, не нажил голосу, а попискиваешь!

— Не живодерпичай,— сглатывая, сказал я.  
— Как ты меня дразнишь? Отвечай!  
— Фаридка-улитка,— сказал я. Что оставалось делать?  
— Еще как?  
— Жужжалка,— добавил я и попылся увидеть ее железную руку. Голову сжало горячим обручем.— Я ж просто, ты бы отпустила меня, а?

Рука ее скользнула по моему лицу, медленно сползла, я даже успел поглядеть сквозь Фаридкины пальцы. Она стояла как черное вздутое облако.

— Для тебя я взрослая тетенька, а ты меня как девочку. Стыдно.

Я мог убежать, меня никто не держал, но я не отрываясь рассматривал душистую теплую женщину. Впервые она стояла так близко, заслоняя собой дверь,— черноволосая, жгучая как цыганка, с распластанными цветами на платье, с трещипками на шее, с лопедцами сережек,— задохнуться можно, так невозможно она приблизилась ко мне, помахи-вая ресницами.

— Бери эту сумку и провожай меня. Не замаешься. По-говорить с тобой надо.

Мне стало любопытно, какая муха укусила Фаридку-улитку, дразню-то я ее, считай, полгода, отчего раньше не беспокоилась? Неужто спохватилась, обнаружив меня на горизонте, и сграбастала, рванув за плечи, как рвут белье с веревок перед грозой. Начальница из парикмахерской!

— С сегодняшнего дня зови меня тетей Фарой. Репети-ровать не будем. А скажи, для какой надобности дразнился? Я не обижаюсь. «Жужжалка», где ты выцарапал дрянь такую?

— Ты похожа на черную осу. Жужжишь, когда через двор бежишь.

— Невероятно просто!

— Машинка твоя тоже жужжит с утра до вечера.

— А ты слышал? Я ж тебя не стригла, кажется.

— Забыла.

— С ума сойти! Так это я тебя кругленьким сделала? Я?

— Перед Новым годом,— сказал я.

— И надо же! Забыла!

— Кавалеры ждали, в дверях вхлялись,— уел я.

— Ишь!

Улица была широкая, ровно облитая солнцем. Стекала к площади серебряными рельсами. Бабочка летала прямо у

лица, не отставала. Цвели липы. Витые решетки оград бросали под ноги тещи, выжженными.

Парикмахерская благоухала как взрезанный вишневый проток. Толстое стекло окон лоснилось, одобренное отраженным светом зеркал.

— У меня сегодня день рождения. Поздравляй! — сказала Фаридка-улитка. Наклонилась. — Целуй! Какой целоворотливый!

Я ткнулся губами в пахучую щеку. Никогда прежде чужих женщин не целовал. Холод побежал к коленкам. Вспомнил, как бабушка Роза шамкала: «Целоваться любила за вишней». Дряхлая, а про любовь говорила, туману пацускала. Если так пойдет, Фаридка меня и без вшивки обучит.

— Не умрешь, — сказала тетя Фара.

— Сколько тебе лет? — очнулся я.

Она погрозила пальцем. Из трамвая на нас палились.

— Тебе скажу. Двадцать восемь. Старуха уже.

— Ничо сел — сказал я. — Старухи так не пахнут. От них чуланом вопяет.

— Приходи сюда в шесть. Ровно в шесть, не опаздывай. Я тебя подушу — и пойдем гулять. Люди подумают, у меня есть сыночек.

Я отдал сумку и отправился назад. Друзей у меня не было, теперь появилась Фаридка. Подруга. Толян вечно молел чепуху. Доставал из кармана голых женщин: «Гляди, гляди, немки! Отец целый альбом с войны приволок. Не поглядишься». Голые женщины меня пугали и делали беспомощным, а Толян загорался. Глаза вспыхивали лампочками. Я отворачивался. «Поменять одну могу. Сам выберешь красотку. За бусы идет?» — «Какие бусы?» — «А ты скрадн, у тебя ж в доме одна бабы». — «На что тебе бусы?» — «Не твое дело. Перед спом ляжешь и смотришь на нее будешь. Краля, без всего, а?»

Весь он папчыкал пакостями, мокроротый. Я тосковал по близкому другу, которому я мог показывать звезды, про жучков-скарабеев рассказывать.

В шесть на закате под розовым небом я разглядывал свою тещу у парикмахерской. Камень за день накалился, жаром обдавал лицо.

Год, как кончилась война, а с все все возвращались и возвращались орденосные смеющиеся люди. Отца я уже не ждал и с тоской оглядывался на военных. Теперь их было много на улицах. Звенели медальки в парикмахерской.

— Пришел мой пенаглядный,— показала в раскрытом окне Фаридка-улитка.

От таких слов я застыдился, скособочился тесью. Дома я сказал, что пошел кататься на карусели в парк. «Пенаглядный»...

— Иди сюда, заходи, клепштом будешь.

Выплеснулась на улицу в халате, сгребла меня, придавив грудью, и прямо плюхнула в кресло, утопила в потертой коже.

Здесь всегда пахло чужими волосами, немецким мылом и почему-то печкой. Но зато столько зеркал нигде не смещешь. Можно вдоволь на себя цагледеться, будто поездить на роликах по звонкому стеклу.

— Я тебя подушу «Ореапдой» или «Сапфиром»,— и забрызгала, залюбовалась пз-за спины. Брось на груди — золотопогий паук — шевелилась от большого дыхания.

Потом опять я нес сумку, и мне казалось — все встречные приплюхиваются ко мне.

— Теперь я твоя подруга,— сказала Фаридка.— Ты меня станешь везде защищать.

— Ты, что ли, маленькая?

— Обидеть могут всякого. Словом зашибут — всю жизнь помнишь. А около тебя я погреюсь. Ты чистый, на тебе и пятнышка нет. Вот разве родинки. Ты б мне подарил ту, что на щеке, она ж тебе ни к чему.

— Нарисовать можно.

— Так смоеся, а у тебя несмываемая. Тебя птица, на-верное, клопнула.

— А я помню?..

— Вот-вот, не помнишь. На воздухе спал, она и прелетя. Очень я полюбила твою родинку,— потешалась она надо мной, разыгрывала. Пускай забавляется, день рождения все так. Мне бы чего подарить ей. Жалко, родинку пользя.

Мимо своих окон я прошел, прячась за цветы на ее платье.

Газза ожидала в распахнутой раме. Шелковая шатукрашала голову, опускалась кистями на очень сухие руки. Приподымалась навстречу лицом, заскучавшая без разговора.

— Готово, мама? — спросила Фаридка.

— Готово, готово, дочка!

Из сумки перед столом Фаридка достала випо и паке-яблок. Масково пахло жареным мясом. Я еще только-только привыкал к запахам праздников после военной голодухи.

Война напрочь истребила их, а до нее как будто меня и по было на свете. В своей памяти я всегда хотел есть. Вкусная жизнь только начиналась.

Я сел под летящими буквами из Корана — выющимися ленточками, окруженной цветастой речью. Дочь и мать словно согласно перепевались. Кажется, раньше я никогда не был гостем. Гость — это вроде как сам помещик.

— Здесь про верблюдов написано, — сказал я, чтобы что-то сказать. Показал пальцем над собой: — Им надо пройти через нольное ушко. Не больно как.

— Не выдумывай, — сказала Фаридка. — Здесь написано: «Люби всех, кто вокруг».

— Всех нельзя любить, — сказал я. — Это чего же получится?

— Хорошо будет. Много любви — совсем неплохо.

— Мухаммед сказал об этом, — заключил я. — Пророк. Он на верблюде по пескам ездил. Там дыни кругом валяются и орлы летают.

— Откуда знаешь? Мама! — вскричала Фаридка и быстро заговорила по-татарски.

Газза кивнула, соглашаясь.

— Уменьшкый, — похвалила меня Фаридка. — Вот альбом с фотографиями, погляди пока. Ты же в гостях.

— Конечно, в гостях, — с удовольствием подтвердил я.

Я раскрыл тяжелый альбом. И сразу стало тесно вокруг. На меня смотрел сын Газзы, Ильтазар, с мостика подлочки. Позади него громоздились разломанные льды. На груди Ильтазара висел бинокль. Все ему прощом, подумал я. А вот и Фаридка где-то на траве с цветком в зубах. Конечно, с кавалером. Без кавалеров жить не может. Так себе кавалер, в кино лучше показывают. Остальных я не знал и пролистал их быстро. На желтой фотографии с вепзелями задержался. Большеглазая, со сложенными на груди руками молодая жепщина кого-то о чем-то просила. Мука смертельная расширила глаза.

— А это мама, — сказала Фаридка.

— Бу мпи, мип<sup>1</sup>, — забеспокоилась сбоку Газза.

Себя небось сразу видит, подумал я.

— Красивая, — сказал я. — Как артистка.

Они засмеялись. Старое лицо Газзы затуманили воспоминания, веко пошло вверх и застыло, как у настороженной птицы. Она погладила фотографию.

<sup>1</sup> Это я, я (татарск.).

Шли ходики. Пыхтел самовар. Дышал беляш корочкой. Ух и паемся, обрадовался я. А Газза вдруг разгепорилась и илечиком задвигала. Фаридка притихла, зачарованная. Тихий свет устлавался в комнате. Газза говорила, как захлебывалась светлой водичкой. Руки, чуть поджатые в кулаки, прслепнились к лицу. Фаридка сказала:

— Мама про любовь вспомнила. Рызобрало. Ах, старушечка моя!

А старушечке горячо было. Слабое дыхание будто парком стояло у губ. Жизни в ней осталось совсем мало. Ладонь на скатерти выдыхалась покоробленным листом. Но речь журчала, слова диковишные сплетались. Она и про пирог забыла. Над пей шумели крыльями птицы.

— Через меня маму из дома прогнал отец. Из-за того, что я доликна была родиться.

— Мулла,— не вытерпел я,— который в мечети поет?

Фаридка нахмурилась. От моего внезапного вздоха и Газза прихлопнула рот. Поздно я догадался, что ляпнул это. Руческ разбился о камень. Ничего не осталось, как только есть поджарпстый пирог.

— Когда рождается человек, паверпое, всем приятно,— сказал я рассудительно, подражая своему дяде-коммерсанту. Захотел быть умным, балда.

— Ой, не могу, держите меня! — захлебинулась чаем Фаридка. Бубенчиковой у нее был смех.— Ты, случаем, не в цирке работашь? Ой, упаду, не встану!

Газза тоже показала десны, глядя на вселось дочерп. Покивала головой.

— Давно это было,— перевела ее слова Фаридка.— Она о своем думает. Она мне рассказывала, как в сено жила за деревней, а жепих ей еду носил. Змей она боялась, вот и смеется. Не поженили их, хоть я родилась. А любовь — как золото на шее. Гляди, какая теперь я выросла. На алычеда айле в Средней Азии. У меня верблюд был, каталась. Ох, любовь, — выдохнула Фаридка.— Аллах дает — аллах возьмет. Страсти-то какие!

За окном темпело. Там шла большая туча. Газза пошептала в ладони и погладила себя по щекам. Так она помолилась, глянув на картинку из Корана.

Все любят, рассудил я, одни я без любви на свете скупаю. Даже у хромой Газзы невозможная любовь была, от которой и посеичас горячо бывает. Однако и во мне подпялся звоп, как прикинул, что впереди и меня она поджидает, любовь, от всех утаенная. Будто тайна, широкими лопухами

прикрытая. Ну, видел я, видел, как обнимаются, так это оттого, чтобы поближе друг к дружке быть. Когда нету никого подле, можно самого себя обнять и не замерзнуть. А любовь... Все равно как в пропасть прыгнуть с разинутым ртом. Тут Фаридка сказала:

— Пойдем на улицу, поглядим на небо. Я люблю, когда дождь собирается.

— Якшеме, улым? — спросила Газза. Это я поплл: хорошо, сыпок? Она поскребла меня по голове жесткой ладошкой. Тарелка была чиста, словно я и не ел вовсе. Во, жадюга, обругал я себя, на таких, пески не пект, все одно не напасешься.

— Якше, — сказал я. — Рахмат!

И мы вышли на воздух по гулкой лестнице.

Туча совсем распласталась и вот-вот готова была пролиться дождем на землю.

— Дома тебя потеряли, — сказала Фаридка.

— Привыкли, — сказал я. — Не потеряюсь. Я ж на каруселях катаюсь, как ты на верблюдах. С колокольчиками.

Фаридка посмеялась маленько, пока мы оглядывали небо. Задумалась хорошо.

— Под дождичком замечательно сидеть в сарае, — сказала. — У меня там и свечка есть. Как на другой земле живу там. Пошли.

Он был рядышком, сарай, с приплюснутой крышей, через которую росло прямое дерево — старая, покрытая черной корой липа. Она еще цвела, хотя это было ей тяжело и больно. Так думал я. На молоденьких липах вои сколько цвета, и листья на них сладковатые. Бабаия Тарасиха в войну пекла из липовых листьев лепешки. Рассыпчатые получались лепешки! Тарасиха живет под самой крышей, не топится умирать. И чего я про нее вспомнил? На Фариду она сильно кричала как раз подле сараев. «Шалава! — кричала. — Пожару наделаешь!»

Как нырнули в сарай, у меня мурашки по спине побежали. На кровати сидел человек в гимнастерке, с раскиданными волосами. Медалька белешкая в полутьме выдавливалась на нас.

Я схватился за подол Фаридки и готов был заорать от ужаса.

— А я жду-пожду, — сказал страшный военный человек и ослабился. — Гуляли?

— Откуда ты здесь взялся?

— У меня же ключ есть. Садись, Фаридуха, выпей.

— Разит от тебя, тьфу! Медали бы постеснялся. Отважный...

— Я ж по-доброму...

— А пу выматывайся отсюда! Удумал курорты.

Он сгреб волосы с лица, бросил их назад.

— Что же за малец такой? Нагулянный на травке? Скрывала?

— Нешто показывать буду.

— Полюбились, стало быть, и хватит.— Застегнулся. Причесался. Встал.— Стричь хоть будешь?

— Не овца. Чеши, миленький, не оглядывайся. У меня брат на подлодке плавает. Сестру не позволит обижать. Иди догорай в тапке.

— Чего?

— Спнем пламенем гори.

Бутылка вопилась в карман, булькнула.

Он уходил, матерясь, стуча погами. Сарай подрагивал.

И стало вольно дышать. Тетя Фара упала головой на темную подушку и заплакала, забилась, как пораненная.

Я аажке свечку на чурбачке, присел на корточки. Через месяц издалека шел гул шагов. Я глядел на свечку не двигаясь, поводя глазами на зыбкие полосы света. Взбегал по пламени. Липа тоненько скрипела.

К черному стволу была приколота булавкой фотография Фаридки в папачке. Тут она смеялась под кустом вишни.

— Иди домой,— выдавила в подушку тетя Фара.— Иди, малыш.— Она подвела на меня прекрасное, смутное в пламени свечи лицо.— У него душа — сухарь. Иди, милый, к мамке. Я плохая.

...Когда пошли яблоки, приехал Ильтазар-подводник. Газ за слова красовалась в узорчатых сапожках и белой шелковой шали. Уменьшилась будто. Утром она проковыляла через двор с пачищенным до глубокой желтизны кумганом. Ильтазар курил длинную папиросу около повельного трюфейного «харлея». Фаридка держала его под руку и тараторила.

«Харлей» завели в сарай, выбросив оттуда жалкую железную лежанку. Кровать вздернулась хитро пружинами, рыжая от ржавчины, широкая, костистая. Я с пенавистью оглядел ее, ступая по громадной топи. Давил тепь погами, а она шевелилась, распластывалась больше...

Осенью всем пазло я влюбился в Катьку, Катерину Филимонову, жившую от ворот паискосок, и стал таскать ее портфель в школу.

# Юрий Черняков



...Это уже потом, лет через десять, «Волгу» себе купил первого выпуска, дачу в Здравнице. Квартиру в Черемушках получил, обставил всю. Жену и ребят одел, обул. Теще золотые зубы вставил и себе... во... видишь? Ни одного натурального. Да, а волосы уже не вставишь. И почкими до сих пор мучаюсь. От воды, говорят. Там вода знаешь какая? Чайник закипит, плеснет из-под крышки — и белая полоса на боку остается. Я, бывало, как в Москву приеду, прямо на кухню сразу иду. К крану присосусь, оторваться не могу. До чего же сладкая в Москве водичка! Столько лет прошло, все быльем поросло, а вкус той воды как вспомню, так разом все печенки запоют.

А поначалу и думать не думал, что так все обернется... Вызывают меня к директору. Прямо перед обедом. Прихожу, а там двое военных. И директор, гляжу, озабоченный, в сторону смотрит. Вы, спрашивают, Сидоров Сергей Алексеевич? Ну, я, говорю. Собирайтесь, поедете с нами. Это куда еще? — спрашиваю. Там узнаете, отвечают, нам приказано вас доставить, а все узнаете на месте.

Я к директору: как так, Павел Александрович? Что, мол, за дела? Сам же только-только на собрании от имени паркома благодарность объявил, лучшим слесарем, гордостью завода называл. Что же теперь-то молчишь? Вот потому, говорит, что ты лучший, что ты наша гордость. Позжай, Сидоров. Тут все как надо делается. Ты ж фронтовик, ордена имеешь, а вопросы задаешь как побобрансцкакой... Значит, так надо, понял? Иди переоденься — и никому ни слова. А то, что ты лучший слесарь, так никто у тебя этого не отнимет.

Посадили меня это, значит, в машину и погнали. А я сжигу и грехи свои перебираю. И так и этак прикидываю. Не доуменце, словом, полное. Смотрю, пригород пачивается. Долго ехали. Места сплошь незнакомые, лес кругом. Даже вздремнуть успел. Потом слышу: приехали. Вылезаю. Домики меж сосен в снегу стоят, вроде городок офицерский, дальше корпуса видны здоровешные и недостроенные, а кругом все колючей проволокой обнесено. Солдат там наверху работает — видимо-невидимо! Бетон кладут, кирпич таскают... А внизу штатские и офицеры сидят.

Ну, сдали меня куда надо. Потом с сопровождающими еще куда-то повели. Я уже еле ноги волочу. Пожрать хоть дадут, думаю, пельзя ж человека целый день без жратвы таскать! Привезти-то привезли, а чтоб поставить на довольствие — пёбось никто не почесался!

Заходим к какому-то полковнику в кабинет. Он на меня иоль вниманья. Злой сидит, хмурый. Вот что, Сидоров, говорит, с этого дня будете здесь жить и работать. Одни пока, без семьи. Койку вам предоставят. Как так, говорю, а если я не желаю? Как так можно человека не спросясь от семьи отрывать? Все-таки я не штрафник какой, разведзвездом командовал, награды имею, благодарности...

Вот ты на фронте был, говоришь, а, видно, забыл уже, как в сорок первом от фашистских танков драпал? Опять хочешь, чтобы это повторилось?.. Потом рукой махнул. Много, мол, вас тут, и все права качают. Некогда каждому разъяспать. Вот оно что, думаю, паверно, всем, кто отступал, какое-то наказание вышло. Так что иди и работай, говорит. И не забывай фронтовую заповедь: больше пота — меньше крови. И бумаги мои сопровождающим отдал. Потом меня еще в какую-то комнату потащили пропуск оформлять.

Наконец привели меня в один ангар. Недостроенный еще. Паверху солдаты крышу кроют. И снежок сверху сылет. Там-то я и увидел ее, родимую... Сначала подумал — самолет. Нет, не похоже. Вроде снаряд от «катюши», только раз в двадцать больше. Лежит на стале. А кругом пароду что муравьев. Штатские, военные. И солдаты кругом с «папашами» через плечо. Мои провожатые опять мои бумаги стали кому-то показывать. А у меня уже в глазах рябит от этих бумаг. Вдруг один штатский, сам полный такой, в пенсе и шапке бобровой, бумаги мои когда увидел — в ко мне. Товарищ Сидоров? — говорит. Наконец-то! Обрадовался мне, как земляку в госпитале. Руку протянул, под-

пяться на станель помог. Вы, голубчик, очень, очень пам нужны. Без вас, мол, мы пропали совсем. И любуется на меня, как на облигацию выигрышную. А военные в сторожке стоят п на часы поглядывают. И генерал среди них. Корепастый такой, хмурый. Руки за спину заложил и поверх голов смотрит. Тоже на часы посмотрел п этому, в пещне, говорит: давайте, мол, побыстрее, товарищ... ну п по фамилии его пазвал. Тот кивает, да, да, одну мвинуту, сейчас, только товарища Сидорова в курс дела введу.

Подводит он меня, значит, и показывает па открытый люк. Там, говорит, стоит один блок. Нужно отстыковать ог него высокочастотные кабели, а они в самом пизу находятся, под блоком, и никто у нас до них добраться не может. А сделать это нужно очень аккуратно, чтобы ничега там не повредить. Мы уж совсем было отчаялись. Хорошо, я вспомнил, что ваш директор, Павел Александрович, хвастал как-то, что есть у него на заводе один слесарь, который не то что блоху — палочку Коха подкует! Тебе-то хорошо, думаю. Ну, Павел Александрович, вовек тебе этого не забуду, сосватал меня, печега сказать. Только сунул я свой нос в люк, а туда еще двое переноски направили, светят мне. А этот, в пещне-то, спрашивает: видите блок? Я смотрю, а там — мама родная! Жгутов этих, кабелей всяких, труб разных — видимо-невидимо. Палец не просунешь. Что ж, говорю, ваши конструкторы так постарались? Куда они-то смотрели? Он опять руками разводит. К сожалению, говорит. Дело-то совсем новое... Просмотрели компоновщики. Тут один штатский в заячьей шапке п в валенках голос подал: так нам же аппаратурщики документацию согласовали п вы сами, Алексей Витальевич, ее утвердили! Генерал опять на часы взглянул. Долго это будет еще продолжаться? — спрашивает. Алексей Витальевич этот опять руками развел. Так что выручайте, голубчик. Иначе нам придется корпус автогеном резать. Времени-то у нас в обрез. Сами знаете, что сейчас делается...

Как не понять, говорю. Только чем же я работать буду? Как чем, удивляется, чем вы у себя в цехо работали? Инструментом, говорю, собственного изготовления. У меня этого инструмента п приспособлений всяких знаете сколько! Как у зубного врача. Он только руками всплеснул. А что же вы его с собой-то не взяли, какой же вы слесарь без инструмента! Тут п я в бутылку полез. А мне сказал кто-нибудь, куда меня забирают?

Очень я ерепестый был по молодости. Хорошо, гене-

рал вмешался. Подошел, взял за локоть. Ладно, говорит, Сергей Алексеевич, кто тут виноват, мы еще разберемся... Вам сейчас дадут бумагу, и вы быстро напишете перечень необходимого вам инструмента. Мы отправим за ним машину в Москву. Слушаюсь, говорю, товарищ генерал. Только как я этот перечень составлю, если я сам не знаю, как они у меня называются? Ладно, говорит, тогда заберут все, что есть на вашем рабочем месте. Тут я совсем облаглет. А у меня, говорю, он не весь на рабочем месте. У меня его еще дома полно. Они, смотрю, переглядываются. А вам очень пужно то, что находится у вас дома? — меня спрашивают. Во, показываю, позарез! Да вы не беспокойтесь, говорю. Я жене записку напишу, и она вам его весь отдаст. Генерал усмехается, головой крутит. Ладно, говорит, под мою, мол, ответственность, если не возражаете. Сразу видно, что человек в разведке служил. Пишите своей жене, что все, мол, в порядке, нахожусь в ответственной командировке, пусть не беспокоится, а придет срок — увидите. И ничего лишнего.

Написал я. Все, как он сказал.

Офицер, смотрю, откозырял — и бегом от авгара. А дело уже к ночи. Когда еще машина с моим инструментом придет... И цык не расходится. Попробуй уйди. Это не теперешние, скажу тебе, времена. Стоят и ждут. Холодно, мороз уже пробирает, а стоят. Ну а мне-то чего стоять? Взял переноску и в люк свечу. Соображаю, как под тот блок ловчее подобраться. Подлез под него кое-как. Шуваю. И другие туда же смотрят, чтоб я, значит, никакого вредительства втихомолку не причинил. Мешают, понятное дело, да разве чего скажешь... Это сейчас ребятишки из ПТУ приходят и в изделии ключом орудуют, как ложкой в тарелке. Подцувал я это все основательно и к этому Алексею Витальевичу обращаюсь: а что это хоть за штука такая, как хоть называется? А один, сам из себя строгий, хмурый, коротко так, будто отрезал, — изделие, говорит. Не твое, мол, дядя, дело. Ну а я тоже, знаете, не люблю, чтоб со мной так разговаривали. Не, говорю, это не по моей специальности. Тут электрик нужен. Замок или часики я б вам починил. А тут я без понятия. Генерал опять нахмурился. Ты, говорит, па фронте кем служил? Разведчиком. Ну, говорит, так ты что, только па брюхе ползал? А машину водить не мог? А языка не брал? А за сапера не был? В том-то и дело, говорю, что я не привык вследствие работать. Хочу все до тонкостей знать и осмыслить, прежде чем браться-

то. Этот Алексей Витальевич аж руками всплеснул: так зачем вам это все знать? Вам только отстыковать высокочастотные разъемы! А дальше уж мы сами проверим, почему он не работает. А я свое гну. Извиняюсь, мол, за свою бестолковость, но там ведь еще какой-то кабель болтается двухжильный. Сверху-то его не увидишь, но так-то прощупывается. И разъем вроде на корпусе открыт. Может, он и цепужный, я-то не знаю, на всякий случай спрашиваю. Любил я тогда при случае дурачком прикинуться, под начальством покуражиться, что и говорить. За меня начальство держалось знаешь как? Вот и избаловался, известное дело... Он слова сказать не может. Потом кинулся к люку и меня за рукав тянет. Где? — говорит. Не может, мол, того быть... Тут другие штатские набежали, на меня сверху навалились: где, мол, покажи им всем... Чуть не раздавили. Еще выбрался из-под них. А они давай друг на дружку орать. Это ты не состыковал, это ты не проследил, это вы не проверили... Известное дело, если на каждую гайку по человеку приходится, тут не то что разъем забудешь состыковать, тут вместо самолета паровоз можно собрать.

Ладно, говорю, потом выясните. Ну так пристыковать его, что ли? Давай, говорят. Полазил я по карманам. Шпильку нашел какую-то, гвоздик. Согнул его. Пальцы поободрал, по вставил эту вилку в разъем, значит. И еще закрутил. Они аж рты разинули. Так вот, знай наших. Запустили они этот блок. Есть картинка! — кричат. Они ее по осциллографу увидели. И ну меня тискать да по плечам хлопать. Вот что значит свежий глаз, говорят. А меня тут ало взяло. Неужто, говорю, сами-то разобраться не могли? Вон вас тут сколько! Я бы сейчас дома дрых давно. Расхлебывай за вас... Они замолкли сразу и на меня уставились. И у Алексея Витальевича, смотрю, челюсть задрожала. А мы, говорит, за кого здесь работаем? Да мы четвертые сутки из апгара не вылазим! Я и то гляжу: очумели они здесь совсем, рожки у всех от холода синие, глаза красные... А хоть неделю здесь сидите, говорю, мне-то что? Я уж как завелюсь, бывало, не остановишь... У вас своя работа, у меня — своя... Я-то вас в помощь к себе не требую. Генерал до того молчал, а когда этот, Алексей Витальевич, к нему обратился, он только зыркнул на него и прочь со стапеля прыгнул и к выходу пошел. Разбирайтесь, мол, сами. И все военные за ним.

Я на штатских рукой махнул, я-то вижу, кто здесь главный, следом прыгнул и кричу: товарищ генерал! Он сразу

остановился и ко мне повернулся. Да, я вас слушаю, говорит. Дело-то, говорю, из-за которого меня сюда забрали, и сделал, верно? Нельзя ли меня по такому случаю домой отпустить? Я всегда так. Чуть что не по-моему, к самому большому начальству обращаюсь. Нет, говорят, именно поэтому не отпущу тебя. Если бы не справился — выгнал бы. Здесь и так лишних полно... Передовая здесь, фронтовая, окопы! Что будет, если с передовой все к своим семьям двинем? Война надвигается, понимаешь? А от «летающей крепости» штыком да гранатой уже не отобьешься. И уехал. Так я и остался там. В этих окопах.

Самого-то завода, считай, еще не было. Крыши, говорю, даже не постлали. А изделие это, первое самое, давай-давай. К празднику.

Директор наш, Алексей Витальевич, помню, в сердцах тому генералу сказал, да при всех: не знаю, мол, как там по газетам, а по мне — война эта еще не кончилась. Совсем как на Урале. Не успели с колес сгрузиться, а продукцию давай... Ну ладно. День-другой покаптовался, потом все-таки домой отпустили на сутки. Отдохни, мол, — в задело. Это изделие без тебя сдадим, а ты готовься к новому. Оно куда сложней будет. Бригаду тебе наберем слесарей. С любого завода, самых-самых. Вот как тебя самого. Будете выполнять особо ответственные работы по созданию оборонной техники. О зарплате не беспокойся. Согласен? Что ж, говорю, теперь спрашивать, согласен или не согласен. Раз уж по уши влез... Только спрос, спрашиваю, с кого весь будет? С меня, поди? С кого ж еще... Ну тогда, говорю, я лучше себе сам бригаду наберу. Ишь, говорят, какой. Сам... Артель, что ли, сколачиваешь, шабашничать собрался? Почему, мол, так вопрос ставишь? Все потому, говорю. Мне с вами работать, а не вам. До Алексея Витальевича дошло. Да ты не бойсь, говорит, что ты, в самом деле. Не коток же в мешке покупаешь. А с рекомендациями, с характеристиками. Я ни в какую. Черта мне в этих характеристиках! От много, может, отделаться не знают как. А мне с вами мучиться... Я вообще так привык: ты мне о нем лучше ничего не говори. Ты покажи, как он работает. Как-нибудь со стороны покажи. Вот тогда я тебе сам скажу, что в твоей характеристике по делу, а что видимость одна.

Алексей Витальевич рукой махнул. Ох и упрям ж ты, говорит. Чувствую, прибавишь ты мне еще давления не хуже заказчика... Ладно, говорит, валяй сам. Но начни с ре-

комсидованных. Не забывай, чем мы тут занимаемся. Это люди проверенные. Ну, пару, тройку выбери сам, так и быть. И что ты думаешь? Тех, кого сам тогда выбрал, те со мной и остались. А остальные, умелцы-то, рекомендованные, сами разбежались. Вот так. Мне говорили, что, мол, выжил я их. Может, и выжил... А что прикажешь делать, коли они воду мне мутили? Мастера, по правде сказать, были настоящие. Ничего не скажешь. Ну и каждый о себе понимал. Каждый с горором. Это ему не скажи, это на подсказки. А это не по его части. Плюнешь иной раз, лучше сам все сделаешь, лишь бы первы с ним не трепать...

Но это легко сказать: выбери, мол, сам. Поездил я по московским заводам, посмотрелся... Сплошь старики да пацаны. Мужиков-то фронт повыбил. Только Пономарева Витьку да Сашку Горелова еще через год присмотрел. Мы Пономарева больше Рыжиком звали. На его лохмы посмотришь — так зажмуришься... Вот. Прихожу я в цех, где он работал, и ведут меня на участок, где один рекомендованный работал. Совсем другой. Фамилии-то уже не помню. Гляди, говорят, вот тот. Любуйся, а папе, мол, дело маленькое. Хочешь — бери, хочешь — нет... Со мной везде так разговаривали. Думаешь, охота им цепный кадр отдавать? Ну, смотрю. Старичок какой-то. Аккуратнейший, в очках. Токосъемники они там вроде собирали. Это так я сейчас понимаю. Кольца медные да эбонитовые на длинные, метра в полтора, шпильки надевают в каждый слой гайкамп затягивают. Нудная, скажу тебе, работа. Пока эти гайки на полтора метра навернешь, а их сколько, да шпилек с десятков, уснуть можно, гляди. И любой пацан справится. Ну смотрю, ну работает, что особенного-то? Уснуть, говорю, можно. Потом слышу визг. Ага. Девки там молодые, тоже чего-то собирают, а около них малый рыжий-рыжий, длинный такой, нескладный вертится. К одной нагнулся, на ухо что-то шепчет, а сам руку подсовывает... И сразу в сторону, спину свою колесом подставил. Она кулачком-то дупила по его горбу мослатому, захохала, а сама рада, поди, хоть такому внимавию. Парней тогда по одному на десяток было. Потом уж выросли...

Мастер их не выдержал — пеловко перед посторонним, — гаркнул на него. Когда, мол, работать будешь? Полдня прошло. А я вас, говорит, ждал. Отпроситься хочу. Тот еще нуще. Пока, кричит, все свои блоки мне не завянтишь, вообще не уйдешь! Рыжий в затылке чешет. А если, говорит, до обеда сделаю, отпустите? До обеда... да ты хоть поло-

вишу собери до вечера. Нет, а если соберу? Отпустите? Мастер рукой машет: вот трепло, мол...

И ведь чуть не сделал, что ты думаешь! Схватил круг полировальный — войлочный такой, плотный, на вал моторчика насажен, — вставил его между шпилек и моторчик включил. Все аж рты разинули. Круг-то войлочный все гайки разом закрутил, и они, глазом моргнуть не успели, до самого низа опустились. Только подтянуть осталось. В минуту блок собрал. Потом за другой припаялся. Доволен — дальше пекуда. Девки-то смотрят во все глаза. И зазевался. Вдруг — трах. Моторчик из рук вырвало, шпильки погнуло, закоротило, видно, аж дым пошел. А он за пальцы схватился, меж коленок зажал. Я его за руку схватил: подними, мол, повыше, кровь все ж хлещет. Кости-то целы? А мастер опять орать. Поломал, балбес, испортил, то да се... Я его за плечо взял. Угомонись, говорю, так и быть, беру. Да вет, не умельца вашего. Он еще до утра будет колупаться... Этого беру, балбеса. Да вы что, говорит, он же еще папильник, как ложку, держит. Ничего, говорю, у меня будет ложку, как напильник... Научится, куда депется. Мне мастера ни к чему. Я сам мастер. Мне как раз такне и пужны. Умельцы эти мои почему разбежались, говорил уже, пет? Ну вот... Беру, говорю. Да он прогульщик, говорят. А сами, гляжу, счастью своему не верят, подталкивают друг дружку от такой радости. Это у вас, говорю, прогуливал, у меня в цеху ночевать будет. Тут Рыжий рот раскрыл. Ему, паразиту, пальцы бытую, а он на меня же баллоп катит. Я, мол, дядя, к тебе и не пойду. Без попятня еще, конечно... Он не пойдет. Ага. Бегом, говорю, побежишь и еще меня обгонишь. А пальцы-то у него, смотрю, длинные, толкие. С такими пальцами куда хочешь подлезешь. Не то что мои обрубки. Натерпелся я с ним потом — по самое пекуда... Баламут был, шалопут и глотник. А все ж зла на него никогда не имел. Ну, бывало, конечно, всякое.

Но ничего. До сих пор вот в гости ходим, семьями дружим. А чтоб зло на него иметь — никогда.

Один он рос, понимаешь. Детдомовский. Тоже понимать падо. Хлебнул в войну среди чужих людей. И жена его под стать, тоже детдомовская. Нивка зовут. Смех один, как на пях посмотришь. Сама малепькая, черпенькая, еристая. А в руки его, длинвого, взяла будь здоров. А он — хоть бы что. Опи, детдомовские, знаешь как друг друга держатся? Один раз я дома у них был, задрались они было при мне, я его в сторону толкаю, так она в меня вцепилась, чуть

глаза не выцарапала. Я, помню, раскричался на них, а они смеются. Довольны оба дальше некуда. Я тоже не выдержал, засмеялся. И рукой махнул. Детдомовские, что с них возьмешь? Они тогда еще в бараке жили. Сейчас про эти бараки забыли вовсе. А тогда, после войны, этих барачников было видимо-невидимо. Идешь по коридору — там примус, здесь керогаз, на веревках белье мокрое болтается, ребята плачут, бабы орут... Сейчас-то они в трехкомнатной живут, хоромы, можно сказать, а все такие же...

Но это так, промежду прочим. Я тогда больше к самому издевию приглядывался. Трудно оно шло. Только-только начали собирать. На коленках, можно сказать. И так и этак пробовали. Допоздна над ним засиживались. Техниологии толком еще не было никакой. В смысле порядка сборки. А сборка такая, что ой-ой-ой. Чего там только не поакручено! Тут тебе и автоматика, и гидравлика, и радиотехника. И все завязано. Механики-то чистой с гулькин нос. И все ведь с понятием надо делать. Попробуй, к примеру, не так высокочастотный разъем завернуть. Полетит, родное, куда его не ждут. Только держись... Ладно, думаю, чего уж теперь... Делать так делать. Научимся, куда денемся.

Я так начальству и сказал. Мол, мол, должны уметь все. Только тогда от нас толк будет. Это когда уж освоим да технологию распишем, тогда сажайте всех на отдельные операции. Но это еще когда будет. Давай, говорят, пробуй, если сможешь...

Собрал я своих. Так и так, говорю. Такие вот дела. И умельцы эти сразу меня за горло взяли. Мы что тебе? Фэззущники? Ерфилов тогда на меня особенно палел. Тебя кто просил? Что ты, мол, вообще из себя меня строишь? Перед кем, мол, выслуживаешься? Кто ты, мол, такой, чтоб нам указывать? Я ж говорил уже, от этих умельцев одна только смута шла. Какой я им начальник? Каждый на равных себя мыт. Сколько раз говорил я этому Ерфилову: давай, мол, на мое место. Так нет, он на это не согласный. Ему спизу меня сподручней пыпынять. Я, говорит, беспартийный. Меня в сорок первом исключили, когда из плена прибежал. Тогда помалкивай, говорю, и не высывайся, окружедец...

Тут и побегали первые. Самые старички. Больно надо им на старости-то лет переучиваться. Их и так где уютно с руками и ногами... Ладно. Эх, думаю, мне бы таких, как Рыжий, пяток хотя бы. И тогда бегите вы хоть все — не заплачу.

И Рыжпй, гляжу, такое дело учуял и тоже, понимаешь, мне как начальству подпевать стал. Совсем обвагдел. Со старшими, гляжу, разговаривать стал на равных. Тоглазки опускал, слово боялся сказать, а тут глэдп-ка, прорезался. Ну я его быстро укоротил. Мне шакалы в бригаде не вужны, говорю, понял? И чтоб я больше не слыхал, как ты над передовиками, заслуженными людьми куражишься. Соплив еще. И подзатыльник еще отвесил.

А тем временем, считай, уже половиппа разбежалась.

Ладно. Засели с остальными за чертежи да схемы. И за паяльники. После работы, ясное дело... Ерффилов, смотрю, сонит, но держится. Выступал больше всех, а заявлеппе не подает. Сидим, бывало, уже поздно, так и этак кумекаем. Хитрое это дело, электрика. А паяльник? Это только кажется, что делать нечего...

Вот так и получилось. Работать еще толком не работали, заробтков обещанных и не видно, только учимся, как студенты, на одну стипендию... Еще двое-трое заявления строчат. Тут я, помню, испихнул. А хоть все бегите! И Рыжкий тоже выдал. Он-то быстрее всех нас наловчился. И в пайке, и в регулировке. А меня, говорит, регулировщик к себе зовут. У них повыше тарифы-то. Ну этого я всегда на место поставлю. Цыкнул на него разок: сиди, мол, где сидишь, и не дергайся.

Потом гляжу — а кто у меня остался-то? Я да Рыжпй. Ну еще Ерффилов. И еще двое-трое. Фамплий уже не помню. И они того гляди подорвут. Что делать, а? Впору самому заявление писать, пока не попросили за развал. Что-то, думаю, здесь не так. Черт его знает. Сорвал людей только с места... А какое у меня такое право, чтобы навязывать то, что не по душе? При чем здесь работа? Работа для нас или мы для работы? То-то и оно... К Ерффилову, помню, тогда же вечером в барак зашел. Вызвал покурить. Мы с ним часто так: сидимся, скажем, на планерке, а потом вечером на бревнышках меж собой отношения выясняем... Сели с ним, значит, махру раскопегарили... Да... Сидим, как девки на посиделках, на луну мечтаем. Вообще-то я его побаивался, что ли... Ну не то чтоб очень, а уважал скорее, вот. Мужик он основательный, степенный, зря рот не раскроет. Не вредный, собака. Что ж, говорю, Степапыч — его Петром Степанычем зовут, — заявление-то уже написал или как? Вот думаю, говорит. Ну думай... Тебе-то, говорю, сам бог велел, тебе бы свою бригаду сколотить, чем мои указы вслушивать.

Он сигарку сплюнул. Много чести, говорит, чтоб из-за тебя еще заявление писать. Ты тут вообще ни при чем. Как так? А вот так. Ты, Алексеич, в сорок первом где воевал? Это он у меня уж сотый раз спрашивал. Удовольствие ему было слышать, как я до сорок второго на Дальнем Востоке отсиживался, самураев стерег. А что? — спрашиваю. А то, говорит, что пока ты там прохлаждался, я от самой границы драпал. И все цеседралом. И окружение прошел, и плен. Слыхали, говорю, и не раз. Ну и что? Один ты, что ли? А то, говорит, что мечтал я тогда хуже, чем о бабе, от такого-то позору, что счас вот, полетят наши соколы да начнут их драть, мать их в душу... Ночами аж зубами скрипел... Снилось, понимаешь, что сам по кнопке как-то нажимаю... Ну как пулемет какой здоровенный, а ихние тавки да самолеты, как коробки спичечные, пыхают... А проснешься утром где-нибудь в луже, увидишь, что все с той же родимой образца девяносто первого года в обнимку, и так завоет... Не в тебе, говорит, дело. Много чести. А в этих изделиях, будь они целадны. Охота увидеть, понимаешь, как паяву это будет.

Стало быть, остаешься, говорю. Стало быть, так. Опять молчим. Сидим, смалим. Вот говорят, что крут я больно, говорю. Точно, кивает, как дурной кидается. Только на меня где съедешь, там и слезешь. Ты это помни. И другое тоже помни. Не в мои годы переучиваться. У меня от твоих проводков да клемм в глазах уже рябит. Лучше я так слесарем при тебе и останусь. Ладно, говорю, оставайся, раз такое дело. Только пока что, сам видишь, навар у нас небогатый... когда еще наши изделия пойдут. Он молчит. Потом завздыхал. Я-то думал, Алексеич, ты все ж поумней будешь, а ты все про то же. Ладно, говорю, все ясно... Спасибо и на том.

Мне тогда и вправду легче сделалось. Утром-то как раз на ковер вытаскивали по причине утечки кадров. Вызвали и давай меня... Вдоль и поперек. И в хвост и в гриву. Какие, мол, специалисты ушли. Я молчу. А что тут скажешь? Все правильно. Специалисты-то уходят...

А потом не выдержал. А опи что, говорю, ко мне паялись? Сезонники, что ли? А раз корм у меня плохой, так к другому хозяину наладилсь. Я их у вас не просил, сами паязали. И куда вы их столько набрали? А я предупреджал. Коль поставили бригадиром, так под меня и кадры подбирайте. А как же вы думали? Черта они мне нужны такпе! Лучше мне молодых дайте. А эти старперы ваши

у меня уже вот где сидят! А не правлюсь, так другого дурака поищите спецам вашим командовать...

Молчат, смотрю, переглядываются. Алексей Витальевич хмурится, пальцами барабанит. Да это понятно, говори. Каждый из них цепу себе знает и сам же ее назначает... Ты другое нам скажи. С кем работать будешь, вот вопрос. Это когда еще молодых выучишь. А работать уже сегодня надо.

Как с кем? А с Ерфловым, с Пономаревым... И все? — спрашивают. Ну все... Мой пачальник цеха рукой махнул: с Пономаревым... Он же разгильдяй, безответственный тип, у него ветер в голове.

Все тут зашумели, закивали. Алексей Витальевич их упял и говорит: не боги, конечно, горшки обжигают, но осли б о горниках шла речь...

Тут его заместитель — здоровенный такой, лысый, — встрял. К людям, говорит, подход надо иметь, ладить с ними как-то... А ты привык рубить сплеча! Мы-то с тобой сейчас как разговариваем?

Алексей Витальевич, гляжу, хмурится, бумагу карандашиком черкает. Извини меня, говорит, Сергей Алексеевич, по, по-моему, ты забываешь, какая у нас с тобой работа. От нее сегодня, можно сказать, наше существование зависит... Сам знаешь, то, что мы сделаем, уже не переделаешь. Это Егорыч мой машину посреди дороги остановит и колесо вия там свечу помешлет и дальше поедет. А изделие уже не остановишь... Каким сделаем, таким и улетит... Вот я скажи, только по совести, как коммунист, можно ли такую особую работу таким, как твой Пономарев, доверить?

А кому, спрашиваю, ее доверять? У меня других-то нет! Другие-то, спецы ваши, разбежались? Они ж деньги пришли зашибать, им изделие наше, что народу защиту даст, по боку. А Пономарев-то что-то не сбежал, хоть и разгильдяй. Начальник мой опять рукой махнул: молчи уж... Попробовал бы он. Ты б ему при всех штаны снял и выдрал ремнем за милую душу.

Тут все засмеялись. А я еще больше озлился. Особая работа? Так особых и ставьте. А у меня — какие есть! Ты-то сам, Алексей Витальевич, так прямо директором и родился? Может, в пеленки никогда не мочился, а сразу в сортир бегал? Тут его замы да помощники зашумели. Безобразно, мол, то да се... Алексей Витальевич, гляжу, морщится, пальцем под затылком трет, карандашиком стучит. Ну-

ву, говорит, и что? А то! Где ты найдешь этих особых, если они сами здесь не вырастут?

Может, ты и прав, бригадир говорит и еще сильнее под затылком трет, мне вот тут предлагают вернуть этих твоих, сбежавших. Как думаешь, стоит? А право у меня такое есть. Дело ваше, говорю, вам видней. Нет, говорит, это тебе видней. Тебе с ними работать. Я о другом сейчас подумал. Может, через год-другой твоей бригаде цепи не будет. Только мы этого пока не понимаем. Дело затеяли огромное, такого еще никогда не было, а работаем по-старому. За каких-то дезертиров цепляемся... Вот и получается, товарищи, что кадровый вопрос он лучше нас с вами понимает. И болеет за дело побольше нашего... Но и ты, бригадир, смотри. Бригада твоя разбежалась, а спрос с тебя тот же. Понял? Вот с этим твоим... как его... Пономаревым и кто там у тебя еще есть — работайте за всех. У меня все... Только время у человека отняли. Вот так он сказал.

А через год он умер. Прямо в кабинете удар хватил... И опять все сначала... Новому начальству объясни, что, да почему, да как так... Пока на полигон не попали. Вот тогда все вопросы кончились...

Про Сашку-то Горелова? Расскажу. Работал он на авиазаводе. Я и раньше о нем слыхал. Мол, есть такой умелец, каких не бывает.

Съездил пару раз, посмотрел... Работает молча. Что ни поручат, кивнет только и за дело. Все что ни сделает — в высших кондициях, эталоны сплошные. Только тогда мне его не отдали. Слава про меня такая пошла, что я только голову людям морочу и бегут все от меня. А мне запало, понимаешь, как он работает. Ни от чего не отказывается. Халат на нем всегда чистенький, глаженный. Руки — вот никто не верит — с мылом перед работой мыл. Инструмент у него всегда блестящий. Его так хирургом и прозвали... А вот пальчики его частенько дрожали, да... Слаб был насчет волки. И как выпьет — сразу дуреет. Не буйнит, нет. Он и пьяный молчалив был. Только в беспамятство впадал. Черт-те где, бывало, почь проспит, но на работу, как всегда, в белом халате и с чистыми руками. Какая-то нехорошая история с ним приключилась. То ли на глазах у большого начальства отвертку в головку винта вставить не мог, то ли еще что... Обычно там как? Напился, ну и мотай с объекта в двадцать четыре часа! А его, говорят, сам Сергей Павлович тогда отстоял под свою ответственность. И меня потом за него просил. Рассказал, что у Саши, а он нас всех,

считаю, по именам знал, во время войны жена ушла с св-  
випшкой к какому-то тыловику. А Горелов узнал о том, когда  
только с фронта вернулся. И зашил. Прибщи его, тез-  
ка, к делу, говорит. Давай ему работу посложней, повите-  
ресней, чтоб забылся поскорей. Вот ведь какой человек...  
Не его, кажется, дело. У Горелова своих этих начальни-  
ков — хоть пруд пруди. Было кому плакаться. Не каждому,  
конечно, расскажешь, тоже верно...

На полигон-то поначалу мы без него приехали. Со свои-  
ми изделиями. Пятеро нас, кажется, было... Значит, я,  
Рыжкий, Ерфилов, потом Папкратов и Савин.

Эти двое потом уволились. Жалел я о них очень. Рабо-  
тники были мужики и мастера классные. Папкратов ско-  
ро не выдержал — здоровье у него было слабое. А у Са-  
вина мать одна оставалась старая с двумя его детьми. Же-  
на, кажется, еще в войну умерла. Пришлось отпустить...

...Так вот, приехали мы туда, на полигон этот, вот тут-  
то, смотрю, бригада моя скуксилась. И есть отчего. Стены  
без краю, колючки, не на чем глазу зацепиться. И палатки  
одни. Изделия первое время и то в палатках держали. Ни  
ацгаров, ни техничек тогда и в помине еще не было. Не  
то что сейчас.

Солдат полно. Взрывы гремят, пыль столбом — там ведь  
камень сплошной да солончаки... И нам сразу же лопы и  
лопаты вручили. Давай-давай, мол, тоже интеллигентны  
приехали, все готовое им подавай. А пзделием ночью буде-  
те заниматься, когда жара спадет. Солнце там, скажу тебе,  
хуже артобстрела. Не спричешься. Голову, плечи жжет св-  
щикакх вет, а пачальство над ухом: давай-давай, что ты,  
как мертвый, возишься... Иной свалится, оттащат его в те-  
пек, воды на лоб плеснут, по так, чтоб цепмого — се нам  
за сотню километров возили, — очухается, снова встанет  
за лопату. А куда денешься? Вместо перекуров нам газет  
читали. То там, то здесь американцы свои базы создают  
атомными бомбами, а мы, мол, здесь работаем кое-как, а за  
нами Россия вся, как в сорок первом!..

Уж на что я здоров был, отоцал и почками да давлением  
ем до сих пор мучаюсь. Этой почы, как воскресенья, жда-  
ли. Выходных-то не было... Ночью хорошо, ветерок обду-  
вает. Ветер, он и днем есть, только б лучше его не было.  
Дует как из печи, да еще с песком и пылью... Ясное дело  
не все выдерживали. Мы-то фронтовики, чего только и

видели, а и то... Солдат молодых — вот кого было жалко. Его только от мамки забрали, иной пошату сроду в руках не держал. Один, помню, приехал только, их часть развернуть не успела, спросил у меня по-тихому: где, мол, здесь туалеты, диденька? Из культурной семьи, видно сразу.

А другой по ночам плакал, все маму звал. Мы-то с ним рядом жили, в палатках... Разбудишь его, дашь ему закурить и расскажешь, как на войне бывало, там куда, мол, страшнее, вы здесь горя не знаете. А сам думаешь: сидел бы я сейчас где-нибудь в землянке своей под Гомелем. Наверху дождик идет, травой да грибами пахнет... Что с того, что немцы? А здесь скорпионы да тарантулы! Я этих скорпионов хуже танков боялся. Лучше с «тигром» дело иметь, я так тебе скажу. Там уж от тебя все зависит. А тут, главное дело, и не увидишь его! Ужалит, проклятый, и — ходу... Скольких ребят перекусали. Меня фалалга какая-то за палец цапнула. Ну, я ей так это не оставил. Поймал и на медленном огне зажарил на сковородке прямо. Пока в пепел не обратилась. А палец, хоть и прижег его головешкой, раздуло — как рука толстый стал.

Ну а зимой там тоже не лучше. Особенно в буря. И морозы за тридцать. Расскажешь иному солдатяку, мол, как в Карелии зимой тяжело было, а у самого зуб на зуб не попадает...

Но какая бы трудная работа там ни была, хуже нет бестолковщины, как я тебе скажу. А ее по тем временам тоже хватало.

Был у нас там один пачальник участка. Фамилии его не помню уже... То ли Плавин, то ли Клавин. Потом-то убрали его от нас. Но крови всем попортил дай боже... Откуда только берутся такие, вот что удивительно! Носился как уторолой. Орет на всех, руками машет. Набаламуся как уторолой. Орет на всех, что за неделю не расхлебаеть, и убьет, запутает всех, что за неделю не расхлебаеть, и убьет. И не найдешь его. Верить, даже лица его не помню. Других, кажется, всех помню, а его нет. Зуб золотой, помню, сам низенький такой... Черт его знает, совсем из головы вылетел...

Как-то прибегает он к нам. А у нас аврал был. К сборке изделия стапель готовили и тельферы на балки устанавливали. Посмотрел на нас и за голову схватился. Сидорова, орет, а ну иди сюда! Подхожу. Ты погляди, кричит, как у тебя люди работают! А что, спрашиваю, чем она плоха работают? Да где ж у них каски, где монтажные пояса и пристяжные ремни? Почему электросварка без огражде-



ния производится? И понес и понес... Я гляжу на него, ни черта понять не могу. Что это на него пашло? С луны, что ли, свалился? Раньше и не такое еще бывало, вообще дым коромыслом стоял. И ничего. Где я их возьму тебе, каски да ремни? Куда в этих касках да ремнях подлезешь? А огорждения эти сварщики себе на голову поставят, что ли?.. Если все соблюдать, то вообще хоть не работай. Наконец, воп оно что, вот в чем дело, оказывается. Комиссия из самой Москвы приехала, по ангарам ходит. Вот он и мечется как наскпидаренный. Что ж, говорю, они раньше не приезжали? Когда мы в солопчиках уродовались да со скорпионами в обнимку спали? А нас с тобой не спрашивают, говорит. Потом в затылке почесал и рукой махнул. Ладно, говорит, пусть твои ребята на обед идут. Прямо сейчас. И чтоб ни один сюда носа не совал, пока комиссия не уйдет! А сам пройдишь, говорит, по ангару, проследи, чтоб ни одна балка незакрепленная над головой не висела, чтоб все обесточено было.

Только я это, значит, ребят своих отослал, комиссия заходит. Человек пять и председатель — важный такой, лысый, в очках... Та-ак, говорит, а где ж народ? Так их на другой участок перебросили, начальник наш отвечает. Что-то, я смотрю, у вас со всех ангаров людей на другие участки перебросили... А это кто? — и в меня пальцем тычет. Почему он без каски и монтажного пояса? Так это посторонний, начальничек мой пашелся, а мне страшные глаза делает: сгнись, мол. Председатель свой палец на члена комиссии навел и говорит: задержи это. В рабочее время посторонние люди на производственном участке находятся. А если его по незнанию током ударит, кто отвечать будет? И опять на меня палец нацелил. А вы что здесь делаете? Разве не знаете, что здесь важный, оборонного значения объект? А вы тут без дела болтаетесь, только мешаете. Где работаете? Кто ваш начальник? А ну марш отсюда! Ухожу, ухожу, говорю. Повернулся и ушел. На завтра, смотрю, приказ уже висит. Бригадиру Сидорову строгий выговор. За то, что на его участке в рабочее время посторонние шляются.

Ребята смеются, проходу не дают. Мне тогда же наш смежник Огнев Витька — хороший мужик был! — сказал: береги нервы, воспринимай это типа как стихийное бедствие. Вроде паводнения. Сиди на крыше и жди, когда схлынет.

Наводнения, говорю, еще куда ни шло. Не поймешь его,

главное. То, бывало, таким фол-бароном выступал, что ты! Не подступись! То, наоборот, особенно если сроки поджимали, ходит среди нас, папиросами угощает, всех по имени называет. А то еще матом пустит. Чтоб, значит, совсем своим считали. А ругаться-то толком не умел. Вроде как иностранец все слова выговаривал. Вот этого я особенно терпеть не мог! Я и сам для связки слов так порой раз принужу — только держись. И другого, если по делу, выслушаю. А когда печальство при нас да для форсу матюкается — противно слушать. Тошнит прямо. Его Сашка Горелов раз при всех осек. Когда он начал на них орать. А ну кончай базар, говорит, работа и так стоит, опять, что ли, в воскресенье выходить? Тут все разом смолкли. Уж если этот молчун заговорил... И печальничек паш тоже остолбенел. Оп-то, я думаю, Сашку вообще в первый раз услышал.

Это ты кому говоришь? — спрашивает. А тебе! — Сашка, смотрю, затрясся даже. Чего смотришь? Тебе и говорю. Ах, ты так! — тот орет. Я-то тебя за няпки твои покрываю, а ты мне воп какие слова говоришь, печальник ярится, да я тебя мигом отсюда выставлю! Обидно ему, видишь, стало. А выставляй! — Сашка даже инструмент свой бросил. Сам уйду, только чтоб тебя не слышать.

Ну, я, понятно, дела этого так оставить не мог. Я в это время с нарядами да процентовками у себя возился. Подошел к ним. Оба, гляжу, как петухи взъерошенные. Если выгонит его, говорю, то мы все отсюда уйдем, ясно? И печего на моих рабочих матом орать! Вот так. Мы с тобой отдельно, Сидоров, поговорим, грозитя. Распустил ты их! А сам из ангара уже пятятся. Я это тебе припомню, грозитя. Ничего, ничего, думаю, приползешь еще ко мне в конце месяца.

Мы в конце месяца что делали? Нужно, скажем, пэделе отработать. Мы его соберем, состыкуем, проверим — все честь по чести. Но Рыжий обязательно какую-нибудь заковыку по части регулировки оставит. Начальник-то начнет орать, а я руками только развожу: стараемся, мол, а никак... Он тогда ублажать пачинает. Ей-богу, не вру! Он за свое место знаешь как дрожал! Я Рыжему говорю: кончай, мол. А сам думаю: а как еще его выпрешь от нас? И на этот раз припола. В одиннадцать вечера тридцать первого числа. Как сейчас помню. У Рыжего один параметр будто не регулировался. Ага. Алексея, скульпт, выговор

сыму, благодарность повешу... Да помешали на этот раз. Работал с нами один новый инженер. Только-только из Москвы приехал. Николай Иванович звали. Я сначала никак его возраст определить не мог. То ли тридцати еще нет, то ли под пятьдесят уже. Глаза-то молодые, черные. А волосы уже белые совсем. И длинный, худощавый — в чем душа держится. Всегда сосредоточенный, говорит медленно, каждое слово выговаривает. А так больше молчком. Все что-то по своим схемам и записям прикидывает, считает. Если по технике что спросишь, все всегда разъяснит и покажет. Иной раз увлечется, что уже не понимаешь ни черта в его инженерской науке, тоска берет, а все равно киваешь, поддакиваешь... Вдохнешь разве от собственного невежества, но так, чтобы незаметно, конечно. Так вот смотрел он, смотрел на фокусы Рыжего, подошел к начальству и говорит: да что вы, мол, так переживаете! У вас, наверное, столько более важных вопросов, которые решить, кроме вас, некому, а вы здесь с нами только время зря теряете. Мы сами разберемся, вот увидите. Очень культурно с ним поговорил. Тому и сказать нечего. Опомился, поди, когда за воротами оказался. А Николай Иванович к нам подошел, стоит, нас разглядывает. Что ж вы, говорит, ребята, забыли уже, для чего здесь работаете? Разве вы тут личную машину для начальства собираете? Или дачу ему строите? Вы же прекрасно знаете, как это изделие идет в армии. И головой покачал — ну, если действительно, говорит, не можете этот параметр отладить, так мне скажите. Я вам помогу. И покажу, чтоб в дальнейшем затруднений не было. Я, помню, стою вот так и чувствую, как уши мои докрасна накалились. А Пономарев тут сдуру брякнул: да вы не думайте! Мы можем! Мы так только, над ним покуражиться. А параметр мы мигом, сейчас отладим. Он даже руками своими длинными развел. Не понимаю, говорит. Столько вы над этим изделием работали, столько мучились... Не понимаю! Ну проберите вы его на партийном собрании. На дуэль его вызовите! Но при чем здесь изделие — вот никак понять не могу!

Я потом у знакомого кадровика насчет него специально узнавал. Что за человек, мол... Два института копчил. На авиазаводе после увольнения работал. Потом его как лучшего специалиста к нам взяли.

...А все ж таки еще труднее там без семьи было, одному. Это уж по себе знаю. Очень я свою жену любил. И сейчас, уж старый стал, ее уж сгорючил, а все как-то так чув-

ствую, что все она для меня, что повезло мне, что такую, как она, встретил.

Я ведь ее с мальчонкой взял. Как раз когда уволился и в Москву возвращался, увидел их. Красивая она была! Это передать невозможно. Много около нее нашего брата крутилось. Но уж так она себя поставила: никто ее не то что тронуть, лишнего слова сказать не мог. Отказала она мне попачалу. Я в сердцах рукой махнул и уехал... А сам чувствую: нет, тянет к ней мочи нет. Так она умела в глаза смотреть, скажу тебе, ну не объяснишь словом... Я почью с поезда сошел и опять к ней. Снял там угол, устроился на станции работать. Так и жил около нее. И никого, смотрю, к себе не подпускает. Только или на дежурстве своем сидит, или с мальчиком возитесь. И тут мне ее жалко стало. По-хорошему жалко. Прить-то поубавилась, по-человечески к ней и сыпишку ее смотреть стал... И вот так это получилось, да... Привык ко мне мальчик. Тянуться стал. Она когда на дежурство в больницу уходила, бабке соседской его оставляла, а он — нет, к дяде Сереже хочу. Так она сама ко мне пришла. Если хотите, говорит, я выйду за вас замуж. Она со мной еще долго на «вы» разговаривала. Я ведь ее мужа себе пщу, говорит, а отца Семену. Буду вам верной женой, Сергей Алексеевич, только знайте: любила я отца Семена, и жду его, и забыть не смогу. Так что не обессудьте. Я ей говорю: что ты, Галочка, не надо, раз такое дело. Уеду я лучше. Может, еще дождешься... И уехал. А в Москве опять себе места не находил. Письма ей писал... Она не отвечала... А потом сама пришла.

Потом, много позже, у нас уже свой сынок родился. Но Семен этот для меня все равно как старший сын, хоть не похож писколько.

И когда на полягонах да объектах разных жил, очень тосковал по ней. Писала она часто. Очень хорошие письма присылала. И, с одной стороны, радость вроде, а с другой — еще сильнее к теплу ее тянуло... И никогда, сколько ни жили, ни в чем ни словом, ни попреком ее не обидел, хоть и знал — не забывает она того, первого своего...

Но и это еще ничего! Все стерпеть можно. А вот когда поставят изделие на старт, все ведь забудешь. Пот твой, ночи невыспанные, скорпионов этих да суету бестолковую — забудешь все. Семью и ту забудешь. Глядишь на нее и только что не крестишься. Лети, мол, роденькая. Только поработай как следует. Уж сколько из-за тебя здесь уро-

дуюсь. Сколько от себя отрываю и тебе отдаю. Взлетит только... А оно, бывало, шарах!.. И на куски разлетается. И все сначала начинай.

...Я про Главного еще не рассказывал? Вот, скажу тебе, был мужик! Таких только там и увидишь... Главным-то он не сразу стал, конечно, а когда нас в отдельную фирму выделили. Он у Сергея Павловича то ли в замах, то ли в помах ходил. Он его и выдвинул.

Я еще раньше слышал, будто какая-то сволочь над нами жужжит, а мы ее достать не можем. Нет, то еще до Пауэрса было... Зло всех тогда взяло: прямо ведь над головой летает, и ничего с ним не сделаешь! Вот тогда-то и стали организовывать фирмы вроде вашей. И задача была поставлена: создать такие изделия, чтоб сбивали все, что летает. И в самые короткие сроки. Лучшие кадры, лучшее оборудование, любые средства — все туда бросили. Ничего не жалели! А как же иначе? Иначе никак. Тут уж не до экономии... Лишь бы знать точно, что это изделие любой самолет, который с водородной бомбой на нас летит, наверняка собьет!

Вот такие дела были... Такая, скажу тебе, запарка началась, что не приведи бог еще раз пережить... Мы-то ладно, начальству доставалось, вот кому. Уж сколько их у меня на глазах сменялось — не перечесать... Кто удерживался — тот, глядишь, Генеральным конструктором стал или там академиком. А другие не вытянули... Как тот, Алексей Витальевич, помнишь, рассказывал? Ну вот. Не всякий выдержит, известное дело...

Только такие, как Главный, и устояли. Здоров был, как комод, голова — вот такая, шапки только на заказ шил. Выпить тоже не дурак был, но чтоб себя потерял когда, такого не помню... И чем-то на Сергея Павловича похож был. Подражал ему, вернее.

Этот зря руками не размахивал. Этот как отрубил влоб раз, хоть министру, хоть маршалу, да при всех, хоть стой, хоть падай. Я с ним столько лет на полигоне прожил. Так он мне там много чего порассказал.

Работал он после войны на одном авиазаводе. И сконструировал там привод для пулемета, что в хвосте самолета стоит. Раньше туда специально стрелка сажали за турель. А здесь все управление у пилота в кабине. Только

следы по радиолокатору за целью и па кнопки пажимай. Поставил этот привод па поый сверхдальний бомбардировщик. Самый первый был, только-только сделали. И тоже в хорошую копеечку обошелся... Дышать на него боялись. Чуть не языком его вылизали весь. Все испытания прошел, все режимы полета отработал. А вот когда стал боевые стрельбы в полете вести, что-то с ним случилось. В «штопор» сорвался и я землю со всем экипажем. И выпрыгнуть никто не успел. До самой земли все старались его вырывать да посадить...

Стали расследование вести. Высокую комиссию собрали и все бумаги, как положено, все факты и все, что от самолета осталось, собрали. Только что тут скажешь... Каждый выгораживался как мог.

Так и получилось. Когда самолет в «штопор» сорвался? Во время стрельбы из хвостового пулемета. Ага... Вот тут и копей. Раньше-то, пока не стреляли, все нормально прошло... Так в выводах и записали: вероятной причиной катастрофы, дескать, послужила недостаточная отработка гильзоотвода хвостового пулемета, в результате чего рулевые тяги были заклинены попавшими под них гильзами. И вот такое заключение наверх послали. Оттуда его сразу же вернули. Что, мол, значит «вероятной причиной»? Скажите точно и определенно: кто виноват? Тут вся комиссия вразнос пошла. Совесть-то у многих заговорила. Одно дело — самому выкрутиться, а другое дело — своему же товарищу ножку подставить. Уже слово «вероятной» убрали, а подписывать все равно никто не хочет. И так и сяк это дело склоняли... Да и как тут определенно скажешь? Главный чувствует — дело керосином запахло. Со всех сторон уже обложили. Только не на того напали... Он письмо написал. Теперь уже на самый верх... Если, мол, виноват, то меня следует расстрелять. Но чтоб с пользой погибнуть, прощу при последующих испытаниях поместить меня в хвосте испытываемых бомбардировщиков без парашюта и с кинокамерой. Чтоб, таким образом, заснять работу привода пулемета и гильзоотвода в полете и том самым подтвердить или опровергнуть выводы комиссии. И разрешили ему, что ты думаешь... А то уж собрались весь привод снимать и снова туда стрелка сажать. Оставили все как есть.

Раз сорок взлетали и садились. Главный говорил, что половину своего веса он там оставил. Его плечки потом целый месяц анализировали. Приняли самолет. Вместе с приводом. А на прежних выводах комиссии кто-то напи-

сать уже успел напскосок резолюцию... Так эта резолюция, Главный сам видел, была перечеркнута синим карандашом, и спппм же было написано: «Дать ему мою премию».

Я к чему все это тебе рассказываю? По телевизору или в газетах только и видишь: космические корабли летают, стыкуются там, исследования всякие проводят. Вроде как ковры-самолеты. И уж на Марс собрались лететь. Вроде как ничего не было — и вдруг все само собой, по шучьему велению, образовалось. И все идет как по маслу. Верно, как по маслу... Это сейчас как по маслу. Да и то... И заводы — посмотришь: дворцы стоят. Шапка с головы валится, как паверх посмотришь, глазам больно делается, так стеклами отсвечивают. Красота! Только чем выше дом, тем глубже фундамент, верно? Вот, по моему разумению, и во всем так: чтобы выше подняться, глубже копать надо.

Я вот, к примеру, балет не люблю. Не понимаю его по серости своей. А у меня племянница в самом Большом театре танцует. Не заглавные партии, как она говорит, нет. Фей каких-то изображает. На одних пальчиках, как бабочка, порхает. От силы час-полтора всего-то на сцене. Но вот посмотрел я раз, как она работает... Откуда у ней, бедной, мужичьей выносливости только берется, вот что удивительно! До седьмого пота ведь себя гоняет, чтоб часок попорхать потом. Совсем другое отношение у меня к балету после этого появилось. Не понимаю, нет, а вот уважение к ним, к работе их сразу почувствовал.

Вот я и думаю... В любом деле, в любом достижении вся ценность в фундаменте заложена. Когда только узнаешь, почувствуешь, что за фундамент в земле лежит, тогда только и цепу поймешь настоящему. И кораблям космическим и всему прочему... Ну летают. Ну будут летать еще дальше и выше. Но всему привыкнуть можно. А вот ты покажи, коль вялся, все как есть покажи, как до этого космоса одни на кораблях летели, а другие на карачках добивались и чего все это стоило. Да не в деньгах... А в поте и жвизнях. И не бойсь. Поймут, увидят, что это за чудо такое! А то — как в скалке... Верно я говорю? И вроде нового ничего не сказал, так? Вроде всем все давным-давно понятно. Так-то так... Сейчас все грамотные...

Ладно, дело прошлое... что уж теперь... Отвлечся опять, вот черт! Ну ты внимания не обращай, ты слушай, что было.



Прпехали, значит, и начали свое изделие проверять. Да. И начальство в панику. То то не работает, то то не в допуске, то другое. В дороге, пока тряслись, все регулировки в полетели. И вообще. Здесь ослабло, там отошло, а тут по коштачит. Машина сложная, капризная, только-только слепили на колеске к какой-то дате... Специалисты эти только плечами жмут. Каждый ведь по своей части. А тут все завязано в один узел. Отчего да почему, сразу и не поймешь. Или, понимаешь, электрика не срабатывает из-за протехники или пневматика не фурычит из-за механики. Что делать-то? Хоть назад вези. Или, наоборот, весь завод сюда гони. Таких, кто с понятием, ну двое-трое от силы, кто сообразит, где подтянуть, а где ослабить... А что они или могут? Изделие-то здоровенное, приборов вон сколько, за всеми не уследишь вдвоем-то... Ладно, говорю, дай-те вам его. За сутки в норму приведем. Да вы что, орут, такая ответственность, такой риск, а вы не аттестованы еще, то да се!.. Да понимаем, говорю, и про ответственность, и про риск. Только делать что? Звонят на завод. Алексей Витальевич им: Сидоров-то? Этот сделает. На мою ответственность. Заказчики переглядываются. Им что. Ты предъяви им в полной кондиции, а кто и как — им без разницы. Ладно. Делать так делать. Мы с Рыжым больше по электрической части, а Ерфиллов с остальными по механике.

Гляжу — за Рыжым-то не утонишься. И там подкрутит и сям, и на прибор прибежит посмотрит, и обрыв найдет, и сам же подпаяет. Во кадр, думаю. А сам только крикчу да поддакиваю с умным видом. А он мне еще экзамен устроил. В схему тычет. Как, мол, скажи ему, эту цепь прозвонить? Ведь знает, паразит, только вид делает. Как, говорю, ее прозвонишь, если она разомкнута? Так она ж через реле, говорит, разомкнута. Подай на обмотку +26 и звони.

Эти, которые с понятием, нижеперы-то, посмеиваются, на нас глядя. Попачалу. А потом не до смеху им стало. Самы порой раз обмозговать не успевали, а Рыжий уже все находил, что и как.

Я вообще всегда их и потом сравнивал. Кто лучше. И до сих пор не пойму. Каждый хорош-то. Но все равно что-нибудь да не так. На спор как-то стали мы точить пробки для керосипа. Это, если знаешь, по высшему разряду работа. Керосин-то где угодно протечет, верно? Ну вот.

Сашка Горелов самый первый свою пробочку притер.

Потом я. А Рыжий самый последний. У Ерфилова через два часа потекло, у меня через четыре. У Горелова и на другой день сухо, хоть белым платочком проверь. Ну а у Рыжего потекло сразу, как из худого крапа.

Ерфилов, смотрю, насущился весь, инструмент швырнул, будто он в чем виноват, и ушел в курилку. А Рыжему хоть бы что. Нужно мне больно, говорит. Я и не хотел. Скучно, мол, пробки эти притирать. Он такой и сейчас остался...

Если что сделать, то лучше Сашки вообще никто не мог. От души работал. Да и Ерфилов тоже. На Степаныча я всегда как на себя. Сашка-то нет-нет да «протечет». Придет на работу, морда красная, глаза бегают, по чем хорош был — всегда признавался. Ты, говорит, Алексеич, мне чего попроче дай. Не в форме я, мол. Завтра все путем будет. А сегодня — извини.

Рыжий любил что поинтересней, где психнуться как-то надо. Сам, глядя на меня, приспособлений себе надевал, да таких, что Николай Иванович увидел как-то и за голову схватился. Вы что, говорит, ребята? Домушничаете, что ли, в свободное время? Этим же любой замок открыть можно. И ведь как в воду глядел. Но про это потом.

Словом, сделали мы все. Ну не за сутки, конечно, а за неделю. Да. Отработали мы изделие как часы, все только рты разинули. Ну и ну. Ай да Сидоров. Мне, помню, сам маршал руку пожал. А Рыжего заело. Он-то больше всех, конечно, расстарался. И самое ответственное, можно сказать, да тонкое... Что, Алексеич, говорит, теперь неделю руку мыть не будешь? Вот такой, да... Ну а там еще изделие и еще. Вызывает меня начальство. Сергей Алексеич, говорит, надо. И срочно. Это последнее. Ладно. А потом еще одно... И опять вызывают. И опять последнее. Да вы что? — говорю. Да мы ж отсюда так и не уедем никогда. Как я своим скажу? А кто, спрашивают, кто отработает? Это они меня спрашивают. Ага. Смотрю я на них, и обидно стало, ну хоть плачь. Да не за то, что на нас все взвалили. Это уж как водится... Кто тащит, на того и наваливают. Нет, я о другом подумал. Что ж вы, думаю, вчера еще меня и вдоль и поперек строгали за мою бригаду развалившуюся, один Алексей Витальевич поддерживал, а теперь что? Вроде как ни в чем не бывало? Вроде как так и задумано было... Ладно, думаю, что теперь считаться. Делать так делать.

Ничего им не сказал. Махнул рукой и ушел к своим. Так и так, говорю. Выходит, что, кроме нас, никому. Рымжий сразу, конечно, горло драть. Он теперь себя незамечным считал. Вообще долго я с ним еще мучился...

Попробуй ему, к примеру, не доплати. Что ты! Не приведи бог. У людей как? Ты ладно, мол, копая дело, потом глотку дери. А этот — нет. Чуть что не по его, сразу права качать. Машину бросит раскрытой, инструмент раскидает как попало — и к начальству руками махать. С ним у меня как-то уже потом случай такой вышел... Да... Ну ладно, раз уж начал... С этим делом там плохо было. То есть сухой закон в полном смысле. Как-то наши ребята съездили за сотню километров за сайгой. На машине. И привезли под сиденьем пару-другую бутылок... Ну, собрались мы у себя, вроде все свои, да... Сайгачину я запек с горячей картошечкой, с холодку-то вот сели, выпили по-скорому — мало ли кто зайдет... Ну, а как захорошело, разгорячились всякие пошли. Это уж как водится. А как стали рассчитывать, этот горлопан опять завелся: а почему столько? Тут я не выдержал. Тем более что давно уже не прикладывался и на хорошем взводе был. Забыл, говорю, за сухим законом, почему она пынче, родивая? И все из-за тебя, охламона. Как так из-за меня? — таращится. А вот так. Забыл, как из-за тебя изделие вовремя не сдали? А в другой раз чуть пуск не сорвали? А что, говорит, я один, что ли, виноват? Не ты, так другой. Не другой, так третий. Тот гайку недовернул. Тот при пайке соплю посадил. Третий рассчитал чего-то не так. А государству чего прикажешь делать? У него карман-то один. И тот не резиновый. Вот и приходится новые средства вкладывать, никуда не денешься. Чтоб таким, как ты, глотку заткнуть... А где их взять? Может, на молоко целу подпять, на ребятишках отыграться? Ты-то, я знаю, тебе чего... Только рад был бы. Только никто не позволит этого, ясно тебе? От тебя же, черт недоделанный, все зависит. На кого жаловаться-то? Вот так! И лучше молчи! И чтоб я не видел больше, как Сашка за тобой доделывает и убирает! Очень я разгорячился тогда. Не знаю, чего вдруг нашло. Говорю, а сам вроде со стороны себя слушаю, сам себе удивляюсь: ну Сидоров, ну даешь, откуда слова только берутся... Очень злой, помню, был. Тем более что давно не прикладывался. Только толку — чуть. С ним что говори, что не говори... Ухмыляется, рожу корчит и посмеивается: не психуй, Алексеич, прорвемся!

Но это я опять отвлекся. Сказал я это им, значит, а у них челюсти отвалились. Ерфилов Рыжему рот заткнул быстро, а сам головой качает. Что ж ты, бригадир, бригаду свою так подводишь-то? Это ж мы вообще отсюда не выберемся. Так-то ты о нас заботишься?

Ну, у него одна песня: бригадир, мол, никудашный. Ну что ж, говорю. Пишите заявление. Все по домам... Только потом пусть никто не плачет, если начнется, что опять одной голой ж..., как в сорок первом, танки пугать будем. Ага?

Ерфилов, смотрю, набычился весь, потемпел. А ты что предлагаешь? — говорит. Горбиться здесь? Без крыши, да всухомятку, да без бани, да без сортира? А другие пусть там в свое удовольствие прохлаждаются?

Другие не умеют, чего умеем мы, говорю. Их бы пожалеть, неумех, говорю, а ты завидуешь. А Рыжему, гляжу, больше всех невтерпех. Он, поди, уже отписал своей очередной: жди, мол, вот-вот буду...

Может, год еще, говорю, а может, больше, кто знает, здесь проторчим.

Так ты ж говорил сам, говорил вчера: последнее отрабotaем и двинем отсюда с песнями! Рыжий опять пасел. Последняя у попа жена, отвечаю. Не слышал, что еще серия на подходе? Одних телеметрических штук пять... Это начальство, чтоб нас не напугать, по одному добавляет. То это последнее, то следующее... А тебе свое соображение иметь не мешает. Так что вот так. Ну а пасчет баньки там или теплого сортира, тут я с вами согласный. На все сто. Вот и давайте. Сделаем себе и баньку, и сортир.

Чего-чего? — Рыжий аж привстал. Того, говорю, домик себе построим. С отоплением, с душем, со всеми делами. Да ты что? Панкратов, кажется, теперь встрял. Хочешь, чтоб нас совсем здесь закопали? Да нам тогда каждый скажет: вот и оставайтесь, раз уж корни тут пустили. Вот тогда заявления и напишем, говорю, я первый и напишу. Появл? Только никто нас держать здесь не будет. Опять же, кто на смену придет, рваться так отсюда не будут, дадут вам дома побыть. И еще спасибо за домик скажут. Ну? Вопросы есть? А почему мы? — опять Панкратов спрашивает. Вон тут строителей сколько. Начальству-то уже построили целый коттедж. Почему все мы да мы? А кто, спрашиваю? Удивляешь ты меня не знаю как. Добро бы этот молодой глухие вопросы задавал, а ты ж самостоя-

тельный рабочий человек. Кто сделает-то? Чужой дядя? А ты знаешь, кто этот чужой дядя? Ты. И Степаныч. И я. Ну, Рыжий еще не вполне. Это другие на тебя надеются, а нам с тобой падеяться уже не на кого. Мы не сделаем — никто не сделает.

Ерфилов рукой махнул. Ладно, говорит, хватит пусто-болоть... Завтра и начнем. После работы. А в выходные? — Рыжий подскочил. Опять без выходных? Там поглядям, говорю, пасчет матерпалу бы еще договориться... Думаю, не откажут, раз уж остаемся. И хватит, говорю, на сегодня. У меня от пачальства башка трещит, а тут еще с вами...

Домик мы этот отмахали будь здоров. И сейчас стоит. Кого хочешь спроси там про домик Сидорова. Улицу, номер не знают, а домик наш знают. Ну да, там теперь улица целая. Другие фирмы-то, на нас глядя, тоже строятся стали. И получше и повыше, а все ж мы первые...

И готовил я на всех. Кастриоль закунил, сковородок. Я и дома любил готовить. Жена, правда, обижалась. Ей тоже иной раз хотелось нас чем побаловать... Вот. А жили мы там колхозом. То есть дельги там, продукты — все в общий котел. Ну и другие тоже, на нас глядя, стали организовываться. И в каждом колхозе хоть один такой вроде меня кормилец был. Бывало, друг у друга кормильцев сменявали. А ушел кормилец — все, развалился колхоз, ешь всухомятку. К нам так Ермоленко потом пристроился. Сам вапросился. Возьми, говорит, Алексеич, язна у меня да гастрит с колитом. Только у тебя в гостях и отхожу. Општо с нашего завода был, с другого цеха. Взял я его. Что ж... Мужик толковый, работающий, хоть и электрик, слова о нем плохого не слыхал. А вообще-то просились многие. Наслышались про наши заработки. Но больше я — пшкого. Ниш. Мне со своим бы разобраться. А лишних я вообще терпеть не могу. И Главный тоже, это когда нас в его фирму перевели, к нам зачастил. А поест он любил. Не то слово. Потом уж вообще заказывать стал. Провел к нам в домик телефон и чуть что — звонит: Алексеич, как там пасчет пообедать? Ага. Бывало, с утра отправишь всех па техничку, сам у плиты в передипке, кастриоль кипят, сковородки сворчат, а тут опять звонок. Главный орет: ты почему там, почему не на месте, без тебя тут все стоит, работать никто не может, безрукие опи все у тебя!.. Так я ж обед, говорю, готовлю. Какой обед! Чтoб здесь был! Машину высылаю! Все! И трубку бросит. Чтo тут поде-лаешь? Огонь загасишь и в машину. За борщ свой люби-

мый он еще простит, а за изделие такого леща выдаст, что лучше не вспоминать...

А и то сказать: подобрел он, ребята говорили, как я его домашними обедами стал кормить, совсем другой человек стал.

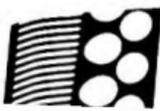
И сколько раз так бывало. Ночь просидишь в отсеке, провозишься, а утром опять домой. На всех готовить. Не успеешь закончить, а за мной машина. Давай-давай, орут, ждем тебя! И обратно на техничку везут.

Очумел я совсем от такой жизни. А Главный — ничего, ничего, говорит, я, говорит, Алексеич, скорей весь полгон разгонию, а тебя не отпущу. Хоть тут разорвись...

Но это я опять забегаяю. Только мы, значит, домик отстроили, а к нам смена едет. Ага. Мы в пожить-то не успели, обновить то есть. Даже обидно стало. Но ничего. Домой все же. Приезжаем. Денег — вот по такой пачке отвалили. За что про что — вообще непонятно. Аж в глазах потемнело.

Рыжий сдуру на такси в Ленинград поехал. А как дело было? Ехал-то он к поезду, да опоздал. Ночь где-то всю гудел, а наутро чуть очухался. Поезд ушел, а он сидит в такси, в тепле, музыка играет, а на улице дождь, а рядом Нинка его, а под сердцем пачка греет... Гонн, говорит, товарищ водитель, в северную Пальмиру. Плачу! Тот смотрит на него: пу ты, мол, сопляк, то да се... вылазь да расплачивайся. А как Рыжий пачку показал, так враз скорость врубил. Месяц целый, Рыжий говорил, там мотался, но только полпачки и истратил. Чуть не плакал, говорит. В рестораны его ленинградские не пускали, пока Нинка его в универмаг не загнала и не придела по-человечески. Да и потом вообще-то не очень пускали. Ему ведь капли достаточно, чтоб окосеть. Это он для виду кричит много, что, мол, сухой закон его замучил, а пил-то не больше паперстка. И то еще убежит на двор, а потом весь зеленый с глазами выпученными является. А потом как попохост так опять бежит...

Я вот тоже: домой приехал, а что делать с деньгами — не знаю. И вот, как Рыжий, чувствую — не истрату пока не успокоюсь. Молодой еще был, известное дело... Ну, пошла все четверо в магазин. Всего набрал, еле дотащил. А зудит все одно. В Сочи едем, говорю. Жена говорит может, не падо, Сережа? Я и то смотрю — что-то больн тихая опа да бледная стала. Ты что, говорю, как не паде да ты на себя посмотри, взмоталась вся. Поедем, в мор



искупаемся, винограду поедем, ну! И пацаны в один голос: на море, на море... Поехали в Сочи. Тогда там посвободнее было. Сняли пару компат. Купаемся, загораем, фрукты едим, в ресторанах кушаем. Люди и то косятся. Работяга вроде, а хуже напмапа. А мне, главное, истратить их поскорее, прямо пальцы жгут, будто чужие. Только наблюдаю — Гали моя все в тени держится. И вообще бледенькая какая-то. Сводил ее к врачам. Силой пришлось. Те переглядываются. Ее бы, говорят, в Кисловодск куда-нибудь... Ладно. Едем в Кисловодск. Там она повеселела вроде, но, в общем, все то же. Ну, думаю, в Москву приедем — всех профессоров пройдем.

А в Москве телеграмма ждет. Опять давай-давай... Мне бы задержаться тогда хоть на недельку. Самому к врачам сводить. До сих пор, вот, кажется, что, если сам сводил бы ее, все по-другому обернулось бы...

Я вот все думаю... Только и слышишь: вот у них там порядок, организованность, вот они там работающие. Не то что мы, допоухие. Непонятно только, как у нас вообще что-то есть. Возьми вот Рыжего. Ему бы с его руками да головой эту самую ихнюю организованность — цены бы не было! А с другой стороны, — может, он работал бы тогда не так, по-другому? Скучную работу он не терпел. Ему б что-нибудь такое, чтоб под лопатками чесалось. Поехали мы как-то отрабатывать стыковку изделия со стартом. Гнали нас в хвост и в гриву. Мол, там все готово, а вы тут колушаетесь. Приехали, помню, под Майские праздники. Сначала самолетом, а потом вертолетом. Чуть живые добрались. А нас там и не ждут. Их самих тут тоже — давай-давай, изделие везут, давно уже готовое, а вы тут колушаетесь, ничего не готово... Ну, как обычно.

Ладно. Пока начальство отношения выясняло, мы мало-помалу огляделись. Смотрю, а Рыжий уже какую-то патлатую обнюхивает. Вот кто на баб легкую руку имел! Жалели они его, черта, что ли... Куда ни приедем, пока туда-сюда, не успеешь повернуться, а у него уже все поварили, да официантки из офицерской столовой, да продавицы посяторговские знакомые.

Отпустил ее и к нам на доклад. Мол, и здесь мужики маются. Сухой закон, никуда не денешься. А так — прямо сейчас в офицерскую столовую. А уж там чем бог послал. Легко сказать, если после самолетов с вертолетами желудок папзянку выворачивается... Послоялись чуток, делать нечего, пошли. Приходим, и точно — расстаралась та

патлатая. Сначала мы помялись малеько, а потом ничего, чуть живые из-за столов вылезли. Начальство наше павстречу злое, голодное, а мы в зубах повыряем. Где ходите? — орет. Давай, Сидоров, на совещанье к командиру! Ну, пошел. А о чем совещаться-то? Старт-то не готов. Мы-то работать прилетели, а не совещаться. Приходим. Ну, а там как обычно. Сыр-бор. Все друг на друга валят. Никому неохота праздники на площадке встречать. Командир-кавказец ладошью рубапул: короче. Шахта есть, начинки нет. К празднику успеем? Штатский, главный, видно, стал пальцы загнать. Нам бы то, нам бы другое, нам бы пятое, нам бы десятое... Командир усмехается в усы. Застраховаться, говорит, хочешь, если не выйдет? Где ж я тебе сейчас возьму еще один трубопрокладчик? Скажи спасибо, что я тут в радиусе тридцать километров сухой закон пробил... А людей где возьму? Вот, на нас кивает, если товарищи с завода помогут, а так только солдат дать могу. Хоть целый батальон. Я и рта раскрыть не успел, а мой начальник вперед высунулся: конечно, поможем! Он поможет... Ладно. Первый дефь ствол в шахту ставил. А мы больше кабелями занимались да трубопроводами. Начальство повеселело, глядя на нашу ударную работу. Глядишь, и успеем. На другой дефь до обеда готовились платформу ставить. Поехали на обед. Гляжу: а где Рыжий? А он остался, Горелов говорит, а сам в сторону косит, не хочет ехать. Ладно. Првезжаем после обеда — что за черт! Где тракторист? Ни тракториста, ни Рыжего не видно. Пока туда-сюда, а часовой на лес показывает. Воп туда вроде пошли. Сказали, скоро будут. До почи ждали. Начальство на себе волосы рвет. Без тракториста платформу не подвезешь. Только спать собрались — и вдруг являются. Оба чуть живые — полдня по лесу блуждали, пока нас нашли. Они, видишь ли, в сельпо ближайшее бегали. Ну, там им три бутылки из подсобики и отсчитали. Прораб эти бутылки обнял. Все три. Аж под сердцем екнуло. И орет: так, мол, и так и к чертовой матери с площадки! Обоих! Завтра же! Рыжий, гляжу, побелем весь. На меня как на икону смотрит. Уж сколько раз его, черта, вырубал, привык, нахалюга! И тракторист, гляжу, дрожит, глазами хлопает. Самито, правда, трезвые. Мы рукой махнули и спать легли. Утром встаем, а Рыжий, гляжу, не шевельнется. Я его толкаю: вставай, обормот. А он как мертвый. И трясем его и усаживаем, а он мычит, головой только мотает и слова падает. А ужо вертолет, слышно, стрекочет. На нем было ве-

лено Рыжего нашего с оказией отправить. Так сонного и загрузили. Смотрю — и тракториста этого в той же кондиции волокут. Что за черт! Всю ночь, что ли, пыли? Вроде не пахнет. Приезжаем на площадку, а там вообще все непонятно. Все только руками разводят. Платформа-то стоит. В лучшем виде. Кто? Как? Только эти двое. Больше никому. И прожектор сами включили, и край подъемный, и трубоукладчиком платформу подтаскивали...

Двое? Никто не верит. Тут десяток за день не управится со всей техникой. А кто позволил? Кто энергию подал? Смотрят, а дежурный электрик на подстанции спит. И водкой от него несет. Где они эту бутылку припрятали — ума не приложу. Электрика к чертовой матери... Но платформа-то стоит! Все глазам своим не верят. Хоть сейчас изделие ставь и стыкуй. Начальник мой сзади за локоть щиплет: неужели твой Попомарев, а? Как это он сумел? Кто ж еще, говорю, не сама же платформа туда влезла... Вот так, а говорите... Самый ценный наш кадр. Как я теперь без него справлюсь, ума не приложу. А сам на командира поглядываю. Тот услышал, обернулся, грозно так глянул через брови свои кавказские, потом улыбнулся, пальцем погрозил. Вы мне бросьте, говорит, справитесь и без него. Чтоб к обеду изделие стояло. А этого пьянчугу вашего на пушечный выстрел сюда не подпущу! Да хоть бы пьянчуга был, говорю, а то видимость одна... Пробку пощокает — и готов...

А тут эту продавщицу сельповскую доставили. Боевая баба! Ей что генерал, что ефрейтор. Сразу заладила: у вас план и у меня план. Кой месяц без прогрессивки спжу. А как услышала его кавказский говор, враз язык прикусила. Он сказал как отрубил. Еще раз случится такое — к чертовой матери сельпо со всем содержимым свесу. Но потом он ничего, отошел... Больше нас не поминал. Все мы сделали в лучшем виде. И поставили, и подстыковали, и проверили. А когда ведомость составляли премиальную — я сам проследил, — Рыжего тоже не обделили. Какже могут быть обиды, если к празднику и отпрапортовали.

И все равно ведь доиграется! Рыжий-то. Уж сколько говорилось ему: берись за ум, берись за ум! Уж сколько я его, паразита, выручал. Одних телег на него больше пришло, чем на всех остальных. Там-то режим строгий. А ему хоть бы что. А работал как? Никакой серьезности. И балаболит, и балаболит! И зубы скалит, в других цепляет. Степаныча, правда, побаивался. Того не очень-то разыграешь.

У него рука тяжелая. Это Сашка все стерпит... Вот и приходится за ним доглядывать, как бы чего не пропустил. А он еще обижается... И ведь так и вышло, ведь как чувствовал! Изделие отработывали экспериментальное. Ох и вдовольное! Аппарат для него специальный из Москвы доставили. С хитрым замком, с сигнализацией. Такой замок, говорят, что диверсантам не позавидуешь. Ну нам это без разницы. Замок и замок. Раз закрывается, значит, и открыть можно. Проверяем мы изделие, все путем, все в порядке, вдруг один параметр не в допуске. Чуть не самый последний. Смотрим и так и этак. Николай Иванович по схемам покопался, говорит, что микромодуль какой-то не в режиме. А сам этот блок безразборный, отремонтировать нельзя, только заменить его весь.

Заказчики руками разводят: меняйте, мол. Легко сказать. Через неделю если только. Пока из Москвы пришлют. А им что? Это у нас копец квартала, у нас план этим изделием закрывается. Что делать, а? Рыжий, смотрю, загорелся. Вы, говорит, прикройте меня от них получше. А я попробую микромодуль прямо в блоке заменить не разбирая. Николай Иванович головой только покачал: авальтюризм, мол.

И сделал ведь, черт рыжий, что ты думаешь! Сам блок он не разобрал, только болты отвернул и из отсека чуть вытащил. Мы его окружили. Усердие изображаем. А заказчики тоже вид делают, что ничего не видят.

Так Рыжий — подумать только! — с другой стороны платы все двенадцать ножек у микросхемы выпаял, а потом отмычками своими, как Николай Иванович скажет, сбоку через дырку в плате вытащил. И через нее же другую просувал, поерзал ею по плате вверх-вниз, пока ножки в дырочки свои не вошли. И запаял. Все двенадцать. Вот так. Знай наших. А то — нельзя. Кто не может, тому и нельзя. Николай Иванович руками только развел: ай да Виктор! Он один его по имени звал. Зовет заказчиков. Давайте, говорит, еще раз проверим. По-моему, мы на приборе поль не выставили. А сам улыбается хитро и на них смотрит. А те с серьезным видом кивают: да, мол, конечно, давайте перепроверим.

Поль выставили, дали команду — стрелка стоит как влитая, прямо в номинале, не колыхнется. Николай Иванович говорит тогда: может, на другом стенде проверим, мало ли... Нет, нет, говорят, этот стенд проверенный, на

надо. А друг на друга и не смотрят. И хоть бы улыбнулся кто. Расписались в журнале — и ходу из технички.

Николай Иванович говорит: вот так, мол, учитеесь, ребята, все видеть, но не все замечать.

То есть изделие сдали заказчикам все честь по чести. Тридцать первого числа. Начальство нам на радостях сакопмленный спирт выделило... Ты только не подумай, чего доброго, что мы его там капистрами сэкономили. Нам в год раз присылали строго по норме для промывки контактов.

Ребята, бывало, контакты протирают и смеются: не много ли чести, чтоб каждый вот так тереть? Может, лучше самому стакап принять, потом дохпуть на все разом — и хорош, пусть просыхают.

А так — сухой закон, по всей строгости. Ну вот. Рыбки паловили, почистили, пожарили. Сайгачью ногу я в золе запек. Все в лучшем виде. Все довольны. Да... особенно Витька Рыжий расчувствовался. Ты, говорит, как отец пам родной и как мамаша вроде. Я только тебя и Николая Ивановича здесь уважаю. И целоваться полез. А под конец, когда уже расходиться стали, на рыбалку, помню, собирались, подходит ко мне опять, глаза в сторону, то да се, бормочет... а что, мол, к примеру, будет, если в изделие посторонний предмет попадет? Я сразу почувал недоброе. Говори, черт рыжий, трясу его, чего натворил? Сознался наконец. Как родному одному тебе скажу, вздыхает. Ключ он семнадцать па двадцать два в приборном отсеке оставил. Накинул он этот ключ па гайку снизу, когда блок па место ставил, чтоб другим ключом сверху затянуть, да так и забыл его там. Только когда уже весь инструмент собрал, хватился. А изделие уже проверили, опломбировали и прокрутить успели на наличие посторонних предметов. Так ключ и не звякнул. И ведь сколько пароду, и заказчики эти, носы в этот отсек совали! И хоть бы кто заметил. Рыжий-то язык и прикусил. Попадет ведь, если скажешь. А так не скажи, и не узнает никто. От изделия-то потом и вилтика не сыщешь...

Я как услышал про такое дело, чуть голоса не лишился. Да ты не переживай, Алексенич, это он меня утешает, все нормально будет. Его там будь здоров как затянуло.

О чем, скажи, с дураком говорить? Уж, кажется, сам понимать должен. Ведь как начнутся эти вибрации да перегрузки, как начнет этот ключ электропику молотить... А с другой стороны, что делать-то? Это еще хорошо, что сказал... Что всем нагорит, это еще ладно. И что целому

заводу квартал не зачтут и тысячи людей без премии останутся — это полбеды. А вот что пуск сорвем — это да. Бывало такое. Не часто, но бывало. Пуск такого-то числа, в такое-то время. И точка. И попробуй не уложись. Что, почему — не важно, не нашего ума дело. И чтоб из-за какого-то разгильдяя все сорвалось! Вот так стою и думаю: а сам-то, сам куда глядел? И что теперь делать, ума не приложу! Время позднее, изделие опечатаю и под охрану сдано. Не станешь же часовому втолковывать что да почему. Хоть сам туда лезь. А только и остается что на преступление идти. Пулю схватить — туда тебе и дорога, будешь знать, как разгильдяя покрывать!

Я Витьке говорю: молчи, мол. Никому ни слова. А сам на техпичку побежал, в караул. Прибегаю, а там пачальником капитан знакомый. Да я их, считай, всех там знал. И меня знали. А с этим я вообще вместе воевал, в одной дивизии. Я в разведке, а он в артиллерии. Рассказал я ему все начистоту. Как хочешь, говорю, а к изделию меня допуст. Я только ключ этот, будь он неладен, на глазах твоих вытащу — и все нормально будет.

А ему вот-вот на пенсию идти. Ему только таких вот приключений не хватает. Коснется на меня подозрительно и к запахам моим багнетным приплюхивается. И головой качает. Нет, Серега, вздыхает, и не проси. Ничем тебе не могу помочь. Часовые знаешь какой инструктаж получили? До утра никого к ангару с изделием не подпускать. Кто бы ни был. И вообще — действовать без лишних предупреждений. Вот как. Изделие-то тебе лучше знать какое. У меня там сейчас Хабибуллин стоит, а смеют его Шарипов и Нечпоренко. Эти инструктаж слово в слово выполняют. Я и сам туда лишний раз сходить боюсь. Так что идти спать, говорит, утром голова свежее будет, разберетесь. И замолк. Он всегда такой был. Пока слово вытянешь — сам упариться. Да нельзя до утра, горячусь. — утром пуск назначен. А ему хоть бы что. Ему хоть лоб расшиби, он свое твердить будет: хочешь — обижайся, хочешь — нет, а не могу. Устав есть устав. Махнул я на него рукой. Артиллерия, одним словом, говорю, на все точные целеуказания пужны. Никакой инициативы. Здорово меня, помню, разозлила эта его непробиваемость. Ладно, про себя думаю, сам справлюсь. На фронте еще не такое бывало... Ну, поспавши, прощаюсь, пойду спать, раз такое дело. Вот-вот, кивает, только не обижайся. Какже могут быть обиды...

Из караульного, помню, вышел, прожектора всю све-

тят, у часовых под сапогами камешки хрустят. А я — раз, пока никто не видит, под проволоку и к ангару пополз. Под парами еще был, известное дело. Только чем дальше ползу, тем больше с меня этот хмель сходит. И уж кляну себя и в бога и в мать. Куда лезу, а? Да на черта мне это нужно было! Да пропади она пропадом, ихняя премия!.. Хорошо бы работал — без премии бы не сидел!.. А врежет сейчас Хаббулин из «каланинкова» и в отпуск на родню поедет за хорошую службу. И уже, смотрю, что назад поворачивать, что вперед ползти — один черт. И так всю дорогу — плачу, а лезу... А тут вдруг прожектора погасли. Ползу дальше. Дополз кос-как. Замок этот — плевое дело. Отмычки свои, как Николай Иванович говорит, достал и открыл. Залез в этот ангар. В темноте, на ощупь, брезент откинул, изделие вскрыл, люк спял и только тогда спичкой вовнутрь осветил. Увидел этот ключ треклятый, сверху его и вправду не сразу заметишь... А уж светать стало, я заторопился и звякнул, когда вытаскивать стал. Мппут десять лежал, дышать боялся. Потом загерметизировал все, как положено, залючил, пломбу заказчика на место приладил — все как было. И, чувствую, спл уж пикаких пет. Залез под ступень, брезентом другим накрылся — и меня нет. Вмиг заснул. А днем меня подпхали. Что, мол, за дела? Как вы сюда попали? Так и так, говорю. Сам, мол, по своей воле. Смотрю, и бригада моя вокруг собралась, глаза на меня таращит. А изделие пет. Не слышал даже, как вылезли. Да ты как сюда попал? — тоже изумляются. Мы ж тебя обыскались! А у Рыжего, гляжу, морда как самовар спяет. Алексеевч, орет, да ты ж все проспал! Пуск-то уже был! И все в лучшем виде прошло. Я ж говорил, что все нормально будет, а ты чего каркал? Такую красоту проспал, эх ты! Разоряется. И рассказывает мне, чего видел: вначале, знаешь, будто звезда падать стала, а потом будто солнце вспыхнуло. И пет звезды. А мы как раз уху пробовали из судачков. А мне, спрашиваю, ухи-то не оставили? Да какой там! — машет. Ты что... день уж прошел. Но мы завтра еще сохнем. Ты только смотри не проспай, и по плечу меня хлопает.

Значит, интересно было поглядеть? — донатываюсь. А он, сукня сын, еще скалится. Такого в кино, говорят, не увидишь. Я было развернулся, да ребята меня за руку схватили: за что, мол, ты его так? А за то, что ухи мне не оставил, говорю. И ключ этот из кармана выхватываю. Сейчас, сейчас, приговариваю, сейчас тебе еще не такие звезды привидятся! Ребята меня опять схватили: да ты что, в са-

мом деле, говорят, на него-то накинуся? А он ключ свой увидел, рот разинул — и ны с места. Я было замахнулся, потом бросил ключ на пол, сплюнул и прочь пошел. А он за мной сразу побежал: Алексенч, только не гоши, шест, лучше дай как следует, только из бригады не гоши. А я только твержу: уйди, мол, по-хорошему, уйди от греха...

Я в курилке посидел чуток, в себя пришел и снова в караул направился к тому капитану. А он на меня глядеть не хочет. Слышь, говорю, покажи ты мне этого самого Хабидулина. Охота мне на него взглянуть. А вон, говорит, видишь, у окна чернявый такой, автомат чистит? Теперь видел? Скажи спасибо, что он тебя не впдел. Мне спасибо скажи!.. И нечего на меня тут глаза пялить — орет. Я ж как знал, как толкнул меня кто! Минуты не прошло, за тобой вышел. Гляжу — точно: ползет разведка, инициативу проявляет! Лысина под прожекторами, как луна, сияет, а ректификатом вообще за километр песет. И орать уже вельзя, в назад тебя тащить поздно, сам еще под пулю попадешь. Счастье, что сигнализацию да прожектора отключить успел. Хорошо, он еще там, за ангаром, шел... Я к нему, туда кругом обежал и минут сорок у него противопожарное оборудование проверял, пока ты там скребся... А сам злой еще дальше некуда. Иди отсюда, говорит, по-хорошему. Я, понятное дело, только руками развел. Что тут скажешь... Ему, оказывается, уже приказано было караул сдать и под домашний арест до выяснения. И меня потом куда надо вызвали. Пиши, говорят, объяснение. Написал все как есть. И сразу к Сергею Павловичу кинулся. Он все бросил и прямо к начальнику гарнизона поехал. Еле отстоял капитана, а то уж совсем трибуналом запахло. А Витюля наш только на вторые сутки заявился. Где он шляется — черт его знает! Отощал, гляжу. Бумажку мне сует какою-то мятуною. А там заявление — по собственному, мол, желанию. Держать-то я вообще никого не держу. Не в моих правилах. А тут озлялся. Ты, говорю, мне сначала весь инструмент сдай как положено и халат. А пока не сдашь, я с бумажкой твоей знаешь куда схожу? Тащит инструмент. А там одного ключа не хватает. Того самого. Где, спрашиваю, опять, что ли, в космос наладил? Молчит, мнется и глазки опустил. Потом, гляжу, из кармана достает. Он, видишь ли, хотел его себе на память оставить. Ну, тут я вообще из себя вышел. Чуть на месте его не пришиб. А ну положи на место, ору, и почистить мне его весь как положено! И халат мне накрахмадь, чтоб стоймя стоял! Оп-как пуля выскочил. Да...

Считай, лет двадцать прошло, даже больше, а до сих пор вот как вспомнишь, так вздрогнешь. Хоть на войне и полнее бывало.

Ну а потом... лучше уж не вспоминать... Третий месяц, помню, сидели мы там безвылазно. Изделие за изделием. Но все вроде гладко проходили. Надежные, как часы. Научились, ничего не скажешь...

И вот сплужу как-то у стенда, тумблерами щелкаю. Все в норме, все в допуске. И вдруг орут: Сидоров, телеграмма! Какая еще телеграмма, думаю, тут оторваться нельзя, совмещенная проверка все же и заказчик тут же, не отойдешь. Потом скажет: все сначала проверяй. Опять орут: Сидоров! Отвяжись, кричу, пока не копчу, не отойду.

А ко мне сам Главный идет с той телеграммой. Сергей Алексеевич, говорит, ты оторвись, прочти... И кому-то рядом вполголоса: а ну быстро мою машину. Не помню уж, как меня в эту машину усадил. И на аэродром. Что ж ты, Галля, думаю, хоть бы дождалась. Продержись, мне только бы успеть. А смерти я тебя не отдам. Приезжаем, а самолет на Москву уже улетел. Следующий только утром. Поедем, говорят, ночь переспишь, утром привезем. Я им не помню что ответил. Может, и ничего. Иду, ничего не вижу. Лишь бы подальше от всех. Сел на какой-то бугорок. Ночь всю просидел. Звезды, помню, здоровенные, как осветительные ракеты. Даже шинели будто. А так тихо было, без ветерка. Только под утро теплым дыхнуло в лицо... А может, показалось...

В Москву прилетел, да уж поздно... Той же ночью и умерла.

Что делать, как жить? — ничего не знаю... Что ж, думаю, такое, а? Ведь за пять минут мог бы долететь, ну за десять! На этих своих изделиях, будь они трижды прокляты! Для чего я их сделал столько? Ведь не к человеку чтобы прилететь да спасти, а наоборот совсем, так ведь выходит? А пропади они пропадом! Сколько ж можно... Жизлито, считай, твоя кончилась. Вон сыны без матери остались. Без отца росли, а без нее теперь остались. Нет, думаю, хорош. Ужели не заслужил? Смерть ведь как амея! Прячется до поры, будто и нет ее вовсе, чтоб вообще про нее забыли. А потом как ужалит! И не понять, для чего жил, даже подумать не успеешь. Назад уже лечу, а себе одно твержу: хватит! Как заведенный... Прплетаю — и к Главному с заяв-

ленем. Главный ко мне выбежал, обе руки тянет: что ж ты мне раньше ничего не сказал? Что ж ты молчал? Да я б в Москве всю медицину на ноги поднял!

Молчал... Если я сам от нее слова добиться не мог. Все хорошо, говорит, даже лучше, устала просто. А мне и приглядеться некогда. Туда-сюда — и назад лечу...

Вы, говорю, заявления лучше прочтите. Читает, гляжу, хмурится. А ребята, говорит, твои как же? Это про которых спрашиваете, голос повышаю, про тех, с кем я, как нянька, здесь столько лет возился, про тех, кто сейчас одни дома, без отца и без матери, у соседок живут?

И про тех, отвечает, и про других. Мне б твои заботы... У меня даже таких вот нет... Вот что, Алексич, вези-ка ты сюда своих пацанов. В лучшем виде устроим. Вырастим, выучим, а? Теперь-то здесь жить можно. Вон молодые-то лейтенапты как расплодились, видал? А бригаду свою не бросай. Ты за них тоже отвечаешь. Уж коль собрал их да столько лет здесь продержал... Тем более сейчас. Вовремя понимаешь, ты вернулся. Уж хотел тебе телеграмму давать. Изделие одно цужко отработать. Очень срочно. А они все срочные, говорю, не помню, чтоб не срочные были.

А это самое срочное! — кричит, а сам кровью палец, набычился. Вот и возитесь с ними сами, я тоже па крик перешел, а с меня хватит. Деэртировать вздумал! — орет и кулаком по столу. А это как хотите, говорю, всё, будет... Укатали сивку крутые горки. Ну и... катись к такой-то матери, орет, давай, где твоя писулька?! Схватил заявление, расписался, а у самого пальцы дрожат, и мне швырнул. Спасибо и на том, говорю. И — к дверям. А ну давай его назад! Я там дату не поставил... Ты ж две недели должен отработать? Ну вот. А я еще на две недели вперед дату поставлю. Понял?

Тут Николай Иванович заглянул: что, мол, за крик? А вот, Главный говорит, любуйся, бежать от нас вздумал. И в такой момент! Николай Иванович головой покачал, вернул мне заявление, молчит, па меня смотрит. Вас можно понять, говорит, такое горе. Даже не знаю, что и посоветовать... Но, может, действительно лучше, чем мы, никто вас не поймет и не разделит ваши переживания. Ведь вас здесь все знают и любят. Что вы будете делать сейчас в Москве? Сыпovej ваших мы срочно переправим сюда. Понимаете? Вам сейчас надо быть среди близких людей, заботиться в работе, не знаю, что вам еще сказать.

Главный говорит: да все верно, Николаша, ты ска-

вал. И за плечи меня обнял. Уж я-то, Серега, тебя как родного люблю. Ты уж не обращай внимания, что я тут орал. Обидно за тебя стало и страшно. Ну куда ты сейчас пошел бы? Куда ты без нас? Сядь лучше, уснокойся... Нужно это, понимаешь? Как некогда. Сергей Павлович из Москвы авопил. Через сутки сам будет. И чтоб все готово было. В Кремле, говорит, спать не будут. А дел невпоровот... Дайте ему очухаться, Николай Иванович усмехается, — что вы его сразу в оборот взяли? Да погоди ты, не мешай! — Главный вскинул. Тебя вообще кто сюда звал? И опять за меня взялся. Перестроить, понимаешь, надо успеть гпровертикали и гпрогоризонты. Магнитные усилители и электронные. Всю схему опять переделали. Блок радиокоррекции еще бы перестроить... Что еще? — у Николая Ивановича спрашивает. А я уж и не слушаю. Что они мне там говорили — не знаю. Такое пашло... Выходит, никуда не денешься. Делайте, думаю, со мной что хотите. Раз уж попал сюда, так что теперь... А Главный мне все талдычит про изгибные колебания да про белые шумы... Хватит, говорю, уговаривать-то. Кого хочешь ведь уговорите... Сделаем, раз надо. Но потом все. Распрощаемся. А потом все, Главный говорит, потом, может, и я заявление напишу. Старушку себе подыщу, прямо с шуками чтоб была.

Оказывается, два пуска сорвалось. Из-за копча стабиллизации, как я понял. Крутило изделие на старте, и вообще не туда летело. Пока умные головы не додумались про эти самые белые шумы в электронных усилителях. Тогда еще лампы стояли... А Главный за бортовую аппаратуру отвечал. На него и навалились. Его Сергей Павлович сам отстоял и на академиком своих нажал, да так, что они всю эту пауку про белые шумы выдали... И еще на своей машине смоделировали и проигралл.

Собрал я к вечеру бригаду возле изделия. Ребята на меня во все глаза смотрят, будто видят впервые. Николай Иванович им опять про то же толковать стал, да Главный его сразу остановил. Некогда, говорит, ликбезом заниматься, нечего им мозги засорять. Алексеч со своим орлами все сделает как надо. Верно я говорю? И по плечу его хлопнул. Николай Иванович даже заикаться стал. А я считаю, говорит, что человек лучше справляется со своей работой, когда работает сознательно, зная цель своей работы. Главный усмехнулся: ты считаешь... а я знаю! Что каждый должен знать до тонкостей свой участок и не соваться в чужие дела. И хватит об этом. Пока я здесь команду, будет так,



как я считаю, понял? И вообще, Николай Иванович, поезжай к себе в гостилицу. Поезжай... Отдохни. Ты нам завтра будешь нужен с ясной головой и не такой дерганый. Ясно? А то у меня сейчас с ребятами предстоит крутой, мужицкий разговор. Не для твоих ушей. Завтра в семь полз-полз чтобы был здесь. Все, разговор с тобой закончен. А мы отсюда уйдем, только когда сделаем, ясно?

И к нам повернулся. Что, мужики, не нравится? — спрашивает. Еще хуже по поправится, это я обещаю... А сам буд-то от удовольствия руки потирает. Кровью харкать будем, а не уйдем. И смотрит так, как только смотреть уметь, когда в кураже был. Потому что все, дальше уже некуда нам с вами отступать. И всех нас к чертовой матери разогнать надо! Не умеем работать — вот что я вам скажу. Тут Рыжий, как всегда, в бутылку полез. А мы при чем? — спрашивает. Конструктора напутают, а мы за них расхлебывай? И другие загомонили: как, мол, так, всегда все делали как надо. А Главный еще хлеще: дерьмо вы, а не слесари. Халтурщики. За что вам только деньги платят! И еще по-материному добавил. Да я бы, говорит, разогнал вас давно, безрукое! Тут уж и меня заело. Тоже, помню, раскричался, руками махать стал. Потом плюнул и к выходу повернулся. И ребята за мной.

А Главный как гаркнет: стоп! Я еще никого не отпускал! Ты что, Алексеич, на фронте тоже, если ротный матюкнет, из окопов уходил, а? А ну кто мне скажет, почему мы немца победили? Ну-ка ты, Пономарев, у тебя глотка самая луженая, скажи, почему мы Гитлера раздолбили? Рыжий почесался, на меня смотрит. И замямил: ну, да ну, да это, да еще это... Верно, Главный говорит, как с трибуны, по писаному выступаешь. А кто еще скажет? Ну-ка, ну-ка? Кто еще мне одну главную причину назовет? Молчите? Тогда сам скажу. Разозлились мы, русские, очень. Да не на немца... На него чего злиться. На себя! Французы и англичане на Гитлера очень злы были, да что толку. На себя мы разозлились, вот в чем дело. Верно я говорю? Алексеич, верно я говорю? Вот так... Помнишь, как в сорок втором каждый волком выл от злости этой? Да что ж это такое?.. Да сколько ж можно, а? Чтоб этот фриц нашего русака пересилил? Да чтоб фашист этот нашего большевика в дугу согнул? Да сколько ж можно? И вот когда каждого — и кто в окопе сидел, и кто в штабах операции разрабатывал, и кто в тылу танки и самолеты строил — злость такая проняла: да ну-ка мы лучше «мессера» истребитель не

сделаем? И сделали! И лучше, и больше. Вот так, мужики. Так уж мы, русские, устроены. Здорово разозлиться нам надо, чтоб дело большое сделать... Мне сейчас злые нужны. Очень злые. Не па конструкторов и ученых. На себя! Это ж надо сколько миллионов, странно сказать, мы здесь зара сожгли! Вы оно лежит. Ждет вас! Неужто не одолеем?.. Ну, завел я вас, а? Или еще добавить? Видели, как ваш Николай Иванович задержался-то? Вот так... А не сделаем — самое нам с вами место в артели инвалидов. Детские соски делать. Такие дела, мужики... Очень важно это. В Кремле сегодня спать не будут. Это я вам точно говорю. Или мы америкашцам пос утрем, или... В общем, все, за дело...

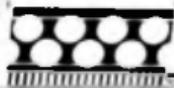
Я его эту речь до сих пор помню. Как и те двое суток. Жара стояла, как назло. Решили работать прямо через люки, вниз головой, не разбирая изделия. Время поджимало. И сейчас иной раз, видишь, почью спишься. Провода, провода всякие, разноцветные, пайки, катушки, лампы эти... Так во сне и работаю. Этот проводок пинцетом отожмешь, пачка блеснет, ты ее паяльничком аккуратненько, а соседские проводки оправкой пластмассовой отгородишь, чтоб, не дай бог, изоляцию не поджечь или распаять... И вот видишь вниз головой, в глазах круги красные, лицо кровью наливается, дышать тяжело... А вылезти нельзя: ждешь, когда олово потечет, чтоб сразу проводок освободить. В голове шум волнами, и вот видишь — олово уже задержалось, заблестело, тут не зевай, смотри в оба, не дай бог на соседние пайки потечет... И все, вся работа насмарку. Потом вылезешь, тампоны из ушей, носа вытащишь, легче дышать сразу делается... Тампоны зачем? А как же! А если пот или кровь из носа туда, на контакты, капнет? Электроника штука тонкая. Одна капля — и все, вся работа насмарку... Кое-как отдышишься, тампоны из ваты новые скатаешь и снова лезешь. Меня только Горелов подменял. Сашке я как себе доверял... Рыжий, правда, обижался, но уж тут не до него было. И то как-то, смотрю, Сашкины ноги из люка торчат и не шевелятся. Уже минуты три прошло как залез. Вытащил его, а у него лицо посинело. Водой побрызгали... Ничего, оклемался. И сразу опять полез. Я его пазад. Погоди, Сашка, отдохай. Моя очередь. А у него глаза, смотрю, дурные совсем уже сделались. Оттащили мы его подальше, уложили... Намучились мы с этими усилителями... Легко сказать — перестроить... Ерфилов-то поставил их в лучшем виде и быстро. А регулировки эти чего стоили... Торчишь в

этом люке, кряхтишь, в глазах уже плывет все, а отвертку не выпускаешь. А Главный все свое талдычит. Ну, Алексеич, ну, дорогой, ну еще чуток поверни. Влево... вправо... Ну все, отдыхай... Вылезешь, сядешь на корточки, а они у осциллографа столпились, вздыхают: нет, не то. Главный подойдет, присядет рядом. Алексеич, еще, говорит, надо конденсатор один поменять. Глубину обратной связи еще бы изменить. Видишь, на осциллографе пучок этот треклятый, никак его не уберешь... Лезешь опять. Тампоны из ушей вытащил, чтоб слышно было. Алексеич, ты в параллель ему такой же подпаяй, в параллель, сейчас подадим. Теперь покрути... Вот-вот... Пот, теперь убавь... Теперь прибавь. Лежишь, не шелохнешься, каждый палец, как у пианистов, занят. Этим конденсатор придерживаешь, этим резистор, этим пипет и отвертку держишь. Только зубы свободны. В зубы другой конденсатор возьмешь, потом его пальцем перехватишь и туда его, к первому, в параллель... Опять не то... Отдыхай, Алексеич... Сядешь на закорки и уснешь... Потом тормозят. Глянешь на них, и страшно делается. Рожи у всех почернели, глаза впавшие... А Главный — откуда только силы у человека берутся? — врешь, говорит, сделаем! А сам и за слесаря, и за оператора... Потом я вроде стал сознание терять. А может, засыпал так, не знаю... Есть-то почти ничего не ел. Обед привезут, а ничего в горло не лезет. Возили за тридцать километров. Все уже прокисшее. Главный больше всех ругался. Он термоса схватил и прямо в ворота выбросил. И солдата, что привез их, взащей вытолкал. Потом самый главный претендент приехал. С походными кухнями, с молоком сгущенным, шоколадом.

Раз не выдержал я и слезу пустил. Самым форменным образом. Только-только я до двойного триода, помню, дотянулся, надо было ножки его отпаять и на магнитный усилитель провода перекинуть — полдня ковырялся, все проводки перебрал, пока до него добрался, — а меня вдруг за ноги схватили и выдернули из люка, как редиску из огорода. Думали, я там сознание, как Сашка, потерял. Я на цемент сел, слезы текут, остановиться не могу... Что ж вы, подлюки, наделали, а? Ведь я полдня туда добирался, уже в руках держал, уже распаивать начал, а теперь мне что же, все сначала начинать? Чистая истерика сделалась. Главный испугался, сел со мной рядом, обнял. Да ты что, Серега, успокойся, да у тебя ж воп кровь из носу хлещет! Мне ж твоё здоровьё дороже всех изделий! Да пропади они все

пропадом! И на Николая Ивановича давай орать: ты что паделал? Ты почему мешаешь ему работать? Мало ли что тебе показалось! Он тебе не барышня кисейная, чтоб в обморок падать, он еще войну прошел! И опять ко мне. Ну, Серега, ну еще чуток, а? Ты ведь молодец, Серега, и ребята твои орлы. Таких, как вы, во всем мире нет. Ну еще чуть-чуть. И отдыхай... Я снова полез. Шатаюсь, а лезу. Рыжий крик поднял: не лезь туда, Алексеч! Давай я! Что ж это такое, кто это такие сроки нам дает? Пусть, кричит, кто сроки давал, тот и делает. Главный красный сделался как рак, выкатил на него глаза, воц, кричит, чтоб духу твоего здесь не было! И по-всякому его стал костить. Ну, я-то позволить этого не мог. Это уж и меня касалось. Если он уйдет, говорю, я тоже уйду. Главный сразу остыл. Рукой махнул. Будто мне, говорит, больше всех надо. Не па меня работаете... Хоть все катитесь отсюда. Сам все сделаю! Вот так мы базарим, время теряем... Один Николай Иванович, будто его это не касается, осциллограф свой крутит, записывает. Потом сам полез в люк, подкрутил там что-то и опять к осциллографу. Вот так уже лучше, говорит, значительно лучше! Молодец, Сергей Алексеевич! Главный: да ну! И к нему сразу кипулся. И все сразу — инженеры, какие были, слесаря — к осциллографу бросились. Николай Иванович встал, место Главному уступил; смотрите сами, говорит. И к Рыжему подходит. С самого пот градом, но держится.

Что вы, Виктор, зря первичаете? — спрашивает. Это начальству за его переживания большие оклады положены, а вам совсем за другое платят. Ну а что касается сроков, то никто их с потолка не назначал. Газеты читаете? Знаете, наверное, какое через несколько дней открывается совещание? Так вот мы здесь для наших дипломатов козырного туза готовим. Сделаем паше изделие, запустим его в заданный район — вот тогда с нами сразу по-другому заговорят. Они только такие доводы во внимание принимают... А без нашей работы пычке любая дипломатия гроша не стоит. Так что вы эти разговоры оставьте... Дипломаты ваши гайки крутить не будут. Не умеют они этого. И вас на их место не посадить. Там криком никого не возьмешь. Так что мы все здесь не просто так работаем, чтоб изделие сдать и денгип за это получить. Мы с вами важную дипломатическую миссию выполняем. Так бы сразу объяснили, Пonomарь заговорил, а то сроки, как прокурор, дают непонятно почему, никто толком объяснить не может... Я его подтал-



киваю: ладно, ладно, дипломат, шевелись, лезь теперь ты в изделие, мы-то с Сашкой всё, дошли уже, не бойся фразы-то испачкать...

Да... Вот такие дела были. Не помню уже, когда кончили. И очнулся уже в автобусе. Главный сидит надо мной и по волосам меня гладит, увидел, что я глаза открыл, и сразу руку убрал. Лежи, Серега, хрипит, теперь лежи. Отдыхай. На-ка вот коньячку. Армянский, видишь? Такого Черчилль не пил. Мне этот генерал-интендант дал для вас. Отхлебни, сразу оживешь... Приедете и отсыпайтесь. Сколько влезет. Трех суток хватит? Ну вот... А потом на охоту поедем. На сайгаков. Всех твоих ребят возьмем. Выпил я коньячку из крышечки, чувствую: и правда в себя прихожу. Голова еще кружится, в ногах слабость, но так ничего вроде... Ребята, смотрю, все как паповал спят. А мне уже и спать не хочется. Когда приехали, ребят еле растолкали. Они только до коек добрались и опять все полегли. А на меня нашло что-то. Ну ви в одном глазу! Не хочу спать, и все! А как глаза прикрою, так опять эти провода, провода — синие, белые, зеленые, — резисторы красные, конденсаторы желтые, пайки серые так и мельтешат... И в носу вроде опять капифолью потягивает. Что делать? А как раз суббота была. Пошел в Дом офицеров. Иду, пошатываюсь... Смотрю, «Карнавальная ночь» идет. Мне о ней сыжки раньше мои писали. Посмотри, мол, батя, обязательно. Умора такая, что ой-ой-ой... Пришел. Взял билет. Сел на свое место и сразу отключился. И проснулся через сутки у себя на койке. Кто меня тащил, кто раздел, кто уложил — без понятия... Ребята тоже по одному просыпаются. Спят молчком, позевывают, курят... Попробовали в домяно или в шашки сыграть — не играется, душа не лежит.

Пошли на улюду. А куда пойдешь? Будний день. Все закрыто. Народу — пикого. Думали, может, пиво в бане будет, жарко все же... Так нет. Баня закрыта. Сложемся как сонные мухи, руки в карманах, чего-то хочется, вот не хватает чего-то... А чего — сами не знаем. Пошли в Дом офицеров. Книго только по вечерам показывают. В читальне газеты и журналы полистали — опять неохота наша. Встали, пошла... Вижу, на одной двери написано «Клиомеханик» и «Посторонним вход воспрещен». Толкнулся туда. Сидит там такой опухший от сна малый и коробки с лептами по одной перебирает. Воротничок растегнут, во рту сигаретка, а глаза аж заплыли. Слышь, говорю, солдатик,

уважь людей, покажи нам «Карпавальную почь». А то мы ее, понимаешь, проспали позавчера. Меньше пить, говорит, надо. И дьерью дядя, когда закрывать будешь, не очень хлопай. Сашка Горелов меня за рукав тычет: да ладно, говорит, Алексееч, пойдем от греха подальше.

Давай-давай, киномеханик говорит, а то сейчас патруль вызову, пусть разберется с вами, почему в рабочее время тут шатаетесь. Рыжий, попятное дело, взвился: ах ты, саляженок неумытый! Да ты с кем разговариваешь, а? Да я тебе сейчас за такие слова... Я его за рукав схватил, из будки тащу, а к нам в это время какой-то подполковник пезнакомый — он мимо проходил — подскочпл. Что за шум? А лу тихой! Кто такне?

Киномеханик тот как сидел — с места не сдвинулся. Да вот, товарищ подполковник, говорит, промышленники тут ходят, матерятся. Требуют, чтоб я им кино показал. Угрожают еще...

Подполковник нас спрашивает: вы из какой организации? Кто ваш ответственный? Почему в рабочее время здесь ходите? Где ваши документы?

Мы струхнули, конечно, порядком. Показали ему документы. Он их посмотрел. Ах вот вы кто, говорит. Вернул нам — и киномеханику: покажи им все, что у тебя есть. А тот головой качает: не, товарищ подполковник. Не буду я им ничего показывать. У меня приказ есть, чтоб в рабочее время кино не показывать. Буду я еще из-за них аппаратуру вскрывать и пленку гопять.

Подполковник спокойно ему так — за это я, мол, отвечу кому надо, а ты покажешь им все, что они захотят. Даже то, чего у тебя нет, достанешь и покажешь. И чтоб они всем довольны были, понял? А теперь повтори приказ.

Киномеханик нам с перепугу до самой ночи картины крутил, «Карпавальную почь» так три раза смотрели. Очень ничего фильм. И сейчас бы с удовольствием посмотрел... Мы и потом — Рыжий падоумил, кто ж еще, — как чуть освободимся, так прямо к киномеханику в будку. В любое время. Желаем, мол, кино посмотреть. Без звука показывал... То есть звук-то был, но не гоношился уже... Да, а изделие то в воскресенье запустили. Прямо в заданный район, за тысячи километров угодило. Это мы уже потом от Главного услыхали, когда с ним на охоту ездили. В воскресенье-то без задних ног дрыкли...

И совещание в верхах прошло как надо. Это уже во всех газетах было.

...Словом, так я там и остался. Во второй раз. И вот думаю...

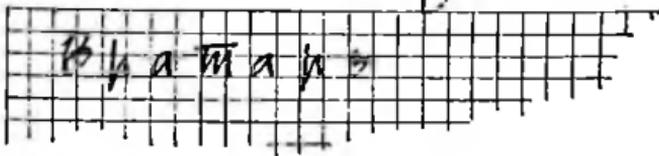
Незаметно это как-то происходит. Вроде как влуди подрастают. Они уже и ростом, и умом тебя превзошли, а все кажется, что еще детишки малые, только-только с рук сошли. Вот так и в нашем деле. Изделия все сложнее, все непонятнее. По-старому — давай-давай да на коленке — их уже не сработаешь. И видишь: около них уже молодые крутятся. И грамотные все ребята, серьезные. Не по себе даже стало. Привык, понимаешь, чтоб все через мои руки проходило... Спихватился, да уж поздно. Годы не те, чтоб снова за парту садиться и в электронике нынешней разбираться.

Сижку, бывало, себе в домике, обед стряпаю. На пуски эти меня ловут, а я — поль внимания. Едут без меня. Или рыбку на берегу ужу. Спишой еще повериусь. Пустят и пустят, мне-то что. Вот так сижку и равнодушие изображаю.

Сглазить, говоришь, боялся? А может. Может, и так. Только когда загремит, екнет во мне что-то, сидишь и думаешь: ну не дай бог рванет, не дай бог... Должно, с тех первых пусков такое осталось. Уже сколько их проводил, а все как первый раз замужем...

Витька Пономарев еще работает. Сам теперь бригадирствует. Героя ему дали. Не подступишься. Ну а Сашка и Степаныч со мной до самой пенсии трубили. Видимся. Не часто, правда... Тоже, поди, вспоминают. Только каждый про свое. Это уж как водится.

# Владимир Гусев



Эй, пратарь, готовься к бою!

Я проснулся в тревоге, причину которой, как случается после ночи, вспомнил не сразу. Пять минут я лежал в этой казенной постели, с неизменно серыми простынями, плоской подушкой — подбородок почти задрал — и кусачим сиреневым одеялом, и смотрел в окно, видя лишь спящее небо и белые облака. Несколько секунд тревога стояла во мне зашумевшим туманом, сея особую, чуткую тишь в душе. Потом я вспомнил причину, и тут же сделалось легче: я переходил ко дню и его конкретности, ночные метели таяли, жизнь обретала контуры.

Я отбросил все эти простыни, одеяла, на миг непроизвольно порадовался ладному загорелому телу, вскочил, подошел к окну и встал, обняв плечи крест-накрест. В окно упирался тополь с огромными листьями — почти лопухами. Их глянцевиные спинки и матово-серебристые брюшки, слегка шевелясь, менялись местами и радовали глаз белой рябью. Какое-то время я глядел в чуть темную глубину небольшого дерева, слыша его негромкое шелестение и дивясь его маленькой и незримой, но независимой тайде. Тревога не проходила, хотя и была слабее, и вид зеленого тихого дерева вновь укреплял ее. Я все это заметил, но подумал об этом спокойно. Я знал, как тонко и скверно могут капризничать первые в такие дни. У подножия тополя светлела ярко-зеленая, сочная, ровно подстриженная трава.

Я вздохнул, отошел от окна, оглядел свой отдельный номер. Ишь какие мы пытке важные! Небось еще месяц назад болтались втроем со Степкой и Витькой, в «коробочке» в Черноморске. А тут... Шкаф и вешалки, стол с таблицами

и рекламой Аэрофлота, тяжелые буро-желтые, во всю стену, тряпицы на кольцах с боков окна.

Ну, надо идти в столовую.

Равномерно считая ступеньки, идя с подпосом, кивая товарищам, жуя и глотая лагет и перекидываясь словами с сидящими рядом Витькой и младшим трепером Гришей Фалиным, я, однако, был полон все тем же особо тревожным чувством и одновременно ровным спокойствием, похожим на темно-синее зеркало очень глубокого озера пруде Севана, у которого я вновь побывал месяца полтора назад перед игрой в Ереване.

Здоровая пеннистая и резкая моторка все трепыхалась и трепыхалась, кружилась по чистому, синему в солнце сиянию, оставляя шипяще-белеющий след... но тепло, темно в глубинах, и пропадали следы этой лодки.

Я вяло жевал и кивал, а Витя мне говорил:

— Картошки много в этом году. Как с хлебом, не знаю, а это...

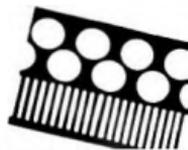
— Я тоже слышал,— сказал Гриша Фалин, берясь за стакан дымовитого чая и слегка обжигая пальцы: опять подзвякнул стакан на блюде. Мы все сидели сутулясь, ватно жевали, работали вилками, брали стаканы с чаем, слегка прихлебывая под суховатую жареную картошку. Все, разумеется, думали и о том о сем, и одновременно об игре, но, конечно, не говорили о ней сегодня.

Я вспоминал прощание дома. Не знаю, в чем было дело, но я возвращался и возвращался мысленно к тем часам в моем доме и городе, которые были перед отлетом. Все было обыкновенно, но отчего ж я теперь вспоминал? Может, тоже из-за грозящего мне сегодня? Да подумасшь... во-первых, и никакой настоящей опасности нет. Во-вторых, что ж там все-таки было такого, в моем семействе и городе? Ничего. Все было хорошо.

Это было позавчерашнее утро. Я тихо, спокойно — не то что сегодня — проснулся и, как всегда, ощутил под мышкой голову спящей жены. Она это называла «приткнуться» — так уместить свою аккуратную черную голову, свой прохладный, слегка курносенький нос, что было уютно и ей, и мне, и никто никому не мешал, и рука моя ощущала ее родные и мягкие плечи.

Женился я рано, еще на четвертом курсе, на девушке, с которой я был знаком с девятого класса. Я не могу сказать, что мне неинтересны все женщины, кроме Тани. Но она с первых встреч так четко и крепко взяла курс, что мы — именно семья и ничто другое — так естественно создали атмосферу спокойствия и счастья, моего душевного благополучия рядом с нею, что я не видел смысла тянуть. Родители морщились, но, заметив, что ничего ужасного не произошло и что живем мы согласно («не хуже, чем многие»), смирились и полюбили Таню. Может, не полюбили, но искренне приняли, обласкали, «ввели в семью». Мать, конечно, ревновала и осуждала ее привычки, не отвечающие строгим правилам старого быта: поздно вставать, когда не было лекций, забрасывать в раковину посуду, лишь напустив в нее воды, но так и не помыв как следует, затягивать стирки, «гонять» по кафе и в компании пить коньяк («благо хоть не курит!»), хвалить Хемпигуэя и ругать Голсуорси и Драйзера. Она шептала, что я мог бы пойти и не такую «черненькую, смазливенькую, но отнюдь не красавицу», а получше, что у них — у матери — на истафке все ходят красотики, глазки как Черное море, а «он, глупец, и не видит»; что я мог бы еще десяток лет посвятить своей маме и не гоняться за первой попавшейся юбкой. Однако, с другой стороны, мать считала, что, в общем, бывает и хуже, что Таня хотя и ленива, и избалованна, но девочка порядочная и преданная ее Саше, что даже хорошо, что она не размазанная красавица, а просто милая, симпатичная, обаятельная девчушка — такая жена вообще-то лучше всего, — что есть свои преимущества в том, что Саша остепенился. И что, во всяком случае, зло известное лучше, чем ленивый дамоклов меч на годы вперед.

Что касается моего отца, то он принял Таню с наиграпной веселостью и гусарским пафосом («эх, кабы мне мои двадцать...») и тем скрытым равнодушием, которое было главным свойством его натуры в отношении ко всему, что не касалось работы (он инженер-гидромеллоратор). Несмотря на свои кавалерийские штучки, которые Таня заспывала за чистую монету (между ней и отцом установились те лукаво-полукокетливые ритмы, которые часто возникают меж родственниками, реально не заинтересованными друг в друге), отец перед нашей свадьбой твердо поставил матери ультиматум, что женитьба сына никак не должна повлиять на дела и условия его работы, ибо «всем этим новым семьям ведь все равно куда не деться без подт-



ривания от родителей, так что, мешая мне, они будут мешать и себе. Кроме того, я несколько месяцев в год — в поле и имею право в другое время...». Мы обещали, мать обещала; и я сказал, что мы обойдемся и без его подтыриваний. Это было легко, ибо существовала еще и мать с большой зарплатой, которой она распоряжалась независимо от отца, и Таппины родичи.

Под «условиями работы» отец понимал свою отдельную комнату. В ней он и остался, мать со своей старушкой сестрой, тетей Нюрой, поместилась в большой второй, а мы — в третьей. Встречались на кухне и за столом.

Треперы тоже приветствовали мой жест степенности...

Через год после института, уже сидя в своем ИИИ, я, не без помощи «спортивных организаций», вселился в квартиру, в которой и обитаю ныне с женой Татьяной и дочкой Ниночкой. Это, конечно, еще улучшило отношение поколений, и все мы, живя в одном городе, но в разных концах его, время от времени собираемся на обеды, устраиваемые тетей Нюрой или Кларой Константиновной, тещей.

Словом, я пробудился в позавчерашнее утро, не имея за душой никаких весомых причин для недовольства и уныния; и, собственно, их и не было в моем сердце. Мне было спокойно, я посмотрел на черный с прибором затылок жены, взглянул на кровать двухлетней Ниночки, которая сопела в углу у окна, невидимая за пологом-простыней, и, осторожно освободившись, поднялся делать зарядку.

И все-таки и тогда, и позавчера во мне было чувство... или я придумал вчера и сегодня и ныне приписываю прошлому то, чего не было, чего я никогда не испытывал? Или, наоборот, оно было и раньше? Или... но нет.

Я поднялся, я сделал свою большую, мучительную зарядку, пошел обмылся до пояса; выходя из ванной, нос к носу столкнулся с Татьяной.

— Ой, боже! Медведь, — подхихкинула Тая и прошмыгнула на кухню.

Я остановился на миг в коридоре, подумал — вернее, представил, — что надо пойти взглянуть на дочь; но я уже мысленно так живо увидел ее падутые щеки, ее вздымающуюся и опускающуюся грудку и все ее бело-розовое лицо с закрытыми глазами и двумя ладонками под щекой — лицо, исполненное тайны и как бы зреющая, обращенного внутрь, — что раздумал идти и поплелся на кухню вслед за женой.

Я был в техасах и с голой грудью; остановившись и су-

пув руки в карманы, я молча смотрел, как она медленно чистит картошку, пуская шкурку более толстую, чем полагаюсь бы.

Робкая волна нежности проплыла во мне, когда я смотрел на не слишком ловкие движения тонких, слегка узловатых пальцев; но именно поэтому я сказал:

— Ну да. Посмотрела бы моя матушка.

— Что такое? — спросила Таня, вскидывая головку с прибором посередине и в двух пучочках черных волос, туго захваченных сбоку белыми резинками. Она была в пестром халатике, перевязанном кушачком.

Мне не очень понравились эти плоские и тугие резинки, стянувшие волосы, и невольный мой взгляд, обращенный на них, и ехидное слово, раздавшееся в унисон этому косвенному взгляду, — все это было замечено Таней и уже прозвучало в слегка повышепной интонации ее «Что такое?».

— Изрежешь па шкурку всю дулю.

— Режь сам, — проговорила она, обращая глаза на картошку, и в ее внешне шутовском голосе была и обида.

Я помолчал и вышел. И в коридоре я тотчас же ощутил, как осадок в душе, возникший и у меня из-за ее мимолетного и легкого непонимания моих слов и движений, тихо растаял в глубинах сердца. «И что это я?» — подумал я и пернулся в кухню. Я раскрутил транзистор и сел в углу на ветхое креслице, пожертвованное нам в свое время Кларой Константиновной и за своей непрезентабельностью водворенное в кухню. Я облокотился на шаткую ручку и смотрел на транзистор, краем глаза видя и Таню. Она все чистила и, забыв уже обиду, время от времени поглядывала на меня с той особой полуулыбкой, которая как бы растворяет необходимость слов.

— Не знаю, не взбележится ли Паша.

— А ты не спорь с ним и иди прямо к Булагину. Так, мол, и так, не пускают, и все. Пусть они заботятся — что ты-то, в конце концов, будешь прыгать? Твое дело — играть.

— Да, это так, по...

Мы вновь помолчали. Тане, конечно, уже надоел мой футбол. Но главный метод — это чтобы ты доходил своим умом, а она в стороне. Вот и сейчас — виду не подает, но тон довольно кислый. Все эти мои поездки, все это... вопль трибун и геройство в штрафной хороши для ухаживаний, а для жены не мед. Она не любит всего того, в чем ты не принадлежишь ей, куда не простирается ее территория.

Мы молчали, транзистор уже пыхтел бойкую музыку.  
— Надо Нинку будить. Эта их новая воспитательница, это такая... гоняет их целые дни. Устает она. Спит вот до сих пор...

Вскоре мы все усажившись на кухне за стол. Нинка, в парусиновом переднике с петушками и котиком, заспанная и надутая, сидя на табуреточке, взгроможденной на стул, хлебала свое молоко и смотрела в окно, отчего ее «мои» глаза были еще светлее. Таня и я сидели напротив друг друга, время от времени смешливо поглядывали на дочку и улыбались друг другу.

— Не брызгай на стол,— с беспомощной строгостью, возбуждающей в детях лишь импульс «делать нарочно», ворчала Татьяна, чуть прикасаясь пальцами к алым Нинкиным губам.

— Да не мешай ты, пусть ест как хочет,— сказал я с улыбкой, беря кусок свежего теплого белого хлеба и думая, как мне лень полезть за масленкой, взять нож и намазать... хотелось бы с маслом...

— Дай я намажу,— ворчливо сказала Татьяна, хотя я ничем не выразил своих колебаний, только слегка приостановился взглядом на масле и чуть задержал руку с хлебом.— Уж эти мужчины...

Я отдал ей хлеб и надел на вилку картофелину. Она была и свежая, и парная — не то что здесь, в столовке спортивной гостиницы... Я отправил за щеку картофелину, я посмотрел на Таню, намазывающую мне хлеб.

И вот наступило нечто, почти непередаваемое словами. Я отделился душевно и от себя, спящего за столом, и от шумливо хлебающей Ниночки, и от Тани, и от стола, и от хлеба, и от картошки, от холодильника, и от кухни, и от всего — и вдруг увидел все это со стороны. Увидел себя, и Таню, и кухню, и все другое. И я увидел, как хорошо, прекрасно все это, что, в сущности, больше и ничего не надо: вот мы сидим, и Таня с этим румяным хлебцем и маслом, и Ниночка слева, и тихо, и кухня, и вот я встану, пойду на работу — пойду на работу, где все меня любят (а если кто и не любит, так это тоже ведь так и надо, не пало, чтоб все любил), где я неплохо работаю, где выпускаю свою стенгазету «Микрофарат» — добросовестно выполняю общественную нагрузку, — где завлабораторией Павел Григорьевич Милованов сначала взвзвывается, что я опять уезжаю, а после скиплет, вздохнет и скажет: «Ну что ж, футбол так футбол. Потерпим педельку. Уж как-нибудь пере-

бьемся». — «Да не педельку, Павел Григорьевич, я максимум дня на четыре». — «Да ладно...» И он доволен, что и не нахался, что я смущен, что мне не вскружила голову моя дурацкая футбольная слава и я остаюсь воспитанным и серьезным молодым человеком. Как хорошо! Хорошо! Вперед! Но еще бы и посидеть...

Мы кончаем еду; суетится Татьяна, опаздывая с Нипкой в детсад, и я тоже хожу по комнатам, собираюсь. Я мог бы и предложить Татьяне сам завести девочку в детсад, а то у жены и уроки скоро (она биолог, — профессия как раз для жены такого, как я), но что-то неохота сегодня, Татьяна сама не просит, и я — я не хочу набиваться.

Они уходят, и странное дело: провожая их — мы все трое топчемся у дверей, — я чувствую на душе неприятный осадок от того легкого, ясного чувства, которое я только что чувствовал за столом, когда поглядел на нас как бы со стороны. В чем дело?

Но уж нет, не могу ошибиться: это именно от того — от того чувства осталось... будто глубокая, ровная, синеватая воронка, открывавшаяся после ушедшего золотого и розоватого облака.

Я целую Татьяну в щеку, я поднимаю под мышку, целую Нипу и отпускаю их, закрываю дверь.

Одеваюсь и сам выхожу на улицу.

Я держу путь к институту, но сегодня — не с тем, чтобы быть на работе, а с тем, чтобы, наоборот, отпроситься у Паши.

В четыре часа мне лететь в Москву.

Я по специальности радиофизик. Звучит очень хорошо, я люблю называть незнакомым свою профессию.

Я бы не сказал, что моя работа — мое призвание. В чем оно, я не знаю (ведь не в футболе же, а если даже и так, то... как-то не так), но в школе я обнаруживал, по линии умственной, скорее гуманитарные, чем какие-либо иные наклонности. Недаром я ныне редактор весьма популярной в нашем заведении стенгазеты. В школе я писал стишки про учителей и даже поэму о геологах (почему именно о геологах, бог весть), которая в данный момент хранится у матери в глубях стола. Поэма была пусть и о геологах, но в подражание «Полтаве». Экономическую географию я терпеть не мог, зато любил географию физическую и историю. Но эта любовь была тоже своеобразная: что касается гео-

графип, то я обожал втпхаря на уроке лазить по карте, разглядывать эти коричневые, желтые, зеленые п голубые пятна, воображать себе посреди пустыни на маленькой, уютной, песочного цвета лошадке в окружении голых, тапштвенных скал п стервятников па камнях; в высоких п сочных плавнях, тугаях Амударьи, среди тигров, косуль п сайгаков; па Таймыре под серым небом у смутного плоскобережного озера, таящего в своей глади цекне чудища. При этом все неудобства тех мест, о которых я глухо мечтал, п моп медитации не входили: пп мошканы п холода тупдры, пп заунывного зноя п скорпионов, п змей пустыни, пп сырости п ветров Арала я не пускал в свои грезы, п если п думал, положим, о скорпионах, то только в том смысле, как я спасаю от нпх прекрасную спутницу. Я любил пменно воображаемые картины, а не то, что стоит за нпм па деле... Однако же запомипать названпя, ломающие язык п надрывающие память, новестовать о полезных ископаемых п об особенностях адмпнстративного устройства п о чертах народонаселенпя — это уже претило мне; да п карта, когда смотришь па нее вместе с раздраженной учительницей Ниной Петровной да чуть не сотней глаз пз-за парт, вызывала уже тоску, а не ту спящую, таинственную свободу в сердце, которую я чувствовал, спдя в своем укромном углу. Что до истории, то я имел привычку домысливать за полководцев п дипломатов разные подвиги, речи, поступки п яростно путать даты, п это тоже не правипось.

В общем п целом я не преуспел особенно п в этих пауках; а о стихах моих один знакомый матери, доцент с филфака, сказал, что я еще качаюсь в удобно баюкающей люльке у Пушкина п что сам бог еще не решил, быть иль не быть мне безумцем рифмы.

Мать хотя не согласилась, однако ж сказала к концу моего девятого класса:

— Что ж, Саша, друг мой, ты уж не деточка. Я знаю, ты парень серьезный п сам уже думаешь в душе о своей дальнейшей судьбе. Футбол футболом, а дело делом. Чем ты хочешь заняться после десятого класса?

— Я не решил еще точно.

— Я понимаю. Ты знаешь также, что мы с отцом не будем тебя припуждать, ты мальчик достаточно умный. Но все-таки ты мыслишь о будущем или нет?

— Я думаю, мама.

Она с достоинством отстранилась, ожидая, что я п сам расколюсь. Но я молчал, глядя в пол п перебирая пальцы.

— Так что же ты думаешь? Могу я знать?

— Я же сказал, что я по решил. Это и правда дело серьезное.

— Я не собираюсь тебе советовать, но все же должна сказать, что, если ты задумал идти на литературный, тебе придется покрепче взвесить последствия этого шага. Я сама историк и знаю, что такое гуманитарная специальность. Сегодня на этом далеко не уехать, особенно мужчине. Я не в смысле карьеры, приспособленчества и так далее, а в более глубоком смысле. Это эфемерно, зыбко, а мужчина — он должен прочно стоять на ногах. Ты футболист, вратарь, ты знаешь, — улыбаясь, добавила мать.

— Я знаю... я понимаю.

— В будущем ты поймешь это глубже. А сейчас тебе надо просто внутренне решить. Наступает десятый класс, надо заранее сориентироваться. Иначе упустишь время. Стихи ты сможешь писать, сидя и на любой работе. Если талант — а он, мне кажется, у тебя намечается (слабость сердца!), — так он все равно даст о себе знать. Если нет — все равно прочный кусок хлеба и твердое место в жизни.

(Я даже тогда не мог внутренне не улыбнуться той четкости, с которой она шла к своей цели... тем более что спорить особо не собирался.)

— Может, ты хочешь идти в какой-нибудь полиграфический или там... как его... институт прикладного искусства? Это модно. Ну что ж, это хорошие профессии, но ведь для этого тоже надо... и интерес, и направленность. Ты как?

Она могла и не спрашивать, однако же яростно соблюдала демократический ритуал «серьезного разговора».

— Никак.

— Ну я так и думала. По-моему, для мужчины и достойней, и лучше традиционный физфак или математический.

Не без тоски я припомнил задачки по определению объема полнотелых и усеченных пирамид и мучения от секторов крыла самолета, которые так мне и не дались, — хотя вообще-то, несмотря на все сказанное, учился более или менее хорошо и «упорно» и был надежным пятерочником-четверочником. Большие меня привлекала физика электричества.

Я и сказал, все перебирая пальцы (здоровый, мясистый малый, комок переливчатых мышц — и мямя!):

— Пожалуй, займись электричеством... или радио...

— Ну, вот и хорошо, — со вздохом величайшего облегчения и с видом внезапно разрядившегося наконец душевного напряжения проговорила мать. Все ее лицо мягко изобразило категорическую истерпанность, разрешенность вопроса и недопустимость дальнейшего его обсуждения. — Вот и хорошо. Я недаром считала, что ты серьезный мальчик. Я вижу, что ты, конечно, еще не окончательно уяснил для себя этот вопрос, по поверь, что ты не пожалел о своем решении. Жизнь сложней, чем ты думаешь, Саша. В ней ничего не надо делать с кондачка. Мы с отцом, со своей стороны, будем как можем помогать тебе в осуществлении твоего решения.

Не удержалась и от морали... но...

«Моего решения? Ну да что там!»

Я почувствовал неожиданно, что все это не самое важное, что я в чем-то... взрослее матери.

— Я, со своей стороны, опасалась, что ты необдуманно подашь на филфак. Это было бы опрэмечтво.

Опасалась она, разумеется, не без основания, хотя я ни разу ни словом не обмолвился о своих мечтаниях; но не без основания апеллировала и к моей «серьезности».

Я действительно человек, при всех своих мечтаниях не любящий ничего... невесомого, что ли. Я даже не знаю, как это выразить. Я люблю, чтобы в реальной жизни все без обмана, чтоб... если, положим, ты держишь «сопротивление» и сейчас вот вставишь его куда надо, так уж и знаешь, что во экрану тут же пойдут круги и всем очевидно, что дело сделано. Я люблю катать в руках тяжелые вещи, люблю... железо, блестящие слитки сплошного металла; даже гантели у меня некрашеные. Я... не знаю, как это выразить; это сложное чувство. Все внешние и привычные ассоциации (любовь к физическому труду и т. д.) тут неправильны.

Я не так напряжен по складу ума, как, например, мой приятель Алеша Осенин, с которым мы встречались в газете; и есть в нас нечто важнейшее общее, но есть и существеннейшая разница... не знаю, как тут сказать.

И я шел по родной и солнечной улице, думал думу — думал о службе и Паше, о том, что правильно сделал, «послушавшись мамы с папой», — стихи-то я бросил, несмотря на поэму в столе, — о том, что, конечно, в мире много несчастий, и человечество в дым запуталось, и миллионы и миллионы смертей, мучений, пыток и истязаний стоят за моим сегодняшним счастьем, благополучием, за моим само собой разумеющимся правом смотреть на солнышко, на тем-

ные августовские листья; и даже не просто, а и... не знаю, как все другие, а для меня, например, «аборт» — до сих пор ужасно, и я так и не уверен, что это не... оно, не убийство... это психоз мой, что ли. Все на такие вещи смотрят нормально. И Таия была... «нам сейчас ни к чему второго ребенка». И миллионы людей каждый день и каждое утро делают то же... Это воспоминание вдруг слегка задело, кольнуло меня; и все же так чисто светило спокойное, густо-желтое и печальное солнце, так шло вверх мироздание в августовской дымке, так пели лучи и свежие струи согретого воздуха, так темнели таинственной зеленью тополя, что и оно, и это воспоминание все же прошло стороной... и уж тем более прошли стороной эти высшие горькие, дымные, едкие мысли о «миллионах, миллионах и миллионах». Какие там миллионы, когда сочится свет сквозь нежные, свежие листья, и глухо кругом, и ясно; я, видимо, гадок, я плох, но я... не могу представить, я не могу сейчас думать, чувствовать это, подумал я тихо, легко и самодовольно, чуть жмурясь на синее блестящее небо сквозь листья. Стоял медовый, задумчивый август...

Я подошел к «копторе», взглянул на небо, вдохнул и не без гримасы вступил в прохладный и темный подъезд.

У приборов трудились Лариса Веселая и степиный Гега.

Лариса Веселая (есть и другая Лариса) — отнюдь не веселая, а весьма деловитая девушка, неглупая и незяла, но, к сожалению, с плохой фигурой, что уничтожает для наших «деятелей» все ее остальные прекрасные качества.

Мы привыкли к таким ситуациям, и в разговорах об этих людях всегда сквозит и злорадство некое. Отчего? Или это то самое чувство, о котором Толстой говорит в «Иване Ильиче»: все толпятся у гроба, и на лицах — скрытое: как хорошо, что не я... Какая сложная организация — человек; и вот одна-единственная насмешка дьявола, который, проходя, ради озорства мазнул пальцем по совершенной картине, — и все кувырком.

Мне, женатому, легко философствовать на такие темы; а сегодня я еще в пекоей и тревоге... да был ли я уж тогда в тревоге? — вопрос. Сегодня-то есть причина...

Но вот продолжается то «сегодня», позавчерашнее. Что в нем есть? Ничего. Но... вот, вот оно...

Я вхожу, и они оглядываются и улыбаются оба. Хорошее это чувство, когда ты видишь, что кто-то невольно и улыбнулся тебе. Впрочем, на деле наши отношения не боль-

но радостны. В лаборатории не хватает такого остряка, хохмача, не хватает соли для каши. Все люди степенные, серьезные и работают молча, а если филопят, что тоже нередко, так как-то вяло и как бы по принуждению. Мол, отчего ж не филопнуть, раз можно филопнуть, мол, что же делать — надо филопнуть, хотя и скучно.

Они оглянулись и улыбнулись, и я сказал:

— Приветы кротам науки!

— Привет футболистам,— сдержанно усмехаясь, сказала Лариса, а Гена лишь обнажил свои десны и покачал узкой головой с острым волос на темени и очками, вдруг отразившимися в блеске, движении стекол дерева на улице, в трамвай, и штативы, и амперметры.

И то и другое сказано было чисто механически, по что поделаешь...

Я посмотрел на свой стол, на экраны у стенки, на амперметр, на свалку зеленой и красной проволоки в углу, на розетку и реостат — и почувствовал легкое умиление и любовь к своему углу, к к своей работе, к к своему столу, п... да что там... Все же великое это чувство, когда ты видишь и ощущаешь, что ты реально и материально приносишь пользу, делаешь четкое и мужское дело. И, кроме того, верно, чувствуешь себя и крепко, и ровно, уютно, когда уходишь во все вот это, когда...

— Что ж, едешь?

— Лечу.

— Говорил уже с Пашей?

— Когда же я говорил? — отвечаю я, махнув ладонью в сторону двери Павла Григорьевича, к которой можно попасть, лишь пересекая всю комнату.

— Ну да,— кивают они.

— А вы что так рано?

— Как рано? Это ты, господин, опоздал,— беззлбно хихикая, бормочет Гена, уже поворачиваясь к столу. Там у него чертеж схемы, тушь, сопротивление, проволока, бумага... все на ходу.

— Неужели? А я по дороге и на часы не смотрел. Считал, что пормально...

— Конечно, солпышко, зелень... девушки.

— Мне-то что? Это ты бы почаще смотрел на девушек...

— Я? Хи-хи...

И ведь, черт его знает, есть у меня одна отвратительная особенность. Она, я думаю, свойственна и всем людям, но

в меньшей степени. В решительные минуты я выявляю свое упрямство и все такое; но в обыденности я удивительно не защищен от тех волн, того ритма, флюидов, атмосферы, которые исходят от собеседников или обстановки. Я попадаю в магнитное поле и начинаю получать именно те частицы, которые соответствуют полю.

В частности, эта мысль всегда мне приходит в голову в тот момент, когда я общаюсь с Геней или с Ларпой Веселой. Я далеко не всегда зануда, по с пими — таков.

Открывается дверь, и на пороге своего кабинета является Паша. Это широкий пузатый мужчина с густыми желтыми волосами и красным лицом.

— Здорово, вратарь! Чего опаздываешь? — орет он, держа свою дверь.

— Да, Павел Григорьевич, я...

— Ну ладно. У нас не Бурдаков, где заставляют являться вовремя... Что же? Опять?

— Опять, Павел Григорьевич.

— Ты фанатичен в своем футболе. Если б ты так работал, как держишь мяч!

— Я плохо работаю?

— Ну-у-у, ничего-о-о, не дуйся, — подходит и хлопает по плечу фамильярный и громкий Паша (хотя на деле он вовсе не так фамильярен да громок). — Ты знаешь, что я шутник. С плохими работниками так не шутят... Ха-ха-ха-ха! — Смеется он парочито жутко и в потолок. — Ну что ж, — говорит он, уже вздыхая и несколько сксспув, — езжай, Сашок. Мог бы меня и не спрашивать. Ты молодой, а работа, опа... не уйдет опа в лес. План мы вроде б на выпсший день выполняем, а что не доделаем... сделаем без тебя, а предеть — дамешь.

— Ну спасибо, Павел Григорьевич.

— Ладно, лети. Ни пуха... Я хоть не болельщик, а знаю, что за игра. Зна-а-а-ю, браток! Знаю я, старый хрен! Это тебе не лаборатория... Тут всякий сможет...

— Всего вам!

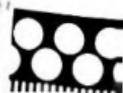
Я странно растроган, расслаблен и... огорчен этой сценой с Пашей. Я умилен и... и отчего же...

К делу. Скорей домой, собраться и — марш.

Еще ведь пакрутка перед отлетом...

Зачем-то все лезет в голову этот позавчерашний день. Ну что в нем?

Ведь это вчера, вчера, уже здесь, в Москве, а не дома,



узнал я о том непривычном, страшном, что будто бы ожидает меня в сегодняшнем матче, который и сам-то уж по себе, без всяких добавочно возбуждающих средств, способен сбить с панталыку хоть робота-вратаря... Да, видимо, началось это не вчера, а раньше... и, может, и не позавчера.

Я ходил по аллеям великолепного парка, окружившего стадион, и думал о силе и неразрешимой таинственности человека, совмещающего все это. Прекрасные чайные розы, подобранные (еще в семенах!) одна к одной на безбрежных клумбах, лиловые и желтые ирисы с гнутыми лепестками и светлыми язычками узоров в чашечках, белые и розово-малиновые гуши флоксов на длинных грядках, узорные тополи, липы и матовые голубые ели; и стройность, и свежесть, и горы, река в отдалении, и это позднее летнее, предосеннее солнце, и весь чуть льдистый в зелени аромат — что может быть тошше, и чутче к душе другого, и лучше! И в то же время — все то, что... все то, что... Но это уж говорилось не раз — и по более серьезным поводам.

Я пришел под западную трибуну и стал прогуливаться по асфальту мимо железных поручней, у которых тут вечером будет давка; я вдруг представил все это и невольно чуть зябко повел плечами. Мускулы тотчас же отозвались и погрузнели слегка — погрузнели здоровой, и сытой, и полной крепью. Я в форме сегодня. Я знаю, да, собственно, это не новость. Все мое тело будто бы бережет, экономит себя для этих, для тех минут.

Подходили ребята; все они двигались как бы вяло и валко, сонно и неохотно. С одной стороны — необходимая расслабленность перед игрой; с другой же — реальные хмурь, раздражение перед очередной пакруткой. Все понимали ее непужлость, и все понимали — надо. Никто и не думал об этом, все просто знали, что надо, — как надо, положим, пройти по мосту, чтобы оказаться на том берегу. По воздуху не перелетишь, прыгнувши с парапета.

Небось проиграем, так все равно виноваты, а выиграем — скажут: хорошо поставлена психологическая работа, воспитатели молодцы. Ну и пусть себе.

Подошел наш «чистильщик» Слава Мазип, бывший машинист тепловоза. Теперь его перевели в депо: футбол — он тоже требует жертв... да, тоже.

— Пивка бы, — лепиво промолвил чернявый Слава. — Тут солнышко, как и дома... погодка! А мы и бегай... А как пивка бы неплохо, — тут же он оборвал невольно возникшую

трудную тему все надвигающейся и надвигающейся игры, о которой все думали, по разговаривать о которой мешало обычное суетерие и какое-то целомудрие, что ли: боязь расплескать незримый сосуд.

— Да, пеплохо бы,— отвечал я, лениво и сонно, как и он, пожмуриваясь на солнце, и дальпие горки, и темпый скелет трамплина. Мы помолчали. Тягостно все-таки было говорить не о деле, а о деле давно уж все было сказано; все уже было разобрано, расптудировано и распределено, и заново начинать — это как бы снова идти в сапогах по ажурно зализанной, подметенной, готовой к параду аллее.

И только Булагин вот будет еще ходить по ней.

Мы поместились в обширной и голой комнате рядом со своей раздевалкой; начальник команды, Ефим Петрович Булагин, встал за столом и заговорил:

— Ребята, товарищи! Не мне вам объяснять, какая ответственная задача вам предстоит на сегодняшний день. Вы понимаете сами, по все-таки я скажу. Я позволю себе напомнить, что наша команда впервые в своей истории вышла в финал столь ответственного турпира. Многие миллионы футболистов страны боролись за эту честь на протяжении многих месяцев, и вот остались две команды: мы и наши противники, дорогие товарищи. Вы знаете, дорогие ребята, товарищи, что противник у нас самый серьезный. Мало того, прямо вам скажу, дорогие мои,— там тут скрывать печего: почти все уверены в победе нашего противника, дорогие ребята. У них команда более опытная, она выше классом, а мы впервые вышли в финал такого...

Наш старший тренер, Федор Иванович Меньшиков, довольно интеллигентный, толковый и понимающий футбол человек, в этом месте речи слегка занеремипался на стуле и с некоторым беспокойством оглядел ребят из-под черпоседых бровей: не вызовут ли эти напоминания первой реакции? Но ребята, как — я чувствовал — и я сам, сидели вялые и угрюмые, они, как и всегда перед большой игрой, были уже в себе, в них въелось это настроение: «Я знаю, что мне никто не поможет, я надеюсь лишь на себя и команду и создаю свою силу, которую не надо пока беречь». И Гриша Фалин заерзал и раза два оглянулся — он сидел в первом ряду,— по никто из ребят так и не впустил слова говорившего внутрь души.

Между тем начкоманды решительно продолжал:

— ...такого ответственного соревнования. В чем же наша задача? Наша задача — не обмануть надежды... обмануть надежды, — степенно поправился он, — тех, кто в нас не верит. Все мы должны, товарищи, помнить о том долге, который мы несем перед нашим городом, перед нашим заслуженным коллективом. Все мы должны...

Начальник команды — единица скорее хозяйственная, чем спортивная, хотя ими часто и бывают постаревшие футболисты. Такой начальник команды с тайным отвращением относится к своей должности.

Булагин же, ничего не соображая в спорте, именно поэтому совал нос во все остальные дыры. Тренеры же наши, Меньшиков и Фалин, интересуясь, напротив, только спортом и больше ничем, с охотой предоставили Булагину все бытовые и даже «психологические» проблемы (хотя психологические-то проблемы, если уж без кавычек, потихоньку успешно решал сам Меньшиков), и он забрал в команду силу, ибо от ее лица представлял в инстанциях, выбивал лимиты и фонды, сражался с начальниками в учреждениях, где работали футболисты, клепал для тренировок курортное поле и инвентарь; в общем, имел знакомых и был неуязвим.

Меня он весьма невзлюбил и давно бы выгнал, если бы я плохо играл.

Теперь я с холодным интересом ждал, как онковырнет меня в речи, ибо он никогда не упускал случая. Сначала это первировало, я хуже играл, но после все автоматизировалось: я перестал обращать внимание.

И сегодня-то в нем меня гораздо больше занимало иное, чем «ковырок», неизбежный в речи...

Он продолжал:

— ...И вот почему, дорогие товарищи, дорогие ребята, различные организации нашего города поручили мне передать вам перед игрой, что они надеются на вас, что они ждут, как и все население города, ответственного и серьезного отношения к делу. Ваши неудачи в играх на первенство в середине сезона не должны вас смущать. Конечно, вы не многие ответственно отнеслись к этим играм. Мы много раз вам указывали на недопустимость такого положения, ставили на вид и давали конкретные указания к перестройке системы футбольной игры и всей работы. Но вы, товарищи, не отнеслись с должной ответственностью. Как только вы выходили на поле, забывали все и начинали играть плохо, хотя знали, что за вами с трибун и с экрана телевизоров

наблюдают тысячи и миллионы зрителей, в том числе нашего города. Приведу примеры. Вот, например, наш уважаемый вратарь Саша Каманин. — Ребята кисло заулыбались, понимающе в как-то устало заборачивались, закивали мне. И я им кивал. Довольный произведенным шевелением от пазванного конкретного имени, пачкоманды после паузы продолжал: — Я ничего не могу сказать о Каманине: хороший вратарь, прекрасный вратарь. Но все-таки голов было слишком много, товарищи. Го-олов было слишком много, товарищи. Я понимаю, что в спорте считается, что вратарь — он не виноват, но так ли считает и сам наш уважаемый Саша Каманин? Какой вратарь не мечтает о сухих воротах? А мечтает ли о сухих воротах наш Саша Каманин?

Я давно уж отчаялся установить, за что он, собственно, ненавидит меня.

Такие люди, как он, и всегда меня ненавидят — есть во мне что-то такое, несмотря на мою обычную молчаливость и мясисто-спортивную внешность. И я особенно и не задавался вопросами, а с самого начала принял отношение Булагина как есть. Не любит, и все, и черт с ним.

Но то, что случайно узнал я вчера, признаться, повергло меня в недоумение — превзошло мои ожидания.

Дело, собственно, было такое: на предварительной тренировке я угольком, попавшимся на вратарской площадке, здорово подарачал икру; закапала кровь, и я пошел в папильно намазать йодом и, может, перевязать.

Я вошел в нашу комнату; за фанерной перегородочкой разговаривали двое «противников». Вся команда еще не приехала, эти же были тут и судачили в ожидании.

— У них главное — этот их друг, Каманин, — была первая же фраза, которую я усек; я в удивлении приостановился со скляпкой в руках.

Голос мне был знаком. Мы редко играли с этой командой — разные зоны и группы; встречались мы только в кубковых матчах. Но как-то так повезло, что это бывало все-таки не один раз и мы относительно знали команду, хотя знали и то, что всегда ей проигрывали... Этот малый был левый из двух резко выдвинутых вперед форвардов — центрального и вот слева; третий — справа — играл чуть сзади и ближе к полузащите... Я потому и узнал голос, что малый вечно толочся у самой штрафной, попадал в офсайды, спорил с судьей и вообще был криклив; его высокий,

слегка горловой, гортанный вопль «кота» с окраины пепзменно звучал у ворот и даже казался знакомым с детства. Нападающий он был опасный, не столько мощный, техничный и с сильным ударом — бить он как-то вообще не был, — сколько ловкий, вертлявый и хитрый, что ля, — иного слова я не найду. Он то и дело был рядом со свалкой, готовый молниеносно схватить унущенный в суматохе мяч; он подстерегал тебя, вратаря, когда ты стучал мяч об землю, надеясь, что как-нибудь ты отпустишь его — мяч — подальше; он угорьком петлял у ворот, норовя обвести, обмануть ложным замахом, финтом или просто толкнуть вдруг щечкой. а то и пяткой — вот именно, не забить, не ударить, а пропихнуть, протолкнуть тебе мяч за штангу. Я до смерти не люблю таких нападающих; мое коронное — это бросок на удар, или резкий выход в штрафную на верховой, или крепко ведомый мяч; всякая мелкая игра па первах меня действительно раздражает, а иногода и «заводит». В такие минуты мы два-три раза имели дело один на один и шепотом обменивались любезностями, за которые судья — только услышь, — пожалуй, выгнал бы нас обоих.

— Ну да, — ответил незнакомый мне голос; видимо, это был их центр, напарник этого малого — Мыльщикова.

— Так вот. Попимаешь, мне подал мысль их этот, как его, друг — Булагин. Вы, говорит, сшибите Сашку, физика, это вам будет легко: он не бережется, когда кувыркается. Ну, он так называет, когда на выходах... А второй вратарь, этот... Кобзев, он труп, он пустой... А я, говорит, шума не подыму. Понял? Я, говорит, шума не подыму. Мое, говорит, при мне, команда — такая, мол, дрянная, как паша, — все равно в финале, это уж честь, какой не видели. А меня, говорит, вот-вот переведут от них. А старший тренер, говорит, мне надоел, его падо спихнуть. На это место давно Дробышев просится, и большие деньги на бочку. Ну, а вы мне, конечно, за скромность и за совет — тоже... Я тебе, говорит, объясняю, чтоб ты поверил. Дело святое. Вот он как!.. А этого Сашку, физика, его давно обделать падо. Ну как?

Я с напряжением ждал ответа его товарища.

Сложное чувство было в душе: бешепство боролось с особой печалью.

За что эти сволочи меня непавидят? Отчего это у меня всегда, всегда так в жизни? Я не герой, конечно, но я никому не делаю зла, а добро иногода и делаю.

Так почему же я вызываю злобу одним своим видом, одним своим взглядом, одной манерой походки и разговора...

Видимо, что-то такое есть во мне. Всегда было.

И в краткие эти мгновения свежая, буйная, тяжкая злоба все больше и больше брала во мне верх; ответ его приятель «да», я вбежал бы к ним в комнату и обоим разбил бы морды. Благо росту во мне сто восемьдесят пять, и я вратарь — человек мышиц, — а не паскудный форвард, который только и имеет, что громкий удар ноги; да этот и бить-то не может, а только петлять.

— Ну, пет, — отвечал товарищ, впрочем, довольно спокойно. — Это-то не по мне. Да и ты уж брось, я тебе советую. Играть надо, чего там...

— Эх, шкура!

— Но-но!

— Не продашь?

— Да не, чего продавать! Только я не советую, ты смотри...

— Это дело мое.

Они, грохая бутсами по дощатому полу, вышли из комнаты.

Я задумался.

Надо было пойти и сказать товарищам, по strapное чувство удерживало меня.

Мне казалось, что этим рассказом я удалю какое-то... целомудрие, ясность, сопутствующие сегодняшней игре. Не знаю, может, собственные свои ощущения я переписал на всех? Не знаю, не знаю; но пет. По-моему, нет. Это было общее.

Никогда мы так чисто, так ясно, до боли радостно и поюще не чувствовали себя командой, тем братским, волнующим, пусть и маленьким целым, по которому так давно стосковались наши еще молодые спортивные души. Все эти наши игры, весь этот выход в финал — все это было своеобразным разговором нас с тренерами против Булагина и других. Нас спаивало благородство дела, которое мы затеяли. Все это нечто большее, чем команда, — как и сам футбол давно уже нечто большее, чем спорт. Город не знает ничем, кроме двух-трех закрытых заводов, коими и похвалиться нельзя: па то они и закрытые. И вот возникает команда. Сначала играет так себе, потом лучше. И вот — занимает второе место среди команд класса «А» второй

группы, той, нашей зоны. Смешно и неловко признаться, но я чуть не плакал, когда, никем не узнаанный, проходил после той последней, выигранной нами, игры мимо ворот стадиона. Пожилые и пьяненькие болельщики, у которых одна и радость-то — в воскресенье на матч, целовались у запертых на замок ворот и перил, и не расходились, и все гудели, гудели, гудели; и, грешный человек, с наслаждением я услышал: «А этот-то, физик-то... Каманнин, вратарь? Мо-ло-деццц! Мо-ло-дец! Как он тот-то... под плашку...» И знал я, что страсти футбольные эфемерны, что после проигранной игры все те же дедки будут клясть меня на все корки, — а все-таки было и хорошо.

И впоследствии убедился я, что не так уж просты дедки. Команда проигрывала и проигрывала, и нас накручивали и накручивали, и Булагин все изгалялся да изгалялся над бедными мопси прыжками и выходами; но Меньшиков-то и я-то знали, что я играл хорошо, — но что же я мог поделать? Вратарь — не команда... команда без дельного вратаря — не команда, но и вратарь один — что ж... И мучило это чувство: «И что же? Весь город считает, что я...» И пошел я к перилам... И ораторы у ворот нет-нет да и говорили: «Каманнин, он что ж... он стоит хорошо. Хорошо стоит, ничего не скажешь. Вся суть не в нем».

А в команде сломалось что-то. От непрерывных накруток многие дурели; все было ясно, все было понятно, а выйдут на поле — смерть, да и только. Не клеится... нет команды, хотя впроки как будто и есть. Футбол — он ведь без обмана.

И росло озлобление и решимость.

Оно началось с середины лета. Мы к тому времени проиграли несколько матчей на первенство. После очередного проигрыша я еще видел перед глазами это тошнотворное, будто мерцающее сотрясение, колебание сетки у тебя «з» спиной, когда ты оглядываешься и видишь: «тама» — мы сидели в своей раздевалке, слушая уже сдержанный гул расходящегося стадиона и не говоря ни о чем, — мы сидели, и форварды, зря пробегавшие, отводили со лбов липучие волосы и вытирали ладонями пот со скул... как вдруг все мы со страшным вниманием посмотрели на тренера, на своего «светлейшего» Меньшикова.

Пожилый человек, он сидел, задумавшись и остановившись взглядом, и на лице его было написано: «А ну их всех к черту... не дадут позабыться. А жизнь коротка...» Он «ушел» от нас на минуту, но — странное дело — именно

в эту минуту мы все посмотрели... вдруг посмотрели мы на него... и увидели: нет, не дадут забытья.

Мы все ушло переглянулись и не сказали ни слова, но что-то произошло, я думаю, именно в этот миг. А может, мне показалось... я с детства склонен домысливать.

Я не знаю, как родилась эта бредовая мысль — выиграть Кубок. Мы как-то не обратили внимания, когда это впервые было произнесено. Но с тех пор мы жили своим секретом. Мы знали, мы помнили, мы твердили друг другу — мы возьмем Кубок. Мы сделаем городу этот сюрприз. Пусть поорут, пусть поцелуются лишней раз дедки... оно иногда не вредно. Пусть побеснуются старые... да и малые тоже. «Детишкам нельзя в глаза смотреть». Но дело не в этом. Не в этом только дело... Мы не могли это выразить, но мы были счастливы. Именно скрепленные своим странным заговором, своим секретом, мы продолжали игры на Кубок (первые несколько мы еще давно выиграли у «вторых»). Мы выигрывали, но никто не обращал на это внимания. Подумаешь, Кубок! Ну, дойдут до одной шестнадцатой... до одной восьмой... надо делом заняться — первенством. Кубка вам не видать, а хотя б до второго места в зоне, хотя б повторить рекорд трехлетней давности — это дело. Они и не знали, что нам «видать» Кубок. Они и не знали, что мы его выиграем.

И суть тут не в каком-то азарте, не в картежном или рулеточном интересе. Нет, вся и суть-то в том, что не так. Нас обледенило тепло чего-то ясного, благородного, именно благородного, чего-то такого, что мы давно — черт уж знает когда — не испытывали душевно. Мы стали семьей, действительно настоящей семьей, не по названию, а по сердцу. У нас была своя общая семейная цель и секрет — нечто высокое и одновременно такое простое и точное: взять Кубок для города, всех обрадовать.

Увлечение наше вскоре заметили. Нас ругали, к нам придирались за невнимание к первенству, нам ставили палки в колеса, нам перед самой игрой заменяли составы сверху, но все напрасно: мы все, как один, играли как звери и «лабиринты» с солидным счетом игру за игрой. Я сам за четыре матча «проямдил» лишь два мяча. Дело было не только во мне: защита не могла отобрать, так стремилась догнать до последнего, не могла догнать, так брала подкатом, или броском, или влезала уж сзади меня в ворота и выносила мячи головой... дело было не только во мне; но я, и я играл хо-

рошо! Весело и ядрепно играть и жить в такой атмосфере, в такой команде, с такой защитой, с такими людьми...

И — финал. Никто уже не шутил ни в городе, ни за городом. С замедлением сердца все ждали конца этого несобъяснимого, загадочного нашего шествия, у которого ведь и правда не было никаких особых причин!

Никаких особых причин, кроме причин чисто внутренних...

Я не мог никому сказать о решении Мыльникова, нападающего наших противников. Я не мог никому сказать... это бы все погубило. Это бы сорвало нервы, это бы... это... нет, это не могло быть вмешано в то паничное, трогательное и умпльное, что представляла ныне собою наша команда. Это бы все сломило как-то. Я знал, я чувствовал это: бывают такие чувства, которые и несомненны, и точны, и тут же невыразимы.

Да и какую там травму мне сделает этот упырь... подумаешь, испугал!

Пусть стукнет под дых или в косточку, по ноге. Полежу и пойду.

Я все же спортсмен и мужчина.

— ...Я глубоко уверен, что все вы, дорогие товарищи, выполните свой долг. Слишком много стыда натерпелись мы в эти годы. Вы должны отстоять спортивную честь нашего древнего и молодого, нашего любимого города, и общественность твердо уверена, что вы добьетесь решительного успеха. Теперь еще отдохните, а после — сюда, на разминку... и с богом. Ни пуха вам, ни пера.

— Иди к черту, — сказал одиноко Мазин.

Булагин говорил правду, хотя и лгал.

Я сидел на лавочке в тихой аллее. Спало солнце, спало небо, и зеленели липы. Я вытянул ноги, я развалился на спинке и, чуть прищурясь, смотрел вверх деревьев.

И думал я думу.

Дурацкая речь Булагина, не знаю уж как, подтолкнула мое размышление, как бы окончательного прорвала плотину.

Думал я о своей жизни.

Черт его знает, то ль все же нервы немного сдали перед самым последним боем, то ль угнетала меня в душе угроза от этих подонков, то ли уж так разбредила речь перед боем, произнесенная устами Ефима Булагина? То ль началось это раньше и только нынче, случайно, по этим на вид

нелепым п жалким футбольным поводам, вдруг разлилось в душе?

Я, глядя поверх деревьев в синее небо, думал о том, что мне уже двадцать четыре года, что это хорошая пора для вратаря п уже немалая пора для человека. Что жизнь моя — несмотря па то что вся она была правильна, внешне честна п строга, п благополучна житейски п чисто душевно, — что жизнь моя была до сих пор постыдна п отвратительна, вернее, пе столько черна, отвратительна, сколько ничтожна, — о боже, до краски стыда ничтожна! Что падо было вот этой нелепой, папвной п детской истории с Кубком п с этим Булагинным (футболист меня как-то пе трогал — он был для меня невинен в своих потемках), чтобы во мне пробудились мысли п чувства, которых порою стыдятся в двадцатом веке, но без которых пе жив человек, без которых он непормален п обречен на жалкую п ппчтожную гибель. Что я не лучше некоторых, хотя живу тихой, честной, порядочной, правильной, уважаемой жизнью, — физик п сильный спортсмен, мужчина, отец семейства п верный сын; я пе лучше их, ибо я сроден им главным, откуда идет все другое: я сроден им равнодушным ко всему духовному п к той великой идее братства, которая одна лишь п может по-настоящему одушевить п спасти человечество. Что дело пе в том п не в сем, не в отдельных моих поступках, не в том, что я был недостаточно чуток к жене пли выпускал степгазету — выполнял свое общественное поручение — раз в месяц, когда мог бы п раз в две недели; п даже — пе в том — о пет, не в том — что мог бы п с большой душой относиться к своей работе. Все это падо, все это пеобходимо, пеобходимо, но все оно — пе источник, а следствие. Источник же должен быть чем-то иным... он — дух человека, он — братство людей, он — живая душа. Он — горение п... да, Григорыич, наш Паша, — п этот понял сильнее... п этот понял... как огорчился я, когда он сказал: «Работать п всякий может, а тут... другое...» — или как там? Как он сказал? Да все равно, боже мой, я спал п проснулся — я пробудился, недаром я так п пе знал, в чем мое призвание, — а огорчился я потому, что позавчера я не понимал еще, а вот он, он уже... п я п озлился, что он уже понял, а я, а я только силюсь, я силюсь...

Да все ли я понял сейчас-то? Все ли? Но как великолепно... как хорошо мне сегодня. И солнце, п синее, п зеленое — п такой свет, озаренье в душе.

И что мне Ефим Булагин... что все. Мы выиграем — Ку-

бок наш. Это будет светло, и чисто, и радостно. Дело не в Кубке... о, дело не в Кубке... дело в другом: в высоком и чистом.

В другом.

В путь. В дорогу.

Над нами ревел стадион...

Было пять минут до конца. Мы вели один — ноль.

Я стоял... и все худшее было уж позади.

Позади были эти минуты, когда мы пошли, цепенея, на эту разминку, и нас обдало, оглушило дыханием этого доисторического чудовища — стадиона, вместившего больше ста тысяч живых и интересующихся тобой людей.

Кто, если сам не побывал, — кто поймет человека, который выходит на лоно всей этой огромнейшей ярко-зеленой бездны, и двести пятьдесят тысяч глаз, как два глаза, вдруг устремляются на тебя — одинокого черного вратаря, и тысячи глоток одновременно, как одна глотка, кричат тебе что-то ободряющее или презрительное или свистят в сотни тысяч пальцев; и знаешь, что миллионы и миллионы людей в этот миг, зажав дыхание, прилипли к своим экранам — смотрят, смотрят: каков вратарь? Что за странная сила явилась в мире — команда в финале Кубка?.. И жалко, и трогательно болтается на восточной трибуне плакат, привезенный дедками, прибывшими в Лужники на рубль, спасенные от супруги, от пива, — бедный и одинокий плакат, красные, синие буквы: «Мы с вами, ребята! Весь город с вами! Даеть победу!» Весь город... что он такое, город? Он весь уместится, может, в один этот стадион. ...И этот несчастный плакат, придуманный без воображения и без выдумки, заботливо размалеванный грузными пальцами слесарей и станочников и одобренный всеми отделами в бедной местной газете... «Даеть победу!», «Даеть...» Мы сегодня единственная надежда города, единственная его слава в этой громадной, льдисто сияющей и просторной жизни...

Но проходит оцепенение; мы уж знаем, первые десять — пятнадцать минут так и не одолеешь скованность, — но проходит оцепенение, и мы играем.

И мы играем.

Трава зелена и душиста, пахнет свежестью, пахнет соком и жизнью; и, точно огромный живой организм, ревет и гудит стадион; и все его крики, дыхания и ревы — все по закону, не просто так, все как у живого. Промазал фор-

вард — короткий и резкий, оборванный рев. Забрал я, вратарь (или тот, в том конце), — аплодисменты и крики. Грубо сыграл воп Мыльников — долгий и оглушающий, единоутробный свист. Гол забил Валя Слесарев — долгий и мощный, безостановочный рев москвичей, ехидничавших по адресу тех мастеров и, по старой русской традиции, сочувствующих «слабому», то есть нам (а в общем — равнодушных и к тем, и к другим, ибо и мы, и они не свои, и лишь следящих за спортом — за нашей игрой). Свалка у ворот — тоже общий крик, но слабей...

Все это идет задним планом в моем мозгу... я уже привык к стадиону, я весь — игра, а он, стадион, только фон... а я, я — игра и команда... и хрусткое травяное поле.

И все же: кто он, кто говорит, что футбол — пустяк? Кто он, не видевший этих тысяч и тысяч на этих трибунах и этих миллионов и миллионов у телевизоров, не слушавший этих упругих, как вал океана, раскатов грома в чудовищной чаше, вбухшей и перекрученной трепетным электричеством?

Кто бы он ни был, ему не понять двадцатого века, а я в сердцевине его, пусть п... пусть п...

Но пять минут. Пять минут до конца. И непрерывно, ведь непрерывно же, сволочи, сидит на воротах.

Многое уже позади.

Многое уже позади.

Я помню этот проход вертлявого Мыльникова вместе с тем, с его товарищем. Слава-«чистильщик» прозевал того центра; ему вдруг выдали точно на выход к кругу штрафной, и он рванул от Славы и Вити еще до того, как мяч ушел от погн пасовавшего, и двое папых других ребят стали зашпандельными столбами слева и справа от обеих боковых штанг, не догадавшись ни посадить нападавших в оффсайд, ни напасть на них, — и они приближались, перепасовывались и воровато поглядывая на сетку мимо меня, и так и не ясно, кто будет бить; и в момент, когда Мыльников, уже вблизи от вратарской, вдруг отпустил мяч на полметра дальше, чем полагалось бы, я вдруг выбежал, и накрыл его, белый с черненьким и родной, и повернулся к ногам спиной... и Мыльников с ходу перелетел через меня — и упал так неожиданно, так пеловко, что стукнулся лбом о землю... и земляные и травяные — зеленые — пятна расплылись по потному лбу. Я уже встал с мячом и с улыбкой смотрел на него, еще жалко лежащего. И увидел в ответ взгляд «кота» и «флксатого»... И пошел я к углу вратар-

ской, и из-за сетки, из-за ворот, на меня молчаливо и тихо глядел Булагин: я вдруг оглянулся через плечо навзгляд...

И — о боже! — был и одиннадцатиметровый. Казалось, уж это слишком: игра, и фипал, и Кубок, и один — поль... и еще одиннадцать метров: Сережа Архинов по выдержал и схватил руками, когда мяч перебросили через меня и он опускался в пустые ворота. Принять на голову у него не хватило духу.

Я не забуду Сережи, когда он в последний раз взглянул на меня, отправляясь за линию штрафной и будто бы покидая меня на резиновой лодке посреди моря. Все были уже за линией, и только Сережа медлил... и вот посмотрел еще раз. Он не был ни в чем виноват, этот добрый, выносливый, работающий парень, револьверщик с «Электростали», любитель кошек и снегирей. Он стеснитель, он боится моей образованности, он суеверно чтит слово «радиофизика», он не решится обматерить, даже когда я достоин того, и от этого бывает и тяжелей, чем от воплей Олега Тригорина, капитана и организатора полузащиты. Я с Сережей чувствую себя чужим и неловким, мне стыдно его поклонения, его смущения...

Но тут, уходя, Сережа бросает последний взгляд, и я вижу его простое лицо с округлившимися глазами, и он говорит, как равный, густо и взросло: «Держись же, Сашка».

И я стою.

Вот он, мяч, — почти перед носом, литой, будто деревянный, коварный и твердый ком. Все тело, душа моя, сердце — в глазах и в готовых колеях, играх. Но эти ноги и тяжкие руки — на заднем плане, все дело не в них, они сами — они готовы, все дело в глазах. В глазах! В глазах!

И я один — и нет никого, я один — команда внутри меня.

Он бежит, он бежит, этот центр, этот товарищ Мыльникова — он, как его? — это босц... у него не коварство, нет, — у него удар.

Он бежит — вот он, мяч, — и последнее, захлебывающееся, мгновенное чувство ворот — до чего огромны, до чего высоки, и как близко литой, деревянный мяч... и все-таки эти ворота — они с тобою одно, да, одно... они — твое тело, продолженное вверх и ввысь.

Вот... удар!

Но нет, еще прежде чем он ударил, я уже вижу, куда летит. Мои глаза, мои руки и ноги видят. Он не летит еще, он стоит, этот мяч... но по разбегу, по всей мапере и пово-

рогу поги, по развороту, посадке таза, коленей, корпуса пабегающего я вижу: сюда. Сюда. Конечно, в нижний и левый. (Вот сволочь... хороший бы мяч — на уровне пояса: самый хороший. И вечно «эффектно» — плоский бросок в воздухе, — и брать хорошо... но эти внизу!) Но в тот самый момент, как пога еще только касается, пе ударила, нет, еще трогае, только чуть цепляет молекула за молекулу мяч, я уже там... я там: пе телом, а всею душой... Мое тело большое, тяжелое, и летит оно медленней, чем этот дьявольский, и тяжелый, и легкий шар, — пе в тот миг, как он там, я там тоже... И все-таки я бы, конечно, и пе успел, ударь он действительно в угол. Мяч весь свистит над самой землей за метр от штанги, и в своем полете я слышу его этот свист, и я успеваю пресечь его — ладони осушены сквозь рукавицы; схватить я его пе могу — слишком сыльно и близко; он отскочил, все бросаются... пе теперь ници ветра в поле: уж пабежавший паш форвард Миша Стрельников на радостях запулил этот мяч куда-то в трибуны... Встаю, и меня слезливо целует Сережа. Смотрю на него: и верно — у мальчика слезы текут по щекам.

И на мгновенье мне стыдно — стыдно, что пет моих слез.

И в тот же миг меня посещает спокойное, властное и твердое чувство: то, что я делаю сейчас, в этот миг, в этот час, — что это есть самое важное и что все пустяк, суета и ничтожество перед этим... плачущим, перед этим братством и благородством.

Все было... все было уже! А этот! А этот мяч!

Я стоял ближе к штанге, я ждал, что он сам ударит — тот дюжий полузащитник... а он, занеся уже ногу для «оглушения» по воротам, — он вдруг спасовал, передумал (я видел, что это пе фпнт, что это, как часто бывает у высшего к воротам в трудной игре, просто боязь удара, страх ворот) — и передал в центр, направо. И эта его боязь, этот страх чуть не стоял нам великолепной «плюхи под штангу», ибо «рвавший» на всех скоростях по центру все тот же центр вдруг с ходу, с прямого, так шматапул по воротам, что Слава мой (это уж после я впжу) даже присел и схватил колени... я ж боком, затылком, спиной почувствовал, какой это страшный, тяжелый мяч. Дело в том, что пас был настолько резок и удар так мгновенеп, что я пе успел повернуться к центру всем корпусом; тут же моя душа, мое тело поняло, ощутило: я уже должен прыгать... вверх, прямо, пе ждать; я прыгнул, надрывпо поджав коле-

ля и перегнувшись весь позвоночник назад, — и, изломив в полете все тело, судорожно, отчаянно я задел, я чиркнул верхними суставами пальцев оттопыренной в сторону от полета руки по мячу, и, срикошетив, оп, задев верхнюю планку, ушел, улетел по своей угловой...

И сколько их было — ударов, и выходов, и бросков... и сидят, сидят, сидят они на воротах. Берет их техника... ребята же бегали, бегали беспрерывно, а теперь уж не могут. Теперь уж не могут — я последний. Я последний, кто еще на ногах и слеп в бою...

...И — кто знает? — не будь я на той скамейке, не будь этих дней, этих... может, я не был бы, не был бы на ногах. Может, я...

Вот он.

Ведь пять минут.

Пять минут!

Уже четыре минуты!

Но вот он.

Идет, экая сволочь!

Идет. Один.

Поспешает весь мокрый Сережа, поспешает и Витя, по им уже не догнать. Опять только я — один. И он тоже — один. И он — с мячом, а за мной огромнейшие ворота — вполнеба.

Он продвигается медленно, он не отпускает уже мяча. Он павелик, он щупл, по ловок и так хитер, он видит, что т с м — не успеть... а я, махина, пеловкая груда костей и мяса, — что я могу? Это видят лишь я и он — я ничего не могу.

И тут я бегу навстречу — бегу перасчетливо и гораздо раньше, чем он мог ожидать. Хорошие вратари не бегают на таком расстоянии к одинокому форварду: спокойный удар мимо ног или даже — хуже того — о позор! — флит, обвод — и ваших пету. Но я знаю, что делаю, и я прав. Он растерян, не ожидал: он знает, я опытный, «злой» вратарь, и я не позволю глупостей. Но тут нужна именно глупость, и я делаю ее; он же теряет секунды — и вот наказан: когда он наконец собирается бить, я как раз падаю на бок перед мячом, и мяч попадет мне в грудь... вот он, мяч. Без обмана.

...Футбол не терпит обмана. В нем невозможен обман...

...Стальные гантели...

Мы знаем двое — лишь я и он, — что он делает.

В этот кратчайший миг судья не видит — товарищи да-

леко,— а мяч уже вот он, и только он, только он это видит, что мяч уже вот он — прижат к груди.

В тот же миг он пивает меня, лежащего, под грудь... вот он, мяч. Он уже прижат. Но всем, видимо, кажется, что он бьет — или хочет ударить — еще по мячу, не по мне. В крайнем случае, примут за перасчетливую, злую ошибку. Лишь я и он знаем, что бьет он по мне.

И я счастлив — все не узнали и не угадают. Они не узнают правды, но все же футбол — да, футбол без обмана. И Кубок наш — невозможное совершилось.

И все это вадор — и ребята, и Кубок... Главное — радость... радость, и свет, и сиянье в душе.

# Одежда Тенчар



Таксист был явно не в духе. И небрежная поза, в руки, державшие руль вроде неохотно, в кислое выражение лица с недовольно оттопыренной губой — все будто говорило: павязали мне этого пассажира, да еще в субботний день. Какого лешего он взялся на мою голову? И вообще что это за поездка, спрашивается? Что он забыл в той бездорожной глубинке, в промокшем под осенними дождями селе? Пассажиры такого рода чаще всего и донимают тебя своими капризами, корчат недовольную мишу при каждой зажженной тобой сигарете, а потом еще заставляют тебя ждать, пока сами где-то там лясы точат. А сегодня хоккей, как бы не получилось так, что место твое весь вечер будет пустовать у экрана телевизора.

Когда девушка-диспетчер с подведенными зеленою глазами давала ему этот наряд, она, видимо, не сомневалась, что облагодетельствовала его:

— Артиста повезешь!

— Это что, честь?

— А то как же! Может, другого такого случая совершить почетный рейс, скрасить свою серую жизнь тебе и не представится...

Пассажир, которого предстояло везти, производил скорее невыгодное впечатление. Взглянул на него таксист, когда он вышел из гостиницы, и сразу сказал себе: пу, с этим не повеселишься... Анекдотиками не поразвлекает тебя. Забьется в угол на заднем сиденье и будет сопеть всю дорогу. Шалочка на нем пирожком, наподобие дамской, пальтишко кургузое, лицо закутано шарфом до самого носа, острого, птичьего, и весь вид у него такой, вроде он вот-вот

собирается чихнуть, этот твой случайный товарищ и брат. Сухощав, чуть сутуловат, а в руках цветы в целлофане, роскошный большой букет живых роз, он их бережно прижимает к груди... Где он раздобыл эти розы сейчас, поздней осенью, когда и листья с деревьев ветрюга уже пообрывал?

Запав место в машине, пассажир поздоровался и, обращаясь к таксисту, вежливо спросил, хорошо ли знакома ему, водителю, предстоящая дорога. Получив утвердительный ответ, он уснокопился, утопил подбородок в свой клетчатый мехеровый шарф, — видимо, собрался вздремнуть.

Только выехали за город, как таксисту сразу же захотелось курить. Это у него вроде бы привычка со временем такая выработалась: когда случалось везти дальнего пассажира, особенно из тех, кто, поддавшись агитации, бросил курить, рука непроизвольно тянулась к сигарете. Ощущал просто-таки острый никотиновый голод. Вот так и в данном случае. Могла бы, конечно, сейчас возникнуть на этой почве словесная перебранка, однако пассажир оказался терпеливым, он только кашлянул сдержанно, дав таким образом понять, что к табачному дыму голосовые связки его непривычны, по стоит ли обращать внимание на каждое покашливание пассажира? Не зря говорится: на всякий чих не издравствуешься... Когда же таксист на минутку опустил стекло, чтобы выбросить окурок, пассажир замевелился, заерзал на сиденье, забеспокоился, видимо полагая, что стекло так и останется опущенным... Ну и привередник же попался тебе по случаю субботнего дня: все ему не так, все не по нему... Отправлялся бы тогда лучше автобусом на общих основаниях, там бы ему бока хорошенько пообмяли...

А день хмурый, с ветром, тучи косматые ползут над самым шоссе, еще и мелкий дождь время от времени хлещет по стеклу. Послеобеденная пора, день еще, а нахмурилось, будто вечер скоро. И куда человеку ехать в такое ненастье и зачем, спрашивается? Сидел бы себе в гостинице в своем теплом люксе или в баре у стойки коктейль тянул бы сквозь соломинку, так пет же — в дорогу понесло, да и поблизкую. К тому же при всем параде, с цветами, словно жених, хотя седина из-под шапочки снегом уже белеет.

Есть поступки человеческие, которые таксист, хоть убей, отказывается понимать. И пассажиров ему порой случай посылает, точно назло, таких, чтобы нарушить устоявшиеся представления о людях, о том, что на свете хорошо и что плохо. Попадается, конечно, и пассажир-единомышленник, но чаще достается такой, который будто специально и са-

дится для того, чтобы досадить тебе или чтобы разрушить, вот как сегодня, все твои плапы на вечер. А ведь после смены должен был зайти приятель, сыграли бы еще и в шахматы после хоккея или навестили соседнее кафе, туда обещали чешское пиво сегодня завезти... И вот надо же! Мысленно таксист послал несколько чертей диспетчерше и, с досадой покосившись на пассажира, заметил, что тот чему-то улыбается: на бледном сухощавом лице его блуждало совсем непонятное водителю выражение блаженства. Что с ним происходит? Чем растрогало его это серое грязное шоссе, обтыканное колючьём голых почерневших деревьев?

Заметив угрюмый взгляд таксиста в зеркальце, пассажир тоже нахмурился и даже отодвинулся в самый угол, чтобы подальше быть от чего-то неприятного. На лице артиста не осталось и следа от блаженства, от той светлой мечтательной задумчивости, в состоянии которой он только что находился.

«Хорош сыч», — мысленно определил пассажира таксист, а вслух спросил:

— Это для кого же цветы?

— Вот надо тут, — отделался коротким и туманным ответом пассажир, полагая, что любонитство водителя неуместно.

Конечно, случись ему водителем более приветливый, душевный, пассажир охотно вступил бы с ним в беседу, человек он был, в общем-то, контактный, легко сходился с людьми, в пути и не только в пути. Тут же с первой минуты, непонятно почему, чувствовалась недоброжелательность, для которой, собственно, не было оснований, однако же на настроении обоих она сказывалась. Следовало бы не обращать на это внимания, но такова уж, видимо, натура у него, чуткая ко всему — и к доброжелательности людской, и к малейшему проявлению неприязни, в особенности такой вот беспричинной, ничем не вызванной, способной, однако же, ни за что ни про что отравить душу.

А путь ведь неблизкий, и с таким вот сычом надо ехать несколько десятков километров, вдвоем, подобно космонавтам, в одной кабине, и все время чувствовать, в отличие от небесных братьев, что вы несовместимы и для своего соседа ты попутчик нежеланный, что для него ты прямо-таки обуза, хотя в конце концов мог бы же этот субъект уразуметь, что он сейчас на работе, при исполнении обязанностей, в что с пассажирами хочешь не хочешь, а полагается быть терпимым, не показывать им своего пренебрежения и своей

невоспитанности... Сколько людей успеет такой бурдюк а смену огорчить своей черствостью, раздражительностью! Никто этого не учитывал.

— Вы, может, пехорошо себя чувствуете? — спустя некоторое время деликатно спросил пассажир. — Может, нам нездоровится? У меня есть таблетки индийские — не химия, из одних травок...

— На здоровье не жалуемся, — буркнули ему в ответ. — Хотя по курортам не ездим. Туда не пробьешься... Жена мне плешь проела: добудь да добудь путевку, и такую, чтобы летом. Но разве же нас отпустят в сезон? Начальник парка на солнышке греться поедет со своей толстухой, а нам снова в январе или феврале...

— Зимой тоже бывает хорошо. На лыжи да в лес...

— На лыжи, — скривился презрительно таксист. — А сами вы побось каждое лето в Варне или на Золотых песках?

— Представьте, что нет. Давненько уже не слышал пепле циркад под кипарисами... То гастроли, то к землякам пригласят. А в прошлом году летом на операцию пришлось ложиться.

— Тогда зачем же, спрашивается, мотаться сейчас по дорогам? — снова озлобился таксист. — И нас гонять в такое несчастье... Сидели бы дома у телевизора с впуками... А вы еще с букетом. На юбилей, что ли?

— Да вот падо тут, — бросил, как и прежде, загадочно пассажир и, словно оскорбленный назойливым любопытством, снова спрятался в свой пушистый мохеровый шарф.

Возможно, таксист даже перестал для него существовать. Отныне, кажется, его интересовало только это серое шоссе среди однообразия осенних полей да набухшие дождями косматые тучи, тяжело проплывавшие по небосклону. Стаи галок выются над придорожными пвами. Машины, преимущественно грузовые, по самые кабины забрызганные грязью, время от времени пересекают дорогу — с поля на поле, с одной проселочной дороги на другую. А навстречу по шоссе, черным дымом пыхтя, грохочет мощный дизель, везет бычков в кузове... Увалень этот, чтобы досадить таксисту, прогрохотал совсем рядом и, обдав гарью, плеснул на такси целую лужу грязищи, аж по всему стеклу мутные ручьи потекли. Выругавшись, разъяренный таксист повернулся к пассажиру:

— Видели пахала? И это люди? Догнать бы его да харей, харей в лужу! Не иначе как в чайной напизался! Хамлюга с водительскими правами!

— Может, это он случайно? — обронил пассажир.

— Случайно? — Таксист еще больше взбесился. — Знаю я этих случайных! Это все ихние колхозные кадры. Все на трассе расступись, когда такой едет. Будто он не на трассе находится, а у себя на поле...

— Видно, вы тут не впервые?

— К сожалению, приходится бывать. То за капустой выскочишь, то за картошкой махнешь в эту сторону, и каждый раз тут какая-нибудь неприятность... Прошлой осенью свекловозы нарочно зажали меня в кювет, до утра пришлось кукарекать.

— Сейчас тоже скользко? — заметно обеспокоился пассажир.

Чтобы его припугнуть, таксист, покрывив душой, сказал, что дорога плохая, а дальше, пожалуй, еще хуже будет, не видите сами, мол, какая непогодь...

— К вечеру, того и гляди, туман будет.

— Вы меня не пугайте, я от природы робкий, — шутовым тоном молвил пассажир.

— Перепугал кто-нибудь? — не появив шутки, заинтересовался таксист.

— Не храбрый, и все тут. Гены, видать, такие, — весело ответил артист. — Где один лезет напролом, локтями да локтями, я лучше повременю. В наши дни это, пожалуй, недостаток, но что попишешь? Зато, сознавая свои человеческие слабости, понимая, что сам не свободен от них, сородичам по планете я тоже стараюсь по возможности прощать некоторые их внутренние «недоходы», как говорят братья белорусы...

— Выходит, вы, артисты, тоже не без недостатков?

— «Кто есть на свете, чтоб был без греха?» — с пасмешкой продекламировал артист.

«А почему же тогда другие так с вашей персоной носятся? — хотел напрямик рубануть таксист. — Чего эта диспетчерша тает при одном вашем имени?» Но промолчал, только повел туда-сюда литой шеей. Хорошо, мол, тебе флюсофствовать. В положении пассажира. А вот очутись ты, человек, в моей шкуре, когда везешь ночью каких-нибудь пропойц из ресторана, а они у тебя за спиной словечками блатными перебрасываются, — того и жди какой-нибудь финику покажет да заорет у самого уха: «Выручку давай!»

Лицо артиста тем временем снова просияло, видимо, от какого-то воспоминания, а впрочем, и повод был: он узнал в лоббине старую дуллистую вербу, знакомую еще с дет-

ских лет, когда гимназистом проезжал здесь с отцом, устроившись в сено на возу... Омела на вербе комьями — словно ворохья гнида — темнеет, не один год тянет живые соки из этой вербы, а верба живучая, все держится — опустила косы свои к самой воде, к полузрелому осокой пруду...

Промелькнула верба дуплистая, под низким небосклоном показалась труба сахарного завода — тоже знакомый силуэт, там на клубной сцене начиналась твоя артистическая карьера... Ах, давно это было! Этот таксист тогда еще и на свет не родился... Темной волной пакатили воспоминания, затопили душу. Любишь ты пивесинный депь, по щемит душа и по тому, что было, что ветрами раавелось. Пусть тяжело приходилось, по какие свадьбы там голодные гремели, какие дисканты да баритоны слышал ты вечерами в этом краю... И как хочетья тебе поделиться с кем-нибудь сейчас пережитым, отлетевшим безвозвратно, поведать кому-то о том о сем. Вдохпопевная молодость, и друзья, и синеглазая первая любовь — все там, там. Светло стало на душе от родного прикосновения к тому далекому, но только взглянул на этого хмурягу, нависшего над рулем, как тут же исчезло желанье делиться тем, что тебе дорого, — какая уж тут исповедь!

Будь за рулем вместо него кто-нибудь другой, ты бы, конечно, не удержался, ударился в лярику, а перед этим... Что ему всплески твоей души и люди, которые близки тебе до сих пор, твоя юность и песни, которые ты вместе с друзьями пел здесь когда-то и которые звучат в твоей душе и сейчас? Разве расскажешь, как уходил отсюда во взрослую жизнь? Как друзья провожали тебя учиться в столицу тогда этим старинным шляхом, где асфальта еще и во предвиделось, ехали на волах...

Ничего не сказал, угрюмо спдел, затаившись, ничем не обнаруживая, что происходило сейчас в его душе. Знал, правда, способ, как пробить эмоциональную глухоту: запеть бы во весь голос, пожалуй, растаяло бы и это мурло, но нет, здесь петь не станешь, хотя душа полна чарами тех давних концертов по вечерам, а после них — горячих признаний в любви, когда девичьи глаза так преданно блестя в сумраке майского сада.

Самый неприятный разговор был, однако, впереди. Схлестнулись сразу же, когда нужно было сворачивать с трассы на дорогу, разбитую, полевою. Вид черноземной, глубоко развороченной грузовиками дороги в самом деле мог ужаснуть.

- Не поеду! Тут и танк не пройдет!
- Премия будет...
- Ни за какие деньги!
- А может, попытаться?
- Да мы там засядем на всю ночь! По уши потонем!

Вы этого хотите? Этого? — дошмыгал таксист пассажира и тыкал пальцем в сторону какого-то «Москвича», что, свернув с трассы, уже по брюхо засел в грязнице. — На это вы меня толкаете?

— Пожалуй, вы правы, — спикшим голосом сказал артист. — Но как же теперь мне с ними? — в удрученно смотрел на свои красные и золотистые розы.

— Выход единственный — возвращаться, — посоветовал шофер, перед взором которого сразу же возник хоккей и батарея пльзенского в знакомом навпльопе. — Подсохнет — тогда дело другое!

— Да когда же она подсохнет?

— Ну пусть подмерзнет! А цветы... так уж ли их там ждут?

Вместо ответа пассажир попросил одолжить ему какие-нибудь веревочки.

— Зачем? — удивленно вытаращил глаза таксист, по потом, покопавшись в багажнике, все же достал оттуда запутанный моток бечевки.

— О, вполне подойдет. Отрежьте мне, пожалуйста, несколько шнурков...

— Такого добра не жалко...

Пока таксист выполнял просьбу, пассажир бережно положил целлофан с цветами на бровку дороги и, взяв у водителя веревочки, принялся подвязывать ими свои старомодные галоши. Подвязывал старательно, крепко, со знанием дела, так, вроде это ему не впервой.

Таксист с ухмылкой превосходства смотрел на странную затею пассажира.

Что за комедия? Что он подумал? Тем временем артист надежно подвязал галоши, осторожно взял свой целлофан с цветами и довольно властно произнес:

— Ожидайте меня здесь!

— Где — здесь?

— Да вот же чайная в двух шагах от нас, там и подождете. Чайку закажете, я скоро, я не задержусь...

И, не дав возможности оторопевшему таксисту собраться с духом для возражений, приветливо помахал ему рукой

и довольно ловко начал спускаться по скользкой насыпи вниз к дороге.

Уже на дороге еще раз оглянулся и повторил почти су-рово:

— Ждите, как условились!

После этого слышно было только, как чавкают, медленно удаляясь, его подвязанные галоши. Нормальный человек вряд ли пустился бы, да еще на ночь глядя, месить такую грязь, разбитую грузовиками, возившими уже не одну неделю свеклу к сахарному заводу, а этот чудила пошел, осторожно ступая между колеями, шаг за шагом уходя все дальше в сумрачные, с пизко нависшими тучами поля, и их по-осеннему пабухшие черпоземы.

Машины посплпсь по трассе туда-сюда, сеялся мелкий дождичек, а таксист все стоял у бровки, наблюдая за страпным своим пассажиром, что оставил его здесь вроде бы в дураках, а сам поплелся в село, чуть виднеющееся из-за холма,— ушел вершить какие-то свои, только ему известные делишки. И в то же время этим своим непонятым упрямым пассажир словно бы предстал перед водителем в каком-то ином качестве, показался более значительным, пезелл на первый взгляд. И, видимо, это что-то более значительное, пе вполне тебе понятное позвало артиста в путь, побудив преодолевать вязкую полевую дорогу. Капризный, хрупкий, всю дорогу в шарфик кутался, всего боялся — и сквозняка от окна, и сигаретного дыма (все, видите ли, бережет свой божественный голос!), а тут вдруг такое отпал! А случись с ним что, с тебя же спросят.

«Да вернитесь же! Простудитесь!» — хотелось было позвать вдогонку, но так п пе позвал, понямая, что такого пе остановишь, пе вернешь до тех пор, пока он не найдет где-то там, среди грязищи, заветное место для своих роз.

Итак, ничего тебе пе остается, как только в чайную.

За прилавком в чайной, что называлась «Василек степной», таксист увидел знакомую свою буфетчицу Гаппусю. Она взглянула на него задиристо, иронически.

— Каким ветром?

— Чертячим. Такой, Гаппуся, невезучий я...

— Скат лопнул?

— Хуже. Навязали тут везти одного типа... Намаялся с ним. Не успеешь стекло опустить, как он уже чихает от сквозняка. С причудами человек. А между тем, говорят, пародный артист.

— Да это же Иван Конопович наш! — взволнованно

воскликнула бужетница, зардевшись от неожиданности.— Такого второго певца не найти! Где он?

— Пешком пошел... В село ему тут надо... Такое оравжерейное создание, а заладил: пойду и пойду. Мне бы золотые горы посулили, я бы не согласился месить это ваше Черное море грязищи...

— Поэтому ты и не народный артист,— засмеялась Ганюся.— Чем же тебя угостить?

Ганюся обращалась к таксисту весьма участливо, может, потому, что в свое время он пытался за ней ухаживать, да получил увесистую затрещину, и, кажется, импено на этой почве они проинклись уважением друг к другу.

Таксист ответил, что сыт, взял лишь бутылку лимонада и понес его к столику в демонстративно вытянутой руке, словно хотел показать присутствующим, какой он образцовый водитель: в дороге спиртного ни капли, одним лимонадом жив.

В дальнем углу чайной шумно ужинали целой компанией ребята с сахарного завода,— судя по восклицаниям, кажется, обмывали чью-то премию; в противоположном углу не торопясь пили чай шоферы из дальних рейсов, и пивка, видимо, они себе позволили, потому что бутылки без этикеток темнели у них под столом. Таксист со своим лимонадом сел посреди зала отдельно, чтобы все отметили его воздержанность.

Однако почему-то ему было не по себе, что-то его беспокоило. Выпив стакан лимонада, он внимательно осмотрелся вокруг, направился к Ганюсе и спросил, склонившись доверительно:

— А как ты думаешь, мой там не заплутает, в степи? Скоро стемнеет, а я же отвечаю за него...

— Да Ивип Конович эту дорогу лучше нас всех знает,— успокоила Ганюся водителя.— Ведь это же дорога к его родному селу. Можно сказать, дорога молодости...

— У него там родня какая, что ли?

— Близкой родни уже не осталось, а мать да отца он еще перед войной к себе забрал...

— Так для кого же цветы, спрашивается?

— О, это целая история. Первая любовь его там похоронена, первая, понимаешь? Учительница, говорят, была молоденькая, да от чахотки рано сгорела... Вот он и не может ее забыть. Какой силы чувство это было, суди сам: он ведь так и остался бобылем. А еще говорят, будто сильной любви на свете больше не существует. Он каждую осень

приезжает сюда, чтобы положить цветы на могилу в какой-то ихний там день... Нет-нет, из нынешних, пожалуй, немногие способны на такое чувство!

— М-да-а-а... Истории,— прогудел таксист, зажигая спичку.

Буфетчица удивленно подняла на него брови:

— Ты что, неграмотный? — И указала ему на табличку у двери: «У нас не курят».

— Извини, не заметил,— сказал он и медленно двинулся к выходу, чтобы покурить на крыльце.

Долго его не было. А когда возвратился, снова подступил к Гаптусе:

— Нету. А сам сказал ждать.

Буфетчица успокоила его и на этот раз:

— Придет непременно, если пообещал.

— Но темнь же...

— Видимо, в школе задержался,— высказала предположение Гаптуся.— Он же над детским хором шефствует, пианино им подарил... А у меня тоже от него подарок,— улыбнулась она,— к свадьбе прислал нам пластинку со своей записью, я сю уж так дорожу... Она у меня и сейчас здесь. Мы только по большим праздникам ее прослушиваем. Боясь, чтобы не стерлась.

Подождал один из тех парней с сахарного завода и, бесцеремонно отстранив таксиста крепким плечом, обратился к буфетчице:

— Еще соленых огурчиков и пару шампанского.

Таксист ухмыльнулся насмешливо:

— Соленые огурцы и шампань — ну ты даешь!..

— Вас не спросил,— отрезал парень.

— Спокойно, спокойно, не заводись,— сказала Гаптуся.— У нас не скандалят.

Таксист, однако, чтобы показать, что обиделся на этого грубияна, сердито закурил сигарету и снова направился к двери — удалился еще на один перекур.

Стоял на крыльце и все вглядывался в дорогу, уже утопущую во тьме, с досадой и беспокойством ожидая, не появится ли оттуда тот, кто причинял ему столько хлопот. Ведь и в самом деле, если что с ним случится, сирота гибя, почему не попытается пробиться, не доведет пассажира до места, почему бросил человека на произвол судьбы. А ведь если бы сильно захотел, можно и пробиться, не все же застревают, как тот «Москвич», и мотор у тебя надежный, только что из ремонта.

На террасе чайной послышались чьи-то шаги, таксист бросился было туда, но оказалось, что это сторож, — прихлопнувшись к стене с подветренной стороны, он тоже курил в одиночестве.

— Это вы Ивана Кононовича ждете? — спросил сторож.

— Его, угадали.

— Ох и намучится, бедолага... А человек-то какой...

Послушав, как на одном из грузовиков полощется на ветру сорванный брезент, таксист снова зашел в чайную, сел у своего недопитого лимонада. На вопрошающий взгляд буфетчицы только головой мотнул: пету, мол. Неизвестно, как теперь и быть.

Вскрости артист, однако, появился. Вошел на крыльцо в сопровождении двоих земляков, с зонтиком, которым его снабдило родное село. Земляки тут, на крыльце, с ним и распростылись, — видимо, куда-то спешили, — а Иван Кононович в тамбуре долго чистил венником обувь, наклонясь, соскабливал палившую грязь и только после этого зашел в зал, подтянутый, стройный и точно помолодевший. Поклонился, будто со сцены, в одну сторону, в другую, затем подошел к буфету:

— А корчмарочка наша все цветет. — Улыбнулся Ганпусе, и она, вспыхнув, вроде и в самом деле расцвела на глазах.

— Напугали же вы нас, Иван Кононович, — сказала она параснев, — в такое ненастье пойти по бездорожью...

— Среди земляков не пропадешь, — не без похвальбы сказал Иван Кононович. — Они же меня, представляете, трактором доставили к самой трассе.

— Молодцы земляки, — заметила Ганпуся.

— Честно говоря, мне даже неловко было, что трактор посылают ради такой, как я, многогрешной особы...

— Молодцы, молодцы, что и говорить, — подтвердила свое Ганпуся. — Чем же вас согреть, Иван Кононович?

— Мороженое есть? — пошутил он. — Представьте себе, люблю мороженое. Хотя почти никогда не могу позволить себе этого лакомства, ангины боюсь...

— Я знаю, вы чай крепкий любите. Или, может, чего-нибудь покрепче? — лукаво повела бровью буфетчица. — У меня выбор... Так как относительно того, чтобы покрепче?

— Эх, корчмарочка, не искушай! Нам вот с ним, — он кивнул в сторону таксиста, который стоял уже рядом, — в дороге приличествует воздержанье... Итак, чаю, Ганпуся...

Вы не возражаете? — обратился к таксисту, и оба заняли места за тем столиком, где перед этим сидел таксист, скупая над своим лимонадом.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — усновосенный возвращением пассажира, молвил таксист и горделиво окинул взглядом присутствующих: глядите, мол, с кем я чаи распиваю, каков у меня пассажир...

Гавнуся принесла чаю такого горячего — рукой не дотронешься, а на блюдечке — душистые ломтики лимона, — где она его тут раздобыла?

— Пейте на здоровьице, Иван Копонович, ведь промерзли, пожалуйте?

— Да мне жарко даже, — по-молодецки расстегнул оп свое пальтишко, откинул шарф, так что стал виден на шее галстук-бабочка. Бабочка эта Гавнусю почему-то всегда правилась.

Чашечки совершалось неторопливо, таксист теперь уже лккуда не спешил, готов был сколько угодно сидеть в этой корчме на виду у людей, в обществе такого почетного пассажира.

Пока Иван Копонович согревался чаем, ребята с сахарного завода поглядывали на него с выражением явной симпатии, с чувством почтения к своему славному земляку. А когда артист отодвинул пустой стакан, намеревалась встать, хлопцы вмиг подскочили к буфету, и один из них, рослый, с буйной шевелюрой, подмигнул Гавнусю: а ну, какой ты сюрприз там приберегла?

Буфетчица, похлопав за портьерой, включила проигрыватель, и на весь зал полилась песня:

Сміються, плачуть солов'ї  
І б'ють піснями в груди...  
Цілуй, цілуй, цілуй її,  
Знов молодість не буде!

От высокого, необыкновенно красивого тембра голоса на всех повеяло весной, роскошью звездных вечеров, взгляды всех присутствующих обратились к нему, к своему народному артисту.

А он, уже собравшись уходить, остановился у порога и, задумчиво склонив седую голову, грустно слушал себя далекого, того, что оттуда, из молодости.

В гурьбе парней стрельнуло шампанское, и тот же самый, рослый, с буйной шевелюрой, шагнул вперед, протянул артисту полный доверху, пенящийся бокал:

— Уважьте, Иван Конопович, не откажитесь, пожалуйста...

Артист внимательным взглядом окинул хлопцев, взял бокал; обращаясь ко всем, негромко сказал: «Будьмо!» — и выпил до дна. Сделал прощальный жест рукой, снова, как со сцены, поклонился в одну сторону и в другую, улыбнулся Ганнусе: «Спасибо, корчмарочка, за все», — и вышел вслед за таксистом на крыльцо.

Во дворе, прежде чем сесть в машину, он, заматавшись шарфом, постоял еще минуту, прислушиваясь к певню ночного ветра в верхушках деревьев.

Уже в машине таксист подал ему какую-то дерюгу, сказав несколько смущенно:

— Плед вот тут у меня, возьмите, ноги закутайте...

— О, это кстати, — ответил артист, и после они какое-то время ехали молча, погрузившись каждый в свои мысли.

— Скажите, — вдруг нарушил молчанье таксист, — а вы могли бы вот здесь что-нибудь исполнить? Хоть потихоньку?

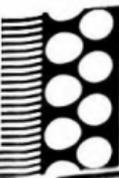
Артист ответил не сразу. Какое-то время думал, вроде решал что-то серьезное.

— Что ж, если желаете, — молвил он наконец. — Судьба артиста — петь для всех. — И поправил себя: — Для всех, кто способен слушать...

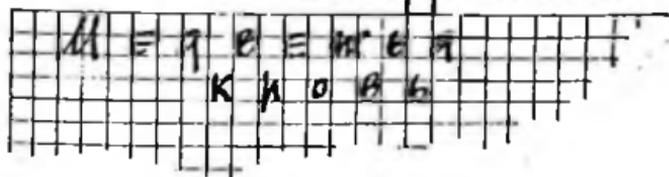
Пел он негромко, но с большим чувством, и чудилось, что песня эта адресована кому-то далекому:

Цлуй, цлуй, цлуй її,  
Знов молодість не буде...

В свете фар навискоь летел дождь, кажется, даже со снегом.



# Виктор Астаурьев



В конце прошлого года довелось мне с попутчиками пробраться в верховья реки Малый Абакан. Дивные его красоты я описывать не стану, потому что местам абаканским миллионы, а может, и миллиарды лет, слову же нашему — всего тыщи, и, как ни вертись, как ни изощрайся, слабо оно и зачастую бессильно отразить могущество и дух природы.

Ввысь уходят громады гор, одна накатывает на другую, широким плечом, скалою голой или утесом держат горы кручи над рекой. В небо вздымаются увалы, над увалами сипеют аккуратно сметанными стогами сопки, очесаиные с боков вешними потоками, грозowymi ливнями. А дальше дальше, верхние сопки похожи на праздничные куличи, облитые белым и сладким. Там, в вышине, в позапрошлом непогожее лето не растаяли, пролежали до новых холодов снега. Утрами плотно залегали над ними густые туманы и облака, отгораживая собою крутые дали и вовсе уж холодные выси, запредельные для глаза и ума, доступные лишь дикому зверю да вертолету. Душу леденит недоступностью и пеновластностью этих далей, и кровь замирает, когда пытаешься представить, что там, за ними, за этими задумчиво-надменными громадами. Наверное, другой свет.

Берега и склоны гор над Абаканом и по Абакану беспрерывно меняются, вода задирает нос лодки, упирается в нее, хлещет волной и брызгами в перекатах и на порогах — не пускает вверх река, не дает ходу лодке. Но ревет мотор, грызет воду, хлопает носом по волне — разве железо удержит и осилит?!

По склонам кедрячи, кедрячи. Старых мало, все больше молодые. Редко взойдется сопка островерхим ельщиком и

пихтачом, сверкает распадок или пологая покать белоствольем берез, к ручьям и буйно вырывающимся, одичавым от завалов и каменного удушья речкам жмется черволесье с там в сям вознесенным над ним вдвоим раскидистыми оспами. И обязательно на отбитой от леса, отчужденно растущей ели или пихте черпает птица, чаще всего это ворон или каюк. Сидит окаменело, дремлет или о чем-то думает неторопливую вечную думу. Спугнутый звуком мотора, вдруг раскинет старый хщпик широкне крылья и властно закружит с недовольным ворчаньем или криком над тайгой, забираясь с каждым кругом все выше, все дальше, в доступные лишь ему глубины неба.

Лес по склонам гор смотрится как бы стоящим в грязи, загустелой, повитой жилами и жгутами белой и рыжей пепе. Но это не грязь и не пепе, это крошево древних вулканических лав. Когда-то давно, но для природы совсем недавно, выгорел таежный слой земли. Слой тот на крутых обвалах и склонах удерживали, сцепившись друг с дружкой, кусты, подлесок, мхи и травы, по ним черпичник, брусничник, колдовской бадан, праздничный багульник, неприхотливая акация, пенный горный таволожник и шипица, марьян корень и богородский корешок — лесной ландыш; даже двульстая заячья капуста держала в корешках комочек земляцы и сохраняла его, а он ее.

Все съел огонь, все спсеп, обратил в пепел. Однако воспрянули ростки из земных глубин, из корней, глубоко и крепко вшившихся в землю, но камень держать некому, и он сыплется, сыплется по склонам, ползет темным потокам, издали похожим на грязь, и его пытаются остановить, закрепить все те же слабошерстные рыжие мхи, упрямые травки, стойкие цветки, зацепистые кустарники. Где-то там, в завалах камней, растет загадочная ягода кызырган, похожая на красную смородину, но двух она цветов — красная и черная, и, когда ешь ее, по пальцам сочится красная влага, которая даже мылу не дается, от рубах и совсем не отстирывается, влага эта резкая, кислая, вселяющая в тело силу и уверенность в здоровье.

Ах, кызырган, кызырган, надежда паша! Уловать приходится уж на такие дрова, как ты, может, всем кустам, всем ягодникам и деревьям дапо будет укрепиться на каменной земле, да так, что не выдернуть, не свести живучие корни никакими техническими и химическими силами, а соку и силе в них прибудет от сопротивления прогрессу, и будет он такой крепости, что даже чахущее

человечество взбодрится, отведав его, а может, даже поумнеет, образумится и перестанет пилить тупой пилой педоумия сук, на котором сидит.

Местами камень укрепился: где до колен, а где и до пояса стоящие в нем кедрячи пачали организовывать вокруг себя полянки, уже и зеленые продухи там и сям видны. Но в камнях, в осынях под камнями сочатся вешние или ливневые воды, подтачивают коренья, смывают слабую крепь, и тогда с долго не умолкающим гулом, гибельным треском, пабирая стремительную силу, каменная лавина обрушивается, пизвергая все на своем пути. С последним стопом гибнут в лавине звери и птицы в гнездах, кричат и по-птичь плачут взмывшие в воздух из засидок или от выводков пернатые матери, скорбно хрустит ломаемый лес, соря обломками, щеной и корьем, рушится он вниз, в реку.

Лескат в Абакане глыбы и плиты, будто после взрыва, торчат из завала вершины деревьев, скомканые кусты, обглодаанными костями белеют переломанные, пскореженные стволы деревьев, и, упершись в завал, ревет, пенятся, бьет повую дорогу пль с шумом валится на другой берег и без того непустовой, без того обвальный, извпльстый и яростный Абакан.

Но вот галечная коса пестрым, остро загнутым куличпным крылышком раздвоила Абакан на Большой и Малый. Большой, как ему и положено, мощнее Малого, но Малый поровнистей Большого, и павиа лодка еще выше задралась носом, еще громче и патужней захрапел мотор, одолевая кручи взбешенной, к брату своему рвущейся реки. Здесь, при слиянии двух рек, в уремной, густолесой пойме стойбище старообрядцев Лыковых, вдрут сделавшихся знаменитыми на всю страну. Помимо журналистов рипулись в тихое, потаенное становище разные люди, жаждущие зрелищ и развлечения. Привела сюда изможденный, пзъеденный комарами отряд беззаветно предавшая своему делу ппропервожатая — экзотика так уж экзотика! — чтоб дети разом и навсегда усвоили: учеье свет, а пучеье тьма.

«Зайдем!» — показывают рукой в глубь густолесья спутники, старающиеся развлечь меня чем позанпмательшей.

«Только меня там и не хватало!» — перекрывая гул воды и рев мотора, ору я. И хотя голос относит и глушит, спутники поняли меня и успокоились. Один из них, местный

окурвалист крепкого и несуетного пера, был у Лыковых не раз и не два. Остановливался у Лыковых еще в пятидесятилетние годы один из организаторов здешнего заповедника, умный лесной ученый и писатель Алексей Александрович Малышев, ныне проживающий в Теберде. Но ни журналист, ни писатель Малышев не сотворили сенсаций из деликатного материала, писали о житье-бытье Лыковых без «страстей и ужасов», писали осторожно, не засвечивали их, как кротов, которые, будучи вынутыми из земли, на свету просто-напросто погибают.

Свежие могилы возле лыковского стапа да будутглядным уроком и укором всем, кто любит блудить погами по лесу, пером и словом на бумаге, помнить об этом, дабы трагедия Лыковых не повторилась нигде более, а если уж так хочется новоявленным филантропам помочь людям, берись указать деревни поблизости от Москвы или хотя бы в той же современной России, где многие семейства, в особенности старые люди, нуждаются в неотложной помощи, внимании, порой и в защите.

Наша лодка прошла еще один пережат и устремилась в узенькую протоку, где попрыгивала мелкая вода по скользким камням, и, скребиув раз-другой по дну винтом, ткнулась в камни носом, ткнулась и замерла.

И такая тишина окружила и овеяла нас, что все мы какое-то время сидели не двигаясь и как бы не веря, что кончился встречный шум воды, что не движется мимо земля с берегами, скалами и лесами, оборвался зов мотора, к которому уже привыкло, притерпелось не только ухо, но и весь ты попал в его власть, все твое, книжно выражаясь, существо слилось с ним и даже примирилось.

— Ра-а-азгружа-айсы! — весело возгласил кормовой и подрыгал затекшими ногами и руками.

Протока оказалась вовсе не протокой, а устьем речки, запутавшейся в чернолесье с местами уже свалившимся пыреем, обнажившим в середине сохранившиеся кусты смородины с ягодой, рясной от ипеев, ее прихвативших, сморщенной п сладкой, что виноград.

В устье речки, в исходе ее, на плешине, очищенной от больших деревьев, стояла, нет, не стояла, жалась прелым задом в бузину, крапиву и мелкий осипник охотничья избушка, открытая для всякой живой души, жаждущей отдыха и приюта.

Одним окном на восход и на реку гляделась эта давно беленная изнутри избушка, пол в которой лежал уже на земле, половицы прогнили по стыкам и в щелях, да еще и мыши поработали под плахами. Печь с плитой, сложенная из кирпича, исцелилась, глина над плитой выгорела, известка осыпалась. На полках, прибитых к стене, лежали оставленные почевальщиками хлеб, соль, сахар в пачках, газеты и журналы «Охота и охотничье хозяйство», «Здоровье» и «Крестьянка», «Огонек» и другие разрозненные издания прошлогодней давности, доступные подписчику отдаленной глухомани. К матице избушки были подвешены два холщовых мешка с сухарями. За печкой теплая лежанка, вдоль стены чары, на них, прикрытый стеганым одеялом, с исподу лохматящимся грязной ватой, матрац, пуховая подушка в заношенной паволочке — все, вышедшее из пользования, моды и хозяйственного обихода, сплавлено расчетливыми хозяйками в тайгу — для пользы дела.

Две керосиновые лампы без стекла, три-четыре стеклянные банки с крошепым, сорным рисом, банка из-под мипта для окурков, удочки в пристрое, растрескавшийся шест над печкой для просушки одежды, гвозди, вбитые в стены. Вот и весь обиход промыслового охотника. И как я представил себе длинную зимнюю ночь, отшельное житье в этом вот промхозом возведенном строении, тоскливо мне сделалось. Но ведь были когда-то избушки и убоже этой, топились по-черному, согревалась изба камепкой, стало быть, собранными по берегу некрупными булыжниками, выложенными очагом, и дым выходил в отверстие в стене или в потолке. И это отверстие — лаз — зачастую использовалось как дверь для входа и выхода. Низкие, топором рубленные избушки почти до крыши закапывались в землю — для тепла; пары из жердей, постель из травы, топливо по норме — все из-под топора, топором же много не пятаюкаешь, железа почти никакого, всюду дерево, и освещение от таганка или от лучины, да если еще в каменку попадет дрсвяной камень и получится очаг угарным?

Ох, модники и модницы всех времен! Если бы вы знали, как достаются охотнику пышные, роскошные, в царяц и неприступных красавцев вас обращающие меха, так может, шкуры зверья и не пялили бы на себя и приветствовали бы пауку и прогресс, одевающие нас в искусственные, муками, смертью и кровью невинных зверушек не

оплаченные наряды, тем паче что зверушек тех в лесу, да и самого леса на земле остается все меньше и меньше.

Хозяин этой избушки поднимается сюда на лодке или будет заброшен вертолетом через полтора-два месяца, с собаками и грузом. Ему все же легче жить и работать, чем его предку. Перед избушкой толстенный, коренастый пень, две плахи, вытесанные из кряжа, положи их на пень — и стол готов. Есть и сиденье, есть и дрова — где-то в бурьяле ухоронены безопла, канистра с горячим, топор, сети и все ценное, так необходимое охотнику для работы и жизни в лесу.

Кормовой знает хозяина избушки, промысляющего здесь, толковый, говорит, мужик, но очень любит лежать в тепле, пусть и в угарной избушке, неохота ему подмазать печь и побелить избушку, горазд порассуждать о мировых проблемах и большой политике, но не жадец, в лесу не сорит, к людям приветлив, потому и избушка почти на виду. Многие промысловники так уж прячут свои избушки от шатучего народа, особо от неорганизованного туриста, что, случалось, затемняя зимой, сами не могут ее найти.

Пока мужик колотил чурки, пока варили еду и кипятили чай, я с напарником сложил удочки, и попробовали мы закинуть. Зимой и пол-лета мечтал я о такой вот безлюдной реке, во сне и паяву слышал всплеск на воде и следом толчок или удар по леске — где ж тут выдержись-то?!

Но во сне клюет лучше и верней, чем паяву. Пробую одну мушку, другую, третью — никаких отзвук. Кормовой, спустившись от костра к воде с задельем, советует привязать темную мушку — день-то солнечный! На первом же забросе поклевка и... сход. Меня начинает трясти, я лезу дальше, в перекал, сапоги короткие, их почти заливают, а я лезу и лезу — и вот она, рыбачья радость! Всплеск! Хлопок! Подсечка — и через голову на косу я выбрасываю темносинего, по бокам рябого харцуса, если уж точнее, то, пожалуй, харюзка. Но я знаю, там, в перекале, есть, не могут не быть черносининые удалыцы с ухарски поднятым «святым пером», боевые, способные оборвать леску, разогнуть, а то и сломать крючок! Вот бы обаялся такой на мою мушку, уж я бы!..

Меня клвчат к столу. Ах, как не хочется уходить с косы, от переката, звенящего по дну несомым камешником, подмывшего каменный бычок ниже по берегу, ста-

щившего в реку кедрушку, которая, однако, п упавши зелелеет да еще и держит бережно в зеленых лапах две-три молодых, еще сиреневых цветом шишки. Хочется добыть харюза, хоть одного крупного, и вот он, второй, прыгает по зернистому песку, извалялся, будто пьяный мужик, обляпался супесью и паносной глинной.

Я обмыл рыбки и, счастливый, принес их к костру. Меня сдержанно похвалили. Этих молодцов, моих спутников, не удивишь двумя харюзками, они тут весной, при заходе харюса, ленка и тайменя в речки, не поднимают удочку даром — как заброс, так и рыбака, как заброс, так и рыбна! Любая наживка, любая мушка или мормышка уловисты — рыба не привередлива, берет безотказно.

Ну что ж, где-то и кто-то должен же еще ловить большую рыбу, кормить семью и реденько, по случаю, угощать нашего брата горожанина, понимая, какой это для нас редкостный, уже и праздничный продукт — речная свежая и светлая рыбка. Среди нашей большой земли в диких сибирских местах не перечесть еще рек и речек, и люди без рыбы, без добычи что же будут тут делать, чего есть и зачем жить?

Вечор, когда мы приехали на лесочасток, гулял привальную, и наш кормовой, не просто крепко рублен, вроде бы как даже тесан из камня или слеплен из хорошей глины и обожжен до керамического цвета и прочности, быстро что-то сваривший, без суеты и чисто накрывший стол, припимал зелье стакапом. Граненым. Меня этим уже не удивишь, и я давно уже не горжусь по этой части землякам, не люблюсь их лихостью и не хвалю их и себя за это. Дело дошло до песен. Возник из-за печки баян, и хватанули мы про бродягу, что утек с Сахалина, так, что уж и в лампе свет заколебался, рама в окне задрезбизкала, могла распахнуться и дверь, да от сырости разбухла; печка могла развалиться, по что-то мясное всплыло на ней, зачадло, и мы еще закусили и еще выпили.

Мне еще памятно было, как в недавние годы на очень опасной, безлюдной реке кормовой, вдруг захмелевший с полстакава водки, чуть было не опрокинул в гремячую воду мою жену и приехавшего издали друга, — откуда нам было знать, что кормовой три дня гулял в поселке, последнюю ночь почти не спал, и теперь его крепко вывалиться за борт узкой, длинной, похожей на индейскую пирогу лодки. Жена у меня уже тонула. Два раза в жизни. Страшно тонула, последний раз среди льдин на Кам-

ском водохранилище, и боле эту процедуру ей не выдержать. Друг мой с благообразной бородой, человек по облику божецкий, характеру задумчиво-меланхоличного, и топить его тоже ни к чему, хоть он и критиком работает.

Почерпнувши такой большой опыт, я вел тонкую политику, чтоб все разом было выпито и прикопчено. Кроме того, я сказал кормовому, что с пьяным куда по поеду. Он заявил, что и сам, будучи пьяным, никогда к мотору не садится.

Все же я утаил одну бутылку в рюкзаке, и, когда выпул ее уже на стапе, у костра, такое ликование возникло в нашем обществе, такое умиление всех охватило! Досталось на душу граммов по пятьдесят, под хорошую еду. Хлебали суп с тушенкой и вермишелью, ели холодное дикое мясо, припахивающее хвоей, пряным листом, хрустели тугими луковичками, малосольным харнусом, свежими огурцами да помидорами и рассуждали на самую злободневную и жгучую тему, что хорошо ведь пить-то к душе да помаленьку. Всегда бы вот так! Для аппетита бы да для настроения ее пить, а еще лучше бы и вовсе не употреблять. Какой пример детям подаем? А здоровье? А дисциплина труда? А падение правов? Погибель, да и только, от этого клятого зелья, сплошная погибель.

Уверю вас, несколько мои спутники, прабакаанские мужики, в умственных рассуждениях своих не отстают от современной интеллигенции. Ведь она, наша интеллигенция, какие рассуждения имеет: без горячительного народ общаться разучился, сливается, порядок на производстве и в обществе качнулся. Сколько алкашей! Сколько человеческих трагедий! А как на семье и на детях пьянство отражается! Но в заключение томный такой, полудрепавый, как бы против воли следующий зов: «Мамочка! Что у нас там?! А-а, на рябичке? На лимопе? На березовой почке? Х-х-хэ, по науке пьем! Подай, мамочка, тую, что на рябичке,— она помягче и лето напоминает. Мы по ма-ахонькой. Как без пса, без заразы!» И, глядишь, жалея парод, углубляясь в дебри тревожной действительности, обсуждая наиболее важные вопросы международной политики, высказывая недовольство родной культурой вообще, литературой в частности, прикопчат, как всегда, много и серьезно страдающие русские интеллигенты пастоящую на рябичке, на редкой травке, на вешней почке водочку, доберутся и до просто белой, пагой.

— Ничего больше нету? — как бы мимоходом, недовер-

чво заинтересовался кормовой, с момента отправления вверх по реке взявший на себя старшинство и руководство над нашим здоровым коллективом.— Вот и хорошо. Стало быть, ложитесь спать. Рыбачить станете вечером. Мы тем временем кой-чего сообразим по хозяйству.

Комара на стапе и в избушке почти не было. Спал я провально, можно сказать, убито, но где-то в подсознании, на задворках моей усталой башки, жила недремная мысль о том, что хариусы-то стоят там, под камешным бычком, под упавшею кедрушкой, к вечеру выйдут они из глубины в перекат — кормиться. И мысль эта подняла меня в топчана часа через два, полного бодрости, с просветленной головой, с телом, вдруг сделавшимся легким, куда-то устремленным.

Я вышел из полутемной избушки на свет высоко еще стоявшего солнца, на предвечернее осеннее тепло, как бы запаренное столбеными в местах, на ветру, уже попадавшим листом, спившей мелкой травкой, приморенным бурьяном,— это вот и есть тот напоенный сладостью здоровый воздух, которым надо лечить и лечиться.

— Здорово, мужики! — сказал я блаженно и потянулся, хрустя костями. Перещелк пошел по моим суставам, траченым давним ревматизмом, будто почная перестрелка на, слава те богу, далеко уже и на давнем переднем крае.

— А чё, женщины щас да вертозаденькая не помешала бы, а? — подморгнул мне кормовой, большой, судя по его воспоминаниям у костра, спец по этой части.

Все мои спутники хохотнули, как бы поддакнув тем самым таежному сладострастнику, продолжая какую-то давно начавшуюся беседу. Я вприпрыжку, молодо сбежал к реке, умылся и, утираясь полотенцем, пошел к стану, изумляясь тому, как много могут и умеют бывалые, деловые мужик-таежники, если перестанут пить да возьмутся за дело горячо и хватко, как бы искупая застарелую вину перед всем белым светом и добрыми людьми.

Вокруг стапа подметело, белеет клетка колотых дров, почти полная корзина с черемухой, будто угольями расцвеченная поздними, в жалице сохранившимися ягодами малины, стоит на пне; в глубоком противне до хруста зажаренная свежая рыба, чай со смородиной клюкочет в ведре; из углей молодые кедровые шишки выкатаны, будто печеные картохи. В лодке, в снях, в избушке угоено, лампы заправлены, сети для ночной рыбалки набраны, одежда высушена и портянки, сапоги проветрены, шесты подбиты, мотор отлажен

я чист, сами мужики умыты и всем довольны. Сидят у огонька, орешки пощелкивают, и видно по их лицам, как им отрадно привечать гостей на своей любимой реке, в обжитой ими тайге, привечать опрятно, в трезвости и почевать потаскиному — щедро, широко, с лесной самобраной скатерти.

Наевшись до отвала рыбы, я горстями беру из корзины ягоды, ем любимую сибиряками черемуху, и они опять же радостно удивляются, что человек хоть и в городе живет, хоть и писатель, а лонает ягоды по-пашенски, с костями, не изнежился, значит, вконец, грузноват, конечно, и простудный шибко, по, мол, приезжай почаще, мы тебе быстро пузу спустим и простужаться отучим.

А рыба-то, харнус-то ловился неважнецки. Тербил мушки, билвался белячок, коренной же, темный, с сирпевым хвостом и роскошными плавниками, все где-то стоял и все чего-то ждал, высывая вперед своих младших родичей с парнишечьими хватками и склонностями к баловству, которое нет-нет да и заканчивалось для них негадающе бедою, реденько, по удавалось подсесть и выбросить на берег харюзка, и на смышлепой, обточенной мордочке младого красавца, какое-то время лежащего неподвижно, в растерянности, на косе, угадывались недоумение и обида.

Солнце клонилось на закат и как бы в нерешительной задумчивости зависло над дальними заснеженными перевалами и вдруг пошло, покатилося золотой полтиной за островерхие ели, за разом оспившиеся хребты. Непадолго зажегся лес ярким огнем, вспыхнуло от него по краям и зашайало небо, заиграла река в пересветах, в бликах, в текучих пятнах, ярче обозначились беляки в нагорьях, ближе к реке сдвинулись деревья, теснее сделалось в глубь тайги. Первые, еще не грузные тени заколебались у подножья гор: одна за другой пачали умолкать редкие лесные птицы. Все вокруг не то чтобы замерло, а как-то благостно, уважительно и свято приглушило бег, голоса, дыхание.

И в это время, в минуты торжественного угасания дня, вдруг ожила река. Только еще, вот только что пустынный и вроде бы никем и ничем не обжитый, одинокий, заброшенный и как бы даже зябко шумевший Малый Абакан, изредка тревожимый легким всплеском малой рыбки, тронуло легкими и частыми кружками.

Дождь! Откуда?

Нет, не дождь. То рыба молодь вышла кормиться на отмели, за нею двинулась и отстойная, в этом перекате летующая рыба. Закипел, заплескался Малый Абакан, ожпли

его гремучие перекааты и покатые плесы. За каждым камешком, на каждой струе хлестало, кружилось, плескалось живое население реки, и Малый Абакап, понытав и подрознив нас, как бы подмигивал и смеялся яркими проблесками заката, падающего сквозь вершины дерев, с высоты, как это любят делать тасжные отшельники, после долгого пригляда доверившиеся гостю и показывающие лишь им ведомые в лесу свои богатства и секреты.

Хариус хватался азартно, бойко, но все-таки играючи — набрался он сил и росту за лето, набитое брюхо его пучилось от предосеенного обильного корма: оглушающим пнями поденком, комаром, мухам, бабочками, жучками-короедами, по больше всего окуклившимся или повывлазившими из домиков лакомыми ручейниками.

Много их, речных ухарей, сходило с крючка, по и зацеплялись они довольно часто. Попачалу я орал: «Е-эсь!» — и ламарик мой на берегу вторил: «Е-эсь!» — или бормотал раздосадованно: «Сошел, зараза!»

Меж тем время не текло, бежало, мчалось. Сгустились тени у берегов реки, и сами берега сомкнулись в отдалении, тьмою заслоняло воду, сужало пространство реки, перестало реять настоявшееся в лесах тепло, потянуло с гор холодом и поприжало к чуть нагретым за день косам, заостровкам и бечевкам травянистых бережков легкое его, быстро исчезающее дыхание. Начало холодить спину, и только что гулявшая и кипевшая от рыбьего хоровода, плескавшаяся, подбрасывавшая над собой кольцом загнутых рыб река сама утишила себя, поприжала валы в перекатах, смягчила пылепаще их о каменья и шум потоков, отдаленный грохот порога — все это слила, объединила она, и се почной уже, широкой, миротворный шум слаживал мир на покой и отдых. Вот уж перед глазами лишь клок переката, и на нем ренденько, украдкой, проблеснет желтое пятнышко, серебрушкой скатится вниз отблеск горного беляка, отзвук небесного света и с тонким, едва слышным звуком прокатится по камешному срезу.

Но вот и они, последние проблески ушедшего дня, угасли и смолкли. Земля и небо успокоились. И кончился клев рыбы. В почти полной темноте, как бы обладаживая на завтрашний день, терепнуло раз-другой мушку, и на этом дело удильщиков тоже кончилось. И снова это обманчивое свойство горных рек. Малый Абакап вроде бы обездушел, сделался отчужден, подружелюбен и неприветлив, и в водах его, черно прыгающих в черном перекаате, вроде бы опять

никто не жил, не почевал, не отставался в ямах, в затишьях уловов и за камнями.

Ярко вспарывал темноту ночи огонь за прибрежными кустами, подле избушки слышался треск горящих поленьев, смех и говор, па ночную рыбалку собирались выспавшиеся, заранее возбужденные азартным и рискованым делом наши спутники. Кормовой имел прямое отношение к рыбпадзору, и у него имелось разрешение па рыбалку двумя плавными мережками.

Ах, как я любил когда-то ночную рыбалку плавными сетками на стремительных горных реках, когда в рычащий, полого под уклон несущийся перекал с занявшимся дыханием выбрасываешь деревянный крест и следом выметываешь уакую, грузилами побрякивающую сеть и, видя лишь ближние наплавки да изредка в проблеске, пробившемся межтуч или облаков, упавшем с неба на воду, черненький крестик, стараешься держать плывущую, а то и несущуюся мережку чуть наискось, чуть па пониэ, и чтоб не зацепиться за камень, топляк, а ныпче и за железину какую либо оборвыш стального троса. Ловчась тогда, рыбац, спасись сам, не опрокинуться с лодкой, не наплаваться в студеной ночной воде, старайся не повесить на зацепе и не оставить сеть реке на память.

И лучше всего, уловистой рыбачить наплавушками предосепней и осенней порой, в глухую ночь и непогоду, когда ожирелая, спокойная рыба скапливается па кормных плесах и стаями стоит под перекатами, лепво подбирая несомый подами корм. И купалпсь, и топули рыбаки с плавными сетками ночью порой, и последний их крик о помощи глушила собой река, не пускала далеко в леса и горы, а те не повторяли ни голоса, ни эха гибнущего, по все еще, пусть уже и редко, жива эта лпхая, рискованая рыбалка, требующая ловкости, споровки, чутья не только на рыбу, по и па зацепы, чтоб вовремя приподнять сеть, к моменту ее сбросить, все еще жив в немногих уже сердцах азарт добытчика, все еще слышен ям зов ночной реки и ожидание удачи.

А мне уж не бывать в ночи па реке с наплавушками-мережками, не дрогнуть от мокряди, не кладать зубами от холода, не дрожать от азарта и па утре успокоепло п без всякого уж интереса к добыче не лежать устало возле благодного, теплого костра, греясь и подсушивая одежду, чтобы с рассветом двинуться вверх по реке, к стану, па шестах, медленно, через силу, словно свинцовые, перебрасывая их и

звякая наконечниками о камень, толкаться и толкаться навстречу бурной воде.

Заслышав шесты еще за версту, высыпают на берег малые ребятнишки и женщины в нетерпеливом ожидании и подхватят долблелку за нос, вынесут ее на берег и начнут ахать и восхищаться, готовиться пороть, солить и готовить рыбу, а сами добытчики, еле переставляя от усталости ноги, доберутся до теплой пабы, до постели, с трудом стащат мокрые сапоги и рухнут в омут сна, в теплый омут, в глубокий сон без сновидений.

Нет, не бывает уж мне на почной рыбалке, потеряна еще одна редкая радость в жизни. Рыбачат пыпче не с вертких и лонких долблелок, а с гулко бухающих в почву, неповоротливых железных или дощаных моторных лодок. На них и силы, и ловкости надо еще больше, чем в прежние годы с прежней снастью: брякать, стучать и пугать рыбу, без того уже пугающую, не следует, но поворачиваться надо все так же проворно, как и прежде, а зацепов стало больше, рыбы меньше, ловкости же во мне поубавилось, потому что годов и весу прибавилось.

Смотав удочку, я постоял на косе, послушал ночь и реку, зная, что не скоро выпадет мне счастье быть в тайге, на реке, да еще на такой вот пустынной и дикой, — свободный художник ведь только в воображении обывателя выглядит этаким баловнем судьбы и бездельником, которому только и есть занятие, что развлекать себя и разнообразить жизнь всевозможными удовольствиями и, меж ними, опять же для отрады души, творить что-нито.

Три десятка харнусов, среди которых пяток похожи были на хариусов-стаповиков, выдернул я на закате солнца — вернее, уже после заката — и был утихомирено счастлив. Спутники мои нарочито громко и попарошку, полая я, хвалили меня — они-то и за рыбу не считали такой улов.

Звякая коваными шестами о камни, трое мужиков спустились в лодке из мелкой речки, я скоро за перекатом сердито взревел мотор, но тут же приглож, и через минуту рык его совсем прекратился, только долго еще доносилось из лесов, из-за речных поворотов и мысов комариный проде бы звон. Он кружился по реке, летел над тайгой и горами, все отдаляясь, отдаляясь, и не тревожил слух, но держал его в напряжении до тех пор, пока не удалился и не утих вовсе.

Напарник мой уже спал на нарах и, проскорготав зубами, приятно сказал: «Ушел, зараза!..»

Похлебав ухи и попив чаю, я долго сидел у притухаю-

щего костра, ни о чем не думая, ничем не тревожась. Ну по думать-то совсем, конечно, было невозможно, илпаче зачем башка к шее приставлена, да еще набитая современной, учено говоря, информацией. Однако здесь, в ночи, у костра, после рыбалки, думы были легкие, отчетливые, обо всем сразу и как бы вовсе ни о чем, лишь надежда на утренний, совсем удачливый, может, и невиданный клев будоражила мое воображение и волновала сердце.

Я и проснулся, томимый этой надеждой. Костер еще не угас. Собрав в кучу головни, бросил щепок в паящю уголья, и скоро занялся вялый огонь, зашипел, зашелкал, разгораясь.

Все вокруг было в тумане и в сырости, и где-то за рекою, ровно бы в другом месте, в другом свете и на другой земле, противно проревел козел. В горах ему откликнулся марал еще не накаленным, не яростным голосом, по вешних переливах его уже угадывалось приближение страстного гопа, свадебной поры и вековечных сражений за продолжение рода и обладание самкой.

Туман, медленно и неохотно поднявшись в полгоры, расплелся реку, но сгустил облака. Как бы подровняв и прилизав землю, сделал ее положе и меньше, густые громады белошепных облаков непроглядно и неподвижно легли на горы, и лишь к полудню кое-где продырявило их темными вершинами.

Пришли к стану рыбаки, усталые, мокрые, с осунувшимися от усталости и бессонницы лицами, похвалили меня за то, что я поджегил огонь и разогрел чай, жадно погрелись чаем и вчерашней ухой, подсушились и упали на нары. Кормовой глухо молвил уже из полусна, чтоб и я ложился — на реке до обеда делать нечего.

В лодке, разбросанная по отсекам, белела рыба. Беззобак из лодки рыбаки убрали, мотор приподняли, пороть рыбу станут после отдыха.

Я снова вошел в избушку, наполненную храпом и откудато густо возникшим, не очень уж лютым, но все еще кусачим комаром, прилег подремать, подумать и тоже успел и долго потом не мог выйти из вязкого сна, слыша, как ходят и разговаривают мужики. Наконец поднялся и почувствовал, как трудно дышится, как заныли утомленные было суставы и раны, вяло вышел на люди, к огню, и встретил меня хмурый полудень осевшим серым небом, непроросшей

травой и волглой хвоею, морочным безмолвием тайги, приглушенным говором переката на реке, выше которого, на косе, маячила фигура моего папарника с удочкой.

Рыба в лодке была прибрапа и подсолена в полиэтиленовых мешках. Сброшенные в воду, краснели рыбы потроха, и в них уже всосались черными головками, в черные же трубочки спрятавшиеся ручейники; памоийный песок на берегу и возле лодки был испечатап следами птиц и какого-то зверька.

Я умылся, пришел к костру и позвал папарника с реки. Он пришел и угрюмо известил: рыба не берет. У огня сидели кругом, я оказался лицом к реке, видел протоптапный в кустах коридорчик и тропку с примятой травой и мохом, упирающуюся в темные камепья и в темный бок лодки; вдруг что-то тихо, украдчиво проскользиуло вдоль лодки и мгновенно исчезло за ее бортом — черное, с белой мордочкой. Оно плыло, скользило по камням п, шевельнув травой, исчезало в кустах.

Я замер с кружкой чая, полагая, что это какое-то наваждепие, но скоро увидел гибко переваливающегося через борт лодки мокрого зверька, который уходил в лодку темномордым, а являлся белорудым.

— Мужики, не шевелитесь, — сказал я, — какой-то зверек! Наверное, выдра, плаваает по воде и шарится в лодке.

У костра перестали говорить, есть, шевелиться. Прошло короткое время — и вот он, зверек, возник в воде, скользнул по камням, уверенно перевалился через борт лодки и тут же сделался белорылым.

— А-а, — разогнулся кормовой, — это порка. Она рыбу из лодки ворует. Я ей сейчас покажу, как тырить чужое!

И кормовой схватил шест, прислонепный к избушке. Я попросил его не трогать зверушку, дать пасмотреться па нее, и кормовой, сдержав свой мстителыный порыв, сказал, что, если это дело оставить так, порка часа за два перетаскает всю рыбу, попричет ее по кустам, под камнями п плямп, потом будет безбедно жпть п питаться. Случалось, она за почь оставляла полоротых охотпиков или рыбаков без харчей п добычи — очень смышлепая п очепь ходовая, проворная п хищная зверушка. Выедает в гнездах яйца, птепцов, птиц, шарится по объедям хищников, но и подле нее много всякой тварп кормится: воропы, мышц, колошки; вопять пачпет спрятапная рыба или мясо — явится медведь п все подберет подчистую. Жизнь тут не шуточная. Кто кого...

Меж тем норка раза четыре сбегала в лодку, и кормовой наш не выдержал.

— Н-ну уж не-эт! — заблажил он и ривулся с шестом к лодке. — Ты что, курвинский твой род, делаешь, а?! — И захопал, забил шестом по камням, по кустам. Норка сиганула в чащу, выронив в воду хариуса. — Мотри у меня! — сказал кормовой в заключение, грозя пальцем в лес. — Осенью приплыву, пмать тебя буду.

Короткое это происшествие всех взбудоражило, подвесило, и мы вышли на косу в боевом настроении, где и обнаружили след козла, перешедшего речку, затем переплывшего реку и зачем-то сердито оравшего в лесу. Кормовой сожалел, что не был тут, приговорил бы он этого козла — у кормового было ружье для обороны, как говорил он. Однако оборона-то обороной, но дичь, да еще ревушая, по его мнению, тоже не очень должна шляться возле стана и мешать людям думать и спать.

Рыба клевала лишь па одну удочку, брала па крупную тусклую мормышку с привязанными к крючку желтоватыми волосками. Из глубин, со стрежи переката, брал разом и сильно крупный темный хариус. Упираясь в струю, бунтарски хлопаясь, изгибаясь в воде и вертясь, он не давал себя вытащить на песок, и один удалец оторвал-таки мормышку, а более ничево рыба не трогала, ни па что не смотрела, и кормовой спросил, что будем делать.

Он еще дорогой говорил, что главная рыба, самый крупный хариус, ленок и таймешата ушли в притоки Абакана — там способней жить в студеной воде, почти не донимает рыбий клещ, больше корма, меньше опасности.

Я сказал, что, может, схожу па речку, что я привычен рыбачить именно па малых речках, где рыба осторожна, но бесхитростна и всегда почти клюет безотказно.

— Так-то она так, — отвел глаза в сторону кормовой. — Да лето какое? Клеща — гибель, а у тебя противоэнцефалитной прививки, кошечно, нету. Клещ же из-за непогожего лета продержится в тайге, видать, до больших холодов. Кроме того, надо брать мне ружье и охранять тебя.

— От кого?

— Да мало ли...

А, знаю, знаю, рассказывали мне, как облагел и расшалился в этих местах медведь. В прошлом году не было в тайге кедровой шишки, мало было ягод, потому и приплод

зверьков был негуст, жидки выводки боровой птицы — медведь с Кузнецкого Алатау, с Телецкого озера, по перевалам и из-за перевалов ринулся на Абакан, надежные, видать, здесь от веку места в смысле корма. Но и во впадинах Абакана, куда спустился зверь, была бескормица. Медведи не накопили жира на зиму, не залегли в берлоги, стали добывать корм диким разбоем, даже нападали на людей, что случается редко. Один медведь неподалеку отсюда съел охотника, отправившегося напилить в лесу дров, да так съел, паразит и бродяга, что хоронили от человека одну ногу в резиновом сапоге. Лесозаготовителям наказывали не ходить на деляны без ружей и в одиночку — не слушались, похохатывали, и убили медведи трех человек с участка.

Рассказам подобного рода я всегда верю наполовину, по если даже и половина правдива — нечего искушать судьбу. Тем более что своими глазами видел множество следов и порух на берегу, паделанных медведями; в тайге — разношерстные коряжины и муравейники, раскопанные бурундучьи норки с запасами, сломанные верхушки и ветки кедров — медведь ел шишки. По наблюдениям таежных знатоков, зверь, гонимый голодом из-за перевалов и хребтов, — тот, что явился сюда в прошлом году, — дожив до кормного лета, с кормных мест домой, судя по всему, не собирается.

Густо матерого зверя стало по Абакану, а охотник какой пынче? Все больше по пташке — вои выводки крохалей без мам и пап мечутся по реке! — да с шестом на порку или с канканишком на соболя, с малопулькой на белку тоже не дрейфят. Орлы! Богатыри! А зверь умен. Видит: нет ему преград, возле станов шарится, по избушкам лазит. У одного охотника хлеб и зимние запасы съел, весь лес целлофаном загадил — харчи были в целлофановых мешочках.

— Вот такие вот дела.

Воздух загустел, сделался тяжелым, дышалось трудно, спина моя и лоб в испарине, если ударит непогода, а она скоро ударит, чуял я, в избушке мне несдобровать с моей хронической пневмонией, и плыть по реке, мчаться встречь дождю и снегу — это, значит, прямо из тайги да в больницу.

— А что, если двинуть домой, мужики?

— Конечно, домой! — загалдели мои спутники. — Кое-что

на первый раз увидели да изловили. Вот осенью приезжай, — приглашали они, проворно таская багаж в лодку. — Когда рыба из речек покатится, когда шишка поспеет, глухарь клевать камешки на берег выйдет, рябчик запищит, козел заблеет, марал заорет...

Я знал, не выпадет мне времени в этом году побывать еще раз на Абакане, но горячо сулил и надеялся приехать и верил: вдруг и в самом деле чудо какое завесит меня сюда.

Дорогой сорвали мы шпонку у вилта в перекате, и пока кормовой возился с мотором, спутники мои вышли из лодки — пособирать шишек, снесенных ветром или птицей. И пока они бродили по прибрежному лесу, лакомилась спелой шишкой, мелкой брусничкой, глухаринной красной бровью украсившей мшистый навес бережка, я, оглядевшись, увидел под красной-то бровкой, в паносном хламе, крепкую спелую ягоду и узнал землянику. Припело льдом, притолкало сюда полоску земли величинной с полотенечко, с корешками цепкой ягоды, и она долго укреплялась на повом камешком месте, поздно зацвела и вот все-таки вырастила, вызорила в конце августа ягоду с тем неповторимым, раннелетним запахом, который ведем деревенским людям. С детства, с рождения самого, помнится он, не глохнет в памяти, не гаснет в глазах. Ягодки качались на поникло жидких стебельках, и среди серых кампей они были так яркие, так неожиданны, что невольная умиленность или нежность входила от них в душу, падежда на скорую будущую весну, на печальные радости. Легко отделялись самые спелые ягоды от звездочек, белые вдавыши сочилились теплой, сладкой слюжкой, кожа ладони чувствовала и колкую тяжесть и шершавость ярких-ярких золотыпок по округлым ярким бокам. Смест весной, утащит льдом этот зоревой лоскуток, все еще застенчиво белеющий двумя-тремя звездочками, и укрепитесь ли вы в другом месте, на каменистом берегу? А может, останется здесь, меж кампей, корешок-другой все-ми любимой ягоды и усамы прокрадетесь меж кампьев вверх, поймается на осыпь, вылезет в лесную прель и вытянет за собой ягодный веселый хоровод, и закружится он красной полянкой вместе с костяничкой, брусничкой и робким майничком?

А над всем этим спелым ягодным местом, мохнатою толпою на берег выскочив, будут шуметь кедрачи, густо усеянные крупной шишкой с уже налитым орехом в крепнувшей, белой пока скорлупке, и в голых камнях орешко и упрямо,

с крепким, как бы пожнищами резальным листом, будет спеть и ядреным соком паливаться кызыргал.

Но скоро поспеет орех, и начнут трясти кедрач, ломать, бить колотами, валить пилами. Кедрачу, растущему большей частью на глазу, под рукой, достанется от палетчиков прежде всего, и вытончат те шишкобой земляничную полянку, выдернут с корнем кызыргал, спалят костром мшистый берег с красной бровью. «А мы просо вытопчем, вытопчем...» — когда-то в шуточной хороводной песне цели мы, да уже не сеют просо в этих местах, и дети паших детей уже не поют про просо песен, а весело и порою бездумно уродуют тайгу.

Вот один, другой, третий десяток километров идем на узкой, длинной, вместительной лодке по Абакану, а по бокам-то все косточки голые, лесные. Это работа здешних заготовителей — они рубят и возят на берег в основном кедр, дустоствольный, мохватый, оцетипепный ломаными сучьями, и вместо волоков и дорог часто используют горные речки, — прет тяжелая машина или трактор ломаные, обезображенные деревья, прет напропалую по дну, спрямляет повороты, снимает островки, мыски, шиверы и заостровки, сметает на пути всякую речную роскошную растительность и всякую живность по берегам и в воде.

Кромки берегов сплошь в нагромождениях горелых хлыстов и лесного хлама. Мало, очень мало удастся выпилить путевых брёвеш пз перестойного, огнем, смывами и поползнями порченного и битого леса. Все остальное в огонь, в дико-пламенные, огромные костры.

«Да кабы горело!» — жалуются мои спутники.

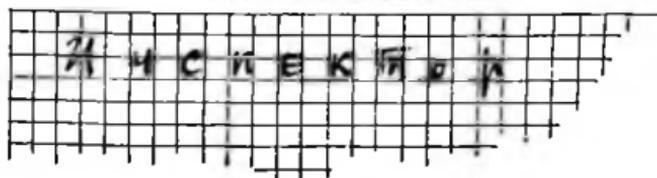
Выгорает хвоя, сучки и сучья, лесная ломь и мелочь, дерева же, не пошедшие в штабеля, черными, обугленными стволами делят в небо, что пушки дулами, опаленными пороховым дымом. Местами ледоходом патащило землю, патащало камешника меж порушенных и обгорелых остатков леса; занесло и корявые, и кустов, пакрошило семян дудочника — новый культурный слой пз кустов смородинника, вербача, краснотала, дудочника и разнотравного бурьяна парос на горелых кручах. Остерегись, путник, влезать на лохматый бугор за ягодой — провалышься меж кустов, сквозь еще жидкие сплестения травы и корявьев, в современную преисподнюю из черно-синих, все еще угарно воняющих головешек, поломаешь ноги или руки и без посторонней помощи не выберешься из этого месива, бывшего когда-то тайгой.

...Когда мы подплывали к поселку, в лицо нам ударили первые капли дождя и вытянуло с перевалов первые белые нити липкого снега. Вовремя мы убрались с Абакана, вовремя!

Название реки, слышал я, в переводе с хакасского на русский язык означает Медвежья кровь. Спасибо спутникам, спасибо реке, погоде, времени еще и за то, что никого мы не обидели, нигде не напакостили, ничьей крови, в том числе и медвежьей, не пролили. Кормовой спрятал ружье до случая где-то в тайге, в известной ему ухорощке при слиянии Большого и Малого Абакана. И оттого так прозрачны, так легки мои воспоминания о летней поездке в дальний край, в незнакомое место. А если и проскальзывает в них налет грусти, то это уже от возраста, от непрестанных дум о будущем нашем житье.



# Ярослав Шмаков



Третий год уже Ромка Шмаков яростно переппачивал мир. Дело двигалось до обидного медленно, и потому, услышав привычное: «Не украдешь — не проживешь», Шмаков даже подпрыгнул.

— Врешь, старик! — заорал оп. — Врешь, падла! Врешь!

— Спаси мя, господи, — пролетел Неведов. — Спаси и сохрани! — И боком, боком — надо же так! — через репь и воде.

И застрекотал «Ветерок», унося домой испуганного Ромкиного теста.

Обессилев в мгновение от пролетевшей ярости, Шмаков побрел к крыльцу. Пахло зноем, степью и рыбой. В тени соломенного навеса дремал конь Султан. Старый шмаковский кобель Жмурик, такой же черный, как и Султан, и почти таких же размеров, спал посреди двора, вытянув искривленные ревматизмом лапы. Клубя горячую пыль, поились по двору шальные котята.

Испектор сбросил сапог, проковылял пемного, сбросил второй, вошел в дом и остановился, щупая босыми погами приятную прохладу дощатого пола. Автопиза пакрывала к обеду.

— Чего отец-то? — поинтересовался Ромап.

— Насчет рыбы. Хотел, что ли, сетенку поставить.

— Ну эт я знаю, а еще чего?

— Да вроде и ничего, — Антонина пожала плечами.

— Иптересно! Окромья, как спереть что-нибудь сообщца, между родственниками уже и делов не осталось...

— Прогнал, что ли?

— А ты как думала?!

— Ну и ладно, — согласилась супруга, — давай обедать.

Ей, конечно, хотелось бы поругаться — ведь это ж почти позор: зять инспектор, а тесть без рыбы, — но за три года Антонина достаточно изучила своего мужа и понимала, что момент неподходящий. Ромка отпатрулировал ночь, устал, чуть задень его, и... не приведи, господи! Вообще-то супруг был человеком добродушным, терпеливым, по пустякам не сердился и много чего мог снести. Однако мгновения, когда терпение его иссякнет, ждать не следовало: любой тяжести подручные предметы могли пойти в оборот. Зная за собой подобное свойство, Шмаков даже казенный ТТ на работу не брал, обходился двустволкой: пистолет уж больно ловок в руках.

— Как почь-то? — поинтересовалась жена.

— А! — махнул рукой. — В яру одну лодочку пуганул, а что сеть бросили, не заметил, на винт и намотал. Ждал, пока к насосной станции отнесет. Там лебедка у Михаила: корму приподняли, сеть срезали — ночь и прошла...

— Так ты теперь Михаилу-то послабление, что ли, дать должен?

— Хреп ему, а не послабление. Бутылку поставлю — и все.

— Ишь, — не сдержалась супруга, — бутылку! Другие мужики сами пьют, а мой — на тебе, пожалуйста, угощает! Роман замер.

— Бутылку так бутылку — добра-то! — как ни в чем не бывало согласилась она. — Доедай иди, поди, остыли?

После обеда Роман лег спать. Спал он четыре часа и к вечеру снова выехал на патрулирование.

Очень скоро попался ему монтер Гусятюв. На «Прогрессе» с двумя «Вихрями». И, конечно, ушел бы, но инспектор накрыл его в редкостно благоприятный момент: Гусятюв бултыхался в воде, должно быть забрасывая пакидку — кошельковую донную сеть, потерял равновесие или зацепил ногой швур.

— Здорово! — подъехал Шмаков. — Как эт тебя угораздило? — И зачалил «Прогресс» к своему катеру.

— А, будь она проклята! — Выбравшись из воды, Гусятюв стаскивал с себя одежду. — Дай закурить. Свои, вишь, памокли.

Шмаков раскурил папиросу и передал в лодку.

— Чего отымать будешь? — поинтересовался Гусятюв.

— А что заловил?

— Да пичего, раз только и бросил.— И передал инспектору тяжелый мешок.

Сазапы — один килограммов на шесть, другой поменьше — были еще живы, и Шмаков их выпустил.

— Сазапов, так и быть, прощаю, а за стерлядку — двадцатник.

Гусятов молчал. Ему было холодно в мокрых трусах и без всей остальной одежды.

— При себе есть?

— Откуда?

— Это уж поискать придется.

— Накидку возьмешь?

— Ты это что? — подивился инспектор столь грубой напвности.

— Ну и бери! — Гусятов передал конец шнура. — Тащи сам. Только, ежели чего вытащишь, не приплюсовывай, годится?

— Ишь ты, жох! Торговаться надумал?

— При чем здесь торговаться? Я мог и выбросить шпур, мне просто сетепку жалко — сам плел, времени, понимаешь, угробил кучу...

— Ладно, — согласился Роман, — поглядим, чего ты там свлел.

— Такая же, как прошлогодпя.

— Прошлогодпя у тебя пичего накидка была, — оденил инспектор, — качественная.

— Эта такая же, только чуток поболе.

— Вот и зря: неудобно забрасывать, должно, потому и свалился. А прошлогодпя, та... — Шмаков замолчал и вдруг: — Едрепя феня! Что-то того — упирается!

— Ну да? — монтер вмиг оказался на катере. — Мать честная! Взаправду!

— Да не суетись, не суетись ты! — одернул его инспектор. — Закрепи, а то нас вместе с веревкой.

— Слышь, Роман, — зашентал Гусятов, привязывая шпур к кпехту, — а ведь так нам, пожалуй, ее и не вытащить! Буксировать надо!

— Придется, — выдохнул Шмаков, с трудом удерживая шпур, который уходил то под катер, то куда-нибудь в сторову.

— Вишь, как мотается, словно лесочка, — туда-сюда, а там ведь одних грузов пуд... Ну и хреновину заловили!

— Держи! — Шмаков передал шпур Гусятову и спрыгнул в кабину. — Если зацепит корягу, подпусти — там у те-

бя метра четыре в запасе, и крикли — я сразу назад сдам.  
— Ясно, — кивнул Гусятю. — Нажимай потихонечку.

Инспектор осторожно повел катер с пришвартованной лодкой против течения, так легче было в случае зацепа дать задний ход. Но коряжистые места миновали благополучно и, ткнувшись в песок ближайшего пляжика, где горел костер заезжих рыболовов-любителей, оба — и бракопьер, и инспектор — прыгнули в воду и поволокли добычу на отмель.

— Белуга! — ахнул монтер.

— Килограммов на шестьдесят, — определил Шмаков.

— Эй! — крикнул Гусятю парню, выскочившему из лодки. — Тащи чего-нибудь твердое!

— А чего? — растерялся тот.

— Все равно! Топор, камень, полено — по носу ее вдавить! Это ж белуга, — объяснил монтер, задыхаясь, — она сразу того...

— Хороша! — вытер лоб Шмаков, полюбившись мипуту, и достал нож.

— Погоди, сейчас топор принесут. — Монтер лег на песок и раскинул руки. — Фу, черт, совсем умотала.

Инспектор оседлал рыбу, которая теперь, на отмели, не сопротивлялась почти, распорол сеть вдоль шишкастого белужьего хребта так, что длинный нос попал на свободу, быстро пересел, не давая рыбе запутаться снова, и врезал сеть в другую сторону до хвоста. Потом встал, спрятал ножик и погой толкнул рыбу в бок. Она перевернулась, как бревно, и, изогнувшись, ударила хвостом, окатив водой и инспектора, и стоявших за ним туристов — их было трое: один с топориком, другой с поленом, третий держал подсачек. Окатило водой и Гусятова, который, разинув рот, поднялся и недоуменно следил за освобождением белуги. Гусятю вздрогнул, вернулся к горькой реальности и вздохнул: хорошая была рыба. А когда Шмаков, обняв белугу под брюхо, отволоч ее на достаточную глубину, монтер заинтересовался:

— Слушай, инспектор, а если бы ты меня с этой тушей накрыл, что тогда?

— Соответственно, — пожал плечами инспектор. — Лодка, моторы и четыре согви.

— Ну уж это ты брось! Это слишком!

— Не, — прикинул инспектор, — думаю, в самый раз. А теперь поезжай домой — и с двадцатником к Тотьке. Она тебе бланку выдаст — распишешься.

— И Тоюнку, впшиь, к враждебной деятельности привлеки! — обратился монтер к туристам. — Навроде секлетарши она теперь. — Скорчил рожу и повилял бедрами. — Тьфу! Таку девуку споганил!

— Че-го?! — подступил Шмаков. — Как это так «споганил»?

— Идеологически! — решительно пояснил монтер.

— А-а, — смягчился инспектор.

— Где ж я сейчас двадцатник достапу? — без всякого перехода спросил Гусятв.

— Не достанешь?

— Где же?

— Снимай моторы.

— Ну...

— Снимай, говорю, «Вихри»!

— Эх, мать честная!

— Давай, давай, а то зубами стукочешь — аж страшно делается.

— Холодно ведь...

— Во! И я говорю. И это, чтоб мне без шуток!

— Да ладно! В первый раз, что ли?

Отвлизывая лодку, монтер вдруг поинтересовался:

— Слушай, Шмак, а вот когда мы тянули, тебя, часом, азарт не прошиб?

— Было, — признал инспектор.

— Вот черт! — рассмеялся Гусятв. — Молодец!

— Чего это вдруг?

— А черт его знает, сам не пойму... Но чего-то, — он хитро прищурился, — чего-то есть.

— Балабол, — отмахнулся инспектор. — Ну а вы, орелки, чего стоите? Или не знаете, что осетровые под запретом?

— Ну, мужики, держись! — крикнул Гусятв и, потеряв чувство солидарности, захихикал.

— Знаем, — виновато сказал один, — да как-то... от неожиданности.

— Рыбина больно здоровая, не видали таких, — помогал оправдываться второй.

— Это да. Я и сам таких... — инспектор закурил, — не часто вижу... Откуда будете?

— Из Москвы.

Шмаков помолчал, потом, скрывая зависть, тихо спросил:

— Студепты?

— Отучились уже.

— А сюда, стало быть, в отпуск?

— Ага.

— Ну и что ловится?

Они подвели Ромку к палатке, у которой на проволоке вялилась рыба: красноперки, лещи.

— Удочкой?

— Конечно!

— А если б то же самое сеткой... — Шмаков прикинул, — рублей эдак в двести пятьдесят обошлось. Понятно? — спросил инспектор того, что стоял ближе.

— Понятно.

— Да ты брось сачок-то! Чего ты с ним ходишь?

— Был тут раньше рыбацкий колхоз, сейчас-то его упразднили — ловить нечего... Так вот, в лучшие свои времена колхоз вылавливал за сезон, думаю, раз в пять меньше, чем ваш брат любитель пынче вылавливает...

Ребята виновато молчали.

— Да не тушуйтесь, — вздохнул инспектор. — Что ж с вами делать? Закона качественного на вас пока нет. Ловите.

— А спиннингом разрешается?

— Разрешается, — продолжал горевать Шмаков.

— Что-то неважно...

— Это уж я не виноват. Попробуйте вон у того обрыва. Там суводь — быстрина, должен брать жерех. И судак крупный, килограммов до десяти. — И пошел к своему катеру.

Уже включив двигатель и сиявшись с мели, Шмаков высунулся из рубки и подозвал ребят:

— Стерлядь пробовали когда-нибудь?

— Нет...

— Возьмите. Удильцу сварите. А если икрыная, опустите икру в тузлук минут на пятнадцать — двадцать, и готова, понятно?

— Куда опустить?

— В тузлук! В рассол, значит.

— Понятно, спасибо большое.

«И что за народ? И откуда их столько? На одном только моем острове штук двадцать палаток, а взять от Волгограда до Каспия — все двадцать тысяч!..»

А освобожденная Шмаковым белуга плыла себе в плыла, не предполагая даже, в какой яме, за каким поворотом настигнет ее следующий удар судьбы.

Отпатрулировав ночь, инспектор кроме накидки конфисковал бредень, штрафами собрал сорок рублей. «Все не то, — вздыхал Шмаков, — мелочь». Начался ход осетровых,

а эти допные рыбы почти не попадают в сетки-верхоплавки и бредни. Да и накидкой поймать их случается крайне редко.

Шмаков охотился на тех, кто промышлял перетягами — длинными тросами с часто пасаженными большими крючьями. Перетяга укладывается на дно поперек реки, и бескостные осетры папарываются на крючья. Добычливая снасть! На участке Шмакова перетягами баловали пастухи с мелких островных ферм. Выслеживать пастухов было трудно: они располагали снасть рядом с фермами — когда удобно, тогда и проверяли, — и никаких хлопот. Прежде Роману удавалось собирать эти перетяги «кошкой», но пастухи придумали пускать вдоль снасти защитный трос, используя вместо грузов старые тракторные моторы и прочие дощички технического прогресса, благо в степи и по островам их было разбросано множество. Зацепив такой трос, Шмаков потерял однажды «кошку», и заодно и лебедку, которая выпрыгнула из стальной обшивки, оставив на память четыре дыры от болтов. Пришлось плюнуть на стационарное браконьерство. Плевал инспектор без особого раздражения: пастухи жили в таких местах, куда осетровые захаживали часто.

Прочие браконьеры, по слухам, не решались устанавливать перетяги на шмаковском участке, памятуя прошлое лето, когда Федька Рузаев, подкарауленный Романом у снасти, взялся стрелять из ружья и перебил стекла. Шмаков протаранил Федькину лодку, выудил разбойника из воды и отдал под суд. Федьку Рузаева упекли, а инспектор, получив с врага двадцать рублей за ущерб, занесенный казенному катеру, вставил новые стекла.

— Дак ведь как в него попадешь? — рассуждали мужики, когда Шмаков отчаливал, сверкая новыми стеклами. — Сидит, вишь, низко, одна башка и торчит. Пригнетси — и ле видать. А сквозь обшивку с охотничьего разве пробьешь? Так что — глупость одна. Одна глупость...

Не обнаружив теперь ни одной перетяги, Шмаков за нервничал. Он знал: где-то ловят, где-то нарушают закон, где-то «хапают, и по-страшному».

И тут приехал Ефрем — соседний инспектор с Волги. Там шалили всюю. Ефрем Ромке в отцы годится, инспектором уже лет пятнадцать, но мужик мягкий, трудно ему со «своими»: родственниками, приятелями. Всякому инспекто-

ру тяжело от «своих», и Шмакову первый год приходилось тугу. Вот и оставил он поселок, жил на острове, огромном — четыре па шесть километров — куске земли, отделенном узкими протоками от других, маленьких и больших, островков, теснившихся в междуречье Волги и Ахтубы. И здесь поначалу покоя не было, но постепенно отстали. А Шмаков набрался такой строгости, что одного областного хозяйственника, прибывшего «в командировку» за рыбой, послал к чертям. Сам угодил в опалу: то премия меньше, чем у других, то зачастую для катера не дают, то еще что. «Хреп с вами,— не упывал Ромап.— Службу я выполняю, и выполняю соответственно. Куда вы денетесь?» И оказался на Доске почета, в примерных, в передовых. «Упрямый ты,— завидовал Ефрем.— Легко тебе». — «Это уж точно,— соглашался Ромап.— Легче некуда».

Договорились на двое суток «махнуться» участками. Такое практиковалось. Поставив на прикол казенный катер, Шмаков пересел в собственную легонькую моторку в засветло выехал. Катер был удобен в извилистых узких протоках, где маломозумный двигатель позволял подкрадываться почти вплотную, а на больших открытых пространствах Волги успех дела решала скорость. Дождавшись темноты, инспектор вывел лодочку в Волгу и, пройдя немного вдоль берега, зачалплся к низким кустам.

Проплывали огромные самоходки, караваны лихтеров-сухогрузов, старый колесный буксир протасил плот. Река вершила вечную свою работу. Река могущественная и гордая. И неестественным, неправдоподобным показалось Шмакову, что кто-то может ковырять этот величественный покой ржавой «кошккою», корябать дно, чтобы оттуда, из живой глубины реки, выцарапать гноящуюся ржавчиной снасть и сорвать добычу. Но — Шмаков знал точно — чьи-то глаза уже горят страхом и нетерпением, чьи-то дрожащие от жадности руки уже тянутся к волжской воде.

Донесся слабый шум подвесного мотора. И скоро затих. Включив малые обороты, инспектор осторожно повел лодку вдоль берега. «Если перетяга длинная — должен успеть», — прикидывал Шмаков. Из-за поворота показался сильно освещенный трехпалубник. «Это хорошо; за ним, пожалуй, и меня не услышат». Чем ближе подходил трехпалубник к месту, где находилась моторка, тем больше оборотов добавлял Шмаков «Вихрю». Вдруг теплоход заметно поубавил скорость, моторка возникла у его освещенного борта, задержалась миглуту и вновь исчезла. «Вона какие дела!» — сд-

образил инспектор. Выехал на фарватер, включил фонарь и световым сигналом потребовал остановить судно. Теплоход медленно приближался.

— Чего там? — спросили в мегафон с мостика.

— Рыбнадзор! — крикнул Шмаков.

— Ну и чего? — вновь заинтересовались сверху.

— А ничего, — спокойно сказал Роман, набросив веревку на кнехт пассажирского судна.

После некоторого молчания другой голос скомаандовал:

— На нижней палубе! Помогите пришвартоваться!

«Капитан, — сообразил Шмаков. — По времени — его вахта». Здоровый белобрысый парень лет двадцати в клешах и тельняшке, выполняя приказ, неохотно подошел к борту, посмотрел и махнул рукой:

— Пусть сам карабкается.

Потом, высунувшись за перила и подняв голову, спросил капитана:

— Чего останавливались? Давить его надо было!

— Нельзя, — развел руками инспектор, взобравшись на палубу. — Я выплыву — это уж обязательно, а капитана будут судить за несоказание помощи. — И пошел наверх.

Поднявшись в рубку, назвал себя, поздоровался.

— Да что случилось-то? — полюбопытствовал капитан, добродушного вида крепыш лет сорока. Волгарь, судя по оканью.

— Только что вы взяли икру у бракопьеров, — сообщил Шмаков.

Капитан притворно вытаращил глаза. «Вот запудство, — вздохнул Роман. — Будет теперь спектаклю разыгрывать».

— Не понимаю вас, товарищ инспектор. Недоразумение здесь какое-то!

— Да переставьте! — Инспектор сморщился, будто от боли. Но, собравшись для противного, тягостного разговора, медленно продолжал, кивая с каждым выданным из себя словом: — Сейчас... вахта... вахта. Вы... не могли... не заметить... что судно... останавливалось. А раз так... вы... не могли... не знать... зачем... оно... останавливалось.

— Можете осмотреть судно, — разрешил капитан, выразив на лице крайнюю степень недоумения.

— Я пришел не в дурачков с вами играть. Я понимаю, что икорки мне не найти. Я просто хотел предупредить вас, что, — Шмаков опять скис, — вы... являетесь... пособником... преступления... приобретая имущество... добытое, заведомо преступным путем. — Инспектор был не силен в юриспруден-

ции, но краем уха кое-что слыхивал и в пужный момент мог устребить.

— Ну ладно, ладно, — обиделся капитан, — скажешь тоже: «пособником»! Дают по дешевке — беру.

— А если бьют — стало быть, бегу, так, что ли? — Шмаков вздохнул. — Эх ты! Тютя!

Капитан, услыхав оскорбительное слово, смутился. «Вроде бы еще не окончательное дерьмо, — оценил Шмаков. — Вроде еще можно надеяться».

— Прощевайте!

Тот молча кивнул. Спустившись, Ромка застал хамоватого матроса на прежнем месте.

— Икорки не падо? — мимоходом поинтересовался инспектор.

— Заправились, — не вынимая изо рта папирсы, лепиво ответил парень.

— Ты, что ли, принимал?

— А хоть бы и я.

Перебравшись в лодку и сняв с кнехта веревочную петлю, инспектор тихо заметил:

— В следующий раз пойдешь рыбок кормить.

— Чи-во-о? Да я...

— Спокойно. — Роман откинул телогрейку со стланей. Под телогрейкой лежало ружье. — Будь здоров, больше не балуйся. — Врубил мотор и скрылся.

Пассажирский дал ход. Капитан был раздосадован, матрос зол, а инспектор, бросив мотор, от отчаянья плакал — разве что слезы не текли: «Едрена феня! Да что ж это они все грабят и грабят? Хапают да хапают!» И обернулся вслед сияющему теплоходу, который был сейчас единственным светлым островом в сплошной ночи. Все удалялся остров, становился меньше и меньше.

И Шмаков теперь уже с жалостью смотрел на этот комочек из трехсот пассажирских и экипажных человеческих душ. «Да что же это я, погоди... Да как же?! — И, плюв сапогом двустволку: — Тьфу, проклятая! Лучше б тебя совсем не было!» Он даже передернулся от внезапного холода и отвращения.

Поплавав с «кошкой», Роман забатрил две перетяги метров по сто пятьдесят. Обе пустые. «С капитаном провозился — лучшее время ушло. Опоздал». Ткнув лодочку в берег, он закурил перед свом. Проплыл выпотрошенный осетр. Посветив фонариком, Шмаков определил: «Вчерашний. Издалека плывет».

На Волге браконьер капитальный, солидный — с рыбой не связывается, берет только икру. И за утро, пока Роман спал на дне лодки, мимо него вверх вспоротыми животами проплыли несколько осетров, севрюг и одна двухметровая белуга с никому не нужной молокой. Шмаков много раз видел подобное бедствие, и не утешало, что с каждым годом картина плывущих вверх брюхом рыб становилась все менее впечатляющей, — конечно, охрана усилилась, но ведь и рыбы поубавилось. А браконьер, он не переменялся, разве что стал хитрее и изворотливее. Подопечных своих Ромка делил на несколько категорий: один браконьер из озорства — молодежь чаще, другой — по привычке брать, что плохо лежит, третий — профессионал, четвертый — потому, что есть первый, второй и третий. И ведь все уже понимают, что так дальше нельзя. Все — с первого до четвертого...

Днем Ромка съездил к пастухам за десять километров на чистый луговой остров. Договорился купить сенца, поужинал и к ночи вновь караулил Ефремов участок. Несколько раз бросался в погоню, однако безрезультатно. Браконьер на Волге наивысшей квалификации: икру держит в резиновом мешке, привязанном к лодке. Увидел инспектора — чирк перевочку пожичком, мешочек на дно, и: «Здравствуйте, пожалуйста! Мы с другом решили проветриться — почтито какал! Одно удовольствие погулять! Компанию не составите? Жаль! Рады были познакомиться! Всего наилучшего!» Не пойман — известно — не вор.

У одной лодки в пылу отступления заглух мотор, но браконьеры — их было трое — успели подойти к берегу на веслах и бежали, прихватив с собой добычу.

— Тьфу, мать честная, — выругался, осмотрев лодку, Роман. — Чисто сработало. Ни икришки, ни хрепа... Ладно, мужики, ваша взяла! — признал инспектор. — Выходи, что ль, покурим.

— Шмак?

— Ну!

Вышли двое. Молодой показался Ромке знакомым.

— Никак встречались?

— Ну!

— Шибав?

— Он самый.

— Здорово живешь. — Роман вспомнил, что этот парень имел некогда виды, и значительные, на Автопину.

— Здорово.

— А это батя твой, что ли?

- Ну.
- Вместе, стало быть, промышляете?
- Ну! — Мужики гоготнули.
- Есть, что ль, вам нечего? Да вы и есть-то ее не станете... Иль денег нет? Мотоцикл-то, поди, с коляской?
- Молодой усмехнулся и назидательно, с издевкою сообщил:
- Машина у нас!
- Ну вот! И сколько еще можно хапать?
- Ладно тебе! — сердито бросил папаша. — Все воруют! Кто больше, кто меньше, а тащат. И повсюду так. Самы-то вы больно чистые! Ты-то, бог с тобой, ни себе, ни людям, а другие?
- Кто, что другие?
- Инспекторы твои, вот кто! «Рыбнадзор — первый вор», слыхивал?
- Да, — согласился Шмаков, — бывает.
- «Бывает»!.. Да все вы!..
- Ну эт зря, эт ты перегибаешь. Тимофеева Юрку знал?
- Хороший был человек, — искренне согласился Шибеев-старший. — Хороший, царство ему небесное. — Развел руками.
- Семка Орлов?..
- Тоже ничего, — признал папаша, — да больно шустер. Скоро, видать, за Юркой отправится.
- Ну, эт мы посмотрим, — между прочим сказал инспектор. — Он вперед или, например, ты.
- Посмотрим, — не обижаясь, снисходительно согласился папаша.
- А Яшка Кузьмин?
- Это еще откуда?
- Ниже нас километров на пятьдесят.
- Не знаю.
- Что ты! Извел всех стервецов начисто! Я имею в виду, конечно, нашего брата...
- Догадываюсь.
- Ага. Приезжаем отчитываться, а он па бобах! Начальство скажет: мышей не ловишь! Ну мы Яшке и подсобили: кто сетенку, кто бредешок, кто старую лодку — мало-мало набрали.
- Не знаю.
- А Ефрема вашего взять?
- Ну! — презрительно отмахнулся Шибеев-старший.

- А что, хороший мужик!
- Мужик — ничего, а инспектор...
- Значит, не убедил я тебя?
- Куда там...
- Ну ладно. Был я тут на совещании по рыбной охране, мы там промежду собой откровенно беседовали. Скажу честно: попадают всякие. Один, например, из-под Москвы, с Можайского водохранилища, рассказывал, будто там все инспектора только и занимаются, что ловят для себя и своего начальства. Врет ведь, сволочь! Подлость свою оправдывает! Помню, хвастался еще, что сеть приобрел морскую: десять на триста пятьдесят метров! А того, дурак, не понимает, что сеть эту без сейпера ему из воды не вытащить!
- Во до чего жадность человека доводит!
- А какая там рыба?
- Судак, лещ... В основном судак, кажется, а что?
- Крупный?
- Вроде не очень.
- Ну и хрен с ним.
- Как — хрен? Не хрен! Потом этому мужику морду пабили.
- Ты?
- Не, один там, с Печоры, опередил.
- А у него что за рыба?
- У него семга.
- Крупная?
- Эта — крупная. С красной икрой, может, слышал?
- У пашей черная, а у той красная.
- Знаю, — кивнул старший Шибаев. — Тоже хорошая вещь. Как ее там добывают-то — перетягами?
- Не, в основном лучат и острогой бьют.
- У нас лученье не очень подходит.
- А па мелких-то местах... — возразил молодой.
- Это да, — признал старший. — Есть любители. Только что там лучить, вопа где рыбка. — И указал на фарватер, помеченный бакенами.
- Третий-то ваш икорку понес?
- А ты как думал? — победно усмехнулся папаша.
- Молодцы. — Шмаков зевнул.
- Не получается ничего, инспектор?
- Получается. Да очень туго, — признался Шмаков.
- Бесплезная твоя работа: воюешь, а толку — ништяк.
- Не скажи.

— Вот те и не скажи! Друга-то своего видел?  
— Какого?  
— А которого на «курсы повышения квалификации» отправлял.

— Федьку, что ли? Рузаева?  
— Ага. Выпустили его. Говорят, хорошо себя вел, исправился, вот и выпустили. Сейчас здесь околачивается. Засажал вчера, тебя ласковым словом вспоминал, очень встретиться хочет.

— Значит, выпустили...

— Ага.

— Ну и бог с ним, раз выпустили.— Роман снова зевнул.— Стало быть, вы что — гуляли? К знакомым ездили?

— Угадал!

— От меня не удирали,плыли себе иплыли — так?

— Так.

— И сигналов моих не видели...

— Эт само собой.

— Все правильно,— согласился Роман.

— Как же — грамотные! — подтвердил папаша доволью, хотя и с некоторым смущением.

— Ну, а если бы я за вами на берег пошел?

— Чего-нибудь сообразили бы,— словно извиняясь, ответил папаша.

Молодой ухмыльнулся: очевидно, именно ему доверялась главная роль в «соображении».

— Молодцы. Ну, бывайте,— попрощался инспектор.— поеду. Сил нет, как спать охота, а еще столько делов!

— Будь здоров. Лови их, браконьеров, злодеев-то океаных!

— Придется.

— Аптонине мой личный поклон,— Шибаев-младший поклонился в пояс.

— Да,— беззлобно присединился папаша,— жалко бабенку, красивая.— И, обращаясь к инспектору:— Чего спа тебе нашла?! Кроме упрямства, ни хрена за душой нет. Сейчас бы на «Москвиче» каталась — как хорошо!

— За поклон благодарствую, обязательно передам.

— А ты не горюй! — Шибаев-старший хлопнул по плечу сына и кивнул в сторону Щмакова:— У них работа какал? Ездят, ездят, а однажды и... Так что не расстраивайся, еще покатаешь Тоньку-то, вдовы — народ покладистый!

Роман усмехнулся, но промолчал.

В условленном месте встретились с Ефремом. Подблизь бабки — негусто. Потом Ромка съездил к пастухам и на обратном пути винтом зацепил сеть.

Сначала инспектора бросило вперед, потом лодку потянуло назад и под воду. Шмаков опрокинулся навзничь, ударился спиной о румпель и вывалился. От удара что-то со Шмаковым произошло. Он вынулся в спине и не мог согнуться обратно. Заклинило...

Тонул Ромка медленно, и ласковое синее небо качалось над ним.

Зацепив песчаное дно, оттолкнулся и, казалось, пот уже достает небо руками, но вдруг оно почернело, боль мгновенно прошла, и сладкая дрема вновь повалила Шмакова в пучину, как в перину. «Все!» — сообщил ему проблеск сознания.

Хрупок человек, но вынослив необыкновенно: ноги толкнулись еще раз, потом еще, потом судорожно дернулись. И все в том же заклинном состоянии выбрался инспектор на берег. «Метров сто пропутешествовал», — определил он, увидев лодочку, которая, задрав нос, сидела в сетке. «Как же это я с утра не зацепил? И вчера тоже? Плыл ведь этой дорогой... А-а! Вода упала! Сеточка была приотплена, а тут... Всю протоку перегородили, сволочи! А если б не я, какая-нибудь баба с детишками?.. А хоть бы и я, да в другую сторону — по течению... Вывалился бы выше сетки, в пей бы и заночевал».

Проильвали клочки отборного сена. «Качественный товар: ни колючек тебе, ни репьев — исключительное питание!» — успел подумать Шмаков и внезапно заснул.

Проснулся расклиненным, лодки не было. «Вытаскивать теперь... Тыфу, черт!.. А сеточку я покараулю», — пригрозил он неизвестно кому и пошел домой. «Степь да степь кругом!» — шел инспектор. Так оно и было. Путь, правда, предстоял недалекий — четыре версты, да и замерзнуть Шмаков не мог: сияло солнце. Летали в небе галки, чайки и самолеты. «Качественная жизнь: утонуть не случилось, хребет цел, вредителя заловлю, с Федькой встречусь — все соответственно!» Стало легко, хорошо и сильно захотелось домой к дорогой жене Алтине. «Эх, жаль, ребятешек нет... И чего ж это я, дурак, воспрепятствую?! И чего ж это она меня слушалась?! Вроде из-за работы все, а ведь неправильно!.. Заводить надобно... Срочно! Сей мигнут велю Алтине! Это ничего, что на острове, — вырастим! А то скоро двадцать шесть лет, а ребятешки отсутствуют, — недоразумение! — Инспек-

тор даже остановился, чтоб лучше соображать.— Так вот в сетку влетешь — и фамилия кончилась... Несправедливо!.. Эх! Степь да степь кругом!» Взлетали испуганные куропатки. И, преодолев впасть две протоки и пройдя четыре версты, любовь свою он принес жене:

— Антошина! Я по тебе соскучился...

— А где лодка?

...Утро было дождливым, туманным, шли по Ахтубе две моторные лодки. Инспектор не видел их, но по натужному гулу моторов определил, что лодки гружены тяжело, и выехал на фарватер встретить и посмотреть. Ближняя лодка, большая деревянная, с мощным подвесным мотором, послушно приблизилась к катеру. В ней было четверо мужиков, один из которых как будто спал, укрывшись тулупом. Под брезентом угадывались бочки и ящики. «Купцы! — определил Шмаков.— Волгой идти стесняются, крадутся здесь... Вот это подарочек! А я-то не верил, что они существуют, думал: так, болтовня, а! — пожалуйста! От такого подарочка ни одна милиция не откажется — с руками и ногами оторвут!»

Вторая лодка, казачка, развернувшись, зашла с другого берега. В ней были двое и тоже кое-какой груз.

— Здорово, мужики,— сказал Шмаков и вырубил двигатель, чтобы не драть глотку.

— Здорово, здорово,— ответил один с большой лодки, глядя мимо инспектора. Роман обернулся: казачка держалась у кормы.

— Чего везем?

— Рыбы яйца,— ответил тот же, и мужики засмеялись.

Шмаков почувствовал, что с казачки кто-то ступил на катер.

— Что за движок у тебя? — спросили оттуда, из-за спины.

— Хороший движок,— обернулся инспектор и увидел городской парижности парня. Приподняв капот, парень склонился над двигателем.

— Ну что, инспектор,— поинтересовался первый,— так разойдемся плп...— и наконец перевел взгляд на Шмакова.

Катер качнулся. «Стало быть, тот с кормы ушел».

— Разойдемся,— ответил инспектор, поняв невыгодность ситуации. «Самое время попасть в газету: «Вступил в неравную схватку с бандитами и героически погиб. Знаюки ведут следствие».

— Ну и правильно,— похвалил мужик и огляделся.— Туман-то какой!

В лодке повимающе хохотнули. Завел мотор. Казанка тоже отчалила.

«Выкрутился...— Ткнувшись лбом в штурвальный колесо, Роман бессильно опустил руки.— Чудом выкрутился, крепко прижали, сволочи... Только что ж эти меня выпустили? — И посмотрел вслед удаляющемуся гулу моторов.— Еще позволю!»

Дал газ. Сзади что-то ударило, заскрежетало. Остановив двигатель, Шмаков выбрался из кабины, поднял капот и тут же зло бросил его обратно. «Обвели! Обвели, гады!» В шарнире карданного вала торчала погнувшаяся монтировка, при вращении она пробила дно катера. «Обвели! — И чуть не зарыдал от досады.— Как же, нашел дураков: «Разойдемся». Эти так просто не разойдутся! Движком, вишь, понтересовался, паскуда, а монтировочка уже приготовлена...»

Располозовав фуфайку, инспектор взялся заделывать пробоину. «Ну доколе еще в нашей хорошей жизни сволота всякая побеждать будет? Не жизнь это — одно отчаянье!» Довел откуда-то шум моторов. «Придут люди сейчас и посмеются. «Шмаков, Шмаков, напрасный ты человек!» Шум удалялся. «Да ведь это в Мелком ручье?! Кого ж туда запесло? За каким, интересно, чертом?.. Дак ведь это ж они... Точно, они! Днем-то им плыть нельзя — днем-то им надо прятаться!..»

Схватив ружье, патронташ, инспектор спустился в воду и, подгребая одной рукой, заспешил к берегу. Когда выбрался, катера уже не было. «Мать честная! За один сутки два утопления — каково?!»

Бродил, бродил Шмаков по островам, побродив в плыве переправлялся через протоки и наконец нашел. Лодки стояли в заливишке, со всех сторон укрытом зарослями ивняка. Браконьеры сидели на своих местах, трапезничали. Увидев в полусотне шагов инспектора, бросились заводить моторы. «Нет, ребята, — остановил Шмаков, — так у вас ничего не получится». И, аккуратно, прицелившись, выстрелил в колющий мотора. Деревянная лодка осталась у берега, экипаж пустился бежать. В одном из мужиков инспектор узнал Федьку Рузаева. «Вопы кто изображал спящего! Ну, держись теперь!» И погнался за ними. Казанка выскользнула в протоку. «Хреп с ней, за всеми не угонишься».

— Стой, Федька, стрелять буду! — кричал Шмаков, перезаряжая ружье. Вдруг тот мужик, который вел с инспек-

тором переговоры, обернулся и выстрелил четыре раза подряд. «Пистолет! — сообразил Шмаков, падая. — Кажется, куда-то плелили... Мать честная, война! Настоящие боевые действия! И это в мирное время...»

И все замерли — инспектор и браконьеры, и все гадали, куда пуля попала. «В ногу», — определил наконец Шмаков и приподнялся на колени. Снова грохнул пистолетный выстрел. Мимо. И еще один. Тоже мимо. Мужики сорвались с места. Стреливший на ходу шарил в кармане плаща, — первое, доставал следующую обойму. «Нет уж, теперь мой черед! — Шмаков с колена прицелился, выстрелил, но промазал. — Черт! Голова кружится... Так я, пожалуй, не много навоюю». Отполз в кусты и, перетянув ногу ремнем, стал ждать, что дальше будет.

Браконьеры расположились в стогу метров за сто. Сначала их было четверо, но потом и двое с казанки присоединились. «Валяйте, валяйте, — вздыхал инспектор, — посмотрим еще, кто кого. До темноты больше выстрелить не решитесь — и так нашумели... А тут, глядишь, какая-никакая подмога придет».

К вечеру дождь перестал. Пришла тихая темь.

Издали, из степей, донес ветер обрывок песни вагонных колес. Короткий, словно печальный гудок самоходки шлепнул на мгновенно влажную почву. Потом в бесконечной глубине черного неба залыл самолет. Но ни машинист, летевший по рельсам с полусотней вагонов, ни капитан самоходки водоизмещением пять тысяч тонн, направлявшейся в Швецию, ни пилот, который, выйдя из впража, первой ракетой шлепнул мишень, болтавшуюся черт знает где над соседней областью, — никто из них, вооруженных тысячами лошадиных сил, не видел и даже не предполагал, что на берегу островка между Волгой и Ахтубой, забившись в кусты, валяется инспектор рыбной охраны Шмаков, слегка пьяный уже от потери крови, и стережет полтопны икры — дерьма-то! Никто не знал, никто не мог помочь...

Дважды за ночь Шмаков вступал в перестрелку, трижды — в переговоры. Беседовать на расстоянии ружейного выстрела Шмакову было тяжело — мало крови оставалось. Он выкрикнул свои условия: «Можете идти в милицию, можете к едрене фене!» — условия, в общем-то, равнозначные. На все предложения про деньги и гарантии отвечал матерными словами, не слыхом забываясь о разнообразии.

Между тем приближался рассвет — пора было приводить битву к исходу. Браконьеры рассыпались и поползли, что-

бы взять инспектора в клещи. Он слышал уже перед собой и по сторонам тяжелое дыхание. Выбрав ближайшее, выстрелил. Раздался вопль. «Все,— понял Шмаков,— можно и отдохнуть». Бандиты бросились бежать. Вопль раненого тоже удалялся. «Должно, в руку попал. Если б в ногу или еще куда, бег бы помедленнее».

Когда Нефедов приехал к дочери и сообщил, Автопина только головой покачала: «Нет, батя». Но поблелдела. Подошла к окну:

— Глянь-ко — друг эвонный молчит, не воеет, а вы говорите, что... Нет, батя!

— Да я ничего такого и не сказал. Ну, катер утопленный обнаружили, вот и все.

— Будь она проклята, эта рыба,— запричитала дочь,— будь пеладва...

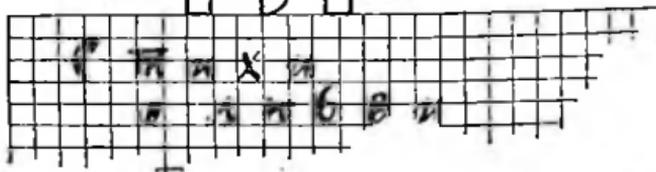
— Конечно, работа такая,— вздохнул Нефедов, готовясь к тому, что Автопина или упадет, или зарыдает, или всё вместе.— Работа такая... Надо бы, конечно, сменить, если, конечно,— он откашлялся,— ничего... особенного не случилось.

Автопина сберпулась к отцу и неожиданно зло сказала:

— Вы бы помолитесь, батя, чтобы ничего не случилось, а то, если, не дай бог, чего случится... я сама займу Ромашово место, и тогда...

Взяв отцовскую моторку, уехала со шмаковским кобелем. Жмурик стоял на носу лодки и, папрягая остатки старческого чутья, искал хозяина, с которым, судя по поведению гостя, что-то произошло, хотя нес спокойно продремал ночь и ничего особенного ему не показалось. Через два часа гонки по старицам и протокам дрожавший от папряжения и усталости Жмурик вдруг захрипел, закашлял. Автопина причадила к зарослям пняка.

# Мен Друде



Кое-кто из специалистов-педагогов подсчитал, что ежегодно в наших школах тратятся от двух до трех миллионов тетрадей на одни только стихи о любви. Не знаю, с какой целью производились эти подсчеты и в каком контексте были они впервые использованы, — что до меня, то я всегда был и остаюсь решительным сторонником творчества наших юных поэтов, даже когда они увлекаются так называемыми интимными темами, то есть, попросту говоря, пишут стихи о любви.

Слово и искусство пользования им — едва ли не самое древнее и самое ценное из всего, чем владело и владеет человечество. Самые величественные памятники, при помощи которых человек пытался осознать мир и себя в этом мире, созданы при помощи слова. Сглаживаются под воздействием ветра и песка контуры египетских пирамид, темнеет белоснежный мрамор великих ваяний, все больше и больше реставраторов трудятся над полотнами великих мастеров Возрождения, по ил «Песнь Песней», по «Илиада», многочисленные «Сказания» не заставили нас усомниться в звучности, и прочности, и смкости слова.

Пелись песни и складывались стихи всегда и всюду. В истории человеческого существования бывали периоды относительного спокойствия, случались и мрачные времена, по которые говорили: не до жиру — быть бы живу; и эти слова, которыми отмечались тяжелые времена, если заметили, созданы в виде двустишья. Душа человеческая предрасположена к звучному, красивому слову и доверяет ему то, что, кажется, никогда и никому бы не доверила. Разумеется, не

все то, что рифмовалось и пелось, приобретало сразу же вековую ценность. Многие гибло тут же, на глазах сочинителя, многое блекло со временем, вытеснялось из памяти народной событиями новых времен, и только малые частички, сохранившие на себе следы облика человечества, вылитые в безупречной форме авторской индивидуальности, дошли до нас.

И кроме этих крупниц состояния человеческого духа дошла до нас и несколько старомодная в наше время слабость человека к стихам. Судя по всему, стихи пишутся во всем мире. Ни для кого не секрет, что у нас в самом малом поселке, в самом малом отдаленном селении есть свой поэт, свой философ, свой чудак и мудрец — иногда эти функции заключены в разных людях, иногда в одном лице.

Конечно, при нынешней натренированности критической мысли легче всего разнести не совсем зрелые стихи пачинающего поэта, но другой раз стоит и пройти через все его несовершенства и подумать: а каково ему житье? Легко ли ему при его незнакомии, неумении нести звание поэта такой-то школы, такого-то села, такой-то окраины? Ведь живет он не литературой, у него совсем другие заботы, а помимо своих забот лежит на нем еще и добровольно взятая обязанность отображения в стихах всех тех, среди кого он живет. Весь мир, все его друзья и соратники ищут в его стихах хотя бы отголоски своих дум, а поэт-то сам еще толком на ноги не встал, ему слово еще не поддается и стих не слагается. К тому же начинают паша поэты, почти все, с самого трудного, с самого сложного — со стихов о любви.

Как и многим моим собратьям по перу, мне тоже приходится встречаться с читателями, и почти при каждой встрече встает из зала местный поэт, или, если он по природе стеснительный, то почитатели его таланта сами выдают его, заставляют выйти на трибуну и показать свое искусство. Хотя, по правде говоря, гораздо интереснее выписать самому местного поэта. Если хорошо всмотреться в лица, то в любой аудитории, особенно в молодежной, его можно довольно легко угадать, кто же носит в этих краях трудное бремя выразителя дум и чаяний. При всей непохожести, при всем человеческом разнообразии — есть в поэтах что-то свое, неповторимое, и, встретив его в жизни, помимо своей воли скажешь: да он же поэт!..

Весной этого года, встречаясь со студентами одного из наших сельхозтехникумов на севере Молдавии, я как-то сразу угадал поэта. Хотя зал был битком набит и ребята все бы-

ли сельские, очень похожие друг на друга, выразительница их дум, сидевшая вместе со всеми в третьем ряду, чем-то резко выделялась из общей массы. Обыкновенная смуглая девушка в пошешенной кофточке, но была в ней просветленность, решимость, печаль, и еще до того как узнать ее имя, я по каким-то таинственным законам человеческого общения признал ее за старшую среди своих и уже весь вечер обращался главным образом к ней.

Говорили мы в тот вечер долго и, что пазывается, по душам. Технику считается едва ли не лучшим в Молдавии: добрая треть всех председателей колхозов и агрономов — его выпускники. И мы говорили, разумеется, о земле, о хлебе, о будущем крестьянстве, о прозе, о театре. Смуглая девушка из третьего ряда слушала очень внимательно, иногда согласно кивала головой, другой раз с чем-то не соглашалась, все время находясь во власти непонятного мне напряжения. Перед окончанием встречи она вдруг встала и сиропила:

— Скажите, а как вы относитесь к стихам?

К стихам я относился хорошо. К сожалению, своих у меня не было, чужие плохо помнил, по поскольку была весна и в зале сидели одни молодые, я предложил: может, кто-нибудь из них почитает стихи? Может, свои местные поэты выступают? Тут-то и подтвердилось, что смуглая девушка в третьем ряду — поэт, хотя выйти на сцену отказалась наотрез.

— У меня стихи о любви.

Зал замер. Начинаясь интересный диалог между двумя литераторами. Один сослался па то, что у него стихи о любви, — посмотрим, что ему на это ответят. Положение было деликатное. Уговаривать или, тем более, настаивать я, разумеется, не мог, по уйти от разговора было нельзя. Оставив на ее усмотрение — читать ей стихи или не читать, — я сказал, что каждая профессия имеет свои сложности, свои подводные течения. Художники слова, особенно поэты, выносят в мир самое близкое, самое сокровенное, и этого не нужно стыдиться, потому что на определенном этапе творчества все, что еще недавно было твоим, кровным, становится общим, биография одного человека переплавляется в биографию целого поколения. В этом адская мука, по и великое счастье нашей профессии. Многие именитые поэты, читающие стихи о любви, не испытывают при этом каких-либо неудобств; я и сам хоть стихов не пишу, но изредка в своих сочинениях затрагиваю, касаясь сокровенных

моментов в жизни своих героев, и, читая перед аудиторией эти описания, не стыжусь их лирической откровенности.

— Да, но вы читаете свои произведения и уезжаете, а я должна прочесть и остаться.

Зал взорвался молодым здоровым хохотом, и мы решили на той шутке закончить нашу встречу, тем более что во дворе давно уже сигналил шофер, который должен был увезти меня, — ему предстояло на следующий день уехать куда-то на свадьбу, и эта предстоящая свадьба не давала ему покоя.

Зашли на прощание к директору в кабинет. Радужный хозяин угостил нас прекрасными винами, — надо сказать, что здесь вино не пьют, а дегустируют, и вина делятся не на сорта, а на типы. Тип таких-то виноградников, тип таких-то земель. Когда-то Котовский заканчивал этот техникум, и злые языки утверждают, что пара бочонков еще с тех пор хранится в подвалах техникума; для кого и как они хранятся — это не нашего с вами ума дело, тем более что меня все время занимала та смуглая девушка и ее стихи.

Конечно, она засмушалась, но ведь стихи — это прежде всего акт творчества, требующий огромного труда, огромной смелости. Можно, сославшись на ее стеснительность, сесть в машину и уехать, тем более что шофер сидит как на иголках, но ведь настанет день в жизни, когда тебе вдруг вспомнятся все те случаи, когда ты прошел мимо, и начнешь сомневаться: а действительно ли был прав, пройдя в тот день мимо?

Директор техникума, человек тонкой душевной структуры, хорошо понимающий не только высказанные, но и невысказанные мысли, послал секретаршу куда-то, и вот она стоит на пороге, та смуглая девушка с тетрадкой стихов. Стоит хмурая, колючая, упрямая, и директор сказал ей:

— Если всему залу невозможно прочесть стихи, то одному человеку, может, все-таки прочесть?

— Одному можно, — сказала девушка, — но вас же двое.

Она была очаровательна, сердиться на нее было просто невозможно. Директор улыбулся и тут же куда-то исчез. Получив тетрадку, я уселся за длинный стол совещаний, а девушка села на подоконник. Хотя стульев было полно, она почему-то вдруг решила сесть на подоконник. Шалости у

них, у поэтов, черно, в крови — еще Николай I это заметил. Стоило ему с Пушкиным заговорить на равных, как поэт тут же уселся на его рабочий стол. Впрочем, все мы хорошо знаем, во что Пушкину обошлась эта шалость, и не императорам жаловаться на своих поэтов.

Тетрадь была большого формата, около двухсот страниц. Стихи выписаны аккуратнейшим почерком. Каждое стихотворение художественно оформлено, в особой манере. Тетрадь носила название, хотя — что я говорю! — это не была тетрадь со стихами, это был сборник. Книга, изданная в одном экземпляре для одного человека, — может, потому она так и называлась: «Он».

Шофер на улице отчаянно сигналил, девушка сидела на подоконнике и разглядывала павлинов, гулявших по двору, у них там много этих красивых птиц, а я читал стихи и украдкой разглядывал автора. Рослая, этакий мускулистый сгусток сельской жизни, она, верно, успела в свои годы и в поле, и на виноградниках поработаться. Сидя на подоконнике, она прятала за спину ладошки со следами мазута — у них было в тот день автодело, и она не успела отмыть руки, спешила на встречу. Надо сказать, что выпускники этого техникума при получении диплома должны в обязательном порядке уметь водить все мыслимые в деревне машины — трактор, комбайн, автомобиль.

— Стихи о ревности не пужко пропускать, — вдруг сказала она колко, все еще разглядывая павлинов, — они мне дорого дались.

— Откуда вы знаете, пропускаю я или не пропускаю стихи о ревности?

— По шороху страниц угадываю.

А страницы ее книги между тем ярким пламенем пылали в моих руках. Не помню, все ли там было в ладу с грамматикой, с размером, с рифмами, но столько страсти, столько нежности, столько стойкости я давно уже не встречал в книгах наших профессиональных поэтов. Поэма начиналась большим вступлением под названием «Девичьи грезы», потом шла глава «Вишня у моих ворот» и уже новое вступление в поэму, потом — цикл стихов под названием «Миг и вечность ожидания», и вот третье вступление к той же поэме под названием «Он»...

— Да кто же этот ваш «он»?

Она сказала тихо, печально и бескопечно стойко:

— Мой друг.

На что я возразил, что у каждого из нас есть друзья, но

чтобы одаривать друга такими томами стихов... Девушка, подумав, добавила тихо:

— Он — это мой любимый.

Мне почудилось в этом шепоте желанием поделиться, и, хотя на улице машина совсем охрипла от сигналов, я спросил:

— Не хотите ли рассказать мне что-нибудь о нем?

Вдруг она перестала стесняться своих ладошек. Мягко провела ими по коленкам, как это обычно делают крестьяне, когда хотят унять, руками унять, свою великую усталость, затем спросила:

— А зачем вам это?

Я ей сказал, что в этом суть нашей профессии: оставляем вдруг свои обжитые дома, свои письменные столы и начинаем страствовать в поисках интересных людей, ярких характеров, редко встречающихся жизненных ситуаций...

— И ради этого вы приехали из самой Москвы?

— В том числе и ради этого.

— А у нас ребята говорили, что вы приехали братьев своих повестить.

— Братья — сами собой, работа — сама собой.

— А то, что шофер на улице сигналил, это ничего?

— Ничего... А уедет — доберусь поездом. В поезде больше пространства, лучше мыслится и к тому же безопасней...

Она вдруг опять увпдела свои ладошки, чему-то улыбнулась, хотела что-то рассказать о преимуществах поезда перед автомобилем, но в это время совершенно другой человек в пей начал тихо и складно рассказывать о себе, о своей жизни...

Была она родом из южной молдавской деревушки. Родители — простые колхозники, в доме семеро детей, и она — старшая. Работала в поле, няичила своих многочисленных братьев и сестренок. И вдруг — новая напасть на ее голову: в седьмом классе влюбилась в учителя ботаники. Школа у них в селе маленькая, восьмилетняя. Учителя ботаники долго не было, потом приехал молодой биолог. Вошел в класс и сказал: «Доброе утро, ребята!» Она ответила вместе со всеми: «Добрый вам день!» — а про себя подумала: это ОН.

Как всегда и всюду бывает, она писала ему любовные записки, а он делал вид, что понятия о них не имеет. Два года, весь седьмой и восьмой класс, она писала записки, на которые не получала ответа и вместе с тем твердо верила

в свое счастье. Училась она хорошо, а уж ботанику и зоологию знала, как никто в школе, надеясь получить пятерку с плюсом, но молодой биолог пятерку с плюсом никому не ставил, хотя перед экзаменом посоветовал ей куда-то поступить...

Куда он советовал ей поступить, она не помнила: голова, и сердце, и все ее существо буквально сотрясались от любви. Ей надоело быть его ученицей и называть его по имени-отчеству, она жаждала добраться до его простого, уменьшительного, ласкательного имени. Дождавшись получения свидетельства, она кинулась по деревне искать его, сказать ему, что никому поступать не собирается, — либо соединит с ним свою жизнь, либо ляжет в могилу. Ничего другого она не хочет.

А его не было. Обегала всех знакомых, у которых он бывал, трижды в тот вечер заходила в клуб, а его все нет, и в полночь, когда она, убитая горем, возвращалась домой, от вишни, что растет у ворот их дома отделился человек и пошел ей навстречу. Потому цикл стихов так и называется — «Вишня у ворот». Это был, конечно, он.

Они прогуляли долго, чуть ли не до самого утра. Она залось, он хранил все ее записки, но не отвечал на них, потому что все это — детская лихорадка. Она взревела от обиды и сказала, что не детская лихорадка, это ЛЮБОВЬ! Он сказал: что ж, может быть, и любовь, но зачем же так торопиться? Разве любовь — это только миг, когда двое в интимной близости познают друг друга? Это, конечно, важно, это прекрасно само по себе, но после путь предстоит им еще долгий, и только все это вместе может называться любовью.

И он снова посоветовал ей поступить в техникум. Именно в этот техникум. Оттуда выходят хорошие агрономы, сказал он, а агрономы — народ мудрый. Они понимают, что, когда крестьянин сажает зерно в землю, он не приходит на второй же день и не начинает кудахтать над местом посадки: а где же саженец, а где же цвет, где же урожай? Всею в мире присущи определенные ритмы, определенное время, и любовь, так же как и посадка растений, означает небольшой уход и очень, очень долгое ожидание...

«А отвечать на мои письма будете?»

Он пообщался, и она говорит, что поступила в техникум.

главным образом для того, чтобы узнать, что он ответит на ее письма. Теперь годы учебы прошли — она на четвертом курсе, кончает вот-вот, по конца роману не видать, потому что техникум направляет ее в институт как свою лучшую студентку, да и сам он советует поступать в институт, потому что у нее вдруг открылись редкие способности биолога...

— Послушайте, но сколько же можно писать друг другу письма?

— А мы их уже давно не пишем. Пять-шесть дней проходят мигом, а потом мы встречаемся...

— Каким же образом вы встречаетесь? Разве он может прехать, что ли воскресенье, с самого юга?

— Подумаешь, триста километров! Сел за руль — и через пять-шесть часов...

— У него есть машина?

— «Жигули». Он у нас теперь директор школы.

— Но ведь институт — это снова четыре или пять лет...

— Зато это ближе. Кишинев же совсем рядом...

Прежде чем вернуть книгу, я спросил:

— Ни разу еще не печатались?

— Нет. Я славы не хочу.

— Ну, после первых стихов я не думаю, что может на вас пакатить большая слава...

— А мне и малелькой не нужно. Эту книжку я озаглавила «Он» и написала ее специально для НЕГО.

— Что же, больше ее никто и не читал?

— Никто. Я вспомнила, что в школьном учебнике есть ваш рассказ про муравья, и подумала: а что, если вам показать стихи...

Обратно я возвращался домой почью, по дождю. Разобиданный шофер молча вцепился в баранку и думал свою нехорошую думку про нашего брата литератора. Сидя рядом с ппм, я слушал, как барабанит дождь по крыше машины, и перебирал в уме те два или три миллиона тетрадок, которые, что ни год, идут на стихи о любви. Не зная, кто и с какой целью произвел эти подсчеты, я тем не менее был на стороне ребят, пишущих стихи, в том числе и стихи о любви. Любят своих матерей, любят свою землю, свой народ, любят голубизну неба и глаза той единственной, имя которой и не выскажешь сразу. Чувства любви клокочут, они прорываются, они требуют словесного деяния, и это одно из

самых человеческих проявлений нашего бытия. У истоков жизни стоят не только сеющие хлеб и запускающие корабли в космос. Возвышенные чувства требуют возвышенных слов. Любой школьник, попытавшийся выразить стихами трепет души, подтверждает незыблемость человеческого рода. И если вы в какой-нибудь ненастный день встретите на дороге школьника и какое-то чутье подскажет вам, что он — будущий поэт, что в его портфеле лежат только что написанные стихи, не сходите снисходительно улыбаться. Подумайте лучше над тем, что этот мальчик стоит у порога одного из самых вечных и древних искусств и на его хрупкие плечи теперь легла ответственность за незыблемость и непрерывность человеческого существования.

# Венцамин Каверин



## 1

Впервые это случилось в пятом классе. Дима написал сочинение на тему «Моя комната» и получил тройку — из-за пианино. Его отец не любил музыку и называл ее «организованный шум». Дима написал: «В моей комнате стоит кровать, стол, стул и этажерка», — и учительница красным карандашом оценила сочинение как: «Неинтересное и нетворческое». Оказывается, надо было упомянуть рояль или пианино, хотя у Димы в комнате не было ни того, ни другого. Это «надо» впервые заставило задуматься Диму.

В другой раз учительница накануне контрольной работы по темам роно собрала класс, сообщила тему, подобрала цитаты и разработала планы. Дима сказал ей, что это — обман, ушел и на другой день получил за сочинение пятерку. Обман был раскрыт, у директора были неприятности, дело рассматривалось на педагогическом совете, и учительница, оправдываясь, сказала, что она защищала честь школы. Об этом узнали в классе, и Дима снова глубоко задумался: значит, чтобы защитить честь школы, нужно солгать?

Потом у Димы был интересный разговор о вранье и девчонках. Мишка Палладиш считал, что от вранья можно избавиться, исключив из школьной программы все гуманитарные предметы. Или, занимаясь ими, открыто пользоваться шаргалками, потому что шаргалка по своей природе — зеркальное отражение правды. «Что касается девчонок, — заметил он, — и прочей белиберды, мне лично, чтобы не врать, приходится пользоваться математическими формулами. Но я все равно вру. А ты что? Решил девчонкам не врать?»

— Мне, брат, очевидно, придется худо, потому что я решил вообще не врать,— грустно заметил Дима.— Я заметил, что от вранья у меня руки дрожат и стаповится холодно, как будто меня бросили в прорубь.

— Надо лечиться,— философски заметил Палладин.

## 2

Родители в общем нравились Диме, хотя жить было бы легче, если бы они время от времени не занимались вопросом о его воспитании. Отец не делал почти ничего, что ему не хотелось делать, мало ходил, по утрам не делал зарядку, не обливался холодной водой и вообще не мучил себя, хотя иногда говорил, что себя надо мучить. Он довольно толстый, бледный, в очках, а когда болеет, отказывается от лекарств на том основании, что неизвестно, почему они помогают. Целый день он ничего не ест, возвращается домой из суда (он прокурор), обедает в семь часов, а в восемь требует ужин.

Мама — врач, но, по-видимому, плохой врач, потому что она откровенно признается в том, что давно забыла все, чему ее учили в медицинском институте. Она часто жалуется на усталость и действительно легко устает, хотя отец утверждает, что, согласно закону какого-то Джемса, она должна еще больше уставать от постоянных жалоб на усталость. Она так много и, в общем-то, неясно говорит, перескакивая с одного на другое, что отец начинает смеяться, а Дима — тихонько гудеть «у-у-у» или выключаться, как будто говорит не мама, а радио, но она все равно говорит, и если долго гудеть, начинает сердиться. Диму родители воспитывают главным образом тем, что они за него боятся. По их мнению, здорового, обыкновенного парня на каждом шагу подстерегают опасности на земле и в воде, хотя Дима хорошо плавал (второй разряд) и считался самым сильным в классе.

Словом, родители не мешали бы жить, если бы по меньшей мере два-три раза в неделю не ссорились. Существовала, оказывается, какая-то Наталия Михайловна, с которой отец, по-видимому, виделся гораздо чаще, чем хотелось маме. Ссоры начинались внезапно, чаще всего в передней. Он падал на пальто, закутывал шею, боясь простудиться, а мама сперва ругала его шепотом: «Подлец, подлец!» — а потом все громче, и наконец: «Все кончено, уходи и не возвращайся». Отец отвечал, что он давно бы ушел, если бы не дети. И, хлопнув дверь, он торопливо спускался по

лестнице, а следом за ппм, к удивлению Димы, уходила к маме. С балкона было видно, что она идет за ним, прячась за углом или в подъездах. Это, пожалуй, можно было объяснить тем, что она за него беспокоится. Но чем же она могла помочь ему, если бы на него напали? Впрочем, однажды Диме представилось, что у отца тайные враги, и один из них выскакивает в маске, с ножом в руке, и мать грудью защищает отца. Но это было давно, когда Дима был еще маленький. Теперь ему шел семнадцатый год, и он все понимал. И не только он, даже Леночка.

Слабенькая, тихая Леночка в четыре года научилась читать и по целым дням сидела за книгой. Мать заставляла ее выходить в сквер, но она вскоре возвращалась. «Там очень шумно, мамочка», — говорила она и снова принималась за чтение.

Кроме родителей и детей в доме жил еще дед Платон Платонович. Он вставал с кресла, опираясь на две лыжные палки, и за обедом отказывался от супа, потому что у него дрожали руки. Читал он, пользуясь отками с такими толстыми стеклами, что, когда Дима падал их, буквы казались ему огромными, как навозные жуки. Диме было запрещено ходить к деду, но он все-таки ходил, брал у него книги и читал по ночам, а под утро прятал за учебниками на этажерке.

В конце концов история с Натальей Михайловной кончилась очень грустно. У нее было большое сердце, и она неожиданно умерла. Приступ случился ночью, она уснула и не проснулась.

Отца привели под руки какие-то незнакомые люди, он еле передвигал ноги, потерял очки, бледное лицо было искажено от мучительной боли. Лицо было такое, как будто ему велели проглотить что-то большое, больше его самого, и он старается, но не может.

Интересно, хотя мать была взволнована, но держалась совершенно спокойно. Раздела его, посадила в ванну, потом положила в постель и осталась в его комнате на ночь. А утром позавтракала, принесла ему чай с бутербродами, позволила на работу, что не может прийти, и снова весь день не оставляла отца.

К вечеру все-таки пришлось вызвать «скорую помощь», отцу что-то врыснули и велели лежать. Он лежал и плакал. Дима старался не смотреть на мать, которая в два дня порозовела и похорошела. Он не знал, любил ли он ее раньше, но теперь не то что стал не любить, но не мог

справиться с каким-то другим, неизвестным чувством. Это было как бы чувство отсутствия матери не только в доме, но вообще на земле. Впоследствии таким же образом для него исчез Валька Стружкин.

3

Диме казалось, что дед жил в девятнадцатом веке. Он ничего не слышал, и ему пужно было писать записки, на которые он кратко отвечал своим слабым, но отчетливым голосом.

Дима зашел к нему и написал: «Что ты думаешь обо всей этой истории, дед?»

— Что она повторилась,— загадочно ответил дед.

— «Я никого никогда не буду любить» — это была вторая записка.

— В твоем возрасте и я думал так же.

— «И ошибся?»

— Да. Смертельно ошибся.

Дима не понял.

— «Смертельно?»

— Почти.

— «Мама ни на минуту не оставляет отца».

— Да.

— «Бойся, что он умрет?»

— Нет. Он оправится. Ему не придется провести четыре года в психиатрической больнице.

— «А тебе пришлось?»

Дед не ответил.

— «Значит, можно сойти с ума от любви?»

— Нет. Но можно рискнуть жизнью. Ну, скажем, броситься на колючую проволоку, чтобы встретиться с тем, кого любишь. Ты знаешь, что такое метафора?

— «Нет».

— Перепосный смысл на основе какого-нибудь сходства или сравнения. «Колючая проволока» — это метафора.

— «Кажется, понимаю. До свиданья, дед. Пойду думать».

— А ты просто саднишься и думаешь?

— «Или ложусь. Чаще ложусь».

4

Так началась и продолжалась новая странная жизнь. Все перепуталось. Обедать отец теперь из суда не приходил. За ужином все молчали. Только Леночка звонким дет-

ским голосом рассказывала «Таппственный остров» Жюль Верна, с которым она не расставалась.

Иногда отец возвращался пьяный, и тогда мать отводила его в спальню, раздевала и укладывала в постель. Она больше не следила за отцом, когда он уходил из дома, и Диме казалось, что у нее отняли важное, интересное занятие, заполнявшее ее жизнь. В доме было грязно, обеды и ужины, которые наскоро готовила мама, невозможно было есть, некусовые соусы и винегреты съедал Лис — огромный сенбернар, который понимал, что семейство разваливалось, но помочь, к сожалению, ничем не мог.

## 5

Малышеры жили в Замоскворечье, в одном из маленьких переулков, выходящих на Кадашевскую набережную. Здесь еще сохранились остатки старых садов, и во дворе дома веселой зацвели липы. Двор был большой, в глубине его чувствовался их печный запах.

Через полевой бинокль, который подарил ему отец, когда Дима окончил школу, за окном открывалась панорама разрушенных зданий, заваленное битым кирпичом и штукатуркой неопределенное пространство, на котором перестраивалась Третьяковка. Подъемный край был похож на пирамиду, которая сужалась, уходя наверх, к двум крыльям — длинному и короткому. Длинное было покрыто мостками и огорожено перилами. От него спускался до земли трос, кончавшийся крюком, похожим на огромную железную руку, хватающую груз и неторопливо, осторожно переносившую его куда-то в глубину строительной площадки. Короткое крыло держало платформу, нагруженную бетонными блоками, а между ними были видны в будке плечи и голова человечка, который, должно быть, управлял работой на крае. Но Дима с чувством странной зависти рассматривал другого человечка, который время от времени ходил по длинному крылу на опасной веселой высоте с сумкой через плечо. Это был — Дима знал — слесарь-перхолаз.

## 6

Он привык к тому, что родители постоянно ссорятся, но так долго они не ссорились ни разу: в субботу и воскресенье — с утра до вечера, а в рабочие дни — до поздней ночи. Речь шла о дочери покойной Наталии Михайловны, Ма-

ришке, которую отец просил, умолял, приказывал взять в семью и о которой мать не хотела и слышать. Дима подозревал, что он точно так же просил, умолял и пытался приказывать Маринке. Впрочем, приказывать он не умел и в конце концов поступил очень просто: перестал отдавать зарплату жене, а чтобы дети не умерли от голода, покупал им каждый день буханку бородинского хлеба. Дима не жаловался, но семиплетья Лепочка просила маслицца и плакала, когда Ирина Сергеевна посылала ее за маслицем к отцу. В конце концов мать согласилась, но с таким лицом, что Дима невольно пожалел неведомую Маринку. Она была на год старше Димы, ей минуло восемнадцать, в прошлом году она кончила школу. В последних классах она научилась печатать на машине в УПК<sup>1</sup>, и Василий Платонович оформил ее секретарем к старому писателю. Каждый день от девяти до одиннадцати и от четырех до шести он диктовал ей письма и мемуары. Для три Ирина Сергеевна делала вид, что Маринка не существует, но та быстро доказала обратное, и началась совсем другая, более или менее терпимая жизнь.

Она была похожа на птицу, случайно залетевшую в этот скучный, молчаливый дом, где изредка слышался только звонкий голос Лепочки, читавшей и рассказывавшей теперь «Из пушки на лупу» и не верившей Диме, что до Лупы уже давно добрались. Но случайно залетевшая птица билась бы в стекла, а Маринка не билась. Она, правда, летала, но деловито, не теряя времени и постепенно приводя в порядок грязную, запущенную квартиру. Она вымыла полы, откидывая белокурую челку, то и дело падавшую на глаза. Правда, работники из «Зарп», может быть, сделали бы лучше, не только вымыли, но и натерли бы воском полы. Но Маринка боялась заговорить об этом с Ирипой Сергеевной — это все-таки обошлось бы в копейчку.

Однажды Лепочка вернулась из школы домой и сказала, что больше не пойдет. Маринка на следующий день отправилась вместе с ней и простояла за стеклянной дверью класса три часа, пока не кончился школьный день. На переменах она ее не оставляла.

Трудно сказать, где она достала шерсть, но нашла время, чтобы связать для Ирины Сергеевны красивую черную пакидку, отделанную белой полоской.

<sup>1</sup> Учебно-производственный комбинат.

По вечерам, после ужина, Маринка надолго занимала ванную — стирала, мылась. Все на ней скрипело и потрескивало — подкрахмаленные передники, длинные до локтя, шарокавки, — и это потрескивание казалось Диме воплощением чистоты, не только внешней, но и внутренней, душевной. Она брала у Ирины Сергеевны деньги на продукты, а потом старательно, разборчиво писала отчет.

Часто она выходила к завтраку с распухшими от слез глазами, и Дима догадывался: не спала ночь, думала о маме. В эти минуты Василий Платонович смотрел на нее, стараясь удержать вздрагивающие губы, и Дима начинал думать, что отец любит Маринку больше своих детей, но как-то внае.

Дима был очень занят, готовился к экзаменам в институт, и у него не было времени, чтобы подумать, влюбился ли он в Маринку или еще нет. И он решил поговорить с ней об этом.

— Понимаешь, я не могу решить, люблю ли я тебя или еще нет, — сказал он однажды, улучив минуту, когда Маринка складывала белье и была относительно свободна. Она засмеялась.

— Ты страшный парень. Разве можно советоваться с девочкой, любишь ты ее или нет?

— Мне все говорят, что я страшный парень. А почему нельзя посоветоваться?

— Потому что ты должен это почувствовать. Влюблен или не влюблен?

— Нет, это сложнее. Дело в том, что если бы мы влюбились, из этого все равно ничего не вышло. Ничего хорошего. Дети уроды и так далее.

— Почему?

— Потому что ты дочь моего отца и, стало быть, мы — родные по крови.

— Мы не родные по крови. Я родилась, когда твой отец и моя мать были еще незнакомы. Мне было три года, когда он стал приходить к нам. Для меня он всегда был Василий Платонович, и я никогда не называла его «папа».

— Значит, мы не родственники?

— Нет. У нас даже разные фамилии: ты — Малышев, а я — Родионова. Вообще не надо влюбляться. Я занята с утра до вечера, а ты все лето будешь готовиться на юридический. Да?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я передумал. Не хочу быть юристом. Родители заставляют меня ходить в суд, и я иногда хожу. Неприятно. Кроме того, мне кажется, честные юристы всю жизнь должны мучиться угрызениями совести.

— А Василь Платонович, по-твоему, мучится?

— Да. Я даже думаю, что он пьет, потому что мучится. Например, один тренер по боксу избил учителя, который ставил двойки его сыну. Отцу позвонили откуда-то сверху, и он — я его слышал — произнес такую речь, что тренера оправдали. А учитель умер.

— А если не на юридический?

— Не знаю. Я хочу быть верхолазом.

— Кем?

— Верхолазом. Слесарем по монтажу на башенных крапах.

7

Почему-то они стали ближе друг к другу после этого неожиданного признания, хотя Маринке совсем не хотелось, чтобы Дима лазил по каким-то башенным крапам. Кроме того, она, так же как Дима, очень интересовалась дедом. Дима рассказал ей свой интересный разговор с ним о любви, и они решили, что в жизни деда была какая-то тайна.

Родители в этот день еще не вернулись с работы, и они заглянули к деду — просто поболтать.

— «Родители надоедают нам разговорам, что им жилось плохо, а мы на всем готовом, и нам хорошо, — написала Маринка. — Они правы?»

— Да, — ответил дед. — Новое поколение почти не знает истории своих отцов и дедов. Им жилось бесконечно труднее, чем вам. Они пережили очень суровые времена, а потом началась самая страшная в истории человечества война. А дети думают только о себе, и прошлое их не интересует.

Дима долго сочинял очередную записку, а потом зачеркнул ее, оставив слова:

— «Нет, дед, ты ошибаешься. Интересно. Но тебе не кажется, дед, что прошлое скрывают от нас?»

— Нет, — возразил дед. — Пришло время, когда история позволила вашему поколению шагнуть через десятилетия. Но она ждет своего часа.

— «Животные не знают своего прошлого, а между тем прекрасно живут».

— Может быть, и знают. Но в их сознании прошлое лишено созидательной силы.

— «Для меня прошлое началось с новогодней елки в Колосном зале», — заметил в своей записке Дима.

— «А у меня, когда мама пошла со мной в зоологический сад», — прибавила Маринка.

Этот интересный разговор оборвался, потому что дед вдруг сказал, что он стал лучше видеть.

— Как-то яснее, — объяснил он. — Ты, Марпочка, по-моему, хорошенькая, хотя теперь редко пользуются этим словом. Глаза немного выпуклые, но это тебе даже идет. Ты на все вокруг смотришь с удивлением. Ты блондинка, уши открыты, а на затылке заколота гривка.

— «Да, я хорошенькая: белобрысая и курносая. Глаза как у карася, когда его уже поймали. А волосы заколоты, потому что я не люблю ходить распустехой».

— А ты, Дима, широкоплечий и коротковатый, — с огорчением сказал дед. — Ты, должно быть, много занимаешься спортом?

— «Нет, дед. Я и так могу подвять больше тридцати килограммов левой рукой».

— А глаза — задумчивые. Ты о чем-то думаешь?

— «Да. В данном случае — о тебе, дед».

Они замолчали. Маринка, которая не могла сидеть спокойно, увидела на полу под столом груды грязного белья. Не сказав ни слова, она вытащила ее и завернула в старую газету.

— А почему ты думаешь обо мне?

— «Потому, что я толком ничего о тебе не знаю».

Дед задумался.

— Сколько тебе лет?

— «Семнадцать».

— «А мне восемнадцать», — сообщила Маринка.

Молчание продолжалось так долго, что им обоим показалось, что дед задремал.

— Нет, — наконец сказал он, очевидно отвечая как-то собственным размышлениям. — Это сложно, и ты многого еще не поймешь. Подождем несколько лет, и я расскажу тебе свою жизнь.

Это был шумный день. Дима решил сказать родителям, что он не намерен подавать на юридический, потому что его не интересует эта сторона жизни.

Маринка с утра ушла на базар, и когда она вернулась, скандал был в полном разгаре.

Ирина Сергеевна повторяла, что через полгода Диму призовут в армию. Дима отвечал, что его уже признали пригодным. Василий Платонович настаивал, чтобы Дима сказал, почему он не хочет на юридический, и Дима наконец угрюмо пробурчал, что не желает каждый день торчать в суде, читая «Королеву Марго», вместо того чтобы готовиться к обвинительной речи. И когда растерявшийся Василий Платонович стал отрицать, что он читал «Королеву Марго», Дима назвал день, когда он видел это своими глазами. Ирина Сергеевна кричала, что его все равно призовут, потому что скоро будет война и никто не заметит, что у него одна нога немного короче другой, что «Королева Марго» — прекрасная книга и что его, как деда, отправят в психбольницу.

Словом, они еще кричали друг на друга, когда Маринка вернулась, но недолго, потому что Дима вдруг сказал, что он хочет быть слесарем-верхолазом.

Василий Платонович открыл рот, Ирина Сергеевна от изумления громко щелкнула зубами, и, воспользовавшись наступившим молчанием, Дима торопливо ушел в свою комнату, достал рюкзак и стал укладывать вещи. Он заперся, но зная, что Маринка придет, открыл ей дверь, когда она постучала.

— Уезжаешь?

— Да.

— Куда?

— Еще не знаю.

У Маринки была пушистая челка, и она привычно поддувала волосы снизу. Но на этот раз не стала поддувать, и Дима с удивлением увидел, что ее глаза наполнились слезами.

— А может быть, все еще уладится? — жалобно спросила она.

— Нет. Они кричали, потому что так приято.

— Все-таки родители.

— Да. Но у матери всегда такой вид, как будто я виноват, что она когда-то меня родила.

— Неправда, — подумав, сказала Маринка.

— Нет, правда. Послушай, она сказала, что дед был в психбольнице. Ты об этом ничего не знаешь?

— Нет, — ответила Маринка и сердито вытерла платком глаза.

Дима с интересом смотрел на нее.

— Мы будем встречаться, — сказал он ласково и погладал ее по лицу. — И тогда, между прочим, станет более или менее ясно, люблю я тебя или нет. Понимаешь, вопрос серьезный, и как-то страшно соврать. А теперь надо проститься с дедом.

Они вместе пошли к пому, и Дима объяснил, почему он решил уйти из дома.

Дед помолчал.

— Ну что ж, — сказал он, — я бы не стал тебя удерживать. Когда-то и я шестнадцать лет ушел из дома. Но не надо ссориться с родителями. Они любят тебя. Устройся, а жить приходи домой.

— «Это они ссорились, а я молчал».

Дед внимательно, точно читая книгу, через очки с толстыми стеклами посмотрел на Диму.

— Да, а теперь, — задумчиво сказал он, — теперь тебе, пожалуй, полезно будет прочитать мои воспоминания. Ты хотел бы?

— «Очень».

Дед с трудом поднялся и, опираясь на лыжные палки, подошел к книжному шкафу.

— Ну-ка снимь весь передний ряд с третьей полки. Теперь снимь второй.

Дима послушался.

— В третьем ряду справа, рядом с «Боярской думой» Ключевского, стоит рукопись в кожаном переплете. Дай ее мне. А книги надо поставить в прежнем порядке.

Рукопись лежала на столе.

— Ну вот, когда ты устроишься, приходи, и я дам тебе эти записки. Но, дети, условие: никому не говорить о них.

— «Честное слово».

— «Честное слово», — написала Маринка.

Валька Стружкин сказал, что Дима может жить у него сколько хочет, потому что огромный холодильник, стоявший в огромной кухне, набит едой и он еще может получать родительский «заказ» каждую неделю. Но он не получает, потому что тогда продукты придется заходить на рынке. А ему некогда, он строит фрегат. Вообще-то родители снимают, что он едва ли годится к дипломатической работе и что ему надо поступить на курсы при Министерстве иностранных дел, где учат стенографию и машинный, на иностран-

ных лзыках. Но он не хочет на эти курсы, потому что там учатся одни девчонки, которые и так к нему ходят каждый вечер. Валька отнеслся к этому делу проще, чем Дима.

Из просторного кабинета отца он устроил спортивный зал, повесил две трапеции и достал откуда-то штангу с дисками, которые надевались на ее концы, чтобы увеличить вес. Он был почти на голову выше Димы, но щуплый, узкоплечий в своем модном заграничном костюме. Весной он вместе с Димой кончил школу и, хотя был на год старше его, выглядел гораздо моложе. У Димы уже пробивались мягкие черные усы.

Думать о чем-нибудь, даже очень важном, Валька мог не больше двух минут. Диме это показалось любопытным, и он решил поставить опыт. Валька должен был подумать, поступит он на курсы или нет.

— Конечно, поступлю, — ответил через минуту Валька. Оказалось, что он думал меньше двух минут, потому что отец был еще недавно членом коллегии Министерства иностранных дел и ему ничего не стоило устроить Вальку на курсы. Потом в спортивном зале Валька заинтересовался, может ли Дима поднять штангу, и совершенно ошалел, когда Дима в рывке удержал пад головой около восьмидесяти килограммов.

— Слушай, да ведь ты мог бы стать чемпионом Советского Союза! — закричал он. — У меня есть знакомый тренер, я ему сейчас позвоню.

— Нет, пожалуйста, не звони, — сказал Дима.

— Почему?

— Потому что я не хочу быть чемпионом Советского Союза.

Валька задумался.

— Ты странный парень, — сказал он. — Ну ладно, тогда пойдем и пожрем.

Он достал из холодильника две бабочки зернистой икры, бутылку «Русской» водки и семгу, которую он порезал огромными кусками, сыр и масло, а Диме поручил хлеб.

— Ты знаешь, где мой батька работает? — спросил он.

— Нет.

— В ООН, — хвастливо сообщил Валька.

Дима промолчал. Вскипятил чайник и заварил чай, тоже какой-то заграничный. Валька откупорил водку и хотел палить Диме. Но Дима закрыл рюмку ладонью.

— Ты что?

— Я не пью.

— Мама не велит?

Валька хлопнул рюмку, вдохнул, громко задышал и с покрасневшими глазами закусил сыром.

— Что ж ты ничего не берешь?

Дима отрезал кусок хлеба, намазал его маслом и съел.

— А что же икра? Семга?

— Я сыт.

— Врешь! Ешь, дурак, ты же небось такого и в глаза не видел.

Дима отрезал еще кусок хлеба и съел его, на этот раз даже не намазав маслом.

— Ты странный парень,— повторил Валька.

— Послушай, если ты еще раз скажешь, что я странный парень, я дам тебе по шее. Мне кажется, что я это услышал, еще когда был грудным младенцем.

Валька засмеялся.

— И вообще не я, а ты странный парень. Положим, твой отец служит в ООН и имеет право есть эту семгу, хотя я в этом сомневаюсь. А ты?

— Я его сын.

— Нет, ты сукин сын,— задумчиво сказал Дима.

Он посмотрел на часы.

— И, пожалуйста, не устраивай мне постель, я перепочую на диване. Или на ковре. У вас такие ковры, что по ним ходить совестно.

— Текинские.

— Между прочим, не ври. Я случайно немного понимаю в коврах. Эти искусственные. И не первого сорта.

10

Дима прожил у Вальки Стружкина неделю. Каждый день он ходил по Москве и разговаривал со слесарями, работавшими на подземных крапах. Они не отвечали или ругались, но один пожилой, которому Дима помог подтащить какую-то тяжелую овальную плиту, сказал, что нужно поступить в ПТУ, а узнав, что Дима окончил среднюю школу и освобожден от армии, сказал, что на край пивалидов не берут, но все-таки отправил в управление механизации к какому-то Ивану Мартыновичу и дал адрес.

— Вообще, у нас специальности разные,— сказал он.— Может быть, тебя в ремцах слесарем возьмут.

Диме Валька возился с фрегатом, а вечером к нему приходила очередная девчонка, и он ее кормил зернистой ик-

рой п семгой. Потом они уходили в родительскую спальню с огромной кроватью, покрытой голубым шелковым покрывалом. А утром хлопала входная дверь, и Валька выползал чуть живой, с синими мешочками под глазами, хлипкий, но бодрящийся, утонувший в голубом отцовском халате.

Через несколько дней явилась Маринка, похудевшая, но свежая, в парадном летнем платье, с голыми руками, причесанная в все-таки время от времени отдувавшая снизу легкие завитушки, падавшие ей на лоб.

— Уф! Позвонила всем твоим одноклассникам, пока кто-то не сказал мне, что ты у Стружкина, — сказала она. — Ты рад, что я тебя нашла?

— Да. Кажется. Я по тебе даже скучал. Но я не показывался. Боялся, что родители увидят и станут скулить.

— Ты мог бы, между прочим, им позвонить.

— Я позвонил. Только не сказал Валькин адрес, чтобы они меня не искали.

— Все равно свинство. Все-таки родители. Лис скулит.

— Почему?

— Не знаю. Должно быть, по тебе скучает. Не ест. Вообще, все развалилось. Только Леночка в порядке. Сидит и читает. С родителями плохо. Василий Платонович пьет, и со дня на день его могут уволить. А Ирина Сергеевна все время бегаёт в милицию и требует, чтобы тебя вернули. Но милиция отказывается. Говорят, он совершеннолетний, имеет паспорт, прописан у нас и рано или поздно вернется. Ты вернешься?

— Нет.

Пожалуй, можно было подумать, что Маринке захотелось заплакать. Но она удержалась.

— А где же ты будешь жить?

Валька заглянул в комнату.

— Познакомьтесь, — сказал Дима. — Это Валька.

Марина назвала себя и замолчала. Все с минуту молчали.

— Ну вот что, — сказал Дима, — нам надо поговорить. Так что ты, пожалуйста, приходи через полчаса.

Валька ушел.

— Я о тебе думал, — сказал почему-то шепотом Дима. — Ты мне даже приснилась один раз. Будто мы играем в пятнашки. Я без тебя скучаю. А ты?

— Ну что ты! Без тебя такая тоска, что я, кажется, скоро умру от скуки.

— От скуки не умирают. А тебе тоже хочется меня видеть в все такое или нет?

— Но не ради всего такого, а просто так.

Дима подумал.

— А мне ради всего такого, — грустно сказал он. — Значит, я еще не люблю тебя, потому что все такое — это еще не любовь. Валька каждую ночь проделывает все такое с очередной девочкой, и уже то, что их много, означает, что ему все равно. Подожди-ка!

Он бесшумно, осторожно подошел к двери и вдруг рванул ее к себе. За дверью, почему-то на четвереньках, стояла Валька, похожий на прислушивающуюся, тощую собаку. Это и была минута, когда он исчез. Вообще-то он еще существовал, но, как это случилось с мамой, обрадовавшейся, что Наталия Михайловна умерла, он вдруг стал каким-то почти прозрачным для Димы. Он мог продолжать возгнаться с фрегатом, есть семгу и вообще жить, но Дима едва ли вспомнил бы о нем, если бы он вдруг умер.

Кажется, он что-то говорил, а может быть, и нет. Потом ушел на дыпочках, и Дима вернулся к Марине.

— Понимаешь, я решил позвонить тебе, когда устроюсь. Но, как видишь, ничего не выходит. От Вальки я сегодня уйду.

— Куда?

— Еще не знаю. К Ивану Мартыновичу.

— Какому Ивану Мартыновичу?

— Также не знаю. В управление механизации.

— Он поможет тебе устроиться в общежитие?

— Может быть. Пойду.

— Куда?

— Укладывать вещи.

— Послушай, — робко возразила Марипка, — хочешь пожить в маминной квартире? Я ведь у вас не прописана. Квартиру я закрыла на ключ.

Она достала из сумочки ключ. Дима подумал.

— Я тебя провожу? Это на Кропоткинской, недалеко.

Дима снова подумал.

— Страшновато. Ты знаешь, почему?

— Ерунда, — сказала Марипка. — Я буду забегать.

Она ушла, и это было совершенно ясно. Но тем не менее она осталась с Димой, хотя он даже вышел на площадку, чтобы еще раз увидеть ее. Не то что осталась, но как бы осталась. И разговор с ней, уже о чем-то другом, продолжался.

Комната на Кропоткинской была чисто прибрана, на полу перед застеленной кроватью лежал коврик, на маленьком столике в углу стояло трехстворчатое зеркало. Перед ним — много пустых или полупустых бутылочек с одеколоном, коробочек с пудрой, баночек с кремом.

— Тут все осталось, как было при маме, — сказала Маринка.

Она ушла, оставив Диме ключи от входной двери. В однокомнатной квартире была просторная кухня, а в кухне вдоль трех стен стояли полки с книгами. Наталья Михайловна была редактором в издательстве «Художественная литература» и могла покупать все книги, выходящие в этом издательстве, — на полках почти не было старых книг.

В комнате висел ее портрет, и Дима долго стоял перед ним. Губы пзацио очерчены, большие глаза прикрыты темными веками с загнутыми ресницами, белокурые завитки перепутались, стараясь не упасть на лоб. Она была похожа на Маринку и не похожа. Похож улыбающийся взгляд на серьезном лице. Но у Маринки взгляд был еще и преслушывающийся, особенно в те минуты, когда она переставала смеяться, пряча улыбку, сохранившуюся на губах и в глазах.

С портретом хотелось поговорить. Дима взял у деда его записки, но у Вальки он их не читал. С утра уходил искать работу. А между тем давно пора было хоть просмотреть их и вернуть. Но после первой же страницы он понял, что для него важно не просмотреть, а внимательно прочитать рукопись, потому что она была чем-то загадочно связана с ним, с его будущим и с настоящим.

Первые страницы он не мог разобрать, слова качались, толкая друг друга, как если бы невозможность сказать самое важное была безнадежно ясна с самого начала. Острый, косо летящий почерк было трудно читать, и Дима останавливался после каждой фразы. Но все же он понял, что это была попытка исповеди, к сожалению, только попытка, повторявшаяся и возвращавшаяся, чтобы повториться снова и снова.

Значит, мать сказала правду: даже по этому невнятному тексту можно было заключить, что дед был в психиатрической больнице. Что же с ним случилось? Когда и почему он заболел? И кто такая мадам Люси Сюрвилль, имя которой повторялось почти на каждой странице?

После первых бессвязных строк начались более или менее связные. Но они тоже были отмочены каким-то внутренним смятением, в котором угадывалось отчаянье. Вся рюконица была проникнута отчаяньем, даже когда дед рассказывал о своих спокойных годах, да и не только спокойных, но благополучных, блестящих.

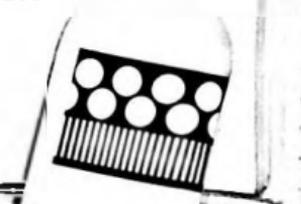
О школе (он начинал еще в гимназии) и университете было рассказано очень кратко, хотя по некоторым страницам Дима понял, что у деда было трудное детство и тревожная, безрассудная юность. Но потом характер сложился — сдержанный, волевой, целеустремленный.

Он рано овдовел, и все семейные заботы были отданы сыну. Ему было сорок пять лет, когда он впервые поехал в Париж. Тогда-то и произошла случайная встреча с Люси Сюрвилль, и началось нечто странное — до такой степени похожее на образ жизни и поведение крупного работника министерства, что ближайшние сотрудники сразу заподозрили поменательство и стали осторожно следить за ним. Он выглядел счастливым, много смеялся, помолодел, жизнь продолжалась, по это была не прямая, твердо стоявшая на ногах, но какая-то околичная, «мышьяк» жизнь. Тайно он каждый день утром и вечером писал кому-то в Париж и получал неизменный ответ на адрес своей старой няни — еще жива была его старая няня. Об этом узнали, и подозрение в поменательстве укрепилось, тем более что это были длинные любовные письма. Но все еще шло по-прежнему; более того, в министерстве ему удалось блеснуть какой-то новой мыслью, и он стал хлопотать о второй командировке. Она была разрешена, не без хлопот, доведших его до отчаянья, — кое-кому и это показалось странным. Более того, он без разрешения съездил с этой Люси Сюрвилль в какой-то южный городок на море, по-видимому на ее родину, — на это посмотрели косо. Потом он вернулся, и жизнь пошла своим чередом.

Но вот однажды ближайший сотрудник зашел в его кабинет, не постучавшись, и с удивлением остановился на пороге. Платон Платонович с кем-то оживленно разговаривал по-французски (он знал язык), и последняя фраза, после которой он с раздражением обратился к сотруднику, была (в русском переводе):

— Извини, Люси, нам поменяли...

Разумеется, этот случай мгновенно облетел все министерство.



Прошло несколько дней, и слух, что Платон Платонович сошел с ума, получил полную определенность.

Он почти не пил или если и пил — на каком-нибудь празднике или банкете. Но на этот раз в дешевом ресторане он выпил бутылку портвейна и, выйдя на улицу, набросился с кулаками на первого попавшегося человека. Конечно, немедленно вмешалась милиция, и дед, в разорванном пальто, изрядно помятый, был допрошен дежурным.

Василий Платонович пытался объясниться, но тот не дал ему сказать ни слова.

— Нет, это не случайность! И не в том дело, что он никогда не пьет. Это произошло потому, что он ненавидит все на свете. Меня, вас, самый воздух, которым дышим. И не говорите мне, что он награжден орденом Ленина и все такое. Почему вы знаете, может быть, он сам орден ненавидит?

Заключение психиатров опровергло этот вздор. Деда признали невменяемым и поместили в больницу.

...Дима прочел рукопись до конца и, перевернув последнюю страницу, вернулся к первой, единственной, на которой был рисунок, сделанный прямо по тексту, — очень страшный рисунок, изображавший ветряную мельницу, за крыло которой, сопротивляясь палетевшему ветру, едва держался длинный человек.

Рассвело, а Дима еще не ложился. Потом лег, пытался уснуть — и не уснул. Летающий почерк деда стоял перед его глазами. «Что же все это значит? — думал он. — Значит, есть на свете сила, которая гасит, как свечу, благополучную, на редкость удачную жизнь? Единственное короткое письмо этой Люси Сюрвилль было вложено в дневник — с ошибками, на смешном, неправильном русском языке, — письмо, из которого все же можно было понять, что она, бесконечно повторяясь, зовет его, ждет, что он все-таки придет, а если нет... Письмо кончалось вопросом: «Так умереть?»

Дима не знал судьбы этой женщины, но жизнь деда, годами существовавшего в тесной, заваленной книгами каморке, и то, что его перестали звать к столу, — все это, конечно, было похоже на медленную смерть. «Так умереть?» Должно быть, это было трудно для него — покончить самоубийством, а иначе он давно бы это сделал. Отравиться — он не мог дойти до аптеки. Повеситься — у него не было сил прибить крюк, чтобы привязать к нему веревку. Если он все-таки жил — так, может быть, вспоминавшем о том, как

загодичная молния озарила его, отрезала от него удавшуюся, благополучную жизнь.

«А ведь то же самое случилось с отцом», — вдруг подумал Дима. Но отец был слабый человек, и он не мог порвать с одной жизнью, чтобы безоговорочно, безусловно погрузиться в другую. Кроме того, у деда был сын, по не было семьи. А отец по в сплах был порвать с семьей, которая ему дорога. Дима видел, как по вечерам он укачивал Леночку, в полусне натываясь на стулья. Так что же такое эта страсть, это беспамятство, эта гроза, сбывающаяся с пог? Безумие переходит по наследству? Тогда почему же оно не коснулось Димы?

Заря уже прислушивалась к утреннему шуму, который начался вместе с движением людей и машин, уже почти готова была уступить упорному приближению дня. Кран, который был виден из Димного окна, постепенно оживал. Маленькие фигурки бесстрашно двинулись вперед, в высоту, одна из них появилась в кабине, другая — на длинном крыле стрелы. Дима прикинул высоту — метров сорок. Может быть, и ему когда-нибудь прикажут подняться на это крыло, и он будет участвовать в сложной, могучей работе этого крана? Мечты сбываются, если получать над ними неоспоримую власть. Их надо соединять, как соединяют в упряжку коней, соединить и хлестать по спине и бокам.

Маринка пришла с хлебом, сыром, сахаром, пачкой чая, заглянула в кухню, накрыла на стол. Дима заговорил с ней о рукописи деда, но она не стала слушать — торопилась домой.

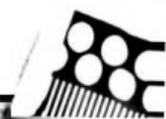
— Прочту сама. Ведь ты через месяц вернешь ее деду.

— Нет, подожди. Я еще много раз буду ее читать. А теперь ты мне только скажи: Наталия Михайловна любила отца?

Маринка побледнела, покраснела, снова побледнела, и так продолжалось все время, пока она говорила.

— Выпей воды, — сказал ей Дима.

— Не надо. Послушай, я до сих пор не понимаю, что происходило с Васильем Платоновичем. Он совершенно менялся, когда приходил к нам. Много рассказывал, и всегда интересно. Они говорили о литературе, о театре. Она штопала что-нибудь или вышивала, а он говорил и говорил. Потом умолкал и смотрел на маму. Долго, может быть, час... Тебе случалось когда-нибудь задуматься о ком-нибудь и почувствовать, что на свете нет никого, кроме того, о ком ты задумался? Никого дороже и ближе? Мне кажется,



ся, что к маме он относился именно так. Как будто с нежностью прикасался к ней и отдергивал руку.

— А мама?

— Она жалела его и, может быть, чувствовала то же самое, но иначе. Она понимала, что запретить ему бывать у нас невозможно. Это значило бы убить его. А она желала ему счастья и, мне кажется, все-таки была рада, что он любит ее, как никто никогда не любил. Они никогда не говорили о том, что Ирина Сергеевна ревнует. Я, например, не знала. Словом, то, что связывало их, было выше близости, гораздо выше. И совсем не похоже. Они были какие-то потрясенные, и не только когда он приходил. Говорят, что человека, в которого ударила молния, надо закопать в землю, чтобы спасти. Так вот, в них ударила молния, но никто не позаботился о спасении. Молния растворилась в них, и они стали не похожи на других людей, которые могут жить далеко друг от друга. Они не могли. А эта рукопись? Дел пишет о любви?

— Да. Он пишет о любви и о смерти.

Маринка замолчала. Ей нечего было больше сказать. Она взглянула на часы и ушла.

«Значит, любовь — это превращение, — продолжал думать Дима. — Это — неузнавание себя. Это открытие, которое лишает человека возможности выбора, потому что он волей-неволей уже выбрал свой путь, о котором и думать не думал и по которому он теперь несет свою ношу, как бы она ни была тяжела. Это что-то до такой степени не похоже на неуклонное движение стрелок, показывающих время, как будто время отказалось служить человечеству, кроме тех немногих людей, которые пользуются часами без стрелок. Не движение стрелок, а движение воли, возникающее, как возникает явление природы, как град или метель».

И Диме смертельно захотелось испытать это рискованное, доходящее до безумия чувство.

Начиная с ворот, в которые легко мог въехать целый дом, все вокруг на строительной площадке было завалено железом. Среди нагромождения стальных трубчатых пирамид, треугольников и кто знает каких еще геометрических фигур стоял башенный крап.

Дима много раз видел башенные крапы, и ему захотелось поздороваться с ним, как со старым знакомым. Одна-

но это был страшноватый старый знакомый, совсем не летящий на крыльях, как казалось в полетовой бинокль, а твердо, равнодушно стоявший на земле.

В отделе кадров Дима, постучав и услышав внушительное «войдите», увидел сухопарую женщину, в темных очках и рабочем халате. Она что-то писала и, взглянув на Диму, продолжила писать. Впрочем, она пробурчала что-то в ответ на вежливое «здравствуйте» Димы.

— Так, — сказала она, откладывая в сторону какую-то бумагу. — В чем же дело?

Дима объяснил. Решено было не показывать свидетельства об окончании школы, но в последнюю минуту он решил все-таки положить его на стол вместе с паспортом и военным билетом.

— Кончил школу? — спросила она с любопытством.

У нее были усы, и она, по-видимому, подбирала их — короткие черные волосики можно было рассмотреть.

«Откажет», — взглянув на эти усы, подумал Дима.

— Не хочется учиться?

— Нет, хочется. Ведь для того чтобы стать слесарем-монтажником, надо учиться.

Она перебрала военный билет, аккуратно сложила документы и подвинула их к Диме.

— Не пойдет.

— Почему?

— Во-первых, потому что у нас по училище, а строительство. А во-вторых, у тебя одна нога короче другой.

— Немного. Но я не стал врать, что мне хочется в армию. Мне хотелось работать. Вот посмотрите.

Он встал и прошелся по комнате.

— Заметно?

— Если приглядеться, заметно.

— А зачем приглядываться? Работе не мешает.

Шаги послышались в сенях, и в коптаре появился ивановский седой, косматый человек в кападке, хотя было тепло, в кожаной кенке, которую он сбросил с головы щелчком, так что она перевернулась в воздухе, прежде чем повиснуть на вешалке возле двери.

— Ловко! — сказал Дима. — Здравствуйте. Вы Иван Мартыныч?

— Ну да. А ты почему знаешь?

— Угадал.

— Догадливый, — смеясь, сказал Иван Мартыпович. —

А чего тебе здесь надо?

— Хочу работать.

Со стола еще не были взяты документы, и, быстро просмотрев их, он спросил, как усатая секретарша:

— Кончила школу?

— Да. Родители уговаривали меня поступить на юридический, но я отказался. У меня отец — прокурор.

— Почему отказался?

— Потому что там все врут.

Иван Мартынович засмеялся.

— Где не врут? А тебе не нравится, когда врут?

— Да.

— У нас, ты думаешь, не врут?

И, возможностей меньше, — подумав, ответил Дима. — И, может быть, необходимость не заставляет.

— Как сказать! А что у тебя с ногой?

— Ничего. Нога как нога. Зато я сильный.

— Да?

Иван Мартынович вышел с Димой во двор и показал на толстую железную чушку, валявшуюся подле конторы.

— Можешь поднять?

— Попробую.

Чушку надо было взять петоропливо — Дима видел, как поступают в таких случаях тяжеловесы. Он помедлил, подышал, присел на корточки. «Главное, не торопиться». Он взял чушку и несколько секунд сидел рядом с ней. Потом рванул и поднял сперва на грудь, потом над головой.

— Хорош! — сказал Иван Мартынович. — Занимался спортом?

— Немного.

Они вернулись в контору.

— Ну вот что, Лампада (очевидно, усатую секретаршу авали Олимпиадой). Позвони Клычкову и скажи, чтобы он явил к себе этого парня. Как зовут?

— Дима Малышев.

— Заполни анкету. Конечно, в учепки. О разряде поговорим потом. Посмотрим, чего он стоит. Ну, поворачивайся, медведь! — Он похлопал Диму по плечу. — Я тебе покажу, где искать Клычкова.

Бригада работала над монтажом крана, и как раз было много мелочей, на которые слесарям не хотелось тратить время. Конечно, это были мелочи, требовавшие сноровки и

терпения, по терпения у Димы хватало, а ссорка как-то сама появлялась в руках через какую-нибудь неделю.

Бригада состояла из людей симпатичных — так, по меньшей мере, показалось Диме. Сам Клычков прошел весь путь, который предстояло пройти Диме: сначала он работал слесарем на «эсбекушках» — так звали один из первых строительных кранов; потом, не бросая работу, он умудрился копчить техникум и теперь монтировал уже не первый кран. Ему было лет пятьдесят пять, если не больше. Бригаду он держал в полном подчинении, однако любил догадливость и поощрял ее, насколько это было возможно.

Люди были опытные — это была единственная черта, которая их объединяла. Ничего общего не было между Разиным, молодым, холостым, разговорчивым парнем, мечтавшим стать радиотехником, и Бекбулатовым, скупым, хитрым, не терявшим связи с родными и державшим под кроватью в общепитии сушеные фрукты, которые он менял на звачки.

Впрочем, Дима держался обособленно, избегая дружеских отношений. Он работал старательно, последовательно, ничуть не меньше других.

В обеденное время его ждала Маринка с судками, и они обедали вместе в передвижной бытовке, а потом недолго гуляли по ближайшей детской площадке. И каждый раз это было не появление, а явление. Это не случилось, а происходило и было похоже не на очередной ежедневный обед, а на свидание. Он работал, ни на минуту не переставая думать о пей. И почему-то дело шло легче, когда она, разумеется в воображении, была рядом с ним. Иногда хватало даже воспоминания о ее завитках надо лбом и удивленном взгляде.

#### 14

Прошел месяц, и Диме стало казаться, что так было всегда. Он вставал в шесть часов утра, основательно, не торопясь, завтракал и шел на работу. В бригаде привыкли к его молчаливости, к основательности, с которой он доводил до конца любое порученное ему дело, к спокойствию, с которым он относился к пасмешкам над его наружностью, — его прозвали медведем.

Однажды Разин собрался послать его в магазин за водой и в нерешительности замолчал, когда Дима, как будто не слыша его, молча продолжал работу. Два два ему при-

пилось подняться до самой головки крана. Было страшно, но он парочко несколько раз прошелся по узким мосткам стрелы и парочко заставил себя долго смотреть вниз с высоты тридцати метров.

Теперь он знал, что с высотой надо обходиться просто, хотя и осторожно, — она естественно вошла в его жизнь, как вошла эта заваленная железом строительная площадка, эта работа, которую он любил, эта свобода постоянно думать о своем, не забывая о деле.

С Маринкой он проводил все праздники и все время после работы, хотя она была очень занята, дом требовал неустанных забот. Иногда он помогал ей, а иногда, выкраивая свободные вечера, они шли куда-нибудь, в кино или театр, а однажды были даже в цирке.

Ее огорчала его молчаливость, и, чувствуя это, он пачинал говорить — все равно о чем, чаще всего о последней прочитанной книге.

— Зачем же все время молчать, если ты так хорошо говоришь? — спросила она однажды, и он ответил:

— Потому что мне нравится тебя слушать.

Все было бы хорошо, если бы он не стал без всякой причины беспокоиться за нее.

Он давно помирился с родителями, заходил домой — только чтобы убедиться, что с Маринкой ничего не случилось.

Очень скоро, через три месяца, он получил третий разряд, но ничего не тратил на себя из зарплаты — отдавал почти все Маринке, и она к зиме купила ему добротное пальто, рукавицы и меховую шапку.

Но беспричинное беспокойство за нее почему-то становилось все сильнее и, как ему казалось, даже мешало работать. Напрасно она уверяла его, что ничего не может случиться, напрасно смеялась над ним и шутила. Он тоже пачинал смеяться и шутить, но беспокойство не проходило.

Эта почь началась как всегда. Он вернулся в комнату на Кропоткинской, где все постепенно стало для него привычным и близким. Днем им не удалось встретиться, Маринка была занята. Но в этом не было никакой беды. Все равно она привычно как бы не оставляла его.

Он принял душ после работы, долго тер огрубевшее мускулистое тело, потом лег и сразу уснул. Он редко видел

сны и почти всю ночь спал легко, спокойно, как всегда после утомительной опасной работы. Но вот счастливый молодой человек начал мутнеть, наполняясь неясными видениями, и он увидел себя где-то на свалке, ночью, под светом матавшей по небу луны. Он держал в руках коробочку с ребристой, складывающейся крышкой. В коробке лежали пуговицы и нитки. Ее надо вернуть Маринке, и он идет, но куда-то не в свою комнату, а в чужой, незнакомый дом. Маринка хозяйничает у плиты, по почему-то не оборачивается, когда за ним со скрипом закрывается дверь. От немого огорчается, что она не обращает никакого внимания на коробочку, которую он почему-то нашел так далеко на свалке и которой — он помнит — она дорожила. «Подпоставь на место», — говорит она, ничуть не удивляясь, и он ставит коробочку на полку рядом с ходиками, где она постоянно стояла. Ходики стучат, как будто ничего не случилось. Кенар дремлет, нахохлившийся, щи кипят, и выплеснувшись белые шарики опретью бегут по горячей плите. Но почему же Маринка ни о чем не спрашивает его, не глядит на него? Дрова прогорели в плите, она берет коцергу, и угли падают на пол. Почему она берет их руками? Почему, задумавшись, она стоит у плиты и держит горящие угли в руках? И Диме становится страшно. Он не плачет и не кричит, по такая печаль, такое одиночество, сознание такого несчастья охватывает его, что сердце останавливается от горя, и он не в силах сказать ни слова.

«Маринка, ты мертвая, ты умерла?» — наконец говорит он, задыхаясь от слез. Она молчит, и он понимает, что все кончено, потому что только мертвые могут держать горящие угли в руках...

Дима не обрадовался, когда его глаза открылись.

Стоял конец сентября, еще ночь продолжалась, но утро уже блистало в освещающих окнах, не скрываясь, зная, что оно приговорено победить.

Дима оделся. До работы было еще больше часа, и он торопливо пошел, почти побежал по Кропоткинской, к станции метро. Через семь-восемь минут он уже стоял под окном бывшей своей, а теперь Маринкиной комнаты. Как он и ожидал, окно уже было открыто: значит, Маринка не спала — по утрам она любила лежать с открытым окном. Она по раз говорила, что и спала бы с открытым окном, если бы квартира Малышевых была не на первом этаже.

Дима негромко окликнул ее, она не отозвалась, — должно быть, снова уснула.

Окно было все же высоко над его головой.

Он ухватился за водосточную трубу рядом с окном, и хотя дотянуться и заглянуть в комнату было трудно, ему удалось дотянуться и заглянуть.

Нет, она не спала. Она лежала, повернувшись к стене, с открытыми глазами и испугалась, увидев рядом со своей постелью Диму.

— Что случилось? Ты влез в окно?

— Да. Ты здорова?

— Ну конечно! Что это ты вдруг придумал? Наши еще спят.

Диме было стыдно сознаваться, что он прибежал, потому что увидел страшный сон, но невозможно было по признаться, потому что он еще впдел ее перед собой, заду-мавшуюся, с горящими углями в руках. Но она была живая, свежая, с отдохнувшими после сна, удивленными, нас-ково улыбающимися глазами.

— Ты как маленький. Прибежал к няне, потому что уви-дел страшный сон. Но знаешь, Дима, все это серьезно меня беспокоит.

— Не надо беспокоиться. У меня еще полчаса до рабо-ты. Можно мне полежать рядом с тобой?

— Конечно, можно,— ответила Маринка и покраснела.— Но только полежать...

Он быстро разделся, лег рядом с ней, почувствовал под одеялом ее ноги и потерял сознание.

Это случилось с ним впервые в жизни и продолжалось недолго, может быть, несколько секунд. Но все-таки беспа-мятство было, потому что Маринка спросила что-то, а он уже был бесконечно далеко и, кроме острого блаженства, не чувствовал ничего. Было трудно справиться с беспепо стучавшим сердцем. Когда она повторила вопрос, он отве-тил. Оказалось, что Маринка просто боится, что он опозда-ет на работу.

В ближайшее воскресенье Дима в третий раз принялся за рукопись деда, и на этот раз то, что он прочел, не пока-залось Диме ни безумным, ни безрассудным. На этот раз он не заметил, как прежде, в рукописи даже признака двой-ного зренья; напротив, все стало совершенно ясно: те, кто мешал ему поехать в Париж к женщине, без которой он не мог жить, были не правы, а он — прав.

Расстаться ради нее с высоким положением в Министерстве финансов казалось бессмысленным, нелепым тем, кто ему мешал, а для него таким же естественным, как если бы он сбросил с себя чужую, опостылевшую одежду, необходимую, чтобы играть роль, и надел свою, в которой он чувствовал бы себя естественно и свободно.

«Броситься на колючую проволоку, чтобы встретиться с той, кого любишь», — вспомнилось Диме.

Он снова заметил сходство и несходство двух историй, деда и отца, — странное, потому что дед совсем не походил на отца. Несходство было в отчаянии, безраздельно овладевшем Василием Платоновичем, жалком отчаянии, сердечном припадке, попытке пайти утешение в вине и могучем безнравстве деда, которое привело его в больницу.

Он долго стоял перед портретом Натальи Михайловны, который тоже стал новым после того, как Дима новыми глазами прочитал рукопись деда. «Теперь ты понял?» — как будто спрашивал его этот портрет. Но говорил он совсем о другом. Он говорил о нем и Маринке, которые были счастливы, потому что время было за них и защищало их от колючей проволоки, от обязанности заботиться о семье, в которой росли дети. Колючую проволоку нельзя разрезать, с детьми невозможно или очень трудно расстаться. А перед Димой и Маринкой жизнь лежала прямая, простая, ясная, как похожий на древнюю птицу багнетный крап с двумя крыльями-стрелами — крап, освещенный прожектором, основанный на божественной силе равновесия, на чудесной легкости, с которой он поднимал и переносил с места на место пятитонный груз.

17

Они сами не знали, кому из них пришла мысль на дель-два уехать из Москвы — куда-то туда, где их ожидало неизвестное, чудесное, незнакомое, но то, что уже тысячу раз происходило в воображении.

У них было два с половиною свободных дня. Решено было выбрать Псков, старинный город. Они впервые увидели его в кино и одновременно подумали о поездке. Он-то и был городом, в котором неназванное надо было накопец назвать, а неизведанное сделать обыкновенным чудом.

— Подумай, ведь этот город три столетия назад был республикой! — сказал Дима. — Много ли городов, которым это удавалось?

Вагон, в который они попали, был общий, неудобный, тесный.

И все, что происходило в вагоне, и даже все, что осталось за ними в Москве, мгновенно исчезло, когда тронулся поезд. Наступила тишина — только для них в этом шумном вагоне. Это была торжественная тишина наслаждения близостью, тишина отдельности от всего мира, тишина душевной отрешенности и полного убежденного счастья. Они просидели всю ночь, укрывшись Дымным пальто, может быть засыпая на несколько минут и просыпаясь, чтобы снова почувствовать это счастливое знакомое чувство.

Когда в восемь часов утра поезд пришел в Псков, они вышли на перрон, и Маринка сказала сонным милым голосом:

— А без вещей нас ни в одну гостиницу не пустят.

— Почему? У меня портфель. А у тебя чемоданчик.

Они долго шли по бульвару, огненному от осенней листвы, пустынному, просторному и уж такому трогательно пемосковскому, что слезы наворачивались на глаза, — впрочем, по другой причине. Слезы наворачивались, потому что Маринка и Дима были одни, и удрали, и наслаждаются своей независимостью и первым самостоятельным, ни от кого не зависящим поступком.

В гостинице номеров, конечно, не оказалось. Но Диме удалось достать для себя койку в общежитии, а для Маринки уговорил старшую уборщицу, правда с приложением пятерки, уступить ее каморку — все равно она собиралась провести ночь у большой подружки. Чемоданчик и портфель были оставлены в каморке, а Дима с Маринкой позавтракали чем-то захваченным из дому и отправились бродить.

Город был строгий, мужественный, с крепостными стенами вдоль просторной реки, но для них подобрел, и башни с острокопечными вышками, с воротами, запертыми наглухо просмоленными бревнами, казалось, только ждали, чтобы Маринка с Димой подошли к ним и сказали: «Здравствуйте». Они не получили в ответ «добро пожаловать», но как бы получили, потому что прочитали довольно длинное объяснение, из которого узнали, что находится в Довмонтовой крепости, в псковском кремле тринадцатого века. Правда, от крепости почти ничего не осталось, но все-таки они долго смотрели на нее с уважением.

Одного монаха они увидели, но такого, что заговорить с ним они не решились. Он, наверно, спросил бы, зачем они приехали в город, а ответить на этот вопрос было труд-

но, почти невозможно. Ведь они приехали просто так, без всякой цели, с единственным желанием доказать себе, что они свободны и никто не в силах помешать им поступать отныне по собственному желанию. Если им захочется, они могут поехать в другой, и в третий, и десятый город — к городам надо относиться, как к интересным людям. Сейчас у них нет времени, чтобы познакомиться с интересным Псконом, — вечером надо возвращаться в Москву. Но первое знакомство все-таки состоялось.

Все время они почему-то смеялись, спать не хотелось, но все-таки они подремали в каком-то садике, о котором случайный прохожий сказал, что это бывший Ботанический сад. Они сели на заросшую мхом скамейку подле огромной старой липы, и Марипка, прикрыв под широким Димыным плечом, подремала, а проспавшись, сказала, что очень хочется есть.

Это значило, что пора вернуться в гостиницу. Им подали какой-то жидкий суп, а второе оказалось таким невкусным, что его невозможно было есть. В каморке уборщицы они с аппетитом припились за коржики, привезенные из Москвы, и запили их чаем.

Чувство счастья переполняло их, и они старались справиться с ним, потому что нельзя же было все время смеяться. Потом они разошлись, но Марипка не закрыла свою дверь, и Дима вечером пришел к ней.

И началась благословенная близость, началось счастливое беспмятство, заполнившее их еще небывалым чувством благодарности и счастья. Душу, оказываешься, можно взять руками, как Мариночкину коробку с ребристой крышечкой. Душами, оказывается, можно было меняться, как подарками, если исполнить чужое желание, которое одновременно стало твоим. И ни о чем не надо было просить. Все совершалось неожиданно и беспричинно, повторялось и вновь совершалось, простое как чудо. И в этой близости участвовала тайна свободы. Они были одни в этом прекрасном старинном городе, и никто на свете не знал и не чувствовал то, что они чувствовали и знали.

До поезда оставалось еще три часа. Марипка уснула. Уснули ее руки, которые она по-детски сложила ладошками внутрь, уснули завитки на лбу и разгоревшиеся от поцелуев щеки и губы. Сходство с Натальей Михайловной мелькнуло, но Дима энергично расправился с ним. Нет, другое время, другое, новое счастье! Ясная ложится перед ними дорога, ничто не мешает, все складывается в жизни,

как некогда не складывается даже в самом счастливом сне. Нет ничего, что обязывало бы их, но надо оглядываться, некого пугаться. Они сами своими руками устраивают и еще устроят свою жизнь. И эта поездка, первый самостоятельный шаг — прекрасно, что он совершился. Это — главное, неопровержимое доказательство независимости от судьбы, которая больше не властвует над ними и которой нужно и можно показать дорогу.

Дима вернулся другим из Пскова и знал, что он вернулся другим. По-прежнему оставалось только постоянное беспокойство за Маришку, к нему невозможно было привыкнуть. Он не говорил с ней об этом, но однажды сказал, и она ответила с досадой:

— Как раз наоборот! У тебя такая работа, что мне впопыхах беспокоиться о тебе!

Он теперь чаще бывал у родителей. Он уговорил отца, который очень исхудал, пойти к врачу и стал отдавать большую часть зарплаты матери. Маришка давно советовала поступать так — мать обижалась.

А зарплата у него теперь была немалая — он считался одним из лучших членов бригады. Отремонтированный крап уже работал с полной нагрузкой, и прораб послал бригаду Клычкова на самые трудные участки.

Легкие весенние морозы миновали. На земле среди разбросанного занедвевшего железа еще грузно сидела зима, а на стреле, на высоте тридцати метров, дышалось легко и думалось легко, в то время как руки были заняты привычной работой.

Прошло полгода после поездки в Псков, и, упоминая о ней, они разговаривали полусловами, этого достаточно было, чтобы понять друг друга. Никто не узнал об этой поездке, и они бережно хранили свою тайну, придавая ей особенное значение того, что никогда не могло повториться.

Может быть, родители догадывались об их отношениях, но не смели ни словом упомянуть о них. Это значило бы коснуться независимости, завоеванной незаметно, но прочно. Именно не смели — Ирине Сергеевне даже казалось подчас, что она боится Димы. Василий Платонович, постаревший, присмиривший, слушался каждого его слова.

Так незаметно, естественно, без намерения, молчали-

вый, задумчивый Дима стал главой семьи, рассыпавшейся, но не рассыпавшейся, опираясь на его незаурядную волю. Давно миновали времена, когда родители позволяли себе кричать на него, когда ему указывали, как он должен поступить, когда ему приходилось отмалчиваться, чтобы скрыть раздражение. Теперь на него надеялись, его слушались, его любили. Теперь он иногда решался вмешиваться в дела отца, старался, чтобы хоть несколько лет, оставшихся до пенсии, репутация его была безупречной.

И говорил Дима теперь не так мало, как прежде. Он составил для Маривки список книг и следил за ее чтением строго, подчас доводя ее до слез.

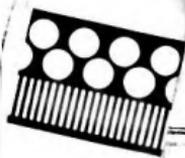
— Я буду меньше любить тебя, если ты не прочтешь «Преступление и наказание», — мягко сказал он ей однажды.

И были прочитаны и «Анна Каренина», и романы Тургенева, и Лесков, и даже «Что делать?» Чернышевского, роман, который самому Диме показался скучноватым.

Деда он устроил в пансионат, умело воспользовавшись тем, что тот долго служил в Министерстве финансов, и даже выхлопотал ему небольшую пенсию. Почти всю свою библиотеку дед отдал ему, и Дима постепенно стал одним из самых начитанных слесарей-монтажников в Москве. Но в пансионате дед стал болеть, скучать, и Дима отдал ему свою старую комнату — сам он по-прежнему жил на Кропоткинской, хотя к работе от дома было ближе.

Словом, жизнь шла, набирая силу, расставляя все на свои места, и будущее обещало быть железно прочным, таким, каким оно представлялось Диме. Впрочем, о будущем он не думал, так же, как не думал о том, что жизнь, в сущности, складывается необыкновенно случайно. В глубине этого размеренного счастья пряталось другое — то, из-за которого он бросился бы на колючую проволоку, как дед, или стал бы жить, потеряв дорогу между трех сосен, как отец. Он еще не знал себя, но то, что он с Маривкой условились называть «часы без стрелок», они оба знали и ждали как не замечающее времени безумство.

День, когда происходит несчастье, ничем не отличается от любого другого дня. Потом, когда день проходит, оставив за собой непоправимый, разящий удар, вспомина-



предчувствия, и «как всегда» отметаются мыслью о том, что, казалось, произойти не могло.

Как всегда, Дима открыл глаза в шесть утра, и первая мысль была о Маринке, простая мысль, что она в эту минуту тоже открыла глаза. Каждый день ему необходимо было прежде всего убедиться в факте ее существования, а уж потом шли другие факты предстоящего дня. Один факт, повторявшийся ежедневно, заслонял все другие — предстояла обычная проверка крана.

Он оделся, сделал двадцатиминутную зарядку, до первого лота, потом побрился и принял холодный душ. Перед душем он, чтобы не терять времени, включил электрический кофейник и поставил на плиту кастрюльку с овсяной кашей. Он не любил завтракать в пижаме и оделся в рабочий костюм, прежде чем сесть за стол. Все это заняло примерно минут сорок пять, а еще через пять он надел кепку, легкое пальто и пошел на работу.

Весна уже разогналась повсю, на деревьях набухали почки. Утро повторяло себя. И в естественности этого, почти незаметного повторения медленно двигалось вперед. В городе, да еще на строительной площадке, едва ли кто-нибудь задумался над тем, что миговала ночь и что в календаре надо оторвать еще один листок, потому что «сегодня» с железной необходимостью сменило «вчера», не нуждаясь ни в предчувствиях, ни в предсказаниях.

Бригада собралась почти одновременно, но только что занялись за работу — подъем и укладку блоков противовеса, — как пошел сильный дождь, и пришлось укрыться под крышей вагончика, который всегда следовал за бригадой. Бытовка была одновременно и раздевалкой, и кухней, и местом отдыха — стоял даже маленький старенький приемник. Бекбулатов стал жаловаться, что родные прислали ему целый ящик прошлогодней кураги, с которой он не знает, что делать. Посмеялись, покурили. Дождь прошел, и, не теряя времени, бригада принялась за дело. Лебедка работала равномерно, блоки кренились к платформе, и противовес уже выглядел внушительно, как и полагалось уважающему себя противовесу. Немного времени осталось до обеда.

Один из монтажников занял свое место в кабине. Ключков послал Диму повесить новый прожектор и посмотреть, лежит ли трос на своем месте, в желобе блока, где ему и полагалось лежать. Потом почему-то отменил приказание и поднялся сам.

После дождя воздух на высоте крана заметно посвежел,

хотя солнце уже разгорелось так сильно, что над узенькими перилами, уложенными вдоль стрелы деревянными досками уже появился легкий парок.

Клычков повесил новый прожектор, осмотрел, насколько это было возможно, трос и крикнул монтажнику в кабину: «Поднимай контрольный!» Он не заметил (и не мог заметить), что часть троса взъерошилась ежиком оборванных нитей, оттого, что когда-то (очевидно, на прежнем объекте) трос соскользнул с желоба и перетерся о стальную ось.

Клычков побежал по узким доскам настила и был уже близко от кабины, когда трос разорвался, стальной кнут хлестнул его по спине и перебросил через перила. Солнце, только что стоявшее высоко в ясном небе, спустилось вниз, переворачиваясь, кувыркаясь, и с гулким эхом разорвалось в его голове. Это было эхо падения контрольного груза.

Может быть, какие-то доли секунды он был еще жив, потому что увидел мертвенно-бледные лица и услышал над собой неясный шум голосов. Потом все стало умолкать, удаляться, руки раскинулись, и вплотную приблизилась немота, глухота, уносящая последние признаки жизни.

20

На место Клычкова Иван Мартынович назначил желчного, придирчивого старика, вечно недовольного, ожеминутно ворчавшего без всякой причины, — и бригада развалилась. Первым ушел Разин, давно мечтавший попасть на какое-нибудь строительство, связанное с радиотелевизионным делом, за ним — Дима. У него был теперь второй разряд и знакомый слесарь в каком-то институте, срочно возводившемся на окружной дороге. Но Дима отказался. Неопределимое беспокойство за Маринку снова стало мучить его после неожиданной гибели Клычкова. Чтобы спокойно работать, ему непременно нужно было видеть ее каждый день. Он ждал полуденного обеда, когда она приходила с судками, ждал вечера, когда они уходили в кино или просто гуляли по замоскворецким переулкам. Здесь был его старый, покорно ожидавший своей участи город. Деревья уже цвели, и то, что, кроме Маринки и Димы, никто не обращал на них никакого внимания, таинственным образом участвовало в их прогулках, — казалось, что сто или двести лет они берегли себя только для них.

Дима работал теперь в самом центре здапий, возводившихся рядом с Третьяковкой, и хотя повал бригада, в сущности, ничем не отличалась от старой, Дима находил, что о ней рассказать. У одного парня, например, была гитара. Он знал почти все песни Окуджавы, и иногда — в том числе Дима — иногда оставались послушать его после работы. И в этой бригаде Дима сумел поставить себя, и прораб был педурец, хотя ему было далеко до Клычкова.

Но вот что было новостью, поразившей и Маринку, и Диму. Оказывается, они плохо знали друг друга. Как-то случилось, что не были рассказаны ни детство, ни школа, а между тем большие и маленькие события случались, стараясь запомниться, хотя это было почти невозможно. Дни были похожи, месяцы ведалеко ушли друг от друга, зато годы, казалось, были даже разного цвета. Почему-то пятый и шестой классы и у Димы и у Маринки были черного цвета, а девятый и десятый — голубоватого, переходящего в синий. У Димы не было друзей, а двух товарищей, с которыми он ездил в Лесной городок походить на лыжах, он не считал друзьями. Друг — это почти брат, а они были для него как дальние родственники.

У Маринки была любимая подруга Лена Ловцова. Она одна знала, что Василий Платонович каждый день приходил к маме.

— И как она к этому относилась?

— С восхищением. Она доказывала мне, что он необыкновенный человек и что второго такого нет на свете.

— Но почему?

— Потому что только необыкновенный человек может любить так бескорыстно.

И Дима задумывался. Может быть, он проглядел отца?

— А где теперь Лена Ловцова?

— Она в девятом классе умерла от белокровия. А какая красавица была! Мы жили близко друг от друга, и она однажды прибежала ко мне в слезах: «Андрей умер». — «Какой Андрей?» Оказалось, что князь Андрей Болконский из «Войны и мира». И после ее смерти я впервые повяла, что такое горе. А потом уже, когда скончалась мама... Ты думаешь, почему я согласилась жить у вас?

— Не знаю. Но я иногда думал, что другая никогда бы не согласилась.

— Василий Платонович уговаривал меня, умолял. Даже встал передо мной на колени. Я не соглашалась. Мне казалось, что это оскорбление памяти мамы. Ведь после ее

смерти я несколько ночей не спала. И не ела. Сяжу и плачу. Мешя Наталья Викторовна спасла.

— Кто это?

— Наша учительница географии. Она меня любит. Заставила съесть бутерброд. Я уснула и проспала около суток. И во сне увидела, что проспнулась. Раскатываю тесто для пирога, а мама стоит рядом и говорит: «Тебе трудно согласиться. Но я буду спокойнее, если ты станешь жить у пвч. У тебя руки должны быть постоянно заняты». Конечно, это был только сон, но мне стало как-то легче на сердце, и когда Василий Платонович на другой день снова стал умолять меня, я согласилась. А твоя мать... Я думаю, что она согласилась ради Леночки. Все же все взрослые уходят на целый день, а я только на четыре часа, и девочка одна, а я могу и позаботиться о ней, и помочь приготовить уроки.

21

Это было в воскресный день, за обедом. Только Маринка подала суп, позвонил телефон. Она взяла трубку, ответила. И потом:

— Платон Платонович? Да, конечно, он живет здесь. Но он не может подойти к телефону.— И после паузы:— Он ничего не слышит.— Она закрыла трубку ладонью и объяснила:— Это из «Интуриста». Василь Платонович, подойдите.

Никто не слышал, что сказали Василию Платоновичу из «Интуриста», но в ответ он стал бормотать что-то настолько невнятное, что Дима не выдержал и взял у него трубку.

— Повторите, пожалуйста. Вас не расслышали. Вы из «Интуриста»?

— Да. В Москву приехала из Парижа мадам Люси Сюрвилль. Завтра группа отправляется в Ленинград, и для встречи, на которой она настаивает, времени уже не будет.

— Это говорит внук Платона Платоновича,— сказал Дима.— Он в очень плохом состоянии. Ходит с трудом и ничего не слышит.

— Минуточку,— ответил женский голос, и Дима услышал, как тот же голос быстро заговорил с кем-то по-французски. Не минутку, а две или три продолжался этот разговор, а потом Дима услышал:— Она настаивает.

— Сегодня?

— Да.

— В котором часу? Простите,— сказал Дима,— вы не можете позвонить через полчаса?

— Хорошо.

Дима повесил трубку и сел за стол.

— Не пускать,— сказала Ирина Сергеевна.

Это было сказано так пугливо, что Дима засмеялся.

— Я поговорю с ним.

Маринка остановила его. Она торопливо унесла суп, поставила его на плиту, отколола кусочек сахара, достала из буфета какие-то остро пахнувшие капли, смочила сахар и отдала его Диме.

— На всякий случай.

Дед читал, когда он вошел, и, думая, что ему прислели обед, отложил книгу в сторону. Дима присел к столу и цапнул на бумажной полоске: «Дед, у меня к тебе просьба».

(Такие полоски Маринка давно нарезала для разговора с дедом.)

— К твоим услугам,— отозвался дед.

Он был в измятых, засунутых в валенки брюках, в поношенном сером свитере, и Дима прежде всего подумал, что его надо переодеть.

— «Просьба очень простая,— написал оп.— Не волноваться».

— Ладно,— прочитав полоску, равнодушно сказал дед.— А что случилось?

— «К тебе приехали».

— Да? Кто и откуда?

— «Из Парижа. А кто — попробуй сам догадаться».

Дед прочел и медленно поднялся с кровати. Казалось, он собрался куда-то пойти. Дима протянул ему сахар. Он покачал головой.

— Не падо. Она хочет видеть меня?

— «Да. Звонили из «Интуриста».

Никогда прежде Диме и в голову не приходило, что Платон Платонович в свои семьдесят восемь лет еще очень хорош собой. Лицо его не обвисло, как у других стариков, черты остались подобранными, сухими. Растрепанные желто-белые волосы закрывали высокий лоб, и он задумчиво откинул их рукой. Длинные ресницы сохранились и выгодно оттеняли радужные серые умные глаза. «Нельзя в одну минуту превратиться в красивого человека,— подумал Дима.— Стало быть, оп всегда был таким».

Платон Платонович не всегда был таким. Не пользуясь лыжными палками, он сделал несколько шагов по комнате,

Обдумывая что-то. Он не был изволпован. Но что-то переменялось в нем. Он распрямился. Он глубоко, свободно вдохнул, и, казалось, весь воздух просторной комнаты вошел в его грудь, прихватив солнечный свет, которым она была озарена — косо, но ярко.

— Ну что же, — после долгой паузы сказал он. — Это прекрасно. Передай мадам Люси, что я жду ее с петербургом.

Дима по телефону повторил эти слова, и сотрудница «Интуриста» ответила кратко:

— Ваш адрес? Сегодня мы приедем. Вечером.

До вечера было еще далеко, и, тревожно обсуждая неожиданное происшествие, пообедали, а потом, тоже тревожно, стали обсуждать вопрос, казавшийся почти неразрешимым: как одеть деда? Невозможно оставить его в поношенном свитере и измятых штанах.

Дима отправился к старику и, к удивлению, застал его читающим ту же книгу. Дед решил вопрос просто.

— У тебя, кажется, есть хороший свитер?

— «Да».

— Впрочем, он, пожалуй, маловат для меня?

— «Нет. Он большой, даже громадный. Маринка смеется, что она купила его навзрост».

Дима прилел свитер, дед надел его, и вопрос, по его мнению, был решен.

В столовой дискуссия еще продолжалась. Дима, вернувшись, мгновенно прекратил ее.

Началось ожидание, не очень тревожное, — к неожиданному приезду мадам Сюрвилль уже начали привыкать.

Она явилась, просто, но изящно одетая, небольшого роста, седая, скромно причесанная старая дама.

Потом Дима говорил, что он никогда прежде не видел таких лиц — как будто кукольных и вместе с тем необычайно серьезных. Маринка не согласилась: ничего особенного в лице старой дамы она не нашла.

Сопровождавшая ее, похожая на злую мартышку, вела себя очень странно — так, как если бы она в течение многих лет распоряжалась всеми делами семейства Малышевых, хотя увидела его впервые. Но все-таки она поздоровалась, прежде чем спросить:

— Где он?

Дима провел мадам Люси и «мартышку» к деду. Он был такой же, как утром, но если бы мог, наверно, бросился бы к своей посетительнице или к ее ногам. Легкий румя-

нец проступил на ожившем ясном лице. Он вдруг широко, по-мальчишески улыбнулся.

— Я ждал вас тридцать лет, Люси, и вот наконец дождался, — сказал он и сразу же перешел на французский.

Дима показал старой даме полоски бумаги, лежащие на столе. Она быстро написала на одной несколько слов, и дед падел свои очки с толстыми стеклами, прочел и весело, тоже как-то по-мальчишески, засмеялся. «Мартышка», очевидно, вмешалась в разговор, и дед, впервые заметив ее, с изменившимся, побледневшим лицом сказал что-то мадам Сюрвиль. В ответ она только покачала плечами.

Сцена, которая произошла вслед за этим презрительным движением, была понятна до мелочей, хотя разговор проле-ходил на французском языке, которого не знал Дима. Она началась словами деда, который вежливо попросил «мартышку» подождать в столовой:

— Je vous pris de nous attendre dans la salle à manger<sup>1</sup>.

«Мартышка» сделала вид, что не слышит. Громким настоятельным голосом дед повторил фразу. Ничего не изменилось. «Мартышка» шепнула что-то мадам Сюрвиль и, не получив ответа, не двинулась с места.

Диме случалось видеть людей, которые старались справиться с бешепством и в конце концов давали ему волю: Иван Мартыпович, срывая голос, кричал на монтажника, которого он обвинял в гибели Клычкова, и если бы по стоявшие вокруг рабочие, бросился бы на монтажника с кулаками.

Но дед и не думал справляться с бешепством. Какое там! Его красивое лицо исказилось, зубы оскалились, рот растянулся, седые волосы упали на лоб. Он оглянулся вокруг, очевидно ища что-нибудь, чем можно ударить, и потянулся к тяжелому медному подсвечнику, стоявшему на столе.

Дима не понял, что он крикнул «мартышке» из «Интуриста», но она побледнела и пошатнулась как от удара.

Дима, вышедший за ней в коридор, заметил, что мадам Сюрвиль смотрит на деда смеющимся, любующимся взглядом.

— Сумасшедший, — пробормотала «мартышка».

— Да, он ведь сидел в сумасшедшем доме, — охотно объяснил Дима. — А вам, очевидно, приказали не отходить от мадам Сюрвиль ни на шаг?

«Мартышка» не ответила. Вот она действительно ста-

<sup>1</sup> Я прошу вас подождать нас в столовой.

ралась справиться если не с бешенством, так по меньшей мере с обидой.

Маришка предложила ей чаю, и она неожиданно согласилась, но за чаем вдруг всхлинула и приложила платок к глазам...

Мадам Сюрвиль недолго пробыла у деда. Мигут через двадцать она вышла от него — тоже с заплаканными глазами. Но, несмотря на слезы, у нее было светлос, успокоившееся лицо. На пороге дед нежно поцеловал ей руку.

Это были проводы, но не похоронные, а живые, спокойно торжественные, прошедшие через годы и зачеркнувшие все, что не могло совершиться.

22

Дима хотел зайти к деду сразу после отъезда мадам Люси, но что-то удержало его. Маришка постучалась, зашла и сказала, вернувшись, что старик встретил ее очень сердечно.

На другой день Дима заглянул к нему после работы. Платон Платонович что-то писал и попросил Диму подождать, пока он закончит фразу. Однако прошло минут пятнадцать, фраза, очевидно, была давно закончена, а он все еще не отрывал пера от бумаги.

— «Ты занят, дед. Я найду позже».

Не отрываясь, Платон Платонович отрицательно помахал левой рукой.

— У меня к тебе просьба, милый, — сказал он наконец. — Я пишу письмо. Понимаешь, кому?

— «Да».

— Так вот, ты пошлешь ей это письмо после моей смерти. Вот адрес.

— «Ладно. Но почему после смерти? Я пошлю завтра. Или послезавтра».

— Вот как раз завтра-то я и умру, — возразил дед. — На твоих часах есть секундная стрелка?

— «Да».

— Отлично. Ты умеешь считать пульс?

— «Что же здесь хитрого?»

— Ну вот и посчитай.

Но сосчитать пульс было невозможно: Дима дошел до ста пятидесяти и сбился. Да и эти сто пятьдесят состояли из стремительных бросков, которые прерывались паузами, когда сердце останавливалось на три-четыре секунды.

— «Ты болен, дед. Я позову маму».

Старик усмехнулся.

— И, брат, однажды попросил ее прописать мне что-нибудь успокоительное — плохо спал. Так она добрых полчаса перелистывала справочники, а потом вручила мне рецепт, над которым в аптеке посмеялись. Впрочем, это было очень давно. Может быть, с тех пор она научилась.

— «Да, мама все забыла, — согласился Дима. — Но в управлении механизации бывает хороший врач. Я сейчас за ним сбегая, дед».

— Не стоит трудиться. И не поднимай, пожалуйста, шума.

Но Дима все-таки привел врача — пожилого, серьезного, бородатого, добродушного, — и тот, послушав деда, сказал, что нужно немедленно вызвать «скорую помощь».

— Отказываюсь, — решительно сказал дед. — Еще в больницу возьмут! Умирать надо дома.

Дима не знал, о чем доктор поговорил с мамой. Но дело действительно было плохо, потому что на другой день у Илатона Платоновича провалились глаза и на смертельно-бледных губах появился синеватый оттенок. Дима не мог уйти с работы, но все-таки отпросился, когда заплакавшая Маринка прибежала и сказала, что дед хочет с ним поговорить.

— Плохо?

— Очень плохо. Всех прогнал. «Дайте мне умереть спокойно». Потом позвал: «Дима!..» И послал меня за тобой.

...Дед лежал с закрытыми глазами. Дима сел подле его постели, и он сжал его руку с неожиданной силой.

— В сравнении с тобой мне повезло, — слабым, но отчетливым голосом сказал дед. — Ты можешь прожить обыкновенную жизнь. Ты видишь людей, все новых и новых, камни, дома, небо.

«Бредит», — подумал с острой жалостью Дима.

— Нет, — как будто угадав его мысль, возразил дед. — Сколько тебе лет?

— «Восемнадцать».

— А в меня эта молния ударила, когда мне было почти пятьдесят. В сущности, недавно. Может быть, точнее назвать ее не молнией, а болезнью. Неизлечимой. Она пазывается счастье. И все, кроме нее, потеряло значение. Неизлечимая, — повторил дед. — И, может быть, наследственная. Я устал. Не уходи, Дима.

Минут двадцать он пролежал молча, тяжело дыша, с открытыми глазами.

— Берегись счастья,— продолжал он пакопец.— Оно выпрямляет жизнь. Идешь по шпалам, между рельсами, все прямо и прямо. Пространство сужается. Но ни о чем не надо жалеть. Годы уносят людей, камин, дома. Остается небо. Но годы отнимают и небо. Остаются воспоминания. Ты для меня уже воспоминание. Иногда они оживают. Их можно взять за руки. Я взял Люси за руки. Теперь можно умереть. Но лучше встать за руки, чтобы жить, хотя рельсы, которые должны лежать параллельно, скрещиваются в конце концов. Кто это доказал? Не помню.

— «Лобачевский»,— написал Дима. Он плакал.

— Может быть. Умирать легко,— продолжал дед.— Это запечат только одно: сердцу надоело биться. А письмо, которое я написал ей, ты отложишь завтра.

— «Да, дед».

— Это странно, но лучше всего я чувствовал себя среди сумасшедших. Они гордились своей сложностью, а я — своей простотой. Они были сложны, как дети. Но я говорю не о том. Мы оба больны, мой милый, и разница в том, что я болен смертельно. Меня заруют в землю или сожгут, а ты еще поправишься и будешь жить. Но, может быть, я ошибаюсь...

Платон Платонович умер ночью. Дима закрыл ему глаза. Стояли жаркие дни, и на другое утро его отвезли в морг. Провожавшие с цветами в руках собрались в пустом морге, посередине которого стоял длинный стол. Мертвый дед лежал в гробу на этом столе. Кроме родных пришли два старика, некогда служившие вместе с ним в Министерстве финансов. Руки лежали вдоль тела. Ступня левой ноги лежала неровно, косо, и сторож поправил ногу, точно это была вещь, которую надо положить на место. Маринка плакала. Потом деда привезли в крематорий, и пришлось долго ждать: хоронили заслуженного деятеля науки, выступали с речами. Прощанье было короткое. Кроме деда, все торопились.

Под траурную музыку гроб медленно стал опускаться, как пловец, которому надоело лежать на спине и он решил нырнуть в расступившуюся воду.

Вернулись поздно, разошлись по комнатам. Дима отправился на Кропоткинскую. «Мне хочется побыть одному»,— сказал он Маринке, зашел на почту и отправил письмо Люси Сюрвилль.

# Анатолий Чернецов

Х а б и б а  
и и н е н е в а  
В а б и л а н а

О нем заговорили сразу же, о новом секретаре райкома партии. И директор, и главкиш, и начальники отделов, — в общем, все наши старики. Необычное беспокойство началось, разговоры, стихающие при посторонних; нарядные, ухоженные женщины (а их у нас великое множество) тревожно заперешептывались, запереглядывались, будто близились какие-то перемены, будто сношители общали циклон небывалой силы...

Причины для беспокойства, разумеется, были. Я представил, как он пойдет (а он обязательно пойдет, другой бы по телефону справился о делах, а этот непременно сам пойдет) между рядами кульманов и начнет дотошно расспрашивать: «А вы над чем трудитесь?» Зайдет и в многочисленные клетушки, в которых сидят эти ухоженные женщины: «Ну а вы над чем трудитесь?»

Добрая половина из них, я уверю, не сможет ответить что-нибудь мало-мальски вразумительное. Просто спи «спят на окладе». Выражение, по-моему, великолепное, прямо щедринское выражение — «спят на окладе».

Так вот, представил я, как он пойдет от одного рабочего места к другому и... подойдет к моему кульману:

«Савелий Иванович! Вы что же, здесь работали?..»

А может:

«Савик! Вот не ожидал...»

Но уж обязательно:

«А ты над чем трудиться?»

Об этом он пусть лучше спросит у нашего директора. В родственном нам институте, говорят, спросил: «Скажите по совести, где ваши машины работают?» У того директора, сказывают, первый тик начался... Ну а мы — что они.

Только название у нас подлиннее, а у старика нашего не так, а повышенное давление. И за семь лет, что я здесь, не слышно было, чтобы наши машины где-нибудь работали. Секретарь райкома партии... что ж, я это предвидел, я был уверен, что он далеко пойдет, Забродин...

В тот памятный день с самого утра я был во власти гнусной иностранщины: просто падал зуд выражаться не по-русски. Подходит ко мне Лиля Кузьмина, задумчивая такая, — что-то ей, видно, непонятно в чертешке, который она держит перед глазами.

— Здравствуй, Сава (имя-то мне дали, ч-черт!).

— Гуд дэй, фройляйн! — приветствую ее.

— Разъясни-ка мне, пожалуйста... — И тычет пальчиком в чертеш.

— Тутто пэр ля допна! — восклицаю.

— Что, что? — переспрашивает Лиля.

— Тутто пэр ля допна! — повторяю. — Ах, да! Пардон, мам, по-итальянски это означает: «Все ради женщины!»

— Пошел ты! — фыркает Лиля.

— Неужели вы индифферентны к романским языкам? — спрашиваю в нос. — Ах, зо шаде, зо шаде. — И тут же спохватываюсь: — Уп момэнто, уп момэнто, доннерлеттер! — И придерживаю Лилю за руку, так как она, потеряв, наверное, терпение, повернулась было спиной и сделала шаг к моему соседу Гене Гуллину — шаг весьма нежелательный... Возвращаю ее, походя ввертывая афоризм: — Как говорили древние греки: милая барышня, не вертхайся.

Объяснял ей устройство распределителя, а сам краем глаза смотрел, как главный провел повичка по отделу, а потом указал на пустующий кулман.

Новенький был высок и сухопар, лицо имел, как сказал бы старый романист, энергическое, а жесты сдержанные. Одежду его составляли узкие черные штаны и серая блуза настолько грубого сукна, что казалось оно дмоткавым. «С такими длинными конечностями, — подумал я, — ему бы за сборную играть. По бейсболу. Скажем, от Калифорнийского университета...»

Обычно новенькие у нас прастали незаметно и постепенно, этот же сразу пошел по отделу и начал со всеми знакомиться.

— Федот Забродин, — подошел он и ко мне. В виле поданной моей руке хрустнули суставчики. — Над чем труди-

тес, если не секрет? Я... чтобы войти, как говорят, в курс,— мягко поспил он, заметив, видимо, мое недоумение.

— А-а,— протянул я.— Что ж, пожалуйста...— И принялся объяснять.

Он слушал, порою коротко взглядывая на меня. Я почти физически почувствовал, что наряду с чертежами он изучает и меня. Это мне не понравилось.

— Федот, да не тот...— буркнул я, когда он отошел.

И вдруг мне захотелось что-нибудь этакое выкинуть, чем-то привлечь всеобщее внимание — со мной такое бывает. Ну а желание есть желание, его нельзя подавлять, загонять внутрь: подавленные желания, согласно учению Фрейда, рано или поздно дают о себе знать... И я тут же атаковал свою первую жертву.

— Лиля, Лпя! — зашептал я.— Предлагаю викторину. Вспоминай пословицы и поговорки с цифрой семь... Давай!

— Ну...— наклонила она головку пабок.— Семь раз примерь, а один отрежь.

— Из заповедей портняхи-любительницы,— подмигнул я Лиле и продолжил: — Семь бед — один ответ.

Ляля уперла карандашник в оттопыренную губку и красиво задумалась, помаргивая,— этакая ягодка, право!

— Семеро одного не ждут,— подсказал из-за кульмана Гена Гуляя.

— Один с сошкой — семеро с ложкой,— подхватил я.

— Семь верст до небес — п все лесом,— не выдержала Рита Шляхман, высунув из-за чертежной доски коротко стриженную голову.

— У семи пняк дитя без глазу! — парировал я.— Ляля, твоя очередь.

— Семью семь — сорок семь! — в отчаянии пролетела Лпя и тут же испуганно добавила: — Плюс два.

Все заинтересованные прислули.

— На дно семь пятац! Семеро по лавкам! Семи пядей во лбу! — торжествовал я.

Однако пожать плоды победы не успел: в проходе между кульмапами появился заместитель главного конструктора, тот самый, про которого я сочинил: «Не так страшен сам, как его свирепый зам».

— Опять вы, Савелий Иванович,— это оп меня по имени-отчеству,— не делом заняты?!

— Со стороны оно, конечно, виднее,— огрызнулся я как можно невнятнее и уткнулся в чертеж, добавив про себя: «Делу время, а потехе час...»

Не любил я зама, не любил потому, что был он человек без хобби, скучный, несовременный, этаким человеком-винтик. С таким и поговорить-то при случае не о чем. У нас в отделе их было несколько, винтиков; с утра до позднего вечера торчали они на работе, трудились, почти что не вставая. И конечно же они перекрывали план, были на Доске почета, все, казалось бы, отлично, дай бог! Но я-то знал, что ими при этом движет. Одни из них рвались, так сказать, «грудью в капитаны», другие медленно, но верно «гибли за металл» — добро бы за идею...

Нет, мне лично нравились люди, умеющие наслаждаться жизнью, увлеченные чем-нибудь, люди, имеющие хобби, пусть даже пустяковое, вроде домино во дворе. Или рыбалка... Он весь преобразается, заговори с ним о клеве, о закидушках, о потасных местах на реке. И чувствуешь — живой человек. Или, к примеру, Лилия Кузьмина. Любимое занятие — швейное дело. Страсть Гулипа — математика. Рита Шляхман любит рисовать, Василь Петрович — заядлый турист. Сам же я собирал анекдоты, фельетоны, сочинения Нушича, Зощенко, Чапека, Гашека, выписывал «Крокодил», «Шпильки», «Перец».

«Интересно, какое хобби у этого Забродина? — думал я, ведя карандашом линию вдоль линейки. — Скажи свое хобби — я скажу, что ты за человек...»

Однако новичок оказался не из тех, у кого душа нарастает. Что я пока подметил, так это то, что работает он зверски быстро. Длинные руки с костлявыми, тоже длинными пальцами ходуном ходили над ватманом. Казалось, что с рычагами кульмана они составляют единое целое: бумага быстро покрывалась сетью тонких и точных линий.

Наблюдал я за ним и в коридоре, где среди курящих всегда можно посмаковать свежий анекдот, услышать рассказ о проведенном за городом воскресенье, послушать спор на политическую тему. Забродин в разговоры вступал редко, все больше слушал, правда небезучастно: глаза его под выпяченными смоляными бровями выдавали живой интерес ко всему, что говорилось.

Встречал я его и в цехах. Стоит и наблюдает за работой какого-нибудь автомата либо за сборкой какой-нибудь машины. А то спрашивает о чем-то рабочих. «Играет в демократию, — думал я, — или хочет показать, вот, мол, интересуюсь производством, расширяю кругозор... Ну, поначалу-то все выпендриваются...»

А между тем подошел день, на который было назначено

отчетно-выборное комсомольское собрание; яркое, красочное объявление об этом уже неделю висело на доске объявлений. «Однако забывчивые комсомольцы, конечно, найдутся,— соображал я, подписывая чертеж и замечая, что около двери курсирует парторг Петр Степанович.— Это он на всякий случай, чтоб не разбежались. Бесхарактерного комсорга Калачева могут и не постесняться, а когда сам парторг...»

Вот и звонок, вот и «забывчивые» поспешили было к выходу. Ага! Так и есть! Хлопают себя по лбу при виде Петра Степановича: мол, как это я забыл, сегодня же собрание... Хлюсты! Удрать хотели? Не выйдет! Петр Степанович вас насковозь водит.

Заставили стульями проход между столами, расселись, а те, кто не поместился в проходе, остались на своих рабочих местах за кульманами.

Илья Калачев, комсорг, начал:

— За отчетный период вся наша страна...

Люблю я незаметно наблюдать за людьми на таких вот собраниях. Всегда ведь найдутся несколько человек, которые помню того, что слушают, участвуют в собрании, еще и записываются каким-нибудь своим делом. Это-то и интересно. Вот Гена Гулин достал блокнот и карандаш, посмотрись — стенографировать собрался человек. Наморщил лоб, написал что-то, подчеркнул, обвел п... пошел интегрировать. Жить не может без математики!..

Илья Калачев между тем перечислял положительные стороны работы бюро: ряды пополнились на столько-то, металлолома собрали больше, чем в прошлом году; все указания комитета комсомола выполнялись, культпоходы в кино и в цирк были, правда, без последующих обсуждений...

А что поделывает Рита Шляхман? Ага, да она никак рисует Гулина. Что же, в самый раз: когда он уминает интегралы, тут-то его и взять на карандаш. Коротко стриженная, в кофачке, пу прямо комиссарша эта Рита, не хватает только маузера на боку. И рисует здорово, особенно дружеские шаржи, карикатуры. Прищурилась, словно прицелилась, а карандашчик хлопочет, хлопочет над гулинским носом, ушамп, очкамп.

— ...Наряду с положительными сторонами в работе бюро,— шпарит Илья Калачев,— были и отрицательные, так сказать, стороны. Так, некоторые комсомольцы нерегулярно платили членские взносы, бюро крайне недостаточно занималось воспитательной работой...

При этих словах красивые губы Льва Печеппа дрогнули. Но в следующий же миг лицо его стало опять каменнотупокопным, глаза снова уставились в чистую чертежную доску. Хотел бы я знать, какие строки слагаются сейчас в этой поэтической голове! Уж наверняка не для печати... Лев Печеппа — отделецкий аристократ и поэт. Всегда в безукоризненной темной наре, белый до голубизны воротничок рубашки, лицо, над которым природа трудилась в белых перчатках. И — стихи. Собственные и преимущественно полузабытых поэтов. Причем читал Печеппа с чувством, можно сказать, даже со слезой...

— ...И я уверен, что вновь избранный состав бюро, — заканчивая свою речь Илья Калачев (кое-кто уже постукивал по часам: закругляйся, мол, регламент), — учтет эти недостатки и будет работать лучше...

А что повенький? А повенький слушал. Но, судя по всему, слушал невнимательно. Откинувшись на спинку стула, он помахивал то на оратора, то на соседей, и выражение лица у него было такое, будто у него нещадно болит зуб. Помнится, я еще почувствовал ему: у меня у самого зубы ни к черту...

— Неужели, товарищи, никто не хочет выступить в прениях? — Председательствующий в который раз обвел глазами собрание. — Выступайте, товарищи, не тяните, у себя же время отнимаете.

— Разрешите, я... — поднялся секретарь заводского комитета комсомола Коровин. — Что, товарищи, я хотел бы сказать...

А по лицу Коровина и по вялому началу было видно, что сказать он ничего не хочет, что правильно строить фразы ему, ученику-вечернику, перед сотней конструкторов — каторга; что этот участок работы с комсомольцами-включерамп для него, Коровина, самый трудный. Другое дело — в цехах, там полно знакомых, там тебя поймут, и ты поменьше, а тут... Вот и выступили капельки пота на лбу и на верхней губе...

«Нет, братец Коровин, — думал я, слушая прописные истины, выдаваемые к тому же топорным языком, — юмор, а не комсомол у нас получается».

А у новичка между тем лицо стало такое, что я догадался — не зуб у него болит, а, повернусь, желудок, что у него по крайней мере язва и дело его хавы, коль это так.

Совсем по-другому выглядит Лиля Кузьмина. Как мило шепчет она о чем-то Мане Шошиной, тыча пальчиком

в журнал «Польские свитера»! На щечках легионский румяничик, сама ядрененькая, палитая (бюстик в юрме, коленочки круглые) — ягодка, и только.

После Коровина выступал зам и говорил, что не надо забывать о роли комсомола в деле повышения производительности труда...

Но лучше всех все равно говорил парторг Петр Степанович. Его рокочущий басок напомнил нам о славных традициях комсомольцев тридцатых годов, о целине, о Братской ГЭС, о строительстве дороги Абакан — Тайшет, о походах по местам боевой славы, о том, что никто не забыт и ничто не забыто. И что нам надо брать пример с наших отцов и дедов и с таким же энтузiazмом жить и трудиться...

Гена Гулиц остервенело интегрировал, Рита Шляхман перешла к профилю Коровина, в глазах у Льва Печенина не горел энтузiazм строителей Магнитки, и не комсомольскими традициями были заняты хорошенькие головки у Лили и у Маши.

Работу бюро признали удовлетворительной.

Приступили к выборам нового секретаря. Кто-то предложил кандидатуру Гены Гулина. Тот даже не услышал, а когда его толкнули в бок, он, будто разбуженный среди ночи, завертел своей кудрявой головой:

— Что? А? Кого-кого? Мешя-а-а?

Собрание оживилось.

Маша Шошина, лукаво поглядев на свою соседку, поднялась и предложила ее кандидатуру. У Лили округлились глазки-алмазки.

— Я же заочница, товарищи! Ты, Маша, соображаешь?.. Я вот тебя сейчас... Товарищи, я предлагаю Шошину!

Собрание почти развеселилось. Уголки рта у Льва Печенина снова привычно дрогнули.

— Товарищи, посерьезнее! — стучал председательствующий карандашом по графину.

Парторг Петр Степанович предложил оставить комсоргом Илью Калачева: мол, работал человек и пусть работает...

«Ну, Илья,— подумалось было мне,— посить тебе шапку Мономаха еще год...» — как вдруг слова попросил повенский. Услышав: «Пожалуйста, товарищ Забродин», — стремительно встал, кашлянул; собрание заинтересованно притихло. А он с минуту молчал, будто колебался, но потом громко и твердо сказал:

— Я смогу... быть комсоргом. И постараюсь сделать комсомольскую жизнь в отделе интересной. Если, конечно, вы меня выберете и станете мне помогать.

У Коровина отвисла челюсть.

Карадаш Риты Шляхман звонко треснул, и графитное зернышко, прошуршав по бумаге, упало на пол.

У Льва Печенина в глазах «вспорхнули птички любопытства».

«Ну и отмочил ты, брат Федот!» — мелькнуло у меня.

Неволокная тишина установилась в отделе. Многие сидели опустив глаза, чувствовалась растерянность, напряженность.

Тогда подпрыгнула со своего места Лиля Кузьмыча.

— Шокированы? — с укоризной в голосе спросила она. — Немая сщепка? Не по форме? Самозванец? Слыхано ли? А я считаю — правильно. Я — за. Ну что мы, в самом деле! Развели доклады по бумажке, по стандарту — скукотища! Да комсомольцы мы или не комсомольцы? Ну, выберем Илью Калачева, так ведь опять будет сон в Обломовке. Правильно я говорю?

И тогда заговорили все разом, зашумели: мол, чего уж там, все верно, все так, действительно болотом у нас пахнет. И в конце концов разнесли «удовлетворительную работу» Ильи Калачева в пух и прах, досталось и Коровину на орехи, и всему его комитету...

Забродип слушал, внешне был спокоен, но в глазах у него, я заметил, горел «адский пламень».

«Любопытный малый, — размышлял я, пагая домой после собрания. — Молчал, молчал и вдруг заговорил. Интересно, зачем это ему понадобилось?..»

На следующий день после работы Забродип назначил первое заседание нового бюро. «Портфели распределять», — сообразил я.

Когда все собрались у забродипского кульмана, новый комсорг неожиданно сказал:

— А что, товарищи, не пойти ли нам в кафе? Там и поговорим. Идет?

Кто же мог быть против? Конец рабочего дня, все уже успели проголодаться...

Подыскали столик в углу, расселись. Заказали пиво, Забродип отпил из стакана, кашлянул и начал заседание бюро с такой фразы:

— Ну что ж, давайте думать «за пашу жызнь», как говорят в Одессе.

Потягивали пиво, помалкивали.

— Говори ты, у тебя есть, наверное, какие-то планы, — не без намек на самозванство предложил я.

— Да никаких планов у меня нет, — сказал Забродин. «Юмор», — усмехнулся я про себя.

Удивление, более или менее скрытое или вовсе нескрываемое, было на лицах и у других членов бюро. Гепа Гулин задумчиво теревил ухо.

— Но мне кажется... — Забродин отодвинул недопитое пиво и посерьезнел, — для начала надо выяснить наши взгляды. Кто как думает о комсомольской работе вообще, какое у кого настроение? Только давайте откровенно. Нам ведь вместе работать, все должно быть ясно между нами.

— Что ж, согласен! — Лев Печенин вскинул свой гордый профиль. — Я скажу, что думаю. Мне лично кажется, что все у нас в прошлом. И никогда не будет для нас с вами ни целины, ни Братской ГЭС, ни ударных строек. Все это угасающие костры... Ну чем, скажите, чем в отделе комсомолец отличается от некомсомольца? Да тем, что один платит взносы, другой — нет.

Они еще долго рассуждали в таком же духе. Я не встретил: подобный треп я слышал сотни раз — в зубах навязло.

— А ты как думаешь? — спросил Забродин, в упор уставившись на меня.

«Какой-то следовательский прием», — подумал я и сказал:

— Я? Я думаю, что главная беда... Как-то уж так получается, что во главе комсомольских организаций зачастую оказываются люди малоинтересные.

— Точно, — сказала Рита Шляхман.

— Вот этот паш Коровин... — усмехнулся Лев Печенин.

— Ни рыба ни мясо, — поддержал и Гепа Гулин.

— Он со мной однажды разоткровенничался, — добавила Рита Шляхман. — «Понимаешь, — говорит, — позв в сердце мне это секретарство. Замучился. То ли дело, — говорит, — было на станке. Крути себе рукоятки, давай порму, ни горя тебе, ни заботушки...»

— А кто виноват? — строго спросил Забродин. — Кто виноват, что у нас так? Да сами мы и виноваты. Вчера сижу, слушаю этот тошнотворный доклад, эти топорные поучения и думаю: до чего же мы обмельчали, до чего же облепились духовце, до чего опозлили идею! И уверен: вы так

же думали. Но почему тогда в стороне? Почему пассивны? Где ваша гражданская совесть? (Он так и сказал — «гражданская совесть».) Почему вы ее спрятали? И не верю, что потеряли. Почему спрятали? — Но тут он осекся, смутился и тоном ниже продолжал: — Я говорю «вы», точнее было бы «мы». И тем же раньше как-то не задумывался... Поэтому не ждите, что я предложение какой-то спонсибельный плаш. я в комсортгом-то никогда не был. Но давайте думать! Вель если предложим нашим опять что-нибудь вроде сбора металлолома или того же культпохода в цирк «без последующего обсуждения», не будет ли нам целовко, а? Каждому из нас. Не будет ли стыдно? Наверняка будет. Поэтому так: или — или. Или мы скажем собою сейчас же, сразу же, что мы прокисли, пропитались равнодушным пастьолько, что и совесть нас не мучает. И тогда откажемся сразу. Соберем собрание и заявим — не способны. Или лоб расшибем, но выйдем работу на уровне, чтобы в нас поверили, чтобы загорелись. А в том, что мы можем, я не сомневаюсь. Все вы тут ребята что падо, арудиты, у каждого есть увлечение. Вот и давайте все это в общий котел.

— Хорошо, — затянулся сигаретой Лев Печенин. — Положим, что получится. Ну и что? Что изменится в сущности-то? Еще одна вельшка в угасающем костре?

— Хотя бы и так. — согласился Забродин. — Для начала. А потом посмотрим. В конце концов, не боги горшки обжигают...

— Тогда ближе к делу! — призвала Рита Шляхман своим резковатым прокурорским голосом.

Что потом они еще говорили и решали, я почти не слушал. Я давно утвердился во мнении, что единственное спасение от «суровой действительности» — юмор. Живи себе, работай в меру сил, создавай материальные блага, но при этом не принимай близко к сердцу всяческие передраги, сохраняй бодрость духа, береги здоровье. Ибо оттого, что будешь размышлять о судьбах человечества и мучиться от несовершенства мира, ни тебе, ни другому пользы никакой. Вот почему меня стала раздражать претенциозность Забродина, его якобы гражданственность, якобы совестьливость, способность умиаться на благо других... Не раз за свою жизнь встречал я мастеров говорить высокие слова, проносить зажигательные речи... Таков скорее всего и этот. Барабанная личность. Начитался, поди, книжечек серии ИЖЗЛ и заливает о долге и чести. А что за словами-то? Или пустота, или, что еще хуже, корыстные помыслы.



Сразу же после заседания бюро Забродин развернул кипучую деятельность. Он, не в пример Илье Калачеву, перенес центр работы из отдела в общежитие, в комнаты, в пустующий красный уголок. И это было, как ни крути, логично. Насидишься за день в отделе да еще оставайся на мероприятия всякпе...

Заглянул как-то Забродин к Василию Петровичу в общежитие. Сразились в шахматистки, посидели, разговорились. Василь Петрович — феномен. За тридцать, не женат, все, что зарабатывает, тратит на путешествия, хлебом его не корми, дай забраться в середине зимы куда-нибудь в центр Саян, в самую глушь. Бродяга из бродяг. Так вот, почувствовал друг к другу расположение, Забродин и Василь Петрович и размышлялись: вот бы, мол, с заводскими туристами не просто за город на лоно природы, не просто в поход, а по следам бы Ермака... Построить бы струг, точно такой, на каких ходили казаки легендарного атамана...

— Черт возьми-п,— Василь Петрович от возбуждения скреб в затылке.— Из Волги, через Уральский хребет в Тобол, в Иртыш... там и волоку-то всего ничего...

Так родилась эта мысль, задуман поход, о котором впоследствии писали газеты и говорило радио.

А Гепа Гулин тем временем успел блеснуть в красном уголке лекцией об алгоритмах, Рита Шляхман пласталась над стеной газетой, и в ее комнате дым стоял коромыслом. Газету они вывесили наискосок над лестницей: в отделе она не помещалась ни на одну ступу. Газета получилась модерна по оформлению, колючая и веселая по содержанию. На лестнице постоянно толпились читатели, прибегали даже из других отделов. Не успел этот помер намозолить глаза, как был выпущен второй. Дошло до того, что в одном из номеров были напечатаны, к моему удивлению, стихи Льва Печенина. Предисловие редакции гласило: «Стихи отличные по форме, по содержанию — беспросветный пессимизм. Слово за поэтами-оптимистами!» И что же? В следующем номере на Печенина обрушился какой-то оптимист, подписавший свои задиристые вирши «Коля Брюньонов». Печенин, прочитав, опустил уголки аристократического рта и пробормотал что-то насчет «жеребячьего оптимизма».

— Требуи сатисфакции! — посмеивались вокруг.

Печенин вздохнул и произнес с печалью в голосе:

— Люди-страдальцы, вас мчит быстротечная жизни река от порога к порогу в пропасть забвенья...

...Не проходило дня, чтобы Забродин что-нибудь да не провинул. Вернее, проворачивали другие, но я-то знал этих других, знал, что раньше никого пельзя было сдвинуть с места, если дело не касалось его лично.

— Слушай, Маня, — ласково сказал как-то Забродин, подсев к Мане Шошиной, — как ты думаешь, не создать ли нам клуб, скажем, эстетики быта?.. Многие ведь ли черта не смыслят в том, как правильно стол накрыть, как за ним сидеть, как вилку держать и как салфеткой пользоваться. Я, например...

И в красный уголок патачили посуды и всякой прочей утвари; демонстрировалось, куда что ставить и куда что класть, как ножом орудовать и как правильно суп хлебать, как знакомиться, здороваться, на танец приглашать... Вечер прошел с юмором, а президент клуба Маня Шошина сияла, порхала, щебетала — откуда что взялось...

Да что Маня! А Лиля Кузьмина... Так и загорается от слов Забродина! «Готова ради него разбиться в доску», — не без сарказма думал я. Меня все больше раздражало то, что авторитет самозванца растет. Даже Льва Печенина, этого пелюдима, эту высокомерную, демопитическую личность, я все чаще стал видеть в обществе Забродина.

Дошла очередь и до меня...

— Слушай, Савик, — подсел ко мне Забродин во время обеда, — возьми-ка на себя сатирический отдел в газете. Карикатуры и шаржи у нас блеск, а вот тексты, тексты... Ты же в сатире и юморе дока, любого за пояс заткнешь. К тому же полиглот, насколько я понимаю...

«Довольно примитивно», — усмехнулся я про себя и тем самым подавил вызванное его словами тщеславие. Подавил и стал отказываться. Но Забродин не отступал, он хотел знать, почему я в стороне, глядел прямо в лицо, и что-то настойчивое, даже беспощадное было в его взгляде, такое, что я в конце концов согласился:

— Ладно... попробую, только вряд ли...

— Ну вот и отлично, и договорились! — подытожил Забродин.

«Настырностью он берет, вот чем, — решил я. — Вперяется своими фарами — и пошел душу выматывать. Вот они у него какие! Ввинчиваются в самые потроха. И что же остается делать, как не соглашаться? Нет, это не Илья Калачев, который всегда, бывало, обращался не к тебе лично, а к массам, ко всему коллективу: товарищи, падо то-то и то-то, кто возьмется?..»

Чтобы отвязаться, я дал в газету кое-какие афоризмы, вроде: «Туризм — сплошная рюкзотника». Читали, посмеивались; прочел и Забродин, тут же подошел.

— Ничего. Только, понимаешь, Савик, уж больно безпредметно. Так сказать, все мы люди, все мы человек. Ты не обижайся, но тут, по-моему, проглядывает твоя философия. А нужно, чтобы сатирический отдел в газете был оружием. Бить этим оружием у нас есть что. Хохмы — да, но чтоб с хохмой человек проглатывал пилюлю. Я уверен, что у тебя это может получиться...

«Он уверен! — негодовал я. — Он даже знает, какова моя философия! Какой пронзительный, черт возьми!.. Дал бы я тебе «пилюлю», только слишком ты скрытен, никак не покажешь свое нутро...»

А между тем надвигались события, которые должны были выявить способность нашей комсомольской организации не только к культурно-массовым, так сказать, мероприятиям...

Как-то за час до конца работы с озабоченным лицом прошел в свой кабинет главный конструктор. Тут же пригласил к себе парторга и Забродина. Что там у них было, я узнал позже, а только перед самым звонком из кабинета появился Забродин и попросил всех членов бюро и актив остаться.

— Вот что, братцы, — сказал он, когда мы перестали греметь стульями. — Главный был у директора и принес новость. Завод получил срочный правительственный заказ: в кратчайший срок запустить в производство установку на изготовление труб для нефтегазопроводов. Понимаете, западно-германские фирмы отказали нам в поставке этих самых труб. А они пужны вот так, — он чиркнул пальцем по горлу, — и в огромном количестве...

Я уже понял, к чему он хлопит. Он попросился: мы, мол, комсомольцы, возьмем установку на себя — вполне в его духе. И это послужит ему отличным трамплином. Ведь если все пройдет успешно, честь и слава Забродину! Глядишь, на будущий год будет на месте Коровина, еще через год-два — в райкоме, а там и до обкома рукой подать. Вот и выходит, что я был прав, когда не верил в его бескорыстную идею. Не зря мне в его кипучей деятельности, в агитречах, даже в стремительной походке и энергичных жестах виделась рисовка, не зря мне казалось — на зрителя работает. Конечно, его «индивидуальный подход», эти всевозможные «вечера», этот шум вокруг похода по следам Ермака успели

сделать Забродина популярным в округе. Что ты, поставив время стать популярным и у начальства... Ну и ладно.

А Забродин между тем заканчивал:

— Итак, интеллигенты, считайте, что нам с вами браво на перчатка владельцами концернов... Кин, порицал!

— Конкретнее? — спросил я.

— Конкретно, — ответил Забродин, — кровь из носу, за два

месяц-полтора спустить документацию и цеха.

— Для чего, надо понимать, сутками придется торчать на заводе?

— Не торчать, — внимательно взглянув на меня, поправил Забродин, — а трудиться, выкладывать.

— Решайте как хотите, — сказал я, — но и по железу не жмять из себя соки.

— Кто о чем, — фыркнула Лиля Кузьминич, — и он о своих драгоценных соках!

— Лиля, ты не права, — мягко возразил Забродин и, повернувшись ко мне, спросил: — Едем да с зайце, так ведь, Сашка? — и в глазах его была явная усмешка.

— Совершенно верно, — с вызовом ответил я, — каждому свое.

Тут заговорили другие: мол, в данном случае дело чести и какой, мол, разговор, надо завтра же починать, и т.д.

Видя такое единение «железа и мяса», и были заводчане — не хватил ли я лишку? Однако все молча, так говорятся, были сожжены, и я стал убеждать себя в том, что поступаю правильно. Если на идею спекулирует личность, говорил я себе, то идея утрачивает смысл. Если нечеткими идеями становятся недостойные люди, она гибнет. А Забродин как раз и есть примазавшийся к идею карьерист. И только это один я, другие не видят, не понимают, точно полудева, черт поберет!

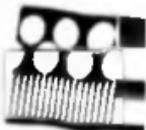
Несколько недель они торчали от темна до темна возле своих кульманов, собирались вокруг Забродина, спорили, шумели. Ведь Забродин главный назначил ведущим новой машины — неслыханно быстрое повышение для вчерашнего новичка...

А когда установку стали запускать, что-то там у них не ладилось, они были в тревоге, бежали по заводу в прямых леплых халатах, пребывали в раздражении, легко заводились и фыркали. Забродин почти на нем как на икорди.

А когда установку стали запускать, что-то там у них не ладилось, они были в тревоге, бежали по заводу в прямых леплых халатах, пребывали в раздражении, легко заводились и фыркали. Забродин почти на нем как на икорди.

А когда установку стали запускать, что-то там у них не ладилось, они были в тревоге, бежали по заводу в прямых леплых халатах, пребывали в раздражении, легко заводились и фыркали. Забродин почти на нем как на икорди.

А когда установку стали запускать, что-то там у них не ладилось, они были в тревоге, бежали по заводу в прямых леплых халатах, пребывали в раздражении, легко заводились и фыркали. Забродин почти на нем как на икорди.



И вот однажды пришла в отдел перепачканная с погдо головы машинным маслом, подурневшая Лиля Кузьмина и сообщила, что Забродин опасно заболел. Простудился, возвращаясь домой пешком: трамвай уже не ходили.

К нему стали ездить по очереди в больницу, потом — домой, говорили: выжил, поправляется.

Ни с того ни с сего потянуло и меня поехать, потянуло неодолимо. Перепугавшись сначала, я стал логически рассуждать и пришел к выводу: мне просто необходимо поставить точку в моих предположениях...

Поехали мы к Забродину троим: я, Лев Печениц и Лиля Кузьмина, крайне удивленная моим настойчивым желанием повестить большого.

Долго тряслись в трамвае в сторону Замостья (район города паподобие «нахаловок», «захламовок» и пр.). Трамвай раскачивался и скрипел, маршрут длиннющий, колесит по окраинам, рельсы кривые, вагоны на них болтают, как связанные вместе лодки на волнах; названия остановок одно нелепее другого: «Косой спуск», «Кладбищенская», «Порт-Артур». Сугробы — до самых окон.

— Скоро выходим, — думая о чем-то своем, сказала Лиля. Попетляв между старенькими одноэтажными домами, уперлись в длинный барак.

Когда мы вошли, Забродин лежал на раскладушке и читал потрепанный, дореволюционного издания томик Ницше. В комнате стоял больничный дух и было слегка пакурено.

— Ой, кто пришел, кто пришел! — Обрадованный Забродин повыше приподнялся на подушке. — Ну, раздевайтесь, раздевайтесь да присаживайтесь кто куда. А это еще зачем? — указал он на батарею банок и коробок, которая сооружалась нами на столе. — Ну и ну — на целый полк!

— Бледный ты, жуть, — с нескрываемой тревогой и печалью в голосе сказала Лиля Кузьмина.

Внутри у меня шевельнулось что-то похожее на ревность.

— Тебе сейчас надо побольше калорий и поменьше всякой отравы, — усмеялся Печениц, кивая на истрепанный до предела томик.

— Ах, Лев, — улыбулся Забродин, — да я уж как огурчик. А это... читаю, чтобы знать. Он ведь когда-то владел умами. Знать и не отпосыться к нему так: это, мол, бяка, в ротик брать нельзя, лучше уж махиной кашки...

«Владел умами», — усмеялся я в душе. — Какого черта он все же корчит из себя? А живет-то! Рахметов прямо...

— Ну, рассказывайте, что нового? — спрашивал между тем Забродин, переводя взгляд с одного на другого.

Лилия Кузьмина взяла инициативу на себя и стала выкладывать все, что знала сама, что слышала от других: что машина прошла предварительные испытания, что...

Я отошел к стеллажам с книгами и стал читать надписи на корешках. Три стеллажа — от пола до потолка — были забиты технической литературой, книгами по искусству и поэтическими сборниками. Но больше всего было книг по истории и философии. Добрую половину одного стеллажа занимали старые томики Лейбни. Они же лежали и на письменном столе, и на подоконнике. Везде закладки, на открытых страницах подчеркнуты и обведены абзацы, на полях вопросительные и восклицательные знаки...

На письменном столе лежала стопка общих тетрадей. Ворсато глянув на говорящих и сознавая, что наконец-то я имею возможность заглянуть в самую сущность Забродина, и приоткрыл верхнюю тетрадь и прочитал: «Социология. Заметки, размышления». Я снова окинул взглядом стеллажи, и мне показалось, что книги насмешливо щерятся тишецами на корешках, будто не буквы там, а серебряные и золотые зубы.

Я отошел в дальний угол, падел боксерскую перчатку и стукнул по висевшей здесь кожаной груше.

— Это я разминаюсь, когда устаю, — обернулся Забродин.

— Слушай, почему ты стал инженером, если не секрет? — спросил я и снова стукнул по груше.

— Какой же секрет? — удивился Забродин. — Мне нравится моя специальность. А почему ты спрашиваешь?

— Да я вот смотрел твою библиотеку...

— А-а, — протянул он. — Знаешь, Савик, разговор серьезный, давай как-нибудь в другой раз, идет?

— Ну а все-таки? — настаивал я.

— Видишь ли, — задумчиво произнес Забродин, — если я тебе скажу, что должен досконально знать ту идею, ради которой тружусь, что не хочу бессмысленно толочься на этой земле, так ведь ты мне не поверишь.

— И охота тебе?.. — Я лениво бомбардировал грушу. — Мне, например, и в институте-то к семпарам готовиться было...

— Представь, мне — тоже, — усмехнулся Забродин. — Тут, наверно, как с Пушкиным... В школе нам столь усиленно его вдалбливали, что падолго отбили охоту читать его.

Я недавно открыл томик — мать честная! Зачитался. Так и тут... Вот если бы ты читал, к примеру, Ленина не в порядке подготовки к семинару, а так, для себя, для души, то встретил бы у него и такое: «Скентинцизм... прикрывает обычно отсутствие серьезного размышления о предмете». Не в бровь, а в глаз ведь, а? — И они переглянулись с Лилей.

— Что ж, — сказал я, — да, я скептик. Но ведь я им не родился, меня им сделало время. Помнишь: «Двадцатый век нас часто одурачивал, нас ложью, как палогом, облагали, идеп с быстротою одуванчиков от дуновенья жизни облетали...» Я сын, так сказать, своего времени.

— А знаешь, сыновья бывают разные, бывают, например, блудные... Ты, наверное, думаешь, что понял соль жизни, что другие не знают жизни, пребывают в счастливом восторженном детстве. А познают — увидим, мол, как запоют. Ерунда! Мне, например, всякого пришлось хлебнуть... И скентинцизмом я переболел, и пессимизмом. Но после того как побывал в Ленинграде... — Забродин помолчал с минуту. — У меня там, понимаешь, отец на Пискаревском кладбище... Как сейчас вижу: необъятное поле, и по всему полю большие холмы правильной формы. А под каждым таким холмом — сотни, тысячи людей. Тысячи миров... в земле. Над ними — траурная музыка без перерыва... Тогда мела поземка, мела и мела, и эта музыка... Я не из слабонервных, но веришь... меня затрясло...

— Эмоции, друг мой, эмоции, — вставил я.

— И после этого я набросился на книги по истории, по философии и политэкономии, — продолжал Забродин, как бы пропустив мимо ушей мое замечание. — И постепенно пришел к выводу, понимаешь — сам! — пришел к выводу, что из всех идей, которые когда-либо рождало человечество, коммунизм — прекраснейшая. И это, Савик, не эмоции. Прежде чем прийти к такому выводу, я перемолол вот здесь, — он постучал согнутым пальцем по виску, — много всякой всячины...

— Да не об идее разговор! — поморщился я. — Идея — да. Но все дело в людях, которые несут эту идею в массы, практически осуществляют ее. Пусть она и прекраснейшая, но если носителями ее окажутся недостойные...

— А ты зачем? — спросил Забродин. — Ты ведь образованный человек, интеллигент, цвет нации! Так почему же ты отсиживаешься в кустах? Если ты в душе согласен, что идея прекрасная, так становись носителем ее! Дерись за ее чистоту, проводи ее в жизнь! Так нет же, ты чего-то ждешь...

А ждешь, очевидно, сам не отдавая в том отчета, какого-то героя... Вот, мол, он придет и разовьет идею дальше, укажет, осветит, поведет. Мы все! — Забродни принодился от подушки и сделал своими длинными руками охватывающий жест. — Мы все — ты, я, она — должны двигать идею, двигать себя и своих ближних вперед. Пора героев прошла, поими. Теперь герой — это коллективный разум, общественное мнение. Да, в истории еще не было такого, да, да, да. Но ведь и никогда не было такого образованного общества! Ты посмотри: на заводе инженеров подчас больше, чем рабочих. Было такое? Но было такое!.. Поэтому ждать героя — идиотизм. Ты должен чувствовать всеми своими порухами, что именно твоя задача — развивать и претворять идею в жизнь, именно твоя! Подумай, сколько их осталось, тех, что прошли закалку в войнах и революциях, опытных, преданных делу? Единицы. А мы... Толку-то от нашего проинического всепонимания и скептического всеосуждения! — Забродни внезапно смолк, он явно устал, руки у него подрагивали.

— Копчайте-ка, умники! — Лиля ожгла меня сердитым взглядом.

— Интересно бы услышать, — упрямо продолжал я, — как на практике осуществить это «мы должны»?..

— На практике? Да пачли хотя бы с комсомольской жизни в отделе — почему в стороне? Ты, может быть, думаешь — мелочи. Нет, дорогой, в этом деле мелочей нет...

Тут Лиля ловко перевела разговор па что-то непачптельное. Забродни, слушая, засмотрелся на нее, потом потянулся под одеялом и мечтательно сказал:

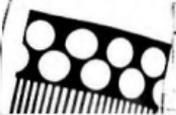
— Эх, скорей бы лето, падосла чертова зима... На яхтах походим. Лиля, помпшь?.. «Из бухты Баракты отчалили яхты...»

— Да, — ответила Лиля, — помпю.

«Ого, — едва справляясь с подступающей горечью, подумал я, — у них уже есть что вспомнить...»

Поболтав еще минут десять о том о сем и пожелав хозяйцу скорого выздоровления, мы отклапаялись.

И снова трамвай качался, скрипел и готов был развалиться, как мое спокойствие. Я остро завидовал себе самому во времена недавние. Как было славно! Работа, хобби, репутация эрудита и остряка, рядом — Лилечка, в ее глазах готовность смеяться над моими хохмами... Что ей теперь до меня? Втюрилась — это ясно. А ведь два года пзо дня в день была рядом, а я — все хохмочка, все шуточки... «Я проиграл свою



корриду, прощай, Кармен...» — вспомнились мне строчки из стихов Льва Печенина. И уютно стало на земле, одиноко, тоскливо. «Уйду,— решил я,— уйду к дьяволу с этого завода!»

С тех пор минуло семь лет. И вот по всему нашему проектному институту, по всем руководящим старикам прошло беспокойство. Причина беспокойства — новый секретарь райкома партии. Он еще не появлялся здесь ни разу, а от него, как от эпицентра, прошла зыбь, и заколебалась почва под ногами у многих.

— Говорят, опытный инженер... вы понимаете? — многозначительно сказал недавно наш директор главному инженеру.

«Понимаем,— не без злорадства подумал я, случайно подслушав разговор.— Уж он-то обязательно заглянет в институт и пойдет по каждому отделу, подойдет к каждому рабочему месту, спросит: «Ну а вы над чем трудитесь?..» Подойдет... Да, но и к моему кульману он подойдет...»

И я стал ловить себя на том, что и меня, как ни странно, тоже охватывает непонятное беспокойство, и чем дальше, тем больше. А любое беспокойство, любое нарушение равновесия для меня пох острый. Я их органически, можно сказать, не перевариваю, эти беспокойства, эти неуравновешенные состояния... А тогда, на заводе, Забродин именно то и сделал, что нарушил мое душевное равновесие. Ведь до его прихода в отдел я чувствовал себя прекрасно, чувствовал, что живу как все, и люди вокруг меня как все. И вдруг появился этакий герой. Естественно с моей стороны было усомниться в его геройстве, в его идейности. И я сделал все, чтобы развенчать Забродина. И что же в результате? А в результате он посадил меня в лужу. Равновесие мое было нарушено настолько, что я больше не мог там оставаться. И я уволился с завода.

Устроившись сюда, в институт, я постепенно успокоился, почувствовал, что снова обрел свое место, что люди здесь как люди и я опять — как все. Более того, здесь я еще основательнее укрепился в своих взглядах — живи себе, работай в меру сил, создавай материальные блага, по при этом не принимай близко к сердцу всяческие передряги, относись к ним с юмором, сохраняй бодрость духа, береги свое здоровье. Ибо оттого, что будешь размышлять о судьбах человечества и мучиться от несовершенства мира, ни тебе, ни другому

пользы никакой. Таково примерно было мое, так сказать, credo, и тут, в институте, в этом смысле я чувствовал себя как рыба в воде.

Сказать, что я вовсе не вспоминал о Забродине, было бы неправдой. Вспоминал, конечно, но вспоминал как о какой-то аномалии, о каком-то донкихотствующем по молодости лет деятеле, которому жизнь конечно же обломает рога, если уже не обломала...

И вот — слухи о новом секретаре райкома... Дескать, во все вникает сам, дескать, «лезет в душу», «нажимает на совесть» и так далее. И я сразу же подумал, что это не какой-нибудь другой Забродин, однофамилец, а именно тот самый, это его «почерк»...

«Неужели жизнь таки не обломала его? — озадаченно думал я. — Неужели все тот же?.. А если все тот же, — размышляя я далее, — то покоя не жди. Перетрясет все и здесь, в институте, как перетрясет тогда на заводе. «Абсолютно бесполезная организация! — скажет. — Тунеядцы!..» Нет, не стану я дожидаться этого! — решил я. — Не буду ждать, когда он появится возле моего кульмана и «полезет в душу», начнет меня позорить. «Не стыдно, — скажет, — деньги получать?» Он может такие вопросы задавать, это в его духе. Так вот не бывать этому позору, я сам пойду к нему в райком, сам! И выложу все как есть: мол, так и так, считай, что поступил «сигнал от трудящихся». Пусть потрошит наших стариков, — не без злорадства думал я. — Пусть устроит им аутодафе. Им и этим дамам, сидящим на окладе...»

Однако, когда я оказался у здания райкома, меня начали одолевать сомнения. Я представил, как наши будут смотреть на меня после «этого» и как я сам буду себя чувствовать среди них; как начнут говорить обо мне у меня за спиной, показывать на меня глазами, умолкать при моем появлении. Вот уж, мол, от кого не ожидали, думал: славный парень, весельчак, эрудит, гадали, на ком бы мог жопиться, а он, оказывается... Представил я себе все это и замедлил шаг, а потом и вовсе повернул обратно. И тут же появились мысли, оправдывающие мою перешительность. «Да, может, еще ничего и не будет, — думал я. — Мало ли у него других дел! Почему он станет заниматься непременно по нашим институтам? Да если и займется — мне-то какое дело? Я-то тут при чем, что наши мажораны нигде не работают! Я человек маленький, мне что скажут, то и делаю...»

«Интересно ты рассуждаешь! — возражал во мне другой голос, как бы уже забродинский. — Мол, я не я и хата не

моя. Нет, ты простачком не прикидывайся! Все ты знаешь, все понимаешь. И не изображай из себя «маленького человечка», такую козявку! Меня не проведешь. Я спрошу тебя о самом главном, за самое большое зацеплю. «Совесту у тебя есть?» — спрошу».

Несколько дней провел я вот в таких сопеннях, во вьедливых самоанализах и спорах с собой. Дошло до того, что ночами стал плохо спать. А будучи в списке назначенных на завтра к нему на прием, вообще не сомкнул глаз. Ходил по компате, курил, машинально включал и выключал магнитофон, перебирал зачем-то кипы сатирических журналов на полках...

Сказав начальнику, что иду в техническую библиотеку, к назначенному часу отправился в райком. Сидел в просторной приемной и разглядывал озабоченную секретаршу у столика с телефонами, посетителей, выходящих из кабинета. Они выходили оттуда то красно-распаренные, то взбешенно-бледные, то просто довольные, то как импещинпки.

«Не дрейфь, не дрейфь, — твердил я себе. — Безобразия есть безобразия, о них надо говорить. «Поступил сигнал от трудящихся». Правда на твоей стороне...»

Секретарша назвала мою фамилию и указала на дверь.

Ладони у меня вспотели, а в коленках была противная слабость.

Он поднялся мне навстречу, человек, в присутствии которого меня всякий раз охватывала какая-то сосущая тревога, человек, увидевший некогда Лилю, единственную женщину, которую я ну не то чтобы любил, а мог, паверное, полюбить.

— А-а, — сказал он, — Савик. Ну проходи, садись...

Был он все тот же. Высокий, долгоногий, подвижный, те же короткие темные волосы, те же смоляные брови, только на висках побелело да у глаз появились морщины.

Разговорились, вспомнили завод. Рита Шляхман, оказывается, возглавила заводское бюро социологических исследований; Лев Печенин готовит к печати свой сборник стихов; Василь Петрович недавно отпраздновал пышную свадьбу во время городского слета туристов. Гена Гулин? А он, представляешь, перенес свое увлечение математикой на автоматические системы управления...

Тут Забродин оживился, стал рассказывать, как размахнулись они там, на заводе, как комитет комсомола взял на себя внедрение АСУП, как было нелегко это: попробуй преодолей инерцию, сломай рутину!..

— Но в основных цехах впедрили-таки, — не без гордости сказал Забродин. — А сейчас вот думаю использовать опыт нашего завода здесь, в масштабах всего района. Представляешь, какой экономический эффект бы это дало! — Он прошелся по кабинету взад и вперед, и я успел заметить, что костюм на нем по-прежнему болтается, хотя и добротный. — Во-первых, с помощью АСУП мы бы наладили наконец оперативное планирование, навсегда покончили бы со штурмовщиной, а во-вторых...

Я слушал его и думал: этот человек говорит вроде бы то же самое, что и секретарь нашего институтского парткома. Но если для нашего секретаря подобные громкие слова — одно, а дела — совсем-совсем другое, то этот, пожалуй, разобьется в доску, чтобы осуществить свои идеи...

Как бы спохватившись, он стал расспрашивать, как я живу и где живу, не женился ли...

— Дали комнату в общежитии, — сказал я. — Нет, не женился, но если захочу — дело нехитрое. А у тебя?

— Да мы с Лилей тоже недавно получили квартиру...

— Это Кузьмина, что ли? — небрежно спросил я.

— Бывшая, — улыбнулся он. — У нас же, Савик, сын растет. Олечка.

— Что ж, поздравляю... — сказал я, принужденно растягивая губы в улыбке.

В общем, продолжали мы в таком духе, и я все ждал, когда он начнет расспрашивать про институт. Но он почему-то не расспрашивал, и тогда я сам стал наводить разговор на эту тему. Забродин посерьезнел, начал слушать внимательно, сосредоточенно, я же говорил и чувствовал, как зажгло уши, как жар подступил к голове. Выражался едко, пронцино (чего жалеть прохвостов!), гвоздил наших руководящих стариков, наши порядки почему зря: столько денег тратится на ветер! Ведь до сих пор ни одна сконструированная институтом машина нигде не работает, а между тем уже несколько человек защитили диссертации, получают ого какие оклады! Есть в институте две лодки с моторами, так, представь себе, годами лежат эти лодки на дачах у главного инженера и председателя месткома. Сколько людей за это время смогло бы провести свой отдых на воде!.. На работу принимали своих родственниц, которые в машиностроении ни бум-бум, а оклады получают дай бог!..

— Здорово ты их, — задумчиво произнес Забродин, дослушав до конца. — Прямо под орех!..

«По-твоему, по-забродницки!» — чуть было не вырвалось у меня, но тут же я сообразил, что это была бы явная лесть.

— Сигнал от трудящихся... — потупившись, сказал я.

— Только представь, Савик, — тяжело и устало вздохнул Забродни, — что все это я уже знаю. Ты — четвертый, кто рассказывает о ваших институтских делах. И, знаешь, почти с такой же прощней. Все-то вы видите, знаете и понимаете, умные вы парни. Только почему же вы молчали-то до сих пор? — И вдруг, к моему полному смятению, он возил в меня взгляд своих беспощадных глаз и суровым строгим тоном продолжал: — Почему ты молчал целых семь лет, видя эти безобразия, понимая, что так не должно быть? Почему ждал карающей руки, когда сами вы — такая сила? Хорошо, я смогу разобраться: я инженер. Ну а если бы кто другой? Так бы и носили в себе? Копили желчь, шептались по углам, прописывали? И, что самое гнусное, получали бы зарплату, и немалую! Да когда же, черт вас возьми, вы о государстве думать станете, а не только о себе? Ой-ой-ой, — он сжал виски ладонями и прикрыл глаза.

— Но... где бы я что сказал, интересно? — из последних сил сдерживая подступающую панику в мыслях, пробормотал я. — Из комсомола я уже выбыл...

— В партию не вступил... — продолжал Забродни.

— Ну не вступил...

— Совсем заржавел ты, Савик!.. Сдирай ты с себя эту заскорузлость, сдирай! И дерись, бейся, черт побери, с недостатками, коль их видишь! Только тогда и почувствуешь, что живешь. Только тогда! А сейчас тебе только кажется, что живешь. Залез, понимаешь, в скорлупу и... Я бы задохнулся, честное слово!

Он внезапно умолк, уставившись в угол. Молчал и я. Меня охватило какое-то странное bestолковое оцепенение...

— В общем, вот что мы решим, — заговорил он снова. — Там у вас профсоюзное собрание скоро должно состояться — я надеюсь, ты член профсоюза? — так вот, подготовьтесь с парнями и поднимите наиболее важные вопросы, шарахните, певзирая на лица, принципиально, честно! Не только с критикой, но и с самокритикой! Договорились?

— Хорошо.

«Не будет больше покоя в институте, — думал я по пути к себе на работу. — Не будет больше покоя... Никогда мне не будет теперь покоя...»

# Юрий Максимов

Виноград  
на красной  
скамейки

Иван Петрович вернулся из поездки на кладбище, где три года назад схоронил жену, и прилег отдохнуть в своей комнате на диване. За окном сгустились ранние зимние сумерки, в бледном свете неоновой вывески весело порхали снежинки, а Иван Петрович лежал и думал о том, что и его жизнь, по всей вероятности, подходит к концу. Постоянная, все возрастающая слабость подсказывала ему эти мысли, слабость, от которой он чувствовал себя униженно и беспомощно.

— На леченой кобыле далеко не уедешь, — пробормотал он, — шестьдесят два оттопал, и за то спасибо.

Как и обычно, к перемене погоды у него ломило все тело, кололо грудь. Сердце время от времени замирало, и тогда наступала короткая пронзительная тишина в груди. Когда она пришла, старость?

Иван Петрович сделал глубокий вдох, приподнялся, чтобы поправить подушку, и в образовавшуюся щель просунулась голова соседки Клавдии, особы еще молодой, энергичной, но уже набравшей такой вес, который женщины носят или с юмором, или со слезами.

— Дядь Вань, вы же опоздаете...

— Куда опоздаю?

— Как куда!

Соседка распахнула дверь и всплеснула руками. Взгляд ее беспокойных глаз выражал недоумение и обиду:

— Сегодня же в магазине продукты для ветеранов дают.

Иван Петрович немного подумал, пожал плечами:

— Мпо, кажется, и не пужно ничего.

— Как это не нужно? А праздник? У вас и холодильник одни щи стоят.— Она умоляюще сложила руки и неподдельно заволновалась.— Вам не нужно, мне бы помог-ли. У меня семья, сын растет... Праздники на посу.

Иван Петрович дотянулся до стула, подвинул его к себе и сулил руку во внутренний карман висящего на спинке пиджака.

— Слушай, Клавдия... Возьми мое удостоверение и талон. Тебе поверят.

— Пусть попробуют не поверить,— заулыбалась Клавдия.

Сегодня, в третью Катину годовщину, еще с утра Иван Петрович сделал в комнате влажную уборку, вымыл посуду, протер тряпочкой старенькую горку с облупившимся лаком и фотографию Екатерины Семеновны, висящую на стене в золотистой рамке. Ивану Петровичу казалось, что после смерти жены вся небогатая обстановка их тринадцатиметровой комнаты — и платяной шкаф, и горка, и круглый стол на толстых ножках — так же осиротели и постарели, как и он сам, и выглядели сейчас уныло и убого. Когда-то они всей семьей мечтали об однокомнатной отдельной квартирке, долго стояли на очереди, но единственная дочка, имевшая характер прямой и своенравный и не ладившая ни с какими соседями, ждать этого светлого дня не захотела, выскочила совсем еще молоденькой замуж и, выписавшись с жилплощади, лишила своих родителей реальных шансов на блиский и такой желанный блочно-панельный рай. А оставшись один, Иван Петрович и думать забыл об этой несбывшейся мечте.

Когда вернулась Клавдия и торжественно вручила ему батон финского сервелата, Иван Петрович поднялся, застелил стол белой скатертью и достал две рюмки. Сел за стол, налил доверху обе рюмки и задумался. В тишине звонко и четко тикал будильник, словно напоминая, что придет конец и этому дню — почти незаметной, но узаконенной календарем частичке между былым и будущим...

По серебристому экрану под волнующие звуки симфонической музыки поплыли красивые белые буквы: «Встреча с художником. В гостях у заслуженного деятеля искусств...»

Фамилия художника так и не дошла до сознания Ивана Петровича. В другое время он бы скорее всего даже переключил телевизор на другую программу, потому что ничего для себя интересного в подобных передачах не нахо-

дил. Ему нравились «Клуб фронтовых друзей», «Сельский час», программа «Время», он любил смотреть старые фильмы по четвертой, а теперь второй программе. Зритель он был доброжелательный и отзывчивый и порой по ходу фильма не удерживался, чтобы не одобрить вслух:

— Жизненно!

На экране тем временем появилась большая светлая комната, где на диванчике с овальной спинкой и мягкими подушками сидели седовласый человек с худощавым благородным лицом и молодая, очень привлекательная женщина в строгом черном костюме. За их спинами виднелись белый рояль и окно, выходящее в сад с заснеженными деревьями. Стены комнаты были увешаны картинами настолько плотно, что Иван Петрович, обратив на это внимание, удивленно присвистнул. «Сам небось рисовал», — подумал он с уважением.

Камера приблизила пару, сидящую на диванчике, и Иван Петрович увидел, что седовласый мужчина уже старик, может быть, даже старше его самого, и что девушка действительно по-настоящему хороша. «Надо же, какие бывают», — добродушно подумал он, испытывая при этом печальную радость.

Девушка, то обращаясь с улыбкой к телезрителям, то глядя на старика с нескрываемым восхищением, сказала хорошо поставленным, приятным голосом:

— Прежде всего, уважаемый Семен Георгиевич, позвольте от имени почитателей вашего таланта, от имени многотысячной армии любителей изобразительного искусства поздравить вас с восьмидесятилетием и пожелать вам всего самого-самого доброго...

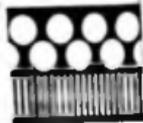
— Спасибо, большое спасибо, — раздался в ответ густой, немного дрожащий баритон.

Иван Петрович даже привстал со своего стула:

— Восемьдесят лет!

Лицо художника показали крупным планом, и Иван Петрович убедился, что перед ним действительно старик, но такой, с какими ему никогда не приходилось сталкиваться. Ивану Петровичу никак не удавалось подобрать определение тому, какой это был старик. Его словарный запас истощился на слове «гладикий», но это слово не выражало полностью впечатления. «Грива-то какал — прямо львиная, — сдаваясь, подумал Иван Петрович. — И глядит бойко, смело».

— Самый первый вопрос к вам, Семен Георгиевич, — продолжала девушка, — как вы себя чувствуете?



Семен Георгиевич проницательно улыбнулся и благосклонно поглядел на девушку:

— Да-да... Какой же еще самый первый вопрос можно задать такому старику, как я? Не правда ли?

Она протестующе взмахнула ручками, но Семен Георгиевич плавным, спокойным жестом утишил ее:

— Чувствую я себя неплохо, насколько это возможно в моем возрасте. Должен заметить, что в здоровом теле не только здоровый дух, но и необходимая для творчества работоспособность. Поэтому уже с давних пор я руководствуюсь правилом не позволять себе ничего, мешающего работать. Необходимая доза физического труда и режим, строжайший режим.

«Молодец старик, — Иван Петрович одобрительно кивнул головой. — Не то что некоторые юнии вроде меня».

Во время короткого ответа художника лицо девушки имело строгое и уважительное выражение, которое вновь сменилось очаровательной улыбкой:

— А теперь, Семен Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о вашей жизни, о вашем творческом пути. Гёте говорил: тот, кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта. Перефразируя слова великого мыслителя, можно сказать: кто хочет лучше понять художника, должен как можно больше узнать о его жизни, проникнуть в его творческую лабораторию, ощутить источник вдохновения мастера.

Девушка сделала маленькую паузу, и тут же в нее вошел Семен Георгиевич:

— Да, Гёте! — Он красиво развел руками, демонстрируя одновременно и преклонение перед Гёте, и уважение к телезрителям, и покорность хорошепской жепцине. — Я родился в Москве, в семье врача, так что из коренных москвичей я, пожалуй, один из самых древних. Уже с пяти лет родители стали учить меня музыке, и надо сказать, я очень увлекся этим прекрасным искусством. К пятнадцати годам уже спосно играл на рояле и даже мечтал поступить в консерваторию. Но тут случилась одна маленькая история, которая тем не менее перевернула всю мою жизнь. Дело в том, что как раз в это время родители подарили мне на день рождения масляные краски, и страсть к живописи овладела мной в такой степени, что я целыми днями, с утра до вечера, стал пропадать с этюдником в окрестностях нашей дачи: у маленького сонного озерца, на опушке бере-

завой рощи, в жарком поле, пестреющем голубыми васильками...

Иван Петрович слушал уже с неподдельным интересом, кратко комментировал про себя рассказал художника и производил в уме несложные вычисления: «Оп, выходит, второго года. Значит, пятнадцать лет ему как раз в семнадцатом исполнилось. Революция как раз...»

— Я решил бросить музыку, — продолжал Семен Георгиевич, — и посвятить свою жизнь живописи. В тысяча девятьсот двадцатом году на базе Государственных свободных художественных мастерских был создан знаменитый впоследствии ВХУТЕМАС, и я поступил туда, горя желанием создавать новое искусство.

Тут художник стал говорить о совершенно непонятных для Ивана Петровича вещах: о светотени и поисках формы, о кубизме и конструктивизме, о колористическом решении композиции и о философских глубинах образного мышления.

Внимание Ивана Петровича постепенно ослабло, и он отвлекся к своим заботам: «Хорошо бы памятник поставить... Дочка-то, видно, зря пообещала. И с Клавдией посоветоваться надо, что-то она там про цену говорила. Не помню... Астрономия какая-то...»

Семен Георгиевич между тем взял с маленького круглого столпика стакан с водой, сделал два неторопливых глотка и продолжил рассказ:

— В тысяча девятьсот двадцать восьмом году я уехал в творческую командировку сначала в Рим, потом в Венецию. Уверю вас, тогда не так просто было добиться этого, но я проявил максимум настойчивости. Я просто бредил тогда итальянским Возрождением, а увидев в Венеции фрески Веронезе, был буквально потрясен этим художником. Такая широта охвата, такая цветовая гамма, такая пластичность доступны только подлинному гению.

Художник провел рукой по волосам, задумался, склонил голову.

— Вернулся я в Москву в тридцать четвертом году, а в тридцать пятом снова уехал в командировку, на этот раз в Париж, и пробыл там до тридцать девятого года...

«Одиннадцать лет за границей... Ну и командировки!»

Он встал, подошел к окну и, подняв лицо к проткрытой форточке, втянул в себя морозный воздух. Ему было душно. Хотелось лечь, но он упрямылся и только потирал рукой

грудь. «А у нас-то... Годы-то какие были. Неужели он ничего не видел?»

Тем временем художник заговорил о Шагале и еще о ком-то, кого называл мэтром, а Иван Петрович, не зная ни того, ни другого, перестал слушать и принялся мечтать о том, что вот хорошо бы заняться обменом и съехаться с дочерью.

От этих мыслей он совсем загрустил, а когда вернулся к столу и снова взглянул на телекартинку, там было все по-прежнему. Художник говорил не торопясь, проникновенно, иногда помогая себе красивыми жестами рук, а журналистка внимательно слушала и с изумительной точностью, в пухлом месте рассказа, то кивала аккуратной головкой, то улыбалась, то с удивлением выгибала брови.

— Через полтора года после моего возвращения в Москву, — говорил художник, — началась война, и я эвакуировался в Среднюю Азию. Трудное было время! Сразу по приезде я с головой окунулся в творческую работу и работал, работал, не щадя сил...

Услышав это, Иван Петрович помрачнел и за-под густых бровей посмотрел на художника уже далеко не с такой приятной, как раньше. «Чего ж это он в Азию рванул? Хотя, может, с заводом послали? Да нет, заводы, те за Волгой да на Урале были. Поработал бы он на заводе — не сидел бы сейчас таким... гладким».

— Кроме того, я занимался педагогической деятельностью, — продолжал художник, — и, хотя не имел в ней особых навыков, быстро освоился с новым для меня делом...

Семен Георгиевич увлекся. Он рассказывал о желтых песках и величественных минаретах, о взаимоотношениях великих культур, о творческой исповеди мастера и о сложности оценки произведений искусства. В самом эмоциональном месте своего рассказа он неожиданно заппулся, что-то в волнении вспомнил и, видимо, так и не вспомнив, бросил загадочную и несколько непоследовательную фразу:

— Нельзя требовать от одного инструмента звучания целого оркестра.

После этого старый художник посмотрел на девушку, как бы прося о помощи, и эта помощь пришла, ненавязчивая и вежливая, сопровождаемая заботливым интересом:

— Семен Георгиевич, в начале сорок третьего года в Ташкенте открылась персональная выставка ваших акварелей. На выставке зритель впервые увидел ваши произведения, созданные в Средней Азии, и среди них такие извест-

ные теперь работы, как «Виноград на красной скатерти», «В сумерках», «Солнечный базар». Пожалуйста, несколько слов об этой выставке.

Трудно сказать, что произошло вдруг с Иваном Петровичем, — он и сам не мог до конца в этом разобраться. Что-то подступило под сердце, глаза застлала мутная пелена, и лицо как будто обдало жаром.

— Виноград на красной скатерти, — повторял он, — виноград на красной скатерти.

Что-то перевернулось в сознании Ивана Петровича. Как ни старался он настроить себя на свой всегдашний лад, старого, много повидавшего и умудренного человека, у него ничего не получалось. Суровый лозунг военных лет «Все для фронта — все для победы!» он привык понимать буквально и не желал понимать никак иначе. Печь хлеб, делать гвозди, штопать одежду, писать книги, рисовать, наконец. Но что? Дистанция между акварельным натюрмортом и этим лозунгом оказалась для Ивана Петровича непосильной. Он вдруг почувствовал себя тем самым деревенским увальнем, каким впервые приехал в Москву из глухой смоленской деревни.

— Виноград на красной скатерти! В войну, в сорок третьем!

Война ассоциировалась у Ивана Петровича с чем угодно, только не с виноградом на красной скатерти. Он помнил изматые фронтовые газеты, помнил несатейливые, но близкие любому солдату рисунки и особенно карикатуры на проткнутого красноармейским штыком, отвратительного и смешного человечка с кривой челкой и узкими усиками под носом, дрыгающего в воздухе научными ножками. Все это было понятным и пугающим, оно полноправным ручьем вливалось в то море, которое Иван Петрович считал жизнью. Но, оказывается, было и что-то другое, даже тогда, далекое и непохожее, была другая жизнь, какая — Иван Петрович не знал, но он знал теперь, что в той жизни был виноград, который не только можно было есть, но и, насытившись, положить на красную скатерть и срисовать для грядущих поколений.

«Почему виноград, почему красная скатерть? Зачем?» — спрашивал он себя.

— В искусстве нет легких путей... — услышал он голос художника.

Иван Петрович тяжело поднялся, сдернул с кровати верхнее покрывало и стал расстегивать рубашку. Усталость

давала о себе знать, хотелось прилечь. Он снял брюки, потом долго возился с широкими черными ремнями, охватывающими его бедро и живот. Наконец он положил протез рядом с кроватью и осторожно лег на спину.

Теперь Иван Петрович не видел телевизора. Он смотрел в потолок, но ясно представлял себе и увешанные картинами стены, и белый рояль посреди комнаты, и заснеженные деревья за окном. Встречи с людьми, что дарила ему жизнь, включая и те подарки, от которых он с удовольствием бы отказался, обогащали его каждая по-своему и никогда не выходили за пределы естественного, хотя порой и трудного хода вещей. Он знал, что люди бывают добрые и злые, честные и лживые, богатые и бедные, знаменитые и безвестные, но теперь ему неожиданно показалось, что, даже продолжая этот перечень до бесконечности, он ни на йоту не приблизится к пониманию того, что лишь мельком блеснуло в его сознании. Он скорее почувствовал, чем осознал, что есть нечто другое, не имеющее к нему и к таким, как он, никакого отношения, живущее по своим законам и не соприкасающееся с ним никакими гранями. Нечто в себе и для себя, нечто вроде бы близкое и одновременно бесконечно далекое, бессловесное до тех пор, пока не найдет дужным заявить о себе в полный голос. Он вспомнил, что в одной из теленедельных рассказывалось о каких-то таинственных частичках, которые пронизывают пространство и саму Землю, о существовании которых человечество долгие века даже не подозревало. Выступающий перед телезрителями художник и показался Ивану Петровичу такой частичкой, какую он лишь случайно обнаружил на седьмом десятке лет своей жизни.

— После войны, — слышал Иван Петрович голос художника, — я много путешествовал. Был в Индии и в Китае, в Америке и на Ближнем Востоке, в Африке и в Австралии. Отовсюду я привозил новые впечатления, замыслы, зарисовки. Но главной и непреходящей любовью для меня была и остается Италия и Мекка искусства — Венеция. Признаться, Венеция мне иногда даже снится...

— Время нашей передачи подходит к концу, Семел Георгиевич. В заключение скажите, пожалуйста, о вашем понимании смысла творчества. Иначе говоря, ваше творческое кредо?

Семел Георгиевич понимающе улыбнулся, закинул ногу на ногу.

— Меня много упрекали в разные годы, — ответил он, —

и в формализме, и в субъективизме, и в неумении реалистично изображать натуру, и еще бог знает в каких грехах. Но я всегда твердо знал, что нет ничего выше, чем служение красоте, которая всегда была для меня не просто эстетической категорией, но, если хотите, образом моей жизни... Да... Поэтому я всегда оставлял за собой право на собственную песню.

Передача закончилась, Иван Петрович лежал на спине, скрестив на груди руки, стараясь обдумать последнюю фразу художника.

— Право на собственную песню, — повторил он. — А у меня было такое право? Или я шел по обязанности, что вели?

Он лежал и мучился этим вопросом, словно не было для него сейчас ничего важнее.

Право, обязанность...

Он вспомнил деревню, низкий дом у крутого спуска, детство свое, умерших от тифа родителей. Вспомнил московскую заводскую окраину и подвал, где висели на веревках одеяла, разделяя поселившиеся там семьи. Вспомнил завод и молодость, и войну вспомнил, погибших товарищей, и слова командира перед последним своим боем...

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Даниил Гранин. «Еще заметен след...»</i>	5
<i>Янка Брыль. «Сергей»</i>	81
<i>Сергей Есин. «В рабочем порядке»</i>	87
<i>Нодар Думбладзе. Таллико</i>	122
<i>Кирилл Столяров. «Федор Терентьевич»</i>	130
<i>Пауль Куусберг. «Борода»</i>	152
<i>Владимир Насущенко. «Белый свет»</i>	177
<i>Эдвин Нуриджанов. «Пандухт»</i>	192
<i>Владимир Мушин. «Доктор Мякши»</i>	209
<i>Ануар Алимжанов. «Сны детства»</i>	247
<i>Борис Шишов. «Заступники»</i>	258
<i>Хазрет Ашинов. «Возвращение»</i>	281
<i>Леонид Косоулин. «Андриан и Кешка»</i>	291
<i>Рустем Кутуй. «Про любовь»</i>	325
<i>Юрий Черняков. «Бригада»</i>	335
<i>Владимир Гусев. «Вратарь»</i>	381
<i>Олесь Гончар. «Народный артист»</i>	410
<i>Виктор Астафьев. «Медвежья кровь»</i>	423
<i>Ярослав Шипов. «Инспектор»</i>	443
<i>Нон Друцэ. «Стихи о любви»</i>	462
<i>Всислави Каврин. «Летающий почерк»</i>	471
<i>Анатоль Чернусов. «Хобби пижонера Забродипа»</i>	512
<i>Юрий Максимов. «Виноград на красной скатерти»</i>	535

Составители

Геннадий Николаевич Уфайлов  
Надежда Владимировна Голосовская

Инд. № 276206

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Сборник

М., «Советский писатель», 1986, 544 стр. План выпуска 1986 г. № 99

Редактор А. А. Трофимов. Худож. редактор Е. И. Балашева  
Техн. редактор Ю. Н. Чистякова. Корректор С. З. Михайлина

ИБ № 5439

Слано в набор 14.08.85. Подписано к печати 15.01.86. А 03317. Формат 84x108<sup>1/2</sup>.  
Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 28,56.  
Уч.-изд. л. 31,95. Тираж 30 000 экз. Заказ № 521. Цена 2 р. 50 к. Ордена Друж-  
бы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воро-  
ского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном но-  
митете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 300600,  
г. Тула, проспект Ленина, 109